

СТЕФАН
ЦВЕИГ

СТЕФАН ЦВЕИГ

Собрание
сочинений
в десяти
томах

STEFAN ZWEIG

Stefan Zweig

Собрание
сочинений
в десяти
томах

СТЕФАН ЦВЕИГ

Собрание
сочинений

Том 3



МОСКВА
«ТЕРРА» — «TERRA»
1996

НЕТЕРПЕНИЕ
СЕРДЦА

ТРИ ПЕВЦА
СВОЕЙ ЖИЗНИ

ББК 84.4 А
Ц26

Внешнее оформление
И. САЙКО

Цвейг С.

Ц26 Собрание сочинений: В 10 т. Т. 3: Нетерпение сердца: Роман. Три певца своей жизни: Казанова, Стендаль, Толстой / Пер. с нем.— М.: ТЕРРА, 1996.— 672с.

ISBN 5-300-00429-4 (т. 3)

ISBN 5-300-00427-8

Собрание сочинений австрийского писателя Стефана Цвейга (1881–1942) — самое полное из изданных на русском языке. Оно вместило в себя все, что было опубликовано в Собрании сочинений 30-х гг., и дополнено новыми переводами послевоенных немецких публикаций.

В третий том вошли роман «Нетерпение сердца» и биографическая повесть «Три певца своей жизни: Казанова, Стендаль, Толстой».

Ц 4703010000–205
А30(03)–96 Подписное

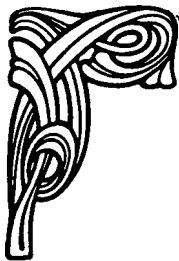
ББК 84.4А

ISBN 5-300-00429-4 (т. 3)
ISBN 5-300-00427-8

© Издательский центр «ТЕРРА», 1996



**НЕТЕРПЕНИЕ
СЕРДЦА**



...Есть два рода сострадания. Одно — малодушное и сентиментальное, оно, в сущности, не что иное, как нетерпение сердца, спешащего поскорее избавиться от тягостного ощущения при виде чужого несчастья; это не сострадание, а лишь инстинктивное желание оградить свой покой от страданий ближнего. Но есть и другое сострадание — истинное, которое требует действий, а не сентиментов, оно знает, чего хочет, и полно решимости, страдая и сострадая, сделать все, что в человеческих силах и даже свыше их.

Нетерпение сердца

«Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится» — каждый писатель может с легким сердцем признать справедливость этих слов из Книги Мудрости, применив их к себе: кто много рассказывал, тому многое расскажется. Ничто так не далеко от истины, как слишком укоренившееся мнение, будто писатель только и делает, что изобретает всевозможные истории и происшествия, снова и снова черпая их из неиссякаемого источника собственной фантазии. В действительности же, вместо того чтобы придумывать образы и события, ему достаточно лишь выйти им навстречу, и они, неустанно разыскивающие своего рассказчика, сами найдут его, если только он не утратил дара наблюдать и прислушиваться. Тому, кто не раз пытался толковать человеческие судьбы, многие готовы поведать о своей судьбе.

Эту историю мне тоже рассказали, причем совершенно неожиданно, и я передаю ее почти без изменений.

В мой последний приезд в Вену, как-то вечером, утомленный множеством дел, я отыскал один пригородный ресторан, полагая, что он давно вышел из моды и вряд ли многолюден.

Однако едва я вошел в зал, как мне пришлось раскаться в своем заблуждении. Из-за первого же столика поднялся знакомый и, проявляя все признаки искренней радости, которой я отнюдь не разделял, предложил подсесть к нему. Было бы неверно утверждать, что этот суетливый господин сам по себе несносный или неприятный человек; он лишь принадлежал к тому сорту назойливых людей, что коллекционируют знакомства с таким же усердием, как дети — почтовые марки, чрезвычайно гордясь каждым экземпляром своей коллекции.

Для этого чудака — между прочим, дельного и знающего архивариуса — весь смысл жизни, казалось, заключался в чувстве скромного удовлетворения, которое он испытывал, если при упоминании какого-либо имени, время от времени мелькавшего в газетах, мог небрежно обронить: «Это мой близкий друг», или: «Да я его только вчера видел», или: «Мой друг А. говорит, а мой приятель Б. полагает», — и так подряд до конца алфавита. Знакомые актеры всегда могли рассчитывать на его аплодисменты, знакомым актрисам он звонил утром после премьеры, торопясь поздравить их; не бывало случая, чтобы он позабыл чей-нибудь день рождения; пристально следя за рецензиями, он оставлял без внимания малоприятные, хвалебные же вырезал из газет и от чистого сердца посылал друзьям. В общем, это был неплохой малый, ибо в своем усердии он руководствовался самыми добрыми намерениями и почитал за счастье, если кто-либо из его именитых друзей обращался к нему с пустячной просьбой или же поподнял его коллекцию новым экземпляром.

Нет нужды подробней описывать нашего друга «при ком-то» — как в насмешку окрестили венцы этих добродушных паразитов из многоликой породы снобов, — любой из нас встречал их и знает, что только грубостью можно отделаться от их безобидного, но назойливого внимания. Итак, покоровшись судьбе, я подсел к нему. Не проболтали мы и четверти часа, как в ресторан вошел рослый господин с молодежавым, румяным лицом и сединой на висках; по выправке в нем сразу угадывался бывший военный. Поспешно привстав с места, мой сосед с

присущим ему усердием поклонился вошедшему, на что тот ответил скорее безразлично, нежели учтиво. Не успел новый посетитель сделать подбежавшему кельнеру заказ, как мой друг «при ком-то», подвинувшись ко мне поближе, тихо спросил:

— Знаете, кто это?

Помня его привычку хвастать любим, даже малоинтересным экземпляром своей коллекции и опасаясь слишком пространных объяснений, я холодно бросил «нет» и занялся тортом. Однако мое равнодушие только подзадорило этого собирателя имен; поднеся ладонь ко рту, он зашептал:

— Это же Гофмиллер из главного интендантства; ну, помните, тот, что в войну получил орден Марии-Терезии.

Поскольку этот факт вопреки ожиданию не произвел на меня ошеломляющего впечатления, господин «при ком-то» с патриотическим пылом, достойным школьной хрестоматии, принялся выкладывать все подвиги, совершенные упомянутым ротмистром сначала в кавалерии, затем в воздушном бою над Пьяве, когда он один сбил три вражеских самолета и, наконец, когда его пулеметная рота трое суток сдерживала натиск противника. Отчет свой господин «при ком-то» сопровождал массой подробностей (я их здесь опускаю) и то и дело выражал безмерное изумление по поводу того, что я никогда не слышал об этом выдающемся человеке, которому император Карл самолично вручил высшую австрийскую военную награду.

Невольнo поддавшись искушению, я взглянул на соседний столик, чтобы с двухметровой дистанции увидеть героя, отмеченного печатью истории. Но я встретился с твердым, недобрым взглядом, который словно говорил: «Этот тип уже что-то наплел тебе? Нечего на меня глазеть». И, не скрывая своей неприязни, ротмистр резко передвинул стул и уселся к нам спиной. Несколько смущенный, я отвернулся и с этой минуты избегал даже краешком глаза смотреть на его столик.

Вскоре я распрощался с моим добрым сплетником. При выходе я не преминул отметить про себя, что он уже успел перебраться к своему герою: видимо, не терпелось поскорее доложить ему обо мне, как он докладывал мне о нем.

Вот, собственно, и все. Я бы скоро позабыл эту мимолетную встречу взглядов, но случаю было угодно, чтобы на следующий день в небольшом обществе я оказался лицом к лицу с неприступным ротмистром. В смокинге он выглядел еще более эффектно и элегантно, нежели вчера в костюме спортивного покроя. Узнав друг друга, мы оба постарались скрыть невольную усмешку, словно два заговорщика, оберегающие от посторонних тайну, известную только им. Вероятно, воспоминание о вчерашнем незадачливом своднике в одинаковой мере раздражало и забавляло нас обоих. Сначала мы избегали говорить друг с другом, что, впрочем, все равно не удалось бы, поскольку вокруг разгорелся жаркий спор.

Предмет этого спора можно легко угадать, если я упомяну, что он имел место в 1938 году. Будущие летописцы установят, что в 1938 году почти в каждом разговоре — в какой бы из стран нашей растерянной Европы он ни происходил — преобладали догадки о том, быть или не быть новой войне. При каждой встрече люди, как одержимые, возвращались к этой теме, и порой даже казалось, будто не они, пытаясь избавиться от обуявшего их страха, делятся своими опасениями и надеждами, а сама атмосфера, взбудораженная, насыщенная скрытой тревогой, стремится разрядить в словах накопившееся напряжение.

Дискуссию открыл хозяин дома, адвокат по профессии и большой спорщик.

Общеизвестными аргументами он пытался доказать общеизвестную чушь, будто наше поколение, уже испытавшее одну войну, не позволит так легко втянуть себя в новую: едва объявят мобилизацию, как штыки будут повернуты в обратную сторону — уж кто-кто, а старые фронтовики вроде него хорошо знают, что их ждет.

В тот самый час, когда сотни, тысячи фабрик занимались производством взрывчатых веществ и ядовитых газов, он сбрасывал со счетов возможность новой войны с той же небрежной легкостью, с какой стряхивал пепел своей сигареты.

Его апломб вывел меня из терпения. Не всегда следует принимать желаемое за действительное, весьма решительно воз-

разил я ему. Ведомства и организации, управляющие военной машиной, тоже не дремлют. И пока мы тешим себя иллюзиями, они сполна используют мирное время, чтобы заранее привести массы, так сказать, в боевую готовность. Если уже сейчас, в мирные дни, всеобщий сервизизм благодаря самоновейшим методам пропаганды достиг невероятных размеров, то в минуту, когда по радио прозвучит приказ о мобилизации — надо смотреть правде в глаза, — ни о каком сопротивлении и думать нечего. Человек всего лишь песчинка, и в наши дни его воля вообще не принимается в расчет.

Разумеется, все были против меня, ибо люди, как известно, склонны к самоуспокоению, они пытаются заглушить в себе сознание опасности, объявляя, что ее не существует вовсе. К тому же в соседней комнате нас ждал роскошно сервированный стол, и при подобных обстоятельствах мое возмущение неоправданным оптимизмом казалось особенно неуместным.

Неожиданно за меня заступился кавалер ордена Марии-Терезии, как раз тот, в ком я ошибочно предполагал противника.

— Это чистейший абсурд, — горячо заговорил он, — в наше время еще придавать значение желанию или нежеланию людей, ведь в грядущей войне, где в основном предстоит действовать машинам, человек станет не более как придатком к ним. Еще в прошлую войну на фронте мне редко встречались люди, которые безоговорочно принимали или безоговорочно отвергали войну. Большинство подхватило, как пыль ветром, и их закружило в общем вихре. И пожалуй, тех, кто пошел на войну, уходя от жизни, было больше, чем тех, кто спасался от войны.

Я с изумлением слушал его, захваченный прежде всего страстностью, с которой он говорил:

— Не будем обманывать себя. Начнись сейчас вербовка добровольцев на какую-нибудь экзотическую войну — скажем, в Полинезии или в любом уголке Африки, — и найдутся тысячи, десятки тысяч, которые ринутся по первому зову, сами толком не зная почему — то ли из стремления убежать от самих себя, то ли в надежде избавиться от безрадостной жизни. Веро-

ятность сопротивления войне я оцениваю немногим выше нуля. Чтобы в одиночку сопротивляться целой организации, требуется нечто большее, чем готовность плыть по течению, — для этого нужно личное мужество, а в наш век организации и механизации это качество отмирает. В войну я сталкивался почти исключительно с явлением массового мужества, мужества в строю; оказалось, что за ним скрываются — если разглядывать его в увеличительное стекло — самые неожиданные стимулы: много тщеславия, много легкомыслия и даже скуки, но прежде всего — страх. Да, да! Боязнь отстать, боязнь быть осмеянным, боязнь действовать самостоятельно и главным образом боязнь противостоять общему порыву; большинство из тех, кого считали на фронте храбрецами, были мне лично известны и тогда и потом, в гражданской жизни, как весьма сомнительные герои. Пожалуйста, не думайте, — добавил он, вежливо обращаясь к хозяину, состроившему мину, — что я делаю исключение для себя.

Мне понравилось, как он говорил, и я уже собрался было подойти к нему, но тут хозяйка дома пригласила гостей к столу, и, так как нас усадили далеко друг от друга, нам не удалось побеседовать за ужином. Только когда все стали расходиться, мы столкнулись в прихожей.

— Мне кажется, — сказал он, улыбнувшись, — что наш общий покровитель уже заочно представил нас друг другу.

Я тоже улыбнулся:

— И весьма обстоятельно.

— Наверно, изображал меня таким Ахиллесом и хвастался моим орденом, как своим?

— Что-то в этом роде.

— Да. Им он чертовски гордится — так же, как и вашими книгами.

— Чудак! Но бывают и хуже. Может быть, пройдемся немного вместе, если вы ничего не имеете против?

Мы вышли. Сделав несколько шагов, он заговорил:

— Не подумайте, что я рисуюсь, но, действительно, ничто мне так не мешало все эти годы, как орден Марии-Терезии —

слишком уж он бросается в глаза. Конечно, по совести говоря, когда мне повесили его на грудь там, на фронте, у меня голова пошла кругом. Ведь в конце концов если тебя воспитали солдатом и ты еще в кадетском корпусе наслышался об этом легендарном ордене, который в каждую войну достается, быть может, какому-нибудь десятку людей, то он и в самом деле кажется звездой, упавшей с неба. Да, для двадцативосьмилетнего молодца это кое-что значит. Вы только представьте себе: стоишь перед строем, все смотрят, как у тебя на груди вдруг что-то засверкало, будто маленькое солнце, а его августейшее величество, сам император, на глазах у всех поздравляет тебя, пожимая руку! Но, видите ли, эта награда имела смысл и значение только в нашем армейском мире. Когда же война кончилась, мне показалось смешным ходить весь остаток жизни с ярлыком героя только потому, что однажды, всего каких-нибудь двадцать минут, я был по-настоящему храбр, но, наверно, не храбрее, чем тысячи других; просто мне выпало счастье быть замеченным и — что самое удивительное — вернуться живым. Уже через год мне осточертело изображать ходячий монумент и смотреть, как люди из-за кусочка металла на груди взирают на меня с благоговением; меня раздражало постоянное внимание к моей персоне, это и послужило одной из причин того, что я очень скоро после окончания войны ушел из армии.

Он немного ускорил шаг.

— Я сказал: одной из причин, главная же была иного порядка, личного, она вам, пожалуй, будет еще понятнее. Главная причина заключалась в том, что я сам слишком сомневался в своем праве называться героем, — во всяком случае, в своем героизме. Я-то лучше всяких зевак знал, что этим орденом прикрывается человек, меньше всего похожий на героя, скорее наоборот — он один из тех, кто очертя голову ринулся на войну только потому, что попал в отчаянное положение; это были дезертиры, сбежавшие от личной ответственности, а не герои патриотического долга. Не знаю, как вы, писатели, смотрите на это, но лично мне ореол совести кажется противоестественным и невыносимым, и я испытываю огромное облегчение, с

тех пор как избавился от необходимости ежедневно демонстрировать на мундире свою героическую биографию. Меня и по сей день злит, когда кто-нибудь занимается раскопками моей былой славы; признаться, вчера я чуть не подошел к вашему столику, чтобы отругать этого болтуна, похвалявшегося мною. Почтительный взгляд, который вы бросили в мою сторону, весь вечер не давал мне покоя; больше всего мне хотелось тут же опровергнуть его болтовню и заставить вас выслушать, какой кривой дорожкой я, собственно, пришел к своему геройству. Это довольно странная история, во всяком случае, она показала бы вам, что иной раз мужество — это слабость наизнанку. Впрочем, я мог бы вполне откровенно рассказать вам ее. О том, каким ты был четверть века назад, можно говорить так, словно это касается кого-то другого. Располагаете ли вы временем, чтобы выслушать меня? И не покажется ли вам это скучным?

Разумеется, я располагал временем; в ту ночь мы еще долго бродили по опустевшим улицам. Встречались мы и в последующие дни.

Передавая его рассказ, я изменил лишь немного: «гусаров» назвал «уланами», предусмотрительно переместил на карте расположение гарнизонов и уж конечно не стал упоминать настоящие имена. Но нигде я не присочинил чего-либо существенного и вот теперь предоставляю слово самому рассказчику.

Все началось с досадной неловкости, с нечаянной оплошности, с *gaffe*^{*}, как говорят французы. Правда, я поспешил загладить свой промах, но когда слишком торопишься починить в часах какое-нибудь колесико, то обычно портишь весь механизм. Даже спустя много лет я так и не могу понять, где кончалась моя неловкость и начиналась вина. Вероятно, я этого никогда не узнаю.

Мне было тогда двадцать пять лет. Я служил в чине лейтенанта в Н-ском уланском полку. Не скажу, чтобы я испытывал

* Бестактного поступка (франц.).

особое влечение или чувствовал внутреннее призвание к военной службе. Но если в семье австрийского чиновника за скудным столом сидят две девочки и четверо вечно голодных мальчуганов, то их не очень расспрашивают о наклонностях, а поскорее пристраивают к делу, чтобы они не слишком засиживались у домашнего очага. Моего брата Ульриха, который еще в школе испортил себе глаза зубрежкой, отдали в семинарию; меня же, поскольку я отличался крепким сложением, послали в военное училище: там клубок жизни разматывается сам собой, его уже не надо тянуть за нитку. Все заботы берет на себя государство. За несколько лет оно бесплатно, по установленному казенному образцу, выкраивает из худощавого, бледного подростка безусого прапорщика и в годном к употреблению виде сдает его армии. Мне еще не исполнилось и восемнадцати, когда — по традиции, в день рождения императора — состоялся наш выпуск, и на моем воротнике вскоре засверкала звездочка. Первый этап был пройден; отныне мне предстояло с надлежащими интервалами автоматически продвигаться по служебной лестнице вплоть до пенсии и подагры. В кавалерию, где служба, увы, далеко не всякому по средствам, я попал не по собственному желанию, а по прихоти тетки Дэзи, второй жены старшего брата отца; она обручилась с моим дядей, когда тот перешел из министерства финансов на более выгодную должность председателя правления банка. Эта богачка с аристократическими замашками не допускала и мысли, что кто-либо из ее родственников способен «опозорить» фамилию Гофмиллеров службой в пехоте; а так как за свой каприз она ежемесячно выплачивала мне сотню крон, то при каждом удобном случае я еще должен был покорнейше благодарить ее. Нравилась ли мне служба в кавалерии и вообще в армии — над этим никто никогда не задумывался и меньше всего я сам. Стоило мне вскочить в седло, как я забывал обо всем на свете и дальше ушей своего коня ничего не видел.

В ноябре 1913 года из одной канцелярии в другую, вероятно, спустили какой-то приказ, и наш эскадрон неожиданно-негаданно перевели из Ярославце в небольшой гарнизонный городок

у венгерской границы. Как он назывался, не так уж важно, ибо все провинциальные гарнизонные городки в Австрии отличаются друг от друга не больше, чем пуговицы на мундире. Повсюду одна и та же казенная декорация: казарма, манеж, учебный плац, офицерское казино и как дополнение — три гостиницы, два кафе, кондитерская, винный погребок и паршивенькое варьете с потасканными певичками, которые между делом охотно удостаивают своей благосклонности офицеров и вольноопределяющихся. Строевая служба повсюду одинаково пуста и однообразна, час за часом расписаны по незыблемому, веками установленному порядку; в свободное время тоже не происходит ничего интересного. В офицерском казино все те же лица и те же разговоры, в кафе все те же карты и тот же бильярд. Иной раз даже удивляешься, как это еще Господь Бог удосужился нарисовать разные пейзажи вокруг шестисот или восьмисот домов, насчитывающихся в таких городишках.

Правда, у нового гарнизона было одно преимущество перед прежним, галицийским: он находился близко от Вены и не очень далеко от Будапешта, и тут останавливались курьерские поезда. Те, у кого были деньги — а в кавалерии, как правило, служили люди со средствами, не говоря уже о вольноопределяющихся из высшей знати и сынках крупных фабрикантов, — могли, отбарабанив положенное, уехать с пятичасовым в Вену и к половине третьего ночи вернуться назад. Так что вполне можно было сходить в театр, пошататься по Рингу и завести любовную интрижку; некоторые счастливики даже снимали там постоянные или временные квартиры. К сожалению, подобные освежающие эскапады были мне при моем бюджете недоступны. Я довольствовался кафе и кондитерской, где играл в бильярд (карточные ставки выходили за пределы моих возможностей) или в шахматы, что уж совсем ничего не стоило.

Так вот однажды — это было, кажется, в середине мая 1914 года — я сидел после обеда в кондитерской за шахматами. Моим партнером и на сей раз оказался местный аптекарь, он же помощник бургомистра. Мы давно окончили наши обычные три партии и сидели просто так, от нечего делать болтая о том

о сем, — куда еще денешься в этой дыре? Разговор уже гаснул, словно догорающая сигарета, как вдруг неожиданно распахнулась дверь и волна свежего воздуха внесла хорошенькую девушку в широко развевающейся юбке; карие миндалевидные глаза, смуглое личико, превосходно одета, ничего провинциального и главное — совершенно новое лицо среди осточертевшего однообразия. Но — увы! — элегантная нимфа не обращает никакого внимания на наши почтительно-восторженные взгляды: гордо и стремительно, упругим спортивным шагом она проходит мимо девяти мраморных столиков прямо к стойке и заказывает en gros* торты, пирожные и напитки. Мне сразу же бросается в глаза, как devotissime** склоняется перед ней хозяин кондитерской, — я еще никогда не видел, чтобы у него на спине так туго натягивался шов фрака. Даже его жена, грубая, растолстевшая провинциальная Венера, которая обычно со снисходительной небрежностью принимает ухаживания нашего брата (у каждого бывают к концу месяца кое-какие долги), встает из-за кассы и рассыпается в любезностях. Пока господин Гроссмейер записывает заказ, прелестная клиентка беззаботно грызет миндаль в сахаре и переговаривается с фрау Гроссмейер; нас она не замечает, хотя мы до неприличия усердно вытягиваем шеи в ее сторону. Разумеется, юная госпожа не утруждает свои нежные ручки покупками: фрау Гроссмейер предупредительно заверяет ее, что все будет доставлено домой. Ей даже не приходит в голову расплатиться наличными, как это делаем мы, простые смертные. Сразу видно: благородная клиентура, экстра-класс!

Но вот, покончив с заказом, она направляется к выходу. Господин Гроссмейер кидается отворить дверь, мой аптекарь тоже вскакивает с места и почтительно кланяется. Она благодарит царственной улыбкой. Черт возьми, какие у нее глаза! Карие, бархатные, совсем как у лани. Едва дождавшись, пока она, осыпанная, как сахаром, любезностями, вышла на улицу,

* Оптом (франц.).

** Почтительнейше (итал.).

я набросился на моего партнера с расспросами. Откуда взялся в нашем курятнике этот лебедь?

— Как, разве вы ее никогда не видели? Это же племянница господина фон Кекешфальвы. — (В действительности его звали иначе.) — Ну, вы же их знаете.

Фон Кекешфальва! Он произносит это имя, будто швыряет ассигнацию в тысячу крон, и смотрит на меня, словно ожидая, что я незамедлительно отзовусь почтительным эхом: «Кекешфальва? Ах да! Конечно!» Но я, свежеиспеченный лейтенант, всего лишь несколько месяцев в новом гарнизоне, я, в простоте душевной, и понятия не имею об этом таинственном божете, а потому вежливо прошу дать мне разъяснения, что господин аптекарь и делает со всей словоохотливостью и тщеславием провинциала, разумеется, более пространно, чем это передаю я.

— Кекешфальва, — сообщает он мне, — самый богатый человек в округе. Здесь чуть ли не все принадлежит ему. Не только усадьба Кекешфальва. Да вы знаете этот дом, его видно с учебного плаца, такое желтое здание с башней в большом старинном парке, ну, слева от шоссе, но и сахарная фабрика, что по дороге в Р., лесопилка в Бруке и конный завод. Все это его собственность и, кроме того, шесть или семь домов в Будапеште и Вене. Да, трудно поверить, что в нашем городке есть такие богачи. А как он умеет жить! Настоящий аристократ! Зиму проводит в венском особняке на Жакингассе, лето — на курортах; сюда наезжает только весной, на два-три месяца. Ну, Боже мой, как он живет! Квартеты из Вены, французские вина, шампанское, все наипервейших сортов, лучшее из лучшего.

Если угодно, продолжает аптекарь, он с удовольствием представит меня господину фон Кекешфальве, ведь они — самодовольный жест — в приятельских отношениях; в прошлом он часто бывал в усадьбе по делам и знает, что хозяин всегда рад видеть у себя в доме офицеров. Одно его слово — и я приглашен.

А почему бы и не пойти? Гарнизонная жизнь, как трясины, засасывает человека. На Корсо уже знаешь в лицо всех жен-

щин, знаешь, какая у каждой из них зимняя и летняя шляпка и какое воскресное и будничное платье, — они всегда одни и те же; знаешь их собачек, и служанок, и детей. Уже по горло сыт кулинарными чудесами, которыми потчует нас в казино толстая повариха-чешка, а в ресторане гостиницы тебя начинает мутить при одном взгляде на вечно неизменное меню. Помнишь наизусть каждую афишу, каждую вывеску в любом переулке, знаешь, в каком доме какая лавка и что выставлено на ее витрине. Знаешь не хуже самого обер-кельнера, что господин окружной судья, придя в кафе, непременно усядется слева у окна и ровно в четыре тридцать закажет себе кофе со сливками, между тем как господин нотариус появится десятью минутами позже, в четыре сорок, и по причине несварения желудка выпьет стакан чаю с лимоном — все же какое-то разнообразие! — после чего, покуривая свою неизменную виргинскую сигару, будет рассказывать все те же старые анекдоты! Господи, знаешь все лица, все мундиры, всех лошадей, всех извозчиков, всех нищих в округе, знаешь самого себя до отвращения. Почему бы хоть раз не вырваться из чертовой карусели? К тому же эта очаровательная девушка, эти карие, как у лани, глаза! Итак, я заявляю моему доброжелателю с притворным безразличием (нельзя же показать этому хвастливому пилюльщику, как тебя радует его предложение!), что, конечно, мне доставит удовольствие побывать в доме у господина фон Кекешфальвы.

И, представьте себе, мой доблестный аптекарь сдержал слово! Через два дня он приходит в кафе и, пыжась от гордости, покровительственным жестом протягивает мне отпечатанный пригласительный билет, в котором каллиграфическими буквами вписана моя фамилия; в билете говорится, что г-н Лайош фон Кекешфальва приглашает г-на лейтенанта Антона Гофмиллера на обед в среду на следующей неделе к восьми часам вечера. Что ж, наш брат, слава Богу, тоже не лыком шит и знает, как следует вести себя в таких случаях. С утра, нещадно выбрившись, надеваю свой лучший мундир, белые перчатки, лакированные ботинки и, надушив усы, отправляюсь с визи-

том вежливости. Слуга — старый, вышколенный, хорошая ливрея — берет мою карточку и, извиняясь, бормочет: «Господа будут очень сожалеть, что господин лейтенант не застал их, но они сейчас в церкви». — «Тем лучше, — думаю я, — визиты вежливости — занятие не из приятных, как на службе, так и вне ее». Во всяком случае, я свой долг исполнил. В среду вечером я пойду туда и, надеюсь, не пожалею об этом. Итак, до среды все улажено. Однако через два дня, то есть во вторник, меня ожидает приятный сюрприз: у себя в конуре я нахожу визитную карточку с загнутым уголком, оставленную господином фон Кекешфальвой. «Превосходно, — думаю я, — у этих людей безупречные манеры». Уже через день после моего первого визита нанести ответный мне, младшему офицеришке. Большой чести не удостоился бы и генерал. Охваченный добрым предчувствием, я с радостью ожидаю завтрашнего вечера.

Но судьба, видно, с самого начала решила сыграть со мной злую шутку. Право же, мне следовало бы обращать больше внимания на всякие приметы. В среду, в половине восьмого вечера, я стою уже совсем готовый — парадный мундир, новые перчатки, лакированные ботинки, складки отутюженных брюк острые, как бритва, — и денщик, одернув на мне шинель, еще раз оглядывает, все ли в порядке (это тоже входит в его обязанности, потому что в моей полутемной комнате имеется только маленькое ручное зеркало), как вдруг раздается стук в дверь: посыльный. Дежурный офицер, мой приятель, ротмистр Штейнхюбель, просит меня срочно прийти к нему в казарму. Двое улан, видимо вдребезги пьяных, передрались между собой, один ударил другого прикладом по голове. И вот этот дурень лежит без сознания, в крови, с разинутым ртом. Никто не знает, цел ли у него череп или нет. Полковой врач отчалил по увольнительной в Вену, командира полка нигде не могут найти; в растерянности добрейший Штейнхюбель — чтоб ему провалиться! — посылает за мной, именно за мной, и просит помочь ему, пока он займется пострадавшим. И вот я должен составлять протокол и слать во все концы вестовых с наказом

разыскать какого-либо штатского врача в кафе или где-нибудь еще. А время уже без четверти восемь, и по всему видно, что раньше чем через четверть, а то и полчаса я отсюда не выберусь. Черт возьми, надо же, чтобы такое безобразие случилось как нарочно сегодня! Как раз в тот день, когда я приглашен в гости. Все нетерпеливее я поглядываю на часы: нет, я уже не успею вовремя, даже если провожусь здесь не больше пяти минут. Но служба — нам это крепко вбили в голову — превыше всяких личных обстоятельств. Поскольку удрать нельзя, я делаю единственное возможное в моем дурацком положении: наняв фиакр (удовольствие обходится мне в четыре кроны), посылаю своего денщика к Кекешфальве с просьбой извинить меня, если я опоздаю по непредвиденным служебным обстоятельствам, и т. д., и т. п. К счастью, вся эта суматоха в казарме продолжается недолго, так как собственной персоной появляется полковник, а за ним врач, которого отыскивали где-то; теперь я могу незаметно исчезнуть.

Но тут снова невезение: на площади Ратуши, как назло, нет ни одного фиакра, и мне приходится ждать, пока по телефону вызывают восьмикопытный экипаж. Так что, когда я наконец вступаю в просторный вестибюль, минутная стрелка стенных часов смотрит вниз — ровно половина девятого вместо назначенных восьми, — и я вижу, что вешалка уже полна. По несколько смущенному лицу слуги я чувствую, что опоздал изрядно. Жаль, очень жаль, и надо же случиться такому при первом визите!

Тем не менее слуга — на этот раз белые перчатки, фрак, сорочка и лицо одинаково выютюжены — успокоительно сообщает, что денщик полчаса назад предупредил о моем опоздании, и проводит меня в необычайно элегантную гостиную с четырьмя окнами, обтянутую розовым шелком и сверкающую хрусталем люстр; никогда в жизни я не видел ничего более аристократического. Однако, к своему стыду, я обнаруживаю, что гостиная совершенно пуста, а из соседней комнаты явственно доносится веселый звон тарелок. «Скверно, совсем скверно, — думаю я, — они уже сели за стол».

Ладно, я беру себя в руки и, как только слуга открывает передо мной раздвижную дверь, делаю шаг вперед, останавливаюсь на пороге столовой, щелкаю каблуками и отвешиваю поклон. Все оборачиваются в мою сторону, десять, двадцать пар незнакомых глаз пристально разглядывают запоздалого гостя, в не очень уверенной позе застывшего в дверях. Какой-то пожилой господин, несомненно, хозяин дома, поспешно вскакивает с места, снимает салфетку и устремляется мне навстречу, любезно протягивая руку. Он совсем не такой, каким я себе его представлял, этот господин Кекешфальва, совсем не толстощекий, раздумявшийся от доброго вина помещик с мажарскими усами. Сквозь стекла очков на меня смотрят чуть усталые, словно затуманенные глаза, я вижу сероватые мешки под глазами, слегка сутулые плечи, слышу речь с присвистом, изредка прерываемую тихим покашливанием; этого человека с тонкими чертами узкого лица и острой седой бородкой скорее можно принять за ученого. Необыкновенная учтивость старого господина действует на меня ободряюще. Нет, нет, это он должен извиниться, слышу я, прежде чем успеваю что-либо сказать. Ведь ему отлично известно, что на службе всякое может случиться, а я был настолько любезен, что уведомил его о задержке; лишь потому, что он был не совсем уверен в моем приходе, они сели за стол без меня. А теперь поскорее к столу. После он представит меня всем присутствующим в отдельности, а пока что (он подводит меня к столу) познакомит со своей дочерью. Тонкая, бледная, хрупкая девушка, еще почти ребенок, прервав разговор с соседкой, окидывает меня робким взглядом. Она похожа на отца. Я лишь мельком вижу серые глаза, узкое нервное лицо и сперва кланяюсь ей, затем отвешиваю общий поклон направо и налево; все явно рады, что им не придется откладывать ножи и вилки ради скучной церемонии знакомства.

Первые две-три минуты я еще чувствую себя очень неловко. Здесь нет никого из моего полка, ни одного из моих приятелей, ни одного знакомого. Я даже не вижу здесь никого из отцов города — сплошь чужие, совершенно чужие лица. Как мне

кажется, это большей частью помещики из округи со своими женами и дочерьми, а также чиновники. Все штатские, только штатские, ни одного мундира, кроме моего! Господи, как я, молодой человек, неуверенный и застенчивый, буду разговаривать с этими незнакомыми людьми? К счастью, у меня еще приятное соседство. Рядом со мной сидит хорошенькая племянница хозяина, то самое кареглазое задорное создание, которое, видимо, все-таки заметило мой восторженный взгляд тогда, в кондитерской, потому что она приветливо улыбается мне, как старому знакомому. Глаза у нее словно каштаны, и, честное слово, когда она смеется, мне даже чудится, будто они потрескивают, как на жаровне. У нее прелестные прозрачные ушки, прикрытые прядями густых волос. «Совсем как розовый цикламен во мху», — думаю я. Ее обнаженные руки, если до них дотронуться, наверно, мягкие и гладкие, как очищенный персик.

Приятно сидеть рядом с такой хорошенькой девушкой; только лишь за ее певучий венгерский говор я уже готов в нее влюбиться. Приятно обедать в сверкающем огнями зале, когда перед тобой превосходно сервированный стол, уставленный тончайшими яствами, а за спиной услужливый лакей в ливрее. Да и моя соседка слева, говорящая с легким польским акцентом, выглядит, при всей своей массивности, вполне appetissant*. Или мне все это только кажется от вина, сперва светло-золотистого, потом темно-красного и, наконец, искристого шампанского, которое лакеи в белых перчатках щедро наливают из серебряных графинов и пузатых бутылок? Молодчина аптекарь, не соврал: у Кекешфальвы и впрямь угощают по-княжески. Никогда в жизни я не едал таких роскошных блюд, даже не думал, что существует такое обилие вкусных вещей. Все новые и новые деликатесы, один другого отменнее и изысканней, несут нам нескончаемой вереницей: вот в золотом соусе плавают бледно-синие рыбы, увенчанные листьями салата и окруженные ломтиками омаров, вот сидят на горках

* *Аппетитно (франц.).*

рассыпчатого риса каплуны, полыхает голубым пламенем пудинг в роме, пестрят на подносе сладкие шарики мороженого, в серебряных корзинах нежно жмутся друг к дружке фрукты, наверняка объехавшие полсвета, прежде чем попасть сюда. И так без конца, без конца, а напоследок целая радуга ликеров — зеленых, красных, белых, желтых, превосходный кофе и ароматные, в палец толщиной сигары.

Великолепный, сказочный дом! Будь трижды благословен, добрый аптекарь! Светлый, радостный, звонкий вечер! Не знаю, оттого ли я чувствую себя так свободно и приподнято, что у моих соседей справа и слева, у моих визави ярче заблестели глаза и громче зазвучали голоса, что они также отбросили всякую чопорность и оживленно заговорили все сразу, — как бы то ни было, от моей застенчивости не осталось и следа. Я непринужденно болтаю, ухаживаю за обеими соседками одновременно, пью, смеюсь, задорно поглядываю вокруг, и если иной раз мои пальцы не случайно скользят по красивой обнаженной руке Илоны — так зовут эту очаровательную особу, — то она, опьяненная и разнеженная, как и все мы, роскошным пиршеством, и не думает обижаться на меня за легкие, едва ощутимые прикосновения.

Мало-помалу я чувствую — уж не дают ли себя знать эти дивные вина: токай вперемежку с шампанским? — как на меня находит какая-то необычайная легкость, готовая перейти в необузданное веселье. Но чего-то недостает мне для полноты блаженства, для взлета, для упоения, к чему-то я неосознанно стремлюсь, а к чему, становится мне ясным уже в следующую минуту, когда откуда-то из третьей комнаты, позади гостиной — слуга незаметно открыл раздвижные двери, — до моего слуха вдруг доносятся приглушенные звуки музыки. Играет квартет, и это как раз та музыка, которую я ждал в душе, танцевальная музыка, легкий, плавный вальс, две скрипки ведут мелодию, им глухо и сумрачно вторит виолончель, а рояль отрывистым стаккато отбивает такт. Музыка, да, музыка, ее-то мне и не хватало! Слушать музыку, быть может, даже танцевать, скользить, парить в вальсе, блаженно упиваясь своей легко-

стью! Вилла Кекешфальва — это поистине волшебный замок: стоит только задумать что-либо, как желание мгновенно исполняется. Не успеваем мы подняться, отодвинуть стулья и пара за парой — я предлагаю Илоне руку, снова ощущаю ее прохладную, нежную кожу — перейти в гостиную, как там старанием невидимых гномов все столы уже убраны и кресла расставлены вдоль стен. Гладкий коричневый паркет блестит, как зеркало, а из соседней комнаты доносится веселая музыка.

Я поворачиваюсь к Илоне. Она понимающе смеется. Ее глаза уже сказали «да». И вот мы кружимся — два, три, пять пар — по скользкому паркету, меж тем как гости посолоннее и постарше наблюдают за нами или беседуют между собой. Я люблю танцевать, я даже хорошо танцую. Мы летим, слившись в объятии, и мне кажется, что я никогда еще так не танцевал. На следующий вальс я приглашаю другую соседку по столу; она тоже отлично танцует, и, склонившись к ней, слегка одурманенный, я вдыхаю аромат ее волос. Ах, она танцует чудесно, здесь все чудесно, и я счастлив, как никогда прежде! Голова идет кругом, мне так и хочется всех обнять, сказать каждому теплое слово благодарности, до того легким, окрыленным, удивительно юным я себя ощущаю. Я кружусь то с одной, то с другой, разговариваю, смеюсь и, утопая в блаженстве, теряю всякое представление о времени.

Но вдруг, случайно бросив взгляд на часы — половина одиннадцатого! — я в ужасе спохватываюсь: какой же я болван! Вот уже битый час танцую, болтаю, шучу и еще не догадался пригласить на вальс хозяйскую дочь. Я танцевал лишь с соседками по столу да еще с двумя-тремя дамами, которые мне приглянулись, и совсем позабыл о дочери хозяина! Какая невоспитанность, какой афронт! А теперь живо, ошибка должна быть исправлена!

Однако я с испугом убеждаюсь, что совершенно не помню, как выглядит эта девушка. Всего лишь на миг я приблизился к ней, когда она сидела за столом. Мне запомнилось только что-то нежное и хрупкое, а потом еще быстрый и любопытный

взгляд ее серых глаз. Но куда же она запропастилась? Ведь не могла же дочь хозяина дома уйти? С беспокойством я пристально разглядываю всех дам и девушек, сидящих вдоль стен, — ни одной похожей на нее! Наконец я вхожу в третью комнату, где, скрытый китайской ширмой, играет квартет, и облегченно вздыхаю. Она здесь — это, несомненно, она, — нежная, тоненькая, в бледно-голубом платье сидит между двумя пожилыми дамами, в углу, за малахитовым столиком, на котором ваза с цветами. Слегка наклонив голову, девушка как будто совершенно поглощена музыкой, и тут только я впервые, особенно в контрасте с ярким багрянцем роз, замечаю, как прозрачно бледен ее лоб под густыми рыжевато-каштановыми волосами. Но мне сейчас не до праздных наблюдений. «Слава Богу, — вздыхаю я облегченно, — наконец-то удалось ее отыскать». Еще не поздно наверстать упущенное.

Я подхожу к столу — музыка гремит совсем рядом — и склоняюсь перед девушкой, приглашая ее на танец. Изумленные, полные недоумения глаза смотрят на меня в упор, слова замирают на губах. Но она даже не шевельнулась, чтобы последовать за мной. Быть может, она меня не поняла? Я кланяюсь еще раз, шпоры тихонько звякают в такт моим словам: «Разрешите пригласить вас, фрейлейн?»

И тут происходит нечто чудовищное. Девушка, слегка наклонившаяся вперед, внезапно отшатывается, как от удара; ее бледные щеки вспыхивают ярким румянцем, губы, только что полуоткрытые, сжимаются, а глаза, неподвижно устремленные на меня, наполняются таким ужасом, какого мне еще никогда не приходилось видеть. Затем по ее мучительно напряженному телу пробегает судорога. Пытаясь подняться, она обеими руками упирается в стол так, что ваза на нем покачивается и дребезжит; одновременно какой-то предмет, деревянный или металлический, с резким стуком падает с кресла на пол. А девушка все еще держится руками за шатающийся стол, ее легкое, как у ребенка, тело все еще сотрясается, но она не двигается с места, не убегает, а лишь отчаянно цепляется за массивную крышку стола. И снова и снова этот трепет, эта

дрожь, пронизывающая ее всю, от судорожно сжатых пальцев до корней волос. Вдруг у нее вырывается отчаянный, полузадушенный крик, и она разражается рыданиями.

Обе пожилые дамы уже хлопочут над ней, осторожно поддерживают и, ласково успокаивая девушку, отрывают от стола ее руки; она падает в кресло. Но рыдания не прекращаются, они становятся еще более бурными и неудержимыми, как хлынувшая из горла кровь. Если бы музыка за ширмой смолкла хоть на мгновение — но она заглушает все, — плач, наверное, услышали бы танцующие.

Я остолбенел от испуга. Что это, что же это такое? Не зная, что предпринять, я смотрю, как обе дамы пытаются успокоить бедняжку, которая, спрятав лицо, уронила голову на стол. Однако все новые приступы рыданий, волна за волной, пробегают по ее худенькому телу до самых плеч, и каждый раз ваза на столе тихонько позвякивает. Я же стою в полнейшем смятении, чувствуя, как у меня леденеют ноги, а воротничок тугой петлей сдавливает горло.

— Простите, — бормочу я еле слышно в пустоту.

Обе женщины заняты плачущей, и ни одна из них не удостоивает меня взглядом, и я, шатаюсь, как пьяный, возвращаюсь в гостиную. По-видимому, здесь никто еще ничего не заметил. Пары стремительно проносятся в вальсе, и я невольно хватаюсь за дверной косяк, до того все кружится у меня перед глазами. В чем же дело? Что я натворил? Боже мой, очевидно, за обедом я слишком много выпил и вот теперь, опьянев, сделал какую-нибудь глупость!

Вальс кончается, пары расходятся. Окружной начальник с поклоном отпускает Илону, и я тотчас же бросаюсь к ней и почти насильно отвожу изумленную девушку в сторону.

— Прошу вас, помогите мне! Ради всего святого, объясните, что случилось!

Вероятно, Илона подумала, что я увлек ее к окну лишь для того, чтобы шепнуть какую-нибудь любезность. Взгляд ее сразу же становится отчужденным; очевидно, мое непонятное

возбуждение вызывает в ней жалость или даже страх. Задыхаясь от волнения, я рассказываю ей все. И странно: глаза Илоны, как у той девушки, расширяются от ужаса, и она, разгневанная, нападает на меня:

— Вы с ума сошли!.. Разве вы не знаете?.. Неужели вы ничего не заметили?..

— Нет, — лепечу я, уничтоженный этим новым и столь же загадочным проявлением ужаса. — Что я должен был заметить?.. Я ничего не знаю. Ведь я впервые в этом доме.

— Неужели вы не видели, что Эдит... хромая... Не видели, что у нее искалечены ноги? Она и шагу ступить не может без костылей... А вы... вы гру... — она удерживает гневное слово, готовое сорваться, — вы пригласили бедняжку танцевать!.. О, какой кошмар! Я сейчас же бегу к ней!

— Нет, нет, — я в отчаянии хватаю Илону за руку, — одну минутку, только одну минуту. Пойдите... Ради Бога, извинитесь за меня перед ней. Не мог же я предполагать... Ведь я видел ее только за столом, да и то всего лишь секунду. Объясните ей, умоляю вас!..

Однако Илона, гневно сверкнув глазами, высвобождает руку и бежит в комнату. У меня перехватывает дыхание, я стою в дверях гостиной, заполненной непринужденно болтающими, смеющимися людьми, которые вдруг стали для меня невыносимыми. Все кружится, жужжит, гудит, а я думаю: «Еще пять минут, и все узнают, какой я болван». Пять минут — и насмешливые, негодующие взгляды со всех сторон будут ощупывать меня, а завтра, смакуемый тысячью уст, по городу пройдет слух о моей дикой выходке! Уже спозаранку молочницы разносят его по всем кухням, а оттуда он расплзется по домам, проникнет в кафе и присутственные места. Завтра же об этом узнают в полку.

Как в тумане, я вижу ее отца. Немного расстроенный (знает ли он уже?), Кекешфальва пересекает гостиную. Не направляется ли он ко мне? Нет, все что угодно, но только не встретиться с ним в эту минуту! Меня внезапно охватывает панический страх перед ним и перед всеми остальными. И, не сознавая, что

делаю, я, спотыкаясь, бреду к двери, которая ведет в вестибюль, к выходу, вон из этого дьявольского дома.

— Господин лейтенант уже покидают нас? — почтительно осведомляется слуга.

— Да, — отвечаю я и сразу же пугаюсь, едва это слово слетает с моих губ.

Неужели я действительно хочу уйти? И в тот миг, когда слуга подает мне шинель, я отчетливо представляю себе, что своим трусливым бегством совершаю новую и, быть может, еще более непростительную глупость. Однако отступить уже поздно. Не могу же я, в самом деле, снова отдать ему шинель и вернуться в гостиную, когда он с легким поклоном уже открывает передо мной дверь. И вот я, сгорая от стыда, стою перед этим чужим, проклятым домом, подставив лицо ледяному ветру, и судорожно, как утопающий, хватаю ртом воздух.

С той злосчастной ошибки все и началось. Теперь, хладнокровно и по прошествии многих лет, вспоминая нелепый случай, который положил начало роковому сцеплению событий, я должен признать, что, в сущности, впутался в эту историю по недоразумению; даже умный и бывалый человек мог допустить такую оплошность — пригласить на танец хромую девушку. Однако, поддавшись первому впечатлению, я тогда решил, что я не только круглый дурак, но и бессердечный грубиян, форменный злодей. Я чувствовал себя так, будто хлыстом стегнул ребенка. В конце концов со всем этим еще можно было бы справиться, прояви я достаточно самообладания; но дело окончательно испортило то, что я — и это стало ясно сразу же, как только в лицо мне хлестнул первый порыв ледяного ветра, — просто убежал, как преступник, даже не попытавшись оправдаться.

Не могу описать, что творилось у меня на душе, пока я стоял перед домом. Музыка за ярко освещенными окнами умолкла, музыканты, по-видимому, сделали перерыв. Но я, мучительно переживая свою вину, уже вообразил сгоряча, что танцы

прервались из-за меня и все гости, мужчины и женщины, устремились к обиженной и утешают ее, дружно возмущаясь негодяем, который пригласил на танец хромого ребенка и трусливо сбежал после гнусного поступка. А завтра — я почувствовал, как вспотел лоб под фуражкой, — завтра о моем позоре узнает и будет судачить весь город. Уж обыватели постараются, перемоют мне косточки! Мне рисовалось, как мои товарищи по полку, Ференц Мысливец и, конечно, Йожи, этот заядлый остряк, предвкушая удовольствие, скажут в один голос: «Ну, Тони, и отмочил же ты штуку! Стоило один-единственный раз спустить тебя с привязи — и готово, опозорил весь полк!» Месяцами будет продолжаться зубоскальство в офицерском казино: ведь у нас по десять, по двадцать лет пережевывают за столом каждый промах, когда-либо допущенный кем-нибудь из офицеров, всякое идиотство у нас увековечивается, всякой шутке воздвигают памятник. Еще и поныне, шестнадцать лет спустя, в полку рассказывают нелепую историю, случившуюся с ротмистром Вольтским. Возвратившись из Вены, он прихвастнул, будто познакомился на Рингштрассе с графиней Т. и первую же ночь провел в ее спальне; а через два дня все узнали из газет о скандальном происшествии с уволенной ею служанкой, которая выдавала себя за графиню в своих аферах и любовных интрижках. Помимо всего, новоявленный Казанова был вынужден пройти трехнедельный курс лечения у полкового врача. Кто хоть однажды попал в дурацкое положение, остается навсегда посмешищем, ему этого не забудут, здесь уж пощады не жди. И чем сильнее я распался свое воображение, тем больше сумасбродных мыслей лезло мне в голову. В те минуты мне казалось, что в сто раз легче нажать спусковой крючок револьвера, чем целыми днями испытывать адские муки беспомощного ожидания: известно ли уже однополчанам о моем позоре, и не раздастся ли за моей спиной насмешливый шепот? Ах, я слишком хорошо знал себя, знал, что у меня никогда не хватит сил устоять, если я сделаюсь мишенью для насмешек и дам повод злословию!

Как я тогда добрался до казармы, мне и самому непонятно. Помнится только, первым делом я распахнул шкаф, где специально для гостей держал бутылку сливовицы, и выпил два-три неполных стакана, стараясь заглушить противное ощущение тошноты. Затем я, как был в одежде, бросился на кровать и попытался хорошенько обо всем поразмыслить. Но, подобно цветам, пышно распускающимся в душной теплице, навязчивые представления буйно разрастаются в темноте. Фантастически запутанные, они раскаленными прутьями обвивают тебя и душат; с быстротою сновидений в разгоряченном мозгу возникают, сменяя друг друга, чудовищные кошмары. Опозорен на всю жизнь, думал я, изгнан из общества, осмеян товарищами, знакомыми, всем городом. Никогда уже не смогу я покинуть эту комнату, не осмелюсь выйти на улицу из страха повстречать кого-либо из тех, кто знает о моем преступлении (ибо в ту ночь, когда я испытал первую душевную тревогу, моя оплошность представлялась мне преступной, а сам я казался себе гонимым и затравленным всеобщими насмешками). Наконец я забылся неглубоким, поверхностным сном, но лихорадка кошмаров продолжалась и во сне. Едва я раскрываю глаза, как снова вижу разгневанное детское лицо, дрожащие губы, судорожно вцепившиеся в край стола руки, слышу стук падающих деревяшек, только теперь поняв, что то были ее костыли, и мне, охваченному безумным страхом, мерещится, что открывается дверь и ее отец — черный сюртук, белая манишка, золотые очки, жидкая козлиная бородка — подходит к моей кровати. В страхе вскакиваю я с постели. И пока я глазею в зеркало на свое вспотевшее от страха лицо, меня обуревает желание дать по морде болвану, который смотрит на меня.

Однако, на мое счастье, уже наступил день; в коридоре громяют тяжелые шаги, внизу на мостовой тарахтят повозки. А когда в окнах светло, мысли проясняются быстрее, чем в зловещем мраке, где рождаются привидения. Быть может, говорю я себе, дело обстоит не так уж безнадежно? Быть может, никто ничего и не заметил? Она-то, конечно, никогда этого не забудет и не простит, бедная хромоножка! И вдруг в моем мозгу

молнией вспыхивает спасительная мысль. Я поспешно приче-
сываюсь, надеваю мундир и пробегаю мимо озадаченного де-
нщика, который в отчаянии кричит мне вслед на своем ужас-
ном немецком языке с гуцульским акцентом:

— Пане лейтенант! Пане лейтенант, кофе уже готов!

Я слетаю с лестницы и с такой быстротой проношусь мимо
улан, которые толкуются, еще полуодетые, во дворе казармы,
что они едва успевают стать навытяжку. Два-три прыжка — и
я за воротами бегу прямо к цветочной лавке на площади Рату-
ши. Второпях я, конечно, совершенно забыл, что в половине
шестого утра магазины еще закрыты, но, к счастью, фрау Гур-
тнер, кроме цветов, торгует и овощами. Увидев перед дверью
наполовину разгруженную повозку с картофелем, громко сту-
чу в окно и тут же слышу шаги спускающейся по ступенькам
хозяйки. Спешно придумываю объяснение: я совсем упустил
из виду, что сегодня именины моего друга. Через полчаса мы
выступаем, а мне очень хотелось бы послать ему цветы, прямо
сейчас. Только самые лучшие, и побыстрее! Толстая торговка,
еще в ночной кофте, шаркая дырявыми шлепанцами, отпирает
лавку и показывает мне свое сокровище — огромный букет роз.
Сколько я возьму? Все, отвечаю я, все! Завернуть просто так
или уложить в корзинку? Да, да, разумеется, в корзинку. На
роскошный заказ уходит весь остаток моего жалованья, в кон-
це месяца придется обойтись без ужинов, не заглядывать в
кафе или брать займы. Но сейчас мне это безразлично, более
того, я даже рад, что моя оплошность так дорого мне обходится,
ибо в душе я испытываю злорадное чувство: так тебе, дураку,
и надо, расплачивайся за дважды совершенную глупость!

Ну вот, как будто все в порядке. Самые лучшие розы уло-
жены в корзинку, сейчас их отошлют! Однако фрау Гуртнер
выбегает на улицу и что-то кричит мне вслед. Куда и кому
должна она доставить цветы? Ведь господин лейтенант ничего
не сказал. «Трижды болван!» — мысленно ругаю я себя. От
волнения я даже забыл указать адрес.

— Вилла Кекешфальва, — распоряжаюсь я, — фрейлейн
Эдит фон Кекешфальве.

Мне вовремя вспоминается испуганный возглас Илоны, назвавшей имя моей несчастной жертвы.

— О, конечно, конечно, господа фон Кекешфальвы, — отвечает фрау Гуртнер с гордостью, — наши лучшие клиенты.

Еще один вопрос (я уже собрался уйти): не хочу ли я приписать несколько слов? Приписать? Ах, да! Кто отправитель? Иначе она не будет знать, от кого цветы.

Я снова вхожу в лавку, достаю визитную карточку и пишу на обороте: «Прошу простить меня». Нет, невозможно! Это было бы четвертой глупостью, к чему напоминать о своей бестактности? Ну, а что писать? «С искренним сожалением» — нет, это никуда не годится, еще подумает, что сожаления достойна она. Лучше вообще ничего не писать.

— Вложите в цветы визитную карточку, фрау Гуртнер, просто визитную карточку.

Теперь у меня отлегло от сердца. Я спешу обратно в казарму, глотаю свой кофе и добросовестно провожу утренние занятия, только, пожалуй, более нервозно и рассеянно, чем обычно. Но в армии не очень-то обращают внимание, если какой-нибудь лейтенант является поутру на службу в дурном расположении духа. Многие из наших офицеров, прогуляв ночь в Вене, возвращаются такие усталые, что клюют носом на ходу и засыпают в седле. Собственно, я даже доволен, что занят привычным делом: произвожу смотр своим уланам, отдаю команды и затем выезжаю на плац. Служба в какой-то мере отвлекает меня от беспокойных мыслей; хотя, признаться, где-то в голове не перестает сверлить неприятное воспоминание, а в горле словно застряла пропитанная желчью губка.

Но вот в полдень, только я направился в казино, как слышу знакомое: «Пане лейтенант, пане лейтенант!» Мой денщик, запыхавшись, догоняет меня и протягивает письмо — продолговатый конверт, на обороте искусно вытисненный герб, голубая английская бумага, нежный запах духов; адрес написан тонкими, удлинненными буквами — женская рука! Нетерпеливо вскрываю конверт и читаю: «От всего сердца благодарю вас, уважаемый господин лейтенант, за чудесные цветы, которые я

не заслужила. Они мне доставили и доставляют огромное удовольствие. Приходите к нам, пожалуйста, на чашку чаю в любой вечер. Предупреждать не надо. Я — к сожалению! — всегда дома. Эдит ф. К.»

Изящный почерк. Я невольно вспоминаю тонкие детские пальчики, вцепившиеся в крышку стола, и бледное лицо, внезапно вспыхнувшее алым румянцем, словно в бокал плеснули бордо. Еще и еще раз я перечитываю эти несколько строк и с облегчением вздыхаю. Как она тактично умалчивает о моем промахе! И в то же время как умело и деликатно сама намекает на свой недуг. «Я — к сожалению! — всегда дома». Более великодушного прощения и пожелать нельзя. Ни тени обиды. У меня с сердца точно камень свалился. Я почувствовал себя, как подсудимый, который уже думал, что его приговорят к пожизненному заключению, а судья встает, надевает шапочку и объявляет: «Оправдан». Разумеется, я на этой же неделе пойду туда, чтобы поблагодарить ее. Сегодня четверг, значит, пойду в воскресенье. Или нет, лучше в субботу!

Но я не сдержал своего слова. Я был слишком нетерпелив. Желание как можно скорее избавиться от тягостного чувства неопределенности, узнать, что я окончательно прощен, не давало мне покоя, ибо втайне я все время опасался, что в казино, в кафе или где-либо еще меня спросят: «Послушай, что у тебя там произошло с Кекешфальвами?» Мне хотелось, чтобы я тоном спокойного превосходства смог отпарировать: «Обаятельные люди! Вчера вечером я опять был у них», — и тогда бы каждому стало ясно, что меня вовсе не вытолкали оттуда в шею. Только бы поставить точку на этой досадной истории! Только бы разделаться с нею! В конце концов мое нервное напряжение привело к тому, что уже на следующий день, то есть в пятницу, как раз когда мы с Йожи и Ференцем, моими лучшими друзьями, шатались по Корсо, я вдруг принял решение: нанести визит сегодня же. Несколько озадачив своих приятелей, я внезапно распрощался с ними.

До виллы Кекешфальвы не особенно далеко, самое большое полчаса, если идти быстрым шагом. Сначала пять скучнейших минут через город, затем по немного пыльной проезжей дороге, которая ведет также к учебному плацу и на которой наши кони уже знают каждый камешек и каждый поворот (можно ехать, совсем опустив поводья). Примерно на полпути, у маленькой часовни за мостом, влево отходит, прилежно следуя плавным изгибам тихого ручейка, неширокая аллея старых, тенистых каштанов, которой редко пользуются пешеходы и экипажи.

Но удивительно: чем ближе я подхожу к усадьбе — уже видна ее белая каменная ограда с решетчатыми воротами, — тем быстрее улетучивается мое мужество. Как иногда, стоя перед дверью зубного врача, раздумываешь, не повернуть ли обратно, пока еще не позвонил, так и сейчас мне захотелось ретироваться. В самом деле, разве нужно идти непременно сегодня? И почему бы не считать, что вся эта неприятная история окончательно улажена той запиской? Я невольно замедляю шаг; в конце концов, для отступления еще есть время, а когда не стремишься идти прямым путем, окольный всегда оказывается соблазнительнее; и вот, перейдя через ручей по шаткой доске, я сворачиваю с аллеи на луг, решив сначала прогуляться вокруг усадьбы.

Дом за высокой каменной оградой представляет собой продолговатое одноэтажное здание в стиле позднего барокко; он окрашен на староавстрийский манер: стены — шенбруннской желтой, а оконные ставни — зеленым. В глубине двора, на границе просторного парка, которого я вчера не заметил, виднеется несколько небольших построек — наверно, помещение для прислуги, контора и конюшни. Только сейчас, заглядывая через овальные отверстия в толстой стене — так называемые бычьи глаза, — я убеждаюсь, что «дворец» Кекешфальвы вовсе не похож на современную виллу, как я предполагал вначале, судя по его внутреннему устройству; нет, это настоящий помещичий дом, старинная дворянская усадьба вроде тех, что я не раз встречал в Богемии, когда бывал там на маневрах. Стран-

ное впечатление производит лишь четырехугольная башня, нелепо торчащая над усадьбой и своей формой немного напоминающая итальянскую *campanile**: очевидно, она осталась от замка, который стоял здесь много лет назад. Мне вспомнилось, что я часто смотрел на эту диковинную вышку с учебного плаца, принимая ее за колокольню какой-нибудь деревенской церкви; только теперь мне бросилось в глаза, что вместо обычного шпиля у странного сооружения плоская крыша, — вероятно, солярий или обсерватория. Однако чем больше я убеждался в старинном, феодальном происхождении этой дворянской усадьбы, тем неуютнее я себя чувствовал: именно здесь, где на внешние формы, несомненно, обращают особое внимание, я так неуклюже дебютировал.

Наконец, обойдя вокруг ограды, я снова очутился перед воротами. Собравшись с духом, прохожу посыпанную гравием аллею между шпалерами ровно подстриженных деревьев и поднимаю тяжелый бронзовый молоток, который, по старому обычаю, висит у парадного подъезда. На стук тотчас выходит слуга. Странно, его, кажется, ничуть не удивляет то, что я пришел без предупреждения. Ни о чем не спросив и даже не взглянув на визитную карточку, которую я приготовился ему вручить, он с учтивым поклоном приглашает меня подождать в гостиной — дамы еще у себя в комнате, но придут сию минуту; итак, я буду принят, можно не сомневаться. Как званого гостя, слуга проводит меня дальше; вновь испытывая чувство неловкости, я узнаю красную гостиную, где тогда танцевали, а горький вкус во рту напоминает мне, что рядом должна быть та злополучная комната.

Правда, раздвижная дверь кремового цвета с изящным золотым орнаментом поначалу скрывает от меня место столь свежего в моей памяти происшествия, но уже спустя несколько минут из-за этой двери доносится шум отодвигаемых стульев, чьи-то приглушенные голоса и осторожные шаги, выдающие присутствие нескольких человек. В ожидании я рассматриваю

* Колокольню (итал.).

гостиную: роскошная мебель в стиле Louis seize*, справа и слева старинные гобелены, а в простенке между стеклянными дверьми, ведущими прямо в парк, старые картины с видами Canale grande** и Piazza San Marco***, которые, хотя я и не знаток, кажутся мне очень ценными. Признаться, я не очень вникаю в достоинства этих сокровищ, так как продолжаю с напряженным вниманием прислушиваться к звукам в соседней комнате. Вот тихо звякнули тарелки, скрипнула дверь, а теперь, мне кажется, я даже различаю неравномерный стук костылей.

Наконец чья-то невидимая рука раздвигает дверь, и ко мне выходит Илона.

— Как это мило, что вы пришли, господин лейтенант! — произносит она и сразу ведет меня в слишком хорошо знакомую комнату. В том же углу, в том же кресле и за тем же малахитовым столиком (зачем же они опять пригласили меня в эту комнату?) сидит больная; ее ноги укутаны пушистым белым меховым одеялом, очевидно, чтобы не напоминать мне о «том». Эдит приветствует меня из своего уголка дружелюбной улыбкой, несомненно, обдуманной. И все же эти первые минуты окрашены воспоминанием о роковой встрече; по тому, как Эдит несколько принужденно протягивает мне через стол руку, я сразу вижу, что и она думает о «том». Ни ей, ни мне не удается произнести первое слово.

К счастью, Илона поспешно нарушает гнетущее молчание.

— Что позволите предложить вам, господин лейтенант, чай или кофе?

— О, как вам угодно, — отвечаю я.

— Нет, что вы больше любите, господин лейтенант? Только, пожалуйста, без церемоний, прошу вас.

— Тогда кофе, если можно, — решаюсь я, с радостью отмечая про себя, что голос мой звучит почти твердо.

Своим деловым вопросом эта смуглая девушка чертовски

* Людовика Шестнадцатого (франц.).

** Большого канала (итал.).

*** Площади Св. Марка (итал.).

ловко помогла преодолеть натянутость. Но как безжалостно с ее стороны тут же выйти из комнаты, чтобы отдать распоряжение слуге, — ведь я остаюсь с глазу на глаз со своей жертвой, да, неприятное положение. Надо что-то сказать, à tout prix* завязать разговор. Но в горле застрял комок, да и взгляд у меня, наверное, несколько смущенный, так как я не осмеливаюсь посмотреть в сторону кресла: не дай Бог, она подумает, что я гляжу на одеяло, прикрывающее ее парализованные ноги. К счастью, она владеет собой лучше меня и начинает разговор нервно-возбужденным тоном, который для меня пока еще внове:

— Но присядьте же, господин лейтенант. Подвиньте к себе кресло, вот это. И почему вы не снимете саблю? Ведь мы же не собираемся воевать... Положите ее... вон туда, на стол или на подоконник, все равно, куда хотите.

Я придвигаю кресло, пожалуй, чересчур старательно. Мне все еще никак не удается придать своему взгляду желательную непринужденность. Но Эдит энергично приходит мне на помощь.

— Я еще не поблагодарила вас за те прелестные цветы... они действительно прелестны, вы только посмотрите, как они хороши в вазе. И потом... потом я должна извиниться перед вами за мою глупую несдержанность... я вела себя просто ужасно... всю ночь никак не могла заснуть: так мне было стыдно. Ведь вы и не думали меня обидеть... откуда же вам было знать? И кроме того... — она вдруг отрывисто засмеялась, — кроме того, вы угадали мое самое сокровенное желание... ведь я нарочно села так, чтобы видеть танцующих, и, как раз когда вы подошли, мне больше всего на свете хотелось потанцевать... я просто без ума от танцев. Я могу часами смотреть, как другие танцуют, — смотреть так, что начинаю чувствовать каждое их движение... правда, правда... И тогда мне начинает казаться, что это танцую я сама, что это я легко и свободно кружусь в вальсе... Ведь прежде, ребенком, я хорошо танцевала и очень любила танце-

* Во что бы то ни стало (франц.).

вать... и теперь мне часто снятся танцы. Да, как это ни глупо, но я танцую во сне, и... может быть, для папы и лучше, что у меня от... что со мной так случилось, иначе я бы наверняка убежала из дому и стала балериной... Это моя самая большая страсть. Я всегда думала: как это, должно быть, чудесно своими движениями, всем своим существом каждый вечер привлекать, волновать, покорять сотни людей... это, должно быть, великолепно!.. Кстати, чтоб вы знали, какая я сумасбродка, — ведь я собираю фотографии великих балерин. У меня есть карточки их всех — Сагарэ, Павловой, Карсавиной, во всех ролях и позах. Подождите, я вам сейчас покажу их... они лежат в шка-тулке... вон там у камина... в китайской шкатулке... — От нетерпения ее голос внезапно стал резким. — Да нет, не та, слева около книг... ну какой же вы неповоротливый!.. Да, вот эта! (Я наконец отыскал шкатулку и принес ее.) Та, что свер-ху, — самая моя любимая карточка: Павлова — умирающий лебедь... Ах, если б я только могла поехать, увидеть ее хоть разок, это был бы счастливейший день в моей жизни!

Задняя дверь, через которую вышла Илона, медленно от-крывается. Поспешно, словно застигнутая на месте преступле-ния, Эдит захлопывает шкатулку, слышится резкий, сухой шелчок. Ее слова звучат как приказ:

— При них ни слова о том, что я вам говорила! Ни слова!

Человек, осторожно приоткрывший дверь, оказывается ста-рым слугой с аккуратными седыми бакенбардами á la Франц-Иосиф; вслед за ним Илона вкатывает богато сервированный чайный столик. Налив кофе, она подсаживается к нам, и я сразу же начинаю чувствовать себя увереннее. Желанный по-вод для разговора дает большущая ангорская кошка, которая неслышно проскользнула сюда вместе со столиком и теперь доверчиво трется о мои ноги. Я восхищаюсь кошкой, потом начинаются расспросы: сколько времени я уже здесь и как мне живется в гарнизоне, не знаю ли я лейтенанта такого-то, часто ли бываю в Вене, — невольно завязывается обычная легкая беседа, в ходе которой незаметно тает первоначальная скован-ность. Постепенно я даже отваживаюсь искоса посматривать на

девушек, они совершенно не похожи друг на друга: Илона — уже настоящая женщина, сформировавшаяся, цветущая, полная чувственной теплоты и здоровья; рядом с нею Эдит выглядит девочкой, в свои семнадцать-восемнадцать лет она кажется все еще незрелой. Удивительный контраст: с одной хотелось бы танцевать, целоваться, другую — побаловать, как больного ребенка, приласкать, защитить и прежде всего утешить. Ибо от всего ее существа исходит какое-то странное беспокойство. Ни на одно мгновение ее лицо не остается спокойным: она смотрит то вправо, то влево, то вдруг вся напрягается, то, словно в изнеможении, откидывается назад; так же нервно она и разговаривает — всегда отрывисто, стаккато, без пауз. Быть может, думаю я, эта несдержанность и беспокойство как бы компенсируют вынужденную неподвижность ног или же ее жестам и речи придает порывистость постоянная легкая лихорадка. Но у меня мало времени для наблюдений. Своими быстрыми вопросами и живой, стремительной манерой разговора она полностью приковывает к себе внимание; неожиданно для себя я оказываюсь втянутым в интересную, увлекательную беседу.

Так проходит час, а быть может, и полтора. Вдруг из гостинной бесшумно появляется чья-то фигура; кто-то входит так осторожно, словно боится нам помешать. Это Кекешфальва.

— Сидите, сидите, пожалуйста, — останавливает он меня, видя, что я собираюсь встать, и, наклонившись, касается губами лба дочери. На нем все тот же черный сюртук с белой манишкой и старомодный галстук (я ни разу не видел его одетым иначе); пристальный взгляд за стеклами очков делает его похожим на врача. И действительно, он осторожно подсаживается к Эдит, будто врач к постели больного. Странно, с того момента, как он вошел, на нас словно повеяло грустью. Пытливые и нежные взгляды, которые он время от времени робко бросает на дочь, гасят и приглушают ритм нашей непринужденной болтовни. Вскоре Кекешфальва сам замечает наше смущение и делает попытку оживить разговор. Он тоже спрашивает меня о службе, о ротмистре, о нашем прежнем

полковнике, который перешел в военное министерство. Он обнаруживает поразительную осведомленность во всех перемещениях в нашем полку за многие годы, и не знаю почему, но мне кажется, что он с каким-то определенным намерением подчеркивает свое близкое знакомство со старшими офицерами.

Еще десять минут, думаю, и я незаметно откланяюсь. Но тут снова кто-то тихо стучится в дверь; бесшумно, словно босиком, входит слуга и что-то шепчет Эдит на ухо. Она тотчас вспыхивает.

— Пусть подождет. Или нет: передайте ему, чтобы сегодня он оставил меня в покое. Пусть убирается, он мне не нужен.

Мы все возмущены ее горячностью. Я поднимаюсь, досадуя, что засиделся. Но она прикрикивает на меня так же бесцеремонно, как и на слугу:

— Нет, останьтесь! Все это ерунда.

Собственно, ее повелительный тон свидетельствует о невоспитанности. Отец, видимо, тоже испытывает мучительную неловкость, он беспомощно и озабоченно увещевает ее:

— Но, Эдит...

И вот — то ли по испугу отца, то ли по моей растерянности — она вдруг сама чувствует, что не совладала с собой, и неожиданно обращается ко мне:

— Извините меня, но Йозеф действительно мог бы подождать и не врываться сюда. Ничего особенного, просто ежедневная пытка — массажист, который занимается со мной гимнастикой. Чистейшая ерунда — раз-два, раз-два, вверх, вниз, вверх — и в один прекрасный день я здорова. Новейшее открытие нашего дорогого доктора, а на самом деле ничего, кроме лишних мучений. Бесполезно, как и все остальное.

Она вызывающе смотрит на отца, точно обвиняя его. Старик смущенно (ему стыдно передо мной) наклоняется к ней.

— Но, дитя мое... ты действительно думаешь, что доктор Кондор...

Он тут же умолкает, потому что губы Эдит начинают дро-

жать, тонкие ноздри раздуваются. Точь-в-точь как тогда, вспоминается мне, и я уже опасаясь нового приступа, но она, неожиданно покраснев, смиряется и произносит ворчливым тоном:

— Ну ладно, так и быть, пойду. Хотя все это ни к чему, совершенно ни к чему. Извините, господин лейтенант, надеюсь, что скоро увижу вас снова.

Я кланяюсь и собираюсь уходить. Но она уже опять передумала.

— Нет, побудьте с папой, пока я промарширую в другую комнату.

Слово «промарширую» она произносит резко и отрывисто, как угрозу. Потом она берет со стола маленький бронзовый колокольчик и звонит; лишь позднее я заметил, что в этом доме на всех столах были под рукой такие же колокольчики, чтобы она в любой момент могла кого-нибудь позвать. Колокольчик звенит резко и пронзительно. Тотчас же появляется слуга, который незаметно удалился во время ее вспышки.

— Помоги мне! — приказывает она и отбрасывает меховое одеяло. Илона наклоняется к ней и что-то шепчет, но Эдит раздраженно обрывает подругу: — Нет, Йозеф только поможет мне приподняться. Я пойду сама.

То, что затем происходит, ужасно. Слуга наклоняется и, явно заученным движением взяв под мышки легкое тело, поднимает его. Встав на ноги и держась за спинку кресла, она вызывающе глядит на каждого из нас по очереди, потом хватается костыли, которые были спрятаны под одеялом, опирается на них и, закусив губы, выбрасывает тело вперед. Тук-тук, ток-ток — качаясь, волоча ноги, скрючившись, словно ведьма, она тащится через комнату, а слуга, широко расставив руки, следует по пятам, готовый в любую секунду подхватить ее, если она поскользнется или ослабеет. Тук-тук, ток-ток, еще шаг, еще один, и каждый раз что-то негромко звякает и скрипит, как металл и натянутая кожа: наверно, она — я не осмеливаюсь смотреть на ее бедные ноги — носит какие-нибудь специальные приспособления. Словно тисками, сдавливает мне грудь,

пока я наблюдаю этот «форсированный марш», — я сразу понял, что она нарочно не позволила отвезти себя в кресле или помочь ей: она пожелала продемонстрировать всем нам, в том числе и мне, особенно мне, что она калека. Из какой-то неопостижимой жажды мести, порожденной отчаянием, ей хочется, чтобы мы терзались ее мукой; она стремится причинить нам боль, обвинить в своем несчастье нас, здоровых, а не Бога. Но чем грубее этот вызов, тем острее я чувствую — в тысячу раз острее, чем тогда, когда я поверг ее в смятение, пригласив танцевать, — как безгранично страдает она от своей беспомощности. Наконец — прошла целая вечность, — с невероятным трудом перебрасывая всю тяжесть своего слабого, измученного, худенького тела с одного костыля на другой, Эдит проковыляла несколько шагов до двери. У меня недостает мужества хоть один-единственный раз прямо взглянуть на нее. Ибо безжалостный, сухой стук костылей, сопровождающий каждый ее шаг, скрип и скрежет механизмов, тяжелое, прерывистое дыхание потрясают меня до такой степени, что сердце готово выскочить из груди. За ней уже закрылась дверь, а я, едва дыша, все еще напряженно прислушиваюсь, как постепенно удаляются, пока наконец не затихают совсем, эти страшные звуки.

И только когда наступает полная тишина, я осмеливаюсь поднять глаза. Старик (я заметил это не сразу) отошел к окну и стоит, внимательно всматриваясь в даль, пожалуй, слишком внимательно. Против света виден лишь его силуэт, но я все же различаю, как вздрагивают поникшие плечи. И он, отец, который каждый день видит мучения своей дочери, раздавлен этим зрелищем, как и я.

Воздух в комнате, казалось, застыл. Через несколько минут темная фигура наконец поворачивается и, неуверенно ступая, словно по скользкому льду, тихо подходит ко мне.

— Пожалуйста, не обижайтесь на девочку, господин лейтенант, если она и была немного резка... ведь вы не знаете, чего только не пришлось ей вынести за все эти годы... Каждый раз что-нибудь новое, а дело движется медленно, страшно медлен-

но... Она теряет всякое терпение, я понимаю ее. Но что поделаешь? Ведь нужно все испытать, все.

Старик остановился у чайного столика. Он говорит, не глядя на меня, его глаза, полуприкрытые серыми веками, неподвижно устремлены на стол. Словно в забытьи, берет он из открытой сахарницы кусок сахара, вертит его в пальцах и кладет обратно; в эту минуту он похож на пьяного. Его взгляд все еще никак не может оторваться от столика, будто что-то особенное приковало там его внимание. Он опять машинально берет ложку, затем кладет ее и начинает говорить, как бы обращаясь к этой ложке:

— Если б вы знали, какой была девочка раньше! Целый день она носилась вверх и вниз по всему дому так, что нам просто становилось не по себе. В одиннадцать лет она галопом скакала на своем пони по лугам, никто не мог догнать ее. Мы, моя покойная жена и я, часто боялись за нее — такой отчаянной она была, такой озорной, подвижной... Нам всегда казалось, стоит только ей раскинуть руки, и она взлетит... и вот именно с ней должно было случиться такое, именно с ней...

Его голова, покрытая редкими седыми волосами, опускается еще ниже. Нервные пальцы по-прежнему беспокойно шарят по столу, задевая разбросанные предметы; вместо ложки они схватили теперь сахарные щипцы и чертят ими на скатерти какие-то загадочные письмена (я знаю: это стыд, смущение, он просто боится посмотреть мне в глаза).

— И все же как легко даже теперь развеселить ее! Любой пустяк радует ее, как ребенка. Она может смеяться всякой шутке и восхищаться каждой интересной книгой. Если б вы видели, в каком восторге она была, когда принесли ваши цветы, она перестала мучиться мыслью, что оскорбила вас... Вы даже не подозреваете, как тонко она все чувствует... она воспринимает все гораздо острее, чем мы с вами. Я уверен, что и сейчас никто так сильно не переживает случившееся, как она сама... Но можно ли без конца сдерживаться... откуда ребенку набраться терпения, если все идет так медленно! Как может она оставаться спокойной, если Бог так несправедлив к ней, а

ведь она ничего не сделала плохого... никому ничего не сделала плохого...

Он все еще пристально смотрит на воображаемые фигуры, которые его дрожащая рука нарисовала сахарными щипцами. И вдруг, будто испугавшись чего-то, бросает щипцы на стол. Кажется, он словно очнулся и только сейчас осознал, что разговаривает не с самим собой, а с совершенно посторонним человеком. Совсем другим голосом, твердым, но глуховатым, он неловко извиняется передо мной.

— Простите, господин лейтенант... как могло случиться, что я стал утруждать вас своими заботами! Это просто потому... просто что-то нашло на меня... и... я только собирался объяснить вам... Мне не хотелось бы, чтобы вы плохо думали о ней... чтобы вы...

Не знаю, как набрался я смелости прервать его смущенную речь и подойти к нему. Но я вдруг обеими руками взял руку старого, чужого мне человека. Я ничего не сказал. Я только схватил его холодную, исхудалую, невольно дрогнувшую руку и крепко пожал ее. Он удивленно поднял глаза, и за сверкнувшими стеклами очков я увидел его неуверенный взгляд, робко искавший встречи с моим. Я боялся, что он сейчас что-нибудь скажет. Но он молчал; только черные зрачки становились все больше и больше, словно стремились расшириться до бесконечности. Я почувствовал, что мною овладевает какое-то новое, незнакомое волнение, и, чтобы не поддаться ему, торопливо поклонился и вышел.

В вестибюле слуга помог мне надеть шинель. Неожиданно я почувствовал сквозняк. Даже не оборачиваясь, я догадался, что старик, движимый потребностью поблагодарить меня, вышел следом за мной и стоит сейчас в дверях. Но я боялся расчувствоваться. Сделав вид, что не заметил его, я поспешно, с сильно бьющимся сердцем покинул этот несчастный дом.

На следующее утро, когда легкий туман еще висит над домами и все ставни закрыты, оберегая сон горожан, наш эскадрон, как обычно, выезжает на учебный плац. Сначала мел-

кой рысцей трусим по неровному булыжнику; мои уланы, сонные и угрюмые, покачиваются в седлах. Вскоре улицы остаются позади, вот и шоссе; мы переходим на легкую рысь, а потом сворачиваем направо — в луга. Я подаю своему взводу команду: «Галопом, марш!» — и кони, захрапев, рывком бросаются вперед. Умные животные уже знают это славное, мягкое, широкое поле; их незачем больше понукать, можно отпустить поводья: едва ощутив прикосновение шенкелей, они пускаются во всю прыть. Им тоже ведома радость напряжения и разрядки.

Я скачу впереди. Я страстно люблю скачку. Я чувствую, как кровь, порывистыми толчками поднимаясь от бедер, живительным теплом разливается по вялому телу, а холодный ветер обвеивает щеки и лоб. Изумительный утренний воздух! Он еще пахнет ночной росой, дыханием вспаханной земли, ароматом цветущих полей, и в то же время тебя обволакивает теплый пар из трепетно раздувающихся ноздрей коня. Меня всякий раз захватывает этот первый утренний галоп, он так приятно взбадривает одеревеневшее, заспанное тело, что вялость сразу исчезает, точно душный туман под порывом ветра; от ощущения легкости невольно ширится грудь, и открытым ртом я пью свистящий воздух.

«Галопом! Галопом!» И вот уже светлеет взор, обостряются чувства, а за спиной слышится ритмичное позвякивание сабель, шумное и прерывистое дыхание лошадей, мягкое поскрипывание седел и ровная дробь копыт. Словно огромный кентавр, стремительно мчится эта слившаяся в едином порыве группа людей и коней. Вперед, вперед, вперед, галопом, галопом, галопом! Вот так бы скакать и скакать на край света! С тайной гордостью повелителя и творца этого наслаждения я время от времени оборачиваюсь, чтобы взглянуть на своих людей. И внезапно замечаю, что у моих славных улан уже совсем другие лица. Гнетущая гуцульская подавленность, отупелость, сон — все это смыто с их лиц, как копоть. Почувствовав, что на них смотрят, они еще больше выпрямляются и отвечают улыбкой на мой радостный взгляд. Я вижу, что даже

эти забитые крестьянские парни охвачены восторгом стремительного движения — вот-вот взлетят! Как и меня, их пьянит животная радость от ощущения молодости, от избытка рвущихся на волю сил.

И вдруг я отдаю команду: «Сто-о-ой! Рыы-сь-ю!» Все разом натягивают поводья, и взвод, затормозив, точно автомобиль, переходит на тяжелый аллюр. Люди косятся на меня чуть озадаченно: ведь обычно — они знают меня и мою неукротимую страсть к скачке — мы галопом промахивали луга до самого плаца. Но в этот раз словно чья-то невидимая рука рванула мои поводья — я неожиданно о чем-то вспомнил. Слева на горизонте мой взгляд, должно быть, случайно уловил белый квадрат усадебной ограды, деревья парка, башню, и, точно пуля, меня пронзила мысль: «А что, если кто-то смотрит на тебя оттуда? Кто-то, кого ты оскорбил своей страстью к танцам, а теперь снова оскорбляешь страстью к верховой езде? Кто-то со скованными параличом ногами, кому, наверное, завидно глядеть, как ты птицей летишь по полям?» Так или иначе, мне вдруг стало стыдно за эту скачку, такую безудержную, здоровую и хмельную, стыдно за эту откровенную физическую радость, словно какую-то незаслуженную привилегию. Разочарованные, медленной тяжелой рысью трусят за мной уланы. Напрасно ждут они — я чувствую это спиной — команды, которая вернет им прежнее воодушевление.

Правда, в ту самую секунду, когда мною овладевает это странное оцепенение, я сознаю, что подобное самобичевание глупо и бесполезно. Я понимаю, что бессмысленно лишать себя удовольствия из-за того, что его лишены другие, отказываться от счастья потому, что кто-то другой несчастлив. Я знаю, что в ту минуту, когда мы смеемся над плоскими шутками, у кого-то вырывается предсмертный хрип, что за тысячами окон прячется нужда и голодают люди, что существуют больницы, каменоломни и угольные шахты, что на фабриках, в конторах, в тюрьмах бесчисленное множество людей час за часом тянет лямку подневольного труда, и ни одному из обездоленных не станет легче, если кому-то другому взбредет в голову тоже

пострадать, бессмысленно и бесцельно. Стоит только — для меня это яснее ясного — на миг охватить воображением все несчастья, случающиеся на земле, как у тебя пропадет сон и смех застрянет в горле. Но не выдуманные, не воображаемые страдания тревожат и сокрушают душу — действительно потрясти ее способно лишь то, что она видит воочию, сочувствующим взором. В разгар скачки близко и осязаемо встало вдруг передо мной, словно видение, бледное, искаженное лицо Эдит, я представил себе, как она ковыляет через комнату на костылях, и мне опять послышался их стук вместе с позвякиванием и скрипом скрытых механизмов. Не думая, не рассуждая, я, поддавшись внезапному испугу, натянул поводья. Напрасно твердил я себе: «Разве кому-нибудь легче от того, что ты с увлекательного, бодрящего галопа перешел на дурацкую тяжелую рысь?» Неожиданный удар пришелся в ту часть сердца, которая лежит по соседству с совестью; я уже не мог свободно и естественно наслаждаться радостным ощущением бодрости и здоровья. Вялой, медленной рысью добираемся мы до *lisière**, через которую пролегает дорога к учебному плацу; и только когда усадьба скрывается из виду, я встряхиваюсь и говорю себе: «Чушь! Выбрось из головы эти дурацкие сантименты». И команду: «Га-а-лопо-о-ом! Маррш!»

С этого неожиданного рывка поводьев все и началось. Он был словно первым симптомом необычного отравления состраданием. Вначале появилось лишь смутное ощущение — так чувствуешь себя, захворав и просыпаясь с тяжелой головой, — что со мною что-то произошло или происходит. До сих пор я жил бездумно в своем ограниченном тесном мире. Я заботился лишь о том, что казалось значительным или забавным моим начальникам и моим товарищам, но никогда ни к кому не проявлял горячего интереса, да и мною никто особенно не интересовался. Настоящие душевные потрясения были мне не-

* Опушки (франц.).

ведомы. Мои семейные дела были упорядочены, и беспечность (я понял это только сейчас) царила в моем сердце и в мыслях. И вот неожиданно что-то случилось, что-то стряслось со мной, правда, с виду ничего существенного, ничего такого, что было бы заметно со стороны. И все же в тот короткий миг, когда в полных гнева глазах обиженной девушки отразилась неведомая мне прежде глубина человеческого страдания, словно какая-то плотина рухнула в моей душе, и наружу хлынул неудержимый поток горячего сочувствия, вызвав скрытую лихорадку, которая для меня самого оставалась необъяснимой, как для всякого больного его болезнь. Вначале я понял лишь, что перешагнул границу замкнутого круга, где моя прежняя жизнь протекала легко и просто, и вступил в иную сферу, которая, как все новое, волновала и тревожила; впервые передо мной разверзлась бездна чувства. Непостижимо, но мне казалось заманчивым броситься в нее и изведать все до конца. И в то же время инстинкт подсказывал мне, что опасно поддаваться столь дерзкому любопытству. Он внушал: «Довольно! Ты уже извинился. Ты покончил с этой глупой историей». Но другой голос во мне нашептывал: «Сходи туда! Ощути еще раз эту дрожь, пробегающую по спине, этот озноб страха и напряженного ожидания!» И опять предостережение: «Не навязывайся, не вмешивайся! Это испытание тебе не по силам. Простак, ты натворишь еще больше глупостей, чем в первый раз».

Неожиданным образом все решилось помимо меня, так как тремя днями позже я получил письмо от Кекешфальвы, в котором он спрашивал, не смогу ли я отобедать у них в воскресенье. На этот раз будут одни мужчины и, между прочим, подполковник фон Ф. из военного министерства, о котором он мне уже говорил; разумеется, его дочь и Илона будут очень рады меня видеть. Я не стыжусь признаться, что меня, застенчивого молодого человека, это приглашение преисполнило гордости. Значит, меня не забыли, а упоминание о подполковнике фон Ф., по-видимому, означало даже, что Кекешфальва (я сразу понял, чем вызвана его признательность) желает тактично оказать мне протекцию по службе.

И в самом деле, мне не пришлось раскаиваться в том, что я тотчас принял приглашение. Это был на редкость приятный вечер, и мне, молодому офицеру, до которого, говоря по совести, в полку никому не было дела, казалось, что эти пожилые знатные господа проявляют ко мне совершенно непривычную для меня сердечность, — видимо, Кекешфальва особо им меня откомендовал. Впервые в моей жизни старший офицер разговаривал со мной без высокомерия, диктуемого субординацией. Он спросил, нравится ли мне в полку и как обстоят дела с моим продвижением по службе, предложил заходить к нему без стеснения, когда я буду в Вене или если мне что-нибудь понадобится. Нотариус, веселый лысый человек с добродушным лицом, сияющим и круглым, как луна, тоже приглашал меня к себе в гости. Директор сахарного завода то и дело обращался ко мне. Как все это было не похоже на разговоры в нашем офицерском казино, где я должен был «покорнейше» соглашаться со всяким суждением начальника! Приятная уверенность в себе пришла ко мне скорее, чем я ожидал, и уже через полчаса я с полной непринужденностью принимал участие в общей беседе.

На стол подали новые блюда, известные мне только понаслышке и по хвастливым рассказам богатых товарищей: великолепную икру со льда (я пробовал ее впервые), фазанов, паштет из косули, и снова и снова вина, от которых легко и радостно становится на душе. Я понимаю, что глупо восторгаться подобными вещами, но к чему скрывать? Молодой избалованный офицеришка, я с детским тщеславием наслаждался тем, что пировал за одним столом с такими видными господами. Черт побери, поглядел бы на меня сейчас Лаврушка и тот заморыш вольноопределяющийся, который без конца хвастается, рассказывая, как они шикарно пообедали в Вене у Захера! Побывать бы им разок в таком доме — вот бы рты разинули! Черт возьми! Если бы они видели, эти завистники, как я непринужденно веду себя здесь, если бы слышали, как подполковник из военного министерства произносит тост за мое здоровье и как я дружески спорю с директором сахарного завода, а он

вполне серьезно замечает: «Я просто поражен вашей осведомленностью!»

Кофе мы пьем в будуаре; в высоких рюмках появляется охлажденный на льду коньяк, за ним целый калейдоскоп ликеров и, конечно, великолепные толстые сигары с золотыми этикетками. Во время беседы Кекешфальва наклоняется ко мне и доверительно спрашивает, желаю ли я играть в карты или предпочту поболтать с дамами. «Разумеется, последнее», — отвечаю я поспешно; отважиться на роббер с подполковником из военного министерства — затея рискованная. Выигрываешь — он, пожалуй, рассердится, а проиграешь — прощай, месячное жалованье! К тому же, вспоминаю я, у меня в бумажнике не больше двадцати крон.

И вот, пока в соседней комнате раскладывают ломберный столик, я подсаживаюсь к девушкам, и странно — вино ли это или хорошее настроение так преображает все кругом? — обе они кажутся мне сегодня удивительно похорошевшими. Эдит выглядит не такой бледной, не такой болезненно желтой, как в прошлый раз, — возможно, она чуть нарумянилась ради гостей или в самом деле ее щеки порозовели от оживления; так или иначе, но сегодня не видно нервно-трепещущих линий вокруг ее рта и произвольного подергивания бровей. Она в длинном розовом платье; ни мех, ни плед не скрывают ее увечья, но все мы в прекрасном расположении духа и не думаем об «этом». А Илона, мне кажется, даже немного захмелела: ее глаза так и искрятся, а когда она смеется, отведя назад красивые полные плечи, я отодвигаюсь, чтобы не поддаться искушению и не коснуться — как бы нечаянно — ее обнаженных рук.

Превосходный обед, чудесный коньяк, приятным теплом разлившийся по жилам, ароматная сигара, дым которой так нежно щекочет ноздри, две хорошенькие оживленные девушки по обе стороны — да тут и последний тупица станет красноречивым собеседником; а я и вообще-то неплохой рассказчик, если только не нападет на меня проклятая застенчивость. Но сегодня я особенно в ударе и болтаю с истинным вдохновением.

Разумеется, все, что я им преподношу, — это не более как глупые случаи, которые бывали у нас в полку, например, вроде того, что произошел на прошлой неделе. Полковник еще до закрытия почты хотел отослать срочное письмо с венским экспрессом и, вызвав одного улана, деревенского парня из коренных гуцулов, строго внушил ему, что письмо должно быть отправлено в Вену немедленно. Этот дурень опрометью бросается в конюшню, седлает своего коня, выезжает на шоссе и пускается галопом прямехонько в Вену! Если бы по телефону не дали знать в соседний гарнизон, чудак и в самом деле скакал бы восемнадцать часов кряду. Итак, я не утруждаю ни себя, ни своих слушательниц глубокомысленными рассуждениями, это лишь ходячие анекдоты, плоды казарменного остроумия многих поколений, но они — я и сам удивляюсь — бесконечно забавляют девушек, обе смеются без умолку. Смех Эдит звучит особенно задорно, и, хотя высокие серебристые ноты иной раз переходят в пронзительный дискант, веселье, несомненно, рвется из самой глубины ее существа, потому что кожа ее щек, тонкая и просвечивающаяся, точно фарфор, приобретает все более живой оттенок, отблеск здоровья и даже красоты озаряет лицо, а ее серые глаза, обычно холодные и чуть колючие, искрятся детской радостью. Приятно смотреть на нее в эти минуты, когда она забывает о своем недуге, — ее движения и жесты становятся свободнее и естественнее; она непринужденно откидывается на спинку кресла, смеется, пьет вино, притягивает к себе Илону и обнимает ее; право же, обе от души забавляются моей болтовней. Успех неизменно окрыляет рассказчика: на память мне приходит целая куча давно забытых историй. Всегда робкий и стеснительный, я проявляю неожиданное присутствие духа, смешу их и смеюсь вместе с ними. Словно расшалившиеся дети, веселимся мы трое в своем уголке.

Я шучу без устали и, кажется, позабыл обо всем на свете, кроме нашего веселого трио, но вместе с тем подсознательно я все время чувствую на себе чей-то взгляд. И это теплый, счастливый взгляд, от которого еще более усиливается мое собст-

венное ощущение счастья. Украдкой (я думаю, он стесняется присутствующих) старик время от времени косится поверх карт в нашу сторону и один раз, когда я встречаюсь с ним глазами, одобрительно кивает мне. В этот миг я замечаю, что лицо его светлеет, как у человека, слушающего музыку.

Так продолжается почти до полуночи; наша болтовня не прекращается ни на минуту. Снова подают что-то вкусное, какие-то чудесные сэндвичи, и примечательно, что не один только я набрасываюсь на них с аппетитом. Девушки тоже уплетают за обе щеки и пьют отличный, крепкий, темный, старый английский портвейн рюмку за рюмкой. Но в конце концов пора прощаться. Как старому другу, хорошему, верному товарищу, пожимают мне руку Эдит и Илона. Разумеется, с меня берут слово, что я приду опять — завтра или в крайнем случае послезавтра. Затем вместе с тремя остальными гостями я выхожу в вестибюль. Автомобиль развезет нас по домам. Пока слуга помогает одеться подполковнику, я сам беру свою шинель и, надевая ее, вдруг замечаю, что кто-то пытается мне помочь, — это господин фон Кекешфальва; я испуганно отшатываюсь: могу ли я, зеленый юнец, допустить, чтобы мне прислуживал пожилой человек! Но он придвигается ко мне и смущенно шепчет:

— Господин лейтенант! Ах, господин лейтенант... вы совсем не знаете... вы даже не представляете себе, какое это для меня счастье — снова слышать, как девочка смеется, по-настоящему смеется. Ведь у нее мало радости в жизни. А сегодня она была почти такой же, как прежде, когда...

В этот момент к нам подходит подполковник.

— Что ж, пошли? — дружески улыбается он мне.

Кекешфальва, конечно, не решается продолжать в его присутствии, но тут я чувствую, как старик робко прикасается к моему рукаву — так ласкают ребенка или женщину. Безграничная нежность и благодарность таятся в самой скрытности и сдержанности этого боязливое движения; в нем столько счастья и столько горя, что я чувствую себя глубоко растроганным, и, когда затем, соблюдая правила субординации, я спускаюсь

с подполковником по ступенькам к автомобилю, мне придется взять себя в руки, чтобы никто не заметил моего смущения.

Сильно взволнованный, я не сразу лег спать в тот вечер; казалось бы, какой незначительный повод — старик ласково погладил мой рукав, и только! — но сдержанного жеста горячей признательности было достаточно, чтобы наполнить и переполнить сокровенные глубины моего сердца. В этом поразившем меня прикосновении я угадал искреннюю нежность, такую страстную и вместе с тем целомудренную, какой никогда не встречал даже в женщине. Впервые в жизни я убедился, что помог кому-то на земле; и моему удивлению не было границ: мне, молодому человеку, скромному, заурядному офицеру, дана власть осчастливить кого-то!

Быть может, чтобы объяснить себе то упоение, в которое я пришел после этого неожиданного открытия, я должен был вспомнить, что с детских лет меня всегда подавляло сознание собственного ничтожества: я лишний человек, никому не интересный, всем безразличный. В кадетском корпусе, в военном училище я всегда принадлежал к посредственным, ничем не выдающимся ученикам, никогда не был в числе любимчиков или особо привилегированных; не лучше обстояло дело и в полку. Я ни на секунду не сомневался, что, если я вдруг исчезну — допустим, свалюсь с лошади и сломаю себе шею, — товарищи скажут что-нибудь вроде: «Жаль его!» или: «Бедняга Гофмиллер!» — но уже через месяц ни один из них и не вспомнит об утрате. На мое место назначат кого-нибудь еще, кто-то другой сядет на моего коня, и этот «другой» будет нести службу не хуже (а может быть, и лучше), чем нес ее я. Точно так же, как с товарищами, получалось и с девушками, которые были у меня в двух прежних гарнизонах, — с ассистенткой зубного врача в Ярославце и маленькой швеей в Винер-Нейштадте. Мы вместе проводили вечера, а когда у Аннерль бывали свободные дни, она приходила ко мне; на день рождения я подарил ей нитку кораллов, мы обменялись обычными в таких случаях

нежными словами и, надо думать, говорили их от души. И все же, когда меня перевели в другое место, мы оба быстро утешились; первые три месяца, как полагается, переписывались, а потом у каждого появилось новое увлечение; различие было лишь в том, что в приливе нежности она теперь восклицала не «Тони», а «Фердль». Что прошло, то позабыто. Но еще ни разу в мои двадцать пять лет меня не захватывало сильное, страстное чувство, да и сам я, в сущности, хотел от жизни только одного: исправно нести службу и никоим образом не производить неприятного впечатления на окружающих.

Но вот неожиданное случилось, во мне проснулось любопытство, и я с изумлением смотрел на себя. Как? Стало быть, я, обыкновенный молодой человек, тоже располагаю властью над людьми? Я, у которого нет и пятидесяти крон за душой, способен подарить богачу больше счастья, чем все его друзья? Я, лейтенант Гофмиллер, смог кому-то помочь, кого-то утешить! Неужели только оттого, что я один или два вечера посидел и поболтал с больной, расстроенной девушкой, ее глаза заблестели, на лице заиграла жизнь, а унылый дом повеселел благодаря моему присутствию?

В волнении я так быстро шагаю по темным переулкам, что мне становится жарко. Хочется распахнуть шинель — до того тесно сердцу в груди, ибо первое изумление внезапно сменяется другим, новым, еще более опьяняющим. Меня поразило то, что я так легко, так невероятно легко приобрел расположение едва знакомых людей. В конце концов, что я сделал особенного? Проявил немного сострадания, побыл в доме два вечера — два веселых, радостных, восхитительных вечера, — и этого оказалось достаточно. Но тогда до чего же глупо изо дня в день все свободное время торчать в кафе, до одури играя в карты с надоевшими приятелями, или шататься взад-вперед по Корсо! Нет, надо положить конец этому безделью! Все быстрее и быстрее шагая сквозь летнюю ночь, я с подлинной страстью молодого, внезапно пробудившегося к жизни человека даю себе слово: отныне я изменю свою жизнь! Буду реже ходить в кафе, брошу дурацкий тарок и бильярд, решительно покончу с иди-

отской привычкой убивать время, от которой только тупеешь. Лучше буду чаще навещать больную и даже всякий раз нарочно готовиться к тому, чтобы рассказать девушкам что-нибудь милое и забавное, мы станем играть в шахматы или как-нибудь еще приятно проводить время; уже одно намерение всегда помогать другим окрыляет меня. От избытка чувств мне хочется запеть, выкинуть какую-нибудь глупость; человек ощущает смысл и цель собственной жизни, лишь когда сознает, что нужен другим.

Вот так, и только так, случилось, что в последующие недели я проводил послеобеденные часы, а то и почти все вечера у Кекешфальвов; вскоре эти дружеские посещения стали привычными и даже повлекли за собой небезопасную избалованность. Но зато какой соблазн для молодого человека, которого с детских лет перебрасывали из одного военного заведения в другое, неожиданно, после мрачных казарм и прокуренных казино, обрести домашний очаг, приют для души! После службы, в половине пятого или в пять, я отправлялся к ним; не успевал я еще поднести руку к дверному молотку, как слуга уже радостно распахивал дверь, будто он давно выглядывал в какое-то волшебное окошечко, ожидая моего появления. Все здесь ощутимо свидетельствовало о том, что меня любят и признают своим человеком в доме. Всякой моей маленькой слабости или прихоти тайно потворствовали: мои любимые сигареты неизменно оказывались под рукой; если накануне я упоминал о новой книге, которую мне хотелось прочитать, то на следующий день она, заботливо разрезанная, лежала, словно случайно, на маленьком табурете; кресло против коляски Эдит непреложно считалось моим. Все это, конечно, мелочи, пустяки, но они согревают стены чужого дома благодатным домашним теплом, неприметно радуют и ободряют. И я держался здесь увереннее, чем когда-либо в кругу товарищей, болтал и шутил от души, впервые осознав, что стеснительность в любой ее форме мешает быть самим собой и что в полной мере человек раскрывается лишь тогда, когда чувствует себя непринужденно.

Но была и еще одна причина, глубокая и тайная, которая способствовала тому, что ежедневное общение с девушками действовало на меня столь окрыляюще. С тех пор как меня еще мальчиком отдали в кадетский корпус, то есть в течение десяти, даже пятнадцати лет, я непрерывно находился в мужском окружении. С утра до вечера, с вечера до рассвета, в спальне училища, лагерных палатках, казармах, за столом и в пути, на манеже и в классах — всегда и везде я дышал воздухом, насыщенным испарениями мужских тел; сперва это были мальчики, потом взрослые парни, но всегда мужчины, только мужчины. И я привык к их энергичным жестам, твердым, громким шагам, грубым голосам, к табачному духу, к их бесцеремонности, а нередко и пошлости. Разумеется, я был искренне расположен к большинству моих товарищей и, право же, не мог пожаловаться на то, что они не отвечают мне взаимностью. Но этой атмосфере недоставало одухотворенности, в ней словно не хватало озона, не хватало чего-то острого, возбуждающего, электризирующего. И подобно тому, как наш великолепный военный оркестр, несмотря на эффектное звучание, оставался всего-навсего духовой музыкой — резкой, отрывистой, построенной единственно на ритме, ибо в ней не слышалось нежно-чувственной мелодии скрипок, — так и самые веселые часы в казарме были лишены того облагораживающего флюида, который уже одним своим присутствием вносит в любое общество женщина. Еще четырнадцатилетними подростками, когда мы, парами прогуливаясь по городу в своих ладно сшитых кадетских мундирах, встречали других мальчишек, беззаботно болтающих или флиртующих с девочками, мы испытывали смутную тоску, догадываясь, что казарма с ее монастырским режимом безжалостно лишила чего-то нашу юность; в то время как наши сверстники ежедневно на улице, в парке, на катке и в танцзале непринужденно общались с девочками, мы, затворники, смотрели на эти существа в коротеньких юбочках, словно на сказочных эльфов, мечтая о разговоре с ними как о чем-то несбыточном. Такие ограничения не проходят бесследно. В последующие годы мимолетные и, чаще всего, пошлые связи с

легкодоступными дамами ни в коей мере не могли возместить того, чего я был лишен в годы трогательных мальчишеских мечтаний. И по тому, как неловко и застенчиво вел я себя всякий раз, когда мне случалось оказаться в обществе молодой девушки (а ведь я уже успел переспать с добрым десятком женщин), я чувствовал, что естественная непринужденность из-за слишком долгих ограничений утрачена мною навсегда.

И вот случилось так, что неосознанное мальчишеское стремление узнать, какова дружба с молодыми женщинами, а не с усатыми, неотесанными товарищами, неожиданно осуществилась самым наилучшим образом. Каждый день после обеда я сидел этаким баловнем среди двух девушек; звонкая женственность их голосов доставляла мне (не могу выразить это иначе) ощущение почти физической радости. С неопишуемым восторгом наслаждался я впервые в жизни обществом молодых девушек, не испытывая при этом ни малейшего смущения. Тем более что в силу особых обстоятельств был разомкнут тот невидимый электрический контакт, который неизбежно возникает при длительном общении двух молодых людей разного пола. Наша часами длившаяся болтовня была совершенно свободна от сладостного томления, которое делает таким опасным всякий tête-à-tête в полумраке. Признаться, сначала меня приятно волновали полные, чувственные губы Илоны, ее пышные плечи и мадьярская страстность, сквозившая в ее мягких, плавных движениях. Не раз я усилием воли удерживал свои руки, подавляя желание одним рывком привлечь к себе это теплое, нежное существо с черными смеющимися глазами и осыпать его поцелуями. Но Илона в первые же дни нашего знакомства рассказала мне, что она уже два года помолвлена с помощником нотариуса из Бечкерета и только ждет выздоровления Эдит или улучшения в ее состоянии, чтобы с ним обвенчаться, — я догадался, что Кекешфальва обещал бедной родственнице приданое, если она согласится повременить с замужеством. Кроме того, мы поступили бы жестоко и коварно, если бы за спиной этой трогательной, прикованной к своему креслу девушки стали украдкой обмениваться поцелуями и рукопо-

жаниями, не испытывая настоящей влюбленности. Вот почему вспыхнувшая было чувственность очень быстро угасла, и вся искренняя привязанность, на какую я был способен, все более сосредоточивалась на Эдит, обездоленной и беззащитной, ибо в таинственной химии чувств сострадание к больному неминуемо и незаметно сочетается с нежностью. Сидеть подле больной, развлекать ее разговором, видеть, как горестно сжатые губы раскрываются в улыбке, или иной раз, когда она, поддавшись раздражению, уже готова вспыхнуть, одним прикосновением руки смирять ее нетерпение, получая в ответ смущенный и благодарный взгляд серых глаз, — в едва заметных проявлениях духовной близости с беспомощной девушкой была особая прелесть, доставлявшая мне такое наслаждение, какого не могло бы дать бурное приключение с ее кузиной. И благодаря этим неуловимым движениям души — сколь многое я постиг за каких-нибудь несколько дней! — мне неожиданно открылись совершенно неведомые прежде и несравненно более тонкие сферы чувств.

Неведомые и более тонкие, но, правда, и более опасные! Ибо тщетны все предосторожности и усилия: никогда отношения между здоровым и больным, между свободным и пленником не могут долго оставаться в полном равновесии. Несчастье делает человека легко ранимым, а непрерывное страдание мешает ему быть справедливым. Как неодолимо тягостное чувство неприязни, которое испытывает должник к кредитору, ибо одному из них неизменно суждена роль дающего, а другому — только получающего, так и больной таит в себе раздражение, готовое вспыхнуть при малейшем проявлении заботливости. Бесперывно надо быть начеку, дабы не переступить едва ощутимый рубеж уязвимости, за которым участие уже не успокаивает боль, а лишь сильнее растравляет рану. Эдит постоянно требовала (и это вошло у нее в привычку), чтобы все прислуживали ей, точно принцессе, и баловали, как ребенка, но уже в следующий миг такое отношение могло ее оскорбить, ибо оно вызывало у нее еще более обостренное ощущение собственной беспомощности. Если, например, предупредительно придвига-

ли столик, чтобы ей не приходилось тянуться за книгой или чашкой, она в ответ бросала гневный взгляд: «Думаете, я сама не могу взять, что мне нужно?» И, подобно тому, как зверь за решеткой иной раз без всякого повода бросается на сторожа, к которому обычно ластится, Эдит иногда доставляло злую радость одним ударом разрушить наше безоблачное настроение, внезапно назвав себя «жалкой калекой». В такие напряженные моменты приходилось крепко брать себя в руки, чтобы удержаться от упрека в злобной раздражительности, который вряд ли был бы справедлив.

Но, к моему изумлению, я всякий раз находил в себе силы для этого. Ибо непостижимым образом первое познание человеческой природы влечет за собой все новые и новые открытия, и кто обрел способность искренне сочувствовать людскому горю, хотя бы и в одном-единственном случае, тот, получив чудодейственный урок, научился понимать всякое несчастье, как бы на первый взгляд странно или безрассудно оно ни проявлялось. Вот почему гневные вспышки Эдит, повторявшиеся от случая к случаю, не вводили меня в заблуждение; напротив, чем несправедливее и мучительнее для окружающих бывали эти приступы, тем сильнее они меня потрясали; и я постепенно понял, почему мой приход радовал ее отца и Илону, почему в этом доме мое присутствие было желанным. Долгое страдание изнуряет не только больного, но и его близких; сильные переживания не могут длиться бесконечно. Разумеется, и отец и кузина всей душой жалели бедняжку, но в их жалости чувствовались усталость и смирение. Ее недуг давно стал для них печальным фактом, больная была для них просто больной, и они покорно пережидали, пока отбушует налетевший шквал. Это уже не страшило их так, как страшило меня, я каждый раз пугался. Я был единственным, в ком ее страдания неизменно вызывали взволнованный отклик, и едва ли не единственным, перед кем она стыдилась своей несдержанности. Стоило мне только, когда она теряла самообладание, произнести что-нибудь вроде: «Но, милая фрейлейн Эдит», — и она сразу же потупляла взор, краска заливала ее лицо, и было видно, что она

охотнее всего убежала бы куда глаза глядят, если бы не ее парализованные ноги. И ни разу я не попрощался с ней без того, чтобы она не сказала почти умоляющим тоном, от которого меня бросало в дрожь: «Вы придете завтра? Ведь вы не сердитесь на меня за то, что я сегодня наговорила глупостей?» В такие минуты мне казалось необъяснимым и удивительным, как это я, не давая ничего, кроме искреннего сочувствия, обрел такую власть над людьми.

Но такова уж юность: то, что познается впервые, захватывает ее целиком, до самозабвения, и в своих увлечениях она не знает меры. Что-то странное начало твориться со мной, едва я обнаружил, что мое сочувствие не только радостно волнует меня, но и благотворно действует на окружающих; с тех пор как я впервые ощутил в себе способность к состраданию, мне стало казаться, будто в мою кровь проникло какое-то вещество, сделало ее краснее, горячее и заставило быстрее бежать по жилам. Мне вдруг стало чуждым оцепенение, в котором я прозябал долгие годы, точно в серых, холодных сумерках. Сотни мелочей, на которые я прежде просто не обращал внимания, теперь занимали и увлекали меня; я стал замечать подробности, которые меня трогали и поражали, словно первое соприкосновение с чужим страданием сделало мой взор мудрым и проницательным. А поскольку наш мир — каждая улица и каждый дом — насквозь пропитан горечью нищеты и полон превратностей судьбы, то все мои дни отныне проходили в непрерывном и напряженном наблюдении. Так, например, объезжая лошадь, я ловил себя теперь на том, что уже не могу, как бывало, изо всей силы хлестнуть ее по крупу, ибо тут же меня охватывало чувство стыда, и рубец словно горел на моей собственной коже. А когда наш вспыльчивый ротмистр бил наотмашь по лицу какого-нибудь беднягу рядового за то, что тот плохо подтянут, и провинившийся стоял навтытяжку, не смея шевельнуться, у меня гневно сжимались кулаки. Стоявшие кругом солдаты молча глазели или исподтишка посмеивались, и только я, я один видел, как у парня из-под опущенных век выступают слезы обиды. Я не мог больше выносить шуток

по адресу неловких или неудачливых товарищей; с тех пор как я, увидев эту беззащитную, беспомощную девушку, понял, что такое муки бессилия, всякая жестокость вызывала во мне гнев, всякая беспомощность требовала от меня участия. С той минуты, как случай заронил мне в душу искру сострадания, я начал замечать простые вещи, прежде ускользавшие от моего взора: сами по себе они мало что значат, но каждая из них трогает и волнует меня. Например, я вдруг замечаю, что хозяйка табачной лавочки, где я всегда покупаю сигареты, считая деньги, подносит их слишком близко к выпуклым стеклам своих очков, и тут же у меня возникает подозрение, что ей грозит катаракта. Завтра, думаю я, осторожно ее расспрошу и, может быть, даже уговорю нашего полкового врача Гольдбаума осмотреть ее. Или вдруг вижу, что вольноопределяющиеся в последнее время откровенно игнорируют маленького рыжего К.; догадываюсь о причине: в газетах писали (при чем тут он, бедный малый?), что его дядя арестован за растрату; во время обеда я нарочно подсаживаюсь к нему и завязываю разговор, тотчас ощутив по его благодарному взгляду, что он понимает — я делаю это просто для того, чтобы показать остальным, как несправедливо и плохо они поступают. Или выклянчиваю прощение для одного из своих улан, которого неумолимый полковник приказал поставить на четыре часа под ружье.

Каждый день я нахожу множество поводов вновь и вновь испытать эту внезапно открывшуюся мне радость. И я даю себе слово: отныне помогать любому и каждому, сколько хватит сил. Не быть ленивым и равнодушным. Возвышаться над самим собой, обогащать собственную душу, щедро отдавая ее другим, разделять судьбу каждого, постигая и преодолевая страдание могучей силой сострадания. И мое сердце, дивясь самому себе, трепещет от благодарности к больной, которую я невольно обидел и несчастье которой научило меня волшебной науке действенного сочувствия.

Но вскоре я был пробужден от этих романтических грез, и притом самым безжалостным образом. Вот как это случилось.

В тот вечер мы играли в домино, потом долго болтали, и никто из нас не заметил, как пролетело время. Наконец в половине двенадцатого я бросаю испуганный взгляд на часы и поспешно прощаюсь. Еще в вестибюле, куда меня провожает отец Эдит, мы слышим с улицы шум, словно гудят сто тысяч шмелей. Дождь льет как из ведра.

— Автомобиль довезет вас, — успокаивает меня Кекешфальва.

— Это совершенно излишне, — возражаю я; мне просто неловко, что шоферу ради меня придется в половине двенадцатого ночи снова одеваться и выводить машину из гаража (столь заботливое отношение к людям появилось у меня лишь в последние недели). Но в конце концов уж слишком заманчиво в такую собачью погоду спокойно доехать домой в уютной кабине, вместо того чтобы добрых полчаса шлепать в тонких лаковых ботинках по шоссе и промокнуть до костей; и я уступаю. Несмотря на дождь, старик провожает меня до автомобиля и сам укрывает мне колени пледом. Шофер заводит машину, и мы летим сквозь разбушевавшуюся стихию.

Удивительно приятно и удобно ехать в бесшумно скользящем автомобиле. Но вот мы уже сворачиваем к казарме — как невероятно быстро мы домчались! — и я, постучав в стекло, прошу шофера остановиться на площади Ратуши. В элегантном лимузине Кекешфальвы к казарме лучше не подъезжать! Я знаю, никому не придется по вкусу, если простой лейтенант, словно какой-нибудь эрцгерцог, с блеском подкатит в шикарном автомобиле и шофер в ливрее распахнет перед ним дверцу. На такое бахвальство наши начальники смотрят косо, а кроме того, инстинкт уже давно предостерегает меня: как можно меньше смешивать оба моих мира — роскошный мир Кекешфальвов, где я свободный человек, независимый и избалованный, и мир службы, в котором я должен беспрекословно повиноваться, в котором я жалкий бедняк, каждый раз испытывающий огромное облегчение, если в месяце не тридцать один день, а тридцать. Подсознательно одно мое «я» ничего не желает знать о другом; временами я и сам не могу различить,

который же из двух настоящий Тони Гофмиллер — тот, в доме Кекешфальвы, или тот, на службе?

Шофер послушно тормозит на площади Ратуши, в двух кварталах от казармы. Я выхожу, поднимаю воротник и собираюсь побыстрее пересечь широкую площадь. Но как раз в эту секунду дождь хлынул с удвоенной силой, и ветер мокрым бичом хлестнул меня по лицу. Лучше несколько минут переждать в какой-нибудь подворотне, думаю я, чем бежать два переулка под ливнем; или, наконец, зайти в кафе, оно еще открыто, и посидеть в тепле, пока проклятое небо не опорожнит свои самые большие лейки. До кафе всего шесть домов, и — смотри-ка! — за мокрыми оконными стеклами тускло мерцает свет. Наверное, приятели еще торчат за нашим постоянным столиком — отличный случай заглядеть свою вину, ведь мне уже давно бы следовало показаться. Вчера, позавчера, всю эту, да и прошлую неделю я здесь не был, и, по совести говоря, у них есть основания на меня злиться; если уж изменяешь, так хоть соблюдай приличия.

Я открываю дверь. В зале кафе газовые рожки из экономии уже погашены, повсюду валяются развернутые газеты, а маркер Эуген подсчитывает выручку. Но позади, в игровой комнате, я вижу свет и поблескивание форменных пуговиц: ну, конечно, они еще здесь, эти заядлые картежники — старший лейтенант Йожи, лейтенант Ференц и полковой врач Гольдбаум. Видимо, они давно окончили партию, но все еще, лениво развалившись, пребывают в хорошо знакомом мне состоянии ресторанной дремоты, когда страшнее всего двинуться с места. Понятно, что мой приход, прервавший унылое безделье, для них все равно что дар Божий.

— Привет, Тони! — Ференц, словно по тревоге, поднимает остальных.

— «Моей ли хижине такая честь?» — декламирует полковой врач, который, как у нас острят, страдает хроническим цитатным поносом. Три пары сонных глаз, прищурившись, улыбаются мне.

— Здорово! Здорово!

Их радость мне приятна. И в самом деле, они славные парни, думаю я, ничуть не обиделись на меня за то, что я столько времени пропадал, даже не извинившись и ничего не объяснив.

— Чашку черного, — заказываю я кельнеру, сонно шаркающему ногами, и с неизменным «Ну, что новенького?», которым начинается у нас всякая встреча, придвигаю к себе стул.

Широкое лицо Ференца расплывается еще шире, прищуренные глаза почти исчезают в красных, как яблоки, щеках; медленно, тягуче открывается рот.

— Что ж, самая свежая новость, — довольно ухмыляется он, — что ваше благородие опять соизволили пожаловать в нашу скромную лачугу.

А полковой врач откидывается назад и декламирует с кайнцевской* интонацией:

Магадев, земли владыка,
К нам в шестой нисходит раз,
Чтоб от мала до велика
Самому изведать нас**.

Все трое смотрят на меня с усмешкой, и мне сразу становится не по себе. Лучше всего, думаю я, поскорее начать самому, не дожидаясь, пока они примутся расспрашивать, почему я не показывался все эти дни и откуда явился сейчас. Но не успеваю я открыть рот, как Ференц многозначительно подмигивает Йожи и толкает его локтем.

— Полкуйся-ка! — показывает он под стол. — Ну, что скажешь? Лаковые штилеты в такую собачью погоду и новенький мундир! Да, Тони свое дело знает, подыскал тепленькое местечко. Наверное, чертовски здорово там, у старого ма-нихея, а? Каждый вечер пять блюд, рассказывал аптекарь, икра, каплуны, настоящий Bols*** и отборные сигары — это тебе не наша жратва в «Рыжем льве»! Ай да Тони! Ему палец в рот не клади, а мы-то думали — простак!

* Кайнц, Йозеф (1858—1910) — известный австрийский актер-трагик.

** Гете, баллада «Бог и баядера». Перевод А.К. Толстого.

*** Сорт виски.

Йожи тотчас подхватывает:

— Только вот товарищ он никудышный. Да, брат Тони, ну что тебе стоило намекнуть своему старикашке: «Вот, мол, старина, есть у меня два закадычных приятеля, парни что надо, тоже не с ножа едят, я их как-нибудь к вам приволоку!» — а ты вместо этого думаешь: «Пусть лакают свою пильзенскую кислятину да проперчивают себе глотки осточертевшим гуляшом». Вот уж товарищ так товарищ, ничего не скажешь! Себе все, а другим — шиш! Ну, а толстого «упмана»* ты мне притащить догадался? Если да — то на сегодня я тебя прощаю.

Все трое смеются и причмокивают губами. Я внезапно краснею до корней волос. Черт возьми, откуда этот проклятый Йожи мог узнать, что Кекешфальва, провожая меня, действительно сунул мне в карман мундира одну из своих превосходных сигар (он делает это всякий раз)? Неужели она торчит оттуда? Хоть бы они не заметили! В смущении я деланно смеюсь:

— Еще чего — «упмана»! А подешевле не хочешь? Думаю, что сигарета третьего сорта тоже сойдет! — И протягиваю ему открытый портсигар. Но в тот же миг отдергиваю руку: позавчера мне исполнилось двадцать пять лет, девушки каким-то образом об этом проведали, и за ужином, поднимая со своей тарелки салфетку, я почувствовал, что в ней завернуто что-то тяжелое — это был портсигар, подарок ко дню рождения. Однако Ференц успел заметить новую вещицу: в нашей тесной компании малейший пустяк — событие.

— Э, а это что такое? — гудит он. — Новая амуниция!

Он спокойно забирает у меня портсигар (что я могу поделаться?), ощупывает его, осматривает и, наконец, взвешивает на ладони.

— Слушай, — поворачивается он к полковому врачу, — по-моему, это настоящее золото. Ну-ка, погляди как следует, ведь твой почтенный родитель знает толк в таких делах, да и ты, наверное, лицом в грязь не ударишь.

* Сорт сигар.

Полковой врач Гольдбаум, сын ювелира из Дрогобыча, водружает пенсне на свой несколько толстоватый нос, берет портсигар, взвешивает в руке, разглядывает со всех сторон и с видом знатока постукивает по крышке согнутым пальцем.

— Золото, — ставит он окончательный диагноз. — Чистое золото, с пробой и чертовски тяжелое. Всему полку можно зубы запломбировать. Семьсот — восемьсот крон цена.

Произнеся свой приговор, изумивший прежде всего меня самого (я был уверен, что это обыкновенная позолота), он передает портсигар Йожи, который берет его уже куда почтительнее (подумать только, какое благоговение мы, молодые парни, испытываем перед драгоценностями!). Йожи рассматривает его, ощупывает, глядится в зеркальную поверхность крышки и, наконец, нажав рубиновую кнопку, открывает его и озадаченно восклицает:

— Ого, надпись! Слушайте, слушайте! «Нашему милому другу Антону Гофмиллеру ко дню рождения. Илона, Эдит».

Теперь все трое уставились на меня.

— Черт побери! — с шумом выдыхает наконец Ференц. — А ты за последнее время неплохо научился выбирать себе друзей. Мое почтение. От меня бы ты получил самое большее латунную спичечницу.

Судорога сдавливает мне горло. Завтра весь полк будет знать о золотом портсигаре, который мне подарили девицы Кекешфальва, и наизусть повторять надпись. «Что ж ты не покажешь свою шикарную коробочку?» — скажет Ференц в офицерском казино, чтобы высмеять меня; и мне придется «покорнейше» предъявлять подарок господину ротмистру, полковнику. Все будут взвешивать его в руке, оценивать и, ухмыляясь, читать надпись; затем неизбежно начнутся распросы и остроты, а мне в присутствии начальства нельзя быть невежливым.

В смущении, спеша закончить разговор, я предлагаю:

— Ну как, еще партию в тарок?

Тут их добродушные усмешки сменяются хохотом.

— Как тебе это нравится, Ференц? — подталкивает его

Йожи. — Теперь, в половине первого, когда лавочка закрывается, ему приспичило играть в тарок!

А полковой врач, лениво откидываясь на спинку стула, изрекает:

— Как же, как же, счастливые часов не наблюдают.

Все хохочут, смакуя пошлую шутку. Но вот приближается маркер Эуген и почтительно, но настойчиво напоминает: «Закрываемся, господа!» Мы идем вместе до самой казармы — дождь прекратился — и на прощание пожимаем друг другу руки. Ференц хлопает меня по плечу: «Молодец, что заглянул к нам!» — и я чувствую, что это говорится от чистого сердца. Почему я, собственно, так рассвирепел? Ведь все трое, как один, хорошие, славные ребята, без тени недоброжелательства и зависти. А если они слегка прошлись на мой счет, так это не со зла.

Верно, зла они мне не желали, эти добрые малые, но своими идиотскими расспросами и насмешками окончательно лишили меня уверенности в себе. Дело в том, что необычные отношения с Кекешфальвами удивительнейшим образом укрепили во мне чувство собственного достоинства. Впервые в жизни я ощутил себя дающим, помогающим; и вот теперь я узнал, как смотрят другие на эти отношения, или, вернее, какими неизбежно должны они казаться людям, не знающим всех тайных взаимосвязей. Но что могли понять посторонние в утонченной радости сострадания, которой — не могу выразить это иначе — я отдался, словно неодолимой страсти! Для них было совершенно бесспорно, что я окопался в щедром, гостеприимном доме единственно ради того, чтобы, втеревшись в доверие к богачам, пировать за их счет и выклянчивать подачки. При этом в душе они вовсе не желают мне зла — славные ребята, они не завидуют ни моему теплому местечку, ни хорошим сигарам; без сомнения, они не видят ничего бесчестного или нечистоплотного — а это как раз и бесит меня больше всего! — в том, что я позволяю «штафиркам» носиться со мной, — по их понятиям, наш брат кавалерийский офицер еще оказывает честь этакому

торгашу, садясь за его стол. Без всякой задней мысли Ференц и Йожи восхищались золотым портсигаром — напротив, им даже внушило некоторое уважение то, что я сумел заставить раскошелиться моих покровителей. Но сейчас меня беспокоит другое: я сам начинаю сомневаться в собственных побуждениях. Не веду ли я себя и впрямь как нахлебник? Могу ли я, взрослый человек, офицер, допускать, чтобы меня изо дня в день кормили, поили и обхаживали? Вот, например, этот золотой портсигар — его мне ни в коем случае не следовало брать, точно так же, как и шелковое кашне, которое они недавно повязали мне на шею, когда на дворе дул сильный ветер. Куда это годится, чтоб кавалерийскому офицеру совали в карман мундира сигары «на дорогу», да еще — Господи! завтра же поговорю с Кекешфальвой! — еще эта верховая лошадь! Только сейчас меня осенило: позавчера он что-то бормотал, будто мой гнедой мерин (которого я купил, разумеется, в рассрочку и еще не расплатился) не так уж хорош с виду; в этом он — увы! — не ошибся. Но то, что он хочет одолжить мне со своего завода трехлетку, «отличного коня, на котором вам не стыдно будет показаться», — это уж нет, увольте. Вот именно, «одолжить» — теперь-то я понимаю, что это значит! Старик обещал Илоне приданое при условии, что она всю жизнь будет опекать его больную дочь, а теперь он намерен купить и меня, заплатив наличными за мое сострадание, мои шутки, мою дружбу! А я, простофиля, чуть было не попался на эту удочку, даже не заметив, что все время унижаю себя, превращаюсь в блюдолиза!

«Чепуха!» — тут же говорю я себе, вспоминая, как старик робко дотронулся до моего рукава, как светлеет всякий раз его лицо, едва я переступаю порог. Я знаю — сердечная, братская дружба связывает меня с обеими девушками; нет, они не считают, сколько рюмок я выпил, а если что и заметят — искренне радуются, что мне у них хорошо. «Чушь! Ерунда! — твержу я себе снова и снова. — Глупости! Этот старик любит меня больше, чем родной отец».

Но какой толк уговаривать и убеждать себя, если внутрен-

нее равновесие нарушено! Я чувствую, что Йожи и Ференц своим подтруниванием положили конец чувству полной непринужденности. «Ты в самом деле ходишь к этим богатым людям только из сострадания, только из сочувствия? — придиричиво спрашиваю я себя. — А нет ли здесь изрядной доли тщеславия и жажды удовольствий? Так или иначе, но ты обязан внести во все это ясность». И, чтобы начать сразу, я решаю сократить отныне свои посещения и завтра же пропустить обычный визит в усадьбу.

Итак, на следующий день я у них не появляюсь. После службы мы с Ференцем и Йожи вваливаемся в кафе; просмотрев газеты, начинаем неизбежную партию в тарок. Но я играю дьявольски скверно; прямо против меня, в обшитой панелью стене, круглые часы, и вместо того, чтобы следить за картами, я веду счет времени — четыре двадцать, четыре тридцать, четыре сорок, четыре пятьдесят... В половине пятого, когда я обыкновенно прихожу к чаю, все уже бывает приготовлено; и если я запаздываю на какие-то четверть часа, меня встречают возгласом: «Что-нибудь случилось сегодня?» Они настолько привыкли к моему аккуратному появлению, что считают это как бы моей обязанностью; за две с половиной недели я не пропустил ни одного вечера, и, должно быть, теперь они смотрят на часы с таким же беспокойством, как я, и ждут, ждут... Надо бы хоть позвонить и сказать, что я не приду. Или, пожалуй, лучше послать денщика?..

— Послушай, Тони, ты сегодня отвратительно играешь! Не зевай! — злится Йожи и бросает на меня свирепый взгляд. Моя растерянность стоила нам партии. Я стряхиваю с себя оцепенение.

— Знаешь что, давай поменяемся местами.

— Пожалуйста, но к чему?

— Сам не знаю, — вру я, — уж очень в лавочке шумно, это мне действует на нервы.

На самом же деле я не хочу видеть часы и неумолимое движение стрелок минута за минутой. Все меня раздражает, я

ни на чем не могу сосредоточиться, снова и снова мучаюсь сомнением — может быть, снять телефонную трубку и извиниться? Лишь сейчас я начинаю сознавать, что подлинное сочувствие — не электрический контакт, его нельзя включить и выключить, когда заблагорассудится, и всякий, кто принимает участие в чужой судьбе, уже не может с полной свободой распоряжаться своей собственной.

«Да пропади оно все пропадом, — злюсь я на самого себя, — ведь не обязан же ты изо дня в день таскаться туда и обратно!» И, повинувшись тайному закону взаимодействия чувств, по которому недовольство собой вызывает желание свалить вину на другого, я, подобно бильярдному шару, передающему дальше полученный им удар, обращаю свое дурное настроение не против Йожи и Ференца, а против Кекешфальвов. Ничего, пусть подождут разок! Пусть увидят, что меня не купишь подарками и любезностями, что я не являюсь в урочный час, точно какой-нибудь массажист или учитель гимнастики. Незачем приучать их, привычка связывает, а я не хочу чувствовать себя обязанным каким-либо обязательством. Так, глупо упорствуя, просяживаю я в кафе три с половиной часа, до половины восьмого, стараясь доказать самому себе, что я свободен приходить и уходить, когда мне вздумается, и что вкусная еда и отменные сигары у этих Кекешфальвов мне совершенно безразличны.

В половине восьмого мы поднимаемся из-за стола — Ференц предложил пошататься немного по Корсо. Но едва я вслед за приятелем переступаю порог кафе, как чей-то знакомый взгляд мельком задерживается на мне. Постой-ка, да ведь это Илона! Ну конечно! Даже если бы я не восхищался еще позавчера пурпурным платьем и широкополой шляпой с лентами, я бы все равно узнал ее по походке, по мягкому, плавному покачиванию бедер. Но куда ж она так спешит? Это не прогулочный шаг, а стремительный бег; впрочем, как бы там ни было — поскорей за милой пташкой, не дадим ей упорхнуть!

— Pardon, — несколько бесцеремонно бросаю я ошеломленным друзьям и поспешно устремляюсь за платьем, мелькающим уже на другой стороне улицы. Я и в самом деле безмерно

рад, что племянницу Кекешфальвы каким-то ветром занесло в мой гарнизонный мирок.

— Илона, Илона! Погодите! Постойте! — кричу я ей вслед, меж тем как она продолжает идти с поразительной быстротой. В конце концов девушка останавливается, и я вижу, что наша встреча ее нисколько не удивляет. Разумеется, она заметила меня еще тогда, при выходе из кафе. — Это просто замечательно, Илона, что я встретил вас в городе. Я уже давно мечтаю прогуляться с вами по нашим владениям! Или, может, лучше заглянем на минутку в знаменитую кондитерскую?

— Нет, нет, — бормочет она чуть смущенно. — Я тороплюсь, меня ждут дома.

— Не беда, подождут еще пять минут. На всякий случай, чтобы вас не поставили в угол, я выдам вам оправдательный документ. Не смотрите на меня так сурово, пойдемте!

Вот бы взять ее под руку! Я от души рад, что в другом своем мире встретил именно ее, ту из них, с которой не стыдно показаться, а если я попадусь на глаза товарищам с такой красавицей — тем лучше. Но Илона чем-то встревожена.

— Нет, правда, мне нужно домой, — поспешно отвечает она, — вон и автомобиль ждет.

И в самом деле, с площади Ратуши меня почтительно приветствует шофер.

— Но до машины-то вы мне позволите вас проводить?

— Разумеется, — бормочет она с какой-то непонятной тревогой, — разумеется... Кстати... почему вы сегодня не пришли?

— Сегодня? — медленно переспрашиваю я, словно что-то припоминая. — Сегодня?.. Ах да, дурацкая история. Полковник надумал обзавестись новой лошастью, так вот нам всем пришлось идти любоваться покупкой да еще по очереди объезжать коня. (В действительности это произошло еще месяц назад. Да, врать я не умею.)

Илона колеблется, желая что-то возразить. (Почему она все время теревит перчатку и нетерпеливо притопывает ножкой?) Потом вдруг быстро спрашивает:

— Может быть, вы сейчас поедете вместе со мной?

«Держись, — говорю я себе. — Не поддавайся! Хоть раз, хоть один-единственный день!» И я огорченно вздыхаю.

— Как жаль, мне страшно хотелось бы поехать. Но сегодняшний день все равно потерян: вечером у нас собирается компания, я должен быть там.

Она пристально смотрит на меня (странно, в эту минуту между бровями у нее появляется та же нетерпеливая складка, что и у Эдит) и не произносит ни слова, не знаю — из нарочитой невежливости или от смущения. Шофер распахивает дверцу, Илона с шумом захлопывает ее за собой и спрашивает меня через стекло:

— Но завтра вы придете?

— Да, завтра непременно.

Автомобиль трогается с места.

Я не очень доволен собой. Что означает эта торопливость Илоны, это беспокойство, точно она опасалась, как бы ее не увидели со мной, почему она так поспешно уехала? И потом: мне следовало по крайней мере из вежливости передать привет ее дяде, несколько теплых слов Эдит — ведь они не сделали мне ничего дурного! Но, с другой стороны, я доволен своей выдержкой. Я устоял. Как бы там ни было, а теперь они уже не подумают, что я им навязываюсь.

Хоть я и обещал Илоне прийти на следующий день в обычное время, я предусмотрительно заранее извещаю по телефону о своем визите. Лучше строго соблюдать все формальности. Формальности — это гарантии. Мне хочется показать, что я не прихожу в дом незванным гостем; отныне я намерен всякий раз осведомляться, насколько желателен мой визит. Впрочем, можно не сомневаться, что меня ждут, — слуга уже стоит перед распахнутой дверью и, когда я вхожу, угодливо сообщает:

— Барышня наверху, на террасе. Они изволят просить господина лейтенанта подняться к ним. — И добавляет: — Кажется, господин лейтенант еще никогда не были наверху? Господин лейтенант будут удивлены, до чего там красиво.

Он прав, добрый старый Йозеф. Я и в самом деле ни разу не

бывал на башне, хотя часто и с интересом разглядывал это странное, нелепое сооружение. Некогда, как я уже упоминал, эта угловая башня давно развалившегося или снесенного замка (даже девушкам история усадьбы в точности неизвестна) — громоздкое квадратное строение — долгие годы пустовала и служила складом. В детстве Эдит, к ужасу родителей, часто взбиралась по шатким ступенькам на чердак, где среди старого хлама метались сонные летучие мыши и при каждом шаге по прогнившим балкам взлетало густое облако пыли.

Но именно за его таинственность и бесполезность склонная к фантазиям девочка избрала местом своих игр и сокровенным убежищем это ни к чему не пригодное помещение, из грязных окон которого перед ней открывался бескрайний простор; а когда случилась беда и Эдит уже не смела надеяться — ее ноги в ту пору были совершенно неподвижны — побывать снова на своем романтическом чердаке, она почувствовала себя ограбленной; отец часто замечал, с какой горечью поглядывает она иной раз на неожиданно утерянный рай детских лет.

И вот, чтобы сделать ей сюрприз, Кекешфальва воспользовался тремя месяцами, которые Эдит проводила в Германии в санатории, поручил одному венскому архитектору перестроить старую башню и сделать наверху удобную террасу; когда осенью Эдит после едва заметного улучшения привезли домой, надстроенная башня была уже оборудована просторным лифтом, и больная получила возможность, не покидая кресла, в любой час подниматься наверх; так она вновь обрела мир своего детства.

Архитектор, несколько стесненный во времени, больше заботился о практических удобствах, нежели о сохранении стиля; жесткие прямые формы голого куба, насаженного на четырехугольную башню, были бы гораздо уместнее в портовом доке или на электростанции, чем рядом с уютными и замысловатыми барочными линиями маленькой усадьбы, построенной, вероятно, еще во времена Марии-Терезии. Но так или иначе, желание отца оказалось исполненным: Эдит была восхищена террасой, неожиданно избавившей ее от тесноты и однообразия

комнат. С этой наблюдательной вышки, принадлежавшей только ей одной, она могла обозревать в бинокль обширную, плоскую, как тарелка, равнину и все, что творилось вокруг — сев и жатву, труд и забавы. Вновь связанная с миром после многолетнего уединения, она часами глядела на веселые игрушечные поезда, которые пронеслись вдаль, оставляя крендельки дыма; ни одна повозка на шоссе не ускользала от ее любопытного взгляда, и, как я потом узнал, она часто наблюдала наши выезды на учебный плац. Но из какого-то странного чувства Эдит ревниво оберегала от гостей свой наблюдательный пост, словно это был ей одной принадлежащий мир. Увидев, как взволнован добрый Йозеф, я понял, что приглашение в эту обычно недоступную «обсерваторию» следует расценивать как особое отличие.

Слуга хотел поднять меня на лифте; он явно гордился тем, что управление дорогой машиной было доверено только ему одному. Но я отказался, узнав от него, что наверх можно пройти по узкой винтовой лестнице, на которую падал свет из пробитых в наружной стене отверстий; я сразу же представил себе, как интересно, должно быть, поднимаясь с этажа на этаж, обозревать все новые дали; и действительно, каждая из этих узких незастекленных амбразур открывала чарующую картину. Над летним ландшафтом, точно золотая паутина, лежал безветренный, ясный, горячий день. Почти недвижно застыли струйки дыма над трубами одиноких домов и усадеб; виднелись — каждый контур будто ножом врезан в ярко-синее небо — крытые соломой хижины с неизбежным гнездом аиста на коньке крыши и сверкавшие, как отшлифованный металл, утиные водоемы. Среди восковых нив мелькали крохотные фигурки крестьянок, на пруду женщины полоскали белье, на лугах паслись пятнистые коровы, по тщательно расчерченным квадратам полей тащились запряженные волами тяжелые возы и сновали проворные тележки. Когда я поднялся примерно на девяносто ступеней, моему взору открылась чуть ли не вся Венгерская равнина до подернутого дымкой горизонта, над которым тянулась волокнистая синеватая линия — вероятно,

Карпаты; слева же, поблескивая луковкой колокольни, уютно расположился наш городок. Я узнал казарму, ратушу, школу, учебный плац; впервые со дня моего приезда в здешний гарнизон я ощутил непритязательное очарование этого заброшенного уголка.

Но предаваться безмятежному и радостному созерцанию мне было некогда — я уже добрался до террасы и должен был приготовиться к встрече с больной. Сначала я ее вообще не обнаружил: передо мной оказалось мягкое соломенное кресло с широкой спинкой, которая, словно пестрая выпуклая раковина, скрывала фигуру Эдит. Лишь по стоявшему рядом столику с книгами и открытому граммофону я понял, что она здесь. Я не решился подойти к ней без предупреждения — это могло бы испугать девушку, если она задремала или замечталась, — и двинулся вдоль парапета, чтобы оказаться у нее перед глазами. Но, сделав несколько осторожных шагов, я заметил, что она спит. Худенькое тело заботливо уложено в кресло-каталку, ноги укутаны мягким одеялом, голова покоится на белой подушке; обрамленное рыжеватыми волосами овальное детское личико слегка повернуто, и заходящее солнце придает ему янтарно-золотистый оттенок — некую видимость здоровья.

Невольно я останавливаюсь и в нерешительном ожидании разглядываю спящую, как разглядывают картину. Ведь, по правде говоря, несмотря на то, что мы часто бывали вместе, мне еще ни разу не представлялось случая посмотреть на нее в упор, ибо она, как все чувствительные и сверхчувствительные люди, инстинктивно противится таким настойчивым взглядам. Даже если нечаянно во время разговора поднимешь на нее глаза, — сразу же ее лоб между бровями прорезает сердитая складка, взор становится тревожным, губы дрожат; ее лицо не остается спокойным ни на секунду. И только теперь, когда она, беззащитная, неподвижно лежит с закрытыми глазами, я могу впервые (испытывая при этом такое ощущение, будто делаю что-то неподобающее, чуть ли не ворую) рассмотреть Эдит. В угловатых, как бы незавершенных чертах ее лица удивительным образом сочетается детское с женственным. Губы полура-

скрыты, как у жаждущей; она дышит тихо и ровно, но даже это ничтожное усилие вздымает холмики ее детской, едва наметившейся груди; как бы в изнеможении припало к подушке бескровное лицо в рамке рыжеватых волос. Я осторожно подхожу ближе. Тени под глазами, синие жилки на висках, розовато просвечивающие крылья носа выдают, какой тонкой, прозрачной оболочкой защищает ее от окружающего мира алебастрово-бледная кожа. Каким впечатлительным должен быть человек, подумалось мне, если его нервы почти обнажены; как нестерпимо должно страдать это легкое, как пушинка, тело, словно нарочно созданное для бега, для танца, для парения, но беспощадной судьбой навсегда прикованное к жесткой, тяжелой земле! Несчастливая! Я вновь чувствую, как во мне забил горячий источник, вновь ощущаю мучительно опустошающий и в то же время невероятно волнующий прилив сострадания; мои пальцы дрожат от желания ласково погладить ее руку, мне хочется наклониться над спящей и сорвать с ее губ улыбку, если она проснется и узнает меня. Порыв нежности, которая неизменно появляется вместе с чувством сострадания, когда я думаю о ней или гляжу на нее, толкает меня ближе к креслу. Только бы не спугнуть этот сон, который уносит ее от самой себя, от суровой действительности. Внутреннюю близость к больным полнее всего ощущаешь, когда видишь их спящими, когда все страхи спят вместе с ними и они совершенно забывают о своем недуге, а на полуоткрытые губы, словно бабочка на трепещущий лист, опускается улыбка — чуждая, совсем несвойственная им улыбка, которая исчезает в первый же миг пробуждения. Какой это дар Божий, думаю я, что искалеченные, изуродованные, обиженные судьбой хоть во сне не помнят о своих недугах, что добрый волшебник сон тешит их иллюзией красоты и совершенства, что в мире сновидений страдальцу удастся избавиться от проклятия, тяготеющего над его телом! Но больше всего меня умиляют руки девушки, скрещенные поверх одеяла, — эти нежные, в бледных прожилках, тонкие кисти с хрупкими суставами и заостренными голубоватыми ногтями, бескровные и немощные. Они, быть может, еще до-

статочны сильны, чтобы приласкать маленького зверька или птичку — кролика, голубя, — но слишком слабы, чтобы схватить, удержать что-нибудь. Можно ли, содрогаясь, думаю я, такими беспомощными руками защищаться от настоящего страдания, бороться, отбиваться? И я почти с отвращением вспоминаю о своих собственных руках, крепких, тяжелых, мускулистых, одним рывком поводьев умиряющих самого строптивого коня. Невольно мой взгляд падает на ворсистое одеяло, которое тяжелым, слишком тяжелым для такого воздушного существа грузом придавило ее острые колени. Под этим непроницаемым для глаз покровом лежат в мертвой неподвижности (я не знаю — размозженные, парализованные или просто ослабшие — у меня никогда не хватало мужества спросить) бессильные ноги, стиснутые стальными или кожаными шинами. При каждом движении страшные аппараты, словно кандалы, сжимают непослушные суставы, она вынуждена повсюду волочить за собой эту дребезжащую, скрипучую мерзость, — она, нежная, слабая, та, которой самой природой предназначено не ходить, а бегать и летать, как на крыльях!

Эта мысль заставила меня вздрогнуть так сильно, что даже зазвенели шпоры. Конечно, шум был ничтожный — еле слышное бряцание, и все же оно донеслось к ней сквозь сон, разорвав его тонкую оболочку. Беспокорно вздохнув, она еще не открывает глаз, но ее руки уже просыпаются; они разжимаются, вытягиваются, снова сжимаются, как будто пальцы, пробуждаясь, зевают. Потом ресницы приподнимаются, растерянно моргают, а глаза с удивлением ощупывают все вокруг.

Вдруг ее взор останавливается на мне и сразу же делается пристальным; пока это чисто зрительный контакт, еще не включивший определенную мысль или воспоминание. Еще одно усилие, и вот она уже совсем проснулась и узнала меня; кровь пурпурной струей заливает ее щеки, разом отхлынув от сердца. И снова, как в тот раз, мне кажется, будто хрустальный бокал внезапно наполнили алым вином.

— Как глупо, — говорит она, резко сдвинув брови, и нервным движением натягивает на себя сползшее одеяло, точно я

застал ее обнаженной, — как глупо получилось! Должно быть, я задремала на минутку. — И уже — мне знаком признак надвигающейся грозы — у нее слегка раздуваются ноздри. Она смотрит на меня с вызовом. — Почему вы меня сразу не разбудили? Нехорошо разглядывать спящего! Это неприлично! Всякий выглядит смешно, когда спит.

Задетый тем, что моя бережность вызвала ее гнев, я пытаюсь отделаться глупой шуткой.

— Лучше выглядеть смешно во сне, — отвечаю я, — чем наяву.

Но она, ухватившись обеими руками за подлокотники, уже уселась повыше, складка между бровями обозначилась еще резче, вокруг губ уже задрожали зарницы. Она впилась в меня взглядом.

— Почему вы вчера не пришли?

Удар нанесен слишком неожиданно, чтобы я мог сразу же отразить его. А она продолжает инквизиторским тоном:

— Надо думать, у вас были особые причины заставить нас понапрасну ждать? Иначе вы бы хоть позвонили.

Какой же я идиот! Именно этот вопрос мне следовало предвидеть и заранее приготовить ответ. Я же смущенно переминаюсь с ноги на ногу и уныло пережевываю старую отговорку, что, мол, у нас неожиданно был назначен смотр ремонтных лошадей. В пять часов я еще надеялся, что сумею улизнуть, но полковнику захотелось показать нам своего нового коня... и так далее, и тому подобное.

Она не сводит с меня взгляда — мрачного, строгого, пронизывающего. И чем больше я вдаюсь в подробности, тем пристальнее и недоверчивее становится этот взгляд. Я вижу, как нетерпеливо постукивают по ручкам кресла ее пальцы.

— Вот как, — произносит она наконец сквозь зубы. — А чем кончилась трогательная история с ремонтным смотром? Купил в конце концов господин полковник эту новую-преновую лошадь?

Я чувствую, что страшно запутался. Раз, другой, третий ударяет она перчаткой по столу, словно стремясь этим движе-

нием унять внутреннюю тревогу. Затем угрожающе смотрит на меня.

— Довольно, оставьте вашу глупую ложь! Все это неправда от первого до последнего слова. Как вы только смеете угощать меня такими бреднями?

Резче, еще резче хлопает по столу перчатка. Затем Эдит решительно швыряет ее на пол.

— Во всем этом вздоре нет ни капли правды. Ни капельки! Вы не были в манеже, и никакого ремонтного смотра у вас не было! Уже в половине пятого вы сидели в кафе, а там, насколько мне известно, лошадей не объезжают. Нечего водить меня за нос! Наш шофер совершенно случайно видел вас за картонным столом в шесть часов.

Я все еще не могу вымолвить ни слова. Но она вдруг обрывает себя:

— А впрочем, к чему мне вас стесняться? Неужели из-за того, что вы лжете, я тоже должна играть с вами в прятки? Я не боюсь говорить правду. Так вот, знайте же: наш шофер видел вас в кафе не случайно, это я послала его туда, чтобы разузнать, что с вами случилось. Я думала, вы, чего доброго, заболели или с вами стряслась какая-нибудь беда, раз вы даже не позвонили, и... можете считать, если угодно, что у меня шалют нервы... но я не выношу, когда меня заставляют ждать, просто не терплю этого... Вот я и послала шофера. В казарме ему сказали, что господин лейтенант живы-здоровы, сидят в кафе и играют в тарок. Тогда я попросила Илону узнать, почему вы обходитесь с нами столь бесцеремонно... может, я вас чем-нибудь обидела позавчера... иной раз я и в самом деле владею собой... Вот видите, мне не стыдно во всем этом признаться... А вы сочиняете какие-то дурацкие отговорки... Неужели вы сами не чувствуете, как некрасиво, как низко лгать друзьям?

Я уже собрался ответить, у меня даже хватило бы мужества рассказать ей всю нелепую историю с Ференцем и Йожи. Но она запальчиво приказывает:

— Хватит выдумок!.. Не надо больше лгать, довольно! Я

сыта по горло, с утра до ночи меня кормят ложью: «Как хорошо ты сегодня выглядишь, как прекрасно ты сегодня ходишь... просто великолепно! Вот видишь, дело пошло на лад...» С утра до ночи одни и те же сладкие пилюли; никто не замечает, что они мне опротивели! Почему не сказать прямо: «Вчера я был занят, да и не хотелось идти к вам». Ведь у нас же нет на вас абонемента, и я б несколько не огорчилась, если б вы сказали мне по телефону: «Я сегодня не приду, мы хотим пошататься по Корсо». Неужели вы считаете меня дурой, не способной понять, как вам иной раз надоедает разыгрывать здесь изо дня в день доброго самаритянина и что взрослому человеку приятнее прокатиться верхом или размять свои здоровые ноги хорошей прогулкой, чем постоянно торчать возле чужого кресла? Только одно мне противно, и только одного я не переношу: отговорок, пустых слов, вранья — меня давно тошнит от них! Не так уж я глупа, как все вы думаете, и могу выдержать хорошую дозу искренности. Вот, например, несколько дней назад мы взяли новую судомойку, чешку (прежняя умерла), и в первый же день — ее еще не успели предупредить — она увидела мои костыли и как меня усаживают в кресло. От ужаса она выронила щетку и в голос запричитала: «Господи Иисусе, жалость-то какая! Такая богатая, благородная барышня — и калека!» Илона, словно тигрица, набросилась на честную женщину, бедняжку хотели немедленно уволить, выгнать вон. А я, я обрадовалась... меня ее испуг не обидел, потому что это по крайней мере честно, по-человечески — испугаться, неожиданно увидев такое. Я подарила ей десять крон, и она сразу же побежала в церковь молиться за меня... Весь день я радовалась... да, да, в самом деле радовалась: наконец-то я узнала, что действительно испытывает посторонний человек, когда видит меня впервые... А вы, вы убеждены, что вашей ложной чуткостью «оберегаете» меня, вы воображаете, будто мне легче от вашей проклятой деликатности. Неужели вы думаете, что у меня нет глаз?! Или вам кажется, что я не угадываю за вашим лепетом и болтовней такого же точно ужаса и замешательства, как у той воистину честной женщины? Разве я не вижу, как у

вас перехватывает дыхание, стоит мне только взяться за костыли, и как вы спешите оживить беседу, лишь бы только я ничего не заметила, — будто я вообще не вижу всех вас насквозь с вашей валерьянкой и сладеньким сиропом, сиропом и валерьянкой — всей этой мерзкой дрянью! О, я знаю наверняка, вы вздыхаете с облегчением каждый раз, когда закрываете за собой дверь, бросив меня здесь, словно падаль... я отчетливо представляю себе, как вы, закатив глаза, вздыхаете: «Несчастное дитя!» — и в то же время вы необычайно довольны собой: ведь вы так самоотверженно пожертвовали час-другой «бедной больной девочке». Но я не хочу никаких жертв! Не хочу, чтобы вы считали своим долгом выдавать ежедневную порцию сострадания! Я плюю на ваше всемилостивейшее сочувствие! Раз и навсегда, мне не нужно жалости! Хочется вам прийти — приходите, не хочется — не надо! Но только честно, без всяких басен о смотрах и новых лошадях! Я не могу... не могу больше терпеть ложь и вашу мерзкую снисходительность.

Последние слова она выкрикнула, уже не владея собой, лицо ее побелело, глаза горели. Потом напряжение вдруг иссякло, голова бессильно откинулась на спинку кресла, и кровь стала понемногу приливать к губам, еще дрожавшим от возбуждения.

— Ну вот, — выдохнула она едва слышно и словно застыдившись. — Я должна была сказать вам это! А теперь хватит. И не будем больше об этом говорить. Дайте... дайте мне сигарету.

И вдруг со мной случилось что-то небывалое. Обычно я недурно владею собой, рука у меня твердая и уверенная. Но тут эта неожиданная вспышка до того ошеломила меня, что мои руки будто онемели; я был потрясен, как никогда в жизни. С трудом достаю сигарету из портсигара, протягиваю Эдит и зажигаю спичку. При этом пальцы мои дрожат так сильно, что едва удерживают горящую спичку, огонек колеблется и гаснет. Приходится зажигать вторую, но и она мерцает, затухая в моей дрожащей руке, пока Эдит прикуривает. Моя неловкость бросается в глаза, и Эдит, очевидно, угадывает охватившее меня

смятение, ибо голос ее звучит уже совсем по-иному, изумленно и взволнованно, когда она тихо спрашивает меня:

— Что с вами? Вы дрожите... Что... что вас так встревожило? Какое вам в конце концов дело до всего этого?

Огонек спички погас. Я молча сел, а Эдит в глубоком смущении пробормотала:

— Как вы можете так огорчаться из-за моей глупой болтовни? Папа прав: вы действительно... действительно необыкновенный человек.

В этот миг за нашей спиной раздается легкое гудение: это поднимается на террасу лифт. Йозеф открывает двери, из кабины выходит Кекешфальва. У него виноватый вид — робость неизменно ссутуливает его плечи всякий раз, когда он приближается к больной.

Я поспешно вскакиваю и кланяюсь ему. Господин фон Кекешфальва смущенно кивает и сразу же наклоняется над Эдит, чтобы поцеловать ее в лоб. Потом наступает тягостное молчание. В этом доме каким-то особым чутьем всегда все узнают; я уверен, старик уже догадался, что между нами что-то неладно; обеспокоенный, он стоит рядом с креслом, не поднимая глаз. Охотнее всего — я это вижу — он бы сейчас же ретировался. Эдит пытается прийти на помощь.

— Знаешь, папа, господин лейтенант сегодня впервые у нас на террасе.

— Да, здесь просто великолепно, — подхватываю я тут же, со стыдом сознавая, что сказал непростительную банальность, и снова умолкаю.

Чтобы разрядить напряжение, Кекешфальва склоняется над креслом:

— Пожалуй, скоро здесь станет слишком свежо для тебя. Может быть, лучше спустимся?

— Хорошо, — отвечает Эдит.

Все мы довольны — каждый отвлекается каким-нибудь пустячным занятием: складывает книги, накидывает на плечи больной шаль, звонит в колокольчик, который и здесь под

рукой, как повсюду в этом доме. Через две минуты лифт уже наверху, и Йозеф бережно подкатывает к нему кресло Эдит.

— Мы спустимся вслед за тобой... — Кекешфальва ласково кивает ей вслед. — Может, ты пока приготовишься к ужину? А мы с господином лейтенантом тем временем немного погуляем по саду.

Слуга закрывает дверь лифта. Кабина с парализованной девушкой опускается в глубину, точно в могилу. Невольно мы оба отворачиваемся, старик и я. Мы молчим, но вдруг я замечаю, что он крайне нерешительно приближается ко мне.

— Если вы ничего не имеете против, господин лейтенант, я бы хотел поговорить с вами кое о чем... или, вернее, кое о чем вас попросить... Может быть, пройдем в мой кабинет, он там, в конторе... конечно, если только это вас ни в коей мере не затруднит... А не то... не то мы, разумеется, можем погулять в парке.

— Что вы, я сочту за честь, господин фон Кекешфальва, — отвечаю я.

В это мгновение лифт возвращается за нами. Спустившись вниз, мы проходим через двор к зданию конторы; мне бросается в глаза, как осторожно, прижимаясь к стене, крадется вдоль дома Кекешфальва, как он весь съеживается, точно опасается, что его поймают. Невольно — я просто не могу иначе — такими же бесшумными, осторожными шагами следую за ним и я.

В конце низкого и не очень чисто побеленного здания конторы Кекешфальва открывает дверь; она ведет в его кабинет, который обставлен немногим лучше моей невзрачной комнаты в казарме: дешевый письменный стол, ветхий и расшатанный, старые соломенные стулья, все в пятнах, к выцветшим обоям приколото несколько пожелтевших таблиц, которыми, очевидно, уже много лет никто не пользуется. Даже затхлый запах неприятно напоминает мне наши полковые канцелярии.

Уже с первого взгляда — я многому научился за эти несколько дней! — мне становится ясно, что вся роскошь, весь комфорт, существующие в этом доме, предназначены только для дочери, себя же старик ограничивает до предела, словно

прижимистый крестьянин; когда он шел впереди меня, я впервые заметил, как лоснится на локтях его поношенный черный сюртук, должно быть, он носит его уже лет десять, а то и пятнадцать.

Кекешфальва придвигает мне просторное кресло, обитое черной кожей, единственно удобное во всем кабинете.

— Садитесь, господин лейтенант, прошу вас, садитесь, — говорит он мне ласково, но настойчиво, а сам, прежде чем я успеваю что-либо возразить, устраивается на выдавшем виды соломенном стуле.

И вот мы почти вплотную сидим друг против друга: он мог бы, он должен бы уже начать, я жду его слов с вполне понятным нетерпением: о чем ему, богачу, миллионеру, просить меня, бедного лейтенанта? Но он упорно смотрит вниз, будто старательно разглядывает свои туфли. Я только слышу его тяжелое, сдавленное дыхание.

Наконец Кекешфальва поднимает голову — его лоб покрылся бисеринками влаги, — снимает запотевшие очки, и без этого сверкающего заслона его лицо сразу меняется, становится словно обнаженнее, несчастнее, трагичнее; как очень часто у людей близоруких, его глаза оказываются гораздо более тусклыми и усталыми, чем за блестящими стеклами очков. По слегка воспаленным краям век я догадываюсь, что этот старик спит мало и плохо. И я вновь ощущаю, как меня захлестывает теплая волна, это сострадание — я теперь уже знаю — рвется наружу. И вдруг я вижу перед собой не богатого господина фон Кекешфальву, а старого, обремененного заботами человека.

Но вот, откашлявшись, он начинает.

— Господин лейтенант, — охрипший голос все еще не повинуется ему, — я хочу попросить вас об одной большой услуге. Конечно, я прекрасно понимаю, что не имею ни малейшего права утруждать вас, мы ведь едва знакомы... Впрочем, вы вольны и отказаться... разумеется, вы можете отказаться... По всей вероятности, это дерзко и навязчиво с моей стороны, но я с первого взгляда проникся к вам доверием. Нетрудно догадаться, что вы... вы добрый, отзывчивый человек. Да, да, да, —

трижды повторил он в ответ на мой протестующий жест, — вы в самом деле хороший человек. В вас есть что-то внушающее доверие, и порой... у меня такое чувство, будто вы посланы мне... — он запнулся, и я понял, что он хотел сказать «Богом», но не решился, — посланы мне как человек, с которым я могу поговорить откровенно... Моя просьба, впрочем, не столь уж велика... Но что же это я все говорю, даже не спросив, угодно ли вам меня выслушать...

— Что вы, конечно!

— Благодарю вас... Когда ты стар, стоит только взглянуть на человека, и уже видишь его насквозь... Я знаю, что такое хороший человек, знаю это благодаря моей жене, упокой Господи ее душу... Когда она покинула меня, это была первая из моих бед, и все-таки я теперь говорю себе: пожалуй, и к лучшему, что ей не пришлось увидеть несчастье своего ребенка... она этого не перенесла бы. Знаете, когда пять лет назад все началось... я сперва не верил, что так оно останется... Да и можно ли себе представить, что ребенок, такой же, как все, бегаёт, играет, вертится юлой... И вдруг всему этому конец, конец навсегда... И потом каждый из нас привык с благоговением относиться к докторам... то и дело читаешь в газетах, что за чудеса они творят, — зашивают раны на сердце, делают пересадку глаз... стало быть... Кто ж усомнится в том, что они сумеют сделать самую простую вещь на свете... помочь девочке, ребенку, который родился здоровым и всегда был совершенно здоров, быстро встать на ноги? Вот почему я не очень испугался поначалу, я никогда не верил, ни на одну минуту не мог поверить, что Бог допустит такое, что он покарает ребенка, невинного ребенка, на всю жизнь... Да, если б это случилось со мной — что ж, мои ноги достаточно побродили по свету, я могу и без них обойтись... И потом, я не был хорошим человеком, я немало сделал дурного на своем веку, я даже... О чем это я только что говорил? Ах да... так вот, если бы пострадал я, было бы понятно. Но как может Бог так промахнуться, поразить не того, кого надо, покарать невинного... ведь это невероятно, чтобы у живого человека, у ребенка вдруг отнялись ноги. Да

из-за чего? Из-за какой-то бациллы, говорят, врачи, думая, что этим все сказано... Бацилла... Но ведь это пустой звук, отговорка; правда лишь то, что девочка лежит без движения, не может больше ни ходить, ни бегать, ни резвиться, а ты стоишь рядом и ничем не в силах ей помочь. Это непостижимо, совершенно непостижимо! — Он быстро провел ладонью по спутанным влажным волосам. — Конечно, я обращался к разным врачам... не пропустил ни одной знаменитости... всех я приглашал. Они приезжали, давали советы, говорили по-латыни и устраивали консилиумы; один пробовал одно, второй — другое; потом они объявляли, что надеются и верят, и уезжали, получив свой гонорар, а все оставалось по-прежнему. То есть ей стало немного лучше, собственно говоря, значительно лучше. Прежде она лежала плашмя на спине, и все тело было парализовано... Теперь же по крайней мере руки и верхняя часть туловища вполне нормальные, она может сама передвигаться на костылях... ей стало немного лучше, нет, надо быть справедливым, — гораздо лучше. Но никто из них не вылечил ее совсем. Все пожимали плечами и твердили: терпение, терпение, терпение... Только один не отступился от нее, только один — доктор Кондор... не знаю, слышали ли вы когда-нибудь о нем? Ведь вы из Вены?

Я признался, что никогда не слышал этого имени.

— Ну, конечно, откуда вам его знать, вы же здоровый человек, а он не из тех, кто любит кричать о себе... Он не профессор, даже не доцент... и не думаю, чтобы он имел широкую практику... вернее, он ее не ищет. Но это удивительный, совершенно особенный человек... не знаю, сумею ли я вам правильно объяснить. Его интересуют не обычные случаи, с которыми справится любой костоправ... его интересуют только тяжелые случаи, только такие, перед которыми другие врачи становятся в тупик. Я человек неученый и, конечно, не могу утверждать, что доктор Кондор лучше других врачей, но в одном я совершенно убежден: как человек, он лучше всех... Я познакомился с ним давно, когда болела жена, и видел, как он боролся за ее жизнь... Он был единственный, кто до последнего мгновения не

хотел уступать, и я тогда еще почувствовал: этот человек живет и умирает вместе с каждым больным. У него — не знаю, так ли я говорю, — прямо какая-то страсть оказаться сильнее болезни... он не то что другие, которые стремятся получить побольше денег, профессорское звание и чин надворного советника... он никогда не думает о себе, а всегда только о других, о тех, кто страдает... О, это замечательный человек!

Старик разволновался, его глаза, недавно усталые, ярко заблестели.

— Замечательный человек, говорю я вам, он никого не бросит на произвол судьбы; в каждом случае он считает себя обязанным вылечить больного... я не умею это выразить как следует... но он словно чувствует себя виноватым, если ему не удастся помочь... он считает себя виновным... поэтому... вы мне не поверите, но я клянусь вам, это правда, — однажды ему не удалось то, что он задумал... он обещал одной женщине, терявшей зрение, вылечить ее... и, когда она все-таки ослепла, он женился на ней... Вы только представьте себе: молодой человек женился на слепой женщине, на семь лет старше его... ни красоты, ни денег, к тому же еще истеричка... Она камнем висит у него на шее и даже не испытывает к нему никакой благодарности... Вот видите, какой это человек, а?.. Теперь вы понимаете, как я счастлив, что встретился с ним... с человеком, который заботится о моем ребенке так же, как я сам. Я и в завещание его включил... Если кто-нибудь способен помочь ей, так только он. Дай Бог! Дай Бог!

Некоторое время старик сидит, сложив ладони, как на молитве. Потом резким движением придвигает свой стул поближе ко мне.

— А теперь послушайте, господин лейтенант. Я хотел вас кое о чем попросить. Я уже говорил вам, какой отзывчивый человек этот доктор Кондор... Но, видите ли... именно потому, что он такой хороший человек, я и тревожусь... Вы понимаете, я боюсь... боюсь, что он, щадя меня, не говорит правды, не говорит всей правды. Он все время обнадеживает меня, что девочке непременно станет лучше, что она совсем поправит-

ся... но всякий раз, как я спрашиваю его в упор, когда же наконец это будет и сколько нам еще осталось ждать, он уклоняется от ответа, повторяя снова и снова: «Терпение, терпение!» Но я должен быть уверен... ведь я старый, больной человек, и мне надо знать, доживу ли я... увижу ли ее здоровой, совсем здоровой... Нет, поверьте, господин лейтенант, я больше не могу так жить... я должен знать твердо, вылечится ли она и когда... я не могу дольше выносить эту неопределенность...

Не в силах совладать с волнением, Кекешфальва встал и стремительно подошел к окну. Я знал эту его манеру. Всякий раз, когда у него к глазам подступали слезы, он резко отворачивался, пряча лицо. Старик тоже не хотел, чтобы его жалели, — он был похож на свою дочь! Правая рука его неловко нащупала задний карман унылого черного скюртука, скомкала и вытащила платок; напрасно он пытался сделать вид, будто вытирает пот со лба, — я слишком отчетливо видел его покрасневшие веки. Раз-другой он прошелся по комнате; что-то скрипело и стонало, и я не знал, что это: то ли прогнившие половицы под его ногами, то ли он сам, старый, дряхлый человек. Наконец, точно собираясь погрузиться в воду, он глубоко вздохнул.

— Простите... я не хотел об этом говорить... о чем это я? Ах, да... завтра опять приезжает из Вены доктор Кондор, он предупредил по телефону... он навещает нас регулярно, раз в две-три недели... Если бы это от меня зависело, я бы вообще не отпускал его отсюда... он мог бы жить здесь, у нас, я платил бы ему, сколько он пожелает. Но он говорит, что нужно смотреть больную через определенный промежуток... да... Что это я хотел сказать?.. Ах да, вспомнил... так вот, завтра он приезжает и во второй половине дня будет осматривать Эдит; обычно он остается у нас ужинать, а ночью скорым возвращается в Вену. И вот я подумал: если бы кто-нибудь просто так, между прочим, спросил его... кто-нибудь совершенно посторонний, кого он не знает... спросил бы его просто так... при случае, как осведомляются о знакомых... Спросил бы, как, собственно, обстоит дело с ее болезнью и думает ли он, что девочка вообще когда-нибудь поправится... и будет совсем здорова... вы пони-

маете? Совсем здорова... и как долго, по его мнению, это еще продлится... У меня предчувствие, что вам он не солжет... Ведь вас ему незачем шадить, вам он может спокойно сказать правду... от меня он вынужден ее таить — как-никак я отец, к тому же старый, больной человек, и он знает, что все это разрывает мне сердце... Но, конечно, вы заведете этот разговор совершенно невзначай... так, как обычно справляются у врача о здоровье знакомого... Вы не откажете?.. Вы сделаете это для меня?

Мог ли я отказать? Передо мной сидел старик и со слезами на глазах ждал моего «да», точно трубы Архангела в день Страшного суда. Разумеется, я обещал ему все. Он тут же радостно протянул мне обе руки.

— Я знал это! Я знал это еще в тот раз, когда вы пришли к нам опять и были так добры к девочке после... ну, вы помните... еще тогда я сразу увидел: вот человек, который меня поймет... он, и только он, спросит у доктора... И... я обещаю вам, я вам клянусь, ни одна душа об этом не узнает, ни теперь, ни потом, никто — ни Эдит, ни Кондор, ни Илона... только я буду знать, какую услугу, какую неопценимую услугу вы мне оказали.

— Ну что вы, господин фон Кекешфальва... ведь это же такой пустяк.

— Нет, это не пустяк... вы мне оказываете очень большую... огромную услугу... огромную! И если... — он слегка пригнулся, и его голос, как будто робко прячась, зазвучал тише, — если я, со своей стороны, что-нибудь... чем-нибудь смогу вам помочь... может быть, вы...

Вероятно, я сделал испуганное движение (неужели он хотел сразу же со мной расплатиться?!), ибо он поспешно добавил, несколько заикаясь, что с ним всегда случалось при сильном волнении:

— Нет, нет, поймите меня правильно... я вовсе не думаю... я не имею в виду ничего материального... я хотел лишь сказать, что... я только хотел... У меня хорошие связи... Я знаю многих людей в министерствах и в военном министерстве тоже... а в наше время никогда не мешает, если у тебя есть человек, на которого можно рассчитывать... конечно, только это я и подра-

зумевал... У каждого может наступить такой момент... вот... только это я и хотел вам сказать.

Боязливое смущение, с которым Кекешфальва предложил мне свою помощь, заставило меня устыдиться. За все это время он ни разу на меня не взглянул, а говорил куда-то вниз, как бы обращаясь к собственным рукам. Лишь теперь он беспокойно поднял глаза, нащупал снятые очки и водрузил их на нос дрожащими пальцами.

— Может быть, — пробормотал он, — нам лучше перейти теперь в дом, а то... а то Эдит обратит внимание, что нас так долго нет. К сожалению, с ней приходится быть страшно осторожным: с тех пор как она заболела, у нее какая-то обостренная чувствительность: сидя в своей комнате, она знает все, что делается в доме... обо всем догадывается прежде, чем успеешь раскрыть рот... И если она, чего доброго... вот почему нам с вами лучше вернуться туда, пока у нее не возникло подозрение!..

Мы перешли в дом. В гостиной нас уже ждала Эдит в своем кресле-каталке. Когда мы вошли, она подняла серые пронизательные глаза, словно желая прочесть на наших лицах то, о чем мы говорили. И так как мы не выдали себя ни малейшим намеком, она весь вечер оставалась замкнутой и неразговорчивой.

Я назвал «пустяком» просьбу Кекешфальвы — по возможности непринужденнее расспросить незнакомого мне врача, каковы шансы парализованной девушки на выздоровление; и в действительности, это дело, если смотреть на него со стороны, не требовало больших усилий. Но я даже затрудняюсь объяснить, как много означало это непредвиденное поручение для меня самого. Ведь ничто так не усиливает чувства собственного достоинства у молодого человека, ничто так не способствует формированию его характера, как неожиданно поставленная перед ним задача, осуществление которой зависит всецело от его собственной инициативы и его собственных сил. Разумеется, ответственность выпадала на мою долю и прежде, но всегда лишь служебная, воинская, неизменно сводившаяся к действи-

ям, которые я, как офицер, должен был совершать, повинуюсь приказу начальника и не выходя за пределы строго очерченного круга обязанностей, — например, принять командование эскадромом, обеспечить доставку груза, закупить лошадей, разрешить спор между нижними чинами. Все эти приказы и их выполнение были положены по уставу, все они предусматривались инструкциями — писанными или печатными; в сомнительных же случаях достаточно было обратиться за советом к старшему и более опытному товарищу, чтобы переложить на чужие плечи бремя ответственности. Но Кекешфальва обратился с просьбой не к офицеру, а к моему внутреннему «я», чьи способности и возможности, пока неведомые мне самому, еще предстояло обнаружить. И когда этот чужой человек, нуждаясь в помощи, из всех своих друзей и знакомых выбрал именно меня, его доверие доставило мне больше радости, чем все прежние похвалы начальства и товарищей.

Правда, радость пришла вместе с некоторым замешательством, ибо она впервые открыла мне, каким нечутким и пассивным было до сих пор мое участие. Как мог я, бывая в этом доме, не задать самого естественного, само собой возникающего вопроса, надолго ли бедняжка останется парализованной? Способно ли врачебное искусство найти средство против этого? Какой позор! Ни разу я не спросил об этом ни Илону, ни отца, ни нашего полкового врача. Я воспринял недуг Эдит как совершившийся факт, как нечто непоправимое; тревога, которая уже много лет мучила отца, настигла меня внезапно, точно пуля. А что, если этот врач и в самом деле сможет избавить девочку от страданий! Если бы жалкие, скованные неподвижностью ноги снова обрели способность свободно и легко шагать, если бы это обиженное Богом создание вновь смогло вихрем носиться по лестнице — вверх, вниз! — подгоняемое собственным смехом, в детском восторге и упоении! Я точно захмелел от этой мысли, представив себе, как мы, вдвоем, втроем будем тогда скакать верхом по полям, как она, вместо того чтобы сидеть в ожидании в своей темнице, сможет встретить меня у ворот и пойти со мной на прогулку. Нетерпеливо считал я

теперь часы, чтобы поскорее расспросить обо всем незнакомого врача, быть может, даже нетерпеливее, чем сам Кекешфальва; еще ни разу в жизни ни одна задача не представлялась мне такой важной.

На следующий день, быстро освободившись от дел, я раньше обычного явился в усадьбу. Однако на этот раз меня приняла одна Илона. Приехал врач из Вены, объяснила она, сейчас он у Эдит и, по-видимому, осматривает ее сегодня особенно тщательно. Он там уже два с половиной часа, и, надо полагать, Эдит слишком устанет, чтобы выйти к нам. Сегодня мне придется довольствоваться только ее обществом. «Разумеется, если у вас нет в виду ничего лучшего», — добавила она.

Из этого замечания я с удовольствием заключил (всегда лестно, когда тайна доверена лишь тебе одному), что Кекешфальва не посвятил ее в наш разговор. Однако я и виду не подал. Чтобы чем-то заняться, мы сели играть в шахматы, и все же прошло немало времени, прежде чем в соседней комнате послышались шаги, которых мы с нетерпением ждали. Наконец, оживленно беседуя, вошли Кекешфальва и доктор Кондор. Мне пришлось взять себя в руки, чтобы не обнаружить некоторой растерянности, ибо первое чувство, которое я испытал, поднявшись навстречу доктору Кондору, было полное разочарование. В самом деле, если нам рассказывают много интересного о каком-нибудь незнакомом человеке, наше воображение заранее создает его образ, щедро употребляя на это свои самые драгоценные, самые романтические воспоминания. Чтобы представить себе гениального врача, каковым обрисовал мне Кекешфальва доктора Кондора, я прибег к той схеме, пользуясь которой посредственный режиссер и театральный гример выводят на подмостки тип врача: одухотворенное лицо, острые, пронизательные глаза, внушительная осанка, блистательное красноречие. Мы вновь и вновь неизбежно впадаем в заблуждение, полагая, будто природа наделяет своих избранников незаурядной внешностью. Вот почему я просто опешил, когда внезапно очутился лицом к лицу с приземистым полным господином, лысым и близоруким; помятый серый костюм об-

сыпан табачным пеплом, галстук повязан кое-как, а вместо острого, мгновенно ставящего диагноз взгляда я встретил тусклые глаза, сонно смотревшие сквозь пенсне в дешевой металлической оправе. Еще прежде чем Кекешфальва меня представил, Кондор сунул мне маленькую влажную руку и, сразу же отвернувшись, взял сигарету с низенького столика. Потом устало потянулся.

— Ну вот! Однако должен признаться, дорогой друг, я страшно голоден; хорошо бы поскорее сесть за стол. Если ужин еще не готов, может быть, Йозеф даст мне пока перекусить — бутерброд или еще что-нибудь. — И добавил, грузно опустившись в кресло: — Каждый раз забываю, что в дневном скором нет вагона-ресторана. Вот вам истинно австрийское равнодушие в государственном масштабе... Bravo, Йозеф, — перебил он себя, видя, что слуга открыл дверь в столовую, — на твою пунктуальность можно положиться! Я охотно окажу честь господину шеф-повару! В дьявольской спешке даже не удалось сегодня пообедать.

Тяжело ступая, Кондор прошел в столовую. Не дожидаясь нас, он уселся и, повязав салфетку, принялся торопливо — и, на мой взгляд, слишком громко — есть суп. Во время этого серьезного занятия он не перемолвился ни единым словом ни с Кекешфальвой, ни со мною. Все его внимание, казалось, сосредоточилось на еде; однако близорукие глаза пристально изучали бутылки с вином.

— Отлично! Ваш знаменитый токай, и к тому же девяносто седьмого года! Я помню его с прошлого лета. Ради одного этого уже стоит к вам наведываться. Нет, Йозеф, подожди, не наливай, сначала стакан пива... вот так, спасибо.

Залпом осушив стакан, он стал не спеша, с аппетитом пережевывать солидные куски, подкладывая себе еще и еще на тарелку с поданного ему блюда. Так как он, по-видимому, совсем не замечал нашего присутствия, у меня была возможность понаблюдать за пирующим доктором со стороны. Я с разочарованием отметил, что у этого столь восторженно описанного Кекешфальвой человека лицо обыкновенного мещана-

нина, круглое, как полная луна, изрытое ямками и усыпанное прыщами, нос картошкой, рыхлый подбородок, плохо выбритые румяные щеки, толстая, короткая шея — одним словом, вылитый портрет добродушно-ворчливого чревоугодника. Да, он ел, как чревоугодник, усевшись поудобнее и наполовину расстегнув свой мятый жилет. Мало-помалу нескрываемое удовольствие, с которым он жевал, стало меня раздражать, быть может, потому, что я вспомнил, как предупредительно-вежливо обращались со мной за этим же столом подполковник и фабрикант, быть может, и оттого, что я начал сомневаться, удастся ли мне получить точный ответ на столь конфиденциальный вопрос у этого страстного любителя поесть и выпить, который всякий раз рассматривает на свет бокал с вином, прежде чем, причмокнув, отпить глоток.

— Ну, что в ваших краях новенького? Как урожай? Как погода? Сухо или шел дождь? Я что-то такое читал в газете... А как дела на фабрике? Картель опять вздул цены на сахар?

Время от времени, переставая жевать, Кондор равнодушно, я бы даже сказал, лениво бросал подобные вопросы, не требовавшие ответа. Моей особы он упорно не желал замечать, и, хотя я немало наслышался о свойственной медикам бесцеремонности, этот добродушный грубиян злил меня все больше и больше. С досады я молчал, не проронил ни единого слова.

Однако наше присутствие нисколько не стесняло его, и, когда мы наконец перешли в гостиную, где нас уже ожидал кофе, он, довольно кряхтя, плюхнулся прямо в кресло Эдит, снабженное удобными приспособлениями, вроде вращающейся полочки для книг, пепельницы и откидывающейся спинки... Так как раздражение не только вызывает злость, но и обостряет наблюдательность, я не мог не отметить про себя с чувством некоторого удовольствия его толстый живот, короткие ноги и сползшие носки; стараясь, в свою очередь, показать, как мало меня интересует знакомство с ним, я поставил свое кресло так, что, в сущности, повернулся к доктору спиной. Но Кондор, отвечая полным равнодушием на мое демонстративное молчание и нервозность Кекешфальвы (старик то и дело вскакивал,

метался по комнате, поднося ему сигары, спички и коньяк), вытащил из ящика три сигары сразу, положив две про запас подле своей чашки. Податливое кресло, в которое он глубоко погрузился, все еще казалось ему недостаточно удобным, он вертелся и ерзал до тех пор, пока не отыскал наилучшего положения. Лишь после второй чашки кофе Кондор удовлетворенно вздохнул, как насытившееся животное. «До чего же противно», — подумал я. Но тут он потянулся и насмешливо подмигнул Кекешфальве.

— Ну, святой Лаврентий на горячих углях, вы готовы вырвать у меня изо рта эту отличную сигару, ведь вам не терпится услышать наконец мой отчет! Но вы же меня знаете: я не люблю смешивать еду с медициной; а потом, я и в самом деле слишком проголодался и слишком устал. Когда с половины восьмого утра на ногах, то голова бывает так же пуста, как и желудок. Итак, — Кондор медленно затянулся и выпустил колечко серого дыма, — итак, дорогой друг, приступим. Все идет хорошо. Она передвигается и делает упражнения вполне прилично. Даже, пожалуй, чуть лучше, чем в прошлый раз. Как я уже сказал, мы можем быть довольны. Однако, — он снова затянулся, — в ее общем состоянии... вернее, в том, что мы называем психикой, я нашел сегодня — только, пожалуйста, не пугайтесь так уж сразу, дорогой друг, — кое-какие изменения.

Несмотря на предупреждение, Кекешфальва безмерно испугался. Я увидел, как ложечка, которую он держал в руке, задрожала.

— Изменения... что вы имеете в виду... какие изменения?

— Что же, изменения — это изменения... я же не сказал, дорогой друг, ухудшение. Как говорил старик Гете: толкуйте, да не перетолковывайте. Я и сам не знаю, что случилось, но... что-то неладно!

Кекешфальва все еще держал ложечку в руке. По-видимому, у него не хватало сил положить ее на место.

— Что... что неладно?

Доктор Кондор поскреб затылок.

— Гм... если бы я знал! Во всяком случае, не тревожьтесь! Я говорю с вами как врач, без всяких экивоков, и повторяю еще раз, чтоб вам было ясно: изменилась не картина болезни, изменилось что-то в самой Эдит. Что-то с ней сегодня не так, а что — не пойму. Впервые у меня такое чувство, точно она каким-то образом выскользнула из моих рук. — Он снова затянулся и быстро вскинул свои маленькие глазки на Кекешфальву. — Вот что, давайте-ка говорить начистоту. Нам нечего стесняться друг друга, и мы можем смело выложить карты на стол. Итак... дорогой друг, скажите мне, пожалуйста, прямо и откровенно: за это время вы, с вашим вечным нетерпением, приглашали другого врача? Кто-нибудь еще осматривал или лечил Эдит в мое отсутствие?

Кекешфальва вскочил, точно его обвинили в неслыханном злодействе.

— Бог с вами, господин доктор! Клянусь жизнью моего ребенка...

— Хорошо... хорошо... только не надо клясть, — быстро перебил его Кондор. — Я верю вам и так. Вопрос исчерпан. Рессави!* Промахнулся, ошибся в диагнозе, в конце концов, это случается даже с тайными советниками медицины и с профессорами. Как глупо... а я готов был поклясться, что... Да, в таком случае, должно быть, что-то еще... но любопытно, весьма любопытно... Вы разрешите?..— Он налил себе третью чашку черного кофе.

— Да, но все-таки что с ней? Что изменилось? Как вы думаете? — пересохшими губами бормотал старик.

— Дорогой друг, вы, право же, несносны. Для тревоги нет ни малейших оснований, даю вам слово, мое честное слово. Будь что-нибудь серьезное, я бы не стал при постороннем... Пардон, господин лейтенант, я не хочу сказать ничего обидного, я только имею в виду... я не стал бы разглагольствовать, сидя в кресле да еще попивая ваш добрый коньяк, а коньяк и впрямь отличный...

* Виват! (лат.)

Он снова откинулся назад и на миг прикрыл глаза.

— Да... так, с налету, трудно объяснить, что в ней изменилось, ибо это уже выходит за пределы объяснимого. Но если я сначала предположил, что в дело вмешался еще один врач, — право же, я больше этого не думаю, господин фон Кекешфальва, клянусь вам, — то лишь потому, что сегодня впервые между мною и Эдит что-то нарушилось, не было обычного контакта... Погодите-ка... может быть, я смогу выразиться яснее: я хочу сказать... при длительном лечении неизбежно возникает определенный контакт между врачом и пациентом... пожалуй, будет слишком грубо назвать это взаимодействие «контактом», что означает в конце концов «соприкосновение», то есть нечто физическое... Тут все гораздо сложнее: доверие удивительным образом смешано с недоверием, одно противоречит другому, притяжение и отталкивание... и, само собой разумеется, пропорция здесь раз от разу меняется. К этому мы уже привыкли. Порой пациент кажется врачу совсем иным, а бывает, что и пациент не узнает своего врача; иногда они понимают друг друга с одного взгляда, а иногда словно говорят на разных языках... Да, удивительны, в высшей степени удивительны эти колебания, их невозможно понять, а тем более измерить. Пожалуй, лучше всего прибегнуть к сравнению, даже рискуя, что оно окажется очень грубым. Ну... с пациентом дело обстоит так же, как если бы вы на несколько дней уехали, а потом, вернувшись, открыли свою пишущую машинку, — она будто печатает по-прежнему, безусловно, как раньше, но все же что-то неуловимое, не поддающееся определению говорит вам, что кто-то другой печатал на ней в ваше отсутствие. Вот вы, господин лейтенант, вы наверняка заметите по своей лошади, если на ней дня два поедит кто-то другой. Что-то необычное появляется в аллюре, в повадке, животное каким-то образом выходит из повиновения, и вы, вероятно, точно так же не можете определить, в чем это, собственно, обнаруживается, столь бесконечно малы происшедшие изменения... Я понимаю, что это очень грубые примеры, ибо отношения между врачом и больным, разумеется, гораздо деликатнее. Я очутился бы в крайне

затруднительном положении, говорю вам откровенно, если бы мне пришлось объяснять, что изменилось в Эдит с прошлого раза. Но перемена есть: меня злит, что я не могу докопаться, какая именно, — но она есть, это бесспорно.

— Но в чем... в чем это проявляется? — проговорил, задыхаясь, Кекешфальва. Я видел, что все заверения Кондора не могли его успокоить, лоб старика блестел от пота.

— В чем проявляется? Только в мелочах, почти неуловимых. Едва начав осматривать ее, я почувствовал скрытое сопротивление; не успел я по-настоящему приступить к делу, как она уже взбунтовалась: «К чему это? Все то же, что и раньше». А ведь прежде она с величайшим нетерпением ждала моего осмотра. Далее... когда я назначил ей определенные упражнения, она небрежно отмахнулась от них, повторяя: «Ах, все равно толку не будет», или: «На этом далеко не уедешь». Я допускаю (само по себе это ничего не значит) дурное настроение, взвинченные нервы, но все же, дорогой друг, до сих пор Эдит ни разу не говорила мне ничего подобного. Впрочем, быть может, и в самом деле дурное настроение... со всяким случается...

— Но ведь... в худшую сторону изменений нет, не правда ли?

— Сколько еще честных слов прикажете вам дать? Случись хоть малейшее ухудшение, я как врач был бы встревожен ничуть не меньше, чем вы как отец, а я, как видите, совершенно спокоен. Наоборот, я не могу сказать, что эта непокорность мне не по душе. Правда, дочурка стала раздражительнее, вспыльчивее, нетерпеливее, чем две-три недели назад, — вероятно, и вам нередко достается на орехи. Но, с другой стороны, такой бунт свидетельствует о том, что крепнет воля к жизни, воля к выздоровлению; чем энергичнее, чем нормальнее начинает работать организм, тем настойчивее, разумеется, желание раз и навсегда побороть болезнь. Поверьте мне, мы совсем не так горячо, как вам кажется, любим «примерных», послушных пациентов. Они меньше всего помогают себе сами. Энергичный, даже неистовый протест больного мы можем только при-

ветствовать, ибо иной раз такая на первый взгляд неразумная реакция удивительным образом помогает нам больше, чем самые эффективные лекарства. Итак, повторяю: я несколько не встревожен. Если, например, начать сейчас новый курс лечения, то можно потребовать от нее любых усилий; пожалуй, даже следует именно теперь, не упуская момента, использовать ее моральное состояние, которое как раз в ее случае играет решающую роль. Не знаю, — он поднял голову и взглянул на нас, — понимаете ли вы меня?

— Ну, конечно, — откликнулся я невольно; это были первые слова, с которыми я к нему обратился. Все, что он говорил, казалось мне вполне очевидным и ясным.

Но старик не очнулся от своего оцепенения. Совершенно пустым взглядом смотрел он перед собой. Из всего, что пытался объяснить нам Кондор, почувствовал я, он не понял решительно ничего, ибо не хотел понять. Все его внимание, все его страхи были сосредоточены на одном: будет ли она здорова? Скоро ли? Когда?

— Но какой курс лечения? — Волнуясь, старик всегда заикался и запинаясь. — Какой новый курс?.. Ведь вы говорили о каком-то новом курсе... Какое новое лечение вы хотите испробовать? (Я сразу заметил, как уцепился он за слово «новый»: в нем заключалась для него частица новой надежды.)

— Это уж предоставьте мне, дорогой друг, что пробовать и когда пробовать; только не надо торопиться; не надо стараться взять силой то, что не поддается никаким заклинаниям. Ваш «случай» — такой уж неприятный термин принят у нас — был и остается для меня главной заботой. Ну ничего, мы с ним справимся.

Старик, подавленный, молча глядел на него. Я видел, что он с большим трудом удерживается, чтобы снова и снова не задать один из своих безрассудно настойчивых вопросов. Должно быть, Кондор тоже ощутил этот безмолвный натиск, потому что вдруг поднялся.

— Однако на сегодня хватит. Своим впечатлением я с вами поделился, все прочее было бы вздором и болтовней... Даже

если Эдит в ближайшее время станет еще раздражительней, не бойтесь, я уж разберусь, что там не в порядке. Вас я прошу только об одном: не ходите все время вокруг больной на цыпочках с таким растерянным, испуганным видом. И еще: обратите серьезное внимание на собственные нервы. Вы, видно, не спите ночами, и я опасаясь, что вы, непрерывно думая об одном и том же, вконец изведете себя, а от этого вашей дочери не будет проку. Лучше всего отправляйтесь-ка сегодня пораньше спать и, перед тем как лечь, примите несколько капель валерьянки, чтобы завтра быть бодрее. Вот и все. На сегодня довольно предписаний! Докурю свою сигару и двинусь.

— Вы... вы в самом деле уже собираетесь уходить?

Доктор Кондор был неумолим.

— Да, дорогой друг, все! Сегодня вечером у меня еще один последний, достаточно замученный мною пациент, ему я прописал продолжительную прогулку. С половины восьмого я без передышки на ногах, все утро проторчал в больнице, был один занятный случай... Впрочем, не стоит об этом... Потом в поезде, потом здесь — нашему брату тоже надо время от времени проветривать легкие, чтобы голова оставалась ясной. Поэтому, пожалуйста, сегодня никаких автомобилей, я лучше пройду пешком! Посмотрите, какая луна! Разумеется, это не значит, что я намерен увести от вас господина лейтенанта; если вы, вопреки запрещению врача, все же пожелаете бодрствовать, он составит вам компанию.

В этот миг я вспомнил о своей миссии.

— Нет, — живо возразил я, — завтра мне очень рано вставать, мне бы давно следовало откланяться.

— Тогда, если вы ничего не имеете против, отправимся вместе.

В потухшем взгляде Кекешфальвы впервые вспыхнула искорка: он тоже вспомнил.

— А я — спать, — сказал он с неожиданной уступчивостью, украдкой делая мне знак за спиной Кондора. Излишнее напоминание: я и без того ощущал у манжеты резкие удары пульса. Я знал: теперь я должен выполнить свое обещание.

Едва выйдя из парадного, мы оба, Кондор и я, невольно остановились на верхней ступеньке лестницы — такое удивительное зрелище открылось нам в саду. В те тревожные часы, что мы провели в комнатах, никому из нас и в голову не пришло выглянуть в окно; и теперь нас поразило неожиданное превращение. Огромная луна, словно отшлифованный серебряный диск, недвижимо застыла посреди усыпанного звездами неба, и хотя воздух, разогретый за день жарким солнцем, по-летнему обдавал нас теплом, в то же время благодаря ослепительному сиянию казалось, что в мире, как по волшебству, наступила зима. Точно свежевывавший снег, мерцал гравий между ровно подстриженными шпалерами, черные тени которых окаймляли дорожку. На свету и во мраке, то сверкая серебром, то отливая красным, замерли деревья. Я часто бродил ночами, но никогда еще лунный свет не представлялся мне таким прозрачным, как здесь, в полной тишине и неподвижности сада, утнувшего в потоке ледяного блеска; мы были настолько зачарованы воображаемой зимой, что с невольной осторожностью спускались по мерцающим ступенькам, как по скользкому льду. А когда вышли на посыпанную гравием снежно-сумеречную дорожку, нас вдруг стало не двое, а четверо: перед нами двигались наши тени, четко очерченные небывало резким светом луны. Я невольно следил за обоими неотступными спутниками, которые, опережая нас черными силуэтами, повторяли каждое наше движение, и — сколько еще детского подчас в наших чувствах! — я испытывал своего рода удовлетворение оттого, что моя тень была длиннее, стройнее, мне даже хотелось сказать, «лучше», чем та коротенькая и широкая, которая принадлежала моему собеседнику. Мне казалось, я почувствовал себя несколько увереннее благодаря этому превосходству; я знаю, требуется известная смелость, чтобы признаться самому себе в подобной глупости, но ведь как часто самые нелепые случайности влияют на наши побуждения, а самые незначительные обстоятельства воодушевляют нас или лишают мужества.

Молча дошли мы до решетчатой калитки и, закрывая ее за

собой, оглянулись. Голубоватым фосфором отсвечивал фасад — монолитная глыба льда, и так неистово слепил глаза непомерно яркий лунный свет, что нельзя было различить, какие из окон освещены изнутри и какие отражают свет луны. Резко звякнула щеколда, расколов тишину, и Кондор, точно ободренный этим земным шумом, нарушившим таинственное молчание, обратился ко мне с откровенностью, которой я не ожидал:

— Бедный Кекешфальва! Все время упрекаю себя за то, что был с ним, пожалуй, слишком груб. Конечно, я знаю, он готов был бы часами расспрашивать меня о сотне разных вещей, или, вернее, сто раз об одном и том же. Но я просто больше не могу. Слишком тяжелый выдался день: с утра до ночи пациенты, и все такие случаи, когда не знаешь, с чего начать.

Мы вышли на шоссе, обсаженное деревьями, густые кроны их почти смыкались над нами, и луна освещала лишь узкую, ярко-белую полосу, по которой мы теперь шагали. Из деликатности я не ответил Кондору, но он, казалось, вообще не замечал меня.

— И потом, бывают дни, когда я просто не в силах выносить его дотошные расспросы. Должен вам сказать, что больные — это еще не самое трудное в нашем деле; со временем приобретаешь какой-то навык в обхождении с ними. И наконец, если больные расспрашивают, торопят, жалуются, так это вполне естественно в их состоянии, так же как температура или головная боль. Мы с самого начала готовы к их атакам, на то мы поставлены и вразумлены, у каждого из нас вместе с болеутоляющим и снотворным припасены успокаивающие слова и спасительная ложь. Но никто так не отравляет нам жизнь, как родные и близкие пациентов: незванные и непрошенные, они становятся между врачом и больным и всегда хотят знать только «правду». Все они ведут себя так, словно в данный момент на земле болен один-единственный человек и только он требует заботы — он, и никто другой. Я не упрекаю Кекешфальву за его расспросы, но знаете, когда нетерпение становится хроническим, выдержки иной раз не хватает. Десять раз я ему объ-

яснял, что в Вене у меня сейчас тяжелый случай, речь идет о жизни и смерти. И хотя ему это известно, он звонит чуть ли не каждый день, и просит, и настаивает, и хочет силой вырвать слова надежды. А в то же время я, как его врач, знаю, насколько пагубно для него такое волнение, я гораздо больше встревожен, чем он думает, гораздо больше!.. Счастье, что он не догадывается, как скверно обстоят дела.

Я испугался. Стало быть, плохо! Откровенно и по собственной инициативе Кондор высказал мне то, что я собирался у него выведать. Волнуясь, я переспросил:

— Простите, господин доктор, но вы, конечно, понимаете, что меня это беспокоит... я даже не представлял себе, что с Эдит так плохо...

— С Эдит! — повернулся ко мне Кондор, совершенно изумленный. Казалось, он тут только заметил мое присутствие. — При чем тут Эдит? Ведь я ни слова не сказал об Эдит... Вы меня совсем не поняли... Нет, нет, состояние Эдит без перемен; к сожалению, все еще без перемен. А вот он, Кекешфальва, меня беспокоит все больше и больше. Вы не заметили, как он резко изменился за последние несколько месяцев? Как он плохо выглядит, как сдает буквально с каждым днем?

— Я, право же, не могу об этом судить... Я имею честь быть знаком с господином фон Кекешфальвой всего несколько недель и...

— Ах, да, верно! Извините... В таком случае, конечно, вы не могли этого заметить... Но я-то знаю его много лет и сегодня не на шутку испугался, когда случайно взглянул на его руки. Вы не обратили внимания, какие они худые и прозрачные? Знаете, когда часто видишь руки умерших, бледная синева живых рук невольно настораживает. И потом... мне не нравится его слабодушие: малейшее волнение — и у него слезы на глазах, ничтожный испуг — и он бледнеет. Как раз в мужчинах, прежде столь цепких и энергичных, как Кекешфальва, подобная неустойчивость заставляет задуматься. К сожалению, если люди жесткие вдруг смягчаются, больше того, добреют, это не предвещает ничего хорошего, это мне не нравится.

Что-то в них разладилось. Что-то сломалось. Разумеется, я уже давно собираюсь осмотреть его как следует, но это не так-то просто. Не дай Бог навести его на мысль, что он сам болен и может умереть, оставив парализованную девочку одну. Нет, это немыслимо! Он и без того изводит себя бесконечными думами и лихорадочным нетерпением... Нет, нет, господин лейтенант, вы меня не поняли, не Эдит, а он — главная моя забота. Боюсь, что старик долго не протянет.

Я был совершенно сражен. Ничего подобного не приходило мне в голову. Дожив до двадцати пяти лет, я еще ни разу не видел смерти близкого человека. Мне просто казалось непостижимым, что кто-то, с кем я сегодня сидел за столом, пил, ел, разговаривал, может завтра лежать одетый в саван. В то же время, внезапно ощутив легкий укол в сердце, я понял, что действительно полюбил этого старика. В замешательстве я попытался хоть что-нибудь возразить.

— Ужасно, — сказал я в полной растерянности, — это было бы просто ужасно! Такой благородный, такой великодушный, такой добрый человек — настоящий венгерский аристократ, первый, с которым мне довелось встретиться...

Тут Кондор так внезапно остановился, что я даже споткнулся от неожиданности. Блеснув стеклами пенсне, он пристально посмотрел на меня. Лишь переведя дух, он спросил, явно озадаченный:

— Аристократ? Настоящий к тому же?.. Кекешфальва? Простите меня, дорогой господин лейтенант... но вы это... вполне серьезно?

Я не совсем понял вопрос, у меня только было такое чувство, что я сказал какую-то глупость. Поэтому я смущенно ответил:

— Разумеется, это мое личное впечатление, ведь по отношению ко мне господин Кекешфальва всегда проявлял себя с самой благородной, с самой хорошей стороны... У нас в полку говорили, что венгерская знать отличается высокомерием... Но... я... я никогда не встречал человека добрее.

Я умолк, заметив, что Кондор все еще не сводит с меня внимательного взгляда. Его круглое лицо было освещено лу-

ной; сверкающие стекла пенсне, за которыми я лишь смутно различал пытливые глаза, показались мне чуть ли не вдвое больше; у меня возникло неприятное ощущение: я почувствовал себя насекомым, которого разглядывают в лупу. Стоя друг против друга на дороге, мы, должно быть, представляли собой странное зрелище, но поблизости не было ни души. Наконец Кондор, опустив голову, двинулся дальше и забормотал, будто про себя:

— Да вы на самом деле... необыкновенный человек, простите, я это не в плохом смысле. И все же это удивительно, вы сами согласитесь, весьма удивительно... Как я слышал, вы уже несколько недель бываете у них в доме. Кроме того, вы живете в маленьком городишке, настоящем курятнике, без умолку кудахтающем, и вы принимаете Кекешфальву за аристократа!.. Неужели вы ни разу не слышали в кругу своих товарищей некоторые... я не хочу сказать «непочтительные»... но вообще намеки на то, что, мол, его дворянство немного стоит?.. Ведь какие-то слухи должны были до вас дойти?

— Нет, — возразил я решительно, чувствуя, что начинаю сердиться (не так уж приятно, когда тебя называют «удивительным» и «необыкновенным»). — Сожалею, но никакие слухи до меня не доходили. Я не говорил о господине фон Кекешфальве ни с одним из моих товарищей.

— Странно, — пробормотал Кондор. — Весьма странно! Я был уверен, что он преувеличивает, описывая вашу особу. И скажу вам прямо, — видимо, сегодня действительно день ошибочных диагнозов, — я с некоторым подозрением относился к его энтузиазму... Я никак не мог поверить, что вы стали ходить к ним только из-за того глупого случая во время танцев, а потом приходили просто... ну... просто из симпатии, из сочувствия. Вы понятия не имеете, как старика эксплуатируют... И я решил докопаться (почему бы и не сказать вам об этом?), что, собственно, влечет вас в дом к Кекешфальве. Я думал: либо это очень — как бы выразиться поделикатнее? — очень целеустремленный малый, желающий нагреть руки, либо, если намерения у него честные, тогда это, должно быть, очень юный

душой человек, ибо только юных так удивительно притягивает трагическое и опасное... Впрочем, инстинкт юности почти никогда не обманывает, и вы не ошиблись... этот Кекешфальва и впрямь особенный человек. Мне хорошо известно все, в чем его можно упрекнуть... Лишь одно показалось мне, простите, немного забавным — когда вы назвали его аристократом. Но поверьте человеку, который знает его лучше, чем кто-либо из здешних, — вам нечего стыдиться, что вы проявили так много дружеского участия к нему и к этому несчастному ребенку. Какие бы слухи до вас ни дошли, не позволяйте им сбить себя с толку: они не имеют ни малейшего отношения к сегодняшнему Кекешфальве, трогательному, поразительному человеку.

Кондор говорил все это на ходу, не глядя на меня. Лишь спустя некоторое время он опять замедлил шаг. Я понял, что он что-то обдумывает, и не хотел мешать ему. Минут пять мы шли бок о бок в полном молчании. Навстречу ехала крестьянская повозка, нам пришлось посторониться; кучер с любопытством оглядел странную пару — низенького полного господина в пенсне и лейтенанта, которые в столь поздний час молча прогуливались по шоссе. Мы пропустили повозку; неожиданно Кондор обратился ко мне:

— Послушайте, господин лейтенант. Дела, сделанные наполовину, и полувывысказанные намеки — всегда от лукавого: все зло в этом мире от половинчатости. Пожалуй, я сболтнул лишнее, а мне бы не хотелось поколебать вас в ваших добрых чувствах. С другой стороны, я слишком раздражил ваше любопытство, чтобы вы теперь могли удержаться от расспросов, а у меня, к сожалению, есть все основания предполагать, что от других вы получите далеко не достоверные сведения. И наконец, немисливо все время бывать в доме, не зная толком, кто его хозяева; вероятно, вы теперь уже не сможете там чувствовать себя так просто и непринужденно, как прежде. Итак, если вам в самом деле интересно кое-что узнать о наших друзьях, господин лейтенант, я к вашим услугам.

— Ну разумеется!

Кондор вынул часы.

— Без четверти одиннадцать. У нас еще целых два часа. Мой поезд отходит в час двадцать. Но я не думаю, чтобы о таких вещах было удобно рассказывать посреди дороги. Вы, вероятно, знаете какое-нибудь тихое местечко, где можно спокойно поговорить?

Я подумал.

— Лучше всего пойдете в «Тирольский погребок» на Эрцгерцог-Фридрихштрассе. Там есть маленькие ложи, где нам никто не помешает.

— Прекрасно! Так и порешим, — ответил он и снова ускори́л шаг.

В молчании мы дошли до конца дороги. Показались первые дома, выстроившиеся рядами в ярком свете луны, и на улицах, уже совсем опустевших, мы, по счастливой случайности, не встретили никого из моих товарищей. Не знаю почему, но мне было бы неприятно, если бы на следующий день они стали расспрашивать о моем спутнике. С тех пор как я запутался в этом клубке событий, я опасливо заметал все следы, ведущие ко входу в лабиринт, который, я это чувствовал, затягивал меня в новые, еще более загадочные глубины.

«Тирольский погребок» был небольшим уютным трактиром с несколько сомнительной славой. Принадлежал он второразрядной гостинице, расположенной на отлете, в одном из старых, кривых переулков. Эта гостиница пользовалась особой благосклонностью наших офицеров из-за снисходительной забывчивости тамошнего портье, который не утруждал гостей, требовавших (случалось, и среди дня) номер с двухспальной кроватью, обязательным заполнением регистрационных листов. Сохранению тайны более или менее продолжительных любовных утех благоприятствовало также и то обстоятельство, что на лестницу, ведущую к укромным гнездышкам, можно было, — в маленьком городке ведь тысячи глаз — преспокойно попасть прямо из трактира, минуя парадный вход. Безупречными в этом сомнительном заведении были зато «терланское» и мускатель, подававшиеся внизу, в зале. Ежевечерне здесь

собирались горожане; по-домашнему рассевшись вокруг громоздких столов, они с большей или меньшей горячностью обсуждали местные дела и мировые проблемы. Это незатейливое помещение было всецело предоставлено достопримечательным завсегдатаям, приходившим сюда для того, чтобы за вином и болтовней убить время; ступенькой выше вдоль стен тянулась галерея «лож», разделенных довольно толстыми перегородками, на которых в изобилии красовались выжженные по дереву картинки и глуповатые заздравные стишки. Тяжелые портьеры изолировали восемь кабинетов от общего зала настолько, что их можно было рассматривать почти как *chambres séparées**, каковыми они и являлись. Когда офицерам и вольноопределяющимся гарнизона хотелось тайком развлечься с девицами из Вены, они абонировали одну из «лож», причем, по слухам, даже сам полковник, обычно строго следивший за нравственностью, явно одобрял эту благоразумную меру, ограждавшую забавы его молодцов от излишнего любопытства штатских. Соблюдение тайны было высшим законом и для прислуги ресторана: по категорическому распоряжению владельца гостиницы, некоего господина Ферлейтнера, одетым в тирольские платья кельнершам строго-настрого воспрещалось приподымать священные портьеры без предварительного громкого покашливания или же каким-либо иным способом беспокоить господ военных прежде, чем они сами не позвонят в колокольчик. Таким образом, и честь и удовольствия армии пребывали под надежной охраной.

В истории погребка, видно, не часто случалось, что двое посетителей занимали ложу исключительно с целью поговорить наедине. Но я бы чувствовал себя неловко, если бы посреди долгожданной беседы с доктором Кондором мне пришлось отвечать на приветствия либо поспешно вскакивать при появлении старшего офицера. Меня корбило уже при одной мысли о том, что я буду вынужден пройти через весь трактир с Кондором бок о бок, — я представлял, какие шуточки будут отпу-

*Отдельные кабинеты (франц.).

скать завтра по моему адресу, если кто-нибудь увидит, что я пробираюсь в столь интимный уголок с каким-то приезжим толстяком! Однако уже при входе я с глубочайшим удовлетворением отметил, что в «Тирольском погребке» царила пустота, которая неизбежно наступает в подобных местах к концу месяца в каждом гарнизонном городке. Из полка никого не оказалось, и все ложи были к нашим услугам.

Кондор заказал два литра белого вина и, очевидно, для того, чтобы кельнерша нас больше не беспокоила, тут же рассчитался, дав ей такие щедрые чаевые, что она с возгласом «Премного благодарна!» немедленно исчезла. Портьера опустилась, и мы очутились в надежно изолированной маленькой кабине, куда лишь изредка долетали со стороны зала приглушенные обрывки фраз и смех.

Кондор наполнил высокие бокалы — сначала мне, потом себе; по некоторой замедленности его движений я почувствовал, что все, о чем он намеревался рассказать (а возможно, и умолчать), было продумано им заранее. И когда он обратился ко мне, от его довольного, сытого вида, столь раздражавшего меня прежде, не осталось и следа. Сонный взгляд сразу стал сосредоточенным.

— Пожалуй, лучше всего начнем с самого начала и оставим пока в стороне благородного господина Лайоша фон Кекешфальву, ибо его тогда еще не существовало. Не было ни венгерского аристократа, ни богатого землевладельца в черном сюртуке и в очках с золотой оправой. Был лишь востроглазый, щуплый еврейский мальчишка по имени Леопольд Каниц, который жил в бедной деревушке у венгеро-словацкой границы и которого, кажется, звали не иначе, как Леммель Каниц.

Вероятно, я привстал с места или еще как-либо выдал свое крайнее изумление, так как я был готов к чему угодно, только не к этому. Но Кондор, улыбнувшись, спокойно продолжал:

— Да, да, Каниц, Леопольд Каниц, тут уж ничего не поделаешь. Лишь много лет спустя, по ходатайству одного министра, эту фамилию столь звучно омадьярили и украсили дворян-

ской приставкой. Вы, наверное, упустили из виду тот факт, что человек с влиянием и связями, проживший здесь долгое время, может *faire peau neuve**, перекрыть свою фамилию на мадьярский лад, а иногда и приобрести титул. Впрочем, откуда вам, молодому человеку, все это знать; да, немало воды утекло с тех пор, когда это тщедушное, востроглазое существо, этот лукавый еврейский мальчуган присматривал за крестьянскими лошадьми и повозками, пока их хозяева сидели в трактире, или же подносил корзины рыночным торговкам, получая в уплату несколько картофелин.

Так что отец Кекешфальвы, или, вернее, Каница, был отнюдь не аристократом, а полунищим евреем с курчавыми пейсами, который арендовал придорожный шинок неподалеку от деревни. Утром и вечером у шинка останавливались лесорубы и возчики, чтобы согреться до или после езды по карпатскому морозу стаканчиком-другим семидесятиградусной водки. Случалось, огненная жидкость ударяла им в головы, и они принимались бить посуду и ломать стулья; во время одной из таких драк отцу Леопольда переломали ребра. Несколько крестьян, вернувшись пьяными с ярмарки, затеяли ссору, и когда шинкарь, пытаясь спасти свою убогую мебель, кинулся разнимать их, какой-то верзила-кучер отшвырнул его в угол с такой силой, что он со стоном повалился на пол. С того дня у него началось кровохарканье, а спустя год он умер в больнице, не оставив семье ни гроша. Мать, мужественная женщина, чтобы прокормиться с детьми, бралась за все: была прачкой, повитухой и, кроме того, занималась торговлей вразнос, причем Леопольд помогал ей, таская товары на спине. Он старался наскрести лишний крейцер где только мог — был и на побегушках у купца, и посыльным из деревни в деревню. В том возрасте, когда другие дети еще играют в стеклянные шарики, он уже точно знал, сколько стоит каждая вещь, где и что продается или покупается и как стать незаменимым, исполняя мелкие поручения; сверх того, он находил еще время, чтобы немного под-

*Сменить шкуру (франц.).

учиться. Грамоту, которой обучал его раввин, он усвоил так быстро, что уже в тринадцать лет подрабатывал писцом у одного адвоката и за несколько крейцеров заполнял податные свидетельства мелким лавочникам. Чтобы экономить на освещении — каждая капля керосина в их жалком хозяйстве была на учете, — он ночами просиживал у сигнального фонаря в будке стрелочника (в деревне станции не было), изучая выброшенные рваные газеты. Уже тогда старики общины одобрительно покачивали бородами и предсказывали, что из этого парнишки выйдет толк.

Как ему удалось перебраться из словацкой деревушки в Вену, я не знаю. Но когда двадцатипятилетний Каниц появился в здешних местах, он уже был агентом солидного страхового общества; с присущей ему неутомимостью он совмещал свое официальное занятие со множеством побочных мелких гешефтов. Каниц стал тем, кого в Галиции называют «фактором» — человеком, который всем торгует и всюду посредничает, наводя мосты между спросом и предложением.

Первое время его просто терпели. Но вскоре его начали замечать и даже нуждаться в нем. Ибо он все знал и во всем разбирался; какая-то вдова захотела выдать замуж дочь — Каниц уже тут как тут в роли свата; кто-то собрался эмигрировать в Америку — Каниц достает ему необходимые справки и документы. Кроме того, он перепродавал старую одежду, часы, антикварные вещи, занимался оценкой земельных участков, товаров, лошадей, а если какому-нибудь офицеру требовалось поручительство, то Каниц мог позаботиться и об этом. Его осведомленность и круг его деятельности с каждым годом становились все шире и шире.

Конечно, проявив столько энергии и упорства, можно найти немало добра. Однако настоящие состояния, как правило, образуются лишь при особом соотношении между доходами и расходами, между прибылью и издержками. И вот в этом и заключался второй секрет преуспевания нашего приятеля: Каниц почти ничего не расходовал, если только не считать того, что он подкармливал кучу родственников и платил за обучение

брата. Единственное, что он приобрел для себя лично, — это черный сюртук да хорошо известные вам очки в золотой оправе, благодаря которым он прослыл среди крестьян за «ученого». Но, даже разбогатев, он из осторожности все еще продолжал выдавать себя за мелкого агента. Ибо в слове «агент» есть что-то магическое; это удобная ширма, за которой можно спрятать что угодно, а Каниц скрывал за ней прежде всего тот факт, что из посредника он уже давно превратился в предпринимателя. Он полагал, что важнее и разумнее быть богатым, нежели слыть им (будто ему были знакомы мудрые слова Шопенгауэра о том, что ты есть и кем ты кажешься).

То, что умный, деятельный и бережливый человек рано или поздно оказывается при деньгах, не требует особых философских доказательств, да и недостойно, на мой взгляд, восхищения — мы, врачи, лучше, чем кто-либо, знаем, что в жизни человека наступают минуты, когда ему не помогает никакая чековая книжка. Что мне с самого начала действительно импонировало в нашем Канице, так это его поистине демоническая воля, с которой он стремился приумножить вместе с богатством и свои знания. Где бы он ни был — на вокзале, в поезде, в гостинице, — днем и ночью, каждый свободный час он читал и учился. Чтобы быть своим собственным адвокатом, он изучал торговое и промышленное право; как профессиональный антиквар, он следил за всеми аукционами Лондона и Парижа и, как банкир, разбирался в любых финансовых операциях; в результате его дела постепенно приобретали все больший и больший размах. От крестьян он перешел к арендаторам, от арендаторов — к крупным землевладельцам; вскоре он уже посредничал при продаже лесных угодий и целых урожаев, поставлял сырье фабрикам, основывал акционерные общества, наконец, ему даже поручили кое-какие поставки для армии. И вот черный сюртук и золотые очки все чаще и чаще можно было видеть в приемных министерств. А здесь, в наших местах, люди все еще считали его мелким агентом (к тому времени у него уже имелось не то четверть, не то полмиллиона крон) и продолжали небрежно кивать при встрече «этому» Каницу — до тех пор,

пока он не совершил своей величайшей комбинации и не превратился в один день из Леммеля Каница в господина фон Кекешфальву.

Кондор остановился.

— Ну вот! То, что я сейчас рассказал вам, известно мне лишь из вторых рук. Последующую же историю я слышал от него самого. Он рассказал мне ее в ночь, когда его жене была сделана операция; мы просидели с ним тогда в одной из комнат клиники с десяти часов вечера до рассвета. В такие минуты люди не лгут, и я могу поручиться за каждое слово.

Кондор медленно и задумчиво отпил маленький глоток вина и закурил новую сигару — кажется, уже четвертую за вечер; это непрерывное курение бросалось в глаза. Я начинал понимать, что его подчеркнуто довольный вид, неторопливая речь и кажущаяся вялость были лишь профессиональным приемом, которым он, как врач, постоянно пользовался в разговоре с больными, чтобы иметь время спокойно поразмыслить (а также и понаблюдать). Он несколько раз затянулся сигарой, лениво посасывая ее толстыми губами и провожая взглядом колечки дыма.

— Эта история о том, как Леопольд, или Леммель, Каниц стал владельцем поместья Кекешфальва, началась в пассажирском поезде, который шел из Будапешта в Вену. Несмотря на свои сорок два года и уже появившуюся седину, наш друг в ту пору все еще продолжал ездить преимущественно ночью — скупые экономят и время — и разумеется, только третьим классом. За долгую практику у него выработалась своеобразная техника ночных поездок. Войдя в купе, он прежде всего расстилал на жесткой деревянной скамейке шотландский плед, по дешевке приобретенный на аукционе; затем аккуратно вешал на крючок свой неизменный черный сюртук, прятал в футляр очки и доставал из холщовой дорожной сумки — до чемоданов дело так и не дошло — старую байковую куртку. Покончив с приготовлениями, он усаживался поудобнее в угол и, надвинув на лоб шапку, чтобы свет не падал в глаза, погру-

жался в дремоту. Что для сна не обязательно иметь кровать и прочие удобства, Каниц усвоил еще в детстве.

Но на сей раз наш друг не заснул, так как в купе сидели еще три пассажира и говорили о делах. А деловые разговоры Каниц никогда не пропускал мимо ушей. С годами его любознательность не уменьшалась, равно как и его алчность: то были две половинки клещей.

Собственно говоря, он уже начал дремать, но донесшаяся до его слуха реплика заставила его насторожиться, как сигнал трубы — боевого коня. В этой реплике упоминалось о какой-то сумме: «Вы подумайте, ведь только благодаря своей неслыханной глупости этот счастливчик одним махом заработал шестьдесят тысяч крон!»

Какие шестьдесят тысяч? Кому? Откуда? С Каница сон как рукой сняло. Кто заработал шестьдесят тысяч и как? Он не успокоится, пока не узнает, в чем дело. Разумеется, попутчики не должны догадываться, что он подслушивает, Каниц поглубже надвинул на лоб шапку, чтобы тень от нее скрывала глаза и остальные думали, будто он спит; в то же время, ловко используя каждый толчок вагона он стал подвигаться к ним ближе и ближе, чтобы за стуком колес не упустить ни одного слова.

Молодой человек, у которого вырвался возглас негодования, разбудивший Каница, оказался писцом одного венского адвоката. Досадуя по поводу огромного куша, доставшегося его хозяину, он продолжал громко разглагольствовать:

«И притом он начисто испортил все дело! Из-за какого-то пустякового заседания, принесшего ему не более полусотни крон, он умудрился опоздать в Будапешт на один день, а тем временем эту идиотку обвели вокруг пальца. А ведь все так чудесно складывалось: неопровержимое завещание, безупречные свидетели из Швейцарии, два безукоризненных медицинских заключения о том, что при составлении завещания старуха Оршвар находилась в здравом уме и твердой памяти. Этой шайке внучатых племянников и примазавшихся лжеродственников не досталось бы и медного гроша, даже несмотря на скандальную статейку, которую их адвокат подsunул вечер-

ним газетам. Этот осел, мой шеф, был настолько уверен в успехе — разбор дела-то назначили на пятницу, — что преспокойно отправился к себе в Вену на глупейшее заседание. Между тем пройдоха Вицнер подкатился к этой дуре с дружеским визитом — как-никак он адвокат противной стороны — и довел ее до истерики. «Мне вовсе не нужно так много денег! Я хочу только, чтобы меня оставили в покое», — произнес он, передразнивая чье-то нижнегерманское произношение. — Да, покой она получила, а те отхватили ни за что ни про что три четверти ее наследства. Не дождавшись, пока вернется мой старик, эта полоумная баба подписала соглашение — самое нелепое из всех, которые когда-либо заключались на свете. Один росчерк пера обошелся ей в полмиллиона».

— Заметьте, господин лейтенант, — сказал Кондор, обращаясь ко мне, — что во время этой филиппики наш друг Каниц молча сидел в своем углу, съжившись, в надвинутой до бровей шапке и, точно шпик, ловил каждое слово. Он сразу догадался, о чем речь, потому что процесс княгини Орошвар — я называю здесь другую фамилию, так как настоящая слишком известна, — был тогда самой большой сенсацией, о которой кричали все венгерские газеты. Я расскажу вам вкратце об этой поистине скандальной афере.

Княгиня Орошвар появилась в наших краях откуда-то из Прикарпатья, уже будучи обладательницей огромного состояния; старуха пережила своего мужа на добрых тридцать пять лет. С той поры как оба ее ребенка умерли в одночасье от дифтерита, эта злая и своенравная женщина ожесточилась и люто возненавидела всех остальных Орошваров за то, что они пережили ее бедных малюток; я почти не сомневаюсь, что она дотянула до восьмидесяти четырех лет исключительно с целью досадить своим нетерпеливым внучатым племянникам и племянницам. Когда кто-нибудь из алчущей родни являлся к ней с визитом, она не принимала его; даже самое любезное письмо, если только оно исходило от Орошваров, летело под стол без ответа. Став после смерти детей и мужа нелюдимой и чудаковатой, старуха обычно проводила в своем имении Кекешфаль-

ва не более двух-трех месяцев в году, ни с кем не встречаясь; остальное время она разъезжала по свету; жила на широкую ногу в Ницце и Монтре, наряжалась, делала прически и маникюр, румянилась, читала французские романы, обзаводилась множеством туалетов, ходила по магазинам, торгуясь и ругаясь, как базарная баба. Вполне понятно, что у ее компаньонки — единственного человека, которого она терпела возле себя, — была нелегкая жизнь. Изо дня в день это тихое, безответное создание было обязано кормить, чистить щеткой и выводить на прогулку трех противных злых пинчеров, играть старой дуре на рояле, читать ей вслух и безо всякой на то причины выслушивать по своему адресу отборнейшую ругань; когда же почтенной даме случалось перебрать лишнюю рюмку водки или коньяку — эту привычку она приобрела у себя на родине, — то, по достоверным слухам, бедную компаньонку даже поколачивали. На всех фешенебельных курортах Европы — в Ницце и Каннах, Экс-ле-Бэнь и Монтре — знали обрюзгшую старуху с лоснящимся лицом мопса и крашеными волосами, которая, нимало не заботясь о том, слышат ли ее посторонние, орала, как фельдфебель, на прислугу и без всякого стеснения корчила гримасы всем, кто пришелся ей не по нраву. И повсюду на этих ужасных прогулках за ней, как тень, следовала компаньонка — она шла с собаками всегда позади, но не рядом, — худая, бледная, светловолосая женщина, с испуганными глазами; можно было заметить, что она стыдилась грубости своей госпожи и в то же время боялась ее, как черта.

Но вот на семьдесят восьмом году жизни княгиня Орошвар, будучи в Территете, заболела тяжелым воспалением легких; между прочим, она лежала в том же отеле, где всегда останавливалась императрица Елизавета. Неизвестно, какими путями, но слух об этом дошел до Венгрии. Со всех сторон, как по команде, в Территет слетелись родственники; оккупировав отель, они днем и ночью осаждали врача расспросами, надеясь дождаться смерти княгини.

Но злость придает силы. Старая карга поправилась, и в тот день, когда стало известно, что выздоровевшая собирается спу-

ститься в холл, нетерпеливая родня ретировалась. Старуха, конечно, сразу пронюхала о прибытии чересчур заботливых наследников и с присущей ей хитростью подкупила кельнеров и горничных отеля, чтобы те доносили ей каждое слово, сказанное родственниками. Подозрения ее подтвердились. Наследники грызлись между собой, как волки, споря о том, кому достанется Кекешфальва, кому Орошвар, кому бриллианты, кому карпатские поместья, а кому дворец на Орнерштрассе. Месяц спустя пришло письмо от дисконтера из Будапешта; некто Десауэр предупреждал ее, что он возбудит иск против ее внучатого племянника Деше, если она письменно не подтвердит, что тот является одним из ее наследников. Это письмо переполнило чашу терпения. Старуха, срочно вызвав телеграммой своего адвоката из Будапешта, составила новое завещание в присутствии двух врачей — от злости становишься прозорливым, — категорически удостоверивших, что княгиня находится в здравом уме и твердой памяти. Адвокат отвез запечатанный конверт в свою будапештскую контору, где он хранился шесть лет, так как завещательница совсем не торопилась умирать. Когда же наконец его вскрыли, все были поражены. Единственной наследницей назначалась компаньонка умершей, фрейлейн Аннета-Беата Дитценгоф из Вестфалии; это имя, которое родственники услышали впервые, поразило их, как гром среди ясного неба. Ей завещали имения Кекешфальва и Орошвар, сахарный завод, конный завод и дворец в Будапеште; лишь украинские поместья и наличные деньги старая княгиня отказала своему родному городу на постройку православной церкви. Ни один из Орошваров не получил и пуговицы; свое решение обойти родственников княгиня специально оговорила в завещании, с циничной откровенностью объясняя его тем, что «они никак не могли дожидаться моей смерти».

Скандал разразился невероятный. Вся родня, возопив, бросилась к адвокатам. Те заявили протест, выдвинув обычные в таких случаях аргументы: завещательница находилась не в здравом уме, так как сделала распоряжение, будучи тяжело-

больной; кроме того, она испытывала чувство постоянной зависимости от компаньонки, и той, несомненно, путем внушения удалось в собственных интересах заставить покойную изменить свою волю. Одновременно они пытались раздуть всю историю до масштабов общенационального дела: как, зывали они, исконными венгерскими поместьями, которые со времен Арпадов принадлежали Орошварам, завладеет какая-то иностранка, пруссачка? А остальной частью наследства — вы подумайте только! — православная церковь? Весь Будапешт только об этой сенсации и говорил, газеты посвящали ей целые полосы. Однако, несмотря на весь шум, поднятый обделенными потомками, дела их обстояли скверно. В двух инстанциях они уже проиграли процесс; к их несчастью, оба врача из Территета были живы и подтвердили свое прежнее заключение. Другие свидетели на перекрестном допросе также показали, что старая княгиня в последние годы жизни была в здравом уме, хотя и с причудами. Никакие адвокатские уловки, никакие запугивания не помогли: было сто шансов против одного за то, что королевская курия не отменит решений первых инстанций, принятых в пользу Дитценгоф.

Разумеется, Каниц читал сообщения о процессе, тем не менее он с интересом прислушивался к разговору, так как в чужих гешефтах всегда находил что-либо поучительное для себя; к тому же имение Кекешфальва он знал еще в те годы, когда был агентом.

«Можете себе представить, — продолжал между тем молодой писец, — что творилось с моим шефом, когда он по возвращении узнал, как околпачили эту дуру. Она уже отказалась от своих прав на имение Орошвар и на будапештский дворец, удовольствовавшись поместьем Кекешфальва и конным заводом. Видимо, на нее особенно подействовало обещание этого прожженного типа Вицнера, что ей больше не придется таскаться по судам и даже платить адвокату, — наследники-де великодушно согласились взять на себя все расходы. Конечно, де-юре их сделку еще не поздно было оспорить, тем более что ее заключили только при свидетелях, а не в присутствии нота-

риуса; эту жадную шайку ничего не стоило взять измором — ведь у них больше не осталось ни крейцера, чтобы продолжать тяжбу. Черт возьми, шеф был обязан вывести их на чистую воду и опротестовать соглашение в интересах своей клиентки. Но банда сумела заткнуть ему рот, предложив шестьдесят тысяч крон отступного. Ну а так как он и без того был зол на эту растяпу, у которой за полчаса выманили полмиллиона, то утвердил соглашение и положил денежки в карман. Шестьдесят тысяч крон! Что вы на это скажете? И это за одну дурацкую поездку, из-за которой он прошляпил все дело! Везет же людям, вот и угадай, где найдешь, где потеряешь! А теперь от миллионного наследства у нее не осталось ничего, кроме имени Кекешфальва, да и его она скоро проворонит, уж я ее знаю, второй такой дуры не сыскать!»

«Проворонит, уверяю вас, проворонит! Ходят слухи, что сахарный картель намерен отхватить у нее фабрику. Послезавтра, кажется, туда поедет главный директор из Будапешта. Имение же собирается арендовать некто Петрович, тамошний управляющий, а возможно, что картель приберет его к рукам заодно с фабрикой. Денег у них теперь хватит, один французский банк — вы не читали в газетах? — вероятно, будет финансировать богемскую сахарную промышленность...» Разговор перешел на общие темы. Но Каницу было достаточно и того, что он услышал. Мало кто знал имение Кекешфальва так основательно, как он; еще двадцать лет назад он приезжал туда страховать движимое имущество. Знал он также Петровича, и даже очень хорошо, по своим первым гешефтам; этот с виду честный малый при посредничестве Каница помещал у некоего Голлингера кругленькие суммы, которые ежегодно прикармливал, управляя имением. Но Каница больше всего интересовало сейчас другое: он вспомнил про шкаф с китайским фарфором, статуэтками и вышивками, доставшимися княгине от деда, который был русским послом в Пекине. Один Каниц знал их настоящую цену, так как еще при жизни княгини пытался купить их для некоего Розенфельда из Чикаго. Это были уникальные вещи, стоявшие не менее двух-трех тысяч фунтов

стерлингов; старуха Орошвар и понятия не имела, какие баснословные деньги платили в то время в Америке за восточные древности, но Каницу она ответила, что не продаст ничего, и велела убираться ко всем чертям. Если вещи еще целы, — при мысли об этом Каница охватила дрожь, — то теперь, при смене владельца имения, их можно было бы заполучить почти даром. Еще лучше было бы, конечно, заручиться правом преимущественной покупки всей движимости.

Наш Каниц завозился, делая вид, что внезапно проснулся, — попутчики уже давно говорили о другом, — искусно зевнул, потянулся и, вынув часы, взглянул на них: через полчаса остановка. (Это была ваша гарнизонная станция, господин лейтенант.)

Поспешно уложив куртку, он надел неизменный черный сюртук и привел себя в порядок. Ровно в два тридцать, выйдя из вагона, он направился в гостиницу «Рыжий лев» и заказал номер; как полководец перед битвой, исход которой вызывает сомнение, наш друг в эту ночь почти не сомкнул глаз. В семь утра — нельзя было терять ни минуты — он уже был на ногах и зашагал к усадьбе по той самой аллее, где только что проходили мы с вами. «Лишь бы прийти первым, опередить всех, — мелькнуло у него в голове. — Обделать дельце прежде, чем налетят эти стервятники из Будапешта. Поскорее заручиться поддержкой Петровича, чтобы он вовремя предупредил о распродаже движимости. На худой конец столкнуться с ним, поднять цену, а при дележе выговорить себе утварь».

После смерти княгини в Кекешфальве осталось мало прислуги; Каницу удалось незаметно приблизиться к дому и по дороге осмотреть всю усадьбу. «Великолепное имение, — думал он, оглядываясь вокруг, — и в отличном состоянии! Стены и жалюзи свежевыкрашены, ограда новая... Да, Петрович знает, что делает, как видно, немало ему перепадает с каждого счета за ремонт!» Но где же он сам? Главный подъезд заперт, — сколько Каниц ни стучит, никто не отзывается, — во дворе тоже ни души. Черт возьми, неужели он уехал в Будапешт, чтобы договориться с этой простофилей Дитценгоф?

Каниц мечется от одной двери к другой, кричит, хлопает в ладоши — никого, никого! Наконец, пробравшись через маленькую боковую дверь, он замечает в оранжерее какую-то женщину. Сквозь стекло видно, что она поливает цветы. Хоть один живой человек нашелся! Каниц громко стучит по стеклу. «Эй!» — кричит он и хлопает в ладоши. Женщина в оранжерее вздрагивает, словно ее уличили в неблагоприятном поступке; проходит некоторое время, прежде чем она, нерешительно приблизившись, остановилась в дверях, держа в руке полураскрытые садовые ножницы. Каниц видит перед собой немолодую худощавую блондинку в простой темной кофте и ситцевом переднике.

— Однако вы заставляете себя ждать! — набрасывается он на нее. — Куда делся Петрович?

— Простите, кого вам? — переспрашивает женщина, смутившись; при этом она невольно отступает на шаг и прячет ножницы за спину.

— То есть как кого? Сколько у вас тут Петровичей? Мне надо Петровича-управляющего!

— Ах, простите, господина... господина управляющего... да... но... я его еще сама не видела... он, кажется, уехал в Вену... Его жена сказала, что к вечеру он, возможно, вернется.

«Возможно, возможно, — сердито думает Каниц. — Ждать до вечера. Провалиться еще одну ночь в гостинице. Опять лишние расходы, и неизвестно, чем все это кончится».

— Проклятье! Надо же было ему уехать именно сегодня! — ворчит он и, обращаясь к женщине, спрашивает: — Могу я пока осмотреть дом? У кого-нибудь есть ключи?

— Ключи? — повторяет она, растерявшись.

— Ну да, ключи, черт возьми! («Чего она прикидывается? — думает он. — Вероятно, Петрович не велел никого пускать. А, ладно, в крайнем случае дам этой пугливой телке на чай».) Каниц тут же переходит на шутливо-фамильярный тон: — Да не бойтесь меня! Ничего я у вас не утащу. Мне хочется только взглянуть на дом. Ну так как же, есть у вас ключи или нет?

— Ключи... конечно... у меня есть ключи, — лепечет она. — Но... может быть, когда господин управляющий...

— Да я же вам сказал, что обойдусь без вашего Петровича. Ну, полно валять дурака. Вы знаете расположение комнат в доме?

Она еще больше смущается:

— Да, мне кажется... что немного знаю...

«Идиотка, — думает Каниц. — Что за прислуга у этого Петровича!»

— Ну, пошли, а то у меня мало времени, — громко командует он и устремляется вперед.

Она следует за ним, встревоженная и в то же время послушная. У входа в дом она снова останавливается в нерешительности.

— Боже милостивый, да отпирайте в конце концов!

Чего она так растерялась? Каниц уже начинает терять терпение. Пока она вытаскивает из потертого кожаного кошелька связку ключей, он на всякий случай осведомляется:

— А вы, собственно, чем занимаетесь здесь?

Испуганное создание смущается и краснеет.

— Я служу... — начинает она, но тут же поправляется: — Я... я была компаньонкой княгини.

У нашего Каница дух захватило. (А смею вас уверить, что такого, каким он был, нелегко вывести из равновесия.) Он невольно отступил на шаг.

— Вы... вы... фрейлейн Дитценгоф?

— Да, — отвечает она, вконец перепугавшись, будто ее обвинили в чем-то преступном.

Что Каницу было совершенно неведомо до сих пор, так это чувство смущения. Но в ту секунду, когда наш приятель уразумел, что нарвался на легендарную наследницу Кекешфальвы, он впервые в жизни страшно смутился.

— Pardon, — пробормотал он растерянно, поспешно сдергивая шляпу. — Pardon, милостивая фрейлейн... Но... но меня никто не предупредил о вашем приезде... Я и не подозревал... Пожалуйста, извините меня... я приехал лишь для... — Он

запнулся: надо было придумать что-либо правдоподобное. — Я приехал по поводу страхования... Дело в том, что мне неоднократно приходилось бывать здесь и раньше, еще при жизни покойной княгини. К сожалению, мне тогда не представился случай познакомиться с вами, фрейлейн... Да... Так вот я пришел по поводу страхования, только из-за этого... удостовериться, в сохранности ли fundus... * Служебный долг. Но ничего, это не так уж срочно, в конце концов.

— О, пожалуйста, пожалуйста... — робко произнесла она. — Правда, я в этих вещах очень плохо разбираюсь. Может быть, вам лучше поговорить с господином Петервицем?

— Разумеется, разумеется, — сказал Каниц, он все еще не пришел в себя. — Я непременно дождусь господина Петервица. («К чему ее поправлять?» — подумал он.) Но если вы сочтете возможным, если это не затруднит вас, сударыня, я быстренько осмотрел бы все — и делу конец. Как обстоит с движимостью, что-нибудь изменилось?

— Нет, нет, — поспешно ответила она, — ничего, совершенно ничего не изменилось. Если вам угодно убедиться...

— Это очень любезно с вашей стороны, фрейлейн, — сказал Каниц, поклонившись, и оба вошли в дом.

В гостиной он прежде всего взглянул на четыре картины Гварди, — вы их знаете, господин лейтенант, — а затем, в соседней комнате, где сейчас будуар Эдит, на стеклянный шкаф с китайским фарфором, вышивками и статуэтками из восточного нефрита. «Все на месте! — вздохнул он с облегчением. — Петрович ничего не украл, этот дурень предпочитает наживаться на овсе, картофеле и ремонте».

Между тем фрейлейн Дитценгоф, видимо, стесняясь мешать незнакомому господину, беспокойно озирающемуся по сторонам, открыла ставни. В гостиную хлынул свет. Через высокие застекленные двери террасы был хорошо виден парк. «Надо с ней завести разговор, — подумал Каниц. — Не выпустать из рук! Расположить к себе».

*Поместье (лат.).

— Какой отсюда красивый вид на парк! — начал он, глубоко вздохнув. — Здесь, наверное, чудесно живет.

— Да, чудесно, — послушно подтвердила она, но ее слова прозвучали не совсем искренне. Каниц сразу почувствовал, что это запуганное создание разучилось открыто возражать.

Немного помолчав, она добавила, как бы поправляясь:

— Правда, госпожа княгиня здесь никогда не чувствовала себя хорошо. Она говорила, что вид равнины нагоняет на нее тоску. По-настоящему ей нравились только море и горы. Здешняя природа казалась ей слишком пустынной, а люди... — Она снова запнулась.

«Ну, поддерживай же разговор, — напомнил себе Каниц. — Старайся установить контакт!»

— Но вы, фрейлейн, надеюсь, останетесь тут?

— Я? — Она невольно подняла руки, как бы желая отстранить от себя что-то неприятное. — Я?.. Нет! О нет! Что мне здесь делать одной в этом огромном доме?.. Нет, нет, сразу же уеду, как только все уладится.

Каниц украдкой рассматривал ее. Какой она кажется маленькой в этом большом зале, бедная хозяйка Кекешфальвы. А ее можно было бы назвать хорошенькой, если бы она не была так бледна и испуганна; это узкое удлиненное лицо с опущенными ресницами напоминает дождливый пейзаж. Глаза нежно-васильковые, мягкие и теплые, но они, не осмеливаясь взглянуть открыто, снова и снова пугливо прячутся за ресницами. Как тонкий знаток человеческой природы, Каниц сразу понял, что перед ним надломленное существо. Человек без воли, из которого можно вить веревки. А если так, значит, не упускай случая, заводи разговор! Соболезнующе нахмутив брови, он осведомился:

— Но что тогда будет с вашей прекрасной усадьбой? Ведь тут нужна рука, твердая рука.

— Не знаю, не знаю, — нервно произнесла она. По ее хрупкому телу пробежала дрожь.

И в это мгновение Каниц вдруг совершенно ясно понял, что у нее, годами приученной к беспрекословному повиновению,

никогда не хватит мужества на самостоятельный поступок и что тяжкий груз богатства, навалившийся на ее слабые плечи, скорее напугал ее, чем обрадовал. Каниц лихорадочно соображал. Не зря он последние двадцать лет учился продавать и покупать, уговаривать и отговаривать. Памятуя первую заповедь коммерсанта — купить подешевле, продать подороже, — он тут же сообразил, какую педаль лучше нажать, чтобы достигнуть желаемого эффекта. «Надо расписать ей все в самом мрачном свете, — подумал он. — А вдруг удастся заарендовать имение целиком и оставить Петровича с носом? Пожалуй, это и к лучшему, что он уехал в Вену». Изобразив на своем лице сочувствие, он продолжал:

— Да, вы правы! С большим хозяйством большие хлопоты. Нет ни минуты покоя. С утра до вечера воюй то с управляющим, то с прислугой, то с соседями, а тут еще налоги, адвокаты. Стоит лишь людям пронюхать, что вы скопили немного денег, как уже нет отбоя от желающих пожить за ваш счет. Как бы вы хорошо ни относились к ним, все равно вы для них враг. И тут уж ничем не поможешь, ничем, каждый становится вором, как только почует деньги. К сожалению, вы правы, вы правы. Чтобы совладать с таким имением, нужна железная рука, иначе ничего не получится. К этому надо иметь призвание, но даже и тогда вас ожидает вечная борьба.

— О да, — сказала она, глубоко вздохнув; видно, ей вспомнилось что-то страшное. — Люди становятся такими ужасными, когда дело касается денег. Я никогда не знала этого раньше.

Люди? Какое дело Каницу до людей? Хорошие они или плохие, его это не интересует. Ему надо арендовать имение, да побыстрее и повыгоднее. Он слушает, вежливо кивает, отвечает и одновременно, каким-то другим уголком мозга, прикидывает, как бы половчее повернуть все это. Может быть, основать компанию и арендовать поместье целиком с угодьями, сахарным и конным заводами? В крайнем случае передать все в субаренду Петровичу, оставив себе движимость. Главное — это сейчас же, не откладывая, сказать об аренде. Если хорошенько нагнать страху, она согласится на все, что ей дадут.

Считать она не умеет, как достаются деньги, не знает, а потому и не заслуживает большого богатства. И в то время, как каждый нерв, каждая извилина его мозга заняты напряженной работой, его язык продолжает соболезнующе болтать:

— Но самое ужасное — это тяжба. Как бы вы ни были миролюбивы, вам никогда не отделаться от вечных споров. Это всегда и удерживало меня от покупки какого-либо имения. Нескончаемые процессы, адвокаты, переговоры, судебные заседания, скандалы... Нет, уж лучше жить скромно, зато без всяких тревог и неприятностей. С такой усадьбой вам только кажется, что у вас что-то есть; на самом же деле вас беспрерывно травят, ни на минуту не оставляя в покое. Конечно, все это само по себе неплохо — усадьба, красивый старинный дом... все это чудесно... но надо иметь стальные нервы и железный кулак, чтобы управлять поместьем, иначе оно станет вечной обузой...

Она слушала, опустив голову. Вдруг она вскинула на Каница глаза; из ее груди вырвался тяжелый вздох, казалось, он шел из самой глубины души:

— Да, эта усадьба — ужасное бремя... Если бы я только могла ее продать!

Доктор Кондор неожиданно остановился.

— Мне хочется, господин лейтенант, чтобы вы себе ясно представили, что означала эта короткая фраза для нашего друга. Я уже говорил вам, что Кекешфальва поведал мне всю историю в самую тяжелую ночь его жизни, в ночь, когда умерла его жена, то есть в такую минуту, которая бывает в жизни человека, пожалуй, два или три раза, — в минуту, когда даже самый скрытный испытывает потребность обнажить свою душу перед другим человеческим существом, как перед Богом. Я еще отчетливо помню, мы сидели с ним тогда внизу, в комнате для посетителей; близко придвинувшись ко мне, он говорил тихо, взволнованно, без передышки. Чувствовалось, что этим беспрерывным потоком слов он стремился оглушить самого себя; безостановочно рассказывая, он пытался забыть о том, что

этажом выше умирает его жена. Но в том месте своего рассказа, где фрейлейн Дитценгоф воскликнула: «Если бы я только могла ее продать!» — Каниц внезапно умолк. Вы подумайте, господин лейтенант, даже пятнадцать или шестнадцать лет спустя Каниц побледнел, вспоминая то мгновение, когда ничего не подозревавшая стареющая девица простодушно призналась ему, что хочет скорее, как можно скорее продать усадьбу. Дважды или трижды он повторил затем эту фразу, вероятно, с той же интонацией, с какой ее произнесла она: «Если бы я только могла ее продать!» Ибо в ту секунду Леопольд Каниц со свойственной ему сметливостью моментально сообразил, что на него как с неба свалилась величайшая в жизни удача, что ему достаточно лишь протянуть руку, и он схватит ее; вместо того чтобы арендовать это роскошное имение, он мог купить его сам. И в то время как он притворно-равнодушной болтовней старался скрыть свое волнение, в его мозгу вихрем проносились мысли: «Разумеется, купить, — рассуждал он, — и прежде, чем нагрянет Петрович или будапештский директор. Нельзя выпускать ее из рук. Надо отрезать ей все пути к отступлению. Я не уеду отсюда, пока не стану хозяином Кекешфальвы». И с непостижимой раздвоенностью, присущей нашему интеллекту в минуты большого напряжения, Каниц, про себя думая только о своей выгоде, говорил ей, взвешивая каждое слово, о другом, о совершенно обратном:

— Продать... гм, конечно, фрейлейн, продать можно все и навсегда... продать — это, вообще говоря, нетрудно... но все искусство в том, чтобы продать удачно... Выгодно продать, вот в чем все дело. Найти честного человека, такого, который знает здешние места, землю, людей... человека со связями, но только не из этих адвокатов — Боже упаси! — они способны лишь втравить вас в бесполезные тяжбы... И что еще важно — особенно в этом случае — продать за наличные, а не за какие-то векселя или бонны, с которыми вы будете потом возиться не один год... продать наверняка и за настоящую цену. (В то же время Каниц прикидывал в уме: «На четыреста тысяч крон я могу пойти, ну на четыреста пятьдесят — самое большое: ведь

есть еще картины, и стоят они не меньше пятидесяти тысяч, а то и все сто... Дом, конный завод... Надо только выяснить, не заложено ли все это и не опередил ли меня кто-нибудь...») Внезапно, будто его кто-то подтолкнул, он спросил:

— Есть ли у вас, фрейлейн, простите меня за нескромный вопрос, приблизительное представление о цене? Я хочу сказать: имеете ли вы в виду какую-то определенную сумму?

— Нет, — беспомощно ответила она и растерянно взглянула на него.

«Вот это уже не годится! — подумал Каниц. — Никуда не годится! Труднее всего заключать сделки с теми, кто не называет цены, тут начнутся бесконечные хождения за советами, и каждый примется судить да рядить. Если дать ей возможность посоветоваться, все будет потеряно. И пока все эти мысли беспорядочно проносились у Каница в голове, он настойчиво продолжал:

— Но какое-то приблизительное представление у вас все же есть, фрейлейн?... И, кроме того, вам должно быть известно, выдавались ли ипотеки под имение и в каком размере...

— Ипо... ипотеки? — повторила она.

Каниц понял, что это слово она слышит впервые в жизни.

— Я хочу сказать, должна же быть какая-то предварительная оценка... для обложения налогом... Разве ваш адвокат... — простите, возможно, я кажусь навязчивым, но мне искренне хочется помочь вам, — разве ваш адвокат не называл никаких цифр?

— Адвокат? — Она пыталась что-то вспомнить. — Да, да... подождите... адвокат мне что-то написал, что-то насчет оценки... да, да, вы правы, именно в связи с налогами, но... бумага была составлена на венгерском языке, а я не понимаю по-венгерски. Правильно, вспоминаю, адвокат еще писал мне, чтобы я отдала перевести. Ах, Боже мой, в этой суматохе я совсем про нее забыла! Там, в моем бюваре, должны быть все эти бумаги... ну, там, где я живу... в доме управляющего... не могу же я спать в комнате, где жила княгиня... Если вы будете так добры пройти со мной туда, я вам все покажу... только... — Она вдруг

запнулась. — Только если я вас, конечно, не очень обременяю своими делами...

Каниц дрожал от возбуждения. Все текло в его руки с такой быстротой, какая бывает только во сне. Она сама хочет показать ему оценочные акты, а это значит, что все преимущества на его стороне! Он смиренно поклонился.

— Что вы, фрейлейн, я буду рад, если хоть что-нибудь смогу вам посоветовать. Скажу вам без преувеличения, в этих вещах у меня есть кое-какой опыт. Княгиня (здесь он смело солгал) всегда обращалась ко мне, когда ей требовалась какая-либо справка по финансовым вопросам: она знала, что я всегда был готов помочь ей самым бескорыстным образом...

Они прошли в дом управляющего. И на самом деле, в ее бюро лежали в беспорядке все документы по процессу: переписка с адвокатом, налоговые счета, копия последнего соглашения. Она нервно перебирала бумаги, а Каниц, тяжело дыша, не сводил с нее взгляда, и руки у него дрожали. Наконец она вытащила какой-то документ.

— Вот, кажется, то письмо.

Каниц взял письмо, к которому было подколото приложение, написанное по-венгерски. Письмо, оказавшееся короткой запиской от венского адвоката, гласило: «Как мне только что сообщил мой венгерский коллега, ему удалось, используя связи, добиться исключительно заниженной оценки наследства для обложения налогом. Установленная оценочная стоимость соответствует, по-моему, примерно одной трети, а для некоторых объектов даже одной четверти их действительной стоимости...» Дрожащими руками Каниц развернул оценочный реестр. Его интересовал только один пункт в списке: поместье Кекешфальва. Оно было оценено в сто девяносто тысяч крон.

Каниц побледнел. Так же высоко, как раз втрое больше этой искусственно заниженной суммы, — то есть от шестисот до семисот тысяч крон, — оценил поместье он сам, а ведь адвокат не подозревал о существовании китайских ваз. Сколько же предложить ей? Цифры прыгали и расплывались у него перед глазами.

Но тут голос рядом робко спросил:

— Это та самая бумага? Вы понимаете, что в ней написано?

— Разумеется, — встрепенулся Каниц. — Да, да, конечно... итак... адвокат уведомляет вас, что имение Кекешфальва оценено в сто девяносто тысяч крон. Разумеется, это его оценочная стоимость.

— Оце... оценочная? Простите... но что это означает?

Вот теперь надо рискнуть, сейчас или никогда! Каниц с трудом перевел дыхание.

— Оценочная стоимость... гм... видите ли... оценочная стоимость. Это... это приблизительное... я бы сказал... весьма неопределенное понятие... потому... потому что номинальная цена никогда полностью не соответствует продажной. Вряд ли можно рассчитывать, то есть наверняка рассчитывать на то, что получишь всю сумму, в которую оценено владение. Конечно, иногда ее можно получить, и в некоторых случаях даже больше... но только лишь при известных обстоятельствах... Оценочная стоимость в конечном счете является не более как отправной точкой, разумеется, очень неопределенной... ну, например... — Каница пронизала дрожь: не сбавь и не набавь слишком много! — например... если такое поместье, как ваше, номинально оценено в сто девяносто тысяч крон, то... то вполне можно допустить, что... что за него при продаже дадут... ну... скажем... по меньшей мере сто пятьдесят тысяч, на эту сумму можно рассчитывать во всяком случае!

— Сколько, вы сказали?

У Каница зазвенело в ушах от внезапного прилива крови. Странно, почему она спросила таким резким тоном, будто едва сдерживала гнев? Неужели она разгадала его фальшивую игру? Не накинуть ли еще пятьдесят тысяч, пока не поздно? Но внутренний голос шептал ему: «Рискни!» И Каниц пошел ва-банк... Несмотря на то что у него стучало в висках от волнения, он со скромным видом произнес:

— Да, это я считаю вполне вероятным. Сто пятьдесят тысяч крон, я полагаю, вы получите наверняка.

Но тут у Каница замерло сердце, и удары пульса в висках

сразу стихли, потому что наивное существо рядом с ним воскликнуло с самым искренним изумлением:

— Так много? В самом деле... так много?

Прошло некоторое время, прежде чем к Каницу вернулось самообладание и он смог ей ответить простодушным и убежденным тоном:

— Да, фрейлейн, такую сумму должны заплатить обязательно. За это я готов поручиться.

Доктор Кондор снова сделал паузу. Я подумал, что ему хочется закурить. Он вдруг начал заметно нервничать: снял пенсне, опять надел его, пригладил свои редкие волосы, словно они мешали ему, и посмотрел на меня — это был долгий, тревожный, испытующий взгляд, затем он резким движением откинулся в кресле.

— Господин лейтенант, возможно, я сообщил вам слишком много, во всяком случае, больше, чем предполагал. Но, надеюсь, вы поймете меня правильно. Если я откровенно рассказал вам, как Кекешфальва надул тогда эту доверчивую особу, то отнюдь не затем, чтобы настроить вас против него. Несчастный старик, у которого мы сегодня ужинали, больной душой и телом человек, доверивший мне свое дитя и готовый отдать все до последнего гроша, лишь бы увидеть бедняжку исцеленной, — это уже совсем не тот Каниц, который совершил сомнительную сделку, и, поверьте, я последний стал бы обвинять его сегодня в этом. Как раз теперь, когда он в своем отчаянии действительно нуждается в помощи, мне кажется важным, чтобы вы узнали правду от меня, а не слушали, что болтают злые языки. Так вот, прошу вас не забывать одного обстоятельства: Кекешфальва (вернее, тогда еще Каниц) приехал в тот день, не имея намерения выманить по дешевке поместье у доверчивой наследницы. Он собирался лишь *en passant** проверить обычное дельце, не более. Эта невероятная удача буквально свалилась на него, и он был бы не он, если бы не воспользовался ею в

*Мимоходом (франц.).

полной мере. Но впоследствии, как вы увидите, события приняли несколько иной оборот.

Чтобы не затягивать рассказ, я лучше опущу некоторые подробности. Хочу только подчеркнуть, что в жизни Каница то были самые напряженные, самые азартные часы. Представьте себе ситуацию: человеку, который был до сих пор лишь каким-то мелким агентом, занимавшимся темными делами, вдруг, как в сказке, выпадает шанс разбогатеть за одну ночь. В течение двадцати четырех часов он мог бы заработать больше, чем за все предыдущие двадцать четыре года жалкого торгашества, и — что самое соблазнительное — ему даже не надо было преследовать, оглушать и связывать жертву, — напротив, сама жертва не только добровольно подставила горло, но еще и лизала руку, занесшую нож. Единственная опасность для Каница заключалась в том, чтобы кто-нибудь не опередил его. Поэтому он должен был, не давая фрейлейн опомниться, увезти ее из Кекешфальвы раньше, чем вернется управляющий, и в то же время, принимая все предосторожности, действовать так, чтобы она ни на миг не заподозрила его в личной заинтересованности.

По-наполеоновски дерзким и по-наполеоновски рискованным было его решение взять штурмом осажденную крепость Кекешфальва прежде, чем к ней подоспеет подмога; но тому, кто не боится риска, часто приходит на помощь случай. Каниц и не подозревал, что идет по проторенной дорожке; своей удачей он был обязан весьма жестокому, но тем не менее естественному обстоятельству: став хозяйкой имения, несчастная наследница с первых же часов своего пребывания в нем столкнулась с такой ненавистью и испытала столько унижений, что не чаяла, как оттуда выбраться, да поскорее, поскорее! Нет зависти более низкой, чем та, которую испытывают плебейские натуры к своему собрату, когда тому удается, словно по волшебству, вознестись над ними, сбросив ярмо подневольного существования; мелкие души скорее простят несметные богатства своему повелителю, чем малейшую независимость товарищу по несчастной судьбе. Вся прислуга Кекешфальвы при-

шла в ярость, когда узнала, что именно эта немка, в которую, как они все хорошо помнили, вспльщивая княгиня швыряла во время туалета щеткой и гребнем, будет хозяйкой поместья и, следовательно, их госпожой. Петрович, получив известие о прибытии наследницы, сел на первый же поезд и уехал, лишь бы не встречать ее, а его жена, вульгарная особа, работавшая прежде судомойкой, приветствовала ее словами: «Вряд ли вы с нами уживетесь, ведь мы недостаточно благородны для вас». Слуга с грохотом швырнул на порог чемодан, так что ей самой пришлось втаскивать его в комнату, причем жена управляющего даже пальцем не шевельнула, чтобы помочь. Обед приготовлен не был, никто о ней не беспокоился в течение всего дня, а поздно вечером под ее окном велись довольно громкие разговоры о «вымогательнице» и «охотнице за наследством».

По первому приему бедная, слабовольная женщина поняла, что здесь ей и часа не прожить спокойно. Только благодаря этой единственной причине, о которой Каниц и не подозревал, она с радостью приняла его предложение в тот же день отправиться в Вену, где он якобы знал одного надежного покупателя; посланцем неба показался ей этот серьезный, обязательный и сведущий человек с печальным взглядом. Ни о чем больше не спрашивая Каница, она с благодарностью вручила ему все документы и теперь, доверчиво глядя синими глазами, внимала его советам, куда ей следует поместить деньги, которые она получит за имение. Нужно брать только абсолютно надежные бумаги, внушал он ей, государственные бумаги, здесь уж полная гарантия. Никаким частным лицам нельзя доверять ни гроша. Все сразу же положить в банк, поручив вести дела нотариусу, и непременно из государственной нотариальной конторы. Приглашать адвоката сейчас нет смысла, к тому же эта публика обычно из всех возможных путей выбирает самый окольный. Конечно, вставил он тут же, очень может быть, что через три-четыре года за поместье дали бы больше. Но сколько за это время будет расходов и сколько придется бегать по различным канцеляриям и судам! В ее глазах вновь мелькнул испуг. Поняв, какое отвращение питает это мирное существо

ко всяким делам и процессам, Каниц снова и снова повторял всю гамму аргументов, каждый раз заканчивая одним и тем же аккордом: скорее! скорее! И в четыре часа дня, прежде чем вернулся Петрович, они в полном согласии отправились скорым поездом в Вену. Все произошло с такой ошеломляющей внезапностью, что фрейлейн Дитценгоф даже не успела спросить у незнакомого господина, которому она доверила продажу всего своего наследства, его имени.

Они поехали первым классом; впервые в жизни Каниц сидел на мягком, обитом красным плюшем сиденье. В Вене он отвез Дитценгоф в хороший отель на Кертнерштрассе и там же взял номер для себя. Каницу, с одной стороны, было необходимо в тот же вечер заготовить купчую у своего старого сообщника, адвоката д-ра Голлингера, чтобы на следующий же день юридически узаконить сорванный им куш; с другой стороны, он боялся оставить свою жертву одну хотя бы на минуту. И тут, надо признаться, его осенила поистине гениальная идея. Он предложил фрейлейн Дитценгоф воспользоваться свободным вечером, чтобы посетить оперу, где с шумным успехом выступала приезжая труппа; он же в это время попытается разыскать того господина, который собирался купить большое поместье. Тронутая такой заботой, фрейлейн Дитценгоф с радостью согласилась, и Каниц доставил ее в театр. Теперь он мог быть спокоен, четыре часа она не сдвинется с места. Наняв фиакр — также впервые в жизни, — он понесся к своему загадочному приятелю д-ру Голлингеру. Того не оказалось дома. Отыскав его в одном из баров, Каниц посулил ему две тысячи крон, если он этой же ночью составит подробную купчую и завтра к семи часам вечера принесет ее к нотариусу для подписи.

На время переговоров с адвокатом Каниц, впервые в жизни оказавшийся расточительным, велел кучеру фиакра дожидаться его у бара. Затем, примчавшись обратно в театр, Каниц успел подхватить в вестибюле фрейлейн, которая была вне себя от восторга, и отвез ее в отель. Началась вторая бессонная ночь. Чем ближе он подходил к цели, тем больше нервничал, опасаясь, как бы послушная жертва вдруг не ускользнула из

его рук. То ложась на кровать, то вскакивая с нее, Каниц в деталях продумывал план действий на завтра. Прежде всего, ни на секунду не оставлять ее одну. Нанять фиакр на весь день, не делать ни одного шага пешком во избежание случайной встречи на улице с ее адвокатом. Следить, чтобы она не читала газет: какая-нибудь заметка о процессе Оршваров может навести на подозрение, что ее собираются обмануть вторично. На самом же деле все его опасения и меры предосторожности были напрасны, так как жертва и не помышляла о бегстве. Словно ягненок на привязи, она покорно бегала за злым пастухом, и, когда наш друг после изнурительной ночи вошел наутро в ресторан отеля, она уже сидела там в своем старом, ею самой сшитом платье, терпеливо поджидая его. И тут завертелась удивительная карусель: без всякой необходимости Каниц стал возить бедную фрейлейн по разным присутственным местам исключительно для того, чтобы заморочить ей голову ложными трудностями, которые он изобрел бессонной ночью.

Я не буду вдаваться в подробности. Сначала он потащил ее к своему адвокату и принялся звонить оттуда по телефону во все концы по совершенно другим делам; затем повез ее в банк и советовался с прокуристом по поводу вклада и открытия счета на ее имя; под предлогом необходимости получить некоторые справки он побывал с нею в нескольких ипотечных конторах и еще в каком-то подозрительном бюро по продаже недвижимости. И она всюду следовала за ним, молча и терпеливо ожидая в приемных, пока он вел «переговоры». За двенадцать лет рабства у княгини это ожидание за дверью стало для нее привычкой, оно не угнетало и не унижало ее, и она покорно ждала, сложив руки на коленях и пряча синие глаза, когда кто-нибудь проходил мимо. Кроткая и послушная, как ребенок, она делала все, что ей велел Каниц. В банке она ставила свою подпись на формулярах, даже не взглянув на них, и с такой беспечностью расписывалась в получении денег, которых она еще не видела, что Каница даже начало терзать сомнение: может быть, эта дура согласилась бы на сто сорок, а то и на сто тридцать тысяч крон? Она сказала «да», когда прокурист

посоветовал ей взять железнодорожные акции, согласилась также, когда он предложил банковские, каждый раз при этом бросая робкий взгляд на своего оракула. Было ясно, что все деловые операции, формуляры, подписи, даже самый вид денег вызывали у нее смешанное чувство благоговения и тягостного беспокойства и что она жаждала лишь одного: быстрее избавиться от этих непонятных формальностей, от необходимости принимать ответственные решения, не имея ни опыта, ни уверенности, и поскорее вернуться в свою тихую комнату, заняться чтением, вязанием или музыкой.

Но Каниц неумоимо продолжал вращать ее по искусственно созданному кругу — отчасти, чтобы действительно, как он обещал, помочь ей надежно поместить капитал, отчасти, чтобы сбить ее с толку; эта карусель продолжалась с десяти часов утра до половины шестого вечера. Наконец оба настолько устали, что Каниц предложил зайти в кафе и передохнуть. С основными формальностями они разделались, продажу имения можно было считать почти свершившейся; оставалось лишь подписать купчую у нотариуса в семь часов и заполучить деньги. Ее лицо сразу просветлело.

— О, тогда я уже смогу уехать рано утром? — Устремленные на него васьильковые глаза засияли.

— Разумеется, — успокоил ее Каниц. — Через час вы станете самым свободным человеком на свете, и вам не придется больше заботиться ни о деньгах, ни о поместье. Ваш вклад обеспечит вам ежегодную ренту в шесть тысяч крон. Теперь вы сможете жить, где и как вам будет угодно.

Из вежливости он осведомился, куда она собирается ехать. Ее лицо, минуту назад засветившееся радостью, снова помрачнело.

— Я решила поехать сначала к родным в Вестфалию. Кажется, утром должен быть поезд на Кельн.

Каниц тут же развил бурную деятельность. Спросив у кельнера железнодорожный справочник, он бегло просмотрел расписание и составил нужный ей маршрут: скорый Вена — Франкфурт — Кельн с пересадкой в Оснабрюке. Удобнее всего ут-

ренним, в девять двадцать; вечером она уже будет во Франкфурте, где он советует ей переночевать, чтобы не переутомляться. Остановиться можно — он лихорадочно перелистал указатель гостиниц — в протестантском приюте. О билете ей беспокоиться не надо: он его купит, а также непременно проводит ее на вокзал. В разговорах время прошло быстрее, чем он надеялся; наконец, взглянув на часы, он сказал:

— Ну вот, нам и пора к нотариусу.

Менее чем за час все было кончено. Менее чем за час наш друг выудил у наследницы три четверти ее состояния. Когда при заполнении купчей д-р Голлингер увидел название поместья да еще ту незначительную сумму, в которую оно было оценено, он незаметно для фрейлейн Дитценгоф прищурил один глаз и подмигнул своему старому сообщнику, как бы говоря: «Браво, каналья! Вот это куш!» Нотариус тоже с любопытством взглянул поверх очков на фрейлейн; он, конечно, знал из газет о борьбе за наследство княгини Орошвар и, как юрист, заподозрил в этой спешной продаже что-то неладное. «Бедняжка, — подумал он, — крепко же ты попалась!» Но не обязанность нотариуса предостерегать стороны при подписании купчей. Его долг — заполнить документ, приложить печать и взыскать пошлину. Так что добрый человек опустил глаза, — на своем веку он много повидал и скрепил гербовой печатью не одну темную сделку, — аккуратно развернул купчую и вежливо пригласил фрейлейн Дитценгоф первой поставить подпись.

Робкая женщина вздрогнула. Она нерешительно посмотрела на своего ментора и, только после того, как он одобряюще кивнул ей, подошла к столу и аккуратными, четкими готическими буквами вывела: «Аннета-Беата-Мария Дитценгоф». Вторым подписался наш друг. Со всеми формальностями было покончено: купчая подписана, нотариусу вручен чек и указан счет в банке, куда на следующий день следует внести деньги. Одним росчерком пера Леопольд Каниц удвоил, а может быть, и утроил свое состояние; с этой минуты не кто иной, как он, стал владельцем поместья Кекешфальва.

Нотариус тщательно промакнул чернила, затем все трое пожали ему руку и направились к выходу; впереди шла Дитценгоф, за нею, затаив дыхание, Каниц. Последним по лестнице спускался д-р Голлингер, который, к вящей досаде Каница, непрерывно тыкал его под ребра концом трости и бубнил пропитым голосом: «Плутус максимум! Плутус максимум!» И все же наш друг не почувствовал облегчения, когда на улице д-р Голлингер, отвесив иронический поклон, распрощался с ним, ибо теперь он остался со своей жертвой один на один, и это пугало его.

Попытайтесь, дорогой лейтенант, понять причину этой неожиданной перемены в его настроении. Я вовсе не хочу утверждать, что в нашем друге, выражаясь патетически, вдруг заговорила совесть. Но с момента последнего росчерка пера положение обоих участников соглашения резко изменилось. Посудите сами: в течение двух дней между Каницем и несчастной фрейлейн происходило сражение покупателя с продавцом. Она была противником, которого по всем правилам стратегии он должен был настигнуть, окружить и принудить к капитуляции. Теперь же военно-финансовая операция была завершена. Каниц-Наполеон одержал победу, полную победу, и это означало, что бедная робкая женщина в простеньком платье, двигавшаяся теперь рядом с ним безмолвной тенью по Вальфишгассе, больше не была его врагом. И странно: ничто так не удручало нашего друга в минуту скорой победы, как тот факт, что его жертва сделала для него эту победу слишком легкой. Ибо когда один человек бывает несправедлив к другому, он из необъяснимого побуждения пытается доказать или внушить себе, будто пострадавший в какой-то мере поступил дурно или несправедливо; обидчик облегчает свою совесть, если ему удастся приписать обиженному хоть какую-нибудь пустячную вину. Каниц же ни в чем, даже в самом малом, не мог упрекнуть свою жертву: она сдалась ему, не сопротивляясь и наивно глядя на него благодарными васильковыми глазами. Что он мог ей сказать напоследок? Поздравить ее с благополучной продажей имения или, вернее, с потерей его? Чувство неловкости все

больше и больше овладевало им. «Провожу ее до отеля, — мелькнуло у него в голове, — и дело с концом».

Однако и жертва тоже начала проявлять заметные признаки беспокойства. Ее походка постепенно становилась все медленнее. Хотя Каниц шел опустив голову, от его внимания не ускользнула эта перемена: по тому, как она замедлила шаг (глядеть ей в лицо он не осмеливался), он почувствовал, что она что-то напряженно обдумывает. Страх обуял его. «Наконец-то она догадалась, — подумал он, — что покупатель — это я, и сейчас обрушится на меня с упреками; наверное, ругает себя за дурацкую спешку и завтра же помчится к своему адвокату».

Но вот она собралась с духом — к этому времени они бок о бок прошли в молчании уже всю Вальфишгассе — и, откашлявшись, начала:

— Простите... но так как я завтра уезжаю, мне хотелось бы все уладить и... прежде всего отблагодарить вас за хлопоты. И... пожалуйста, скажите, лучше сейчас, сразу... сколько я должна вам за труды? Ведь вы потеряли из-за меня столько времени, а... завтра утром я уеду... и... мне очень хочется, чтобы все было в порядке.

У нашего друга замерло сердце, отказались повиноваться ноги. Это уж слишком! Ничего подобного он не ожидал. Им овладело тягостное чувство, какое бывает у человека, когда он в гневе ударит собаку, а побитое животное ползет к его ногам и, глядя преданными глазами, лижет безжалостную руку.

— Нет, нет, — запротестовал Каниц, крайне смутившись, — вы мне ничего не должны, совершенно ничего! — Он почувствовал, как тело его покрылось испариной. Привыкший все рассчитывать заранее, умевший предвидеть любую реакцию со стороны клиента, он столкнулся сейчас с чем-то новым, непредусмотренным. В горькие годы его жизни перед ним, мелким агентом, нередко захлопывались двери, на улице люди не отвечали на его приветствия, а в некоторых переулках окраин он вообще предпочитал не показываться.

Но чтобы кто-нибудь его благодарил — такого с ним еще

никогда не случалось. И перед этим первым человеком, который, несмотря на все, продолжал ему верить, Каницу стало стыдно. Он ощутил потребность извиниться.

— Нет, — бормотал он, — ради Бога, нет! Вы мне ничего не должны... Я ничего не возьму... надеюсь, что я все сделал правильно и так, как вам было угодно... Быть может, лучше было бы подождать... боюсь, что мы могли... могли бы получить несколько больше, если бы вы так не спешили... Но ведь вам хотелось продать побыстрее — что же, я думаю, это и к лучшему. Да, я убежден, что так для вас лучше. — Он снова овладел собой и в эту минуту был почти искренен. — Человеку вроде вас, который ничего не понимает в делах, не стоит впутываться в это. Такой, как вы, лучше... иметь небольшое, но зато надежное состояние... И, пожалуйста, — он проглотил подступивший к горлу комок, — теперь, когда все позади, не позволяйте... я настоятельно прошу вас об этом, не позволяйте никому вводить себя в заблуждение всякими разговорами, что, мол, вы заключили невыгодную сделку и продешевили. Знаете, после того, как что-нибудь продано, всегда находятся люди, которые с важным видом уверяют вас, что они дали бы больше, гораздо больше... но как только дело доходит до платежа, то оказывается, что, кроме долговых расписок, векселей и паев, у них ничего нет за душой... Нет, нет, это не для вас, поверьте мне, совершенно не для вас. Ваши деньги помещены в надежный, первоклассный банк, клянусь вам, это так же верно, как то, что я стою перед вами! День в день, час в час вам будут аккуратно выплачивать ренту, без малейшей задержки. Верьте мне... клянусь вам... так будет лучше для вас.

Между тем они подошли к гостинице. Каниц остановился в нерешительности. «Пожалуй, надо бы пригласить ее в ресторан или в театр», — подумал он. Но она уже протянула ему руку.

— Не смею вас больше задерживать... мне и без того неловко, что вы потратили на меня столько времени. Ведь целых два дня вы занимались исключительно моими делами, и я чувствую, что никто другой не сделал бы этого более самоотверженно. Я... я вам очень благодарна. Еще ни разу, — она слегка

покраснела, — ни один человек не был так добр ко мне, так участлив... я никогда не думала, что смогу так быстро освободиться от этого, что все так легко и хорошо обойдется... Я вам очень благодарна, очень!

Прощаясь, Каниц не смог удержаться, чтобы не поднять на нее глаза. Обычное для нее выражение запуганности почти исчезло, оттесненное приливом теплого чувства. Ее всегда бледное, испуганное лицо внезапно оживилось, в синих выразительных глазах и благодарной улыбке было что-то детское. Каниц хотел что-то сказать, но, прежде чем он открыл рот, она произнесла «до свидания» и ушла — легкая, стройная и уверенная; ее походка стала совсем иной — это была походка человека, избавившегося от непосильной ноши, обретшего свободу. Каниц в недоумении смотрел ей вслед. Его не покидало чувство, будто он что-то недосказал. Но портье уже протянул ей ключ, и бой повел ее к лифту. Все было кончено.

Овечка простилась с мясником. У Каница осталось такое ощущение, словно он ударил обухом самого себя; несколько минут он стоял ошеломленный, уставившись неподвижным взглядом в опустевший вестибюль гостиницы. На улице поток прохожих увлек его за собой, и он побрел, сам не зная куда. Еще ни разу в жизни никто не смотрел на него таким добрым, благодарным взглядом. Никогда еще ни один человек не разговаривал с ним так сердечно. В его ушах продолжала звучать последняя фраза: «Я вам очень благодарна, очень». И как раз этого человека он обманул, именно его он ограбил! То и дело Каниц останавливался и вытирал со лба пот. Неожиданно у большого магазина стеклянных изделий на Кертнерштрассе, по которой он бесцельно брел, шатаясь, словно пьяный, он случайно увидел свое отражение в стоявшем на витрине зеркале; Каниц начал разглядывать свое лицо, как смотрят на фотографию преступника в газете, стараясь определить, что, собственно, выдает в нем преступные наклонности — выступающий ли подбородок, злобно сжатые губы или холодный взгляд? Пристально изучая свои встревоженные, широко раскрытые глаза, Каниц вдруг вспомнил глаза той, с которой только что расстал-

ся. «Вот бы какие глаза иметь! — подумал он сокрушенно. — Не то что у меня — с воспаленными веками, жадные, беспокойные. Вот бы какие мне глаза — синие, лучистые, озаренные верой! (Мать иногда смотрела так — в субботу вечером, вспоминалось ему.) Да, надо быть таким человеком, как она, — порядочным, незлобивым, скорее дать обмануть себя, нежели обманывать самому. Только такие люди благословенны. Все мои ухищрения не принесли мне счастья, я так и остался жалким существом, не знающим покоя». Леопольд Каниц побрел дальше по тротуару, чужой самому себе; и никогда еще у него не было так скверно на душе, как в этот день — день его величайшего триумфа.

Наконец, решив, что ему пора поест, он зашел в кафе. Но еда вызвала у него отвращение. «Продам Кекешфальву, — размышлял он, — продам немедленно. На что мне имение, ведь я не помещик. Жить одному в восемнадцати комнатах и вечно грызться с шайкой арендаторов? Какая глупость, что я купил его на свое имя! Надо было оформить купчую на ипотечный банк... ведь если она узнает, что покупатель я сам... а, впрочем, я и не собирался много заработать! Если она пожелает, я верну ей поместье за вычетом двадцати, нет, даже десяти процентов комиссионных. Может получить его обратно в любое время, если раскаивается в том, что продала».

Эта мысль принесла Каницу облегчение. «Завтра же напишу ей, — решил он, — а впрочем, сам скажу ей это перед отъездом. Да, так будет, пожалуй, правильнее: добровольно предоставить ей право выкупа». Теперь он надеялся, что сможет заснуть спокойно. Однако, несмотря на две бессонные ночи, он и эту, третью, почти не спал, в ушах то и дело раздавалось: «Я вам очень благодарна, очень», — с чужим, нижнегерманским акцентом, но так искренне, что его всякий раз бросало в дрожь. За последние двадцать пять лет ни одна сделка не причинила нашему приятелю столько беспокойства, как эта — самая крупная, самая удачная и самая бессовестная.

В половине восьмого утра Каниц был уже на улице. Он знал, что скорый поезд на Пассау отходит в девять двадцать, и спе-

шил купить фрейлейн Дитценгоф шоколаду или конфет; ему хотелось как-то проявить свою признательность, и, может быть, втайне он жаждал еще раз услышать эти новые для него слова: «Я вам очень благодарна» — с трогательным иностранным акцентом. Каниц купил большую коробку конфет, самую красивую, самую дорогую. Но даже это показалось ему недостаточным для прощального подарка, и в ближайшем магазине он взял еще цветов — огромный алый букет. Нагруженный покупками, он вернулся в отель и попросил портье тотчас же отнести все в номер фрейлейн Дитценгоф. Но портье, по венскому обычаю наградив его титулом, угодливо ответил:

— Прошу прощения, господин фон Каниц, фрейлейн уже изволят завтракать.

Каниц на секунду задумался. Он был так потрясен вчерашним прощанием, что опасался, как бы новая встреча не разрушила приятного воспоминания. Затем он все же решился и с букетом в одной руке и коробкой в другой вошел в кафе.

Она сидела к нему спиной. Еще не видя ее лица, он уже почувствовал что-то трогательное в том, как это хрупкое существо скромно и тихо сидело за пустым столиком: против воли Каниц был захвачен этим ощущением. Неуверенно приблизившись к ней, он поспешно положил букет и конфеты на стол.

— Вот вам в дорогу, — произнес он.

Она вздрогнула и густо покраснела. Впервые в жизни ей дарили цветы. Правда, как-то один из охотников за наследством, в надежде заполучить в ней союзника, прислал ей несколько жалких роз. Но княгиня, старая бестия, приказала немедленно отослать их обратно. А вот сейчас пришел человек, преподнес ей цветы, и никто на свете не мог запретить ей принять их!

— Что вы, — пролепетала она, — зачем это? Они слишком... слишком хороши для меня.

Тем не менее она с благодарностью посмотрела на него. Было ли то отражение цветов или кровь прилила к щекам, во всяком случае, ее смущенное лицо заметно порозовело; стареющая девушка выглядела почти красивой в эту минуту.

— Не хотите ли присесть? — продолжала она в замешательстве.

Каниц неловко опустил на стул против нее.

— Значит, вы в самом деле уезжаете? — спросил он, и в его голосе невольно прозвучала нотка искреннего сожаления.

— Да, — ответила она и опустила голову. В этом «да» не было радости, но не было и печали. Ни надежда, ни разочарование не прозвучали в нем. Оно было произнесено спокойным, покорным тоном, без какого-либо особого оттенка.

От смущения и из желания услужить ей Каниц осведомился, послала ли она родным телеграмму о своем приезде. Нет, нет, это только напугало бы их, ведь они много лет уже не получали никаких телеграмм.

— Но это ваши близкие родные? — продолжал он расспрашивать.

Близкие — нет, напротив. Вроде племянницы — дочь умершей сводной сестры, а ее мужа она вообще не знает. У них там маленькая ферма с пасекой. Они прислали ей очень любезное письмо, где сообщают, что для нее есть комната и что она может оставаться у них, сколько ей захочется.

— Но что вы собираетесь делать в этом захолустье? — спросил Каниц.

— Не знаю, — ответила она, не поднимая глаз.

Нашего друга постепенно охватило волнение. Это одинокое, незащищенное создание казалось таким несчастным, а в ее безразличном отношении к себе и своему будущему было столько беспомощности, что Каницу вспомнилась его собственная неустроенная, бездомная жизнь. В бессмысленности ее существования он увидел что-то общее со своей судьбой.

— Но это же неразумно! — почти с жаром сказал он. — Жить у родственников вообще не годится. А потом, зачем вам хоронить себя заживо в какой-то дыре?

Она благодарно и в то же время с грустью взглянула на него.

— Да, — вздохнула она, — я тоже побаиваюсь. Но что же мне делать?

Она произнесла это безучастно и затем вскинула на Кани-

ца синие глаза, будто спрашивая совета. Вот бы какие глаза иметь, вспомнилось ему, и вдруг — он сам не мог объяснить, как это с ним случилось, — у него вырвалось:

— Так оставайтесь здесь. — И уже, помимо воли, тише добавил: — Оставайтесь со мной.

Она вздрогнула и изумленно посмотрела на него. Только сейчас Каниц сообразил: он невольно высказал свое неосознанное стремление. Он не продумал, как обычно, не взвесил и не рассчитал этих слов, слетевших у него с языка. Безотчетное желание, значения которого он еще не успел уяснить, неожиданно претворилось в звук, слово. Лишь увидев, как она залилась краской, он понял смысл сказанного и тут же испугался, что она может истолковать это превратно. Наверное, она подумала, что он предлагает ей стать его любовницей. И, чтобы ей не пришлось в голову ничего обидного, он поспешно добавил:

— Я хотел сказать: моей женой.

Она встрепелулась, губы ее дрогнули. Каниц ждал, что она вот-вот разрыдается или накричит на него. Но она внезапно вскочила и убежала из комнаты.

То была самая страшная минута в жизни нашего друга. Только теперь он осознал всю нелепость своего поступка. Ведь он оскорбил, унизил добрейшее существо, единственного человека, который питал к нему доверие. Да как посмел он, пожилой, некрасивый еврей, жалкий торгаш и скряга, предложить руку такому чуткому, благородному созданию! Он даже оправдывал ее за то, что она в ужасе убежала от него. «Что ж, — мрачно подумал он, — так мне и надо. Наконец-то она распознала меня и удостоила презрения, которого я заслуживаю. Что ж, лучше так, чем благодарность за обман». Каница несколько не обидело ее бегство, напротив, в этот момент, как он мне сам признался, он был даже рад. Он почувствовал, что получил по заслугам и что отныне она станет думать о нем с таким же презрением, какое он испытывает к себе сам.

Но вот она появилась в дверях, очень взволнованная, с заплаканными глазами. Плечи ее вздрагивали. Она подошла к

столику и, прежде чем сесть, ухватилась обеими руками за спинку стула. Затем, тихо вздохнув и не поднимая глаз, произнесла:

— Простите... простите меня за неучтивость... за то, что я... убежала. Но я так испугалась... Как же вы могли?.. Ведь вы меня не знаете... Вы меня совсем не знаете...

Каниц был не в силах вымолвить ни слова... Глубоко потрясенный, он видел, что в душе ее не было гнева, а только лишь страх. Она была испугана безрассудством его неожиданного предложения так же, как и он сам. Ни один из них не решался заговорить первым. Оба боялись взглянуть друг на друга. Но в то утро она не уехала. До позднего вечера они не расставались. Через три дня он повторил свое предложение, а спустя два месяца они поженились.

Доктор Кондор остановился.

— Ну, еще по бокалу, я сейчас заканчиваю. Мне только хотелось бы подчеркнуть следующее: здесь болтают, будто наш друг хитростью завлек наследницу и женился на ней исключительно с целью завладеть поместьем. Но я повторяю: это неправда! Как вы теперь знаете, поместье уже принадлежало Каницу, когда он делал предложение; в его женитьбе не было никакого расчета. Да разве он, мелкий торгаш, осмелился бы посвататься к хрупкой синеглазой девушке из корыстных побуждений? Ни за что. Он решился на это помимо воли, поддавшись внезапно охватившему его чувству, которое было искренним и, как ни странно, искренним осталось.

Ибо следствием этого неожиданного поступка оказался на редкость счастливый брак. Удачное сочетание противоположностей — наиболее благоприятное условие для гармонии, и то, что поначалу вызывает изумление, потом нередко выглядит совершенно естественным. Как и следовало ожидать, в первые дни скоропостижно обручившиеся боялись друг друга. Каниц опасался, что до нее дойдут слухи о его темных махинациях и она в последний момент с презрением оттолкнет его; поэтому он с невероятной быстротой принялся заметать следы своего

прошлого, прекратил все сомнительные дела, с убытком для себя ликвидировал долговые обязательства и порвал связи с бывшими сообщниками. Приняв христианство и заручившись поддержкой влиятельного крестного, он за солидную взятку добился разрешения прибавить к фамилии Каниц более звучную и аристократическую — фон Кекешфальва; и, как это часто бывает в подобных случаях, первоначальная фамилия вскоре бесследно исчезла с его визитных карточек. Тем не менее до самой свадьбы Каниц жил в постоянном страхе, что он вдруг лишится доверия своей невесты. Его нареченная, которой ее прежняя госпожа на протяжении двенадцати лет изо дня в день вдалбливала, что она бестолковая дура и злючка, с дьявольской жестокостью подавляя в ней всякое чувство собственного достоинства, ожидала и от нового повелителя бесконечных придирок и постоянных издевательств; привыкнув жить в неволе, она раз и навсегда примирилась с ней, как с неизбежностью. Но вдруг произошло неожиданное: все, что она делала, заслуживало одобрения. Человек, в чьи руки она отдала свою жизнь, каждый день говорил ей все новые и новые слова благодарности и относился к ней с неизменным робким почтением. Молодая женщина была изумлена: столь нежное обращение казалось ей просто непостижимым. И почти увядшая девушка постепенно расцвела: ее формы округлились, она похорошела. Прошел еще год или два, прежде чем она окончательно решилась поверить, что и ее, неприметную, униженную, притесненную, могут уважать и любить, как и всякую другую женщину. Но истинное счастье началось для них с рождением ребенка.

В те годы Кекешфальва с особой энергией взялся за работу. Времена мелкого торгового агента Каница миновали безвозвратно, его деятельность приобрела размах. Он модернизировал сахарный завод, стал акционером металлургического предприятия в Винер-Нейштадте и в сговоре с картеlem спиртозаводчиков провел блестящую операцию, наделавшую много шума. Но пришедшие к нему богатства — теперь уже настоящие — ничего не изменили в скромном, уединенном образе жизни

супругов. Словно стараясь как можно меньше напоминать людям о себе, они редко приглашали гостей, и знакомый вам дом выглядел в прежние времена несравненно проще и провинциальнее, — но тогда его обитатели были счастливы, не то что теперь.

Потом судьба послала ему первое испытание. Жену Кекешфальвы давно беспокоила боль в желудке. У нее появилось отвращение к еде, она похудела и продолжала слабеть с каждым днем; не желая тревожить крайне занятого супруга, она молчала и только стискивала зубы при очередном приступе. Когда же она не смогла дольше скрывать свою болезнь, было уже поздно. В санитарной машине ее увезли в Вену для операции предполагаемой язвы желудка — в действительности у нее оказался рак. Вот в те дни мы и познакомились с Кекешфальвой. Более страшного, дикого отчаяния, в каком он тогда находился, я еще никогда ни у кого не встречал. Он не желал, он просто отказывался понимать, что медицина бессильна спасти его жену; то, что мы, врачи, ничего больше не делали, ничего больше не могли сделать, он объяснял лишь нашей косностью, равнодушием и неумением. Пятьдесят, сто тысяч крон предлагал он профессору, если тот вылечит ее. За день до операции он вызвал из Будапешта, Мюнхена и Берлина виднейших специалистов, надеясь, что хоть один из них выскажется против вмешательства хирурга. Я в жизни не забуду, какими безумными глазами смотрел он на нас, крича, что все мы убийцы, когда несчастная умерла вскоре после операции; между тем такой исход был неминуем.

С того дня Кекешфальва словно переродился. Этот жрец наживы отрекся от идола, которому привык поклоняться с детства, — он потерял веру в золото. Отныне он жил лишь для своего ребенка. Он построил дом, нанял слуг и гувернанток; столь бережливому когда-то человеку никакая роскошь не казалась излишней. Девяти-десятилетнюю девочку он возил в Ниццу, Париж, Вену, баловал ее, как принцессу, швыряя деньгами направо и налево с тем же неистовством, с каким прежде копил их. Возможно, вы не так уж неправы, называя

нашего друга добрым и благородным; необычайное равнодушие и даже презрение к деньгам овладело им с тех пор, как его миллионы не помогли ему спасти жену.

Время уже позднее, я не стану подробно рассказывать, как он лелеял свою крошку; да это и не удивительно, ибо в те годы она была очаровательным созданием, изящная, стройная, легкая, настоящий эльф с серыми глазенками, ясно и доверчиво глядевшими на мир; от отца девочка унаследовала пронизательный ум, от матери — душевную кротость. Смышленная и ласковая, она росла, как цветок, пленяя окружающих милой непосредственностью, свойственной лишь детям, которые никогда не сталкивались с враждой и жестокостью. И только тот, кто знал, сколь велика была любовь к девочке этого грустного, стареющего человека, который и не чаял, что породит такое светлое, радостное существо, — только тот мог постигнуть глубину его отчаяния, когда судьба нанесла ему второй удар. Он не хотел, он решительно отказывался верить — да и по сей день не верит, — что именно этому ребенку, его ребенку, суждено быть калекой; я уж молчу о множестве нелепых поступков, совершенных им в полубезумном состоянии. Достаточно сказать, что своей настойчивостью он просто выводит из себя врачей всего мира, что он предлагает нам бешеные гонорары, будто от этого зависит немедленное исцеление больной, что, давая волю безудержному нетерпению, он без толку звонит мне через день по телефону. Мало того, как недавно сообщил мне по секрету один коллега, старик каждую неделю посещает университетскую библиотеку и сидит там часами вместе со студентами, роясь в медицинских учебниках и старательно выписывая из словаря значения непонятных ему терминов, — он, видимо, тешит себя несбыточной надеждой отыскать то, что мы, врачи, упустили или позабыли. Дошли до меня и другие слухи — вы, наверное, будете смеяться, но так уж повелось: о силе страсти всегда судят по совершаемым во имя нее безрассудствам, — что в случае выздоровления ребенка Кекешфальва обещал пожертвовать крупную сумму как местному приходу, так и синагоге; не зная, кому молиться —

Богу ли своих предков, от которого отрекся, или новому, — он принес клятву обоим, смертельно боясь разгневать каждого.

Вы, конечно, понимаете, что я сообщаю вам эти отчасти смешные детали вовсе не из желания посплетничать. Теперь вы сможете яснее представить себе, что значит для этого подавленного, отчаявшегося, сокрушенного судьбой человека, когда кто-нибудь готов хотя бы выслушать его, когда его горю искренне сочувствуют или, по крайней мере, стараются его понять. Я знаю, с ним нелегко разговаривать: он упрям до одержимости и ведет себя так, будто во всем мире, до краев полном горя, страдает лишь один человек — его дочь. И все же его нельзя покидать в беде, особенно теперь, когда мучительное сознание беспомощности начинает сказываться на его здоровье. Вы действительно делаете доброе дело, действительно, мой дорогой лейтенант, внося в этот трагический дом молодость, живость и беззаботность! Только поэтому, только опасаясь, что вас могут ввести в заблуждение, я, пожалуй, больше, чем следовало, рассказал вам о его личной жизни; но я полагаюсь на вас и уверен, что все останется между нами.

— Безусловно, — машинально подтвердил я; это было первое слово, которое я произнес с той минуты, как он начал свой рассказ. Я был ошеломлен, но не только неожиданными разоблачениями, перевернувшими все мои представления о Кекешфальве, — меня удручало также сознание того, что я оказался наивным до глупости. Подумать, в двадцать пять лет я все еще смотрел на мир глазами младенца. Изодня в день бывая в доме, я, опьяненный жалостью, по своей дурацкой скромности ни разу не решался расспросить о болезни Эдит, о ее матери, отсутствие которой нельзя было не заметить, и, наконец, откуда взялось богатство этого странного человека. Как же я не догадался, что печальные, полуприкрытые веками миндалевидные глаза принадлежат вовсе не венгерскому аристократу, что в их взгляде, обостренном и усталом, отражается тысячелетняя трагическая участь иудейской расы? Как я не заметил, что в облике Эдит проглядывают иные, не отцовские черты,

как не почувствовал по некоторым признакам, что над этим домом тяготеет загадочное прошлое? Мне сразу же вспомнился целый ряд мелочей, на которые я прежде не обращал внимания: например, как однажды наш полковник при служебной встрече с Кекешфальвой холодно ответил на его поклон, небрежно поднеся два пальца к козырьку фуражки, или как тогда, в кафе, мои товарищи назвали его «старым манихеем». У меня было такое ощущение, будто в темной комнате внезапно подняли штору и яркий солнечный свет хлынул прямо в глаза, ослепляя нестерпимым блеском.

Словно прочитав мои мысли, Кондор наклонился ко мне и маленькой мягкой ладонью успокаивающе коснулся моей руки; в его профессионально-врачебном жесте было поистине что-то целительное.

— Конечно, вы обо всем этом и не догадывались, господин лейтенант, да и откуда вам было знать правду? Ведь вы росли в совершенно особом, изолированном мире и вдобавок находитесь в том счастливом возрасте, когда необычное поражает, не вызывая подозрений. Поверьте мне, как старшему: не надо стыдиться, если жизнь порой оставляет тебя в дураках; знаете, это скорее благодать, когда у тебя еще нет такого сверхострого диагностирующего взгляда и ты с доверием смотришь на людей и на вещи. Будь вы другим, разве смогли бы вы помочь несчастному старику и бедному больному ребенку? Нет, нет, не удивляйтесь и, главное, не смущайтесь: внутренний голос правильно подсказал вам, как поступить наилучшим образом.

Бросив окурок в угол, Кондор потянулся и отодвинул кресло.

— А теперь, я думаю, мне пора.

Я также поднялся, хотя еще чувствовал легкое головокружение. Со мной происходило что-то непонятное. Я был крайне взволнован, даже взбудоражен услышанным; мысль работала с небывалой ясностью, и в то же время я не мог отделаться от неотвязного ощущения чего-то недодуманного или позабытого. Я хорошо помнил, что в определенном месте рассказа хотел

о чем-то спросить Кондора, но не решался его прервать. А теперь, когда уже можно было спрашивать, я позабыл вопрос; его смыло потоком волнующих впечатлений. Напрасно я восстанавливал в памяти весь разговор — так бывает, когда чувствуешь боль, но не понимаешь, где болит. Пока мы проходили через наполовину опустевший зал, я безуспешно силился вспомнить забытое.

Мы вышли на улицу, Кондор взглянул на небо.

— Ага! — улыбнулся он с некоторым удовлетворением. — Так я и знал, уж слишком ярко светила луна. Грозы не миновать, да еще какой! Надо поторопиться.

Он был прав. Хотя между погруженными в сон домами было еще тихо и душно, с востока по небу мчались темные, набухшие тучи, затушевывая бледно-желтый диск. Уже заволокло полнеба; тьма напозала, подобно гигантской черной черепахе, изредка на нее падал отблеск молний, и тогда после каждой вспышки вдали что-то недовольно ворчал, как потревоженный зверь.

— Через полчаса грянет, — предсказал Кондор. — Я-то еще доберусь сухим до вокзала, а вы, господин лейтенант, поворачивайте-ка лучше обратно, не то промокнете до нитки.

Но я смутно сознавал, что должен его о чем-то спросить, только никак не мог вспомнить, о чем; в моей памяти образовался какой-то темный провал, в котором вопрос этот исчез, как луна за тучами. И эта потерявшаяся мысль непрерывно стучала где-то в мозгу беспокойной, сверлящей болью.

— Ничего, — возразил я, — рискну.

— Тогда живо! Чем быстрее мы зашагаем, тем лучше; у меня чуть не отнялись ноги от долгого сидения.

Отнялись ноги — вот оно! Меня словно осенило. Я мгновенно вспомнил, о чем хотел, о чем обязан был спросить Кондора. Поручение Кекешфальвы! Очевидно, я все время подсознательно думал о просьбе старика: узнать, выздоровеет его дочь или нет. И вот, пока мы шли по обезлюдевшему переулку, я весьма осторожно приступил к делу.

— Прошу прощения, господин доктор... Все, что вы расска-

зали, разумеется, страшно интересно... я хочу сказать, чрезвычайно важно для меня... Именно потому я позволю себе задать вам один вопрос... который меня давно беспокоит... Ведь вы ее лечите и лучше кого бы то ни было знаете все о ее болезни... Я же в таких вещах ничего не смыслю... и мне очень хотелось бы слышать ваше мнение... Как вы полагаете, болезнь Эдит пройдет со временем или она неизлечима?

Резко повернув голову, Кондор сверкнул на меня стеклами пенсне. Я невольно уклонился от этого стремительного взгляда, впившегося в мое лицо, как игла. Не догадался ли он о просьбе старика? Не навел ли я его на подозрение? Но он отвернулся и, не замедляя шага, а быть может, даже ускорив его, проворчал:

— Ну, вот! Собственно, следовало ожидать, что этим кончится. Излечимо или неизлечимо, черное или белое? Как вы себе все просто представляете! Да если хотите, ни один врач не должен бы с чистой совестью произносить даже такие слова, как «здоров» и «болен», — кто знает, где кончается здоровье и начинается болезнь? — а тем более решать, что излечимо и что неизлечимо. Не спорю, оба выражения очень распространены, и в нашей практике без них вряд ли можно обойтись. Но от меня вы никогда не дождетесь, чтобы я сказал «неизлечимо». Никогда! Один из умнейших людей прошлого века, Ницше, изрек чудовищный афоризм: «Не пытайся лечить неизлечимое». Но это едва ли не самый лживый из всех опасных парадоксов, которые он предоставил разрешать нам. Я утверждаю, что истина в противоположном: как раз неизлечимое и надо пытаться лечить; более того — только на так называемых «неизлечимых» и проверяется искусство врача. Признавая больного неизлечимым, врач уклоняется от выполнения своего долга, он капитулирует до сражения. Конечно, в некоторых случаях проще, удобнее сказать «неизлечимо» и удалиться со скорбной миной и гонораром в кармане; куда спокойнее и выгоднее врачевать только то, что заведомо излечимо: открыл соответствующую страницу справочника — и все становится ясным. Что же, кто не любит себя утруждать, пусть живет по готовым

рецептам. Мне *ad personam** подобное занятие представляется столь же жалким, как если бы поэт повторял лишь старые мотивы, не стремясь облечь в слова еще не сказанное, мало того — невыразимое, или если бы философ в сотый раз объяснял давно известное, не стараясь постичь еще не познанное, не познаваемое! «Неизлечимо» — понятие относительное, а не абсолютное; для такой непрерывно развивающейся науки, как медицина, неизлечимые случаи существуют лишь в данный момент, в пределах нашего времени, наших познаний и возможностей, в силу нашей, так сказать, «кочки» зрения! Но момент, в который мы живем, вовсе не последний. И для сотен больных, еще сегодня безнадежных, завтра или послезавтра могут быть найдены методы лечения, ибо наука движется вперед гигантскими шагами. Так что заметьте себе, пожалуйста, — он сказал это сердито, будто я обидел его, — я не признаю неизлечимых болезней. Я принципиально никого и ничего не считаю безнадежным, и никому не удастся когда-либо вырвать у меня слово «неизлечимо». Самое большее, что я скажу даже в безнадежном случае, так это то, что болезнь *пока еще* неизлечима, то есть современная медицина пока еще бессильна помочь.

Кондор шел так быстро, что я с трудом поспевал за ним. Неожиданно он замедлил шаг.

— Быть может, я выражаюсь слишком сложно, слишком абстрактно. О таких вещах, право, нелегко рассуждать по дороге из погребка на вокзал. Постараюсь пояснить вам свою мысль примером, который, впрочем, связан с очень печальным событием в моей жизни. Двадцать два года назад, когда я был студентом второго курса, неожиданно заболел мой отец. Этот человек, которого я глубоко любил и уважал, всегда отличался крепким здоровьем и неутомимой энергией. И вот врачи определили у него диабет, одно из самых страшных и коварных заболеваний, — вы, наверное, слышали об этой болезни, ее обычно называют сахарной. Без видимой причины организм

*Лично (лат.).

внезапно перестает усваивать пищу, не перерабатывает жиры и сахар, в результате больной слабеет и умирает от истощения, ладно, не стану мучить вас подробностями, достаточно того, что три года моей юности были отравлены этим.

К несчастью, в то время совсем не умели лечить диабет. Больного изводили строжайшей диетой, взвешивали каждый грамм пищи, отмеряли каждый глоток воды, но врачам было известно (и я, как медик, тоже знал, что все это лишь оттягивает неизбежный конец), что в течение двух-трех лет мой отец будет медленно умирать мучительной голодной смертью среди изобилия еды и питья. Вы можете себе представить, как я, будущий врач, бегал тогда от одного специалиста к другому и тщательно изучал всю литературу, старую и новейшую. Но повсюду я наталкивался на один и тот же ответ, на одно и то же невыносимое слово — неизлечимо, неизлечимо. С тех пор я возненавидел это слово. Самый дорогой для меня человек погибал на моих глазах, а я был бессилён помочь ему, предотвратить конец более жалкий, чем смерть бессловесной твари. Отец умер за три месяца до того, как я получил диплом.

А теперь слушайте внимательно: несколько дней назад на заседании медицинского общества один из наших крупнейших фармакологов сообщил, что в Америке и некоторых других странах весьма успешно проводятся опыты по получению экстракта поджелудочной железы для лечения диабета; он утверждал, что в ближайшие десять лет с сахарной болезнью разделяются навсегда. Можете себе представить, как я был взволнован: почему это не случилось двадцатью годами раньше? Имей я в то время сто — двести граммов этого препарата — и самый дорогой мне в мире человек избавился бы от мук, остался бы в живых или по крайней мере была бы надежда на его спасение. Теперь вы понимаете, как меня ожесточил тогда приговор «неизлечимо», ибо днем и ночью я думал только об одном: найдется, обязательно найдется спасительное лекарство, кому-то удастся отыскать его, быть может, и мне. Нашлось же средство против сифилиса, а ведь в ту пору, когда я поступал в университет, нам, студентам, в специальной брошюре внушали, что

это заболевание неизлечимо. Значит, Ницше, Шуман, Шуберт и многие другие умерли не от «неизлечимой» болезни, а от болезни, которую тогда еще не умели лечить, — их смерть, можно сказать, была вдвойне преждевременной. Каждый день наука открывает что-нибудь новое, неожиданное, фантастическое, то, что еще вчера казалось немыслимым! Поэтому всякий раз, когда я вижу больного, на котором другие врачи поставили крест, в моем сердце вспыхивает гнев: почему я не знаю спасительного средства завтрашнего, послезавтрашнего дня? Но в то же время не угасает надежда: а вдруг в последнюю минуту это средство найдут — и жизнь человека будет спасена? Все возможно, даже невозможное, ибо там, где перед наукой сегодня закрыты все двери, завтра может приоткрыться одна из них. Если старые методы оказываются безуспешными, надо искать новые, а где не помогает наука, там всегда еще можно надеяться на чудо. Да, да, настоящие чудеса случаются в медицине, и в наш век электричества, вопреки всякой логике и опыту, иной раз нам самим удается спровоцировать такое чудо. Поверьте мне, я не стал бы мучить девочку и самого себя, если бы не надеялся добиться решительного улучшения. Признаюсь, это очень трудный, упрямый случай — прошли годы, а я не достиг того, чего ожидал. И тем не менее у меня не опустились руки.

Я слушал его с напряженным вниманием, все понимая, со всем соглашаясь. Но, словно заразившись настойчивостью и страхами Кекешфальвы, я хотел узнать что-нибудь более определенное и потому спросил:

— Значит, вы все же уверены, что улучшение наступит... то есть... что вы уже достигли известного улучшения?

Доктор Кондор промолчал. Мое замечание, казалось, расстроило его. Семена короткими ногами, он шел все быстрее и быстрее.

— Как вы можете утверждать, что я достиг известного улучшения? Вы это сами констатировали? И что вы вообще смыслите в таких вещах? Ведь вы знакомы с больной всего лишь несколько недель, а я лечу ее уже пять лет.

Он внезапно остановился.

— Да будет вам известно раз и навсегда: ничего существенного, сколько-нибудь значительного я не достиг, в этом-то все горе! Я лечил ее, как знахарь, пробовал то одно, то другое, и все без толку. Ничего я до сих пор не добился, ничего.

Горячность его тона испугала меня: очевидно, я задел самолюбие врача.

— Но господин фон Кекешфальва рассказывал мне, — попытался я успокоить его, — что Эдит очень помогли электрованны, а с тех пор как ей начали делать инъек...

Кондор резко оборвал меня:

— Чепуха! Сушая чепуха! И вы поверили старому дураку! Неужели вы всерьез думаете, что с помощью четырехкамерных ванн можно начисто избавиться от паралича ног? Разве вам не знакома обычная уловка врачей? Если мы не знаем, как быть, то стараемся выиграть время и отвлекаем пациента всякой ерундой, дабы он не заметил нашей беспомощности; к счастью, в большинстве случаев нам на помощь приходит организм самого больного и становится сообщником в этом заговоре. Разумеется, Эдит чувствует себя лучше! Любой вид лечения — лимонами или молоком, горячими ваннами или холодными — вызывает поначалу в организме определенные изменения; в результате появляется новый стимул, и больным, этим неисправимым оптимистам, кажется, будто им стало лучше. Такого рода самовнушение — наш лучший союзник, оно помогает даже величайшим осламам среди врачей. Но тут есть одна загвоздка: как только действие нового раздражителя ослабеваает, сразу же наступает реакция, — тогда уж не зевай и поскорее придумывай очередную ложь. Вот так и приходится манипулировать нашему брату в труднейших случаях, пока невзначай не нападешь на верный путь. Ваши комплименты не по адресу. Мне лучше известно, как мало я добился по сравнению с тем, чего хотел. Все, что я испробовал, всякие пустяки вроде электризации и массажа не помогли ей встать на ноги в полном смысле слова. Так что не заблуждайтесь на этот счет.

Кондор обвинил себя столь беспощадно, что мне захотелось защитить его от укоров совести.

— Но... я видел своими глазами, — робко возразил я ему, — как она ходит благодаря вашим приспособлениям... эти вытягивающие...

Теперь уже Кондор не сдерживался, он кричал так громко и гневно, что двое запоздалых прохожих на опустевших улицах оглянулись на нас с любопытством.

— Я же сказал вам, что это ложь, сплошная ложь! Аппараты помогают мне, а не ей! Ее они только отвлекают, вы понимаете — отвлекают!.. Они понадобились не больной, а мне, когда Кекешфальва потерял всякое терпение. Только потому, что я не устоял перед его напором, пришлось впрыснуть старику очередную дозу надежды. Мне не оставалось ничего другого; чтобы смирить ее нетерпение, я вынужден был надеть ей колодки, словно буйному арестанту, хотя в этом не было никакой необходимости... Возможно, они немного укрепляют связи... Так или иначе, мне нужно было выиграть время... Но я не стыжусь, что прибегнул к подобным фокусам, результаты вы видите сами. Эдит внушила себе, что с тех пор она гораздо лучше передвигается, отец рад, что я сумел ей помочь, все восхищаются великим, гениальным чудотворцем, и даже вы вопрошаете меня, словно оракула.

Он замолчал и, сняв шляпу, вытер пот со лба. Затем искоса посмотрел на меня.

— Боюсь, что вам это пришлось не по вкусу! Еще бы — крушение иллюзий; ведь вы представляете себе врача как друга человечества и правдолюбца! Вам, с вашим юношеским воображением, казалось, что врачебная этика — нечто совсем иное, а теперь — думаете, я не замечаю? — вы разочарованы и даже возмущены действительностью. Что же, весьма сожалею, но медицина не имеет ничего общего с этикой: всякая болезнь — это анархия, это бунт против природы, и в борьбе с ним все средства хороши, все! Никакой жалости к больному — больной сам ставит себя hors de la loi*, он нарушил порядок, и, чтобы восстановить самого больного, надо действовать беспо-

* Вне закона (франц.).

щадно, как при всяком бунте, бить любым оружием — всем, что попадет под руку; ибо еще не было случая, чтобы добро и правда сами по себе исцелили человечество или хотя бы одного-единственного человека. Если обман помогает больному, то это уже не жалкая ложь, а отличное лекарство, и пока я не в силах оказать реальную помощь, мне волей-неволей придется поддерживать иллюзии. Это тоже нелегкая работа, господин лейтенант, — пять лет подряд менять пластинки, тем более что сам не получаешь большого удовольствия от такой музыки! Так что покорно благодарю за комплименты.

Мы стояли лицом друг к другу, и мне казалось, что этот маленький тучный человек, крайне возбужденный, вот-вот набросится на меня с кулаками, если я осмелюсь противоречить ему. Но в этот миг на темном горизонте вспыхнула синяя молния, и вслед за ней глухо пророкотал гром, будто кто-то, рассердившись, зарычал. Кондор неожиданно рассмеялся:

— Гнев небес — вот вам ответ. Ну, бедняга, вам сегодня досталось, я резецировал все ваши иллюзии одну за другой: сначала о венгерском аристократе, потом о враче — добром и непогрешимом друге и целителе. Теперь вы понимаете, как дорого обходятся мне панегирики старого глупца! Я вообще не терплю сентиментальностей, а тем более когда это связано с Эдит. У меня на сердце кошки скребут оттого, что все идет так медленно и я до сих пор не придумал ничего радикального.

Некоторое время мы шли молча. Потом он снова заговорил, но голос его звучал мягче, чем прежде:

— Впрочем, мне не хотелось бы, чтобы вы подумали, будто я «отказался» от больной, как у нас выражаются. Напротив, я вовсе не намерен отступаться, хотя бы это тянулось еще год или пять лет. Кстати, любопытное совпадение. В тот вечер, после заседания общества, я прочитал в парижском медицинском журнале об одном редкостном случае излечения паралича ног: сорокалетний больной целых два года был прикован к постели, и вот после четырехмесячного лечения у профессора Вьенно он настолько поправился, что стал легко подниматься на пятый этаж. Вы только подумайте: за четыре месяца такой блестящий

результат, причем в случае, весьма сходном с тем, над которым я бьюсь уже пять лет! Не скрою, я был буквально сражен, когда прочитал это. Правда, мне не совсем ясны причины болезни и метод лечения; видимо, Вьенно использует своеобразный комплекс: лечебная гимнастика, специальная аппаратура и солнечное облучение. По краткой истории болезни, приведенной в статье, мне, конечно, трудно судить, насколько его метод применим для Эдит, но я немедленно написал профессору Вьенно, попросив его сообщить мне более подробные сведения; вот почему я так тщательно осматривал сегодня Эдит: надо иметь возможность сравнить. Как видите, я не собираюсь спускать флаг — напротив, я даже хватаюсь за каждую соломинку. Кто знает, может быть, новый метод в самом деле что-то даст, я говорю, может быть, но не более, я и так чересчур разоткровенничался. А теперь довольно о моем проклятом ремесле.

В это время мы находились совсем уже близко от вокзала. Разговор подходил к концу, и я решился на последнюю попытку.

— Вы, следовательно, полагаете, что...

Маленький толстый человечек остановился как вкопанный.

— Ничего я не полагаю, — накинулся он на меня, — и никаких «следовательно»! Что вам всем от меня нужно? У меня нет телефонной связи с Господом Богом. Я ничего не утверждаю, по крайней мере ничего определенного. Я ничего не думаю, не говорю, не обещаю. Я и так слишком распустил язык. И вообще, хватит, баста! Весьма признателен, что проводили меня. А теперь возвращайтесь, да поскорее, не то промокнете до нитки.

И, не подав мне на прощание руки, он, явно раздраженный (я не понимал почему), быстро, вразвалку зашагал к вокзалу.

Кондор был прав. Надвигалась гроза, приближение которой ощущалось уже давно. Грохоча, словно тяжелые, огромные черные ящики, громоздились над трепещущими кронами деревьев тучи, изредка озаряемые бледными вспышками мол-

ний. В насыщенном влагой воздухе, то и дело сотрясаемом резкими порывами ветра, пахло гарью. Я поспешил домой. Улицы города, еще несколько минут назад дремавшие в бледном свете луны, преобразились. Стучали, будто вздрагивая в испуге, вывески лавок, беспокойно хлопали двери, стонали дымоходы; в некоторых домах зажигались тревожные огоньки, и тогда тут и там мелькали белые ночные рубашки горожан, предусмотрительно затворявших перед непогодой окна. Редкие запоздалые прохожие, подгоняемые страхом, словно ветром, торопливо пробегали по улицам; даже широкая главная площадь, обычно не пустовавшая и в ночное время, на этот раз была безлюдна. Освещенный циферблат часов на ратуше бессмысленным белым взглядом уставился в непривычную пустоту. Как бы там ни было, а я, вовремя предупрежденный доктором Кондором, успею возвратиться домой до начала грозы. Еще два квартала — и за городским садом наша казарма; там наедине с собой я смогу хорошенько поразмыслить обо всем, что мне неожиданно-негаданно пришлось узнать и пережить за последние несколько часов.

В небольшом садике перед казармой было совершенно темно; из-под шелестящей листвы на меня пахнуло тяжелым, удушливым воздухом; временами ветер, шурша, пробегал по ветвям, но затем шелест взбудораженных листьев сменялся еще более зловещей тишиной. Ускоряя шаг, я уже подошел к воротам, как вдруг от дерева отделилась человеческая фигура и выступила из тени на дорожку. Я замедлил шаг, но не остановился — наверное, это проститутка, подумал я, одна из тех, что здесь в темноте обычно подкарауливают солдат. Однако, к своей досаде, я услышал за спиной быстро приближающиеся, крадущиеся шаги и, желая отделаться от бесстыдных приставаний наглой шлюхи, обернулся. В тот же миг ночную тьму прорезала молния, и в ее свете я с ужасом увидел, что следом за мной, тяжело дыша и спотыкаясь, бежит старик: непокрытая седая голова, сверкающие стекла в золотой оправе — Кекеш-фальва!

Изумленный, я в первую минуту не поверил своим глазам.

Кекешфальва — в саду перед нашей казармой?! Это невероятно! Ведь мы с Кондором всего три часа назад оставили его дома смертельно усталым! Одно из двух: либо у меня галлюцинация, либо старик действительно сошел с ума, встал в горячке с постели и бродит теперь в тонком сюртуке, без пальто и шляпы. Однако, несомненно, это был он. Среди тысячи людей я узнал бы его по этой пришибленной, сгорбленной фигуре, по этой манере приближаться робко и неслышно.

— Ради всего святого, господин фон Кекешфальва, — в недоумении пробормотал я, — как вы тут очутились? Ведь вы пошли спать?..

— Нет... то есть, собственно... я не мог заснуть... Мне хотелось...

— Ступайте скорее домой! Разве вы не видите: вот-вот разразится гроза. Ваш автомобиль здесь?

— Да, там... слева от казармы... Шофер ждет меня.

— Вот и чудесно! Только поторопитесь! Поезжайте быстрее, вы успеете домой как раз вовремя. Идите же, господин Кекешфальва, идите!

И, так как он в нерешительности продолжал стоять на месте, я подхватил его под руку, чтобы отвести к машине. Но он вырвал руку.

— Хорошо, хорошо... Сейчас иду, господин лейтенант... Только... только скажите мне сначала: что он сказал?

— Кто?

Я искренне удивился, не понимая, о ком идет речь. Над нами все яростнее завывал ветер, деревья стонали и гнулись, словно хотели оторваться от корней, каждую минуту мог хлынуть дождь; и, вполне понятно, меня занимала лишь одна-единственная мысль: как отправить домой этого старого, явно помрачившегося рассудком человека, который, казалось, вовсе не замечал приближения грозы? Однако он проговорил почти возмущенно:

— Как кто? Доктор Кондор... Ведь вы провожали его...

И тут только я сообразил. Разумеется, наша встреча в темноте не случайна. Конечно, охваченный нетерпением, старик

подждал меня здесь, в саду, у самой казармы, где я не мог миновать его: он подстерегал меня, чтобы поскорее узнать правду. Два — нет, больше, — три часа метался он в тени деревьев этого жалкого городского садика, где служанки встречаются по ночам со своими любовниками. Очевидно, он рассчитывал, что я сразу провожу Кондора до вокзала и вернусь в казарму; я же, сам того не подозревая, заставил его ждать целых три часа, пока сидел с доктором в погребке, и этот старый, больной человек ждал меня, как ждал некогда своих должников — терпеливо, настойчиво. Его фанатичное упорство и злило и в то же время трогало меня.

— Все обстоит как нельзя лучше, — успокоил я его. — Все будет хорошо, я в этом совершенно уверен. Завтра я расскажу вам больше, передав все, что говорил доктор, слово в слово. А теперь скорее в машину, нельзя медлить ни минуты.

— Иду, иду.

Кекешфальва нехотя повиновался. Я провел его шагов десять или двадцать, как вдруг почувствовал, что он повис на моей руке.

— Минутку, — с трудом проговорил он. — Одну минутку, посидим вот тут, на скамейке. Я... я больше не могу.

И в самом деле, старика шатало, как пьяного. В темноте, при непрерывных раскатах грома, мне едва удалось дотащить его до скамьи. Задыхаясь, он упал на нее. Несомненно, долгое ожидание изнурило его; да и неудивительно: ведь целых три часа он не покидал своего поста, беспокойно выслеживая, высматривая меня, и вот теперь, когда ему наконец-то удалось меня настичь, нервное напряжение дало себя знать. Обессиленный, словно сраженный ударом, откинулся он на спинку деревянной скамьи, где в полдень раскладывают свою нехитрую снедь рабочие, под вечер отдыхают приходские священники и беременные женщины, а ночью зазывают солдат проститутки; старый человек, первый богач в городе, сидел передо мной, и ждал, и ждал. Я знал, чего он ждет, я сразу же почувствовал, что этот упрямец (как неприятно, если кто-либо из товарищей увидит меня в столь странном обществе!) не встанет

с места до тех пор, пока я не ободрю его. Прежде всего надо попытаться успокоить старика. И снова мною овладела жалость, снова подступила к сердцу проклятая горячая волна, всякий раз делавшая меня таким беспомощным и безвольным. Наклонившись к нему, я начал говорить.

Все вокруг свистело, скрипело, гудело, но старик ничего не замечал. Для него не существовало ни туч на небе, ни дождя — ничего на свете, кроме собственного ребенка и его здоровья; мог ли я заставить себя, строго придерживаясь фактов, сказать в двух словах обессилевшему от волнения старому человеку, что доктор Кондор совсем не уверен в успехе? Ведь бедняге нужно было за что-то ухватиться, как несколько минут назад он, падая, ухватился за мою руку. И вот я стал лихорадочно припоминать все, что сулило надежду, то небольшое, что я с таким трудом вырвал у Кондора; я рассказал, что Кондор узнал о новом методе лечения, который во Франции успешно применил профессор Вьенно. И сразу рядом послышался шорох — это старик, безучастно слушавший до сих пор, придвинулся поближе ко мне, словно желая согреться. Собственно, я не имел права еще больше обнадеживать его, но порыв сострадания увлек меня за пределы допустимого. Да, новый метод оказался необычайно эффективным, снова и снова подбадривал я старика, через три-четыре месяца были получены поразительные результаты, и очевидно, — нет, даже наверняка, — это поможет и Эдит. Мало-помалу я увлекся — уж очень благотворно действовали мои слова. Когда старик жадно спрашивал меня: «Вы в самом деле так думаете?» или: «Он действительно это сказал? Он это сам сказал?» — а я, по слабости и от нетерпения, горячо отвечал уверенным «Да!», его навалившееся на меня тело будто становилось легче. Чувствуя, как от моих слов к нему возвращаются силы, я в эти минуты впервые в жизни испытал нечто похожее на радостное опьянение, присущее всякому творчеству.

Чего я тогда наговорил и насулил Кекешфальве, сидя на скамейке, я не помню, да и никогда не вспомню. Ибо чем жаднее он упивался моими словами, тем сильнее я опьянялся

желанием обнадеживать его снова и снова. Не обращая внимания на синие вспышки молний и все настойчивее грохотающий гром, мы сидели, тесно прижавшись друг к другу; он весь обратился в слух, а я говорил и говорил, искренне, с убеждением, заверяя его: «Да, она выздоровеет, скоро выздоровеет, это несомненно», — чтобы вновь и вновь слышать в ответ благодарный вздох: «Ах, слава Богу», — и разделять со стариком охватившую его радость. И кто знает, сколько бы мы еще так просидели, если бы вдруг не налетел тот последний порыв ветра, который как бы расчищает путь грозе! Со скрипом и треском пригнулись к земле деревья, градом посыпались каштаны, и взвихренная пыль окутала нас сплошным облаком.

— Домой, вам надо ехать домой! — Я рывком поставил его на ноги.

Старика уже не шатало, как прежде. Наш разговор придал ему силы, с суетливой поспешностью он побежал вместе со мной к автомобилю. Шофер помог ему сесть. Только теперь, когда он оказался под крышей, у меня отлегло от сердца. Я утешил его. Наконец-то он, этот старый, сокрушенный горем человек, сможет заснуть глубоким, спокойным, счастливым сном.

Но в тот момент, когда я укрывал пледом его колени, чтобы он не простыл, случилось нечто ужасное. Неожиданно старик крепко схватил мои руки и, прежде чем я успел опомниться, прижал их к губам и поцеловал, сначала правую, потом левую, и опять правую, и опять левую.

— До завтра, до завтра, — запинаясь, проговорил он, и автомобиль резко взял с места, словно подхваченный порывом ледяного ветра. Я оцепенел. Однако первые капли уже шлепнулись на мостовую, и по моей фуражке сразу застучало, забило, забарабанило; последние полсотни шагов мне пришлось бежать под проливным дождем. Едва я, промокнув до нитки, достиг казарменных ворот, как сверкнула молния, выхватив улицу из мрака непогоды, и вслед за ней прогрохотал гром с такой силой, точно небо обрушилось на землю. Ударило где-то совсем близко; я почувствовал, как дрогнула почва под ногами,

а оконные стекла зазвенели, будто рассыпаясь вдребезги. И, хотя я остолбенел, ослепленный этой внезапной вспышкой, во мне не было и сотой доли того ужаса, который обуял меня минуту назад, когда старик в порыве неистовой благодарности схватил мои руки и припал к ним губами.

После сильных потрясений сон глубокий и крепкий. Только на следующее утро по тому, как я просыпался, мне стало ясно, до какой степени я был оглушен предгрозовой духотой и в не меньшей мере напряженным ночным разговором. Я словно вынырнул из каких-то бездонных глубин и, с удивлением увидев перед собой привычные стены казармы, безуспешно силился вспомнить, когда и каким образом я провалился в эту темную пропасть сна. Однако восстановить в памяти все по порядку у меня не было времени, ибо та часть сознания, которая независимо от моего «я» продолжала нести армейскую службу, сразу подсказала мне, что на сегодня назначены специальные учения. Снизу уже доносились звуки горна, слышался топот лошадей, в комнате суетился денщик, и я понял, что медлить больше нельзя. Схватив лежавшее под рукой обмундирование, я в два счета оделся, сунул в рот сигарету и кубарем скатился с лестницы во двор. Минуту спустя раздалась команда «Марш!», и эскадрон двинулся в путь.

На марше, в походной колонне, ты не существуешь как самостоятельная личность: под дробный цокот сотен копыт невозможно предаваться размышлениям и грезам; вот и я ощущал сейчас только быструю рысь и наслаждался погожим летним днем, о каком можно лишь мечтать. На омытом дождем небе ни облачка, ни дымки, солнце горячее, но не палящее, все контуры пейзажа очерчены с удивительной рельефностью. Каждый дом, каждое поле, каждое дерево — даже самое дальнее — вырисовывается так ясно и четко, что кажется, стоит лишь протянуть руку, и ты коснешься его; все вокруг: горшок ли цветов на окне, завиток ли дыма над крышей — благодаря прозрачному воздуху и светящимся краскам как будто еще настойчивее заявляет о своем существовании. Я едва узнавал

надоевшее нам шоссе, по которому мы каждую неделю трусили одним и тем же аллюром к одной и той же цели, — так пышно распустилась и ярко зазеленела листва, раскинувшаяся над нами точно свежеразкрашенный свод. Необыкновенно ловко и свободно сидел я в седле; тревог и сомнений, угнетавших меня последние дни, словно и не бывало; думается, редко когда мне все так удавалось, как в то сверкающее летнее утро. Все шло легко, как бы само собой, все радовало меня: и небо, и луга, и добрые горячие кони, чутко слушавшиеся малейшего движения поводьев, и даже мой собственный голос, когда я отдавал команду.

Но острое ощущение счастья, как и все хмельное, усыпляет рассудок, и мы, наслаждаясь настоящим, забываем о прошлом. Так и мне, когда я под вечер, освеженный многочасовой скачкой, снова направился в усадьбу, ночная встреча стала казаться чем-то далеким и смутным; я наслаждался блаженным ощущением душевного покоя и радовался счастьем других, ибо, когда человек счастлив, ему кажется, что и все вокруг него счастливы.

И в самом деле, не успел я постучаться в хорошо знакомую дверь, как слуга — обычно бесстрастно почтительный — уже приветствовал меня с какой-то особенной теплотой в голосе.

— Осмелюсь предложить господину лейтенанту подняться на террасу, — сразу же заговорил он. — Барышня уже ждут вас наверху.

Однако почему так дрожат его руки, почему он смотрит на меня такими сияющими глазами? Почему он так суетливо забегает вперед? Что с ним? — невольно спрашиваю я себя, поднимаясь по винтовой лестнице, ведущей на террасу. Что это с ним сегодня, с нашим старым Йозефом? Ему просто не терпится поскорее проводить меня наверх. Что же такое произошло?..

Но как хорошо чувствовать себя переполненным радостью в этот сияющий июньский день и крепкими молодыми ногами бодро шагать вверх по лестнице, рассматривая через боковые окна то с севера, то с юга, то с востока, то с запада уходящий в

бесконечность летний пейзаж. Мне остается пройти последние десять — двенадцать ступенек, как вдруг я замираю от неожиданности. Странно, темная спираль лестничной клетки внезапно наполняется чарующей танцевальной мелодией; звуки скрипок и вторящих им виолончелей заглушаются звонкими трелями женских голосов. Я озадачен. Откуда здесь музыка, откуда эта точно льющаяся с неба модная опереточная ария, такая близкая и вместе с тем далекая, такая призрачная и все же земная? Быть может, по соседству, в саду какого-нибудь трактира, играл оркестр, а ветер донес сюда последний, замирающий аккорд? Но уже в следующий миг мне становится ясно, что оркестр-невидимка играет на террасе: это не что иное, как самый обыкновенный граммофон. «Что за ерунда! — думаю я. — Сегодня мне все кажется заколдованным, и я отовсюду жду чудес; вряд ли на такой маленькой терраске уместился бы целый оркестр!» Однако, поднявшись еще на несколько ступенек, я опять сомневаюсь. Что там, наверху, играет граммофон, бесспорно, — но — голоса! Они звучат слишком естественно и неподдельно, чтобы их источником мог быть гудящий музыкальный ящик. Нет, это живые девичьи голоса, полные веселого, молодого задора!

Я остановился и прислушался. Сочное сопрано — это, конечно, голос Илоны, полнозвучный, красивый и мягкий, как ее руки; но другой — кому принадлежит другой голос? Я его не знаю. Скорее всего, Эдит пригласила в гости одну из своих подруг, совсем молоденькую, бойкую девчонку, — меня так и подмывает быстрее проскочить последние ступеньки и увидеть щебетунью-ласточку, неожиданно залетевшую на старую башню. Каково же было мое изумление, когда я, войдя на террасу, обнаружил там лишь Илону и Эдит, сидевших рядом. Так, значит, это она, Эдит, смеялась и напевала совершенно новым, словно вырвавшимся на волю серебристо-звонким голосом? Я несказанно удивился, особенно потому, что в такой перемене, происшедшей за ночь, было, на мой взгляд, что-то противоестественное: беспечно распевать от избытка счастья способен лишь здоровый, не знающий забот человек, а вместе

с тем не могла же больная выздороветь за одну ночь — разве только действительно свершилось чудо! Почему она так возбуждена, недоумеваю я, что привело ее в такой восторг, отчего из ее груди, из ее души так и рвется песня веры и надежды? В первую минуту меня охватило чувство, которое трудно передать словами; это было, я бы сказал, чувство неловкости, точно я застал девушку обнаженной; ведь одно из двух: либо больная до сих пор скрывала от меня свою подлинную натуру, либо — но тогда отчего и каким образом? — она за одну ночь стала совершенно другим человеком.

Однако, к моему удивлению, обе девушки, заметив меня, ничуть не смутились.

— Сейчас! — крикнула Эдит мне и тут же Илоне: — Останови граммофон, скорее! — Затем жестом подозвала меня к себе. — Наконец-то, наконец-то! Я вас совсем заждалась. Ну-ка выкладывайте все, все, и по порядку... Папа все так перепутал, что я совершенно растерялась... Вы же знаете, когда он волнуется, от него не добьешься толку. Вы подумайте, он пришел ко мне среди ночи! Эта ужасная гроза не давала мне спать, из окна дуло, я совсем ооченела, а подняться с постели я не могла. Мне так хотелось, чтобы кто-нибудь проснулся, пришел и закрыл окно, как вдруг я слышу шаги, все ближе и ближе. Сперва я испугалась — время позднее, два-три часа ночи — и даже не сразу узнала папу, он был сам на себя не похож. А он как бросится ко мне... Если б вы видели его в эту минуту, он и смеялся и плакал... Вы только представьте, папа вдруг смеется, громко смеется, да еще приплясывает на месте, как мальчишка! Неудивительно, что, когда он начал рассказывать, у меня голова пошла кругом, сначала я ничему не поверила... Ему, наверное, приснилось, подумала я, или мне самой все это снится. Но тут прибежала Илона, и мы болтали и смеялись до самого утра... Но говорите же наконец, что это за новый метод лечения?

Как человек, захлестнутый мощной волной, напрасно старается устоять на ногах, так и я тщетно пытался преодолеть овладевшее мною смущение. Ее последние слова мгновенно

объяснили мне все. Так, значит, я, я один пробудил в ней этот новый, звонкий голос, я один вдохнул в нее эту злосчастную уверенность в выздоровлении. Отец, должно быть, рассказал ей все, чем поделился со мной доктор Кондор. Но что, собственно, он мне сказал?.. И что из услышанного я передал Кекешфальве? Ведь Кондор говорил очень осторожно, а я... что же я, жалостливый дурак, умудрился приплести к его словам, отчего теперь ликует весь дом, старик помолодел, а больная возомнила себя исцеленной? Как же я...

— Ну? В чем дело... что вы там мешкаете? — торопила меня Эдит. — Вы же понимаете, как важно для меня каждое слово. Итак, что вам сказал Кондор?

— Что он мне сказал? — повторил я, стараясь выиграть время. — Да вам и так уже известно... Все обстоит вполне благоприятно... Со временем доктор Кондор надеется на самые лучшие результаты... Он намерен, если не ошибаюсь, испробовать новый метод лечения и уже наводит о нем справки... говорят, это очень эффективный метод... если... если я правильно понял!.. разумеется, я не берусь судить, но, во всяком случае, вы можете смело положиться на доктора, если он... я думаю, я уверен, что он все сделает, как надо...

Но она или не замечала моей уклончивости, или ее нетерпение сметало все преграды.

— Ага! Я всегда говорила, что так мы не далеко уйдем. В конце концов себя-то знаешь лучше всех... Помните, я сказала, что все это чепуха, все эти массажи, электризации и вытягивания?.. Скоро от них толку не дождешься, а разве я могу долго ждать?.. Вот видите — я уже сегодня, без его разрешения, сняла дурацкие ходули... Вы просто не представляете, какое это облегчение... Без них мне стало куда удобнее... Я уверена, что они-то, проклятые деревяшки, и мешали мне ходить. Нет, я давно чувствовала, что нужно начинать с другого конца... Но... расскажите поскорей о новом методе французского профессора!.. И разве мне обязательно ехать туда? Нельзя ли проделать все здесь?.. О, как мне опротивели эти санатории! И вообще — я не желаю видеть никаких больных! Хватит с меня

самой себя!.. Ну, что ж вы молчите?.. Рассказывайте!.. И прежде всего — сколько потребуется на это времени? Правда, что все проходит так быстро? Папа говорит, что профессор в четыре месяца вылечил одного пациента, и теперь тот может бегать по лестницам... Это... это невероятно! Ну что вы сидите, словно воды в рот набрали, говорите же!.. Когда он думает начать и сколько на это уйдет времени?

«Стоп! — говорю я себе. — Во что бы то ни стало надо помешать ей окончательно поверить, будто успех обеспечен; это было бы безумием». И я осторожно иду на попятный:

— Какой-то определенный срок... разумеется, ни один врач не может сказать наперед, какой именно. Я не думаю, чтобы его можно было определить сейчас... Видите ли... господин доктор говорил о новом способе лечения лишь в самых общих чертах... что оно будто бы дает блестящие результаты, но кто знает, является ли этот способ абсолютно надежным... я хочу сказать, что это нужно испробовать в каждом отдельном случае... и все-таки следует подождать, пока господин Кондор...

Однако в пылу восторга она отвергла мои робкие возражения.

— Ах, вы просто его не знаете! Из него никогда не вытянешь ничего определенного, вечно он осторожничает. Зато если пообещает хотя бы наполовину, тогда уже все пойдет хорошо. На него можно положиться. Вам не понять, до чего мне хочется покончить со всем этим или по крайней мере иметь уверенность, что когда-нибудь наступит конец!.. А мне все твердят: терпение и терпение! Но в конце концов должен же человек знать, сколько ему еще надо терпеть. Положим, мне бы сказали: еще полгода, год. Хорошо, ответила бы я, согласна, буду делать все, что от меня потребуют... Ну, да слава Богу, наконец-то мы сдвинулись с мертвой точки! Вы не представляете себе, как легко у меня на душе после разговора с папой. У меня такое ощущение, будто я только начинаю жить. Сегодня утром мы ездили в город. Вас это удивляет? Но теперь, когда я знаю, что цель близка, мне совершенно все равно, что думают и

говорят обо мне люди, даже если они смотрят мне вслед с жалостью... Теперь я буду выезжать каждый день, чтобы доказать самой себе, что настал конец всем этим дурацким «потерпи» и «подожди». А завтра, в воскресенье, вы ведь свободны, завтра мы задумали нечто грандиозное. Папа обещал мне, что мы поедем на конный завод. Я не была там почти пять лет... я вообще не хотела выходить из дому. Но завтра мы едем, и вы, конечно, поедете с нами. Вы будете поражены, мы с Илоной приготовили вам сюрприз. Или, — она, смеясь, повернулась к Илоне, — выболтаем уже сейчас нашу великую тайну?

— Да, — засмеялась Илона, — не надо больше никаких секретов.

— Так слушайте же, друг мой: папа хотел, чтобы мы поехали в автомобиле. Но это было бы слишком быстро и скучно. И тут я вспомнила, что наш Йозеф рассказывал о придурковатой княгине — ну та, знаете, которой раньше принадлежала усадьба, такая противная старуха! Она, оказывается, всегда выезжала в огромной разукрашенной карете, что стоит у нас в сарае... Лишь для того, чтобы показать всем, что она княгиня, каждый раз запрягали четверку лошадей, даже если надо было добраться всего-навсего до вокзала. Во всей округе никто не отважился так ездить... Воображаете, какая будет потеха — мы в экипаже достопочтенной покойницы! К тому же и старый кучер, ее фактотум, еще жив... Ах да, вы не знаете его, он в отставке с тех пор, как мы обзавелись автомобилем. Вам надо было бы видеть его: бедняга от старости еле держится на ногах, но когда ему сказали, что мы хотим прокатиться в карете, он тут же приковылял и даже всплакнул оттого, что ему еще раз в жизни доведется сесть на козлы... Все уже подготовлено, в восемь утра мы выезжаем... Встать придется рано, и вы, конечно, переночуете у нас. Не вздумайте отказываться! Вам отведут славную комнатку внизу, а Пишта принесет из казармы все необходимое — кстати, завтра он будет наряжен в ливрею, как при княгине... Нет, нет, никаких возражений! Вы непременно должны доставить нам это удовольствие, непременно, и никаких отговорок...

И так без передышки, не умолкая. Я все еще не мог прийти в себя от удивительной перемены, происшедшей в Эдит. Ее голос звучал совсем по-другому; речь, обычно нервная, текла легко и плавно, порывистых жестов как не бывало; хорошо знакомое лицо неузнаваемо преобразилось — болезненная желтизна уступила место свежему, здоровому румянцу. Уж не была ли чуть пьяна эта девушка с искрящимися глазами и смеющимся ртом? Хмель охватившего ее восторга невольно опьянил и меня, ослабив мое внутреннее сопротивление. Быть может, обманывал я себя, все это так и есть или по крайней мере будет? Быть может, я вовсе не ввел ее в заблуждение, быть может, ее и в самом деле удастся быстро вылечить? В конце концов то, что я сказал, не было чистой ложью или было ею в очень незначительной мере. Ведь Кондор действительно читал о каком-то поразительном исцелении — так почему бы судьбе не даровать его этому пылкому и трогательно доверчивому ребенку, этому впечатлительному существу, столь несчастливенному и окрыленному одним лишь проблеском надежды на выздоровление? Зачем сдерживать наплыв чувств, переполнивших ее душу радостью, зачем терзать ее сомнениями, когда она, бедняжка, и без того уже намучилась? Подобно тому, как воодушевление, вызванное словами оратора, в свою очередь, передается ему самому, так и чувство уверенности, единственным источником которого была моя жалость и порожденные ею преувеличения, все сильнее и сильнее овладевало мною. И когда наконец пришел Кекешфальва, он застал нас всех в самом радужном настроении: мы болтали и строили всяческие планы, словно больная уже выздоровела. Где она вновь будет учиться верховой езде, спрашивала Эдит, не смогут ли у нас в полку помочь ей в этом? И не следует ли уже сейчас отдать священнику деньги на новую крышу для церкви, которые обещал ему отец? Говорить обо всем этом, как будто ее выздоровление — решенное дело, было безрассудно, дерзко, но девушка смеялась и шутила с такой беззаботностью, что голос протеста во мне окончательно умолк. И только вечером, когда я остался один в своей комнате, в сердце слабыми толч-

ками зашевелилось беспокойство: не слишком ли несбыточными надеждами обольщает она себя? Не лучше ли развеять опасные иллюзии? Однако я тут же отогнал эту мысль. Не все ли равно, сказал ли я слишком много или слишком мало? Пусть даже я обещал больше, чем мне могла позволить совесть, — ведь эта ложь из сострадания сделала ее счастливой, а счастье, подаренное человеку, никогда не может быть виной или несправедливостью.

Уже ранним утром зазвучала веселая увертюра к предстоящей экскурсии. Первое, что я услышал, когда проснулся в своей чистенькой, ярко освещенной солнцем комнате, были смеющиеся голоса. Я подошел к окну и увидел огромный дорожный экипаж старой княгини, окруженный глазееющей дворней, по-видимому, его еще ночью выкатили из каретного сарая; это был великолепный музейный экземпляр, сделанный сто лет или даже полтора века назад в мастерской венского придворного каретника по заказу одного из предков княгини. Массивные колеса несли на себе кузов, защищенный от толчков искусно поставленными рессорами и разрисованный наивными пасторальными сценками и античными аллегориями в стиле старинных обоев; некогда яркие краски заметно выцвели и потускнели. Внутри обитой шелком кареты имелись хитроумные приспособления и всякого рода удобства в виде откидных столиков, зеркалец и парфюмерных флаконов — во время поездки мы получили возможность детально ознакомиться с ними. Гигантская игрушка минувшего века производила впечатление чего-то нереального, маскарадного, но именно это и вызвало то веселое карнавальное настроение, с которым слуги и дворня приводили в готовность тяжеловесный корабль проселочных дорог. Машинист сахарного завода с особым рвением смазывал колеса и стучал молотком по железным ободам, пробуя их прочность, а старый Йонек, бывший кучер, с достоинством поучал дворовых слуг, которые запрягали четверку лошадей, украшенных пышными султанами, словно для свадебного кортежа. Облаченный в выцветшую княжескую ливрею,

Йонек с поразительной быстротой передвигался на подагрических ногах и показывал свое умение молодежи, которая могла кататься на велосипедах и управлять автомобилем, но не имела понятия о том, как запрячь четверку цугом. Тот же Йонек подробно растолковал повару еще накануне вечером, насколько необходимо для поддержания чести дома, чтобы во время пикника на лоне природы — будь то на лугу или в самом отдаленном уголке леса — закуска была сервирована так же пышно и безукоризненно, как и в столовой усадьбы. И вот сейчас под его присмотром слуга укладывал камчатные скатерти, салфетки и столовое серебро в украшенные гербами футляры из бывших княжеских кладовых. Лишь после того, как все это было погружено, сияющий повар в белоснежном колпаке получил наконец разрешение нести провизию: жареных цыплят, ветчину, паштеты, свежее испеченные булки и целую батарею бутылок, предусмотрительно обернутых соломой, дабы они не пострадали от ухабов на проселочных дорогах. За сервировку стола отвечал помощник повара, молодой парень, который должен был занять место на запятках — там, где в прежние времена рядом с ливрейным лакеем стоял княжеский гайдук в шляпе с яркими перьями.

Благодаря всем этим церемониям подготовка к отъезду приобрела характер веселого театрального представления; а так как весть о необыкновенной экскурсии быстро облетела окрестности, то наш импровизированный спектакль не испытывал недостатка в зрителях. Из ближайших деревень пришли крестьяне в ярких воскресных костюмах, из соседней богадельни притащились сморщенные старушки и седенькие старички с неизменными глиняными трубками в зубах. Но наибольший интерес проявляли босоногие ребятишки, сбежавшиеся со всей округи; зачарованные происходящим, они не сводили глаз с разукрашенных лошадей и кучера, уверенно державшего в своей старческой, но еще крепкой руке длинные, замысловато переплетающиеся вожжи. Не меньший восторг вызывал у них Пишта, которого все привыкли видеть в синей шоферской форме; сейчас он стоял в старинной княжеской ливрее, держа

наготове серебряный охотничий рог, чтобы дать сигнал к отправлению. Выйдя после завтрака в аллею, мы не без удовлетворения отметили, что выглядим гораздо менее торжественно, чем парадная колесница и лакеи в полном блеске. Кекешфальва даже казался смешным, когда он, похожий в своем неизменном сюртуке на черного аиста, прошагал на негнущихся ногах к украшенной чужими гербами карете; юных дам хотелось бы видеть в костюмах эпохи рококо: напудренные парики, мушки на щеках, пестрые веера в руках, да и мне самому скорее бы подошел белоснежный верховой костюм времен Марии-Терезии, чем голубой уланский мундир. Но и без этого маскарада глазам собравшихся открылось достаточно помпезное зрелище, когда мы наконец заняли свои места в неуклюжем ящике на колесах. Пишта поднес к губам охотничий рог, и над толпой, возбужденно кричавшей и махавшей руками, разнесся чистый, высокий звук; бич, взвившись в воздух и описав огромную петлю, хлопнул, точно выстрел. Громоздкая карета рывком тронулась с места, и мы, смеясь, попадали друг на друга, но мгновение спустя наш доблестный кормчий ловко направил четверку лошадей в распахнутые ворота, которые вдруг оказались пугающе узкими, и мы благополучно выбрались на шоссе.

Неудивительно, что на всем пути нас провожали не только любопытные, но и почтительные взгляды. Уже десятки лет в округе никто не видел княжеской четверки, и ее неожиданное появление показалось крестьянам чуть ли не сверхъестественным событием. Возможно, они думали, что мы едем во дворец, или что прибыл сам император, или случилось еще что-нибудь невероятное, так как повсюду точно ветром сметало шапки с голов, а босоногая детвора бежала за нами с восторженными криками; когда навстречу попадалась груженная сеном телега или легкая бричка, ее владелец проворно спрыгивал с козел и, сняв шапку, придерживал своих лошадей, уступая нам путь. Мы были полновластными хозяевами дороги; нам принадлежало все — как во времена феодалов: и эта прекрасная тучная земля с волнующимися нивами, и животные, и люди. Правда,

наша гигантская коляска не была приспособлена для быстрой езды, но зато мы имели возможность ко многому приглядеться и вволю посмеяться, и этим в полной мере воспользовались обе девушки. Юность всегда находит очарование во всем новом и необычном, а в последнем у нас недостатка не было: нелепая карета, подобострастная почтительность, с какой люди встречали наш старомодный выезд, и десятки других мелких происшествий пьянили обеих девушек не меньше, чем солнце и воздух. Особенно Эдит, которая уже несколько месяцев не выходила по-настоящему из дома, шумно радовалась чудесному летнему дню, искрясь безудержным весельем.

Первую остановку мы сделали в небольшой деревеньке, когда колокола зазвонили к воскресной службе. С разных концов по узким полевым тропкам к церкви спешили запоздавшие; над высокой пшеницей виднелись лишь черные шелковые шляпы мужчин и яркие, расшитые чепцы женщин. Цепочки людей среди волнующегося моря золотых колосьев издали напоминали ползущих гусениц. Когда наша карета, распугав встревоженно гогочущих гусей, въехала на пыльную главную улицу, колокола смолкли: воскресная служба началась. И тут Эдит — совершенно неожиданно — потребовала, чтобы мы прослушали мессу.

Трудно описать переполох, вызванный в деревне тем, что необычный экипаж остановился на скромной рыночной площади и что магнат, которого здесь знали лишь понаслышке, вместе со своей семьей — к ней, по-видимому, причисляли и меня — изъявил желание помолиться в деревенской церкви. Служка выбежал нам навстречу, словно бывший Каниц был настоящим князем Орошваром, и угодливо доложил, что священник подождет с началом мессы; почтительно склонив головы, люди расступались перед нами и растроганными взглядами провожали Эдит, которую вели, поддерживая с двух сторон, Йозеф и Илона. Простых людей всегда поражает, когда они видят, что судьба осмеливается наносить жестокие удары и богачам. По рядам пронесся шепот, несколько женщин куда-то побежали и вскоре вернулись с подушками, чтобы больная

могла устроиться поудобнее — разумеется, на передней скамье, которую тут же освободили; казалось даже, что священник из-за нашего присутствия начал службу по-особому торжественно. Меня сильно взволновала трогательная простота этой маленькой церкви; в звонком пении женщин, грубовато и неловко поддерживаемом мужчинами, в наивных голосах детей звучала чистая, идущая от сердца вера; воскресные мессы в соборе св. Стефана или в церкви августинцев, к которым я привык с детства, бывали величественней, но им недоставало того, что я услышал здесь. Однако мое собственное молитвенное настроение сразу же пропало, когда я случайно взглянул на сидевшую рядом Эдит: она молилась с таким неистовым жаром, что мне стало страшно. Никогда прежде не замечал я в ней ни малейшего намека на набожность, но тут я оказался очевидцем молитвы, которая не могла быть привычкой, как у многих. Наклонив голову и вцепившись руками в скамью, девушка словно боролась с ураганным ветром; уйдя в себя и бессознательно бормоча вместе со всеми слова молитвы, она производила впечатление человека, решившегося во что бы то ни стало — полным напряжением всех сил — добиться желаемого. Временами я чувствовал, как дрожит темная церковная скамья — мертвое дерево отзывалось на безудержный трепет молитвенного экстаза. Я тотчас понял, что Эдит просила Бога о чем-то определенном, она чего-то хотела от него. И нетрудно было догадаться, чего именно жаждала парализованная девушка.

Когда после окончания службы мы усадили Эдит в карету, она еще долго оставалась целиком погруженной в себя. Она больше не глядела с радостным любопытством по сторонам; казалось, эти полчаса ожесточенной внутренней борьбы опустошили и утомили ее. Молчали, разумеется, и мы. Так, в навевающей дремоту тишине, мы подъехали перед самым полуднем к конному заводу.

Как и следовало ожидать, здесь нам устроили торжественную встречу. Парни из ближайших деревень, явно предупрежденные о нашем приезде, моментально вскочили на необъез-

женных лошадей и диким галопом вылетели нам навстречу, будто живая иллюстрация к арабским сказкам. Любо было смотреть на них: опаленные солнцем лица, рубахи навыпуск, широкие белые штаны, развевающиеся яркие ленты на низко надвинутых шляпах; с веселым гиканьем неслись они на неоседланных лошадях, словно орда бедуинов, готовая растоптать нас копытами. Уже тревожно прядали ушами наши коняги, уже старый Йонек, упершись ногами, изо всех сил натягивал вожжи, как вдруг раздался чей-то свист; дикая конница ловко построилась в колонну, и озорной эскорт проводил нас к дому управляющего заводом.

Мне, опытному кавалеристу, было здесь на что посмотреть. Девушкам показали новорожденных жеребят, и они, не переставая, восторгались тем, как пугливые, но любопытные животные, еще нетвердо державшиеся на длинных, тонких ногах, тыкались глупыми мордами в протянутый им сахар. Пока мы все предавались столь интересным занятиям, повар под заботливым руководством Йонекки накрыл роскошный стол на свежем воздухе. Вино оказалось вкусным и крепким, и вскоре наше веселье стало безудержным. Никогда еще мы не болтали так дружески-непринужденно; в эти часы, светлые, как голубой шелк раскинувшегося над нами безоблачного неба, мое настроение ни разу не омрачилось мыслью о том, что хрупкую девушку, которая смеялась от всего сердца, громче и веселее всех нас, я прежде видел страдающей и отчаявшейся или что пожилой человек, который, как настоящий ветеринар, осматривал лошадей, шутил с конюхами и совал им чаевые, всего лишь два дня назад, обезумев от страха, подстерегал меня ночью в саду. Да и я самого себя едва узнавал — такую легкость ощущал я во всем теле. После обеда, пока Эдит отдыхала в комнате жены управляющего, я попробовал объезжать лошадей. Я скакал по лугам наперегонки с молодыми парнями и, дав волю коню и себе самому, испытывал неведомое мне до сих пор ощущение свободы. Ah, если бы можно было остаться здесь, среди широкого раздолья, никому не подвластным, вольным, как птица! Мое сердце слегка сжалось, когда донесся (я успел

ускакать очень далеко) зов охотничьего рога, напомнивший, что мне пора возвращаться.

Предусмотрительный Йонек выбрал для обратного пути другую дорогу, очевидно, не только ради разнообразия, но и потому, что она проходила через небольшой лесок, тень которого сулила прохладу. И так уж счастливо складывалось все в этот удачный день, что здесь нас ждал еще один, последний, самый неожиданный сюрприз. Въехав в маленькую деревушку, насчитывавшую не более двадцати дворов, мы увидели, что ее единственная улица забита пустыми повозками. Мы остановились в ожидании, пока освободят дорогу; но странно, вокруг не было ни души — все как сквозь землю провалились. Причина загадочного и слишком уж воскресного безлюдья вскоре выяснилась. Едва огромный бич в умелой руке Йонек со звуком пушечного выстрела рассек воздух, как сразу же сбежались люди. Оказалось, что в деревне справляли свадьбу: сын местного богатея женился на бедной родственнице из другого села. С противоположного конца улицы, где находилась рига, специально убранная для танцев, примчался отец жениха; запыхавшийся толстяк побагровел от усердия, приветствуя нас. Кто знает, может, он и впрямь вообразил, будто всем известный владелец усадьбы Кекешфальва вознамерился почтить своим присутствием свадебное торжество и ради этого нарочно велел запрячь экипаж четверкой, а может, просто из тщеславия решил использовать наш случайный приезд, чтобышний раз поважничать перед односельчанами. Так или иначе, пока расчищали дорогу, он, не переставая кланяться, покорнейше просил господина фон Кекешфальву и других господ сделать милость пожаловать к столу и осушить за здоровье молодых чарку доброго венгерского вина из его собственного погреба; мы же, со своей стороны, были в слишком хорошем расположении духа, чтобы ответить отказом на подобное приглашение. Эдит осторожно вывели из кареты, и мы, сопровождаемые удивленными взглядами и перешептыванием, словно триумфаторы, прошествовали сквозь расступившуюся толпу в импровизированный танцевальный зал.

В обоих концах риги возвышались помосты из досок, положенных на пустые пивные бочки. На правом помосте за длинным столом, накрытым белым домотканым холстом и обильно уставленным бутылками и блюдами, восседали новобрачные, а рядом с ними — ближайšie родственники и, конечно, местная знать: священник и жандарм. Слева устроились музыканты — усатые цыгане весьма романтической наружности: скрипки, контрабас цимбалы; в центре, на утрамбованной площадке тока, предназначавшейся для танцев, толпились остальные гости, а детвора, для которой не нашлось места в переполненном помещении, заглядывала в дверь или, забравшись в качестве безбилетных зрителей на стропила, сидела там, болтая ногами.

Разумеется, родственники победнее тотчас же ретировались, освободив для нас места на почетном помосте, и мы, к удивлению окружающих, не ожидавших такого от высокопоставленных гостей, непринужденно уселись за стол вместе со всеми. Спотыкаясь от волнения, отец жениха сам принес огромный кувшин с вином, наполнил до краев кружки и гаркнул тост: «За здоровье господина фон Кекешфальвы!» — тотчас же подхваченный многоголосым эхом, прокатившимся чуть ли не по всей улице. Затем он подтащил к нам своего сына и его молодую супругу. Застенчивая, несколько широковатая в бедрах девица выглядела очень трогательно в ярком праздничном наряде и белом миртовом венке; покраснев от смущения, она неумело сделала книксен Кекешфальве и почтительно поцеловала руку Эдит, которую это явно растревожило. Юные девушки всегда ощущают смятение при виде свадебной церемонии, ибо в такие минуты душой их овладевает таинственное чувство солидарности пола. Зардевшись, Эдит притянула к себе новобрачную и обняла ее, потом, словно опомнившись, сняла с пальца кольцо — старинное, тонкое, не очень дорогое — и отдала его девушке, совершенно растерявшейся от этого неожиданного дара. Молодая испуганно посмотрела на свекра, как бы спрашивая у него разрешения принять такой драгоценный подарок, и, едва тот с важностью кивнул в знак согласия,

разразилась счастливыми слезами. И снова на нас хлынул поток восторженной благодарности. Со всех сторон теснились люди, простые и не избалованные судьбой; никто из них не осмеливался заговорить с «благородными господами», хотя всем им хотелось — это было видно по их взглядам — чем-нибудь выразить свою признательность. Старая хозяйка, плача от радости, сновала в толпе от одного к другому, ничего не видя перед собой, совершенно ослепленная честью, которая выпала на долю ее сына, а сам жених в полном замешательстве таращил глаза то на невесту, то на нас, то на свои начищенные до блеска сапоги «бутылками».

Мы уже начали испытывать неловкость, когда Кекешфальва нашел самый разумный выход из создавшегося положения. Сердечно пожав руку хозяину, жениху и нескольким почетным гостям, он попросил их не прерывать праздника из-за нас. Пусть молодые люди танцуют и веселятся сколько душе угодно, нам это доставит самое большое удовольствие. Он подозвал скрипача, который, держа свой инструмент под мышкой, застыл в почтительном поклоне, и, бросив ему банкноту, велел начинать. Должно быть, банкнота была не маленькой, потому что парень, как ужаленный, бросился к эстраде, моргнул музыкантам, и все четверо ударили по струнам с удалью, свойственной лишь венграм и цыганам. При первом же аккорде цимбал всеобщую скованность как рукой сняло. Моментально образовавшиеся пары пустились в пляс, еще более бурный и неистовый, чем прежде, ибо с неосознанным тщеславием парни и девушки стремились показать нам, как умеют танцевать настоящие венгры. Минуты не прошло, как весь зал, в котором только что царило благоговейное молчание, превратился в сплошной вихрь подпрыгивающих, взлетающих, разгоряченных тел; даже на нашем столе каждый такт отдавался звоном кружек — с таким жаром и самозабвением отплясывала воодушевившаяся молодежь.

Эдит блестящими глазами смотрела на эту сутолоку. Неожиданно она дотронулась до моей руки.

— Вы тоже должны танцевать! — приказала она.

На мое счастье, невеста еще не была втянута в общий водоворот; по-прежнему растерянная, она не сводила глаз с подаренного кольца. Когда я поклонился ей, приглашая на танец, она зарделась, смущенная столь высокой честью, но охотно последовала за мной. Наш пример придавал смелости жениху; настойчиво подталкиваемый своим отцом, он решился пригласить Илону. И вот уже цимбалист, словно одержимый, набрасывается на свой инструмент, а скрипач, черноусый дьявол, еще безжалостнее терзает струны скрипки; я уверен, что здесь никогда не видели и не увидят больше такой бешеной пляски, как на этой свадьбе.

Но рог изобилия, из которого на нас сыпались всевозможные сюрпризы, еще не опустел. Соблазненная богатым подарком, сделанным невесте, к помосту протиснулась старуха цыганка — одна из тех, без которых редко обходятся подобные празднества, — и стала горячо уговаривать Эдит, чтобы она позволила погадать ей по руке. Эдит смутилась. Ею овладело любопытство, но она стеснялась принимать участие в шарлатанстве на глазах у стольких зрителей. Я быстро пришел ей на помощь, деликатно оттеснив от стола господина фон Кекешфальву и всех остальных, чтобы никто не мог подслушать ни слова из таинственных пророчеств; теперь уж любопытным не оставалось ничего другого, как, посмеиваясь, издали наблюдать за происходящим. Опустившись на колени и бормоча какую-то тарабарщину, гадалка взяла руку Эдит и принялась изучать ее; вряд ли кто в Венгрии не знает уловки, к которой постоянно прибегают эти искусительницы: чем заманчивее предсказание, тем щедрее награда. Однако Эдит, к моему удивлению, казалась взволнованной тем, что хриплой скороговоркой нашептывала ей старая карга, я заметил, как затрепетали ее ноздри, что всегда бывало у нее признаком нервного возбуждения. Эдит внимала, наклоняясь к старухе все ниже и ниже и то и дело испуганно оглядываясь, не подслушивает ли кто; наконец она подозвала отца и что-то повелительно сказала ему, после чего он, как всегда покорно, полез в карман сюртука и сунул цыганке несколько банкнот. Очевидно, это

была, по деревенским понятиям, очень большая сумма, потому что жадная старуха как подкошенная упала на колени и быстрыми движениями стала гладить парализованные ноги Эдит, бормоча непонятные заклинания и покрывая безумными поцелуями подол ее платья. Потом она вдруг кинулась прочь, словно испугавшись, что у нее отнимут неожиданно доставшееся ей богатство.

— Теперь пойдете! — торопливо шепнул я господину фон Кекешфальве, заметив, как побледнела Эдит. Я позвал Пишту, и он помог Илоне отвести к экипажу девушку, с трудом переставлявшую свои костыли. Музыка тотчас смолкла; всем хотелось сказать нам на прощание доброе слово и помахать вслед рукой. Музыканты, окружив карету, сыграли последний туш, а вся деревня прокричала троекратное «ура!». Старому Йонеку стоило немалых усилий успокоить лошадей, отвыкших от подобного шума.

Я с тревогой посматривал на Эдит, сидевшую в карете напротив меня. Она дрожала всем телом — казалось, что-то сильно угнетало ее. Неожиданно она разрыдалась. Но это были слезы счастья. Она то смеялась, то плакала. Несомненно, хитрая цыганка напороочила ей скорое выздоровление, а может быть, и еще что-нибудь приятное.

Но плачущая нетерпеливо отмахивалась от всяких расспросов.

— Ах, оставьте, оставьте же меня! — Она как будто находила какое-то странное удовольствие в пережитом ею душевном потрясении. — Оставьте, оставьте же меня, — снова и снова повторяла Эдит. — Я знаю, что она обманщица, эта старуха. Я прекрасно знаю это сама! Но почему бы не поглупеть на минутку? Почему бы разок не поверить в обман?

Был уже поздний вечер, когда мы въехали в ворота усадьбы. Все упрасивали меня, чтобы я остался ужинать. Но мне не хотелось. Я чувствовал, что на сегодня с меня более чем достаточно. Весь этот долгий золотой летний день я был совершенно

счастлив, а любое «еще» только испортило бы это ощущение. Лучше пойти сейчас домой по знакомой аллее, с душой умиротворенной, как летний воздух после знойного дня. Главное, ничего больше не желать, лучше с благодарностью вспоминать и обдумывать все, что было. Итак, я распрощался раньше обычного. Звезды сияли, и мне чудилось, что они сияют для меня. Над темнеющими полями чуть слышно дул ветерок, напоенный тысячами запахов, и мне чудилось, что его песня предназначена мне. Я находился в том состоянии, когда от избытка чувств все — и природа и люди — кажется хорошим и вызывает восторг; когда хочется обнять каждое дерево и гладить его, словно тело любимой; когда хочется войти в каждый дом, подсесть к незнакомым людям и поведать им все, что у тебя на сердце; когда в груди становится слишком тесно от переполнивших ее чувств и ты жаждешь излить душу, отдать всего себя — только бы с кем-то поделиться, кого-то одарить избытком своего счастья!

Когда я наконец добрался до казармы, мой денщик стоял, дожидаясь меня у дверей комнаты. Впервые я заметил (сегодня я все воспринимал словно впервые), какое преданное, круглое, румяное лицо у этого деревенского парня. Надо и его чем-нибудь порадовать, подумал я. Пожалуй, дам-ка ему денег на пару кружек пива, пусть угостит свою девушку. Отпущу его сегодня погулять, и завтра, и послезавтра! Я уже полез было в карман за серебряной монетой, но тут он вытянул руки по швам и доложил: «Прибыла телеграмма для господина лейтенанта».

Телеграмма? Мне сразу стало не по себе. Кому я понадобился в этом мире? Только плохие вести могли так спешно разыскивать меня. Я быстро подошел к столу, на котором лежало загадочное послание. Непослушными пальцами вскрыл четырехугольный запечатанный конверт. Полтора десятка слов с предельной ясностью сообщали: «Завтра вызван Кекешфальву тчк Предварительно должен непременно увидеться с вами тчк Жду пяти часам тирольском погребке тчк Кондор».

Что, будучи даже сильно пьяным, можно мгновенно протрезветь, мне уже однажды довелось испытать на себе. Это случилось в прошлом году на прощальной вечеринке в честь одного нашего товарища, который женился на дочери богатого фабриканта из Северной Богемии и перед свадьбой устроил для нас роскошный ужин. Славный парень и впрямь не поскупился: он выставлял батарею за батареей — сначала крепчайшее темно-красное бордо и под конец такое обилие шампанского, что, сообразно темпераменту каждого, одни из нас расшумелись, другие расчувствовались. Мы обнимались, хохотали, пели и орали во все горло. Мы беспрерывно чокались друг с другом, опрокидывая коньяки и ликеры рюмку за рюмкой, дымили трубками и сигарами; в душном зале повисла густая пелена табачного дыма, и сквозь сизый туман никто и не заметил, что за окнами уже стало светать. Было, вероятно, три или четыре часа утра, многие уже не могли усидеть на стульях — тяжело навалившись на стол, они смотрели мутным, осоловевшим взглядом, когда провозглашался очередной тост; если кому-нибудь нужно было выйти, он, шатаясь и спотыкаясь, брел к двери или мешком валился на пол. У всех давно уже заплетались языки.

Тут внезапно распахнулась дверь, и полковник (о нем еще будет речь впереди), бряцая шпорами, вошел в зал, но среди общего гвалта его заметили или узнали лишь немногие. Он резко шагнул вперед и, ударив кулаком по грязному столу так, что задребезжала посуда, властным громовым голосом командовал: «Тихо!»

В одно мгновение наступила полная тишина, даже самые захмелевшие заморгали глазами и обрели способность соображать. Полковник коротко сообщил, что утром неожиданно прибывает с инспекцией командир дивизии. Он выразил надежду, что все будет в порядке и никто из нас не опозорит полк. И тут произошло нечто странное: все мы разом пришли в себя. Винный угар улетучился, словно внутри нас распахнулось какое-то окошко, бессмысленные физиономии преобразились, стали сосредоточенными; услышав призыв долга, все момен-

тально подтянулись, и через две минуты за столом уже никого не осталось — каждый ясно и точно знал, что ему делать. Дали сигнал к побудке, забегали вестовые, спешно еще раз выскребли и надраили все до последней пуговицы, и через несколько часов гроза миновала: инспекция прошла без сучка и задоринки.

Едва я вскрыл телеграмму, как столь же молниеносно с меня слетел хмель сентиментальных грез. В одну секунду я осознал то, в чем долго не хотел себе признаваться: что все мои недавние восторги были не чем иным, как опьянением ложной надеждой, и что я, поддавшись злополучному состраданию, ввел в заблуждение и других и самого себя. Я сразу же понял: этот человек явился, чтобы призвать меня к ответу. Настало время расплачиваться за иллюзии, собственные и чужие.

С пунктуальностью нетерпения я уже за четверть часа до назначенного срока стоял у погребка. Ровно в пять в экипаже, запряженном парой лошадей, подъехал с вокзала Кондор и сразу же направился ко мне.

— Вы точны, это превосходно! — начал он без обиняков. — Я знал, что на вас можно положиться. Лучше всего нам, пожалуй, забраться в тот же уголок. Наш разговор лучше вести без посторонних.

Мне бросилось в глаза, что от его обычной флегматичности не осталось и следа. Кондор был взволнован, хотя и владел собой. Тяжело ступая, он прошел вперед и, войдя в бар, почти грубо приказал подоспевшей кельнерше:

— Литр вина. Того же, что тогда. И не беспокойте нас. Я позову, если будет нужно.

Мы сели. Не успела кельнерша подать вино, как он уже начал:

— Буду краток. Я должен поторопиться, иначе они там почуют недоброе и вообразят, что мы устраиваем здесь невесть какие заговоры. Мне уже стоило дьявольского труда отделаться

от шофера, который *coûte que coûte** хотел немедленно доставить меня в усадьбу. Но перехожу *in medias res***. Итак, позавчера утром я получаю телеграмму: «Прошу Вас, глубокоуважаемый друг, приехать как можно скорее. Ждем Вас с величайшим нетерпением. С полным доверием и благодарностью Ваш Кекешфальва». Признаюсь эти «как можно скорее» и «с величайшим нетерпением» не привели меня в восторг. Почему вдруг такая спешка? Ведь я же осматривал Эдит всего несколько дней назад. И потом — к чему эти телеграфные заверения в доверии, за что такая особенная благодарность? Ну, я не стал пороть горячку и, как говорится, приобщил телеграмму *ad acta****; в конце концов у старика такие сумасбродства далеко не редкость. Но то, что случилось вчера, вывело меня из равновесия. Утром получаю длинейшее письмо от Эдит, посланное скорым поездом, совершенно безумное и восторженное: она, видите ли, с самого начала знала, что я единственный человек на земле, который может ее спасти, и ей просто не хватает слов выразить, какой она чувствует себя счастливой сейчас, когда мы наконец близки к цели. Она пишет только затем, чтобы заверить меня, что я могу абсолютно на нее положиться. Она готова на все, чего я от нее потребую, даже на самое-самое трудное. Но пусть только я скорее, не откладывая, начну этот новый курс, она просто сгорает от нетерпения. И еще раз: я могу требовать от нее все что угодно, я должен лишь скорее начать. И так далее и тому подобное. Однако это упоминание о новом лечении навело меня на мысль: кто-то, должно быть, проболтался старику или его дочке о методе профессора Вьенно — ведь такие вещи не передаются по воздуху, — и это были, разумеется, вы, господин лейтенант, только вы, и никто другой. — Вероятно, я сделал какое-то произвольное движение, ибо он тут же повысил голос: — Пожалуйста, никаких дискуссий по этому поводу! Никому другому я ни словом не обмолвился о статье профессора Вьенно. И если они там

* Во что бы то ни стало (*франц.*).

** Прямо к сути дела (*лат.*).

*** К делу (*лат.*).

поверили, что паралич можно будет теперь смахнуть, как пыль тряпкой, то это на вашей совести. Но, повторяю, воздержимся от взаимных обвинений, наболтали мы оба — я вам, а вы им, и весьма изрядно. Мне следовало быть осторожнее с вами, в конце концов врачевание не ваша профессия. Откуда вам знать, что у больных и их родственников иной лексикон, нежели у нормальных людей, что каждое «может быть» у них тотчас же превращается в «наверняка» и что поэтому им можно давать надежду лишь малыми дозами, по каплям, в противном случае оптимизм ударяет им в голову и они теряют рассудок.

Но хватит об этом. Что случилось, то случилось! Подведем черту под темой «ответственность»! Я не для того просил вас прийти, чтобы читать вам нотации. Просто я считаю своим долгом — раз уж вы вмешались в мои дела — открыть вам глаза на действительное положение вещей. Ради этого я и пригласил вас сюда.

Тут Кондор впервые за все время нашего разговора поднял голову и посмотрел мне прямо в глаза. Но во взгляде его не было строгости. Напротив, мне даже показалось, что он жалеет меня. И голос его тоже стал мягче.

— Я знаю, мой дорогой лейтенант, — продолжал он, — вам будет больно выслушать то, что я сейчас скажу. Но у нас нет времени для сантиментов. Я рассказал вам в прошлый раз, что, прочитав ту статью в медицинском журнале, я немедленно написал профессору Вьенно, чтобы узнать подробности, — больше, как мне помнится, я вам ничего не говорил. Так вот, вчера утром пришел его ответ, причем с той же почтой, что и письмо Эдит. На первый взгляд результаты кажутся положительными. Вьенно действительно добился поразительного успеха в лечении больного, упомянутого в статье, и еще в ряде случаев. Но, к сожалению, — и это самое печальное — его метод неприменим к нашей пациентке. Он имел дело с заболеваниями спинного мозга при туберкулезе, когда — не буду утруждать вас специальными подробностями — можно, уменьшив давление, полностью восстановить функцию двигательных нервов. В нашем случае поражена центральная нервная

система, и все процедуры профессора Вьенно — неподвижное лежание в корсете, облучение солнцем, комплекс специальных гимнастических упражнений — не имеют никакого смысла. Его метод — к сожалению, к большому сожалению! — нам не подходит. Бедная девочка мучилась бы понапрасну, если бы ее заставили заниматься всеми этими утомительными процедурами. Вот что я обязан сообщить вам. Теперь вам известно положение дел, и вы сможете понять, как легкомысленно было с вашей стороны внушить бедняжке надежду, которая свела ее с ума, будто она через несколько месяцев сможет прыгать и танцевать! От меня никто не услышал бы такого идиотского утверждения. Но за вас, опрометчиво наобещавшего им луну с неба, за вас они теперь ухватятся и будут правы. В конце концов вы и только вы заварили всю кашу.

Пальцы мои похолодели. Все это я подсознательно предвидел с того момента, как прочитал его телеграмму; тем не менее, когда Кондор с беспощадной прямоотой объяснил мне истинное положение вещей, меня будто обухом по голове ударило. И сразу же во мне заговорил инстинкт самозащиты. Я не хотел, чтобы на меня возложили всю тяжесть ответственности. Но то, что мне удалось наконец выдавить из себя, скорее походило на лепет уличенного в проказах школьника.

— Но как же так?.. Ведь я же с самыми лучшими намерениями... Если я и рассказал что-то Кекешфальве, то сделал это только из... из...

— Знаю, знаю, — перебил Кондор, — разумеется, он вытянул, выжал это из вас, перед его отчаянной настойчивостью действительно нелегко устоять. Я понимаю, вы поддались только из сострадания, из самых добрых, самых лучших побуждений. Но, кажется, я уже предостерегал вас однажды: сострадание, черт возьми, — это палка о двух концах: тому, кто не умеет с ним справиться, лучше не открывать ему доступ в сердце. Только вначале сострадание, точно так же, как и морфий, — благодетель для больного, целебное средство, помощь; но если его неправильно дозировать и вовремя не отметить, оно тут же превращается в смертельный яд. Первые не-

сколько инъекций приносят облегчение, они успокаивают, снимают боль. Но организму — телу и душе — роковым образом присуще губительное свойство привыкать; как нервная система нуждается во все больших дозах морфия, так и чувство все больше и больше жаждет сострадания, пока не начнет требовать невозможного. В один прекрасный день неизбежно наступает момент, когда нужно сказать «нет», не думая о том, не возненавидят ли тебя за это гораздо сильнее, чем если б ты вообще ничем не помог. Да, дорогой мой лейтенант, нужно крепко держать в узде свое сострадание, иначе оно принесет большой вред, чем любое равнодушие; мы, врачи, знаем об этом, знают это судьи и судебные исполнители и заимодавцы; если бы они всегда уступали состраданию, мир остановился бы в своем движении. Опасная это вещь — сострадание, очень опасная! Вы сами видите, что вы натворили своей слабостью.

— Да... но нельзя же... просто так оставить человека в отчаянии... да и вообще, что тут такого, если я попытался?..

Кондор неожиданно вспылил:

— Напротив, в этом очень много такого! Очень много, чертовски много ответственности берет на себя тот, кто своим состраданием водит другого за нос! Взрослый человек, прежде чем вмешаться, должен сначала обдумать, как далеко он пойдет, — с чужими чувствами не шутят! Допустим, мы ввели в заблуждение добрых людей из самых лучших, самых честных побуждений, но в этом мире важно не то, как берутся за дело — смело или робко, — а то, чем все это кончается. Сострадание — хорошо. Но есть два рода сострадания. Одно — малодушное и сентиментальное, оно, в сущности, не что иное, как нетерпение сердца, спешащего поскорее избавиться от тягостного ощущения при виде чужого несчастья; это не *сострадание*, а лишь инстинктивное желание оградить свой покой от страданий ближнего. Но есть и другое сострадание — истинное, которое требует действий, а не сантиментов, оно знает, чего хочет, и полно решимости, страдая и сострадая, сделать все, что в человеческих силах и даже свыше их. Если ты готов идти до конца, до самого горького конца, если запасешься великим

терпением, — лишь тогда ты сумеешь действительно помочь людям. Только тогда, когда принесешь в жертву самого себя, только тогда.

В его голосе прозвучала нотка горечи. Невольно я вспомнил, что мне рассказывал о нем Кекешфальва: Кондор женился на слепой, словно в наказание себе за то, что не смог ее вылечить, и теперь эта женщина вместо благодарности изводит его. Но тут он участливо, почти ласково коснулся моей руки.

— Ну, ну, я сказал это без злого умысла. Вы просто поддались вашему чувству, это с каждым может случиться. А теперь к делу, моему и вашему. В конце концов я вызвал вас сюда не для того, чтобы заниматься психологией. Надо решить практически, что делать. Разумеется, нам необходимо действовать согласованно. Я не могу допустить, чтобы вы вторично спутали мне карты. Итак, слушайте! Это письмо Эдит заставляет меня, к сожалению, предположить, что наши друзья уже окончательно помешались, уверовав, что с помощью нового метода — в данном случае неприменимого — можно, как губкой, начисто смыть все следы сложного заболевания. Если даже эта сумасбродная идея слишком глубоко засела у них в голове, не останется ничего другого, как немедленно удалить ее оперативным путем, и чем скорее, тем лучше для всех нас. Конечно, это вызовет тяжелый шок, правда — всегда горькое лекарство; безумное заблуждение надо вырвать с корнем, иначе нельзя. Я возьмусь за дело очень бережно, в этом уж положитесь на меня.

Теперь вернемся к вам. Конечно, для меня было бы удобнее свалить всю вину на вас: сказать, что вы меня превратно поняли, что вы преувеличили или присочинили. Этого я не сделаю и лучше возьму всю ответственность на себя. Но предупреждаю заранее, полностью исключить вас из игры я не могу. Вы знаете старика и его страшное упорство. Если я даже сто раз объясню ему истинное положение вещей и покажу письмо, он все равно будет твердить одно и то же: «Но вы же обещали господину лейтенанту... Но ведь господин лейтенант сказал...» Он без конца будет ссылаться на вас, чтобы убедить себя и меня в том, что, вопреки всему, еще есть какая-то надежда. Без вас,

как свидетеля, я с ним не справлюсь. Иллюзии не стряхнешь, как ртуть в термометре. Протяните больному, одному из тех, кого так жестоко называют неизлечимыми, соломинку надежды, как он тут же соорудит себе из нее бревно, а из бревна — целый дом. Но больному от этого только вред, вот почему мой долг врача — как можно скорее разрушить воздушный замок, пока в нем не поселились несбыточные мечты. Мы должны взяться за дело всерьез и не теряя времени.

Кондор остановился. Он явно ждал моего согласия. Но я не осмеливался смотреть ему в глаза; в моем мозгу, подгоняемые частыми ударами сердца, проносились воспоминания о вчерашнем дне: как мы весело ехали по полям и лугам и лицо больной сияло отблеском солнца и счастья; как она гладила маленьких жеребят, как сидела королевой на деревенской свадьбе, как снова и снова скатывались слезы к губам старого Кекешфальвы, дрожащим, но улыбающимся. И все это разрушить одним ударом! Разочаровать очарованную, чудом вырванную из отчаяния, — одним словом, столкнуть в бездну нетерпения! Нет, я знал, что никогда не смогу сделать это своими руками.

— Но разве не лучше было бы... — робко произнес я и тотчас запнулся под испытующим взглядом Кондора.

— Что? — резко спросил он.

— Я только подумал, разве... разве не лучше было бы подождать... хоть несколько дней? Потому что... потому что... вчера у меня создалось впечатление, что она уже полностью поглощена мыслью о новом методе... я хочу сказать: она настроилась на него... и что сейчас у нее есть, как вы говорили тогда... психические силы... Мне кажется, что сейчас она могла бы приложить гораздо больше усилий, если... если только еще некоторое время не лишать ее уверенности, что этот новый курс, с которым она связывает все свои надежды, окончательно вылечит ее... Вы... вы не видели... Вы даже не представляете, как подействовало на нее одно лишь упоминание... мне и в самом деле показалось, будто она сразу же стала значительно лучше передвигаться... И я думаю... нельзя ли дать всему этому

сыграть свою роль?.. Конечно... — Мой голос упал, потому что я почувствовал на себе удивленный взгляд Кондора. — Конечно, я в этом ничего не понимаю...

Кондор все еще смотрел на меня; потом он проворчал:

— Посмотрите-ка на этого Савла среди пророков! Я вижу, вы основательно вникли в суть дела: упомянули даже о «психических силах»! К тому же у вас еще имеются и клинические наблюдения, сам того не подозревая, я приобрел тут ассистента и консультанта! Впрочем, — он в раздумье почесал затылок, — то, что вы тут наговорили, совсем не так уж глупо — прошу прощения, я имею в виду: не глупо в медицинском смысле. Странно, в самом деле странно, когда я получил это экзальтированное письмо Эдит, я и сам спросил себя: а не следует ли, раз уж вы внушили ей, что выздоровление приближается семимильными шагами, воспользоваться ее теперешним настроением?.. Неплохо придумано, дорогой коллега, неплохо! Инсценировать все это было бы проще простого: я посылаю девочку в Энгадин, где у меня есть знакомый врач, мы оставляем ее в блаженной уверенности, что начат новый курс лечения, меж тем как в действительности оно будет прежним. На первых порах эффект был бы, вероятно, поразительным, и мы пачками получали бы восторженные, благодарные письма. Иллюзия, перемена климата и обстановки, душевный подъем, так сказать, реальные факторы плюс самообман; в конце концов две недели в Энгадине и нас с вами хорошенько бы встряхнули. Но, мой дорогой лейтенант, как врач, я должен думать не только о начале, но и о том, что будет дальше, прежде всего об исходе. Я должен принимать в расчет реакцию, которая неизбежно — да, да, неизбежно — наступит после крушения этих неосуществившихся надежд; как врач, я могу быть лишь хладнокровным шахматным игроком, а не азартным картежником, тем более что ставку оплачивает другой.

— Но... но вы же сами считаете, что можно было бы добиться значительного улучшения...

— Безусловно. Поначалу мы бы сделали большие успехи, ведь женщины удивительным образом реагируют на чувства,

на иллюзии. Но подумайте сами о том, что будет через несколько месяцев, когда так называемые «психические силы», о которых вы говорили, иссякнут, искусственно подстегнутая воля ослабеет, пыл угаснет, а выздоровление, то полное выздоровление, на которое, учтите, она сейчас твердо рассчитывает, так и не наступит, — и это после долгих недель изнурительного напряжения. Прошу вас, представьте себе катастрофические последствия подобного эксперимента для впечатлительного существа, и без того уже совершенно измученного нетерпением! Ведь речь идет не о том, чтобы достигнуть незначительного улучшения, а о чем-то более основательном; об отказе от длительного и испытанного метода, где главное — терпение, во имя дерзкой и рискованной поспешности! Как она сможет потом доверять мне, другому врачу, любому человеку, если узнает, что ее умышленно обманули? Нет, лучше правда, какой бы жестокой она ни была; в медицине нож хирурга часто оказывается самым гуманным средством. Только не откладывать! С чистой совестью я не взял бы на себя ответственность за такое молчание. Подумайте сами! Хватило бы у вас мужества на моем месте?

— Да, — ответил я, не раздумывая, и тут же сам испугался вырвавшегося у меня слова. — То есть... — осторожно добавил я, — только тогда, когда ее состояние хоть немного улучшится, я признался бы ей во всем... Простите, господин доктор... Это довольно нескромно с моей стороны... но в последнее время у вас не было возможности, как у меня, постоянно наблюдать, насколько необходимо этим людям что-то такое, что помогло бы им продержаться и... конечно, ей нужно сказать правду, но только тогда, когда она сможет ее вынести... не теперь, господин доктор, умоляю вас... только не сейчас... только не сразу.

Я запнулся. Его откровенно любопытный взгляд смутил меня.

— Но когда же?... — произнес он задумчиво. — И прежде всего кто из нас должен это сделать? Ведь рано или поздно сказать надо, а разочарование будет тогда во сто крат опаснее,

более того, оно будет смертельно опасным. Вы действительно взяли бы на себя такую ответственность?

— Да, — твердо ответил я (скорее всего эта внезапная решимость была вызвана страхом, что иначе мне сейчас же придется ехать туда вместе с ним). — Эту ответственность я беру на себя целиком и полностью. Я убежден, что надо временно оставить Эдит надежду на полное, окончательное выздоровление, это ей очень поможет. Если потом окажется необходимым объяснить, что мы... что я обещал, быть может, слишком много, то я честно признаюсь ей в этом; и я уверен, она все поймет.

Кондор пристально посмотрел на меня.

— Черт возьми, — пробормотал он, — вы на себя много берете! Но самое странное то, что своей верой вы заряжаете всех — сначала их, а теперь, боюсь, и меня. Ну что ж, если вы действительно готовы взять на себя ответственность за то, что вернете Эдит душевное равновесие в случае кризиса, тогда... тогда это, конечно, меняет дело... тогда, пожалуй, можно рискнуть и подождать несколько дней, пока ее нервы немного успокоятся... Но уж, коль вы берете такое обязательство, господин лейтенант, вам нельзя идти на попятный. Мой долг — серьезно предостеречь вас. Мы, врачи, перед операцией обязаны предупредить всех, кто имеет отношение к больному, об опасностях, которые ему грозят, а обещать девушке, у которой столько лет парализованы ноги, что в очень короткий срок она будет совершенно здорова, — означает вмешательство не менее ответственное, чем хирургическое. Поэтому подумайте хорошенько, на что вы решаетесь. Нужно затратить очень много сил, чтобы вернуть веру человеку, однажды обманутому. Я не люблю неясностей. Прежде чем я откажусь от своего намерения — сегодня же честно объяснить Кекешфальве, что метод профессора Вьенно нельзя рекомендовать Эдит и что, к сожалению, они должны запастись терпением, — я хочу знать, могут ли вы на вас положиться. Могут ли я быть уверенным, что вы меня потом не подведете?

— Безусловно.

— Хорошо! — Кондор резко отодвинул от себя бокал. Ни один из нас так и не выпил ни капли. — Или, вернее, будем надеяться, что все кончится хорошо, потому что мне, признаться, не по душе эта отсрочка. Скажу вам, что я сделаю, не слишком отступая от правды. Я посоветую ей провести курс лечения в Энгадине, но растолкую, что метод Вьенно еще далеко не проверен, и добавлю, что им нечего ждать чуда. Если же, несмотря на это, они, веря вам, будут тешить себя бессмысленными надеждами, то тогда уже настанет ваш черед — вы дали мне свое согласие — улаживать дело, ваше дело. Возможно, я иду на некоторый риск, доверяя больше вам, чем своей врачебной совести, — ну, это я беру на себя. В конце концов мы оба одинаково желаем несчастной добра. — Кондор поднялся. — Как мы договорились, я рассчитываю на вас в том случае, если наступит кризис отчаяния; будем надеяться, что ваше нетерпение достигнет большего, чем мое терпение. Итак, подарим бедной девочке еще несколько недель счастливой уверенности! И если за это время у нее наступит улучшение, то это будет вашей заслугой, а не моей. Все! Пора идти. Меня ждут.

Мы вышли из погребка. Фиакр ждал у дверей. В последний момент, когда Кондор уселся, мои губы дрогнули, готовые окликнуть его. Но лошади уже тронули. Экипаж умчался, а вместе с ним и то, чего уже нельзя было вернуть.

Три часа спустя я нашел в своем столе в казарме записку, написанную второпях и доставленную шофером: «Приходите завтра как можно раньше. Ужасно много новостей. Только что здесь был доктор Кондор. Через десять дней мы уезжаем. Я страшно счастлива. Эдит».

Надо же было случиться, чтобы как раз в этот вечер мне попала в руки та книга. Должен признаться, вообще-то я читал мало и редко, и на расшатанной полке в моей конуре стояло шесть-семь томов уставов: альфа и омега нашего бытия, да десятка два классиков, в которые я так и не заглянул, хотя таскал с собой после училища по всем гарнизонам, быть может,

лишь для того, чтобы пустые казенные комнаты, где мне приходилось жить, обрели хоть какую-то видимость домашнего уюта; попеременно с ними стояли наполовину разрезанные, плохо отпечатанные и переплетенные книжки, доставшиеся мне не совсем обычным путем. В нашем кафе время от времени появлялся маленький сторбленный лоточник, с удивительно печальными, слезящимися глазами; с навязчивостью, против которой невозможно было устоять, он предлагал нам почтовую бумагу, карандаши и дешевые бульварные книжонки, как, например, любовные приключения Казановы, «Декамерон», воспоминания оперной певицы или сборник армейских анекдотов; очевидно, он рассчитывал, что так называемая «галантная литература» найдет спрос у кавалеристов. Из жалости — вечно эта жалость! — а также, быть может, желая оградить себя от его меланхолической назойливости, я изредка покупал три-четыре замызганные книжки, и они валялись на полке без употребления.

Но в тот вечер, усталый и взволнованный, не в силах ни спать, ни сосредоточиться на чем-либо серьезном, я решил полистать какую-нибудь книгу, надеясь отвлечься и в конце концов уснуть. Думая, что замысловато наивные сказки «Тысячи и одной ночи», которые я еще смутно помнил с детства, окажутся лучшим снотворным, я взял их с полки, улегся и начал читать в том особом состоянии полудремы, когда уже лень перелистывать страницы подряд и, чтобы не утруждать себя, предпочитаешь пропускать неразрезанные. Кое-как осилив первую сказку о встрече Шахразады с царем, я стал читать дальше. Натолкнувшись на необыкновенную историю о юноше, который встречает лежащего посреди дороги хромого старика, я неожиданно вздрогнул: слово «хромой» отозвалось во мне острой болью, занял какой-то нерв, пораженный внезапной ассоциацией, как ударом тока. В сказке старик умоляет юношу, чтобы тот взял его на плечи и понес дальше, сам он не может больше сделать ни шагу. И юноша, охваченный жалостью (дурак, зачем ты поддался жалости? — подумал я), наклоняется и сажает хромого себе на спину.

Но этот беспомощный с виду старец на самом деле — джинн, злой дух; едва взобравшись на плечи юноши, он тут же голыми волосатыми ногами цепко обвил его шею. Оседлав своего благодетеля, беспомощный старик не дает ему передышки: безжалостный снова и снова погоняет милосердного. И несчастный вынужден нести джинна, куда тому захочется, отныне у него нет собственной воли: он вычный осел, раб злого погонщика; и пусть у него от усталости подгибаются ноги, а во рту пересохло от жажды, он должен, одураченный собственной жалостью, бежать все вперед и вперед, неся на плечах свою судьбу — злобного, бесчестного, коварного старика.

Я больше не мог читать. Сердце бешено колотилось, словно хотело выскочить из груди. Я вдруг с невыносимой ясностью увидел этого изворотливого старика, увидел, как он, лежа на земле, смотрит снизу вверх полными слез глазами, моля милосердного о помощи, а затем садится на него верхом. У него, у этого джинна, седые, расчесанные на пробор волосы и очки в золотой оправе. С быстротой, которая бывает лишь во сне, когда картины и образы молниеносно сменяют друг друга в самых причудливых сочетаниях, старик из сказки приобрел в моем воображении черты Кекешфальвы, а сам я превратился в несчастного юношу, которого он беспрестанно погонял; я почти физически ощутил, как он сжал мне горло. Книга выпала из моих рук, я лежал в холодном поту, прислушиваясь к гулким ударам сердца; даже во сне свирепый погонщик гнал меня все дальше и дальше, неведомо куда. Проснувшись на рассвете со слипшимися от пота волосами, я чувствовал себя измученным и разбитым, как после изнурительного марша.

Не помогло и то, что с утра мы выехали на ученья и я добросовестно и внимательно исполнял служебные обязанности; едва я вечером отправился по неизбежному пути, как снова ощутил на своих плечах незримую ношу, ибо взбудораженная совесть подсказывала мне, что ответственность, которую я взвалил на себя, совсем иного рода и неизмеримо тяжелее прежней. Когда я той ночью, на скамье в саду, подал старику надежду, это было только преувеличением, но не умышлен-

ным обманом; невольно, даже против воли поддавшись жалости, я лишь не сказал всей правды, но не солгал. Теперь же, когда мне известно, что о скором выздоровлении не может быть и речи, я должен буду все время притворяться, хладнокровно, упорно, расчетливо; я должен буду, не моргнув глазом, лгать так уверенно, как лжет закоренелый преступник, задолго до злодеяния придумавший способ оправдаться. Тут только я начал понимать, что и в самом худшем, что случается на свете, повинны не зло и жестокость, а почти всегда лишь слабость.

Мои опасения сбылись, когда я пришел к Кекешфальвам; едва я вступил на террасу, меня встретили восторженными приветствиями. Я нарочно принес Эдит цветы, чтобы в первую минуту отвлечь от себя внимание. Но уже после бурного: «Боже мой, зачем вы принесли цветы? Ведь я же не примадонна!» — она нетерпеливо усадила меня рядом и начала говорить без передышки с какой-то лихорадочной поспешностью. Доктор Кондор — «этот чудесный, бесподобный человек!» — снова вселил в нее мужество. Через десять дней они отправляются в Швейцарию, в Энгадин, — разве можно сейчас, когда все пошло на лад, терять хотя бы один день? Она всегда говорила, что за дело брались не с того конца, что от одной электризации, массажа и этих дурацких аппаратов толку мало. Давно пора, еще немного — и было бы поздно, ведь дважды, что греха таить, она пыталась наложить на себя руки, — дважды, и оба раза безуспешно. В конце концов жить так, как живет она, нельзя: ни минуты наедине с собой, ни шагу без помощи других, вечно за тобой шпионят, вечно надзирают, и к тому же сознание, что ты всем только в тягость, всем опротивела. Да, давно пора, давно! Но теперь я увижу, как быстро пойдет на поправку. Стоит лишь правильно взяться за дело. Что ей все эти глупые признаки улучшения, если от них ей не легче! Она должна выздороветь полностью, иначе о каком здоровье может быть речь? Ах, уже одна мысль о том, как это будет чудесно, как чудесно!..

И так далее, и тому подобное; это был водопад слов, бурный, клокочущий, неиссякаемый. Я сидел подле нее, как врач, ко-

торый слушает горячечный бред больного и недоверчиво считает лихорадочный пульс, глядя на неподвижную секундную стрелку и с тревогой усматривая в пылкой восторженности несомненное клиническое доказательство душевного расстройства. И всякий раз, когда веселый смех, подобно легкой пене, взлетал над стремительным потоком ее слов, что-то мучительно сжималось во мне, ибо я знал то, чего не знала она: она обманывает себя, а мы обманываем ее. И, когда она наконец остановилась, я почувствовал испуг, словно, проснувшись ночью в поезде, не услышал стука колес.

— Ну, что вы на это скажете? — продолжала она. — Почему у вас такой глупый, *ragdon*, испуганный вид? Почему вы молчите? Неужели вы ни капельки не радуетесь за меня?

Я был застигнут врасплох. Теперь или никогда. Говорить так, чтобы она поверила, — сердечным, задушевным тоном. Но я — всего-навсего жалкий новичок во лжи — еще не владел искусством сознательного обмана.

— Как вам не стыдно? — насилию выдавил я из себя. — Я просто растерялся... Должны же вы понять, что у меня... как говорится, от радости язык отнялся... Разумеется, я страшно рад за вас.

Мне самому было противно слушать, как фальшиво и холодно прозвучали мои слова. Очевидно, она почувствовала мое замешательство, ибо ее поведение резко изменилось. Сияющее лицо омрачилось досадой, как у человека, которого внезапно разбудили, не дав досмотреть приятный сон; глаза, только что сверкавшие воодушевлением, стали жесткими, брови изогнулись, точно туго натянутый лук.

— Я что-то не заметила, чтобы вы особенно радовались!

Я знал, что она права, и все же попытался ее успокоить:

— Но, детка...

— Не смейте твердить мне все время «детка»! — взорвалась она. — Вы же знаете, что я этого не выношу. Намного ли вы старше меня? В конце концов разве я не имею права удивиться, что вы все принимаете как должное, а главное, не очень... не очень... мне сочувствуете? А почему бы вам и не радоваться?

Ведь вы получаете отпуск — наше «заведение» временно закроеся. Никто не помешает вам преспокойно сидеть в кафе и дуться в карты, вместо того, чтобы играть скучную роль милосердного самаритянина. Еще бы, как тут не радоваться, для вас теперь настают золотые деньки!

Ее слова, откровенные до грубости, прозвучали как удар, который я болезненно ощутил своей нечистой совестью. И так, я выдал себя с головой. Чтобы перевести разговор — я знал, как опасно раздражать ее в такие минуты, — я попытался перейти на непринужденно-шутливый тон.

— Золотые деньки? Ну и понятие же у вас! Золотые деньки для нас, кавалеристов, в июле, августе, сентябре, когда нам больше всего задают жару и допекают разносими! Разве вы не знаете? Сперва подготовка к маневрам, потом поход в Боснию или Галицию, а затем маневры и большие парады! Издерганные офицеры, загнанные рядовые — сплошная муштра с зари до отбоя. И так до конца сентября...

— До конца сентября? — Она вдруг задумалась, казалось, какая-то мысль неотступно занимает ее. — Но в таком случае, когда же вы приедете? — добавила она.

Я не понял. Я в самом деле не понял, о чем она говорит, и наивно спросил:

— Куда приеду?

Ее брови снова гневно взметнулись.

— Да не задавайте же все время таких дурацких вопросов! Навестить нас! Меня!

— В Энгадин?

— А куда же еще?

Тут только до меня дошло, что она имеет в виду. Действительно, что могло быть смехотворнее предположения, будто я, бедный армейский офицер, который купил ей цветы на последние семь крон и для которого каждая поездка в Вену была уже своего рода роскошью, хотя билет обходился нам в половину стоимости, будто я ни с того ни с сего могу позволить себе путешествие в Энгадин!

— Вот теперь-то мне ясно, — рассмеялся я, на этот раз

вполне искренне, — как вы представляете себе военную службу. Кафе, бильярд, променады, а вздумалось побродить по свету — надел штатское, и «честь имею!» Ничего нет проще такой прогулочки! Прикладываешь два пальца к козырьку и говоришь: «Адье, господин полковник, мне что-то надоело играть в солдаты! До скорого, когда будет настроение, вернусь!» Ничего себе, хорошенькое представление у вас об армейской каторге! Известно ли вам, что если наш брат захочет отлучиться хоть на часок, он обязан доложить по всей форме, шелкнув каблуками, и «покорнейше» изложить свою просьбу? Да, да, столько церемоний ради одного-единственного часа. Ну, а для целого дня надо, чтоб у тебя по меньшей мере умерла тетка. Хотел бы я видеть лицо полковника, если б в разгар маневров я пришел к нему и доложил, что мне взбрело в голову взять отпуск и поболтаться недельку в Швейцарии. Вы б услышали тут такие выражения, каких не найти ни в одном приличном словаре. Нет, милая фрейлейн, вы слишком просто все себе представляете.

— Ах, что там! Все это легко, было бы желание! Не разыгрывайте из себя такого уж незаменимого! Кто-нибудь другой прекрасно управится с вашими оболтусами. А что касается отпуска, то папа устроит все за полчаса. У него куча знакомых в военном министерстве, одно слово сверху — и вы получите то, что попросите. Кстати, и вам самому не повредит поглядеть что-нибудь еще, кроме вашего манежа и плаца. Итак, никаких отговорок, это решено! Отпуск вам устроит папа.

Глупо, конечно, но ее пренебрежительный тон раздражал меня. Видно, чувство сословной чести уже крепко засело во мне за долгие годы службы, ибо я почувствовал что-то унижительное в том, как молоденькая, совсем неопытная девушка распоряжалась генералами из военного министерства, словно они состояли в услужении у ее отца, — ведь для нас это были боги. Однако, несмотря на раздражение, я продолжал держаться того же непринужденно-шутливого тона.

— Ну ладно. Швейцария, отпуск, Энгадин — не возражаю! Очень хорошо, если, судя по вашим словам, мне подадут все

это на подносе и мне не придется унижаться. Но было бы также весьма желательно, чтобы ваш достойнейший папа вместе с отпуском выцарапал в министерстве и путевое пособие для господина лейтенанта Гофмиллера.

Теперь настал ее черед удивляться. Она угадывала в моих словах какой-то скрытый смысл, но не могла проникнуть в него. Резче изогнулись ее брови над нетерпеливыми глазами. Я понял, что должен выразиться яснее.

— Будем же благоразумны, детка... pardon, будем говорить разумно, фрейлейн Эдит. К сожалению, дело обстоит не так просто, как вы полагаете. Скажите, вы когда-нибудь задумывались над тем, во что обходится подобная эскапада?

— Ах, вот что вы имеете в виду! — несколько не смутившись, воскликнула она. — Не думаю, чтоб очень дорого. Самое большее — несколько сот крон. Разве это имеет значение?

Тут я не смог больше сдержать свое негодование... Она задела мое самое больное место. Кажется, я уже упоминал, сколько мучений доставляло мне сознание, что среди офицеров полка я принадлежу к тем, у кого нет ни гроша за душой, и вынужден жить исключительно на жалованье да на скудные подачки тетки; даже в кругу приятелей меня всякий раз коробило, когда о деньгах говорили так пренебрежительно, будто они валяются под ногами. Да, это было мое больное место. Здесь я был беспомощен. Здесь я хромал на обе ноги. Но более всего меня возмущал тот факт, что именно это избалованное, капризное существо, которое само безмерно страдало от собственной неполноценности, не понимало меня. Невольно я стал почти груб.

— Всего лишь несколько сот крон? Ерунда, не правда ли? Сущий пустяк для офицера! И уж, разумеется, вы считаете неприличным, что я вообще заговорил о такой безделице! Низко, мелочно, не правда ли? Но вы хоть раз задумались над тем, на какие гроши мы перебиваемся? Как лезем из кожи, чтобы свести концы с концами?

Оттого, что Эдит продолжала глядеть на меня сощурившись и, как я по глупости полагал, презрительно, меня вдруг охва-

тило желание показать ей всю глубину моей бедности. Однажды она проковыляла на костылях по комнате, чтобы этим зрелищем отомстить нам за наше завидное здоровье, а теперь я с нескрываемым злорадством решил обнажить перед ней все убожество моего зависимого существования.

— А знаете ли вы вообще, какое жалованье получает лейтенант? — накинулся я на нее. — Вы когда-либо задумывались над этим? Так вот: на двести крон он должен прожить целый месяц, и прожить не как-нибудь, а «сообразно своему званию». Он должен заплатить за стол, за комнату, портному, сапожнику да еще выкроить на «сообразные званию» развлечения. А не дай Бог что случится с конем! И вот, если он экономно ведет свое хозяйство, у него остается еще несколько геллеров, чтобы провести вечерок в том райском уголке, которым вы меня вечно попрекаете; там, за чашкой кофе с молоком, он обретает истинное блаженство, если только все тридцать дней дрожал над каждым грошом, как обыкновенный поденщик.

Теперь я понимаю, как глупо, как преступно было то, что я дал волю своей злости. Это семнадцатилетнее дитя, выросшее в полном уединении, эта хромая девочка, прикованная к постели, — могла ли она знать цену деньгам, иметь понятие о жалованье, о нашей блистательной нищете? Но я был как одержимый: мной овладело неодолимое желание отомстить кому-то за бесчисленные маленькие обиды, и я молотил без разбору, наотмашь, как бьет ослепленный гневом человек, не отдавая себе отчета в том, сколь тяжкие удары наносит его рука.

Наконец, случайно подняв глаза, я понял, до чего жестоки были мои слова. Обостренное, как у всех больных, чутье подсказало ей, что она, сама того не желая, задела мое самое уязвимое место. Предательский румянец — я видел, как она, пытаясь овладеть собой, быстро прикрыла рукой лицо, — залил ее щеки; вероятно, какая-то мысль заставила ее покраснеть.

— И вы... вы покупаете мне дорогие цветы?

Этой минуте, тягостной для нас обоих, казалось, не будет конца. Мне было стыдно перед ней, а ей передо мной. Мы, сами того не желая, обидели друг друга и теперь боялись заговорить.

Во внезапно наступившей тишине слышался даже мягкий шелест листьев; внизу во дворе кудахтали куры, и время от времени откуда-то издали доносился легкий шум катившейся повозки. Но вот Эдит взяла себя в руки.

— Надо же быть такое душой — принять всерьез подобную чепуху! И еще расстроиться из-за этого. Нет, я действительно дура! Да какое вам дело, сколько стоит поездка? Уж если вы к нам приедете, то, разумеется, как гость. Неужели вы думаете, папа допустит, чтобы вы, согласившись приехать к нам... еще несли какие-то расходы? Что за нелепость! А я-то уши развесила... Итак, ни слова больше об этом, говорят вам — ни слова!

Но тут я не мог пойти на уступки. Ибо ничто, я уже говорил об этом, не претило мне больше, чем мысль превратиться в нахлебника.

— Нет, вы выслушайте меня. Я хочу, чтоб не было никаких недоразумений. Итак, коротко и ясно: я не стану отпрашиваться в отпуск, не позволю платить за себя. Мне не нужны поблажки. Мое место в строю рядом с товарищами, я не желаю быть исключением и отказываюсь от всяких протекций. Не сомневаюсь, что у вас и вашего отца самые лучшие намерения, но не всем блага жизни подносятся на блюдечке... Не будем больше говорить об этом.

— Итак, вы не хотите приехать?

— Я не сказал: не хочу. Я вам ясно объяснил, почему не могу этого сделать.

— Даже если вас попросит об этом отец?

— Даже тогда.

— И даже... даже если я попрошу вас? Если я по-дружески, очень попрошу вас?

— Не надо, Эдит. Это было бы бесполезно.

Она опустила голову. Но ее губы вздрагивали, и я знал, что это предвещало грозу. Бедное избалованное дитя, желания которого были законом для всего дома, натолкнулось на сопротивление, и это было для нее ново. Ей сказали «нет», и это ее ожесточило. Быстрым движением она схватила со стола принесенные мною цветы и швырнула их за балюстраду.

— Ну ладно, — проговорила она сквозь зубы. — Теперь я хоть знаю, чего стоит ваша дружба. Хорошо, что я ее проверила. Только потому, что ваши приятели в кафе будут зубоскалить, вы сочиняете столько отговорок! Только оттого, что боитесь подмочить свою репутацию в полку, вы отравляете радость друзьям!.. Ну ладно! Хватит! Не стану больше вас упрашивать. Ладно! Не хотите — не надо!

Я чувствовал, что ее волнение все еще не улеглось; с упорством снова и снова повторяя это «ладно», она приподнялась в кресле и вцепилась обеими руками в подлокотники, будто готовясь к нападению. Внезапно она повернулась ко мне.

— Ладно. Вопрос исчерпан. Наша покорнейшая просьба отклонена. Вы не приедете к нам. Не хотите приехать. Это вас не устраивает. Ну что ж, как-нибудь переживем. Обходились же раньше без вас... Но мне еще хотелось бы знать... Вы скажете правду?

— Разумеется.

— Только честно! Дайте мне честное слово!

— Если вы так настаиваете на этом, даю честное слово.

— Ладно. Ладно. — Она без конца повторяла это жесткое, резкое «ладно», словно отрубала им что-то, как ножом. — Ладно! Успокойтесь, я больше не настаиваю на высочайшем визите. Мне хотелось бы знать только одно — вы дали мне слово! — только одно... Итак, вы не желаете к нам приехать, потому что вам это неприятно, потому что вас это стеснит... или же еще по каким-либо причинам — мне все равно! Что ж, ладно... С этим покончено. Но теперь скажите мне честно, откровенно: зачем вы вообще бываете у нас?

Я ждал какого угодно вопроса, только не этого, и, чтобы выиграть время, смущенно пробормотал:

— Но... но ведь тут все очень просто... для этого не надо никакого честного слова...

— Вот как? Очень просто? Тем лучше! Говорите!

Я был приперт к стене. Самое простое — сказать правду, но я понимал, что нужно обдумать каждое слово. И вот я заговорил с наигранной непринужденностью:

— Только не ищите каких-либо таинственных побуждений, милая фрейлейн Эдит. Вы достаточно долго знакомы со мной и знаете, что я не из тех, кто любит копаться в себе. Клянусь вам, я ни разу не задумывался, почему хожу к тем или другим и почему одни люди мне нравятся, а другие нет. Честное слово, уж не знаю, глупо это или умно; я бываю у вас потому лишь, что мне просто нравится здесь и я нигде больше не чувствую себя хорошо. Похоже, что жизнь нашего брата кавалериста вы представляете себе как-то уж очень по-опереточному: для вас это нечто лихое и беззаботное, не служба, а сплошной праздник. Но так кажется только со стороны, на самом деле все выглядит куда прозаичней, да и так называемая солдатская дружба зачастую только видимость. Когда десятки людей тянут одну лямку, кто-то из них всегда налегает сильнее, а там, где речь идет о продвижении по службе и повышении в чине, впереди идущему можно легко наступить на пятки. Все время приходится быть начеку, чтоб не сболтнуть лишнего; никогда не знаешь, довольно ли тобой начальство; в воздухе постоянно пахнет грозой. Слово «служба» происходит от «служить», а служить — значит быть зависимым. К тому же казарма и кабачок никогда не заменят дома; никто там никому не нужен, ни до кого никому нет дела. Конечно, с приятелями иной раз бывает весело, но все же чувства окончательной уверенности недостает. Зато когда я прихожу к вам, вместе с саблей я расстаюсь со всеми своими опасениями, и когда я вот так, не спеша, болтаю с вами...

— Ну? Что тогда? — нетерпеливо выкрикнула она.

— Тогда... быть может, мое признание покажется вам несколько дерзким, но... тогда я внушаю себе, что я у вас желанный гость, что здесь я свой, что я здесь во сто крат более «дома», чем где-либо еще. И всякий раз, когда я вот так на вас гляжу, мне кажется...

Я невольно запнулся, но она с прежней горячностью спросила:

— Ну, так что же вам кажется?

— ... что кому-то здесь, в отличие от моих приятелей, дале-

ко не безразлично, существую я или нет... Разумеется, я понимаю, что дело не в моей персоне, порой меня удивляет, как это я еще не надоел вам... Часто — вы даже не представляете себе, как часто, — я со страхом думаю, не наскучил ли я вам. Но потом я вспоминаю, как одиноко вам в этом большом пустом доме и как вы радуетесь, если кто-нибудь заходит навестить вас. Это и придает мне всегда мужества... Всякий раз, видя вас на террасе или в комнате, я внушаю себе: все-таки хорошо, что я пришел, иначе она просидела бы в одиночестве целый день. Неужели вам это не понятно?

Ее реакция была совершенно неожиданной. Взгляд серых глаз застыл, как если бы зрачки от моих слов окаменели. Ее пальцы, напротив, беспокойно зашевелились, они ощупывали ручки кресла и барабанили по гладкому дереву, сперва тихонько, а затем все сильнее и сильнее. Рот искривился в легкой гримасе, и она отрывисто произнесла:

— Понимаю вас! Вполне понимаю... Сейчас... сейчас, мне кажется, вы действительно сказали правду. Вы изъяснились учтиво, очень учтиво, хотя и весьма замысловато. Однако я поняла вас, отлично поняла... Вы приходите, как вы объяснили, потому, что я так «одинока», или, проще говоря, оттого, что я пригвождена к проклятому креслу. Значит, вы только из-за этого каждый день таскаетесь сюда, только как милосердный самаритянин навещаете «бедного больного ребенка» — так, кажется, все вы зовете меня за глаза? Знаю, знаю. Стало быть, ходите только из жалости. Да, да, я вам верю — к чему вам теперь отрицать это? Ведь вы так называемый «добрый человек» и охотно позволяете моему отцу считать вас таковым. «Добрым людям» жалко всех побитых собак и шелудивых кошек, отчего бы им не пожалеть и калеку?

Она судорожно выпрямилась.

— Но благодарю покорно! Я не нуждаюсь в подобной дружбе из милосердия... Да, да, и не делайте, пожалуйста, такой сокрушенной физиономии! Я понимаю, вы расстроились оттого, что выболтали правду. Еще бы, признались, что ходите сюда потому лишь, что вам меня «жалко», — точь-в-точь, как

говорила та служанка, только она сказала это прямо, по-честному. Вы же, как «добрый человек», выражаетесь намного тактичнее, намного «тоньше», вы говорите обиняками: потому, что я, мол, торчу здесь в одиночестве целый день. Только из жалости, я уже давно чувствую это всеми косточками, только из жалости приходите вы ко мне, да еще хотите, чтоб вами восторгались за такую самоотверженность. Но должна вас огорчить: я не терплю, чтобы мне приносили жертвы! Я ни от кого не приму их, и меньше всего от вас... я запрещаю вам это! Слышите, запрещаю!.. Неужели вы действительно думаете, что я не могу обойтись без вас с вашими «соболезнующими», слезливыми взглядами и «тактичной» болтовней? Нет, слава Богу, не нужны вы мне все... Уж как-нибудь справлюсь с собой сама, переживу все одна. А когда станет невмоготу, я сумею от вас избавиться... Вот! — Она неожиданно повернула руку кверху ладонью и показала мне. — Видите шрам? Однажды я уже пробовала, но по неловкости не сумела добраться до вены тупыми ножницами; все вышло страшно глупо, они прибежали вовремя и успели перевязать меня, не то бы я давно уже избавилась от всех вас и вашей омерзительной жалости! Но в следующий раз я сделаю это лучше, будьте спокойны! Не думайте, что я совершенно беспомощна против вас! Лучше сдохнуть, чем принимать сожаления! Вот! — Она вдруг засмеялась, и ее пронзительный смех, как пила, разрезал тишину. — Смотрите! Мой предусмотрительный отец забыл об одной вещи, когда строил для меня башню... Он заботился лишь о том, чтобы я могла любоваться отсюда прекрасным видом... «Солнца, побольше солнца и свежего воздуха», — сказал доктор. Но какую отличную службу она мне когда-нибудь сослужит, эта терраса, им всем и в голову не приходило — ни отцу, ни врачу, ни архитектору... Взгляните-ка туда... — Внезапно приподнявшись, она отчаянным толчком перебросила свое тело и впилась обеими руками в перила террасы. — Здесь четыре, нет, пять этажей, а внизу каменные плиты... вполне достаточно... И, слава Богу, в руках у меня хватит силы перелезть через это, ходьба на костылях укрепляет мускулы. Один только рывок —

и я навсегда избавлюсь от вашего проклятого сожаления... тогда всем будет хорошо — отцу, Илоне и вам, — всем, кому я отравляю жизнь! Вот видите, как это легко, стоит лишь чуть-чуть нагнуться, и...

Не на шутку встревоженный, я вскопчил, когда Эдит, сверкая глазами, слишком перегнулась через парапет, и быстро схватил ее за руку. Но мое прикосновение словно обожгло ее, она вздрогнула и закричала:

— Прочь!.. Как вы смеете меня трогать!.. Прочь!.. Я вправе делать то, что хочу. Отпустите!.. Сейчас же отпустите!..

И когда я, не слушая, попытался силой оттащить ее от перил, она резко повернулась ко мне всем телом и толкнула меня в грудь. Тут случилось ужасное. Нанося мне удар, Эдит потеряла точку опоры, слабые ноги ее подогнулись, и она как подкошенная рухнула на пол. И хотя в последний момент я протянул руки, чтобы поддержать ее, было уже поздно. Падая, она ухватилась за крышку стола и опрокинула его — с грохотом разлетелась в куски ваза, загремели тарелки и чашки, а большой бронзовый колокольчик с трезвоном покатился по террасе.

Больная лежала на полу беспомощным гневным комочком, плача от стыда и злости. Я нагнулся, чтобы поднять ее легкое тело, но она оттолкнула меня.

— Прочь! Прочь отсюда!.. — рыдая, повторяла она. — Низкий, бесчувственный вы человек!..

Снова и снова Эдит пыталась подняться сама, но все усилия ее были тщетны. Каждый раз, когда я приближался к ней, чтобы помочь, она съеживалась и кричала в бессильном гневе:

— Прочь!.. Не трогайте меня... Уходите прочь!

Никогда я не переживал ничего более ужасного.

Но тут позади нас что-то тихо загудело. Это был лифт. Вероятно, Йозеф, который всегда настороже, услышал звон упавшего колокольчика. Тактично потупив взор, слуга быстро подошел к нам и, стараясь не смотреть на меня, привычным движением поднял плачущую и отнес ее в кабину. Еще минута, и они спустились вниз. Я остался один возле опрокинутого

стола, среди осколков посуды и разбросанных вещей они лежали в таком беспорядке, что казалось, будто гром грянул с ясного неба и вихрь разметал все вокруг.

Не могу сказать, как долго я простоял на террасе, ошеломленный этим бурным взрывом чувств, совершенно непонятным мне. Какую глупость я сказал? Чем вызван этот необъяснимый гнев? Но вот за моей спиной снова раздался знакомый, похожий на гудение вентилятора, звук поднимающегося лифта. Из кабины опять вышел Йозеф; его, как всегда, гладко выбритое лицо было необыкновенно печально. Сначала я подумал, что он поднялся лишь затем, чтобы прибраться на террасе, и я буду только мешать ему. Однако слуга бочком-бочком приблизился ко мне с опущенными глазами, мимоходом подобрал с пола салфетку.

— Простите, господин лейтенант, — начал он, понизив голос, который, казалось, тоже кланялся вместе с ним (это был слуга старой австрийской выучки). — Разрешите, господин лейтенант, я оботру вас.

Тут только, проследив взглядом за его рукой, я заметил два больших темных пятна у себя на одежде, одно на кителе, другое на светлых брюках. Очевидно, когда я нагнулся, чтобы подхватить Эдит, на меня вылился чай из опрокинутой чашки; стоя на коленях слуга старательно тер и осушал салфеткой влажные места, а я, глядя на его добрую седую голову, не мог отделаться от мысли, что старик нарочно склонился так низко, чтоб я не видел его глаз и расстроенного лица.

— Нет, это не годится, — огорченно произнес он, не поднимая головы. — Лучше всего, господин лейтенант, послать шофера в казарму за другим мундиром. В таком виде господину лейтенанту никак нельзя показываться на улице. Но смею заверить господина лейтенанта, через час все высохнет, и я хорошенько проглажу брюки.

Он констатировал это как бы между делом, профессионально бесстрастным тоном, в котором, однако, предательски прорывались сочувственные нотки. Когда же я сказал, что не стоит хлопотать, а лучше вызвать по телефону экипаж, тем более что

мне и без того пора домой, он неожиданно откашлялся и поднял свои добрые, чуть усталые глаза.

— Не изволят ли господин лейтенант побыть еще немного? Было бы ужасно, если бы господин лейтенант сейчас ушли. Я точно знаю, что фрейлейн Эдит будет страшно огорчена, если господин лейтенант не задержится на минутку. Сейчас при ней все еще находится фрейлейн Илона... они... уложили ее в постель. Однако фрейлейн Илона просила передать, что она скоро придет, пусть господин лейтенант непременно дождутся.

Я был глубоко тронут. Как все здесь ее любят! Как ласковы и снисходительны к ней! Мною овладело неодолимое желание сказать что-нибудь теплое, сердечное этому доброму старику, который, словно испугавшись собственной дерзости, снова старательно принялся чистить мой китель; я легонько похлопал его по плечу.

— Не надо, Йозеф, не трудитесь! Все это быстро просохнет на солнце, а ваш чай, надеюсь, не так уж крепок, чтобы оставить заметное пятно. Займитесь лучше посудой. Я дождусь фрейлейн Илону.

— О, как хорошо, что господин лейтенант согласились обождать, — с облегчением вздохнул он. — Господин фон Кекешфальва тоже скоро вернутся и будут рады видеть господина лейтенанта. Они строго-настрого наказывали мне...

Тут на лестнице послышались чьи-то легкие шаги. Это была Илона. Подойдя ближе, она, точь-в-точь как Йозеф, потупила взор.

— Эдит просит вас заглянуть к ней в спальню. Всего лишь на минутку! Она очень просит вас об этом.

Не проронив более ни слова, мы спустились по винтовой лестнице и так же молча прошли через гостиную и будуар в длинный коридор, который, очевидно, вел в спальни. Порою мы сталкивались плечами в узком темном проходе, быть может, потому, что я был взволнован и шел неуверенно. У второй двери Илона остановилась и горячо зашептала:

— Будьте с ней сейчас поласковее. Не знаю, что там у вас случилось, но эти внезапные вспышки для меня не новость.

Нам они знакомы. И все же не следует сердиться на нее, право, не следует. Мы, здоровые, и представить себе не можем, что значит изо дня в день с утра до вечера быть прикованной к креслу. Раздражение все накапливается, накапливается и наконец прорывается помимо ее воли. Но, поверьте мне, бедняжка сама больше всех страдает от этого. Как раз сейчас, когда ей так стыдно и тяжело, мы должны быть особенно добры к ней.

Я промолчал. Да отвечать было и незачем. Илона не могла не заметить моего смятения. Она осторожно постучалась в дверь и, едва из комнаты донеслось тихое, застенчивое «войдите», быстро проговорила:

— Не задерживайтесь долго. Минутку, не больше!

Бесшумно отворив дверь, я вошел. В просторной комнате я сперва не увидел ничего, кроме красноватого сумрака, так как окна были плотно занавешены оранжевыми гардинами; лишь через несколько мгновений я разглядел в глубине светлый прямоугольник кровати. Оттуда несмело прозвучал хорошо знакомый мне голос:

— Сюда, пожалуйста, присядьте. Я задержу вас всего на одну минуту.

Я подошел ближе. Среди подушек мерцало узкое лицо, обрамленное волосами. Из-под пестрого, с вышитыми цветами, одеяла выглядывала тонкая детская шея. Эдит с некоторым опасением подождала, пока я уселся, и лишь тогда робко произнесла:

— Простите, что я принимаю вас здесь, но мне стало дурно... так долго нельзя лежать на солнце, потом всегда кружится голова... Я совершенно не осознавала, что делала, когда... Но... но вы забудете все это... не правда ли? Вы больше не сердитесь на меня за мою невоспитанность?

В ее голосе было столько мольбы и тревоги, что я перебил ее:

— Ну что вы... Во всем виноват я... мне не следовало разрешать вам так долго сидеть на жаре.

— Значит... значит, вы на меня не обиделись?

— Нисколечко.

— И опять придете... как приходили всегда?

— Непременно. Но только при одном условии.

Она с беспокойством взглянула на меня.

— При каком?

— Что вы станете чуточку больше доверять мне и не будете постоянно думать, что обидели или оскорбили меня! Разве настоящие друзья придают значение таким пустякам? Если б вы знали, как вы преображаетесь, когда у вас легко на сердце, сколько радости доставляете всем нам: отцу, Илоне, мне, всему дому! Посмотрели бы вы на себя, какой вы были позавчера на прогулке, как вы веселились, а вместе с вами и мы! Я весь вечер вспоминал об этом.

— Вы думали обо мне целый вечер? — Эдит нерешительно посмотрела на меня. — Правда?

— Целый вечер. Какой это был день! Я никогда его не забуду. Чудесная, изумительная прогулка!

— Да, — мечтательно повторила она, — это было чудесно, чудесно... и дорога через поля, и маленькие жеребята, и свадьба в деревне... все было чудесно, с начала до конца! Почаще бы так выезжать! Быть может, как раз это дурацкое сидение дома, это идиотское затворничество и расшатало вконец мои нервы. Вы правы, я в самом деле слишком недоверчива... вернее, стала такой с тех пор, как со мной это случилось. Господи, я не помню, чтобы прежде кого-либо боялась... Но с той поры я стала мнительной... Все время внушаю себе, что каждый смотрит на мои костыли, жалеет меня... Я понимаю, что это нелепо, что это глупая ребяческая гордость, из-за которой ожесточаешься против самой себя... знаю, что от этого лишь становится хуже, нервы совсем не выдерживают. Но как тут не быть мнительной, когда это тянется целую вечность! Ах, поскорее бы кончился весь этот ужас, ведь так можно превратиться в несносную злоку!

— Но конец уже близок. Вам надо лишь набраться мужества и терпения, еще немного, чуть-чуть.

Она слегка приподнялась.

— Вы убеждены... вы действительно убеждены, что новый метод лечения поможет?.. Вы понимаете, позавчера, когда папа пришел ко мне, я нисколько в этом не сомневалась... Но сегодня ночью, сама не знаю почему, на меня вдруг напал страх, что доктор ошибся и сказал мне неправду, потому что я вспомнила... Видите ли, раньше я верила доктору Кондору, он был для меня как Бог. Но ведь всегда бывает так: сначала врач наблюдает больного, а потом, со временем, и больной — врача. И вот вчера, — я рассказываю это только вам, — вчера, когда он осматривал меня, мне показалось... как бы это вам объяснить... ну, что он просто разыгрывает комедию... Он был каким-то нерешительным, неискренним, совсем не таким сердечным, откровенным, как обычно... Не знаю отчего, но у меня было такое чувство, что ему почему-то стыдно передо мной... Конечно, я страшно обрадовалась, когда он сказал, что хочет немедленно отправить меня в Швейцарию... и все же... где-то в глубине души... — признаюсь в этом только вам, — я испытывала все тот же безотчетный страх... только, ради Бога, не говорите ему об этом!.. Мне казалось, будто с новым лечением не все ладно... и он водит меня за нос... или всего-навсего хочет успокоить папу. Вот видите, я никак не могу справиться со своей недоверчивостью. Но что же мне делать? Как тут не стать подозрительной к самой себе, к другим, когда мне столько раз твердили, что мои мучения вот-вот кончатся, а между тем все тянется по-прежнему страшно медленно. Нет, я не могу, я большу не могу выносить этого вечного ожидания!

В возбуждении она приподнялась еще выше, ее руки дрожали. Я быстро наклонился к ней.

— Нет, нет... не надо волноваться! Вспомните, ведь вы только что обещали мне...

— Да, да, вы правы! Незачем понапрасну изводить себя и других. Чем другие-то виноваты? И без того висешь у них камнем на шее... Нет, нет, я вовсе не хотела этого сказать, нет... я только хотела поблагодарить вас за то, что вы простили мне мою глупую раздражительность... и вообще... за то, что вы всегда добры ко мне... так трогательно добры, хотя я этого вовсе

не заслуживаю... И как раз вас-то я... Но не будем больше говорить об этом, ладно?

— Не будем. Никогда. А теперь вам надо хорошенько отдохнуть.

Я встал, чтобы пожать ей на прощанье руку. Эдит была очень мила в эту минуту, когда чуть еще боязливо и вместе с тем успокоенно улыбнулась мне с подушек, — совсем как ребенок перед сном. Все было улажено, гроза прошла, и небо очистилось. Непринужденно, почти весело подошел я к постели. Но Эдит вдруг воскликнула в испуге:

— Боже мой, что это? Ваш мундир...

Заметив большие влажные пятна на моем мундире, она, должно быть, догадалась, что причиной этой маленькой неприятности мог быть только чай из опрокинутых ею чашек. Глаза ее тотчас спрятались за опустившимися веками, протянутая было рука пугливо отдернулась. Однако именно то, что она приняла так близко к сердцу подобную мелочь, тронуло меня больше всего. Чтобы успокоить ее, я перешел на шуточный тон.

— Пустяки, — сказал я. — Ничего серьезного. Непослушный ребенок облил меня чаем.

Все еще глядя на меня смущенно, она с благодарностью приняла этот игривый тон.

— И вы, конечно, отшлепали непослушного ребенка?

— Нет, — ответил я, войдя в роль. — В этом не было необходимости. Ребенок уже ведет себя хорошо.

— И вы в самом деле больше не сердитесь на него?

— Нисколечко. Разве вы не слышали, как он мило сказал: «Я больше не буду»?

— Стало быть, вы не обиделись?

— Нет, я все простил и забыл. Только, разумеется, он впредь должен слушаться взрослых и делать все, что от него требуют.

— Что же ему делать?

— Набраться терпения, быть всегда приветливым и веселым. Не сидеть слишком долго на солнце, почаще выезжать на прогулки и в точности исполнять все, что говорит доктор. А

сейчас ребенок должен спать, не разговаривать и ни о чем не думать. Покойной ночи.

Я протянул ей руку. Сияя звездочками глаз, она счастливо улыбнулась, ее теплые тонкие пальцы доверчиво легли в мою ладонь.

С легким сердцем направился я к выходу. Я уже взялся за ручку двери, как позади прожурчал негромкий, переливчатый смех.

— А как теперь ведет себя ребенок?

— Безупречно. Он получит за это пятерку по поведению. Но сейчас спать, спать и не думать ни о чем плохом!

Я наполовину открыл дверь, но мне вслед опять вспорхнул этот по-детски лукавый смех. И снова голос с подушек:

— А вы забыли, что полагается пай-детке на ночь?

— Что же?

— Пай-детку полагается на ночь поцеловать.

Мне стало не по себе. В ее голосе дрожала и прорывалась какая-то дразнящая нотка, и это мне не нравилось; еще раньше я заметил, что ее глаза блестят слишком лихорадочно. Но я не хотел давать ей повода для раздражения.

— Ах да, конечно, — ответил я нарочито небрежным тоном. — Я совсем позабыл.

Несколько шагов обратно — и я снова у ее кровати; по внезапно наступившей тишине я почувствовал, что Эдит затаила дыхание. Ее глаза были устремлены на меня, голова неподвижно покоилась на подушке. Она лежала не шелохнувшись, и только ее взгляд не отрываясь следил за мной и не отпускал меня.

Но тут ее руки, выжидающе лежавшие поверх одеяла, взметнулись и, прежде чем я успел уклониться, крепко обхватили мою голову. Страстным, порывистым движением она прильнула ко мне и прижала мой рот к своим губам так горячо и жадно, что зубы коснулись зубов. Ни разу в жизни меня никто не целовал так иступленно, так отчаянно, как это искалеченное дитя.

А ей все было мало, мало! С какой-то хмельной силой Эдит

обнимала меня, пока у нее не перехватило дыхание. Наконец она ослабила объятия, и ее руки начали возбужденно блуждать от висков к затылку, ероша мои волосы. Но она не отпускала меня. Лишь на мгновение откинувшись, она как замороженная посмотрела мне в глаза, а затем вновь привлекла меня к себе. Самозабвенно, с какой-то бессильной яростью покрывая поцелуями мои щеки, губы, глаза, лоб, она бессвязно лепетала, нет — стонала: «Глупый... глупый... Какой ты глупый!..», и еще горячее: «Ты, ты, ты...» Все сильнее, все безумнее становился ее натиск, все жаднее и жарче ее объятия и поцелуи, но вдруг по ее телу пробежала судорога... Эдит отпустила меня, ее голова упала на подушку, и только глаза сияли торжествующим блеском.

Внезапно застыдившись, она быстро отвернулась и прошептала в изнеможении:

— А теперь уходи... уходи, глупый!

Шатаясь, я вышел из комнаты. В темном коридоре последние силы оставили меня. Мне пришлось ухватиться за стену — голова кружилась, перед глазами все плыло. Так вот в чем дело! Вот в чем тайная причина (слишком поздно ставшая явной) ее беспокойства, ее непонятной агрессивности. Испуг мой был неопишуем. Такое чувство, наверное, испытывает человек, который доверчиво наклонился над цветком и вдруг увидел змею. Если б эта обидчивая девушка плюнула в меня, обругала или ударила, я был бы менее обескуражен, так как при ее неуравновешенном характере я каждую минуту был готов ко всему, — ко всему, кроме одного: что она, больная, несчастная, могла любить и хотела быть любимой. Что этот ребенок, это незрелое и беспомощное создание посмеет (я не нахожу другого слова) желать и любить чувственной любовью зрелой женщины. Я ждал чего угодно, только одно не приходило мне в голову: что обиженная судьбой калека, у которой нет сил даже волочить ноги, может мечтать о любимом, возлюбленном, что она так ужасающе превратно истолкует мои частые посещения, вызванные исключительно жалостью и ничем

другим. Но уже в следующую секунду меня вновь охватило отчаяние: я понял, что всему виной мое горячее сочувствие, если эта обреченная на затворничество девушка ожидала от меня, единственного мужчины, изо дня в день навещавшего узницу в ее «тюрьме», иного, более нежного чувства. А я, жалостливый дурак, я, по неизлечимой простоте своей, видел в ней только страдальцу, больного ребенка, но не женщину. Ни на одно мгновение я не допускал и мысли, что под этим одеялом скрывается обнаженное тело женщины, испытывающее желание и жаждущее быть желанным! Никогда мне, двадцатипятилетнему, даже и не снилось, что больные, увечные, незрелые и преждевременно состарившиеся, отверженные и презираемые также смеют любить. Ибо каждому молодому человеку, еще не знакомому с настоящей жизнью и переживаниями, мир представляется почти всегда лишь как отражение услышанного и прочитанного; мечты юноши, не имеющего собственного опыта, небрежно питаются чужим опытом и примером. В книгах, на сцене и в кино (так упрощающем и опошляющем действительность) любовь всегда была уделом молодых красивых избранников; поэтому я полагал — отсюда моя робость в некоторых случаях, — что надо быть особенно привлекательным, особенно щедро одаренным судьбой, чтобы снискать расположение женщины. Ведь я оставался простым и непринужденным в общении с обеими девушками только потому, что с самого начала исключал всякую эротику из наших отношений, нисколько не сомневаясь, что я для них не больше чем славный парень, хороший друг. И если Илона все же иногда пробуждала во мне чувственность, то об Эдит я никогда не думал как о существе другого пола; никогда (я могу сказать это с полной уверенностью) у меня не мелькала даже смутная мысль, что ее хилое тело — такое же, как и у других женщин, а в ее душе теснятся те же желания. Лишь теперь я начал понимать (писатели чаще всего обходят это молчанием), что уродливые, искалеченные, увядшие, отверженные и отвергнутые намного опаснее в своих вожделениях, чем счастливые и здоровые, что они любят фанатической, горькой, губительной любовью, и ни

одна земная страсть не бывает столь ненасытной и столь отчаянной, как безнадежная, безответная любовь этих пасынков Господа Бога, которые видят смысл в жизни лишь тогда, когда могут любить и быть любимыми. Чем глубже бездна отчаяния, в которую погружается человек, тем яростнее вопль его души, жаждущей счастья. Наивный и неискушенный, я и не подозревал о существовании этой страшной тайны, — и вот сейчас случайная разгадка обожгла меня раскаленным железом.

«Глупый!» Теперь я понял, почему именно это слово сорвалось с ее губ в смятении чувств, когда ее полудетская грудь прижималась к моей. «Глупый!» — да, она была права, называя меня так! Все, конечно, давно уже догадывались, в чем тут дело, — и отец, и Илона, и Йозеф, и остальные слуги. Все, конечно, давно уже подозревали о ее страсти, — быть может, со страхом и, наверное, с дурными предчувствиями; и только я, одержимый состраданием, ничего не видел, продолжая разыгрывать из себя доброго друга, хорошего товарища; я с дурацкой самоуверенностью шутил и паясничал, не замечая, как больно ранит ее пылкую душу моя бестолковая, необъяснимая непонятливость. Я вел себя как жалкий герой плохой комедии: каждый человек в зрительном зале давно уже знает, что этот глупец опутан интригами, и только он сам с полной серьезностью беззаботно продолжает игру, не ведая, что попался в сети (хотя остальные с самого начала видят каждую ниточку и каждый узелок). Столь же беспомощно, на глазах у всего дома, я топтался на месте, играя в жмурки с ее чувством, пока Эдит не сорвала наконец повязку с моих глаз. Но как одной вспышки света достаточно, чтобы осветить в комнате сразу десяток предметов, так и я, пристыженный, понял теперь — слишком поздно! — многое из того, что происходило прежде. Только теперь меня осенило, почему она всякий раз раздражалась, когда я шутливо говорил ей «детка», именно я, в глазах которого ей хотелось быть не ребенком, но женщиной, желанной и любимой. Только теперь я понял, почему ее губы начинали дрожать, если она замечала, что я потрясен ее несчастьем, почему ее озлобляло мое сострадание, — вещей женский инстинкт без-

ошибочно подсказывал ей, что сострадание — это лишь теплое братское чувство, лишь жалкий суррогат настоящей любви. Бедняжка, с каким мучительным нетерпением ждала она хоть какого-нибудь отклика, хоть одного слова или знака, — а их все не было; как страдала она от моей непринужденной болтовни, какой пыткой были для нее наши встречи, когда ее измученная душа тщетно ждала нежного жеста или хотя бы того, что я наконец замечу ее страсть. А я — я ничего не говорил, ничего не делал, но приходил снова и снова, поддерживая в ней надежду ежедневными посещениями и в то же время убивая ее своей душевной глухотой. Можно ли удивляться, что она, не выдержав, взяла меня сама!

Все это проносилось в моем мозгу, пока я стоял, прислонившись к стене тесного коридора, словно оглушенный взрывом; мне не хватало воздуха, ноги не слушались меня, будто и я был парализован. Дважды пытался я сдвинуться с места, но только в третий раз мне удалось сделать несколько нетвердых шагов и ошупью отыскать дверную ручку. «Это дверь в гостиную, — быстро соображал я, — налево другая, ведущая в вестибюль, там моя сабля и фуражка. Прочь, скорее прочь, пока не пришел слуга. Вниз по лестнице — и прочь, прочь, прочь! Бежать из этого дома, пока не встретился кто-нибудь, с кем придется разговаривать, отвечать на вопросы. Только бы не попасться на глаза ее отцу, Илоне, Йозефу — никому из тех, кто позволил мне запутаться в этой паутине! Прочь, скорее прочь отсюда!»

Но слишком поздно! В гостиной ждала Илона, она, без сомнения, услышала мои шаги. Едва увидев меня, она изменилась в лице.

— Иисус Мария, что с вами? Вы бледны как мел!.. Эдит?.. С ней опять что-нибудь случилось?

— Нет, все в порядке, — пробормотал я на ходу. — Думаю, она сейчас спит. Прошу прощения, мне нужно домой.

Но в моей резкости было, вероятно, что-то пугающее, так как Илона решительно схватила меня за руку и буквально толкнула в одно из кресел.

— Да посидите вы немного. Вам надо прийти в себя... И

ваши волосы... что с вашими волосами? Они совсем растрепаны... — Я попытался вскочить. — Нет, сидите. Сейчас я достану коньяк.

Она подбежала к буфету, налила рюмку коньяку, и я торопливо осушил ее. Илона с беспокойством следила, как я дрожащей рукой поставил рюмку (ни разу в жизни я не чувствовал себя таким беспомощным, таким обессиленным). Потом она тихо присела рядом и стала молча ждать, украдкой бросая на меня тревожные взгляды, — так наблюдают за больным. Наконец она спросила:

— Эдит вам... что-нибудь сказала?.. Я имею в виду — что-нибудь, что... касается вас самого?

По ее участливому тону я понял, что она обо всем догадывается. Я был слишком слаб, чтобы защищаться. И потому лишь тихо ответил:

— Да.

Илона ничего не сказала. Она даже не пошевелилась. Я только заметил, что у нее участилось дыхание. Немного погодя она осторожно произнесла:

— И вы... вы действительно только сейчас это узнали?

— Но как же я мог догадаться о таком!.. таком сумасшедшем вздоре!.. Как могло ей прийти в голову?.. И почему я... почему именно я?..

Илона вздохнула.

— О Боже! Да она все время думала, что вы приходите только ради нее... что вы только поэтому и бываете у нас. Я... я, конечно, не предполагала... ведь вы вели себя так... так непринужденно и... так сердечно, но... по-другому. Я с самого начала боялась, что у вас это сострадание, и только. Но как мне было предостеречь бедную девочку, разве могла я безжалостно объяснить ей, что она заблуждается, если это заблуждение делало ее счастливой?.. Уже несколько недель она живет одной-единственной мыслью, что вы... И потом, когда Эдит все спрашивала и спрашивала меня, верю ли я, что она вам действительно нравится, разве могла я так жестоко... ведь я должна была ее успокоить.

И больше не мог себя сдерживать.

— Нет, напротив, вы должны разубедить ее, непременно разубедить! Это же безумие, бред, детский каприз... обычная влюбленность девочки в военную форму, а если завтра придет другой, и он ей тоже понравится. Вы должны... вы должны ей это объяснить. Это же чистая случайность, что именно я оказался здесь, что я приходил сюда, а не кто-либо другой из моих товарищей, более достойный. В ее возрасте такое проходит очень быстро...

Илона грустно покачала головой.

— Нет, дорогой друг, не надо себя обманывать. У Эдит это серьезно, страшно серьезно, — и день ото дня становится опаснее... Нет, дорогой друг, все это слишком тяжело, и я не в состоянии так, сразу, облегчить вам это бремя. Ах, если бы вы только знали, что творится у нас в доме... По три, по четыре раза за ночь мы просыпаемся от звона колокольчика, Эдит бесцеремонно будит нас всех, а когда мы прибегаем к ней в страхе, не случилось ли чего-нибудь, она сидит в своей кровати, растерянно глядя перед собой, и спрашивает без конца: «Как ты думаешь, я ему хоть немножко, хоть чуточку нравлюсь? Ведь не такая уж я страшная». Потом она требует зеркало, но тут же отбрасывает его и уже в следующий миг сама понимает, что это безумие; а через два часа все начинается сначала. В отчаянии она спрашивает и отца, и Йозефа, и служанок; вчера она тайком позвала к себе ту цыганку — помните? — и заставила ее снова повторить предсказание — снова... Уже пять раз она писала вам письма, длинные письма, но потом рвала их. С утра до вечера, с утра и до поздней ночи она думает и говорит только об одном. Вдруг она требует, чтобы я пошла к вам и спросила, любите ли вы ее, любите ли хоть капельку, или... или она вам в тягость? Ведь вы ей не говорите ни да, ни нет, вы уклоняетесь от разговора. Тотчас же, немедленно, я должна ехать к вам, найти вас, где бы вы ни были; и уже шофер бежит к машине. По три, четыре, по пять раз повторяет она мне каждое слово, которое я должна сказать вам, спросить вас. А в последний момент, когда я уже стою внизу, во дворе, — снова

заливается колокольчик, и я, в пальто и шляпе, возвращаюсь назад и клянусь ей жизнью своей матери, что в вашем присутствии никогда не позволю себе ни малейшего намека. Да что вы знаете? Ведь для вас все кончается, как только вы закрываете за собой дверь. Но не успеваете вы уйти, как она начинает пересказывать мне все, что вы ей говорили, спрашивает, что я думаю, верю ли я. И если я говорю ей: «Ну видишь, как он тебя любит», — она кричит на меня: «Ты лжешь! Это неправда! Он не сказал мне сегодня ни одного доброго слова», — но тут же опять хочет услышать все, что я ей говорила; трижды должна я повторять ей одно и то же и клясться, что это правда... И потом еще дядя... Несчастный совершенно растерялся; к тому же он любит и боготворит вас, как сына. Посмотрели бы вы на старика, когда он часами сидит подле дочери, не сводя с нее усталых глаз, ласкает и успокаивает ее, пока она наконец не уснет. А сам потом всю ночь, без сна, ходит взад-вперед по комнате... И вы... вы действительно ничего не замечали?

— Нет! — громко крикнул я, в своем отчаянии забыв о всякой сдержанности. — Нет, клянусь вам, ничего! Абсолютно ничего! Неужели вы думаете, что я продолжал бы ходить сюда, что я сидел бы с вами обеими, играл в шахматы и домино или слушал пластинки, если бы догадывался, что тут творится?.. Но как могла она вбить себе в голову, что я... что именно я... Как она может требовать, чтобы я принял всерьез такой вздор, такое ребячество?.. Нет, нет и нет!

Я снова попытался вскочить. Мысль, что я любим, против своей воли, была невыносима. Но Илона решительно схватила меня за руку.

— Спокойно! Я заклинаю вас, дорогой друг, не волнуйтесь! И умоляю — немного потише! У нее такой слух, что она слышит сквозь стены. И, ради Бога, не будьте несправедливы. Бедняжка восприняла как знак свыше, что желанную весть принесли именно вы, что вы первый сообщили отцу о новом лечении. Он тогда прибежал к ней среди ночи и разбудил ее. Представляете, как они рыдали и благодарили Бога, что кон-

чилось страшное время и что, — они оба уверены в этом, — как только Эдит выздоровеет и станет такой, как и все, то вы... ну, мне не надо вам объяснять, что это значит. Именно поэтому вы не должны разочаровывать бедное дитя сейчас, когда новое лечение потребует от нее много сил. Мы должны быть чрезвычайно осторожны, чтобы она, упаси Бог, не заподозрила, что это для вас так... так ужасно.

Но отчаяние сделало меня беспощадным.

— Нет, нет, нет! — стучал я кулаком по ручке кресла. — Нет, я не могу... я не хочу, чтобы меня любили, так любили!.. И я теперь уже не в силах притворяться, будто ничего не замечаю, я больше не могу сидеть здесь и любезничать с нею как ни в чем не бывало... Вы не знаете, что произошло... там, в ее комнате, и... она совершенно превратно понимает меня. Ведь я испытываю к ней только сострадание. Только сострадание, и ничего больше, абсолютно ничего!

Илона молча смотрела прямо перед собой. Потом она вздохнула.

— Да, я этого боялась с самого начала! Я все время чувствовала... Но, Боже мой, что же теперь будет? Как сказать ей об этом?

Наступило молчание. Все было сказано. Мы оба знали, что выхода нет. Вдруг Илона выпрямилась, напряженно прислушиваясь к чему-то, и почти в тот же момент я услышал скрежет тормозов подъехавшего автомобиля. Это, наверное, Кекеш-фальва. Илона вскочила.

— Вам лучше сейчас не встречаться... Вы слишком возбуждены, чтобы разговаривать с ним спокойно... Подождите, я принесу вам саблю и фуражку, проще всего вам выйти через заднюю дверь прямо в парк. Я придумаю, как объяснить, почему вы не смогли остаться.

Она мигом принесла мои вещи. К счастью, слуга поспешил к автомобилю, так что я смог уйти незамеченным.

Очутившись в парке, я ускорию шаг, подгоняемый страхом, что кто-нибудь встретится и заговорит со мной. Во второй раз бежал я, точно вор, из этого рокового дома.

По своей молодости и неопытности я всегда полагал, что для сердца человеческого нет ничего мучительнее терзаний и жажды любви. Но с этого часа я начал понимать, что есть другая и, вероятно, более жестокая пытка: быть любимым против своей воли и не иметь возможности защититься от домогающейся тебя страсти. Видеть, как человек рядом с тобой сторает в огне желаний, и знать, что ты ничем не можешь ему помочь, что у тебя нет сил вырвать его из этого пламени. Тот, кто безнадежно любит, способен порой обуздать свою страсть, потому что он не только ее жертва, но и источник своего страдания; если влюбленный не может совладать со своим чувством, он по крайней мере сознает, что страдает по собственной вине. Но нет спасения тому, кого любят без взаимности, ибо над чужой страстью ты уже не властен, и когда хотят тебя самого, твоя воля становится бессильной. Пожалуй, только мужчина может в полной мере почувствовать безвыходность такого положения, только он, вынужденный противиться, чувствует себя при этом и жертвой и преступником. Потому что, если женщина обороняется от нежеланной страсти, она подсознательно повинуется инстинкту своего пола: кажется, сама природа вложила в нее этот изначальный жест отказа, и даже когда она уклоняется от самого пылкого вожделения, ее нельзя назвать бесчеловечной. Но горе, если судьба переставит чаши весов, если женщина, преодолев стыдливость, откроет сердце мужчине, если она предложит ему свою любовь, еще не будучи уверенной во взаимности, а он, предмет ее страсти, останется холодным и неприступным! Это тупик, и выхода из него нет — ибо не пойти навстречу желанию женщины означает нанести удар ее гордости, ранить ее стыдливость; мужчина, отвергая любовь женщины, неизбежно оскорбляет самые высокие чувства. Тут уже никакого значения не имеет деликатность отказа, бессмысленны все вежливые, уклончивые слова, оскорбительно предложение простой дружбы; если женщина выдала свою слабость, всякое сопротивление мужчины неминуемо превращается в жестокость; отказываясь от ее любви, он всегда становится без вины виноватым. Страшные, нерасторжимые узы! Только что

ты еще был свободен, принадлежал самому себе и никому ничем не был обязан, и вот внезапно тебя подстерегают, преследуют как добычу, ты становишься целью чужого, нежеланного желания. Потрясенный до глубины души, ты знаешь: теперь днем и ночью кто-то ждет тебя, думает о тебе, тоскует и томится по тебе, и этот кто-то — женщина. Она хочет, требует, она жаждет тебя каждой клеточкой своего существа, всем своим телом, своей кровью. Ей нужны твои руки, твои волосы, твои губы, твое тело и твои чувства, твои ночи и твои дни, все, что в тебе есть мужского, и все твои мысли и мечты. Она хочет все делить с тобой, все взять у тебя и впитать в себя. Спишь ты или бодрствуешь — где-то в мире есть теперь существо, которое беспокойно ожидает тебя, ревниво следит за тобой, мечтает о тебе. Что толку, если ты стараешься не думать о той, что всегда думает о тебе, что толку, если ты пытаешься ускользнуть, — ведь ты принадлежишь уже не себе, а ей. Чужой человек теперь, как зеркало, хранит твое отражение — нет, не так, ведь зеркало отражает твой лик только тогда, когда ты сам, по своей воле, подходишь к нему; она же, эта любящая тебя женщина, она вобрала тебя в плоть и кровь свою, ты всегда останешься в ней, куда бы ты ни скрылся. Ты теперь навечно заточен в другом человеке и никогда больше не будешь свободным, и тебя, неповинного, всегда будут к чему-то принуждать, к чему-то обязывать; ты все время чувствуешь, как эта неотступная дума о тебе жжет твое сердце. Охваченный ненавистью и страхом, ты вынужден терпеть страдания чужого человека, тоскующего по тебе; и я знаю теперь: для мужчины нет гнета более бессмысленного и неотвратимого, чем быть любимым против воли, — это пытка из пыток, хотя и вина без вины.

Мне и не снилось, что женщина может так безгранично любить меня. Не раз я слышал хвастливые рассказы товарищей о том, как та или другая «бегала» за ними; слушая эти нескромные истории о чьей-то навязчивости, я, быть может, даже смеялся вместе со всеми, ибо тогда еще и не подозревал, что любовь, в какой бы форме она ни проявлялась, пусть даже самой смешной и абсурдной, неотделима от судьбы человека, и рав-

нодушие к любви — это уже вина перед нею. Но ведь все услышанное и прочитанное скользит мимо, не оставляя следов, и только пережитое самим тобою открывает сердцу истинную природу чувства. Лишь сам испытал, как тяжело бремя безрассудной любви нелюбимой женщины, я проникся сочувствием и к тем, кто насильно хочет быть мил, и к тем, кто всеми силами защищается от немилых. Но сколь неизмеримо больше была ответственность, лежавшая на мне! Ведь если подобный отказ женщине уже сам по себе жестокость, то каким ужасным будет мое «нет», мое «я не хочу», обращенное к этому пылкому ребенку! Я оскорблю больную, глубоко раню человека, и без того уже тяжело раненного жизнью, отниму у обездоленной надежду, последнюю опору, которая еще как-то поддерживает ее. Я сознаю, какой вред, быть может, непоправимый, нанес я девушке, которую одно лишь мое сострадание потрясло до глубины души, тем, что уклонился, бежал от ее любви; я сразу же с ужасающей ясностью понял, что, сам того не желая, совершил преступление, когда, будучи не в состоянии ответить на ее любовь, не попытался хотя бы притвориться влюбленным.

Но у меня не было выбора. Еще прежде, чем рассудок осознал опасность, мое тело уже начало обороняться от внезапных объятий. Наши инстинкты всегда оказываются более мудрыми, чем наша бодрствующая мысль; в первую секунду, когда я испуганно рванулся, спасаясь от нежеланной ласки, я уже смутно предвидел все, что последует. Я знал, что чудеса не случится, что у меня никогда не хватит самоотверженности любить эту калекку так, как любит меня она, и что я, вероятно, даже не найду в себе достаточно сострадания, чтобы по крайней мере терпеливо выносить эту обезоруживающую страсть. И в тот миг, когда я отпрянул, я уже предчувствовал: здесь нет выхода, нет среднего пути. Кого-то одного из нас эта нелепая любовь сделает несчастным, а быть может, и обоих.

Не помню, как я тогда добрался до города. Знаю только, что я шел очень быстро и в мозгу моем билась лишь одна мысль: «Прочь! Прочь! Вон из этого дома, из этих сетей! Уйти, убе-

жать, исчезнуть! Никогда больше не переступать этого порога! Никогда не видеть этих людей, вообще никаких людей! Спрятаться, сделаться невидимым, никому не быть обязанным, ни во что больше не впутываться!» Помню, что мысленно я пытался пойти еще дальше: подать в отставку, раздобыть денег и уехать далеко-далеко, куда-нибудь, где эта безумная страсть не сможет меня настичь; но то были уже фантазии, а не трезвые размышления, потому что в висках у меня непрерывно стучало лишь одно: прочь, прочь, прочь!

Взглянув некоторое время спустя на запыленные сапоги и колючки репейника на брюках, я понял, что мчался напрямик через луга и поля; когда я очутился на главной улице города, солнце уже скрылось за крышами домов. Кто-то неожиданно хлопнул меня сзади по плечу, я вздрогнул, словно очнувшийся от сна лунатик.

— Эй, Тони, вот ты где! Наконец-то попался! Мы обшарили весь город и уже хотели звонить тебе в твой рыцарский замок.

Я увидел вокруг себя трех товарищей — Йожи, графа Штейнхюбеля и, конечно, Ференца, без которого никогда ничего не обходилось.

— А теперь живо! Ты только подумай, приехал Балинкаи, свалился как снег на голову, не то из Голландии, не то из Америки, в общем Бог знает откуда. Сегодня в половине девятого он устраивает вечеринку в «Красном льве» и пригласил всех офицеров и вольноопределяющихся. Придут полковник, майор, будет пир горой. Хорошо, что мы тебя поймали, старик бы разворчался, если б тебя не оказалось! Ведь ты знаешь, что Балинкаи — его слабость, и когда тот приезжает, мы должны являться, как на перекличку.

Я все еще не мог собраться с мыслями и озадаченно спросил:

— Кто приехал?

— Балинкаи, тебе говорят! Чего уставился? Ты что, не знаешь Балинкаи?

Балинкаи... Балинкаи... В моем мозгу все еще царит полнейшая сумятица; с большим трудом, словно вытаскивая из груды старого хлама, вспоминаю я это имя. Ах да, Балинкаи —

ведь он когда-то был *mauvais sujet** в нашем полку. Еще задолго до моего прибытия он служил здесь сначала лейтенантом, потом обер-лейтенантом; лучший наездник, сорвиголова, заядлый картежник и ловелас. Потом с ним произошла какая-то неприятная история, — я так и не поинтересовался, какая именно, — но что бы там ни было, он в двадцать четыре часа распрощался с мундиром и отправился на все четыре стороны; о его приключениях ходили самые невероятные слухи. В конце концов он опять выплыл на поверхность, подцепив в Каире, в отеле Шепперд, богатую вдову, голландскую миллионершу, владелицу семнадцати судов и множества плантаций на Яве и Борнео; с тех пор он стал нашим незримым покровителем.

Должно быть, полковник Бубенчич помог Балинкаи выпутаться из той неприятной истории, потому что привязанность Балинкаи к нему и к нашему полку была поистине трогательной. Всякий раз, бывая в Австрии, он специально заезжал в гарнизон и так швырял деньгами, что весь город говорил об этом еще много недель спустя после его отъезда. Для него стало своего рода внутренней потребностью хоть на один вечер надеть мундир и побыть со старыми товарищами, равным среди равных. Когда он весело и непринужденно сидел за офицерским столом, было видно, что его дом здесь, в этом грязном, прокуренном зале «Красного льва», а не во дворце на одной из амстердамских набережных; мы были и оставались для него детьми, его братьями, его настоящей семьей. Ежегодно он учреждал призы на наших скачках, на рождество неизменно прибывало два-три ящика *bols*'а всех сортов и корзина шампанского, а под Новый год полковник с абсолютной уверенностью мог предъявить в банке солидный чек и пополнить нашу офицерскую кассу. Каждый, кто носил уланский мундир и петлицы нашего полка, попав в затруднительное положение, мог рассчитывать на Балинкаи: стоило написать ему, и все улажено.

Во всякое другое время возможность встретиться с такой знаменитостью меня бы искренне обрадовала. Но сейчас одна

*Здесь: «притчей во языцех» (франц).

мысль о шумном веселье, криках, тостах и застольных речах повергла меня в трепет. И я тут же попытался ускользнуть, сославшись на нездоровье. Но Ференц, прикрикнув: «Не выйдет! Сегодня не отвертись!» — уже подхватил меня под руку, и мне пришлось покориться. Пока они тащили меня с собой, я тупо слушал Ференца, рассказывавшего о том, как и кому Балинкаи уже помог выпутаться, как он пристроил его шурина и что, может быть, наш брат быстрее сделал бы карьеру, если бы пошел служить к нему на корабль или отправился в Индию. Йожи, этот тощий, угрюмый парень, время от времени вставлял ехидные замечания.

— Вряд ли полковник принял бы своего любимчика с таким радушием, — язвил Йожи, — если бы тот не подцепил на крючок эту жирную голландскую треску. Кстати, говорят, что она на двенадцать лет старше его.

— Если уж продавать себя, так подороже, — рассмеялся в ответ граф Штейнхюбель.

Сейчас мне кажется странным, что, несмотря на мое подавленное состояние, каждое слово этого разговора запало мне в память. Впрочем, усталость часто сопровождается сильным нервным возбуждением, и когда мы пришли в большой зал «Красного льва», мне, благодаря гипнотическому действию дисциплины, удалось более или менее справиться с порученной работой. А дел было много. Притащили весь арсенал транспарантов, знамен и эмблем, которые обычно блистали лишь на полковых балах; вестовые с азартом вколачивали в стены гвозди; в соседней комнате Штейнхюбель дрессировал горниста, внушая ему, когда и как тот должен заиграть туш; Йожи, у которого был самый красивый почерк, получил задание написать меню, в котором все блюда носили шуточные названия; а на меня взвалили обязанности распорядителя. Между тем кельнеры уже сдвигали столы и стулья и расставляли звонкие батареи вина и шампанского, которые Балинкаи привез из Вены от Захера в своем автомобиле. Как ни странно, но вся эта суматоха благотворно подействовала на меня, заглушив в мозгу тупую боль нерешенных вопросов.

Наконец, к восьми часам все было готово. Оставалось лишь сбегать в казарму и привести себя в порядок. Денщика я предупредил заранее. Мундир и лаковые сапоги были наготове. Быстро окунаю голову в холодную воду, потом бросаю взгляд на часы: у меня еще есть десять минут. Надо торопиться — наш полковник чертовски пунктуален. Мигом раздеваюсь, снимаю пыльные ботинки... и как раз в тот момент, когда я в нижнем белье стою перед зеркалом, причесывая взлохмаченные волосы, раздается стук в дверь. «Меня нет дома», — приказываю Кузьме. Он проворно выскакивает в переднюю и с кем-то шепчется. Потом возвращается, держа в руке письмо.

Письмо? Мне? Я, как был в сорочке и кальсонах, беру голубой прямоугольный конверт, пухлый и тяжелый, целый пакет, и он словно обжигает мне руки: даже не глядя на почерк, я уже знаю, от кого это письмо.

«После, после! — мгновенно подсказывает инстинкт. — Не сейчас!» Но против воли пальцы сами уже вскрывают конверт, и я погружаюсь в чтение, нетерпеливо перелистывая шуршащие листки.

Это было письмо на шестнадцать страниц, исписанных стремительным, взволнованным почерком, — письмо, какое пишут только раз в жизни и только раз в жизни получают. Будто кровь из открытой раны, безудержно текли строчки, без абзацев, без точек, без запятых; слова спотыкались, догоняли, опережали друг друга. Даже теперь, спустя много лет, каждая строка и каждая буква все еще стоят у меня перед глазами, даже сейчас я мог бы наизусть повторить это письмо с начала до конца, страницу за страницей, в любое время дня и ночи — столько раз я его перечитывал. С того дня я месяцами не расставался с пачкой голубой бумаги, вновь и вновь вынимая ее из кармана, — дома, в казармах, землянках и окопах; и лишь при отступлении на Воьлини, когда наша дивизия попала в окружение, я уничтожил письмо, опасаясь, что эта исповедь любящего сердца попадет в чужие руки.

«Я написала тебе уже шесть писем, — начиналось оно, — и разорвала все до одного. Потому что я не хотела выдать себя, ни за что не хотела. И я сдерживалась, пока у меня были силы. Неделю за неделей я боролась с собой, скрывая свои чувства. Всякий раз, когда ты к нам приходил, приветливый, ничего не подозревающий, я приказывала своим рукам успокоиться, глазам — смотреть равнодушно, чтобы не растрогать тебя. Часто я даже нарочно бывала с тобой резка и насмешлива, — я все испробовала, все, что в человеческих силах и даже свыше их, лишь бы ты не догадался, как рвется к тебе мое сердце.

Но сегодня я не выдержала — это случилось, клянусь тебе, помимо моей воли, совершенно внезапно. Я сама не знаю, как это могло произойти; я готова была избить себя, так стыдно было мне потом. Ведь я понимаю, я очень хорошо понимаю, как безрассудно, как до безумия глупо с моей стороны навязываться тебе. Калека, парализованная тварь не имеет права на любовь. Да и могу ли я — разбитое, искалеченное существо — не быть в тягость тебе, когда я самой себе противна? Я сознаю, что такое существо, как я, не имеет права любить и тем более — быть любимой. Оно должно отползти в угол и подохнуть, а не отравлять другим жизнь своим никчемным существованием. Да, все это я отлично знаю. Я никогда не посмела бы потревожить тебя, но ведь ты сам вселил в меня уверенность, что мне уже недолго оставаться жалким уродом. Я смогу двигаться, смогу ходить, как все, как миллионы людей, которым и невдомек, что каждый свободно сделанный шаг — это блаженство и милость Божия. Я поклялась себе хранить молчание, пока все это не свершится, пока я не стану человеком, женщиной, как другие, и может быть... может быть! — достойной тебя, любимый. Но безумное нетерпение и неутолимая жажда поскорее выздороветь оказались сильнее меня, и в тот миг, когда ты склонился надо мной, я вдруг в самом деле поверила, искренне и глупо поверила, что я уже другая, новая, исцеленная! Я слишком долго ждала этой минуты, мечтая о ней, а теперь ты был рядом со мной, и я забыла про свои проклятые ноги, я видела только тебя и чувствовала себя такой, какой хотела

быть для тебя. Неужели ты не можешь понять, что если год за годом днем и ночью лелеешь одну-единственную мечту, то на какой-то миг она может показаться явью? Поверь мне, любимый, только то, что я вообразила, будто уже избавилась от своего увечья, и привело меня в такое смятение; я дала волю своему обезумевшему сердцу лишь потому, что больше не хватило терпения оставаться отверженной, калеккой. Пойми же, пойми — ведь я так давно, так томительно долго тоскую по тебе.

Но теперь ты знаешь то, о чем никогда бы не узнал, пока я по-настоящему не встала бы на ноги, и знаешь также, для кого я хочу выздороветь: для единственного на свете — для тебя! Только для тебя! Прости мне, бесконечно любимый, эту любовь. Умоляю тебя только об одном — не пугайся, не страшись меня! Не думай, что если я однажды оказалась навязчивой, то стану снова тревожить тебя, что жалкая и противная себе самой калека попытается удержать тебя. Нет, клянусь, я ничем не буду докучать тебе, ты даже не почувствуешь, что я существую. Только ждать хочу я, терпеливо ждать, пока Господь сжалится надо мной и исцелит меня. И прошу тебя, любимый, умоляю — не страшись моей любви! Подумай только, как я ужасающе беспомощна, прикованная к своему креслу, бесильная сделать хоть один шаг, пойти за тобой, поспешить тебе навстречу, и ты все поймешь, ты, который, как никто другой, проявил ко мне сострадание! Пойми же, пойми, что я пленница, которая осуждена терпеливо сидеть в темнице, с нетерпением ожидая, пока ты придешь и уделишь ей час, позволишь на тебя взглянуть, услышать твой голос, ощутить твоё дыхание, твоё присутствие. И это — единственное счастье, впервые дарованное мне за многие годы. Ты только представь себе — я все лежу и лежу, день и ночь, я жду тебя, и каждый час тянется так невыносимо долго, что едва хватает сил выдержать напряжение до конца. И вот приходишь ты, а я даже не могу вскочить с места, как это может сделать любая женщина, броситься к тебе навстречу и обнять тебя. Я должна сидеть неподвижно и, укрощая свои порывы, беспрестанно таиться, следить за каж-

дым своим словом, взглядом, интонацией, лишь бы ты не догадался, что я осмелилась полюбить тебя. Но, поверь мне, любимый, — даже эти мучительные минуты всегда бывали для меня счастьем, и я гордилась собой каждый раз, когда мне снова удавалось сдержаться и ты, свободный и беззаботный, уходил, ни о чем не догадываясь, ничего не зная о моей любви; и только мне одной предстояла пытка — знать, сколь безнадежна моя любовь к тебе.

Но вот это случилось. И теперь, любимый, когда мне больше нечего скрывать, когда мне уже не отречься от своего признания, теперь я умоляю тебя — не будь со мной жестоким. Ведь даже у самого обездоленного, самого несчастного существа есть своя гордость, и я не снесу, если ты станешь презирать меня за то, что я не смогла укротить свое сердце! Не ответной любви жду я от тебя — о нет! Видит Бог, который исцелит и спасет меня, об этом я и не помышляю. Даже во сне я не смею надеяться, что ты сможешь полюбить меня сейчас, такой, какая я есть; я не хочу от тебя — ты знаешь это — ни жертв, ни жалости! Я прошу только об одном: позволь мне ждать, молча ждать, пока наступит срок! Я сознаю, что даже эта просьба слишком велика. Но разве так уж много подарить человеку самую маленькую, самую ничтожную крупицу того счастья, в котором не отказывают даже собаке, — счастье изредка безмолвно взирать на своего господина? Неужели ее надо тут же ударить хлыстом и прогнать? Одного, только одного не перенесу я: если ты оттолкнешь меня — жалкое создание — за то, что я выдала себя, если мне, кроме собственного стыда и отчаяния, суждено испытать еще и твое презрение. Тогда у меня останется только один путь — ты знаешь какой. Я тебе его показала.

Нет, нет, не бойся. Это не угроза! Я вовсе не собираюсь пугать тебя, вымогать вместо любви жалость — единственное, что дарило мне твое сердце. Ты должен чувствовать себя совершенно свободным и беззаботным — видит Бог, я не хочу обременять тебя своей ношей, не хочу, чтобы ты мучился виной, в которой не повинен. Единственное, чего я хочу, — чтобы ты

простила меня и забыла все, что произошло, забыла, что я сказала, в чем я призналась. Только успокой меня, дай мне хоть маленькую, совсем крохотную надежду! Ответь мне сразу же, — я пойму с одного слова, — что я тебе не противна, что ты опять придешь к нам, будто ничего не случилось. Ты даже не представляешь себе, как я боюсь потерять тебя. С той минуты, когда за тобой захлопнулась дверь, мною овладел — сама не знаю почему — смертельный страх, что это было в последний раз. Ты тогда так побледнел, в твоих глазах мелькнул такой испуг, что я, вся охваченная жаром, вдруг содрогнулась от ледящего холода. И я знаю, слуга мне рассказывал, что ты тут же скрылся из дому, схватив фуражку и саблю; он тщетно искал тебя повсюду. Вот видишь, я знаю, что ты убежал от меня, как от чумы, как от прокаженной. Это не упреки, любимый, нет, нет, — я тебя понимаю. Ведь я сама себя пугаюсь, когда вижу колодки на своих ногах, никто, кроме меня, не знает, какой злой, капризной, грубой и несносной становлюсь я от нетерпения. Я сама лучше, чем кто-либо другой, понимаю, почему меня избегают — о, как я это понимаю! — почему отшатываются в ужасе, когда наталкиваются на такое чудовище, как я! И все же я умоляю: прости меня! Без тебя нет мне покоя ни днем, ни ночью, — одно лишь отчаяние. Всего несколько слов жду я от тебя, пришли мне маленькую записку или просто чистый листок бумаги, цветок — все равно что, — только дай какой-либо знак! Что-нибудь, чтобы я знала, что ты меня не отвергаешь, что я тебе не противна. Подумай, ведь через несколько дней я уеду, и твоя пытка кончится. И если моя пытка — не видеть тебя неделями, месяцами — будет потом во сто крат сильнее, ты не думай об этом, думай только о себе самом, как я всегда думаю о тебе, только о тебе!

Через неделю ты будешь свободен, так приходи же еще хоть один раз. А сейчас не медли, дай о себе знать, хоть одним словом. Я не смогу думать, не смогу дышать, пока не увижу, что ты простила меня. Я не могу, я не хочу больше жить, если ты откажешь мне в праве любить тебя».

Мои руки дрожали, в висках стучало все сильнее и сильнее.

Снова и снова перечитывал я письмо, до ужаса потрясенный тем, что меня любят с такой безнадежностью.

— Хорошенькое дело! Он тут прохлаждается в подштанниках, а мы ждем его, как дураки! Ребята уже давно собрались, и Балинкаи тоже, всем не терпится поскорее начать. Вот-вот должен прийти полковник — ты же знаешь, как он беснуется, когда кто-нибудь опаздывает. «Слетай-ка, — говорит мне Фердль, — взгляни, что там такое стряслось», — и вот тебе на, он даже не одет и почитывает любовные записочки! Ну-ка пошевеливайся, да живо, не то нам обоим намылят шею!

Это Ференц. Я и не заметил, как он ввалился в комнату. Но тут его здоровенная лапа хлопнула меня по плечу. Сначала я ничего не понимаю. Полковник? За мной? Балинкаи? Ах, вот оно что, вспоминаю я наконец: торжественный банкет в честь Балинкаи! Я поспешно хватаю мундир и заученными еще в кадетском училище движениями машинально натягиваю его на себя, думая в это время о другом. Ференц пристально глядит на меня.

— Что с тобой? Ты вроде малость не в себе. Или получил из дому плохие вести?

Я мотаю головой.

— Нет, ничего особенного. Пошли!

В три прыжка мы оказываемся у лестницы. И вдруг я бросаюсь обратно в комнату.

— Черт подери, что ты там потерял? — свирепо рычит Ференц. Я беру забытое на столе письмо и сую его в карман мундира. Мы приходим действительно в последний момент. За большим столом, формой напоминающим подкову, уже собралась вся компания, но никто не осмеливается дать волю веселью, пока старшие по званию не займут свои места; точь-в-точь как школьники, когда звонок уже прозвучал, а учителя еще нет, но он войдет с минуты на минуту.

Наконец ординарцы распахивают двери, и в зале, позвякивая шпорами, появляются штабные офицеры. Мы, как один, вскакиваем с мест и вытягиваемся по стойке «смирно». Полков-

ник усаживается справа, старший по должности майор — слева от Балинкаи, и за столом сразу же наступает оживление, гремят тарелки, звенят ложки, все болтают и потягивают вино. Один только я как посторонний сижу среди развеселившихся товарищей, то и дело прикладывая руку к груди, где под мундиром что-то колотится и стучит, словно второе сердце. Каждый раз, когда я прошупываю под мягким сукном письмо, мне чудится легкое потрескивание, будто раздувают костер. Да, письмо здесь, на груди, оно движется, оно шевелится, как живое, и пусть другие пьют, едят и болтают в свое удовольствие, я не могу думать ни о чем, кроме этого письма и человека, писавшего его в безысходном отчаянии.

Напрасны старания кельнера услужить мне. Я ни к чему не притрагиваюсь, я ушел в себя, я сплю наяву. Слева и справа слышатся неясные голоса, но я не различаю слов, как будто говорят на чужом языке. Перед собой, рядом с собой я вижу лица, усы, глаза, носы, губы, мундиры, но так смутно, словно смотрю через стекло витрины на выставленный в магазине товар. Я здесь и в то же время далеко отсюда, оцепеневший, но не застывший; мои губы снова и снова беззвучно повторяют отдельные фразы письма, а иногда, когда память изменяет мне, рука судорожно тянется к карману, как в годы учения, когда на уроках тактики мы тайком доставали из-за пазухи шпиргалки.

Но вот раздается энергичное постукивание ножа по рюмке; будто перерезанный острой сталью, шум разом смолкает, наступает тишина. Полковник встает и начинает говорить. Он крепко держится обеими руками за край стола, а его приземистая фигура покачивается, словно он сидит в седле. «Друзья!» — провозглашает полковник резким, скрипучим голосом: отчетливо произнося каждый слог и четко выговаривая раскатистое «р», он приступает к своей хорошо подготовленной речи. Я напряженно вслушиваюсь, однако голова отказывается повиноваться мне. Лишь отдельные грохочущие, громыхающие слова доносятся до меня: «Честь армии... дух австрийского воинства... Верность полку... старрый сорратник...» — но

сквозь них еле слышным шепотом, призрачно-нереальным, точно из иного мира, прорываются другие, тихие, молящие, нежные: «Бесконечно любимый... не бойся... я не смогу жить, если ты отнимешь у меня право любить тебя»; и опять это раскатистое «р»: «... на чужбине он не забыл своих товарищей... свое отечество... свою Австрию...» — и снова тот, другой голос, как рыдание, как сдавленный крик: «Лишь позволь мне любить тебя... Умоляю, дай мне знак...»

Вот уже гремит троекратным залпом «ура». Все вскакивают и вытягиваются в струнку, будто рука полковника, поднявшего бокал, сорвала их с места; раздается заздравный туш, его по команде протрубил горнист в соседней комнате. Все чокаются и провозглашают тосты в честь Балинкаи, а он, выждав, пока иссякнет обрушившийся на него поток приветствий, легко и свободно, в юмористическом тоне произносит ответное слово. Нет, он не будет многоречивым, он скажет всего лишь несколько слов, самых простых. Что бы там ни было, а ему никогда и нигде не бывает так хорошо, как среди старых товарищей. «Да здравствует полк! Да здравствует его величество кайзер, наш всемилостивейший государь!» — заканчивает он здравицей свою речь. Штейнхюбель опять подает знак горнисту, снова звучит туш, и все хором затягивают государственный гимн, а затем неизбежную в таких случаях песню всех австрийских полков, в которой каждая часть гордо величает себя:

Мы храбрые уланы
Н-ского полка.

Тут Балинкаи с бокалом в руке обходит стол, чтобы чокнуться с каждым в отдельности. Сосед по столу больно толкает меня в бок, и я неожиданно встречаю светлый взгляд дружелюбных глаз: «Привет, товарищ!» Я растерянно киваю в ответ, Балинкаи подходит к соседу, и лишь тогда я соображаю, что забыл чокнуться с ним. Но уже опять все расплывается в тумане, то тут, то там мелькают лица и мундиры. Черт возьми, откуда вдруг этот сизый дым перед глазами? Или уже закуривают? Не оттого ли мне так душно и жарко? Выпить, поскорее выпить! Опрокидываю рюмку, вторую, третью, не зная, что же

я пью. Лишь бы избавиться от горького привкуса во рту! И немедленно закурить! Но едва я лезу в карман за портсигаром, как мне снова чудится какой-то хрустящий звук: письмо! Я невольно отдергиваю руку и опять сквозь невообразимый галдеж слышу плачущие, молящие слова: «Лишь позволь мне любить тебя... Конечно, я понимаю, какой безумие — навязываться тебе...»

Но вот снова раздается постукивание вилкой по бокалу, призывающее к тишине. На этот раз просит внимания майор Вондрачек. У него поэтический «дар», и он не упустит случая отвести душу в юмористических виршах или разбитных куплетах. Всем известно, что стоит только Вондрачеку подняться, привалиться к столу респектабельным брюшком, подмигнуть — и «увеселительную часть» вечера можно считать открытой.

Итак, он уже стал в позу, нацепил на нос пенсне и, торжественно развернув большой лист бумаги, приготовился читать. Это стишки на случай, которыми Вондрачек непременно старается украсить наши вечеринки; на сей раз он задумал порадовать нас жизнеописанием Балинкаи, густо сдобренным «забористыми» шутками. То ли из подобострастия, то ли спьяну кое-кто из офицеров сопровождает веселым смехом каждый игривый намек; но вот наконец-то действительно удачная острота, не в бровь, а в глаз; и по всему залу бурно прокатывается: «Браво! Браво!»

А меня охватывает ужас. Словно когтистая лапа, этот грубый смех сжимает мне сердце. Как можно смеяться, если в эту минуту кто-то стонет, кто-то безмерно страдает? Как можно смаковать сальные шуточки, если в эту минуту кто-то гибнет? Сейчас Вондрачек кончит свою галиматью, и тогда — мне это доподлинно известно — все загалдят, задвигаются, начнется безудержный кутеж. Будут непременно петь модную песенку «Трактирщица на привязи», будут рассказывать анекдоты и смеяться, смеяться, смеяться. Мне вдруг становятся противны эти добродушно сияющие лица. Разве она не просила послать ей хотя бы записку, черкнуть хотя бы одно-единственное слово? Быть может, пойти к телефону и позвонить? В конце кон-

цов нельзя же заставлять человека столько ждать! Ты должен что-то сказать ей, должен...

«Браво! Брависсимо!» Гром аплодисментов, шум отодвигаемых стульев, сорок или пятьдесят развеселившихся, подвыпивших мужчин разом вскакивают с мест, паркет трещит у них под ногами, пыль вздымается к потолку. Майор так и пыжится от гордости. Он снимает пенсне, складывает свою писульку, снисходительно кивая обступившим его офицерам. Я же, пользуясь всеобщей сумятицей, убегаю не простившись. Быть может, никто не заметит моего ухода. А если даже и заметят, все равно я уже не в силах все это выносить — этот смех, это самодовольное, словно похлопывающее себя по животу веселье. Я больше не могу, не могу!

«Господин лейтенант уже уходит?» — изумленно спрашивает меня ординарец в гардеробе. «Чтоб тебя черт побрал!» — бормочу я, проходя мимо. Бегом через улицу, за угол, вверх по лестнице: остаться наедине с собой, совсем одному!

Коридоры пусты, где-то ходит взад-вперед часовой, урчит водопроводный кран, падает сапог, в помещении для солдат, как положено, уже погашен свет, но оттуда доносятся какие-то мягкие, незнакомые мне звуки. Я невольно прислушиваюсь: несколько гуцульских парней напевают вполголоса печальную песню. Перед сном, сбросив с себя столь чуждый им пестрый мундир с медными пуговицами и снова став людьми, которые когда-то спали дома, на соломе, они всегда вспоминают о родине, о полях, быть может, о девушке, которую любили, — и поют, чтобы забыть, как далеко они от родного дома. Никогда прежде я не прислушивался к их пению — ведь я не знаю их языка, — но на этот раз чужая печаль, сродни моей собственной, волнует меня. Эх, подсесть бы к такому вот деревенскому парню! Заговорить с ним, но он ничего не поймет. А кто знает, может быть, он, с его добрыми доверчивыми глазами, понял бы меня куда лучше тех, кто веселится сейчас за столом. Хоть бы нашелся кто-нибудь, кто бы помог...

На цыпочках, чтобы не разбудить Кузьму, — он храпит что есть мочи в передней, — я прохожу в комнату и в темноте

срываю с себя шапку, саблю и галстук, он давно уже душит меня. Потом зажигаю лампу и подхожу к столу, чтобы наконец-то спокойно прочесть письмо, первое в моей жизни письмо от женщины, которое меня, молодого, неуверенного в себе человека, потрясло до глубины души.

Но что это? Я испуганно вздрагиваю. На столе, в кругу света от лампы — уж не обманывает ли меня зрение? — то самое письмо, которое, — я был в этом уверен всего лишь минуту назад, — спрятано у меня в кармане. Да, это оно, синий четырехугольный конверт, хорошо знакомый почерк.

На мгновение все плывет у меня перед глазами. Уж не пьян ли я? Не вижу ли сон наяву? В своем ли я уме? Ведь только что, распахивая мундир, я слышал, как оно шуршит у меня в кармане. Неужто я настолько потерял голову, что положил его на стол и тут же забыл? Я сую руку в карман. Нет — да иначе и быть не могло, — вот оно, лежит себе преспокойно в кармане. И тут только я понимаю, в чем дело. Письмо на столе — да это же другое, второе, новое, пришедшее позже, и добрый Кузьма заботливо положил конверт возле наполненной фляги, чтобы я сразу же увидел его, вернувшись домой.

Еще одно письмо! Два письма за два часа! От злости и гнева у меня перехватывает дыхание. Теперь так и пойдет изо дня в день, из ночи в ночь, письмо за письмом, одно за другим. Ответишь ей — она снова напишет, не ответишь — потребует ответа. Теперь она каждый день станет от меня чего-нибудь требовать, каждый день! Она будет присылать ко мне слуг и звонить мне, будет следить за каждым моим шагом, будет допытываться, когда я выхожу и когда возвращаюсь, с кем я встречаюсь, чем занимаюсь, что говорю. Ясное дело, я конечный человек, они теперь меня не отпустят — этот джинн-старик и она, калека! Никогда больше не быть мне свободным, эти жаждущие, эти отчаявшиеся не отстанут от меня до тех пор, пока кто-либо из нас, я или она, не погибнет из-за ее безумной, злосчастной страсти.

Не читать, говорю я себе. Во всяком случае, не сегодня. И вообще положить этому конец. Ты недостаточно стоек, чтобы

выдержать все это, тебе не устоять. Лучше всего просто-напросто уничтожить письмо или отослать обратно нераспечатанным. Вообще не думать, изгнать из сознания и из совести мысль о том, что кто-то, совершенно чужой, любит тебя! Да пошли они все к черту, эти Кекешфальвы! Я их не знал и знать не хочу! Но тут же меня охватывает ужас: а вдруг она, раз я ей не ответил, что-нибудь сделала с собой! Вдруг она что-нибудь сделает с собой! Нельзя же не ответить вконец отчаявшемуся человеку! Не разбудить ли в самом деле Кузьму, не послать ли ей записку — несколько слов, успокаивающих, обнадеживающих? Только не брать на себя никакой вины! Только никакой вины! Я вскрываю конверт. Слава Богу, на этот раз короткое письмо. Одна-единственная страница, всего десять строк, даже без обращения:

«Немедленно уничтожьте мое предыдущее письмо!

Я сошла с ума, совершенно сошла с ума. Все, что я написала, — неправда. И не приходите к нам завтра! Ни в коем случае не приходите! Я должна наказать себя за то, что так жалко унизилась перед вами. Нет, только не завтра, я не хочу, я запрещаю! И никакого ответа! Никакого! Уничтожьте мое предыдущее письмо, забудьте его! Не думайте больше об этом».

Не думать об этом... Наивный приказ, как будто можно держать в узде вздыбленные чувства! Не думать об этом... — а мысли так и мечутся в узком пространстве между висками, как лошади, которые понесли с испугу и бьют копытами землю. Не думать об этом... — а память лихорадочно нагромождает воспоминание на воспоминание, нервы напряжены до предела, обостренные чувства готовы к отпору! Не думать об этом... — а письмо жжет руку своими пылающими словами, два письма, первое и второе, их берешь и откладываешь, читаешь и перечитываешь, пока каждое слово не выжигается в мозгу, как клеймо! Не думать об этом... — а в голове только одна мысль: куда бежать, где спрятаться? Как устоять против отчаянного натиска, как спастись от непрошенной любви?

«Не думать об этом», — твердишь ты себе и гасишь свет, ибо

при свете мысли становятся слишком ясными. Ты хочешь укрыться, спрятаться в темноте, ты срываешь с себя одежду, чтобы легче дышалось, и бросаешься на постель, чтобы оглушить себя сном. Но мысли не желают уgomониться, они мечутся, словно призрачные тени летучих мышей, тревожа истомленные чувства, они вгрызаются прожорливыми крысами в свинцовую усталость. И чем неподвижнее лежишь во мраке, тем быстрее сменяют одна другую волнующие картины; я встаю и снова зажигаю лампу, чтобы отогнать видения, но первое, что свет враждебно выхватывает из темноты, это прямоугольник письма, затем китель, весь в пятнах, висящий на спинке стула. Все предостерегает тебя, все напоминает. «Не думать об этом», — твердишь ты себе, но ничего не можешь поделаться с собой. И вот ты, как слепой, тычешься по комнате, открываешь буфет и перерываешь все полки, одну за другой, пока не находишь маленькую склянку со снотворным и не валишься снова на постель. Однако и это не приносит спасения. Даже во сне, прогрызая черную пелену забвения, неугомонными крысами копошатся мысли — один и те же, все время одни и те же, — и ты просыпаешься утром опустошенный и измученный, словно вампиры за ночь высосали из тебя всю кровь.

После этого даже служба кажется избавлением, — это тоже плен, но насколько он легче, насколько он лучше. Какое счастье — вскочить на коня и пуститься рысью вместе с другими, весь внимание и подтянутость! Тут приказывают и повинуются! На три, быть может, на четыре часа можно позабыть обо всем, уйти от самого себя.

Поначалу все идет хорошо. Сегодня, слава Богу, у нас горячий денек, учения перед маневрами, репетиция заключительного марша, когда эскадроны развернутым строем проходят мимо командира, строго держа равнение. Репетиция перед парадом — чертовски хлопотливое занятие, иной раз приходится десять, двадцать раз начинать все сначала, не упускать из виду ни одного улана, а это требует от офицера такого напряженного внимания, что ты, поглощенный делом, забываешь обо всем остальном. И слава Богу!

Но вот, когда наступает десятиминутный перерыв — надо дать лошадям передохнуть, — мой взгляд бездумно скользит по горизонту. Вдали синеют луга с копнами и косарями, кругом, куда ни кинешь взгляд, гладкая равнина, плавно сливающаяся с небом, и только за опушкой торчит похожий на зубочистку, причудливый силуэт башни. Да ведь это же (я испуганно вздрагиваю), это же *ее* башня с террасой, — и мною вновь овладевают те же мысли, помимо воли я опять смотрю в ту сторону и вспоминаю: сейчас восемь часов, она давно проснулась и думает обо мне. Быть может, к ее постели подошел отец и они говорят обо мне, или она не дает покоя Илоне и слугам, без конца спрашивая, нет ли ей долгожданной весточки (все-таки я должен был написать ей), или, быть может, она уже поднялась на башню и сейчас, вцепившись в перила, глядит сюда, точно так же как я, не отводя глаз, смотрю туда. И едва я успеваю подумать, что кто-то тоскует обо мне, как уже чувствую хорошо знакомое, жаркое биение в груди, — я знаю, это неумолимые когти жалости; и хотя в этот миг все опять приходит в движение, со всех сторон несутся слова команды и взводы то галопом, то карьером мчатся вперед, а сам я, в невообразимой суতোлке, тоже выкрикиваю: «Напра-во!», «На-лево!» — мысли мои уже далеко: в глубине души я думаю только об одном, о чем не хочу и не должен думать.

«Проклятие! Что за свинство? Отставить. Назад, болваны!» Это полковник Бубенчик с побагровевшим от злости лицом скачет к нам, ругаясь на весь плац. И он не так уж не прав, наш полковник. По-видимому, кто-то неправильно подал команду, ибо два взвода — один из них мой, — которым полагалось разворачиваться параллельно, на полном карьере наскочили друг на друга и смешали ряды. Некоторые лошади с испугу понесли, другие встали на дыбы, один улан попал под копыта, и над всем этим яростная брань, лязг, звон, ржанье, топот — настоящий бой, да и только. Но вот офицеры, чертыхаясь, кое-как растаскивают шумную свалку, эскадроны выстраиваются и по сигналу горниста смыкают ряды. Воцаряется грозная

тишина; всем понятно, что теперь придется держать ответ. Взмывленные кони, еще не успокоившись после столкновения и, быть может, чувствуя скрытую нервозность всадников, переступают, дрожа, с ноги на ногу, длинная линия киверов чуть колеблется, как телеграфный провод на ветру. И вот в эту тревожную тишину въезжает полковник. Уже по тому, как он, привстав на стремянах, раздраженно постукивает хлыстом по сапогу, мы чувствуем, что сейчас разразится гроза. Еле заметное движение поводьев, и его лошадь останавливается. Затем над всем плацем раздается отрывистое, как удар топора: «Лейтенант Гофмиллер!»

И только тут до моего сознания доходит то, что произошло. Без всякого сомнения, это я подал неправильную команду. Должно быть, я отвлекся, поглощенный этой несчастной историей, и забыл, где нахожусь. Во всем виноват я один, и мне одному придется отвечать. Взяв коня в шенкеля, я рысью проезжаю мимо товарищей, которые стараются не глядеть на меня, и направляюсь к полковнику, неподвижно ожидающему шагах в тридцати перед строем. На предусмотренной уставом дистанции я останавливаюсь. За спиной сразу все стихает — не слышно ни скрипа, ни лязга. Воцаряется та безысходная, поистине могильная тишина, какая наступает в последнюю минуту перед расстрелом, когда вот-вот прозвучит команда: «Огонь!» Все, вплоть до последнего улана, понимают, что меня ждет.

Не хочется даже вспоминать о том, что последовало. Хотя полковник старается понизить свой резкий, скрипучий голос, чтобы рядовые не слышали отборнейших ругательств, которыми он меня осыпает, все же некоторые смачные выражения вроде «болван» или «командуешь, как осел», вырвавшись из его глотки, разносятся по замершему плацу. А его побагровевшее лицо и удары хлыста по голенищу, сопровождающие каждую фразу, ни у кого не оставляют сомнения в том, что меня разделяют под орех; я чувствую, как сотни любопытных, а быть может, и насмешливых глаз впиваются мне в спину, пока разгневанный служака изливает потоки ругани на мою голову.

Уже много месяцев в полку не бывало такой грозы, какая разразилась надо мной в тот июньский день под сияющим голубым небом, где беззаботно сновали ласточки.

Мои руки, сжимающие поводья, дрожат от злости и нетерпения. Охотнее всего я бы сейчас хлестнул коня и галопом умчался куда-нибудь. Но, согласно уставу, я должен, не шелохнувшись и не моргнув глазом, выслушать Бубенчича до конца, включая его последнюю тираду: он не потерпит, чтобы какой-то растяпа портил ему всю игру. Завтра разговор будет продолжен, а сегодня он больше не желает видеть моей физиономии. Затем, вместе с заключительным ударом хлыста по сапогу, раздается презрительное «кругом!» — жесткое и резкое, как пинок.

Я почтительно вскидываю руку к козырьку и поворачиваю коня; никто из товарищей не решается взглянуть мне в лицо, все смущенно прячут глаза, наклонив головы. Всем стыдно за меня или по крайней мере мне так кажется. К счастью, раздается новая команда, и на этом кончаются мои мытарства. По сигналу трубы полк рассыпается повзводно, и учения начинаются сначала. Этот момент использует Ференц (почему всегда так бывает, что чем человек глупее, тем он доброжелательнее?). Как бы случайно поравнявшись со мной, он бурчит:

— Не беда, Тони! С каждым может случиться.

Но доброму малому не повезло.

— Не твоя забота! — грубо обрываю я его и тут же прищипываю коня. В эту секунду я впервые на самом себе почувствовал, как можно нечаянно ранить состраданием. Впервые и слишком поздно.

«К черту! Все к черту! — думаю я, возвращаясь обратно в город. — Прочь, прочь отсюда, куда-нибудь, где тебя никто не знает, где ты будешь свободен от всего и всех! Прочь, уйти, убежать! Никого не видеть, чтобы никто не боготворил и никто не унижал тебя! Прочь, прочь, прочь!» — бессознательно повторяю я под стук копыт. В казарме, бросив поводья улану, я

тотчас уйду со двора. В офицерское казино я сегодня не пойду, чтобы не слышать ни насмешек, ни соболезнований.

Но куда идти? У меня нет ни плана, ни цели; в моих обоих мирах — в усадьбе и казарме — жизнь стала невыносимой. «Прочь, только прочь! — непрерывно стучит в висках. — Куда-нибудь, все равно куда, главное — вон из этой проклятой казармы, из этого города! Поскорее пройти эту опротивевшую главную улицу, а дальше — куда глаза глядят!» Неожиданно рядом раздается чей-то приветливый голос: «Servus!»* Я невольно оборачиваюсь. Кто же это так тепло приветствует меня? Высокий мужчина в штатском — бриджи, серая спортивная куртка, шотландская шапочка. Не узнаю, не помню, чтобы встречался с ним прежде. Незнакомец стоит около автомобиля, в котором копаются два механика в синих блузах. Явно не замечая моего замешательства, он подходит ко мне. Это Балинкай, ну, конечно, он, ведь я видел его только в форме.

— Опять у нее запор, — смеясь, говорит Балинкай, показывая на машину, — и так всякий раз. Я думаю, пройдет еще лет двадцать, пока на эти тарактелки можно будет положиться. С четырехкопытным мотором куда проще, в нем наш брат по крайней мере кое-что смыслит.

Я невольно проникаюсь симпатией к этому незнакомому человеку. У него такая уверенность в каждом движении, а к тому же еще и теплый, ясный взгляд, какой бывает у легкомысленных баловней судьбы. И едва я услышал его неожиданное приветствие, как меня осенило: вот кому ты можешь довериться! В течение одной секунды к этой мысли присоединилась целая цепочка других, — в такие напряженные мгновения мозг работает с поразительной быстротой. Он вольный человек, рассуждал я, сам себе господин, сам пережил что-то в этом роде, он помог шурина Ференца, он охотно помогает любому, почему бы ему не помочь и мне? Не успел я перевести дух, как весь этот сверкающий каскад молниеносных размышлений вылил-

*Здравствуй! (австр.)

ся в окончательное решение. Собравшись с мужеством, я делаю шаг навстречу Балинкаи.

— Извини меня, — начинаю я, сам удивляясь своему непри-
нужденному тому, — ты не смог бы уделить мне минут пять?

Он озадаченно смотрит на меня, потом широко улыбается.

— С удовольствием, дорогой Гоф... Гоф...

— Гофмиллер, — подсказываю я.

— Весь к твоим услугам. Не хватало еще, чтобы у меня не
нашлось времени для товарища. Пойдем в ресторан или лучше
поднимемся ко мне в номер?

— Лучше к тебе, если ничего не имеешь против. Больше
пяти минут я тебя не задержу.

— Да сколько угодно, старина. Все равно драндулет не по-
чинят раньше чем через полчаса. Только у меня не очень
уютно. Хозяин всякий раз предлагает мне шикарный номер на
первом этаже, но я из сентиментальности всегда беру свой
старый, где я когда-то... впрочем, не будем об этом.

Мы поднимаемся наверх. В самом деле, для такого богача
комнатка чересчур скромна. Ни шкафа, ни кресла, только кро-
вать и два жалких соломенных стула. Вынув золотой порт-
сигар, Балинкаи предлагает мне сигарету и, к моему величай-
шему облегчению, прямо приступает к делу:

— Итак, дорогой Гофмиллер, чем могу служить?

«Только покороче», — думаю я про себя и говорю без оби-
няков:

— Мне нужен твой совет, Балинкаи. Я хочу уволиться и
уехать из Австрии. У тебя не найдется для меня чего-нибудь
подходящего?

Лицо Балинкаи становится серьезным и сосредоточенным.
Он отбрасывает сигарету.

— Чепуха! Такой парень, как ты, и вдруг!.. Что это тебе
взбрело в голову?

Но мною внезапно овладевает упрямство. Я чувствую, как
решение, над которым я десять минут назад и не задумывался,
становится бесповоротным.

— Дорогой Балинкаи, — говорю я не допускающим возра-

жений тоном, — сделай одолжение, не расспрашивай меня. Каждый знает, чего он хочет и что он должен. Со стороны этого никому не понять. Поверь, мне необходимо сейчас подвести черту.

Балинка и испытующе смотрит на меня. Видимо, он понял, что мне не до шуток.

— Не хочу вмешиваться в твои дела, Гофмиллер, но, поверь мне, ты делаешь глупость. Ты не знаешь, на что идешь. Ведь тебе сейчас двадцать пять — двадцать шесть, недолго и до обер-лейтенанта, а это уже кое-что. Здесь у тебя есть чин и ты что-то собой представляешь. Но как только ты захочешь начать все сначала, последний прохвост, самый паршивый лавочник будет иметь перед тобой преимущество уже потому, что он не таскает за собой, как ранец на спине, наши нелепые предрассудки. Поверь мне, когда наш брат снимает мундир, он уже не тот, кем был раньше, и я прошу тебя только об одном: не очень-то надейся, что тебе повезет так же, как когда-то повезло мне. Это был счастливый случай, такой выпадает один на тысячу. Даже подумать страшно, что стало с тем, к кому Господь не был так милостив, как ко мне.

Его решительный тон звучит убедительно. Но я чувствую, что уступать нельзя.

— Я понимаю, что впереди наклонная дорожка, — соглашаюсь я. — Но я вынужден уехать, у меня нет выбора. Пожалуй-ста, не отговаривай меня. Ничего особенного я собой не представляю и ничему особенному не учился, но если ты дашь мне рекомендацию, можешь быть уверен, я не подведу тебя. Знаю, я не первый, кто к тебе обращается, ведь ты устроил шурина Ференца?

— Йонаша? — Балинка и презрительно щелкает пальцами. — Но ты подумай, кем он был. Мелким провинциальным чиновником. Такому помочь легко. Пересади его с одной табуретки на другую, немного получше, и он уже возомнит себя чуть ли не Господом Богом! Не все ли ему равно, где протирать штаны — ни на что большее он не способен. Но вот найти что-нибудь подходящее для того, кто однажды носил звездочку на ворот-

нике, это уже совсем другое дело. Увы, дорогой Гофмиллер, верхние этажи всегда оказываются занятыми. Кто хочет начинать на гражданке сначала, должен устраиваться внизу, и даже в подвале, где пахнет не розами, а кое-чем похуже.

— Мне все равно!

Должно быть, я произнес это запальчиво, потому что Балинкаи посмотрел на меня сперва с любопытством, а потом как-то отчужденно, словно издалека. Придвинув свой стул поближе, он положил руку мне на плечо.

— Послушай, Гофмиллер, я тебе не опекун и не собираюсь читать наставлений. Но поверь товарищу, который испытал все это на собственной шкуре. Нет, дорогой, совсем не все равно, когда ты со всего маху летишь вниз, с офицерского седла, в самую грязь... можешь поверить человеку, который однажды сидел вот здесь, в этой убогой комнатушке, с полудня до темноты и точно так же говорил себе: «Мне все равно». Около половины двенадцатого я подал полковнику рапорт об увольнении. Идти в офицерское казино, туда, где все, мне не хотелось, и показываться среди бела дня на улице в гражданском — тоже. И вот я снял этот номер, — теперь ты понимаешь, почему я всякий раз останавливаюсь именно в нем, — и ждал тут, пока стемнеет, чтобы никто не провожал соболезнующим взглядом Балинкаи, улепетывающего в поношенном сером пиджаке и старом котелке. Вот тут, у окна, я стоял тогда и в последний раз смотрел на улицу. Там прогуливались мои товарищи, все в форме, стройные, честные, свободные, каждый словно маленький Бог, и каждый знал, кто он такой и где его место. Только тогда я понял, что теперь я ничто в этом мире; у меня было такое чувство, будто вместе с мундиром я содрал с себя кожу. Сейчас ты, конечно, думаешь: наплевать, какое на тебе сукно — голубое, черное или серое, и какая разница, гуляешь ли ты с саблей или с зонтиком. Но я до сих пор не могу забыть, как я тогда вечером выскользнул из гостиницы и встретил по дороге на вокзал двух уланов, а они, не козырнув, прошли мимо меня; и как я потом сам втащил свой чемоданчик в вагон третьего класса и сидел там среди потных крестьянок и рабочих. Я,

конечно, понимаю, все это глупо и несправедливо, наша так называемая сословная честь выеденного яйца не стоит, но ведь после четырех лет военного училища и восьми лет службы этого уже не вытравишь, это у нас в крови. Знаешь, на первых порах у тебя такое чувство, словно ты безногий калека или урод. Сохрани тебя Бог от такой беды! Ни за какие сокровища я не согласился бы снова пережить тот вечер, когда пробирался на вокзал, обходя каждый фонарь. А ведь это было только начало.

— Но, Балинкаи, именно потому я и хочу уехать куда-нибудь подальше, где ничего этого нет и где меня никто не знает.

— Вот-вот, точно так же и я тогда думал, Гофмиллер! Только бы уехать подальше, а там все быльем порастет! Лучше чистить ботинки или мыть посуду за океаном, как начинали все миллионеры, если верить газетам! Но, мой милый, чтобы добраться до Америки, нужны немалые деньги, а ведь ты еще не представляешь себе, каково нашему брату бить поклоны! Как только офицер перестает чувствовать вокруг шеи воротник со звездочками, он уже и ходит и разговаривает не так, как раньше. Сидишь, смущаясь, как дурак, в кругу своих лучших друзей, и как раз в ту минуту, когда нужно о чем-то попросить, гордость не дает тебе открыть рот. Да, старина, лучше не вспоминать позор и унижения, которые мне тогда пришлось пережить. О них я еще никому не рассказывал.

Балинкаи встал и резко повел плечами, словно куртка вдруг стала ему тесна.

— Впрочем, тебе я могу рассказать все. Теперь я уже не стыжусь этого, да и не мешает охладить твой романтический пыл, пока еще не поздно.

Он снова сел.

— Надо полагать, ты уже слышал историю, как я поймал золотую рыбку, познакомился в отеле Шепперд с моей женой. Я знаю, об этом раструбили по всей армии и, видимо, больше всех жалеют, что такое событие не вошло в хрестоматию, что о нем не напечатано как о подвиге офицера его императорского величества. Разумеется, героического здесь ничего не было;

верно лишь то, что я действительно познакомился с ней в отеле Шепперд. Но как я с ней познакомился, знаем только мы двое, — ни она, ни я никогда об этом никому не говорили. И тебе я расскажу только затем, чтобы ты понял, — нашему брату нечего ждать, что на него посыплется манна небесная. Короче говоря, когда я встретил ее в отеле Шепперд, я служил там — только не пугайся! — официантом; да, да, мой дорогой, самым обыкновенным номерным официантешкой. Конечно, я стал им не потому, что мне это доставляло удовольствие, а просто по глупости, по своей неопытности. В Вене, в убогом пансионе, где я ютился, жил один египтянин, и этот парень наболтал мне, будто его свояк — директор королевского поло-клуба в Каире, и он может устроить меня туда тренером за двести крон комиссионных. Там, видите ли, много значат имя и хорошие манеры. Ну, в поло я всегда играл хорошо, а жалованье, которое он мне назвал, было отменным, — за три года я смог бы сколотить достаточную сумму, чтобы заняться чем-нибудь более подходящим. Кроме того, Каир отсюда далеко, а в поло играют люди порядочные. И я с восторгом согласился. Не стану утомлять тебя рассказом о том, как я обивал пороги и выслушивал смущенные отговорки так называемых старых друзей; в конце концов я наскреб пару сотен на переезд и экипировку — ведь в аристократическом клубе без фрака и костюма для верховой езды не обойдешься. И хотя я взял билет на палубу, денег едва хватило, в Каире я сошел с семью пиастрами в кармане. Когда же я позвонил у дверей королевского клуба, то вышел какой-то негр и, выпучив на меня глаза, заявил, что никакого господина Эфдопулоса он не знает и ни о каком свояке он не слышал; тренер им не нужен, и вообще их клуб закрывается. Ты уже, конечно, догадался, что этот египтянин был просто-напросто мошенником, который обманом выудил у меня двести крон, а я не удосужился взглянуть на письма и телеграммы, якобы полученные им от свояка. Да, дорогой Гофмиллер, против таких каналов мы бессильны, а ведь я уже не раз попадал впро�ак, когда подыскивал место. Но это был настоящий нокаут. Я стоял на улице Каира с семью пиастрами в кармане, не зная ни

одной собаки в городе, а там не только жара, но и дороговизна. Избавлю тебя от подробностей — где я жил и что ел первые шесть дней. Видишь ли, будь на моем месте кто-нибудь другой, уж он, конечно, потащился бы в консульство и кланчил, чтобы его отправили на родину. Но тут-то и загвоздка — наш брат не способен на такое. Он не может сидеть в передней на скамье вместе с портовыми рабочими и уволенными кухарками, не может выносить взгляда, которым его окидывает какая-нибудь канцелярская крыса в консульстве, прочтя в паспорте по слогам: «барон Балинкаи». Наш брат лучше подойдет с голоду. Теперь можешь вообразить, как я обрадовался, когда узнал, что отелю Шепперд на время требуется официант. А так как у меня был фрак, и даже новый (костюм для верховой езды я проел в первые дни), да еще знание французского языка, то они милостиво взяли меня на пробу. Ну, со стороны это выглядит вполне сносно: ты стоишь в белоснежной манишке, накрываешь на стол, прислуживаешь, — одним словом, имеешь вид; но то, что ты — номерной, живешь под раскаленной крышей в клоповнике, где, кроме тебя, еще двое, и что по утрам все по очереди умываются в одном и том же жестяном тазу, что чайные каждый раз как огнем жгут твою руку и так далее... В общем, довольно, точка! Хватит того, что я пережил это, что я это выдержал!

А потом произошла та самая история с моей женой. Недавно овдовев, она приехала в Каир вместе со своей сестрой и деверем. Этот ее деверь — на редкость вульгарный тип, толстый, расплывшийся, чванливый. Что-то во мне, видимо, раздражало его. Быть может, я был для него слишком элегантным, быть может, недостаточно гнул спину перед этим мингером, — но вот однажды случилось так, что я чуть-чуть запоздал с завтраком, и он заорал на меня: «Болван!..» Знаешь, у того, кто был когда-то офицером, это получается само собой: недолго думая я сразу же взвился на дыбы, словно пришпоренная лошадь, еще немного, и я хватил бы его по физиономии. Но в последний момент я все-таки сдержался, потому что, видишь ли, мое официантство всегда было для меня чем-то вроде маскарада, а

потом — не знаю, поймешь ли ты меня: я даже испытал нечто вроде садистского наслаждения оттого, что я, Балинкаи, вынужден сносить наглые выходки какого-то грязного торговца сыром. Поэтому я только выпрямился и слегка улыбнулся ему — знаешь, так свысока, чуть-чуть, уголком рта, но толстяк позеленел от злобы, сразу почуяв, что я взял над ним верх. Потом я совершенно спокойно удалился, отвесив ему холодный, подчеркнуто вежливый поклон, — он едва не лопнул от ярости. Моя жена, то есть моя теперяшняя жена, была при этом; она видела, как я вспылил, и, должно быть, догадалась, что тут что-то неладно, — потом она сама призналась мне. Она поняла, что со мной так никогда не обращались. Выйдя вслед за мной в коридор, она рассыпалась в извинениях: ее деверь, мол, немного взволнован, и не стоит на него обижаться... Ну а чтобы ты знал уж всю правду, дорогой мой, она даже попыталась всучить мне деньги, и тем все уладить.

Когда я отказался взять эти деньги, она, должно быть, окончательно убедилась, что с моим официантством что-то не так. Этим бы дело и кончилось, потому что за несколько недель я наскреб достаточно денег, чтобы вернуться на родину, не попрошайничая в консульстве. Я отправился туда навести некоторые справки. И тут мне на помощь пришел случай, тот самый выигранный билет, который выпадает один на сто тысяч билетов: пока я ждал, через переднюю прошел сам консул, и это был не кто иной, как Элемер Юхаш, с которым мы Бог знает сколько раз сживали вместе в жокейском клубе. Он тут же заключил меня в объятия и пригласил в клуб, а там, опять-таки благодаря случаю, — видишь, случай плюс случай; я рассказываю тебе все это только затем, чтобы ты понял, сколько сумасшедших случайностей должны назначать друг другу рандеву, чтобы вытащить нашего брата из грязи, — ...да, так вот в клубе была моя теперяшняя жена. Когда Элемер представляет меня ей как своего друга, барона Балинкаи, она краснеет до корней волос. Конечно, она узнала меня, и ей стало не по себе — она вспомнила про чаевые. Я сразу почувствовал, что это за человек; она благородная, порядочная женщина, потому что не

стала делать вид, будто ничего не произошло, а по-честному попросила прощения за свою ошибку. Все остальное решилось быстро, не о том сейчас речь. Но поверь мне, такое стечение обстоятельств повторяется не каждый день, и, несмотря на мои деньги, несмотря на жену, за которую я сто раз на день благодарю Бога, я не хотел бы еще раз пережить все сначала.

Я невольно протянул Балинкаи руку.

— Искренне благодарю тебя за предостережение. Теперь мне ясно, что меня ждет. Но даю тебе слово, у меня нет другого выхода. Ты действительно ничего не можешь предложить мне? Ведь вы, наверное, ведете крупные дела?

Балинкаи помолчал несколько секунд, потом сочувственно вздохнул.

— Бедняга, тебя, кажется, здорово припекло! Не бойся, я не буду тебя допрашивать, я и сам уже вижу, что к чему. Когда дело заходит так далеко, не помогают никакие уговоры. Остается лишь помочь, как товарищ товарищу, а за этим дело не станет, можешь не сомневаться. Только одно, Гофмиллер: надеюсь, ты парень рассудительный и понимаешь, что я не смогу сразу же подыскать тебе завидное местечко. Так дела не делаются, других только озлобит, если какой-то чужак ни с того ни с сего вдруг прыгнет через их головы. Ты должен начать с самых низов, тебе, может быть, придется несколько месяцев заниматься дурацкой писаниной в конторе, прежде чем удасться послать тебя на плантации или придумать что-нибудь еще. Во всяком случае, как я уже сказал, я проверну это дело. Завтра мы с женой уезжаем в Париж дней на восемь-девять, потом съездим ненадолго в Гавр и Антверпен, проверим работу агентов. Но не позднее чем через три недели мы вернемся домой, и как только прибудем в Роттердам, я сразу же напишу тебе. Не беспокойся — я не забуду! Можешь положиться на Балинкаи.

— Не сомневаюсь, — сказал я, — и очень благодарен тебе.

Но Балинкаи, видимо, почувствовал легкое разочарование в моем тоне (наверное, с ним самим случалось нечто подобное — только лишь собственный опыт помогает улавливать такие оттенки).

— Или... это будет слишком поздно для тебя?

— Нет, — нерешительно начал я, — раз уж я знаю это наверняка, тогда, конечно, нет. Но... но для меня все-таки было бы лучше, если б...

Балинкаи что-то быстро обдумывал.

— А сегодня у тебя не найдется времени?.. Видишь ли, моя жена еще в Вене, и поскольку дело все-таки принадлежит не мне, решающее слово остается за ней.

— Ну, разумеется, я свободен, — поспешил заверить я. Мне как раз вспомнилось, что полковник не желает видеть моей «физиономии».

— Вот и хорошо! Замечательно! В таком случае тебе лучше всего поехать сейчас со мной. Место рядом с шофером свободно. Правда, сидеть сзади тебе не придется, я пригласил моего старого друга барона Лайоша с семьей, он из здешних. В пять часов мы уже будем у подъезда «Бристоля», я сразу переговорю с женой, и все будет сделано: еще не было случая, чтобы она отказала мне, когда я просил за товарища.

Я пожал ему руку. Мы спустились вниз. Механики уже сняли свои синие рабочие куртки, машина была готова и через две минуты затарахтела по шоссе.

Скорость оказывает одинаковое воздействие на душу и тело — она возбуждает и оглушает одновременно. Едва наша машина вырвалась из узких улиц на простор полей, как я почувствовал удивительное облегчение. Шофер гнал вовсю; словно подрубленные, падали назад деревья и телеграфные столбы, дома, шатаясь, налезали друг на друга, точно на смазанной фотографии, белые верстовые камни то и дело появлялись по сторонам и исчезали прежде, чем можно было прочесть цифры, и по тому, как яростно бил в лицо ветер, я ощущал бешеную скорость, с которой мы мчались вперед. Но еще большее удивление вызывала во мне та быстрота, с которой сейчас летела куда-то моя собственная жизнь: какие только решения не были приняты за эти несколько часов! Ведь обычно между смутным желанием, зарождающимся намерением и оконча-

тельным осуществлением задуманного едва уловимо мелькают бесчисленные оттенки противоречивых чувств, и наше сердце находит тайное удовольствие в робком заигрывании с намерениями, осуществить которые оно пока не решается. Но в этот раз все налетело на меня со стремительностью сменяющих друг друга сновидений, и как по обеим сторонам нашего громящего авто пронеслись мимо дома и села, деревья и луга, навсегда оставаясь позади, окончательно и безвозвратно уходя в ничто, точно так же в один миг исчезло все, что до сих пор составляло мою жизнь, — казарма, манеж, карьера, товарищи, Кекешфальвы, их усадьба, моя комната, все мое существование, казавшееся таким устойчивым и упорядоченным. Один-единственный час перевернул весь мой внутренний мир.

В половине шестого мы остановились у отеля «Бристоль», разбитые тряской, с ног до головы в пыли и все-таки удивительно освеженные этой гонкой.

— В таком виде тебе нельзя появляться перед моей женой, — смеясь, сказал мне Балинкаи. — Ты выглядишь так, словно на тебя вытряхнули мешок муки. И потом, наверное, вообще будет лучше, если я сам поговорю с ней, тогда я смогу разговаривать гораздо свободнее, да и тебе не придется смущаться. А ты сходи в гардеробную, хорошенько почистись и жди меня в баре. Я вернусь через несколько минут и сообщу тебе результаты. И не волнуйся. Я сделаю все, как ты хочешь.

И действительно, Балинкаи не заставил себя долго ждать. Через пять минут он, улыбаясь, вошел в бар.

— Ну что, разве я не говорил? Все в порядке — конечно, если тебя это устраивает. Можешь раздумывать сколько угодно и отказаться в любую минуту. Моя жена — вот уж действительно умница! — придумала самый лучший вариант. Итак: ты отправишься в плавание, главным образом затем, чтобы выучить языки и посмотреть, что делается за океаном. Будешь помогать казначею вести счета, получишь форму, станешь обедать за офицерским столом, сделаешь несколько рейсов в Голландскую Индию. Ну а потом уж мы найдем тебе место,

здесь или за океаном, как ты пожелаешь, жена твердо обещала мне это.

— Благо...

— Благодарить не за что. Само собой разумеется, что я помог тебе, разве могло быть иначе! Но прошу, Гофмиллер, не руби плеча! По мне, ты можешь отправляться хоть послезавтра и явиться на судно, я все равно дам телеграмму капитану, чтобы он записал твою фамилию; но лучше всего будет, если ты еще раз хорошенько все обдумаешь. Я лично был бы доволен, если бы ты остался в полку, но *chacun à son goût**. Как я уже сказал, приедешь — значит, приедешь, а нет — так нет. Итак, — он протянул мне руку, — да или нет, как бы ты ни решил, я искренне рад оказать тебе услугу. Привет!

Я с восторгом смотрел на этого человека, которого послала мне судьба. Легкость, с какой он думал и действовал, освободила меня от самого тяжелого: от просьб и мучительных колебаний. Так что мне самому осталось только выполнить небольшую формальность: написать прошение об отставке. Тогда я свободен и спасен.

Так называемая «канцелярская бумага» — лист строго определенного формата, раз и навсегда установленного соответствующим предписанием, — была, вероятно, самым необходимым реквизитом австрийского бюрократического аппарата, как гражданского, так и военного. Всякое прошение, всякий деловой документ или донесение полагалось составлять на этой аккуратно обрезанной бумаге, которая благодаря уникальности своей формы сразу же отделяла все служебное от личного; огромные залежи миллионов и миллиардов таких листков, хранящихся в архивах, вероятно, явятся когда-нибудь единственно достоверной летописью жизни и страданий габсбургской империи. Никакой официальный документ не признавался действительным, если не был написан на белом прямоугольном листке. И поэтому первое, что я сделал, — зашел в ближайшую

*У каждого свой вкус (франц.).

табачную лавку, купил два таких листка, в придачу так называемую «лентяйку» (разлинованную бумагу, которую подкладывают вниз) и соответствующий конверт. Теперь перейти через улицу в кафе — место, где в Вене улаживаются все дела, от самых серьезных до самых легкомысленных. Через двадцать минут, к шести часам, прошение будет написано; тогда я снова буду принадлежать самому себе, и только себе.

Память с поразительной ясностью сохранила каждую деталь волнующего события — ведь принималось самое серьезное решение в моей жизни. Я помню маленький круглый мраморный столик в кафе на Рингштрассе, помню картонную папку, на которую я положил бумагу, и то, как я осторожно разглаживал потом линии сгиба, чтобы они были безукоризненно ровными. Слово на контрастном фотоснимке, вижу я сейчас перед собой эти иссиня-черные, немного водянистые чернила и опять чувствую тот легкий внутренний толчок, с которым я начал выводить первую букву, стараясь, чтобы она выглядела изящно и значительно. Мне очень хотелось особенно тщательно выполнить эту мою последнюю служебную обязанность, а поскольку форма прошения была с математической строгостью определена уставом, оставалось только одно: красотой почерка засвидетельствовать торжественность момента.

Но не успел я написать несколько строк, как мной овладела какая-то странная мечтательность: держа в руках перо, я начал воображать, что будет завтра, когда мое прошение дойдет до полковой канцелярии. Сначала, наверное, озадаченный взгляд фельдфебеля, потом удивленное перешептывание младших писарей — ведь не каждый день случается, чтобы лейтенант так просто отказывался от своего жалованья. Потом бумага следует по инстанциям, из комнаты в комнату и наконец попадает к полковнику; я вдруг вижу его перед собой, как живого, — вот он вооружает свои дальнозоркие глаза очками, недоуменно перечитывает первые слова и потом, несдержанный, как всегда, бьет кулаком по столу, — этот грубиян слишком привык к тому, что его подчиненные, которых он облил грязью с ног до головы, на следующий день угодливо виляют

хвостом, лишь только он даст им понять развязным словечком, что гроза миновала. Но теперь он увидит, что нашла коса на камень, что есть такой человек, который не позволит орать на себя, и этот маленький человек — лейтенант Гофмиллер. И когда потом станет известно, что Гофмиллер распрощался с полком, двадцать, а то и сорок однополчан призадумаются, качая головами. Все товарищи мысленно скажут: «Черт возьми, вот это парень! Он за себя постоит!» И даже полковника Бубенчича это крепко заденет за живое — как-никак более достойно еще никто не уходил из полка, никто еще не сбрасывал с себя мундир подобным образом, насколько мне известно.

Не стыжусь сознаться, что, в то время как я рисовал себе все эти картины, я все больше нравился самому себе. Ведь что бы мы ни делали, нами чаще всего руководит именно тщеславие, и слабые натуры почти никогда не могут устоять перед искушением сделать что-то такое, что со стороны выглядит как проявление силы, мужества и решительности. Сейчас мне впервые представилась возможность доказать товарищам, что и у меня есть чувство собственного достоинства, что и я настоящий мужчина! Все быстрее и, как мне казалось, все более энергичным почерком писал я эти двадцать строк; то, что сначала было для меня досадной необходимостью, внезапно превратилось в наслаждение.

Теперь еще подпись — и все. Взгляд на часы — половина седьмого. Подозвать кельнера и расплатиться. Потом еще раз, последний раз, прогуляться в мундире по Рингу — и домой с ночным поездом. Завтра утром отдать эту бумажонку, и ворота к прошлому уже не будет, начнется новая жизнь.

Итак, я взял свое прошение, сложил его сначала вдоль, потом еще раз поперек, чтобы аккуратно спрятать этот решающий мою судьбу документ в нагрудный карман. Но тут случилось неожиданное.

А случилось вот что: в ту секунду, когда я с чувством удовлетворения и даже радости (окончание любого дела всегда приятно) укладывал в карман довольно объемистый конверт, я

почувствовал — мне что-то мешает. «Что это там хрустит?», — подумал я и глубже засунул руку. Но мои пальцы тут же отдернулись, словно еще раньше меня самого вспомнив, что это такое. Это были письма Эдит, оба ее вчерашних письма, первое и второе.

Не могу точно описать охватившее меня чувство. Кажется, это был не столько испуг, сколько безграничный стыд. Ибо в один миг — словно туман вдруг рассеялся — пришел конец обману или, вернее, самообману. Я сразу понял, что все мои мысли и поступки были сплошной фальшью — и досада на полковника, и гордость оттого, что я героически решился уйти в отставку. Если я хотел удрать, то совсем не потому, что полковник дал мне нагоняй (в конце концов, это случилось у нас каждую неделю), — в действительности я бежал от Кекеш-фальвов, от своего обмана, от своей ответственности, я убежал потому, что быть любимым против воли стало для меня невыносимой пыткой. Как тяжелобольной человек из-за внезапной зубной боли забывает о действительно мучительном, быть может, смертельном недуге, так и я забыл (или попытался забыть) все то, что на самом деле терзало мою душу, заставляя трусливо спасаться бегством, и постарался найти удобный повод уехать — неприятное происшествие на учебном плацу. Но теперь я ясно сознавал: мой уход не был благородным жестом оскорбленного человека. Это было бегство, трусливое, жалкое бегство.

Однако сделанный шаг придает силы. Теперь, когда прошение об отставке уже было написано, я не хотел отступить. «К черту, — сказал я себе со злостью, — какое мне дело до того, что она там хнычет и ждет меня? Они достаточно издевались надо мной. Какое мне дело до того, что кто-то меня любит? Она со своими миллионами найдет другого, а если и нет, меня это не касается. Достаточно того, что я все бросаю к чертям, даже мундир! Какое мне дело до этой истеричной особы, выздоровеет она или нет? Я не врач...»

Но стоило мне произнести про себя слово «врач», и волна моих мыслей разбилась, как о крутой утес. Слово «врач» на-

помнило мне о Кондоре. «А впрочем, это его дело, — тут же сказал я себе. — Ему платят за то, что он лечит больных. Она его пациентка, а не моя. Сам заварил всю кашу, пусть сам и расхлебывает. Лучше всего мне сейчас же пойти к нему и сказать, что я умываю руки».

Я смотрю на часы. Без пятнадцати семь, а мой поезд отходит после десяти. Времени вполне достаточно, тем более что сказать придется немного: только то, что я выбываю из игры. Но где он живет? Он не говорил мне своего адреса или я забыл? Да, но поскольку он практикующий врач, его фамилия должна быть в телефонной книге. Я спешу к телефонной будке, перелистываю список абонентов. Ик... Ир... Ис... Ка... Ко... вот они, Кондоры — «Кондор Антон, торговец»... «д-р Кондор Эммерих, практикующий врач, VIII, Флориангассе, девяносто семь», больше ни одного врача на всей странице, — это он. Выбегая из будки, я повторяю про себя адрес (у меня нет карандаша, в этой сумасшедшей гонке я ничего не взял с собой), окликаю ближайший фиакр, и в то время как экипаж мчится вперед, мягко покачиваясь на резиновых шинах, я вырабатываю окончательный план. Главное — выложить все энергично и коротко. Ни в коем случае не проявлять нерешительности. Не дать ему заподозрить, что я удираю из-за Эдит, сразу представить свою отставку как *fait accompli**. Дело, мол, началось еще несколько месяцев назад, но только сегодня я получил это замечательное место в Голландии. Если он все же начнет расспрашивать, — не отвечать! В конце концов он тоже не все сказал мне. Нужно наконец перестать считаться с окружающими.

Экипаж останавливается. Может быть, кучер ошибся или я в спешке дал ему неверный адрес? Неужели этот Кондор действительно живет в таком мрачном месте? Одни Кекешфальвы платят ему, наверное, бешеные деньги, в таком доме не может жить врач с именем. Но нет, он живет именно здесь, в подъезде висит табличка: «Д-р Эммерих Кондор, вход со двора, третий этаж, прием от двух до четырех». От двух до четырех, а сейчас

* Свершившийся факт (франц.).

уже почти семь. Ну, меня-то он должен принять. Я торопливо расплачиваюсь и пересекаю плохо вымощенный двор. Какая грязная винтовая лестница, стертые ступени, ободранные, исписанные стены, запах бедной кухни и нечистот, женщины в грязных халатах, бранящиеся в коридорах и провожающие подозрительными взглядами офицера, который смущенно пробирается мимо них в полумраке, звеня шпорами!

Наконец третий этаж, длинный коридор, двери справа и слева, одна посередине. Я уже собрался было полезть в карман за спичками, чтобы отыскать дверь Кондора, но тут слева выходит служанка весьма неопрятного вида, с пустым кувшином в руке, она, вероятно, идет за пивом к ужину. Я спрашиваю, где живет доктор Кондор.

— Вот тут они и живут, — отвечает она с сильным чешским акцентом. — Только их еще нет дома. Они поехали в Мейдлинг, но скоро будут обратно. Сказали хозяйке, что непременно приедут к ужину. Да вы входите, подождете!

Не успел я обдумать это предложение, как она уже ввела меня в прихожую.

— Повесьте вот тут вашу саблю, — указывает она на старый гардероб, единственный предмет мебелировки в этой маленькой темной передней. Потом она открывает дверь в приемную, которая выглядит несколько более внушительно: вокруг стола стоят четыре-пять стульев, слева вдоль стены множество книг.

— Можете присесть вот сюда, — с некоторым пренебрежением кивает она на один из стульев. И я сразу догадываюсь: Кондор лечит бедных. Богатых пациентов не принимают в такой обстановке. «Станный человек, очень странный, — снова думаю я. — При желании он мог бы разбогатеть хотя бы на одних Кекешфальвах».

Итак, я жду. Обычное нервное ожидание в приемной врача, когда ты снова и снова перелистываешь растрепанные старые журналы, не потому, что действительно хочешь читать, а только для того, чтобы обмануть внутреннее беспокойство видимостью какого-нибудь занятия. То и дело встаешь, опять садишься и поглядываешь на часы, сонно тикающие в углу: семь часов

двенадцать минут, семь четырнадцать, семь пятнадцать, семь шестнадцать, — и, словно загипнотизированный, смотришь на звонок над дверью в кабинет. Наконец в семь часов двадцать минут я не выдерживаю этого безмолвного сидения то на одном, то на другом стуле. Я встаю и подхожу к окну. Внизу во дворе хромой старик, по всей вероятности разносчик, смазывает колеса своей ручной тележки; за освещенными окнами кухни женщина гладит белье, другая, видимо, купает маленького ребенка в корыте; кто-то, — не знаю, на каком этаже, но, должно быть, прямо надо мной или подо мной, — разучивает гаммы, снова и снова повторяя одно и то же. Я опять смотрю на часы: семь часов двадцать пять минут, семь тридцать. Почему он не приходит? Я не хочу, не хочу больше ждать! Я чувствую, как это ожидание делает меня все более нерешительным, беспомощным.

Наконец, я перевожу дух — слышится звук хлопнувшей двери. Тотчас принимаю скучающий вид. Выдержать тон, говорить как можно непринужденнее, повторяю я себе. Небрежно сказать, что я зашел en passant* — проститься, как бы между прочим попросить его съездить на днях к Кекешфальвам и, чтобы у них не возникло никаких подозрений, сообщить им, что мне пришлось уйти со службы и уехать в Голландию. Господи, какого черта он еще заставляет меня ждать! Я отчетливо слышу звук передвигаемого стула в соседней комнате. Не хватает еще, чтобы эта корова в юбке позабыла доложить обо мне!

Я уже намереваюсь выйти и напомнить служанке о себе. Но вдруг я остаиваюсь. Человек, который ходит в соседней комнате, не может быть Кондором. Походку Кондора я хорошо знаю: я запомнил с той ночи, когда провожал его, как он, коротконогий и страдающий одышкой, тяжело и неуклюже шагает в своих скрипящих башмаках; а шаги, которые раздаются в соседней комнате, то удаляясь, то приближаясь, совсем иные — робкие, неуверенные, скользкие. Я не могу понять, чем, собственно говоря, так волнуют меня эти незнакомые

* Мимоходом (франц.).

шаги, почему я так напряженно прислушиваюсь к ним. Но меня не покидает ощущение, будто другой человек так же взволнованно и настороженно, как и я, прислушивается к тому, что происходит здесь, в этой комнате. Внезапно я слышу неясный шорох за дверью, словно кто-то нажимает с той стороны на дверную ручку или балуется с ней; и верно — она уже поворачивается, блеснув в сумерках светлой латунной полоской. Дверь приоткрывается, образуя узкую черную щель. Вероятно, это сквозняк, ветер, говорю я себе, потому что никто не открывает так вкрадчиво, разве что ночной вор. Но нет, щель становится шире. Чья-то рука очень осторожно отворяет изнутри дверь, и вот я различаю наконец в темноте неясные очертания человеческой фигуры. Оцепенев, я смотрю на нее. В дверях раздается тихий женский голос:

— Здесь... здесь есть кто-нибудь?

Ответ застывает у меня в горле. Я сразу понял: так спрашивать может лишь тот, кто не видит. Только слепые ходят таким неуверенным, робким, скользким шагом, только в их голосе слышится такая нерешительность. И в ту же секунду я вспоминаю — разве Кекешфальва не говорил, что Кондор женился на слепой? Это она, и никто другой, это жена Кондора, стоя в дверях и не видя меня, обращается ко мне с вопросом. Я напряженно всматриваюсь, стараясь разглядеть в темноте эту тень, и наконец смутно различаю худощавую женщину в просторном халате, с седыми, слегка растрепанными волосами. Боже, и такая непривлекательная, некрасивая женщина — его жена! Ужасно чувствовать на себе взгляд незрячих глаз и знать, что они не видят тебя; в то же время я замечаю, как она, вытягивая шею, чтобы лучше слышать, старается обнаружить присутствие постороннего человека в невидимой для нее комнате; от усилия она кривит большой рот, и это делает ее еще более некрасивой.

Секунду я молчу. Потом встаю и кланяюсь, — да, кланяюсь, хотя понимаю, что нет никакого смысла кланяться слепой, — и бормочу:

— Я... я жду здесь господина доктора.

Сейчас дверь уже открыта настежь. Лево́й руко́й женщина все еще держится за ручку, словно ища опоры в темноте. Потом она выступает вперед, ее брови над потухшими глазами сердито хмурятся, а голос звучит уже по-другому, твердо, повелительно.

— Сейчас приема нет. Когда муж вернется, ему надо поесть и отдохнуть. Не могли бы вы прийти завтра?

С каждым словом лицо ее мрачнеет; видно, что она едва сдерживается. «Истеричка, — думаю я. — Не надо ее раздражать». И еще раз, как дурак, кланяюсь в пустоту.

— Прошу прощения, сударыня... я, конечно, не собираюсь консультироваться с господином доктором в столь поздний час. Я только хотел сообщить ему... об одной из его больных.

— Больные! Всегда больные! — Ее ожесточение сменяется плаксивостью. — Сегодня его подняли с постели в половине второго ночи, в семь утра он опять ушел и до сих пор не возвращался. Ведь он сам заболел, если ему не дадут отдохнуть! Но теперь хватит! Сейчас приема нет, я вам сказала. Прием до четырех. Напишите ему, что вам нужно, а если это очень срочно, пойдите к другому врачу. В городе врачей полно, найдете их на каждом углу.

Она подходит еще ближе, и я, словно чувствуя свою вину, отступаю перед ее гневно возбужденным лицом, на котором внезапно вспыхивают белыми огнями широко раскрытые глаза.

— Уходите, я вам говорю. Уходите! Пусть он поест и выспится, как все люди! Что вы все впились в него! И ночью, и утром, и целый день без конца больные, он изводит себя ради них, и все даром! Вы чувствуете его слабость, и поэтому вы цепляетесь за него, только за него... ах, какие вы все жестокие! Только ваша болезнь, только ваши заботы, до остального вам дела нет! Но я этого больше не потерплю. Уходите, говорят вам, сейчас же уходите! Оставьте же его наконец в покое, дайте ему вечером отдохнуть хоть часок!

Она добирается до стола. Каким-то шестым чувством она угадывает, где я стою, и глаза ее неподвижно устремлены пря-

мо на меня, словно они видят. В ее гневе так много искреннего и в то же время болезненного отчаяния, что мне невольно становится стыдно.

— Разумеется, сударыня, — извиняюсь я. — Я прекрасно понимаю, что господину доктору нужен отдых... и я не буду вам больше мешать. Позвольте только написать ему несколько слов или, может быть, позвонить через полчаса.

Но она отчаянно кричит:

— Нет! Нет! Никаких звонков! Целый день эти телефонные звонки, всем от него что-то нужно, все выпытывают, все жалуются! Он и куска не успеет проглотить, как уже должен бежать к телефону. Я вам сказала: приходите завтра на прием, за одну ночь ничего не случится. Должен же он когда-нибудь отдохнуть. Уходите! Уходите, я вам говорю!

И слепая, сжав кулаки, неуверенно ступая, приближается ко мне. Это ужасно. Мне кажется, что ее протянутые руки вот-вот схватят меня. Но в этот момент входная дверь открывается и с треском захлопывается. Это, наверное, Кондор.

Слепая прислушивается, вздрагивает. Ее лицо моментально меняется. Она начинает дрожать всем телом, руки, только что сжатые в кулаки, умоляюще прижимаются к груди.

— Не задерживайте его, — шепчет она. — Не говорите ему ничего! Он очень устал, он целый день был на ногах... Прошу вас, подумайте о нем! Имейте же состра...

В эту секунду дверь открылась, и Кондор вошел в комнату.

Он, без сомнения, с первого взгляда понял, что происходит, но ни на миг не потерял самообладания.

— Ах, ты здесь составила компанию господину лейтенанту, — оживленно начал он; я давно заметил у него привычку скрывать свое волнение нарочитой бодростью тона. — Как это любезно с твоей стороны, Клара.

Он подошел к слепой и нежно погладил ее седые, спутанные волосы. Это прикосновение сразу преобразило ее. Выражение страха, только что искажавшее ее лицо, исчезло от этой нежной ласки; едва почувствовав близость Кондора, она тут же

повернулась к нему с беспомощной застенчивой улыбкой; отблеск света упал на ее чистый, слегка покатый лоб. Поразительным был этот внезапный переход от гневного возбуждения к спокойствию и уверенности. В присутствии мужа она совсем забыла обо мне. Ее рука, словно притягиваемая магнитом, потянулась к нему, плавно ощупывая пустоту, и как только ее ищущие пальцы коснулись его рукава, они начали нежно скользить вверх и вниз по его руке. Понимая, что она всем существом тянется к нему, он подошел к ней вплотную, и она прислонилась к мужу, словно обессилевший путник, в изнеможении опускающийся на землю. Он, улыбаясь, обнял ее за плечи и повторил, не глядя на меня:

— Как это любезно с твоей стороны, Клара. — И голос его, казалось, тоже ласкал ее.

— Извини меня, — начала она, — но я должна была все-таки объяснить этому господину, что тебе сначала надо поесть, ведь ты очень голоден. Весь день в дороге, а здесь тебе уже звонили раз пятнадцать... Прости, но я попросила господина зайти завтра, потому что...

— Вот тут-то, детка, ты и попала впросак, — рассмеялся он, снова погладив ее волосы (я понял: он сделал это, чтобы не обидеть ее своим смехом). — Этот господин, лейтенант Гофмиллер, к счастью, не пациент, а друг, который уже давно обещал навестить меня, как только попадет в город. Ведь он свободен только по вечерам, весь день он торчит на службе. Теперь главный вопрос: найдется у тебя для него что-нибудь вкусное на ужин?

На ее лице промелькнул испуг, и я понял, что она мечтала побыть наедине с тем, кого она так долго ждала.

— Нет, нет, спасибо, — поспешно отказался я. — У меня совсем нет времени. Мне никак нельзя пропустить вечерний поезд. Я хотел лишь передать привет от наших общих знакомых.

— У них все в порядке? — спросил Кондор, пристально глядя мне в глаза. И каким-то образом догадавшись, что «не все» благополучно, быстро прибавил: — Так вот, дорогой друг,

моя жена всегда знает, что мне нужно, и даже лучше, чем я сам. Я действительно страшно голоден и ни на что не гожусь, пока не проглочу что-нибудь и не закурю вечернюю сигару. Если ты не возражаешь, Клара, пойдем-ка поужинаем, а господин лейтенант немного подождет. Я дам ему какую-нибудь книжонку, или он просто отдохнет. У вас, наверное, был сегодня тяжелый день, — обратился он ко мне. — Потом, с сигарой, я приду к вам, правда в домашней куртке и шлепанцах, но вы, господин лейтенант, не будете требовать от меня вечернего туалета, не так ли?

— И я действительно пробуду не больше десяти минут, сударыня... Мне нужно спешить на вокзал.

От этих слов лицо ее прояснилось, и она сказала почти дружеским тоном:

— Как жаль, что вы не хотите поужинать с нами, господин лейтенант. Но я надеюсь, вы еще зайдете к нам.

Она протянула мне руку, очень нежную, узкую и уже слегка увядшую. Я почтительно поцеловал ее. С неподдельным волнением я смотрел, как бережно уводил ее Кондор из комнаты, так умело направляя ее движения, что она ничего не задела в дверях: казалось, он держит в руках что-то чрезвычайно хрупкое и драгоценное.

Две-три минуты дверь оставалась открытой, я слышал, как удалялись тихие, скользящие шаги. Кондор вернулся в комнату. Его лицо было другим, внимательным, сосредоточенным, я помнил это выражение, появлявшееся у него в моменты внутреннего напряжения. Он, несомненно, понял, что лишь крайняя необходимость могла заставить меня явиться к нему в дом без приглашения.

— Я вернусь через двадцать минут, и мы быстро все обсудим. Вам пока лучше прилечь на диване или устроиться вот здесь в кресле. Вы выглядите очень переутомленным. А нам обоим нужна ясная голова. — И внезапно громко прибавил уже совершенно иным голосом, чтобы было слышно в задней комнате. — Да, милая, я сейчас иду. Я только достал господину лейтенанту книгу, чтобы он не очень скучал.

Наметанный глаз Кондора не ошибся. Только сейчас, когда он это сказал, я почувствовал, как меня измучила кошмарная ночь и перегруженный событиями день. Следуя его совету и чувствуя, что уже целиком подчиняюсь его воле, я вытянулся в кресле, откинув голову на спинку и уронив руки на подлокотники. За время моего тоскливого ожидания на улице совсем стемнело; в комнате я различал лишь тусклый блеск инструментов в высоком стеклянном шкафу, а из противоположного угла, окружая мое кресло черным куполом, надвигался мрак. Я невольно закрыл глаза, и тотчас, словно в *Laterna magica**, возникло передо мной лицо слепой и этот незабываемый переход от испуга к мгновенной радости, едва лишь рука Кондора прикоснулась к ней, обняв ее плечи. «Удивительный врач, — думаю я, — если бы ты и мне сумел так помочь», и еще успеваю подумать, что мне хочется вспомнить о ком-то, кто также встревожен и расстроен, также испуганно смотрит... Ради кого я пришел сюда. Но я не успеваю вспомнить.

Вдруг кто-то трогает меня за плечо. То ли Кондор неслышно вошел в темную комнату, то ли я действительно заснул. Я хотел встать, но он мягко удержал меня.

— Сидите. Я подсяду к вам. В темноте как-то лучше разговаривать. Прошу вас только об одном: говорите тихо! Совсем тихо! Вы, вероятно, слышали, что у слепых иногда развивается необычайно острый слух и к тому же какая-то мистическая способность угадывать. Итак, — его рука, словно гипнотизируя, медленно скользнула от моего плеча по рукаву до самой ладони, — рассказывайте и не робейте. Я сразу увидел, что с вами что-то случилось.

Как странно, подумал я. В кадетском училище у меня был товарищ, его звали Эрвин, нежный и светловолосый, точно девушка; боюсь, что я был немного влюблен в него, хотя и не признавался себе в этом. Днем мы почти не разговаривали, а если и говорили, то лишь о самых обыденных вещах; возможно, мы оба стыдились нашего тайного влечения друг к другу. Толь-

* Волшебный фонарь (*лат.*).

ко ночью, в дортуаре, когда гасили свет, мы иногда набирались смелости, — темнота защищала нас, — и когда все засыпали, мы, лежа в кроватях, стоявших рядом, подперев рукой голову, делились нашими детскими впечатлениями и думами, а наутро опять смущенно избегали друг друга. Годами не вспоминал я об этих ночных признаниях, которые были счастьем и тайной моих детских лет. Но сейчас, полулежа в темноте, в низком кресле, я совершенно забыл о том, что хотел притвориться перед Кондором. Сам того не желая, я заговорил с полной откровенностью; и так же как в училище я посвящал товарища в мелкие огорчения и несбыточные мечты моего детства, так и теперь я рассказывал Кондору об Эдит, о неожиданной вспышке ее страсти ко мне, о моем ужасе, страхе, смятении. Я испытывал какое-то внутреннее наслаждение от этой исповеди, роняя слово за словом в безмолвную пустоту, в которой лишь изредка, когда Кондор поворачивал голову, тускло поблескивали стекла его пенсне.

Наступило молчание, потом я услышал какой-то странный звук: Кондор так сильно сжал пальцы, что суставы хрустнули.

— Так вот в чем было дело, — сердито проворчал он. — И я, болван, просмотрел все это! Вечная история — за болезнью уже не видишь самого больного. Возишься с обследованиями, приглядываешься к симптомам и не замечаешь главного — того, что происходит в человеке. Правда, кое-какие подозрения у меня возникли с самого начала; помните, как я тогда сразу после осмотра спросил старика, не лечит ли ее еще кто-нибудь, — меня насторожило это внезапное и пылкое желание выздороветь немедленно, сию же минуту. Я тогда правильно предположил, что тут не обошлось без постороннего вмешательства. Но я, глупец, думал только о каком-нибудь знахаре или гипнотизере; мне казалось, что ей задурили голову. И только самое простое, самое естественное не пришло мне на ум. Ведь влюбленность присуща девушкам в переходном возрасте. Досадно только, что это случилось именно теперь, да еще в такой сильной форме. О Господи, бедная девочка!

Он поднялся. Я слушал его короткие шаги, туда-обратно и снова туда-обратно. Потом он вздохнул:

— Ужасно, и надо же было этому случиться именно сейчас, когда мы затеяли историю с поездкой. Теперь, когда она внушила себе, что должна выздороветь для вас, а не для самой себя. Тут уже и сам Господь Бог ничем не сможет помочь. Что будет, когда наступит отрезвление? Какой ужас! Теперь, когда она надеется на все и требует всего, — ее уже не удовлетворит легкое улучшение, незначительный прогресс! Господи, какую тяжкую ответственность мы на себя взяли!

Во мне вдруг проснулся дух сопротивления. Меня раздражало это «мы». Ведь я же пришел сюда, чтобы стать свободным. И я решительно перебил его:

— Полностью разделяю ваше мнение. Последствия могут быть очень опасными. Нужно вовремя пресечь этот безумный бред. Вы должны энергично взяться за дело. Вы должны сказать ей...

— Что сказать?

— Ну... что эта влюбленность — простое ребячество, бессмыслица. Вы должны отговорить ее.

— Отговорить? От чего? Отговорить женщину от ее страсти? Сказать ей, что она не должна чувствовать того, что чувствует? Не должна любить, когда любит? Это было бы самое ошибочное из всего, что можно сделать, и вдобавок самое глупое. Вы слышали когда-нибудь, чтобы логика могла осилить страсть? Чтобы можно было сказать: «Лихорадка, не лихорадь», или: «Огонь, не гори!» Вот уж действительно прекрасная, поистине гуманная мысль! Больной, парализованной крикнуть в лицо: «Ради Бога, не воображай, что ты тоже имеешь право любить! Это дерзость с твоей стороны — выдать свое чувство да еще ждать ответа; твое дело молчать, потому что ты калека! Марш в угол! Не смей надеяться ни на что, откажись от всего! Откажись от самой себя!» Я вижу, вы хотите, чтобы я именно так разговаривал с бедняжкой. Не будете ли вы столь любезны представить себе, какое великолепное воздействие это окажет на нее?

— Но именно вы должны...

— Почему я? Ведь вы безоговорочно взяли всю ответственность на себя? Почему это вдруг именно я?

— Но ведь не могу же я сам признаться ей в том, что...

— И не должны! Не имеете никакого права! Хорошенькое дело, сначала свести человека с ума, а потом потребовать от него рассудительности! Только этого еще недоставало! Само собой разумеется, вы ни в коем случае ни словом, ни жестом не должны навести бедную девочку на подозрение, что ее чувство тягостно для вас, — ведь это все равно что ударить человека обухом по голове!

— Но... — голос отказывается мне служить, — ведь кому-то придется в конце концов объяснить ей...

— Что объяснить? Будьте добры выразаться точнее!

— Я хочу сказать... что... что это совершенно безнадежно, совершенно абсурдно... и чтобы она потом не... когда я...

Я запнулся. Кондор тоже молчал. Он явно ждал чего-то. Потом, неожиданно шагнув к двери, повернул выключатель. Ярko вспыхнула люстра, ее резкий, беспощадный свет невольно заставил меня закрыть глаза. В одно мгновение в комнате стало светло как днем.

— Так, — резко сказал Кондор. — Так, господин лейтенант! Я вижу, вам нельзя предоставлять таких удобств. В темноте слишком легко спрятаться, а в некоторых случаях лучше смотреть человеку прямо в глаза. Итак, покончим с этой уклончивой болтовней, здесь что-то неладно. Я не поверю, что вы пришли только для того, чтобы показать мне это письмо. Тут что-то другое. Я чувствую, что вы намерены сделать какой-то вполне определенный шаг. Или вы будете говорить честно, или я должен буду поблагодарить вас за визит.

Стекла его пенсне ослепительно сверкнули; я боялся их зеркального блеска и опустил глаза.

— Не очень-то благородно ваше молчание, господин лейтенант. Вряд ли оно свидетельствует о чистой совести. Но я уже приблизительно догадываюсь, в чем дело. Прошу без уверток:

может быть, после этого письма... или после того, другого, вы решили покончить с вашей так называемой дружбой?

Он ждал. Я не поднимал глаз. В его голосе зазвучали требовательные нотки экзаменатора.

— Вы знаете, что будет, если вы сейчас удерете? Сейчас, после того как вскружили девушке голову своим прекрасо-душным состраданием?

Я молчал.

— Ну, в таком случае я позволю себе высказать свою личную оценку такого образа действий: если вы удерете, это будет трусостью... Ах, что там, бросьте замашки военного! Оставим в стороне господина офицера и кодекс чести! В конце концов дело серьезнее, чем все эти штучки. Дело в живом, юном, достойном человеке, и к тому же в человеке, за которого я в ответе, — при таких обстоятельствах у меня нет охоты быть с вами особенно вежливым. А чтобы вы не обманывались насчет того, какое пятно ложится на вашу совесть, я скажу вам прямо: ваше бегство в такой критический момент было бы — прошу не пропускать мои слова мимо ушей! — подлым преступлением по отношению к невинному человеку, и, я боюсь, даже больше того — оно было бы убийством.

Низенький толстяк напирал на меня, сжав кулаки, точно боксер. Возможно, при других обстоятельствах он в своей суконной домашней куртке и шлепанцах производил бы комичное впечатление. Но искренний гнев, с которым он вновь обрушился на меня, придавал ему что-то величественное.

— Да, да, убийством! И вы сами это знаете! Или вы думаете, что такое впечатлительное, такое гордое создание сможет перенести подобный удар? Ведь она впервые открыла свое сердце мужчине, а этот джентльмен вместо ответа бежит от нее прочь, как черт от ладана! Немного воображения, дорогой! Или вы не читали ее письма, или ваше сердце действительно так слепое? Даже нормальная, здоровая женщина не перенесла бы такого оскорбления! И ее такой удар вывел бы из равновесия на долгие годы! А это девушка, живущая одной лишь несбыточной надеждой на выздоровление, которой вы ее одурманили, это об-

манутый, введенный в заблуждение человек! Неужели вы думаете, что для нее все пройдет незаметно? Если этот удар не убьет ее, она покончит с собой. Да, она сделает это: отчаявшемуся человеку не вынести такого унижения. Я убежден, что ваша жестокость убьет ее, и вы, господин лейтенант, знаете это не хуже меня. И именно потому, что вы это знаете, ваше бегство будет не только слабостью, не только трусостью, но и убийством, подлым, преднамеренным убийством!

Я невольно отшатнулся. В ту самую секунду, когда он произносит «убийство», я, словно при вспышке молнии, вижу руки Эдит, судорожно вцепившиеся в перила террасы. Мысленно я опять хватаю ее за плечи и удерживаю в последнее мгновение. Да, я знал, Кондор не преувеличивает: именно так она и делает — бросится с террасы; я вижу далеко внизу каменные плиты, вижу все так ясно, будто это происходит сейчас, будто это уже произошло, и воздух свистит у меня в ушах, точно я сам лечу вниз с пятого этажа.

А Кондор продолжал наступать на меня.

— Ну? Попробуйте отрицать! Проявите же наконец хоть каплю вашего профессионального мужества!

— Но, господин доктор... что же мне делать?.. Ведь не могу же я насиловать себя... не могу говорить то, чего не хочу говорить... притворяться, будто разделяю ее безумие?.. — И вдруг меня прорвало: — Нет, я этого не вынесу, не могу вынести! Я не могу — не хочу и не могу!

Последние слова я, кажется, выкрикнул уже совсем громко, потому что пальцы Кондора, словно тисками, сжали мою руку.

— Тише, ради Бога, тише! — Он бросился к выключателю и снова повернул его. Теперь только настольная лампа под желтоватым абажуром отбрасывала в темноту конус неяркого света.

— Черт возьми! С вами и вправду нужно разговаривать, как с больным. Сядьте-ка поудобнее. Здесь, на этом месте, обсуждались и не такие проблемы.

Он придвинулся ближе.

— Итак, пожалуйста, спокойнее и, прошу вас, не торопи-

тес, — обсудим все по порядку! Во-первых, вы все время хнычете: «Я не смогу этого вынести!» В чем тут дело? Я должен знать, чего вы не можете вынести? Что, собственно, вы находите ужасного в том факте, что бедная девочка по уши влюбилась в вас?

Я набрал воздуха, чтобы ответить, но Кондор перебил меня: — Не спешите, сначала подумайте! И главное — отбросьте всякий стыд! Вообще говоря, не мудрено испугаться, когда тебя ошеломляют страстным признанием, это я могу понять. Только болвана восхищает так называемый «успех» у женщин, только дурак похвастается им. Настоящий человек скорее растеряется, когда почувствует, что какая-то женщина от него без ума, а он не в силах ответить на ее чувство. Все это мне понятно. Но поскольку вы пребываете в состоянии необычайной, совершенно необычайной растерянности, я вынужден задать вам один вопрос: не играет ли в вашем случае определенную роль что-то особое, я имею в виду особые обстоятельства...

— Какие обстоятельства?

— Ну... что Эдит... такие вещи трудно сформулировать... я хочу сказать... не внушает ли вам ее... ее телесный изъясн некоторое... ну, что ли, физическое отвращение?

— Нет... ничего подобного! — с жаром протестую я. Ведь как раз ее беспомощность и незащитность неотвратно влекли меня к ней, и если в какие-то минуты у меня появлялось чувство, странно похожее на нежность любящего, то именно оттого, что ее страдания, ее одиночество и болезнь потрясали меня до глубины души. — Нет! Никогда! — повторил я почти оскорбленно. — Как могли вы подумать такое?

— Тем лучше. Это несколько успокаивает меня. Ведь врачам нередко приходится наблюдать случаи таких психических торможений у внешне нормальных людей. Я, правда, никогда не понимал мужчин, у которых малейший дефект в женщине вызывает что-то вроде идиосинкразии, но таких мужчин очень и очень много, и какая-нибудь родинка величиной с пятак на теле женщины полностью исключает для них возможность физической близости. К сожалению, такое отвращение, как и все

инстинкты, непреодолимо, — поэтому я вдвойне рад, что у вас этого нет и что, следовательно, вас отпугивает не ее хромота, а что-то другое. Но тогда мне остается лишь предположить, что... могу ли я говорить откровенно?

— Конечно.

— Что вас пугает вовсе не факт сам по себе, а его последствия... я хочу сказать, что вас приводит в ужас не столько влюбленность бедного ребенка, сколько то, что другие узнают и посмеются над этим... По моему мнению, ваша безграничная растерянность есть не что иное, как боязнь — простите меня — показаться смешным в глазах других, в глазах ваших товарищей.

У меня было ощущение, точно он вонзил мне в сердце тонкую острую иглу. То, о чем он говорил, я давно чувствовал подсознательно, но не осмеливался думать об этом. С самого первого дня я опасался, что странная дружба с парализованной девушкой может стать предметом насмешек моих товарищей, предметом их беззлобного, но беспощадного солдатского зубокальства; я слишком хорошо знал, как издевались они над каждым, кого им удавалось «поймать» с какой-нибудь «хилой» или непрезентабельной особой. Именно поэтому я инстинктивно воздвиг в своей жизни стену между моими двумя мирами, — между полком и Кекешфальвами. Нет, Кондор не ошибся в своем предположении: с той минуты, когда я узнал о страсти Эдит, меня больше всего мучил стыд перед ее отцом, перед Илоной, перед слугами, перед товарищами. Даже перед самим собой я стыдился своего злосчастного сострадания.

Тут я почувствовал, что рука Кондора успокаивающе гладит меня по колену.

— Не надо, не стыдитесь! Я, как никто другой, понимаю, что можно бояться людей, когда твое поведение не укладывается в их понятия. Вы видели мою жену. Никто не понимал, почему я женился на ней, а все, что выходит за рамки узкого и, так сказать, нормального кругозора обывателей, делает их сначала любопытными, а потом злыми. Мои уважаемые коллеги незамедлительно начали перешептываться, что я, де-

скасть, допустил ошибку в лечении и женился с перепугу, мои так называемые друзья тоже не отставали и распустили слух, что она богата или ожидает большого наследства. Моя мать, моя собственная мать, два года отказывалась принимать ее, потому что уже имела на примете другую партию, дочь профессора университета, знаменитого в то время терапевта; если бы женился на ней, то был бы через три недели доцентом, потом профессором и всю жизнь катался бы как сыр в масле. Но я знал, что эта женщина погибнет, если я брошу ее на произвол судьбы. Она верила только в меня, отними я у нее эту веру — ей нечем было бы жить. Признаюсь вам откровенно, я не раскаиваюсь в своем выборе. Дело в том, что у врача, именно потому, что он врач, совесть редко бывает совсем чиста. Мы знаем, как мало нам удастся помочь на самом деле. Разве одному справиться с неисчислимыми повседневными бедствиями? По каплям, наперстком черпаем мы из этого бездонного моря, и те, кого мы сегодня считаем исцеленными, завтра опять приходят к нам с новыми недугами. Тебя никогда не покидает чувство, что ты был слишком небрежен, слишком медлителен, и вдобавок еще промахи, ошибки, неизбежные в каждом ремесле; а тут по крайней мере остается утешение, что хотя бы одного человека ты спас, одно доверие не обманул, одно дело сделал так, как надо. В конце концов человек должен знать, была ли его жизнь напрасной, или он жил для чего-то. Поверьте мне, — и я вдруг услышал в его голосе теплоту, почти нежность, — все-таки стоит обременить себя тяжелой ношей, если другому от этого станет легче.

Его глубокий, проникновенный голос тронул меня. Внезапно я ощутил у себя в груди слабое жжение, то хорошо знакомое мне чувство, когда сердце, точно расширяясь, рвется наружу, и я почувствовал, как воспоминание об отчаянном одиночестве несчастной девушки вновь пробуждает во мне сострадание. Я знал, еще минута — и на меня хлынет тот бурный поток, устоять против которого я не в силах. «Нет — не уступать! — сказал я себе. — Ты уже выпутался, не позволяй опять втягивать себя в эту историю». И я решительно взглянул на Кондора.

— Господин доктор, каждый знает предел своих сил, хотя бы приблизительно. Поэтому я обязан предупредить вас: пожалуйста, не рассчитывайте на меня! Теперь вы, а не я, должны помочь Эдит. Я и так зашел уже гораздо дальше, чем собирался вначале, и честно говорю вам: я вовсе не такой благородный и самоотверженный, как вы думаете. Мои силы на исходе! Я больше не могу выносить, чтобы на меня молились, да еще делать вид, что мне это приятно. Лучше ей все объяснить сейчас, чем разочаровывать потом. Даю вам честное слово солдата, что мое предупреждение искренне: не рассчитывайте на меня, не переоценивайте меня!

Должно быть, я говорил очень твердо, потому что Кондор озадаченно посмотрел на меня.

— Это звучит так, словно вы уже решились на какой-то шаг. — Вдруг он поднялся. — Пожалуйста, всю правду, без недомолвок! Вы уже сделали что-то... чего нельзя изменить?

— Да, — сказал я в свою очередь, вставая с места и вынимая из кармана прошение об отставке. — Вот. Прошу вас, прочтите сами.

Кондор неуверенно взял листок и, бросив на меня встревоженный взгляд, отошел к письменному столу, где горела лампа. Потом тщательно сложил бумагу и обратился ко мне совершенно спокойным, деловым тоном, словно говорил о чем-то само собой разумеющемся.

— Я считаю, что после всего сказанного мною сегодня вы полностью отдаете себе отчет в последствиях: мы только что пришли к выводу, что ваше бегство равносильно убийству бедной девочки, убийству или самоубийству... Поэтому вам, я полагаю, абсолютно ясно, что этот лист бумаги является не только вашим прошением об отставке, но и... смертным приговором Эдит.

Я не ответил.

— Я задал вам вопрос, господин лейтенант! И я повторяю его: отдаете ли вы себе отчет в последствиях? Берете ли вы на себя ответственность?

Я опять промолчал. Он подошел и протянул мне сложенный листок.

— Благодарю! Я не желаю иметь ничего общего с этим. Возьмите!

Но рука моя висела, как парализованная. У меня не было сил поднять ее. И не было мужества выдержать его испытующий взгляд.

— Следовательно, вы не намерены давать ход этому... этому смертному приговору?

Я отвернулся и спрятал руки за спину. Он понял.

— Итак, я могу порвать это?

— Да, прошу вас.

Я услышал резкий звук разрываемой бумаги — раз, два, три — и шелест обрывков, падавших в корзину. Как это ни странно, но я вдруг почувствовал облегчение. Опять — уже во второй раз за этот роковой день — решалась моя судьба. Решалась без моего участия.

Кондор подошел и, мягко положив мне руку на плечо, снова усадил в кресло.

— Ну вот, я думаю, что сейчас мы предотвратили большое несчастье... очень большое несчастье! А теперь к делу! Как бы там ни было, но благодаря этому случаю я получил возможность до некоторой степени узнать вас... Нет, не спорьте. Я не переоцениваю вас, я не согласен с Кекешфальвой, который восхваляет вас, как необыкновенного, доброго человека, — напротив, для меня вы, с вашими неустойчивыми чувствами, с вашим каким-то особенным нетерпением сердца, весьма ненадежный партнер; и как бы ни радовался я тому, что предотвратил вашу безумную выходку, мне ни в коей мере не может импонировать поспешность, с какой вы принимаете решения и тут же отказываетесь от своих замыслов. На людей, чьи поступки до такой степени зависят от настроения, нельзя возлагать никакой серьезной ответственности. Если бы мне понадобилось поручить кому-нибудь дело, требующее терпения и упорства, вас я выбрал бы в последнюю очередь. Так вот, слушайте! Я хочу от вас немногого. Ведь мы уговорили Эдит на-

чать этот новый курс — вернее, курс, который она считает новым. Ради вас она решилась уехать, уехать на несколько месяцев, и, как вы знаете, до отъезда осталось восемь дней. Ну так вот, в эти восемь дней мне потребуется ваша помощь, и чтобы облегчить вам задачу, скажу сразу: через восемь дней все кончится. Мне ничего от вас не нужно, кроме обещания, что за неделю, которая остается до отъезда, вы не сделаете ничего опрометчивого, ничего неожиданного и, прежде всего, ни словом, ни жестом не выдадите своего страха перед нежным чувством бедной девочки. Пока я больше ничего не хочу от вас, я думаю, это самое меньшее, чего можно потребовать: восемь дней самообладания, когда на карту поставлена жизнь другого человека.

— Да... но потом?

— Пока не будет думать об этом. Когда я удаляю опухоль, то не спрашиваю, не появится ли она вновь через несколько месяцев. Когда меня зовут на помощь, я должен действовать не колеблясь. В жизни это всегда самое правильное, потому что самое человеческое. Все остальное — воля случая, или, как сказал бы верующий, Божья воля. За несколько месяцев может произойти все что угодно! Может быть, улучшение действительно наступит скорее, чем я ожидаю, может быть вдали ее страсть угаснет — я не могу заранее предусмотреть все возможности, а вам это и подавно ни к чему! Сосредоточьте все ваши силы только на одном — пусть она в эти решающие дни не почувствует, что ее любовь так... так пугает вас. Все время говорите себе: восемь дней, семь дней, шесть дней — и я спасу человека, не оскорблю, не разочарую, не обижу его, не отниму у него последнюю надежду. Восемь дней по-мужски твердого поведения — вы действительно считаете, что это вам не под силу?

— Напротив! — вырвалось у меня. И я добавил еще убежденнее: — Я выдержу! — Едва я услышал об определенном сроке, в меня словно влились новые силы.

Кондор глубоко вздохнул.

— Слава Богу! Теперь я могу признаться вам, что был

сильно встревожен. Поверьте, Эдит не пережила бы, если в ответ на ее письмо, на ее признание, вы бы попросту удрали. Потому-то ближайшие несколько дней — самые решающие. Все остальное уладится потом. А сейчас позволим бедной девочке немного побыть счастливой — подарим ей восемь дней безмятежного счастья; ведь за одну эту неделю вы ручаетесь, не так ли?

Вместо ответа я протянул ему руку.

— Ну-с, теперь, я думаю, все в порядке, и мы может присоединиться к моей жене.

Но он продолжал сидеть. Я почувствовал, что в нем зародилось какое-то сомнение.

— Еще одно, — негромко сказал он. — Нам, врачам, всегда приходится иметь в виду непредвиденные обстоятельства, мы должны быть готовы ко всяким случайностям. Если, не дай Бог, хотя это маловероятно, что-нибудь случится... — я хочу сказать, если силы покинут вас или подозрительная недоверчивость Эдит приведет к какому-нибудь кризису, — немедленно поставьте меня в известность. Ничего непоправимого не должно произойти за этот срок, короткий, но решающий. Если вы почувствуете, что не можете справиться со своей задачей, или произвольно выдадите себя — не стыдитесь, ради Бога, не стыдитесь меня, я видел достаточно обнаженных людей и надломленных душ! Вы можете прийти или позвонить мне в любое время дня и ночи, я всегда готов помочь вам — я знаю, что поставлено на карту. А сейчас, — кресло, стоявшее рядом с моим, сдвинулось, и Кондор поднялся, — переберемся лучше туда. Наш разговор немного затянулся, а мою жену легко разволновать. Прошли годы, но я должен все время быть начеку, чтобы не волновать ее. Кого однажды жестоко ранила судьба, тот навсегда остается легко ранимым.

Кондор опять подошел к выключателю, вспыхнула люстра. Когда он повернулся, его лицо, освещенное ярким светом, показалось мне иным, ибо я впервые заметил глубокие морщины на лбу этого человека, усталого до изнеможения. «Он всегда жертвовал собой для других», — подумал я. Мне вдруг показа-

лось жалким мое намерение спастись бегством от первой же неприятности, и я посмотрел на него с чувством благодарности.

Он, видимо, заметил это и улыбнулся.

— Как хорошо, — похлопал он меня по плечу, — что вы пришли ко мне и мы поговорили обо всем. Только представьте, что было бы, если б вы, не подумав как следует, сбежали. Всю жизнь вы бы несли эту тяжесть, потому что можно сбежать от чего угодно, только не от самого себя. А теперь пойдемте туда. Идемте, мой друг...

Слово «друг», подаренное мне Кондором в этот час, растрогало меня. Он знал, каким слабым, каким трусливым я был, и все же не испытывал ко мне презрения. Одним словом старший ободрил младшего, умудренный жизненным опытом вселил уверенность в новичка, робко вступающего в жизнь. Легко, словно сбросив тяжелую ношу, я последовал за ним.

Сначала мы прошли в приемную, потом Кондор открыл дверь в следующую комнату. Его жена сидела за еще не убраным обеденным столом и вязала. Глядя на эту кропотливую работу, никак нельзя было предположить, что руки, так легко и уверенно играющие спицами, принадлежат слепой; коробка с шерстью и ножницы были аккуратно разложены на столе. Ее слепота стала явной, только когда она подняла голову и в пустых зрачках заблестело миниатюрное отражение лампы.

— Ну, Клара, мы сдержали слово? — подходя к ней, сказал Кондор тем глубоким, проникновенным голосом, которым он всегда обращался к жене. — Не правда ли, мы совсем недолго? Если бы ты знала, как я рад приходу господина лейтенанта! Да, ты еще не знаешь — но присядьте же, дорогой друг! — ведь он служит в гарнизоне, в том самом городе, где живут Кекешфальвы, помнишь мою маленькую пациентку?

— Ах, это та бедная парализованная девочка, да?

— Вот-вот. Ты понимаешь, через господина лейтенанта я время от времени узнаю, что у них там нового, так что мне не надо самому ежедневно ездить туда. Он бывает у них почти

каждый день, чтобы немного скрасить бедняжке ее одиночество.

Слепая повернула голову в ту сторону, где предполагала найти меня. Жесткие черты ее лица вдруг смягчились.

— Как вы добры, господин лейтенант! Могу себе представить, какая это для нее радость, — кивнула она мне; ее рука, лежавшая на столе, невольно приблизилась к моей.

— Да и для меня это неплохо, — продолжал Кондор, — иначе мне пришлось бы гораздо чаще ездить туда, чтобы поддерживать в ней присутствие духа, ведь нервы ее совершенно расшатаны. И для меня громадное облегчение, что как раз сейчас, когда до ее отъезда в Швейцарию осталась всего неделя, лейтенант Гофмиллер немного присмотрит за ней. Правда, с ней не всегда бывает легко, но он действительно превосходно заботится о бедняжке, я знаю, что вполне могу на него положиться, больше, чем на любого из моих ассистентов и коллег.

Я сразу понял, что Кондор хочет еще крепче связать меня, напоминая о моих обязательствах в присутствии другого беспомощного существа; тем не менее я охотно пошел ему навстречу.

— Разумеется, вы можете положиться на меня, господин доктор. Конечно, все эти восемь дней, от первого до последнего, я буду ходить к ним и тотчас позвоню вам, если произойдет даже самый пустячный инцидент. Однако полагаю, — я многозначительно посмотрел на Кондора поверх головы слепой, — что никаких инцидентов, никаких затруднений не будет. Я уверен в этом.

— Я тоже, — подтвердил он с легкой улыбкой; мы прекрасно поняли друг друга.

Но тут губы его жены слегка дрогнули. Было видно, что ее что-то тревожит.

— Я еще не извинилась перед вами, господин лейтенант. Боюсь, что я была сегодня не совсем... не совсем любезна. Но эта глупая девчонка о вас не доложила, и я не имела ни малейшего представления о том, кто ожидает в приемной, а Эммерих еще ни разу не говорил мне о вас. Я подумала, что это кто-ни-

будь посторонний и что мужу опять не дадут отдохнуть, а ведь он всегда приходит домой смертельно усталый.

— Вы были совершенно правы, сударыня, и вам следовало проявить еще больше строгости. Простите за нескромность, но я боюсь, что ваш супруг слишком много отдает своей работе.

— Все, — с жаром перебила она, придвигаясь ко мне вместе с креслом. — Все, говорю я вам, — время, нервы, деньги. Из-за своих больных он не ест и не спит. Каждый эксплуатирует его, а я с моими слепыми глазами ничем не могу помочь ему, ни от чего не могу его уберечь. Если бы вы знали, как я тревожусь за него! Весь день я только и думаю: вот сейчас он все еще ходит голодный, сейчас он снова сидит в поезде, в трамвае, а ночью они его опять разбудят. У него для всех есть время, только не для себя. А кто благодарит его за это? Никто! Никто!

— В самом деле никто? — с улыбкой наклонился Кондор к разволновавшейся жене.

— Конечно, — покраснела она. — Ведь я абсолютно ничего не могу для него сделать! Пока он придет домой с работы, я вся изведусь от страха. Ах, если бы вы смогли повлиять на него. Ему нужен кто-то, кто бы хоть немного сдерживал его. Ведь нельзя же помочь всем...

— Но попытаться надо, — сказал он и посмотрел на меня. — Ведь для этого и живешь. Только для этого. — Его слова заставили мое сердце забиться сильнее. Но я спокойно выдержал его взгляд и принял решение.

Я поднялся. В эту минуту я дал обет. Услыхав, что я встал, слепая подняла голову.

— Вам действительно уже пора? — спросила она с искренним сожалением. — Как жаль! Но вы скоро опять придете, не правда ли?

У меня было какое-то странное чувство. В чем же дело, с удивлением спрашивал я себя, все доверяют мне, вот эта слепая восторженно устремляет на меня свои незрячие глаза, а этот человек, почти чужой, дружески кладет мне руку на плечо. Спускаясь по лестнице, я уже понимал, что привело меня

сюда час назад. Почему я, собственно, хотел бежать? Потому, что какой-то свирепый начальник грубо обругал меня? Потому, что какое-то бедное, искалеченное существо сторало от любви ко мне? Потому, что кто-то ждал от меня утешения и помощи? Ведь это прекрасно — помогать, это единственное, что действительно имеет цену и приносит награду. И когда я понял это, для меня стало внутренней необходимостью то, что еще вчера казалось невыносимой жертвой: быть благодарным человеку за его большую, пылкую любовь.

Восемь дней! С тех пор как Кондор ограничил выполнение моей задачи определенным сроком, я вновь почувствовал уверенность в себе. Я боялся только одного часа, одной минуты — той, когда мне придется встретиться с Эдит в первый раз после ее признания. Я знал, что после того, что между нами произошло, прежняя непринужденность уже невозможна, — первый взгляд после того жгучего поцелуя должен заключать в себе вопрос: простил ли ты меня? — и, возможно, даже более опасный: позволишь ли ты мне любить тебя, ответишь ли ты мне на мою любовь? Этот первый взгляд сквозь краску стыда, взгляд скрытого, но неудержимого нетерпения, мог — я отчетливо сознавал это — оказаться самым опасным и вместе с тем решающим. Одно неловкое слово, один фальшивый жест — и сразу же станет явным то, что должно оставаться тайным, а это значит, что свершится непоправимое, грубое и оскорбительное, против чего меня так настойчиво предостерегал Кондор. Но стоит мне выдержать этот взгляд, и я спасен, а может быть, навсегда спасена и Эдит.

Едва я на следующий день переступил порог усадьбы, как мне стало ясно, что Эдит, которую те же самые опасения сделали предусмотрительной, приняла необходимые меры, чтобы не встретиться со мною с глазу на глаз. Уже в вестибюле я услышал звонкие голоса нескольких женщин, болтавших между собой; очевидно, она, на те часы, когда наше общество обычно не нарушалось приходом гостей, пригласила знакомых, чтобы с их помощью пережить критический момент.

Не успел я войти в гостиную, как навстречу мне — то ли следуя инструкциям Эдит, то ли по собственному побуждению — с наигранной веселостью устремилась Илона. Она представила меня супруге окружного начальника и ее дочери — веснушчатому дерзкому созданию (которую, кстати, Эдит терпеть не могла), а затем подтолкнула к столу: благодаря этому все сошло незаметно. Мы пили чай и болтали. Я с жаром втолковывал что-то задорному веснушчатому провинциальному гусенку, в то время как Эдит беседовала с ее матерью. Такое, отнюдь не случайное, размещение гостей ослабило двумя изолирующими прослойками незримый контакт между мной и Эдит, я получил возможность не смотреть в ее сторону, хотя временами ощущал на себе ее тревожный взгляд. И даже когда гости наконец поднялись, сообразительная Илона тут же нашла выход.

— Я только провожу дам. Вы пока можете начать вашу партию в шахматы. Потом мне еще нужно будет сделать кое-какие приготовления к отъезду, но через час я вернусь.

— Хотите сыграть? — спросил я Эдит вполне непринужденно, в то время как гости выходили из комнаты.

— С удовольствием, — ответила она, опустив глаза.

Эдит смотрела вниз, пока я ставил доску и тщательно, чтобы выиграть время, расставлял фигуры. По старому правилу, чтобы решить, кому начинать, мы обычно прятали за спиной черную и белую фигуры. Но сейчас такой прием заставил бы нас заговорить, произнести хотя бы одно слово: «в правой» или «в левой»; даже этого мы оба постарались избежать, и я сразу расставил фигуры. Лишь бы не разговаривать! Запереть все мысли в квадрат из шестидесяти четырех клеток! Не отрываясь смотреть только на фигуры, не глядеть даже на пальцы, которые их передвигают! Мы притворялись, что увлечены игрой, как самые заядлые шахматисты, забывающие во время игры обо всем на свете.

Но вскоре сама игра обнаружила наше притворство. В третьей партии Эдит окончательно спасовала. Она делала неверные ходы, дрожь ее пальцев ясно говорила, что ей не выдер-

жать этого неестественного молчания. Посреди игры она отодвинула доску.

— Хватит! Дайте мне сигарету!

Я вынул из гравированного серебряного портсигара сигарету и услужливо зажег спичку. Когда вспыхнул огонек, я не мог не взглянуть Эдит в глаза. Их застывший взгляд не был направлен ни на меня, ни на какой-либо определенный предмет; словно замороженные ледяным гневом, они выжидали, отчужденно и неподвижно, а над ними напряженно вздрагивали дуги бровей. Я сразу понял — это знак, предвещающий грозу.

— Не надо! — произнес я, не на шутку испугавшись. — Пожалуйста, не надо!

Но она откинулась на спинку кресла. Я видел, как дрожь пробежала по всему ее телу и пальцы все глубже впивались в подлокотники.

— Не надо! Не надо! — еще раз попросил я. Кроме этих умоляющих слов, мне ничего не приходило в голову. Но плотина, сдерживавшая рыдания, уже прорвалась. Это были не бурные, громкие рыдания, а — что еще страшней — тихий, надрывающий душу плач с закушенной губой, плач, который стыдится самого себя, но который невозможно унять.

— Не надо! Прошу вас, не надо! — сказал я и, чтобы успокоить ее, наклонившись, положил ей на руку ладонь. Точно электрический ток пробежал по ее руке к плечу.

В ту же секунду дрожь прекратилась, снова наступило оцепенение, она больше не шевелилась. Все тело ее словно ждало, прислушивалось, стараясь понять, что скрывалось за моим прикосновением: означало ли оно нежность, любовь или только сострадание? Было страшно глядеть, как она ждала, не дыша, ждала всем своим чутко внимавшим телом. Я не находил в себе мужества убрать руку, которая так чудодейственно, в один миг укротила нахлынувшие рыдания; а с другой стороны, у меня не было сил, чтобы заставить свои пальцы сделать какое-нибудь нежное движение, которого Эдит, ее пылающая кожа — я чувствовал это — ожидали с таким нетерпением. Моя рука лежала как чужая, и у меня было такое ощущение, будто

вся кровь Эдит, горячая, пульсирующая, прилила к одному этому месту, устремляясь ко мне.

Я не знаю, долго ли оставалась моя ладонь безвольно лежать на ее руке, потому что время, казалось, стояло без движения, как воздух в комнате. Потом я почувствовал, что Эдит начинает тихонько напрягать мускулы. Не глядя на меня, она правой рукой мягко сняла мою руку со своей и потянула к себе; медленно притягивала она ее все ближе к сердцу, и вот, робко и нежно, к ее правой руке присоединилась левая. Они очень мягко взяли мою большую, тяжелую мужскую руку и принялись ласкать ее нежно и боязливо. Сначала ее тонкие пальцы блуждали, словно любопытствуя, по моей неподвижной ладони, почти не касаясь ее, подобно легким дуновениям. Затем я почувствовал, как эти робкие детские прикосновения отважились пробежать от запястья до кончиков пальцев, как они внутри и снаружи, снаружи и внутри, вкрадчиво и испытующе исследовали все выпуклости и впадины, как они сначала испуганно замерли, дойдя до твердых ногтей, но потом и их ощупали со всех сторон, и снова пробежали, до самого запястья, и опять вверх и вниз, вверх и вниз, — это было знакомство, ласковое и робкое, такое, при котором она бы никогда не осмелилась по-настоящему крепко взять мою руку, сжать, стиснуть ее. Словно струйки теплой воды омывали мою ладонь — такой была эта ласка-игра, шаловливо-застенчивая, бережная и стыдливая. И все же я чувствовал, что в частице моего «я», отданного ей во владение, влюбленная обнимала всего меня. Непроизвольно ее голова откинулась на спинку кресла, словно для того, чтобы с еще большим удовольствием наслаждаться невинной лаской; она лежала передо мной, будто во сне, в грезах, — с закрытыми глазами, чуть приоткрытым ртом, и выражение полного покоя смягчало и в то же время внутренне озаряло ее лицо, а ласковые пальцы ее снова и снова с упоением пробегали по моей руке от запястья до кончиков пальцев. В этой ласке не было никакого вожделения — лишь тихая радость оттого, что она наконец-то, хоть на мгновение, может обладать какой-то частичкой моего тела и выразить свою безграничную

любовь; с тех пор ни в одном женском объятии, даже в самом пылком, мне не приходилось ощущать такую потрясающую нежность, какую я познал в этой легкой, почти мечтательной игре.

Не помню, как долго это продолжалось. Такие переживания существуют вне привычного хода времени. От робких прикосновений и поглаживаний исходило что-то одурманивающее, обольщающее, гипнотизирующее; они волновали и потрясали меня больше, чем жгучие поцелуи в ее спальне. Я все еще не находил в себе сил отнять руку («Лишь позволь мне любить тебя», — вспомнилось мне) — в тупом оцепенении, словно во сне, наслаждался я этой лаской, струившейся по моей коже, и я покорился ей, бессильный, беззащитный, в то же время подсознательно испытывая стыд оттого, что меня так безгранично любили, а я сам не испытывал ничего, кроме робости и смятения.

Но постепенно мое собственное оцепенение стало для меня невыносимо: утомляла не ласка, не блуждание по моей руке теплых, нежных пальцев, не их легкие и пугливые прикосновения, меня мучило то, что моя рука лежала как мертвая, словно и она и человек, ласкавший ее, были мне чужими. Я смутно понимал (так слышишь в полусне звон колоколов на башне), что должен либо уклониться от этой ласки, либо ответить на нее. Но у меня не было сил сделать ни то, ни другое, мне хотелось только одного: скорее покончить с этой опасной игрой; и вот я осторожно напряг мускулы и очень медленно начал высвобождаться из невесомых пут — незаметно, как я надеялся. Но обостренная восприимчивость моментально, еще раньше, чем я сам осознал свое намерение, подсказала Эдит смысл этого движения, и в испуге она сразу освободила мою руку. Ее пальцы словно вдруг отпали, кожа моя перестала ощущать струящееся тепло. Смутьившись, я убрал руку, ибо в ту же секунду лицо Эдит потемнело, она опять по-детски надула губы, их уголки уже начали вздрагивать.

— Не надо! Не надо! — прошептал я ей, другие слова не приходили мне на ум. — Сейчас войдет Илона. — И, так как я

видел, что от этих пустых, беспомощных слов ее дрожь только усилилась, во мне опять внезапно вспыхнуло чувство сострадания. Я наклонился к Эдит и быстро коснулся губами ее лба.

Но зрачки ее серых глаз смотрели строго и отчужденно, она глядела как бы сквозь меня, будто угадывала мои тайные мысли. Я не сумел обмануть ее ясновидящее чувство. Она поняла, что я сам, отняв руку, уклонился от ее ласки и что торопливый поцелуй означал не любовь, и лишь смущение и жалость.

Это было ошибкой, непоправимой, непростительной ошибкой, несмотря на искренность моих добрых намерений, я не проявил великого терпения и не нашел в себе сил, чтобы притвориться. Напрасным оказалось мое стремление ничем — ни словом, ни взглядом, ни жестом — не дать ей заподозрить, что ее нежность меня тяготит. Снова и снова вспоминал я предостережения Кондора о том, какая ответственность ляжет на меня, сколько вреда я причиню, если обижу этого легко ранимого человека. «Позволь ей любить тебя, — без конца повторял я себе, — притворись на эти восемь дней, но пощади ее гордость. Не дай ей заподозрить, что ты обманываешь ее, обманываешь вдвойне, когда с бодрой уверенностью говоришь о ее скором выздоровлении, а сам внутренне дрожишь от страха и стыда. Веди себя непринужденно, совсем непринужденно, — снова и снова увещевал я себя, — постарайся придать своему голосу сердечность, своим рукам ласковую нежность».

Но между женщиной, которая однажды призналась в своем чувстве мужчине, и этим мужчиной все становится накаленным, таинственным и опасным, даже воздух. Любящие обладают каким-то сверхъестественным даром угадывать подлинные чувства любимого, а так как любовь, по извечным законам, всегда стремится к беспредельному, то все обычное, все умеренное претит ей, невыносимо для нее. В сдержанности любимого она подозревает сопротивление, в малейшей уклончивости с полным правом видит скрытую оборону. Наверное, в те дни в моих словах звучала какая-то фальшь, а в моем поведении чувствовались какая-то неловкость и замешательство —

как я ни старался, мне не удалось обмануть Эдит. Неудача постигла меня в самом главном: я не мог убедить ее, и она с тревогой недоверия ощущала все острее, что я не даю ей того единственного, того настоящего, чего она жаждала: любви в ответ на любовь. Иногда посреди разговора, как раз в тот момент, когда я усерднее всего добивался ее доверия, ее сердечности, она вдруг бросала на меня испытующий взгляд своих серых глаз, и я был вынужден опускать ресницы. При этом у меня было такое чувство, будто она вонзала в меня какой-то зонд, чтобы исследовать самую глубину моего сердца.

Так прошло три дня — пытка для меня, пытка для нее; в ее взгляде, в ее молчании я постоянно ощущал ожидание, немое, жадное. Потом — кажется, это случилось на четвертый день — Эдит начала проявлять странную враждебность, которую я первое время не мог себе объяснить. Как обычно, я пришел рано и принес ей цветы. Она взяла их, почти не глядя, и небрежно отложила в сторону, давая этим понять, что я напрасно рассчитываю подкупить ее подарками. Полупрезрительно бросив: «Ну к чему такие красивые цветы!» — она тут же отгородилась стеной демонстративного, враждебного молчания. Я попытался завязать непринужденный разговор, но она в лучшем случае отвечала односложно: «вот как», или: «любопытно, любопытно», с оскорбительной ясностью показывая, что мой разговор ее ни в малейшей степени не интересует. Она намеренно подчеркивала свое безразличие даже внешне: повертела в руках книгу, полистала ее, отложила в сторону, забавлялась самыми различными предметами, раз или два притворно зевнула, потом позвала слугу, спросила его, уложил ли он шиншилловую пелерину, и лишь после его утвердительного ответа снова повернулась ко мне, холодно бросив: «Ну, рассказывайте дальше», — так что нетрудно было угадать невысказанный конец фразы: «Ведь мне совершенно безразлично, что вы тут болтаете».

В конце концов я почувствовал, что силы мои на исходе. Все чаще и чаще поглядывал я на дверь — не придет ли кто-нибудь, Илона или Кекешфальва, чтобы спасти меня от моих отчаян-

ных монологов. Но от Эдит не ускользнули эти взгляды. Со скрытой издевкой она спросила как бы участливо: «Вы что-нибудь ищете? Вам что-нибудь нужно?» И, к своему стыду, я не нашел ничего лучшего, как сказать: «Нет, нет, ничего». Возможно, самое разумное, что я мог бы сделать, это открыто принять бой и прикрикнуть на нее: «Чего вы, собственно, хотите от меня? Зачем вы меня мучаете? Я могу и уйти, если вам так угодно». Но ведь я обещал Кондору не раздражать и не сердить ее; и вместо того чтобы одним рывком сбросить с себя груз этого озлобленного молчания, я, как дурак, битых два часа тянул разговор, словно тащась по горячему песку безмолвной пустыни. Но наконец появился Кекешфальва, робкий, как всегда в последнее время, и, пожалуй, еще более растерянный.

— Не пойти ли нам к столу? — предложил он.

За столом Эдит сидела напротив меня. Ни разу она не подняла глаз, никому не сказала ни слова. Мы все явно ощущали нарочитость, оскорбительность ее гнетущего молчания. Тем упорнее я пытался поднять настроение. Я рассказывал о нашем полковнике, который, как запойный пьяница, в июне и июле регулярно «заболевал маневрами»; по мере приближения этого события наш придира делался все более невыносимым. Мне казалось, что воротник душит меня, впиваясь в шею, но, чтобы сплести эту глупую историю, я присочинял все новые и новые подробности. Однако смеялись только двое, да и то натянуто, тщетно стараясь сгладить мучительное молчание Эдит, которая вот уже в третий раз вызывающе зевнула. «Только не останавливаться», — сказал я себе и продолжал:

— У нас сейчас такая гонка, никто не понимает, что он делает. Несмотря на то что вчера два улана свалились от солнечного удара, этот живодер с каждым днем все круче берет нас в оборот. Никто уже не знает, когда он вылезет из седла: одержимый предманевренной лихорадкой, полковник по двадцать-тридцать раз заставляет повторять самые глупейшие упражнения. С большим трудом, — добавил я, — мне еще удалось сегодня улизнуть, но смогу ли я завтра прийти вовремя, об этом

знает лишь всевышний да господин полковник, который в эту пору считает себя его заместителем на земле.

Конечно, это была совершенно невинная фраза, которая никого не могла обидеть или взволновать; я произнес ее самым веселым, непринужденным тоном, обращаясь к Кекешфальве и даже не глядя на Эдит (ее неподвижный, устремленный в пустоту взгляд давно уже стал для меня невыносим). Вдруг что-то зазвенело. Эдит бросила на тарелку нож, которым нервно играла все это время, и не успели мы прийти в себя от неожиданности, как она взорвалась:

— Ну, если вам это причиняет такие хлопоты, то оставайтесь лучше в казарме или в кафе. Уж мы как-нибудь переживем!

Словно пуля ударила в стекло — мы все онемели и уставились друг на друга.

— Эдит! — умоляюще прошептал Кекешфальва пересохшими губами.

Но она откинулась на спинку стула и продолжала с издевкой:

— Надо же иметь сострадание к замученному человеку! Почему бы не дать господину лейтенанту передышки! Что касается меня, я охотно предоставляю ему отпуск.

Кекешфальва и Илона растерянно переглянулись. Оба понимали, что долго сдерживаемое возбуждение обрушилось на меня совершенно незаслуженно; по тому, как испуганно они повернулись ко мне, я догадался: они боятся, что на грубость я отвечу грубостью. Поэтому я постарался быть особенно сдержанным.

— Знаете, в сущности, вы правы, Эдит, — сказал я тепло, насколько позволило мне бешено колотившееся сердце. — Когда я задерганный прихожу к вам, из меня вряд ли получается интересный собеседник; я сам чувствую, что основательно надоел вам сегодня! Но ничего не поделаешь, несколько дней вам все-таки придется довольствоваться моей скучной персоной. Ну, сколько времени я еще смогу бывать у вас? Оглянуться не успеешь, и вот дом уже пуст и вы все далеко. У меня все

еще никак не укладывается в голове, что нам осталось быть вместе всего четыре дня, четыре или, вернее, три с половиной...

С другой стороны стола раздался судорожный резкий смех, словно кто-то разорвал платок.

— Ха-ха-ха! Три с половиной дня! Ха-ха! Он высчитал с точностью до половины, когда наконец-то отделается от нас! Наверное, специально купил себе календарь и отметил там красным: праздник — их отъезд! Но берегитесь! Иногда можно здорово просчитаться! Ха-ха-ха! Три с половиной дня, три с половиной, половиной, половиной, половиной...

Эдит смеялась все сильнее, окидывая нас жестким взглядом, она вся дрожала, ее трясло как в лихорадке. Я чувствовал, что охотнее всего она бы убежала, — при ее возбужденном состоянии это было бы самым понятным, самым естественным, — но неподвижные ноги не могли поднять ее с кресла. Это вынужденное бессилие придавало ее гневу какую-то трагическую беспомощность и озлобленность животного, запертого в клетке.

— Сейчас я позову Йозефа, — шепнула ей побелевшая как мел Илона, за долгие годы привыкшая угадывать каждое ее движение. Озабоченный отец тоже подошел к ней, но страх его оказался напрасным. Как только вошел слуга, Эдит молча позволила ему и отцу увезти себя, не сказав ни слова на прощанье или в извинение; только теперь, видя нашу растерянность, она, вероятно, поняла, что наделала.

Мы с Илоной остались одни. У меня было такое чувство, как у человека, который среди обломков разбившегося самолета начинает постепенно приходиться в себя после пережитого ужаса, не понимая, что с ним, собственно, произошло.

— Вы должны простить ее, — торопливо прошептала Илона, — она сейчас все ночи проводит без сна. Мысль об этой поездке ужасно волнует ее и... Вы ведь не знаете...

— Нет, Илона, я знаю. Я знаю все, — сказал я. — И поэтому я завтра приду опять.

«Выдержать! Выстоять!» — настойчиво внушал я себе, когда

шел домой, взволнованный этой сценой до глубины души. — Выстоять любой ценой! Ты обещал это Кондору, на карту поставлено твое слово. Не давай сбить себя с толку нервами и капризами. Всегда помни, что эта враждебность — не что иное, как отчаяние человека, который любит тебя и перед которым ты виноват тем, что сердце твое остается черствым и холодным. Не отступать до последней минуты — ведь осталось всего три с половиной дня! Еще три дня, и ты выдержишь испытание, сможешь вздохнуть свободно, сбросить с себя этот груз на недели, на месяцы! А сейчас — терпение, терпение... только это последнее усилие, эти последние три с половиной дня, последние три дня!

Кондор знал, что делал. Только неизмеримое, необъятное пугает нас, и, наоборот, все определенное, все, что имеет предел, побуждает нас выдержать испытание, становясь мерой наших сил. Три дня... я чувствовал, что справлюсь, и это вселяло в меня уверенность. На следующее утро я отлично выполнял свои обязанности, а это уже немало, потому что мы выехали на учебный плац часом раньше обычного и носились как угорелые, пока воротники не взмокли от пота. К моему удивлению, мрачный полковник даже бросил мне на ходу: «Молодец!» Тем яростнее разразилась в это утро гроза над графом Штейнхюбелем. Будучи страстным лошадиником, он как раз позавчера раздобыл новую молодую чистокровную лошадь, длинноногую, рыжую, с неукротимым нравом; понадеявшись на свое искусство, он неосторожно выехал на плац, предварительно не объездив ее как следует. В разгар учения эта тварь вдруг встала на дыбы, испугавшись тени пролетающей птицы, в другой раз, во время атаки, она попросту понесла, и не будь Штейнхюбель превосходным наездником, весь полк получил бы возможность полюбоваться весьма забавным сальто-мортале. Лишь после нескольких акробатических номеров ему удалось усмирить эту фурию, но трудная победа не удостоилась одобрения полковника. Он раз и навсегда запрещает цирковые трюки на учебном плацу, рычал Бубенчич, и если уж господин граф ничего не понимает в верховой езде, он бы по крайней

мере позаботился, чтобы лошадь объездили там, где это умеют делать, а не позорился бы перед нижними чинами.

Извительное замечание больно задело ротмистра. На обратном пути в казарму и потом в казино он не переставал возмущаться этой несправедливостью. Вся беда в том, что у коня слишком горячая кровь. Вот увидите, он еще покажет себя, этот рыжий, когда из него выбьют дурь. Но чем больше расплялся граф, тем больше поддразнивали его товарищи. «Ты здорово влип», — ехидничали они и в конце концов разозлили его по-настоящему. Спор разгорался все сильнее. Во время этой бурной дискуссии ко мне подошел вестовой:

— Господина лейтенанта просят к телефону!

Я вскакиваю с дурным предчувствием. Последние дни телефон, телеграммы и письма не приносили мне ничего, кроме трепки нервов и огорчений. Что ей опять понадобилось? Может быть, она сожалеет, что отпустила меня на сегодняшний вечер? Ну, если она раскаивается в этом, тогда все обойдется. На всякий случай я плотно закрываю за собой обитую войлоком дверь телефонной будки, словно прерывая тем самым всякую связь между моим служебным миром и тем, другим. Это Илона.

— Я только хотела сказать, — слышу я в трубке ее голос, несколько смущенный, как мне кажется, — что вам лучше не приходиться сегодня. Эдит себя не совсем хорошо чувствует...

— Надеюсь, ничего серьезного? — перебиваю я.

— Нет, нет... просто я думаю, лучше дать ей отдохнуть сегодня, и потом (как медленно она говорит)... и потом... один день теперь уже не играет роли. Ведь мы должны... ведь нам придется отложить отъезд.

— Отложить?

Вероятно, в голосе моем послышался испуг, потому что она торопливо добавила:

— Да... но, мы надеемся, всего на несколько дней... впрочем, поговорим об этом завтра или послезавтра... может быть, я еще позвоню вам... я только хотела вас предупредить... Итак, сегодня лучше не надо и... и... всего хорошего, до свиданья!

— Да, но... — бормочу я в трубку и уже не получаю ответа. Прислушиваюсь еще несколько секунд. Ответа нет. Она повесила трубку. Странно, почему она вдруг прервала разговор? Так внезапно, словно боялась дальнейших расспросов. Здесь что-то есть... И вообще — почему отложили? Почему отложили отъезд? Ведь все было решено... «Восемь дней», — сказал Кондор. Восемь дней — я уже окончательно настроился на этот срок, и вот теперь снова... Невозможно... просто невозможно!.. Я этого не вынесу, не вынесу... в конце концов у каждого есть нервы... Я хочу, чтобы меня наконец оставили в покое...

Неужели в этой телефонной будке действительно так жарко? Задыхаясь, я с силой толкаю дверь и бреду на свое место. Кажется, никто не заметил, как я вышел. Штейнхюбель все еще отбивается от насмешек, а около моего пустого стула упорно ждет солдат с блюдом жаркого. Механически, чтобы скорее отделаться от этого парня, кладу себе на тарелку два куска, но не притрагиваюсь к еде, потому что в висках невыносимо стучит, словно маленькие молоточки безжалостно выбивают: «Отложили! Отъезд отложили!» Здесь должна быть какая-то причина. Несомненно, что-то случилось. Она серьезно заболела? Я оскорбил ее? Почему она вдруг передумала ехать? Ведь Кондор обещал мне: я должен потерпеть только восемь дней, и пять из них я уже выдержал... Но больше я не могу... просто не могу!

— О чем задумался, Тони? Наша кухня тебе, кажется, не по вкусу? Ну да сразу видать, в чем тут дело, — привычка к благородной пище. Я всегда говорил, что наше общество уже недостаточно изысканно для него.

Вечно этот проклятый Ференц с его добродушным тягучим смехом, опять эти грязные намеки, точно я там, у Кекешфальвов, прихлебатель!

— Пошел ты к черту с твоими идиотскими шуточками! Оставь меня в покое! — обрываю я его. Должно быть, в моем голосе прорвалась вся накопившаяся злость, потому что два прапорщика, сидящие напротив, с нескрываемым удивлением поднимают глаза.

Ференц кладет на стол вилку и нож.

— Тони, — произносит он с угрозой, — я не позволю разговаривать со мной таким тоном! Надеюсь, что шутки пока еще не запрещены за нашим столом. Если тебе кажется, что где-то готовят вкуснее, — пожалуйста, это твое дело, меня это не касается. А за нашим столом мне позволено заметить, что ты не притрагиваешься к обеду.

Сидящие рядом с любопытством смотрят на нас. Стук ножей и вилок сразу стихает. Даже майор, сощурившись, пристально глядит через весь стол. Я понимаю, что надо поскорее загладить свою грубость.

— Может быть, Ференц, — отвечаю я, принуждая себя засмеяться, — ты позволишь моей башке немножко потрепаться?

Ференц тут же меняет тон:

— Пардон, Тони! Кто же мог знать? В самом деле, ты выглядишь чертовски неважно. Я уже несколько дней замечаю — с тобой что-то неладно. Ну, ты-то выкрутись, за тебя я не беспокоюсь.

Ко всеобщему удовлетворению инцидент исчерпан, но злость во мне не утихает. Что они делают со мной, те, в усадьбе? То туда, то сюда, то вверх, то вниз — нет, я не позволю изводить себя! Я сказал — три дня, три с половиной дня, и ни часу больше! Откладывают они там или нет — меня это не касается! С этой минуты я больше не позволю трепать мне нервы, к черту проклятое сострадание! Еще, чего доброго, сойдешь с ума от всего этого.

Я должен сдерживаться, чтобы не обнаружить бурлящую во мне ярость. Мне хочется схватить стакан и раздавить его или ударить кулаком по столу; я чувствую, надо что-то сделать, чтобы разрядить напряжение, только не сидеть вот так и ждать, напишут ли они мне или позвонят, отложат ли отъезд или нет. Я просто не могу больше. Я должен что-то сделать.

Меж тем спор о лошади графа продолжается.

— А я тебе скажу, — издевается тощий Йोजи, — этот тип из Нови-Йичина здорово надул тебя. Я тоже кое-что смыслю в

лошадях, с этой тварью тебе не сладить, с ней никто не справится.

— Вот как? Хотел бы я посмотреть, — внезапно вмешиваюсь в разговор, — действительно ли с этой лошадию нельзя справиться. Скажи, Штейнхюбель, ты не будешь возражать, если я сейчас займусь твоим рыжим и часок-другой погоняю его, пока он не покорится?

Не знаю, как пришла мне в голову эта мысль. Но потребность выместить свою злость на ком-то или на чем-то, потребность драться, наносить удары искала выхода так лихорадочно, что я жадно ухватился за первый предоставившийся случай. Все с удивлением уставились на меня.

— Желаю удачи, — смеется граф Штейнхюбель, — если ты уж так расхрабрился; ты сделаешь мне одолжение. Сегодня мне пришлось дергать эту бестию до тех пор, пока не свело пальцы; будет неплохо, если за нее возьмется кто-нибудь со свежими силами. Если не возражаешь, мы можем сразу начать. Пошли!

Все вскакивают, предвкушая удовольствие от настоящей «травли». Мы идем в конюшню, чтобы вывести Цезаря. Штейнхюбель, пожалуй, несколько преждевременно дал своему лихому коню это непобедимое имя. Когда мы шумно столпились у стойла, Цезарь сразу забеспокоился: он принюхивается, тревожно переступает ногами, пританцовывает и так дергает недоуздки, что трещат доски. Не без труда удастся нам вывести недоверчивое животное на манеж.

В общем-то я был весьма посредственным наездником и не мог равняться с таким заядлым кавалеристом, как Штейнхюбель. Но сегодня он не нашел бы никого лучше меня, и неукротимый Цезарь не мог встретиться с более опасным противником. Ибо в этот день ярость напрягла во мне каждый мускул; злобное желание с кем-то расправиться, что-то подчинить себе было настолько сильным, что я с каким-то почти садистским удовольствием старался показать хотя бы этому упрямому животному (ведь недостигаемому нельзя нанести удар!), что мое терпение имеет предел. Бравый Цезарь носился как бешеный,

бил копытами в стены, вставал на дыбы, пытался сбросить меня, прыгая в сторону, — ничего не помогало. Я беспощадно рвал трензель, словно хотел выломать коню все зубы, молотил его каблуками по ребрам, и такое обхождение быстро отбило у него охоту фокусничать. Меня возбуждало, увлекало, вдохновляло его упорное сопротивление, а одобрительные возгласы офицеров: «Черт возьми, он даст ему жару!» или: «Посмотрите-ка на Гофмиллера!» — придавали мне отваги. Когда физическое усилие приводит к успеху, это всегда порождает чувство удовлетворения; уже после получаса отчаянной борьбы я сидел в седле победителем, а подо мной тяжело дышало и дымилось мокрое от пота, словно только что из-под горячего душа, укрощенное животное. Шея и сбруя в клочьях белой пены, уши покорно прижаты, и еще через полчаса этот непобедимый уже кроток и слушается меня; больше не нужно сжимать шенкеля, и я спокойно могу спешиться и принять поздравления товарищей. Но во мне еще слишком много боевого задора, и это ощущение приподнятости так радует меня, что я прошу у Штейнхюбеля позволить мне часок-другой поездить по учебном плацу — рысью, конечно, — чтобы вспотевшая лошадь остыла.

— Ну еще бы, — смеясь, кивает Штейнхюбель. — Я уже вижу, ты вернешь мне его в полном порядке. Теперь-то он не будет выкидывать фортелей. Bravo, Тони, поздравляю!

И вот под бурные аплодисменты товарищей я выезжаю из манежа и, ослабив поводья, направляю измученную лошадь через весь город в луга. Она идет легко и свободно, и сам я чувствую себя так же легко и свободно. За этот напряженный час я вколотил всю свою злость и ожесточение в своенравное животное; сейчас Цезарь идет рысью, кроткий и мирный, и — надо отдать справедливость Штейнхюбелю — у коня действительно чудесный ход. Нельзя скакать более красиво, плавно, упруго. Постепенно моя первоначальная досада уступает место приятному, почти мечтательному настроению — я наслаждаюсь. Добрый час даю лошади порезвиться на просторе и лишь после этого, в половине пятого, медленно пускаюсь в обратный

путь. На сегодня нам хватит, и Цезарю и мне. Слегка покачиваясь в седле, легкой рысью я возвращаюсь в город по хорошо знакомому шоссе, меня уже чуть-чуть клонит ко сну. Вдруг за моей спиной раздается гудок автомобиля, громкий, резкий. Мой чуткий рысак тотчас настораживает уши и начинает дрожать. Но я вовремя натягиваю поводья, беру лошадь в шенкеля, направляю к обочине и останавливаюсь под деревом, чтобы дать дорогу автомобилю.

Его, кажется, ведет внимательный шофер, который правильно понимает мой маневр. Он подъезжает очень медленно, на самой малой скорости, так что едва слышны выхлопы мотора; мне нет никакой надобности напряженно следить за лошадью и сжимать шенкеля, каждый миг ожидая, что она прыгнет вбок или попятится назад, — сейчас, когда автомобиль проезжает мимо нас, Цезарь стоит довольно тихо. Я спокойно могу оглянуться. Но, подняв глаза, замечаю, что кто-то кивает мне из открытой машины, и узнаю круглую лысину Кондора рядом с яйцеобразной, покрытой белым пушком головой Кекешфальвы.

Не знаю, лошадь ли дрожит подо мной, или меня самого охватила дрожь. Что это значит? Кондор здесь и не дал мне знать? Он был, вероятно, у Кекешфальвы, ведь старик сидел с ним рядом в машине! Но почему они не остановились поздороваться со мной? Почему они промчались мимо? И почему Кондор опять очутился здесь? Ведь с двух до четырех у него обычно прием в Вене. Должно быть, его спешно вызвали рано утром. Конечно, что-нибудь случилось. Это безусловно связано со звонком Илоны, с тем, что они вынуждены отложить поездку, и мне нельзя приходить сегодня. Наверное, что-то случилось, что-либо такое, о чем мне не хотят говорить! Она что-то сделала над собой вчера вечером, в ней было что-то решительное, какая-то насмешливая уверенность, какая бывает у людей, замышляющих злое, опасное. Ну конечно, она что-то сделала над собой! Не поскакать ли мне за ними, может, я еще догоню Кондора на вокзале!

Но, возможно, он и не собирается уезжать. Нет, если дейст-

вительно произошло что-то плохое, он ни в коем случае не уедет, не известив меня. Может быть, в казарме уже лежит записка от него. Я знаю, этот человек ничего не сделает тайком от меня, во вред мне. Этот человек не оставит меня одного. Тогда живо домой! Без сомнения, там меня уже ждет письмо, записка от него или он сам. Скорей!

Подъехав к казарме, я быстро отвожу лошадь в конюшню и по боковой лестнице, чтобы не слушать поздравлений и прочей болтовни, бегу к себе. Действительно, у дверей комнаты меня ожидает денщик; по растерянному выражению его лица и опущенным плечам я догадываюсь: что-то случилось... С некоторым замешательством Кузьма докладывает, что ко мне пришел какой-то господин в штатском, и он, Кузьма, не осмелился не впустить его, потому что у господина очень срочное ко мне дело. Вообще-то Кузьме строго-настрого запрещено пускать кого-либо в мое отсутствие. Вероятно, Кондор дал ему на чай, недаром у него такой смущенный и испуганный вид. Впрочем, его растерянность сразу сменяется удивлением, когда я, вместо того, чтобы устроить ему разнос, миролюбиво бросаю: «Ну ладно, ладно», — и подхожу к двери. Слава Богу, думаю я, Кондор пришел и все мне расскажет.

Я рывком распахиваю дверь и тут же замечаю, как в противоположном углу затененной комнаты (из-за жары Кузьма спустил шторы) шевельнулась, выступая из тени, чья-то фигура. Я готов уже радостно броситься на встречу Кондору, но вдруг вижу, что это вовсе не Кондор. Это не он, а тот, кого я меньше всего ожидал встретить у себя, — Кекешфальва! И будь здесь еще темнее, я все равно узнал бы его из тысячи, узнал по тому, как он смущенно встал и поклонился. И еще до того, как он, откашлявшись, заговорил, я уже знал, что его голос прозвучит взволнованно и смиренно.

— Простите меня, господин лейтенант, — произнес он, кланяясь, — что я без предупреждения ворвался сюда. Но доктор Кондор поручил мне передать вам особый привет и сказать, чтобы вы не сердились на него за то, что он не остановил машину... времени оставалось в обрез, он должен был не-

пременно успеть на скорый в Вену, поскольку вечером у него там... и... и вот... он попросил меня передать вам, что крайне сожалеет. Именно поэтому... я хочу сказать, только поэтому... я и позволил себе без приглашения прийти к вам.

Он стоит передо мной, склонив голову под тяжестью невидимого бремени. В темноте тускло поблескивает его лысина, едва прикрытая редкими волосами. Его раболепная поза начинает мало-помалу раздражать меня. И неприязнь подсказывает верную догадку: за этими сбивчивыми объяснениями что-то кроется. Не полезет старый человек с больным сердцем на третий этаж, чтобы передать ничего не значащий привет. Это можно было с тем же успехом сделать по телефону или вообще отложить до завтра. «Внимание! — говорю я себе. — Кекешфальва чего-то от тебя хочет. Однажды он точно так же возник из тьмы; начнет смиренно, как нищий, — и вот уже навязал тебе свою волю, словно джинн из сказки милосердному юноше. Только не поддаваться! Не позволять обвести себя вокруг пальца. Ни о чем не спрашивать, ничего не выяснять, как можно быстрее отделаться от него и выпроводить из комнаты».

Но передо мной стоит старый, больной человек и голова его униженно склонена. Сквозь редкие волосы просвечивает бледная кожа; и как во сне, я вспоминаю голову бабушки, склоненную над вязаньем: бабушка вязала и рассказывала сказки своим маленьким внукам. Нельзя просто так выставить за дверь больного старика. И я, все еще не наученный горьким опытом, указываю ему на стул.

— С вашей стороны, господин Кекешфальва, это любезно. Право же, слишком любезно.

Кекешфальва не отвечает. Возможно, он даже не расслышал моих слов. Но движение руки, конечно, понял. Он робко присаживается на краешек предложенного стула. Наверное, так робко сиживал он в молодости за даровым угощением у чужих людей, вдруг подумалось мне. И теперь он, миллионер, сидит точно так же на моем расшатанном стуле. Он медленно снимает очки, достает из кармана носовой платок и начинает протирать стекла. «Ну нет, милейший, я уже стреляный воро-

бей: я знаю все твои штучки, и зачем ты протираешь стекла, тоже знаю. Ты их нарочно протираешь, чтобы выиграть время. Ты хочешь, чтоб я заговорил первым, чтоб я спросил тебя, я даже знаю, какого вопроса ты ждешь: действительно ли Эдит так больна и почему она отложила отъезд. Но я держусь насто-роже. Начинай сам, если хочешь мне что-то сказать. Я палец о палец не ударю ради тебя. Нет, второй раз я уже не попадусь на эту удочку — хватит с меня проклятого сострадания, этого вечного «еще» и «еще»! Довольно намеков и недомолвок. Хочешь чего-то от меня — выкладывай начистоту, да поскорей, и не прячься за дурацким протираанием стекол. От меня ты больше ничего не дождешься, я по горло сыт состраданием».

Старик решительно откладывает в сторону тщательно протертые очки, словно прочитав на моих сжатых губах все невысказанные слова. Он уже понял, что я не желаю помочь ему и что придется начинать самому; упорно не подымая головы и не глядя на меня, он начинает говорить. Он обращается не ко мне, а к столу, словно ждет от твердого, растрескавшегося дерева больше сострадания, чем от меня.

— Я знаю, господин лейтенант, — с трудом начинает он, — что не имею никакого, ни малейшего права отнимать у вас столько времени. Но что же мне делать, что же нам делать? Я больше не могу, мы все больше не можем... Один Бог знает, что на нее нашло, но с ней нельзя разговаривать, она никого не слушает... я-то ведь знаю, что она не нарочно так поступает, не по злобе... просто она несчастна... беспредельно, безгранично несчастна... и это с горя, поверьте мне, только с горя.

Я выжидаю. Что он хочет сказать? Что она с ними выделяет? Что именно? Говори же. Ну зачем ты ходишь вокруг да около, почему не выкладываешь сразу, в чем дело?

Но старик отсутствующим взглядом смотрит на стол.

— А ведь все уже было обговорено. Заказаны места в спальном вагоне и лучшие комнаты. Еще вчера днем она сгорала от нетерпения: сама отбирала книги, которые возьмет с собой, примеряла новые платья и меховую накидку, которую я выписал из Вены. И вдруг ее словно подменили вечером после ужи-

на. Я просто ничего не понимаю. Вы ведь помните, как она была возбуждена. Илона не понимает, и никто не понимает, что вдруг на нее нашло. Но она говорит, и кричит, и клянется, что ни за что отсюда не уедет, даже если дом подожгут со всех четырех углов. Она не желает участвовать в этом обмане и не позволит дурачить себя — вот как она говорит. От нее просто хотели избавиться, спихнуть ее куда-нибудь подальше, вот и выдумали новое лечение. Но мы просчитались, мы все просчитались: она просто-напросто никуда не поедет, она останется, останется...

У меня мороз пробежал по коже. Так вот откуда этот злобный смех вчера за ужином. Уж не заметила ли она, что я больше не в силах притворяться, и устроила все это представление нарочно, чтобы я пообещал приехать к ней в Швейцарию?

«Нет, нет, только не уступать, — приказываю я себе. — Не подавать виду, как это тебя взволновало! Только бы старик не догадался, что, если она останется, ты просто не выдержишь».

И я, прикинувшись дурачком, самым равнодушным тоном изрекаю:

— Не беда, как-нибудь все уладится. Вы ведь не хуже меня знаете, как быстро меняется у нее настроение. Да и потом Илона мне говорила, что отъезд задерживается дня на два, не больше.

Старик вздыхает так глухо, словно с этим вздохом из его груди уходят последние силы.

— Ах, если бы это было так!.. Но ведь это самое страшное!.. Я боюсь... мы все боимся, что она вообще никуда не поедет... Не знаю, не могу понять, но ей вдруг стало безразлично, выздоровеет она или нет. «Я не позволю больше себя терзать, нечего меня лечить, все равно это бесполезно!» Вот как она заговорила, и таким голосом, что у меня сердце останавливается. «Теперь уж вы меня не обманете, — кричит она сквозь слезы, — я все насквозь вижу, все вижу... все!»

Я быстро соображаю: «Господи ты Боже мой, неужели она

что-нибудь заметила? Неужели я выдал себя? Или Кондор допустил какую-нибудь неосторожность? Возможно, какое-нибудь невинное замечание навело ее на мысль, что с этим курсом лечения дело обстоит не совсем чисто? Может быть, ее прозорливость, ее чудовищно прозорливое недоверие в конце концов подсказало ей, что мы отсылаем ее нарочно?» Я осторожно нащупываю почву:

— Ничего не понимаю... Ведь ваша дочь так безгранично доверяла доктору Кондору, а он настойчиво рекомендовал этот курс лечения... Я просто ничего не понимаю.

— Но так оно и есть!.. В этом-то и беда: ей вообще уже не нужно никакого лечения, она не желает, чтобы ее вылечили! Вы знаете, что она сказала?.. «Ни за какие блага в мире я отсюда не уеду... Я по горло сыта вашим обманом! Уж лучше остаться калеккой, как сейчас, и никуда не ездить. Я не хочу, чтобы меня вылечили, не хочу! Теперь это все равно не имеет смысла».

— Не имеет смысла? — растерянно переспрашиваю я. Но старик опускает голову еще ниже, мне больше не видно ни слез в его глазах, ни очков. И только по движению редких волос я могу догадаться, что его бьет нервная дрожь. Потом он неразборчиво бормочет:

— «Какой смысл, чтоб меня вылечили, — говорит нам она и плачет, — какой смысл, если он... он... — Старик переводит дыхание и с огромным трудом выдавливает из себя: — Он... не испытывает ко мне ничего, кроме сострадания».

Меня обдает холодом, когда Кекешфальва говорит «он». Впервые отец осмеливается намекнуть на чувства своей дочери ко мне. Мне давно уже казалось странным, что он избегает встречаться со мной глазами, не смеет даже взглянуть на меня, а ведь раньше Кекешфальва относился ко мне с такой нежной, даже навязчивой заботой. Я знал, что его удерживает просто стыд, — ведь старику так тяжело смотреть, как его дочь сходит с ума по человеку, который бежит от нее. Как, должно быть, терзался он ее тайными признаниями, как стыдился ее неприкрытого желания. Он, как и я, уже не может быть непринужден-

ным. Кто скрывает что-нибудь или вынужден скрывать, тот уже не может открыто смотреть в глаза другому.

Но вот слово сказано, один и тот же удар поразил оба сердца — его и мое. И мы оба, после того как произнесено предательское слово, сидим молча и стараемся не глядеть друг на друга. В узком пространстве между ним и мной в неподвижном воздухе повисло молчание. Вот оно растет, ширится, словно черный газ поднимается к потолку, заполняет всю комнату; сверху, снизу, со всех сторон нас теснит и давит эта пустота, я чувствую по его прерывистому дыханию, как молчание сдавливает ему горло. Пройдет еще миг, и молчание задушит нас обоих, если только кто-нибудь из нас не разорвет его словом, не уничтожит гнетущую, убийственную пустоту.

И вдруг что-то происходит: сперва я замечаю только, что старик сделал какое-то движение — неуклюжее, неловкое. А потом он валится со стула словно мягкая, бесформенная масса. С грохотом падает стул.

«Приступ!» — первая мысль, которая приходит мне в голову. Сердечный приступ, ведь у него больное сердце, Кондор же мне говорил. Вне себя от ужаса я бросаюсь к нему, чтобы помочь ему встать и уложить его на диван. И тут только до меня доходит: старик вовсе не рухнул на пол, не упал со стула — он сам, сам сполз с него. Он нарочно (от волнения я в первую минуту ничего не заметил) опустился на колени и теперь, когда я хочу поднять его, подползает ко мне, хватая за руки и молит:

— Вы должны ей помочь... вы можете ей помочь, вы один... И Кондор говорит: вы один, и больше никто!.. Умоляю вас, сжальтесь... Дальше так нельзя, она сделает что-нибудь над собой, она погубит себя!

Как ни дрожат у меня руки, я рывком поднимаю старика с колен. И он цепляется за мои руки, — словно когти, впиваются в мое тело судорожно сжатые пальцы. Вот он джинн, джинн из моего сна, тот, что насилует милосердного.

— Помогите ей! — задыхается он. — Ради Бога, помогите... Нельзя бросать ребенка в таком состоянии. Поверьте мне, это

для нее вопрос жизни и смерти. Вы себе не представляете, какие страшные вещи говорит она в отчаянии. Она должна покончить с собой... уйти с дороги, чтобы дать вам покой, и нам всем тоже дать наконец покой. И это не только слова, она может это сделать. Ведь она уже дважды пыталась — один раз вскрыла вены, другой — приняла снотворное. Если она чего-нибудь захочет, ее уже никто не остановит, никто, только вы еще можете ее спасти, только вы... клянусь вам, вы один...

— Разумеется, разумеется, господин Кекешфальва... вы только успокойтесь. Само собой разумеется, я сделаю все, что в моих силах. Хотите, поедем вместе, я попытаюсь уговорить ее. Я сейчас же поеду с вами. Решайте, что я должен ей сказать и что сделать.

Он выпустил вдруг мою руку и взглянул на меня.

— Что сделать?.. Вы в самом деле ничего не понимаете или просто не хотите понять? Она ведь открыла вам свое сердце, предложила себя и теперь до смерти стыдится этого. Она писала вам, а вы не ответили на ее письма, теперь она день и ночь думает только об одном: что вы хотите отослать ее, избавиться от нее, потому что вы ее презираете... она вне себя от страха, ей кажется, что она внушает вам отвращение, потому что она... потому что... Неужели вы не понимаете, что это может убить человека, да еще вдобавок такого страстного, такого гордого, как мое дитя? Почему вы не подадите ей хоть слабую надежду? Почему не скажете ни слова, почему вы так жестоки, так бессердечны по отношению к ней? Почему вы так страшно мучаете бедного, невинного ребенка?

— Но ведь я же сделал все возможное, чтобы успокоить ее... я ведь сказал ей...

— Ничего вы ей не сказали! Да разве вы сами не видите, что она сходит с ума от ваших визитов, от вашего молчания, что она ждет только одного... только единственного слова, которого ждет каждая женщина от своего любимого... Она ведь ни на что не осмеливалась надеяться, пока была так больна... Но теперь, когда она наверняка должна выздороветь, совсем, совсем выздороветь через неделю-другую, почему бы теперь ей не ожи-

дать того же, на что вправе рассчитывать любая другая девушка, почему нет?.. Она же сама сказала вам, призналась, как нетерпеливо ждет от вас хоть одного слова... больше она не может просить милостыни... А вы, вы не говорите ни слова, не говорите того единственного, которое могло бы сделать ее счастливой. Неужели это и в самом деле приводит вас в ужас? Ведь у вас будет все, что только может иметь человек. Я стар, я болен. Все, чем владею, я оставлю вам: и поместье, и шесть-семь миллионов, которые нажил за сорок лет, — все, все достанется вам... когда вы хотите, хоть завтра, в любой день, в любой час... Мне самому ничего больше не надо... мне надо только, чтобы кто-нибудь позаботился о моем ребенке, когда меня не будет на свете. Я знаю, вы добрый, порядочный человек, вы будете жалеть ее, будете хорошо с ней обращаться.

Он задыхался. Обессиленный, беспомощный, упал он на стул. Но и у меня не было больше сил, я в изнеможении опустился на другой стул. Так мы и сидели друг против друга, молча, не поднимая глаз, Бог весть сколько времени. Только изредка я чувствовал, как дрожит стол, в который он вцепился, потому что столу передавалась дрожь его тела. Потом я слышу (опять прошла целая вечность) сухой звук, какой бывает, если ударить по твердому твердым. Его склоненная голова падает на стол. Я ощущаю страдания этого человека, и желание утешить его беспредельно ширится во мне.

— Господин Кекешфальва, — склоняюсь я над ним, — доверьтесь мне... мы все обдумаем... спокойно обдумаем... Повторяю, я целиком в вашем распоряжении, я сделаю все, что в моей власти... Вот только то... на что вы мне намекаете... это невозможно... невозможно... совершенно невозможно.

Он слабо вздрогнул, как оглушенный зверь, которого приканчивают последним ударом. Влажные от возбуждения губы шевельнулись, но я не дал ему возразить.

— Нет, нет, это невозможно, господин Кекешфальва, не будем больше об этом говорить... Вы только подумайте сами... ну что я такое... ничтожный лейтенант, который живет только на свое жалованье и еще на небольшую субсидию от родных...

с такими ограниченными средствами нельзя как следует устроить свое будущее, на них не проживешь, а тем более — вдвоем... (Он хотел перебить меня.) Я знаю наперед, что вы скажете, господин фон Кекешфальва. О деньгах нечего говорить, думаете вы, с деньгами все будет в порядке. Да, я знаю, что вы богаты... что я мог бы получить от вас все... Но именно потому, что вы так богаты, а я ничто и никто... именно потому это невозможно. Ведь любой подумает: он поступил так из-за денег... и всю жизнь я сам... да и Эдит тоже, уж поверьте мне... всю жизнь ее будет терзать подозрение, что я женился на ней только ради денег и не посчитался... не посчитался с особыми обстоятельствами. Поверьте мне, господин фон Кекешфальва, это невозможно... при всем моем искреннем уважении к вашей дочери... при всем... при всем хорошем отношении... Словом, вы должны меня понять.

Старик не двигается. Поначалу мне кажется, что он вообще не понял моих слов. Потом его поникшее тело шевельнулось. Он хватается обеими руками за край стола; я догадываюсь, что он хочет поднять непослушное тело, хочет встать, но это ему не удастся, силы изменяют ему. Наконец он встает, дрожа от напряжения, темная фигура в темной комнате, зрачки, застывшие, словно черное стекло. Потом каким-то чужим, зловеще спокойным голосом, словно его собственный, человеческий голос умер в нем, он произносит:

— Ну, тогда... тогда все кончено.

Страшный, невыносимый голос, невыносимая, полная отрешенность. Взгляд по-прежнему устремлен в пустоту, а рука ощупью отыскивает на столе очки. Отыскивает, но не подносит их к застывшим глазам — к чему видеть? к чему жить? — и неловко сует в карман. Синеватые пальцы, в которых Кондор увидел смерть, снова бегают по столу и наконец нащупывают на самом краю черную смятую шляпу. Он оборачивается, чтобы уйти, и бормочет, не глядя на меня:

— Простите за беспокойство.

Шляпа надета косо, ноги плохо повинуются ему, они шаркают и заплетаются. Как лунатик, бредет он к дверям. Потом,

словно вспомнив что-то, снимает шляпу, кланяется и повторяет:

— Простите за беспокойство.

Он мне кланяется, старый, надломленный человек, и этот жест вежливости в минуту такого потрясения добивает меня. Я вдруг снова чувствую, как горячая волна захлестывает меня, поднимается к глазам, и я становлюсь слабым и податливым: сострадание — уже в который раз — побеждает меня. Не могу я отпустить его ни с чем, старика, который пришел предложить мне свою дочь, единственное, что у него есть на земле, не могу отдать его во власть отчаяния и смерти. Не могу лишить его жизни. Я должен ему сказать что-то утешающее, успокаивающее, целительное. И я бросаюсь за ним.

— Господин фон Кекешфальва! Ради Бога, не поймите меня превратно... Нельзя вам уйти просто так и сказать ей... это было бы ужасно для нее и... и не соответствовало бы действительности.

Волнение мое все растет. Я замечаю, что он меня совсем не слушает. Соляной столб отчаяния — вот что стоит передо мной, тень в тени, живое воплощение смерти. Меня одолевает желание утешить его.

— Да, это не соответствовало бы действительности, клянусь вам!.. и для меня нет ничего ужаснее, чем обидеть вашу дочь... обидеть Эдит... или внушить ей мысль... что я неискренне относился к ней... а ведь никто, никто не относился к ней сердечнее, чем я... Это простая бредовая идея... вообразить, будто она мне безразлична... напротив... да, да, напротив... я просто считал, что бессмысленно сейчас... сегодня принимать решение... сегодня, когда важно только одно... чтобы она берегла себя... чтобы она выздоровела по-настоящему!

Он вдруг повернулся ко мне. Зрачки, совсем недавно мертвые и неподвижные, сверкнули в темноте.

— А потом... когда выздоровеет?..

Я испугался. Внутренним чутьем я угадал опасность. Если я сейчас дам какое-нибудь обещание, я буду связан по рукам и ногам. Но тут же спохватываюсь: то, на что она надеется,

обман. Ей не выздороветь вот так, сразу. Пройдут годы и годы; не надо заглядывать далеко вперед, говорил Кондор, лишь бы она сейчас успокоилась и утешилась. Почему бы не подать ей надежду, почему бы не осчастливить ее хоть ненадолго? И я говорю:

— Ну, когда она выздоровеет, тогда, конечно, тогда... я сам бы пришел к вам.

Он не сводит с меня глаз. Дрожь пронизывает его тело, мне кажется, будто что-то подталкивает его изнутри.

— Можно... можно... я ей это скажу?

И опять я чую опасность. Но у меня больше нет сил сопротивляться его молящему взгляду. Я уверенно отвечаю:

— Да, скажите ей, — и протягиваю ему руку.

Его глаза сверкают, увеличиваются, устремляются мне навстречу. Такой взгляд, наверное, был у Лазаря, когда тот, еще ничего не понимая, восстал из гроба и снова увидел небо и белый свет. Рука Кекешфальвы в моей, она дрожит все сильнее и сильнее. Вдруг голова его начинает склоняться, ниже, ниже... Я вовремя вспоминаю, как он тогда склонился ко мне и поцеловал мою руку. Я вырываю у него свою руку, а сам все твержу:

— Скажите ей, ради Бога, скажите ей, пусть не тревожится. Сейчас важно одно! Выздороветь, как можно скорей выздороветь... Для себя, для всех нас!

— Да, да, — повторяет он в экстазе, — выздороветь, как можно скорее выздороветь! Теперь она уедет не мешкая и выздоровеет... из-за вас и ради вас. Я знал это с первой минуты, сам Бог послал мне вас... Нет, нет, я не буду вас благодарить... Бог вас вознаградит... А теперь я уйду... нет, нет, не провожайте меня, не беспокойтесь, я уйду.

И другой, не знакомой мне, легкой, упругой походкой он пошел — нет, побежал, к дверям, черные полы его сюртука развевались, как крылья. Дверь захлопнулась со звонким, чуть ли не веселым стуком. А я остался один в пустой комнате, немного растерянный, как всегда, когда сделаешь решающий шаг, еще не обдумав всего. И только через час я до конца понял, какую ответственность на меня налагает то, что я обещал в

порыве малодушного сострадания, я понял это тогда, когда мой денщик, робко постучав в дверь, вручил мне письмо на голубой бумаге, так хорошо мне знакомой.

«Послезавтра мы уезжаем. Так я обещала папе. Простите мне все, что я вытворяла в последние дни, но я с ума сходила от страха при мысли, что я вам в тягость. Теперь-то я знаю, зачем и для кого я должна выздороветь. Теперь я больше ничего не боюсь. Приходите завтра пораньше, если можно. Никогда еще я не ждала вас с таким нетерпением. Всегда ваша Э.».

«Всегда!» Невольный трепет охватил меня при виде этого слова, которое безвозвратно, навеки связывает человека. Но пути назад уже не было. Еще раз сострадание пересилило мою волю. Я себя отдал. Я больше не принадлежал себе.

«Возьми себя в руки, — сказал я себе. — Твое полуобещание, которое навсегда останется невыполненным, последнее, чего они могли от тебя добиться. Еще день, ну, два дня ты должен терпеливо сносить эту нелепую любовь; потом они уедут — и ты спасен». Но чем ближе время подвигалось к вечеру, тем беспокойнее становилось у меня на душе, тем больше мучила меня мысль предстать с ложью на сердце перед ее нежным и доверчивым взглядом. Напрасно старался я весело болтать с приятелями — я ежеминутно ощущал в мозгу какую-то пульсацию, подергивание каждого нерва и внезапную сухость в горле, словно приглушенный огонь тлел у меня глубоко внутри. Совершенно машинально я заказал себе коньяку и немедленно проглотил его. Но это не помогло, сухость по-прежнему сводила горло. Я повторил заказ, но только после третьей порции понял, зачем пью: глотая коньяк, я хотел набраться смелости, чтобы там, при свидании, не струсить и не раскиснуть. Я хотел заранее усыпить какое-то чувство — то ли страх, то ли стыд, что-то очень хорошее или что-то очень дурное. Да,

да, секрет был именно в этом — недаром же солдатам перед атакой выдают двойную порцию водки, — хотел оглушить и одурманить себя, чтобы не столь остро ощущать то сомнительное и, быть может, опасное, что ожидает меня. Но после первых трех стаканов у меня отяжелели ноги, а в голове зашумело и зажужжало, как бормашина, перед тем как сверло больно вонзится в зуб. Нет, совсем не с ясной головой, не уверенно и уж никак не радостно, медленно я шагал по бесконечно длинному шоссе — а может, оно просто показалось мне таким бесконечным? — к страшному дому, чувствуя, что у меня замирает сердце.

Но все оказалось проще, чем я думал. Иное, лучшее забвение, иное, более тонкое и чистое опьянение ожидало меня, нежели то, которое я пытался найти во хмелю. Ибо тщеславие тоже одурманивает, благодарность тоже оглушает, нежность тоже кружит голову. В дверях, ликуя, меня встретил старый славный Йозеф.

— Это вы, господин лейтенант! — Он вскрикнул, от волнения переступил с ноги на ногу и украдкой взглянул на меня так, как глядят в церкви — иначе не скажешь — на иконы. — Входите, входите, господин лейтенант! Пожалуйте в гостиную. Фрейлейн Эдит ожидает вас с самого утра, — прошептал он, стыдливо пытаясь умерить свой восторг.

Я удивлялся, я задавал себе вопрос: почему этот посторонний человек, этот старый лакей смотрит на меня с такой радостью? За что он так меня любит? Неужели люди становятся добрее и счастливее при виде чужой доброты и чужого сострадания? Значит, прав Кондор, значит, тот, кто помог хотя бы одному-единственному человеку, жил не напрасно, значит, и впрямь стоит отдавать всего себя людям, все свои силы — до последнего? Тогда оправдана каждая жертва; и даже ложь, если она приносит счастье другим, важнее любой правды. Я пошел увереннее; совсем по-иному шагает человек, когда он знает, что несет с собой радость.

Но вот навстречу мне выбежала Илона, и она тоже сияла от радости, и взгляд ее ласкал меня, как и ее нежные смуглые

руки. Еще никогда она не пожимала мою руку так сердечно и так тепло.

— Спасибо, — сказала она, и чудилось, будто ее голос доносится до меня сквозь теплый летний дождь. — Вы даже не представляете себе, как много вы сделали для нашей девочки! Вы спасли ее! Бог свидетель, вы спасли ее! Пойдемте скорей, нет слов передать, как она ждет вас.

Но тут тихо скрипнула другая дверь; мне и раньше казалось, будто за ней кто-то стоит и прислушивается. Кекешфальва вошел в комнату, и в глазах его были не смерть и не страх, а краткая радость.

— Как хорошо, что вы пришли. Вы себе даже не представляете, до чего она изменилась. За все годы, с тех самых пор, как стряслось это несчастье, я еще ни разу не видел ее такой веселой, такой счастливой. Свершилось чудо, поистине чудо! Боже, как много вы сделали для нее и для всех нас!

Старик не мог договорить. Он глотнул, вскрипнул, но тут же устыдился своего волнения, которое мало-помалу охватывало и меня самого. Ибо кто остался бы равнодушным при виде такой безграничной благодарности? Я никогда не страдал особым тщеславием, никогда не принадлежал к числу тех, кто восторгается самим собой или превозносит себя, и по сей день я не верю ни в свою доброту, ни в свои силы, — но от этих восторгов, безудержных, неумеренных, меня невольно заливала горячая волна уверенности в себе, словно благодатный ветер унес все страхи, всю трусость. Почему и не позволить любить себя, ни о чем не заботясь, если это приносит людям счастье? Теперь мне уже не терпелось как можно скорей войти в ту комнату, которую я третьего дня покинул в полном отчаянии.

Но что это, в кресле сидит девушка, которую я едва узнаю: такой у нее веселый взгляд, такой свет исходит от нее. В шелковом платье нежно-голубокого цвета она кажется еще воздушнее — девочка, почти ребенок. В каштановых волосах мерцают — уж не мирты ли это? — какие-то белые цветы, а вокруг кресла — кто ей столько подарил? — корзины, корзины с цве-

тами, море цветов. Наверное, она уже давно знала, что я пришел, наверное, она слышала и веселые приветствия, и мои приближающиеся шаги. Но сегодня я не встретил беспокойно испытующего, недоверчивого взгляда из-под полуопущенных ресниц. Она сидела выпрямившись, легко и непринужденно; в этот раз я даже забыл, что плед скрывает увечье и что глубокое кресло для нее темница, — совсем позабыл, ибо не переставал удивляться, глядя на это незнакомое существо, чья радость стала еще более детской, а красота более женственной. Она заметила мое удивление и приняла его как заслуженный дар. Прженим, беззаботным приятельским тоном она обратилась ко мне:

— Ну, наконец-то! Садитесь поближе. И ничего не говорите. Мне нужно сказать вам что-то очень важное.

Я спокойно сел. Разве можно оставаться смущенным и растерянным, когда с вами говорят так по-дружески, так просто?

— Уделите мне всего одну минуту. Ведь вы не станете меня перебивать, верно? — Я почувствовал, что она взвесила и продумала каждое слово. — Я знаю все, что вы говорили отцу. Я знаю, что вы хотите для меня сделать. А теперь, поверьте мне: я тоже обещаю, тоже даю вам слово, что никогда — вы слышите? — никогда не спрошу, почему вы так поступили, ради отца или ради меня самой. Из сострадания или... нет, только не перебивайте, — я не хочу этого знать, не хочу... не хочу больше ломать себе голову, мучить себя, мучить других. Довольно с меня и того, что я вновь живу благодаря вам и буду жить... что я только вчера начала жить. Когда я выздоровлю, я буду знать, кому я этим обязана. Вам. Вам одному.

Помедлив, она продолжала:

— А теперь послушайте, что обещаю я. Этой ночью я все хорошенько обдумала. Впервые в жизни я рассуждала трезво, как здоровая, а не так нетерпеливо и взволнованно, как раньше, когда я еще не была уверена в своем выздоровлении. Какое счастье — только теперь я это поняла — думать без страха, какое счастье — ощущать все так, как ощущает здоровый че-

ловек, — и вам, вам одному я обязана этим. Я все вытерплю, чего только врачи ни потребуют от меня, все, лишь бы стать человеком, а не быть таким убожеством. Я не сдамся, не отступлю, ибо теперь я знаю, что поставлено на карту. Всеми фибрами моей души, каждой каплей моей крови я буду стремиться к выздоровлению, и я думаю, что если человек желает чего-нибудь так страстно — он добьется своего, Бог поможет ему. И все это я делаю ради вас, вернее — для того, чтобы не принимать от вас жертвы. Но если ничего не выйдет... нет, нет, только не перебивайте... если ничего не выйдет или выйдет, но не совсем, если я не совсем выздоровлю, не смогу двигаться так, как другие, тогда вам нечего будет бояться! Тогда я сама все улажу. Я знаю, бывают такие жертвы, которые нельзя принимать, и уж меньше всего — от любимого человека. Итак, если меня подведет это лечение, на которое я возлагаю все надежды — все! — тогда вы больше меня не увидите и ничего обо мне не услышите. Я не буду вам в тягость, клянусь вам! Я больше не хочу никому быть в тягость, а уж вам — и подавно. Ну вот, а теперь все. И больше ни слова. Нам осталось быть вместе всего несколько часов, и эти немногие часы я хочу быть счастливой.

Другой голос — голос взрослого человека. Другие глаза — не беспокойные глаза ребенка, не зовущие, умоляющие глаза больного. И другой любовью, — я сразу почувствовал это, — любила она меня сегодня; не тайной любовью первых дней, испуганной, отчаянной. Да и я смотрел на нее совсем по-иному, сострадание к ее горю не подавляло меня, как прежде, во мне уже не было ни настороженности, ни страха, одна только сердечность и ясность. Сам того не понимая, я впервые ощутил настоящую нежность к этой кроткой девушке, озаренной отблеском грядущего счастья. Не замечая этого, не сознавая даже своего желанья, я подсел к ней поближе, чтобы взять ее за руку, и она не ответила мне, как тогда, страстным трепетом. Нет, тихо и покорно лежало ее узкое запястье в моей руке, и я с радостью чувствовал, как мирно постукивает молоточек ее пульса.

Мы непринужденно заговорили о предстоящей поездке, о всяких будничных мелочах, о городских новостях и о казарме. Я не мог понять, зачем я терзался, если все оказалось так легко и просто: ты приходишь в гости к девушке, подсаживаешься к ней и берешь ее руку в свою. И нечего прятать и скрывать, — видно, что отношения между обоими самые сердечные; и незачем обороняться против нежности, и можно без стыда и с искренней признательностью принимать вкушенные тобой чувства.

Потом мы сидели за столом. Серебряные канделябры мерцали в зареве свечей, цветы вырывались из ваз, словно пестрые языки пламени, свет хрустальной люстры отражался в зеркалах, а вокруг, словно раковина, хранящая жемчужину, молчал большой дом. Порой, когда сквозь распахнутые окна доносился аромат сада, я, казалось, слышал, как вздыхают деревья, как ветер страстно ласкает траву. Все было прекраснее, чем обычно. Старик сидел словно пастор, торжественно выпрямившись; никогда Эдит и Илона не казались такими молодыми и веселыми; никогда не пылала так ярко тонкая кожура фруктов. Мы ели, пили и радовались обретенному покою. Беззаботный птицей порхал между нами смех, от одного к другому; игривой волной плескалось веселье. Лишь когда лакей налил шампанское и я, подняв бокал, взглянул на Эдит — «За ваше здоровье!» — все вдруг стихли.

— Да, выздороветь! — Она вздохнула и доверчиво посмотрела на меня, словно мое желание было властно над жизнью и смертью. — Выздороветь для тебя.

— Дай Бог! — Отец вскочил, он не мог более сдерживаться. На глазах его выступили слезы, он снял очки и старательно протер их. Я чувствовал, что ему мучительно хочется дотронуться до меня.

Мне тоже захотелось выразить ему свою благодарность: я подошел и обнял старика; его борода коснулась моей щеки. Когда он высвободился из моих объятий, я увидел, что Эдит смотрит на меня. Ее губы чуть заметно дрожали. Эти полуоткрытые губы жаждали моих. Я нагнулся и поцеловал ее.

Так состоялась помолвка. Не по зрелом размышлении поцеловал я любящую, сердечный порыв овладел мною. Я сам не знал, как это произошло, но не раскаивался в скромной, чистой ласке. Потому что Эдит не прижалась ко мне, как в прошлый раз, и не пыталась удержать меня, охваченная счастьем. Смирно, как великий дар, приняли ее губы прикосновение моих. Все молчали. Только в углу послышался какой-то приглушенный звук. Сперва мне показалось, что кто-то смущенно откашлялся, но, подняв глаза, я увидел, что это плачет Йозеф. Он поставил бутылку и отвернулся к стене, чтобы мы не заметили, как он растроган и взволнован; при виде этих неожиданных слез что-то теплое подступило к моим глазам. Тут я почувствовал легкое прикосновение: Эдит тронула меня за руку.

— Дай мне ее на минутку.

Я не понял, чего она хочет. Вдруг что-то гладкое и холодное скользнуло на мой безымянный палец. Это было кольцо.

— Чтобы ты думал обо мне, когда я уеду, — объяснила она, словно извиняясь. Я даже не поглядел на кольцо. Я поднес ее руку к губам и поцеловал.

В тот вечер я был Богом. Я сотворил мир и увидел, что в нем все хорошо и справедливо. Я сотворил человека, и лоб его был чист, как утро, а в глазах радугой светилось счастье. Я покрыл столы изобилием и богатством, я взрастил плоды, даровал еду и питье. Свидетели щедрот моих громоздились передо мной, словно жертвы на алтаре, они покоились в блестящих сосудах и больших корзинах, сверкало вино, пестрели фрукты, заманчиво сладостные и нежные. Я зажег свет в покоях и свет в душе человеческой. Люстра солнцем зажгла стаканы, камчатная скатерть белела, как снег, — и я с гордостью ощущал, что люди полюбили свет, источником которого был я; и я принимал их любовь и опьянялся ею. Они угощали меня вином — и я пил до дна, потчевали плодами и разными кушаньями — дары их веселили мое сердце. Они дарили меня благодарностью и преклонением — и я принимал их восторги, как принимал еду и питье, как принимал все их жертвоприношения.

В тот вечер я был Богом. Но я не взирал равнодушно с высокого трона на дело рук своих; доброжелательный и ласковый, сидел я среди своих творений и сквозь серебряную дымку облаков смутно различал их лица. По левую руку сидел старец; великий свет доброты, что струился от меня, разгладил морщины на его лбу и прогнал тени, омрачавшие его глаза; я избавил его от смерти, он говорил голосом воскресшего и с благодарностью приобщался к великому чуду, свершенному над ним. По правую руку сидела девушка, когда-то она была больной, обреченной на неподвижность, истерзанной мыслями о недуге. Теперь свет исцеления озарял ее. Дыхание губ моих унесло ее из ада страхов в райские кущи любви, и кольцо ее, как утренняя звезда, сверкало на моем пальце. А напротив нее сидела другая девушка и тоже светилась благодарной улыбкой, ибо я придал красоту ее лицу и благоухающему сумраку ее волос над светлым лбом. И всех я одарил и возвысил чудом своего присутствия, и у всех мерцал в глазах зажженный мною свет, и когда они смотрели друг на друга, мое отражение озаряло блеском их взгляд. И когда они разговаривали друг с другом — Я, и только Я, был смыслом их слов; и даже когда мы молчали, их мысли были полны мною. Ибо Я, и только Я, был началом, основой и причиной их счастья; восхваляя друг друга, они хвалили меня, а возлюбив друг друга, они любили меня, творца их любви. А я сидел, радуясь делу рук своих, и чувствовал, как хорошо быть добрым с созданиями своими. И, полный великодушия, я вместе с вином и едой поглощал их любовь и счастье.

В тот вечер я был Богом. Я усмирил бурные воды тревоги и прогнал тьму из сердец. Но и свой страх я тоже прогнал, и моя душа обрела покой, как никогда в жизни. День начал клониться к вечеру, и я, вставая из-за стола, почувствовал тихую грусть, извечную грусть Бога на седьмой день творения, когда дело уже сделано, — и моя грусть тотчас отразилась на их помрачневших лицах. Настал миг прощанья. Все мы были страшно взволнованы, словно сознавали, что подошло к концу нечто единственное и неповторимое, редкие блаженные часы,

которые никогда не возвращаются, как не возвращаются облака. Мне самому — впервые за все время — стало страшно покинуть девушку. Как влюбленный, я все оттягивал минуту разлуки с той, которая меня любила. Как было бы хорошо, подумалось мне, еще немножко посидеть возле ее постели, поглаживая нежную робкую руку и глядя, как свет счастья снова и снова озаряет ее лицо улыбкой. Но было уже поздно. Я торопливо обнял ее и поцеловал в губы. Я почувствовал, как она задержала дыхание, словно желая навеки остановить этот миг. Потом я пошел к двери, и отец провожал меня. Последний взгляд, последние слова прощанья, и вот уже я покидаю этот дом и иду, свободный и уверенный, как идет человек после плодотворного труда, после свершенного подвига.

Я прошел в переднюю, где меня уже ждал лакей с фуражкой и саблей. Ах, если бы я немного поторопился. Если б не был таким чутким! Но старик никак не мог расстаться со мной. Он еще раз задержал меня, еще раз погладил мою руку, повторяя, как он мне благодарен и как много я для него сделал. Теперь он может спокойно умереть: его дитя выздоровеет и все будет хорошо — благодаря мне, мне одному. Мне было трудно сносить эти ласки и эту лесть, да еще при лакее, который терпеливо ждал, низко склонив голову. Уже не раз я пожимал на прощанье старику руку, а он начинал все сначала. И я, раб собственного сострадания, я оставался, я не уходил. У меня не хватило сил вырваться, хотя какой-то внутренний голос неустанно твердил мне: «Довольно, довольно, даже слишком».

Вдруг сквозь закрытую дверь донесся непонятный шум. Я прислушался. Судя по всему, в соседней комнате разгорелся спор — оттуда отчетливо слышались громкие, возбужденные голоса; я с ужасом узнал голоса Эдит и Илоны. Первая чего-то требовала, вторая ее отговаривала. «Ну я прошу тебя, — услышал я мольбу Илоны, — не надо!» И резкий ответ Эдит: «Нет, оставь меня, оставь». Я прислушивался со все возрастающим беспокойством, хотя старик болтал без умолку. Что происхо-

дит там, за закрытой дверью? Почему нарушен мир, созданный мною, божественный мир этого дня? Чего так настойчиво хочет Эдит, чему пытается помешать Илона? И вдруг невыносимый стук — тук-тук, ток-ток, — стучат костыли. Господи, неужели она встала и пошла за мной сама, без помощи Йозефа? Но все ближе сухой деревянный стук: тук... тук... влево... ток... ток... вправо... влево, вправо, влево, вправо... Я невольно представил себе, как раскачивается на костылях ее тело, наверное, она уже совсем близко. Опять стук, удар — словно что-то тяжелое навалилось на дверь. Тяжелое, затрудненное дыхание, скрип внезапно распахнутой двери...

Страшное зрелище! В рамке дверей появляется Эдит, обесилевшая от напряжения. Левой рукой она цепляется за дверной косяк, в правой зажала оба костыля. Позади — растерянное лицо Илоны, которая пытается то ли помочь ей, то ли удержать ее. Но глаза Эдит сверкают гневом и нетерпением.

— Оставь меня! Слышишь! Кому говорят! — кричит она на докучливую помощницу. — Мне никто не нужен. Сама справлюсь.

И тут, прежде чем Кекешфальва и лакей успевают опомниться, происходит невероятное. Больная девушка закусывает от чудовищного напряжения губы и, устремив на меня горящие, широко раскрытые глаза, словно пловец от берега, отталкивается от дверного косяка, который был для нее единственной опорой, — отталкивается, чтобы свободно, без костылей, идти ко мне. В момент толчка Эдит покачнулась, словно падая в пустоту комнаты, но тут же взметнула вверх обе руки, левую — свободную и правую, в которой она держит костыли, чтобы обрести утраченное равновесие. Потом еще сильнее закусывает губу, выбрасывает вперед одну ногу, подтаскивает к ней другую. Эти судорожные движения вправо и влево напоминают подергивания марионетки. И все же она идет! Идет! Она шла, устремив на меня широко раскрытые глаза, шла, словно невидимая нить подтягивала ее, шла без костылей, без посторонней помощи, — усилие воли каким-то чудом вдохнуло

жизнь в ее мертвые ноги. Ни один врач так и не сумел мне потом объяснить, как смогла скованная параличом девушка один-единственный раз вырвать свои бессильные ноги из мертвого оцепенения, а я не берусь описать этого, потому что все мы словно замороженные глядели в ее горящие глаза; даже Илона забыла, что надо охранять Эдит, и не пошла за ней. Словно душевная буря пронесла Эдит всего несколько шагов, она, собственно, и не шла даже, а летела низко над землей, ощупью, неуверенно, как летит птица с подрезанными крыльями. Одна только воля — демон нашего сердца — гнала ее все дальше и дальше. Вот она уже совсем рядом, вот в предчувствии близкой победы она страстно простирает ко мне руки, помогавшие ей до сих пор сохранять равновесие; напряжение, искажающее ее лицо, готово сменится неудержимой улыбкой счастья. Она совершила, она совершила чудо, осталось всего два шага... нет, всего один, последний шаг... вот я уже чувствую дыхание ее улыбающегося рта... И тут происходит ужасное! Пospешив протянуть ко мне руки, она делает слишком резкое движение и теряет равновесие. Словно подкошенные, мгновенно сгибаются ее колени. С грохотом падает она к моим ногам, костыли гремят по паркету. И тут я в ужасе невольно отшатываюсь, вместо того чтобы броситься к ней на помощь.

Почти одновременно рядом с нею оказываются Кекешфальва, Илона и Йозеф. Они поднимают стонущую Эдит и уносят ее, а я все еще не смею поднять глаз. Я только слышу приглушенное всхлипывание — злые слезы бессильного гнева, слышу шаркающие шаги уносящих свою ношу. В одну-единственную секунду развеялся туман восторга, целый вечер застилавший мне взор. И при мгновенной вспышке прозрения я с ужасающей ясностью понял все: никогда, никогда несчастная не исцелится до конца. Чудо, которого все ждали от меня, не свершилось. Я больше не был Богом, я снова стал жалким, маленьким человечком, чья слабость оказалась страшной подлостью, чье сострадание лишь разрушало. С ужасающей ясностью я сознавал в глубине души свой долг: сейчас или никогда должен ты

доказать ей свою верность, сейчас или никогда можешь ты ей помочь, броситься следом за остальными, сесть возле ее постели, успокоить ее, солгать ей, что она великолепно ходит и что она обязательно выздоровеет. Но у меня уже не было сил на такой отчаянный обман. Страх охватил меня, жуткий страх: очутиться перед ее глазами, страх перед нетерпением этого мятежного сердца, страх перед чужим несчастьем, с которым я так и не смог справиться. Не раздумывая, я схватил саблю и фуражку. В третий и последний раз я, как преступник, бежал из этого дома.

Воздуху, скорее воздуху! Я задыхаюсь. То ли ночная духота виновата, то ли вино — я много выпил. Рубашка мерзко липнет к телу, я расстегиваю воротник, хочется сбросить шинель, так давит она на плечи. Воздуху, один глоток воздуху! Кажется, будто кровь сейчас выступит изо всех пор, — она страшно горяча, она переполняет меня всего, а в ушах неумолчный шум — тук-тук, ток-ток. Страшный ли это стук ее костылей, или просто стучит в висках? И почему я так бегу? Что случилось? Надо разобраться... Да что, собственно говоря, случилось? Спокойно, спокойно, не слушать никаких тук-тук. Итак, начнем по порядку: я обручен... Нет, меня обручили... я сам не хотел, мне это никогда не приходило в голову... и вот теперь я обручен, теперь я связан... Хотя нет, не так... я ведь сказал старику: только если она выздоровеет... но она никогда не выздоровеет. А мое обещание считается действительным... да нет, оно вообще не считается! Ничего не случилось, абсолютно ничего. Но зачем же я поцеловал ее... да еще в губы?.. Я ведь не хотел... Все это сострадание, проклятое сострадание! Сколько раз они ловили меня на эту удочку... и вот я попался. Помолвлен по всем правилам, при двух свидетелях: отец был, и та, другая, и потом еще лакей... А я не хочу, не хочу, не хочу!.. Как же быть?.. Спокойно, только спокойно!.. Опять злое тук... тук... невыносимое тук-тук. Теперь я вечно буду слышать этот звук, и вечно она будет гнаться за мной на своих костылях!..

Свершилось, свершилось непоправимое! Я обманул их, они обманули меня, я обручен, меня обручили!

Но что это? Почему так расшумелись деревья? Что делается со звездами? Почему у меня так рябит в глазах? Должно быть, у меня просто глаза не в порядке. А как сжимает виски! Ох, эта духота! Хоть бы охладить чем-нибудь лоб, тогда можно будет соображать. Или выпить чего-нибудь, чтобы промочить горло и смыть всю горечь... Здесь, кажется, есть где-то колодец, я ведь часто проезжаю мимо. Хотя нет, колодец давно уже остался позади. Я ведь бежал как сумасшедший, вот почему у меня так ужасно стучит в висках, стучит и стучит! Хоть бы чего-нибудь выпить, тогда я, может, приду в себя. Наконец-то там, где начинаются первые низкие домишки, из-за полуспушенной шторы мигнула лампа. Верно, верно, теперь я вспоминаю: это маленький пригородный кабачок, куда заходят по утрам извозчики, чтобы согреться глотком вина. Спрошу стакан воды или чего-нибудь острого, горького, чтобы избавиться от противного ощущения слизи, все равно чего. С нетерпением умирающего от жажды я, не раздумывая, толкаю дверь.

Запах плохого табака из полутемного подвала бьет в нос. В глубине стойка, на ней дешевая водка, у окна стол, за ним рабочие играют в карты. Облокотившись на стойку, спиной ко мне, стоит улан и заигрывает с хозяйкой. Почувствовав сквозняк, он оглядывается и от страха разевает рот, потом проворно вытягивается по стойке «смирно» и щелкает каблуками. Чего он так испугался? Ах да, должно быть, он принял меня за патруль, а ему, вероятно, уже давно пора быть в казарме. Хозяйка тоже с беспокойством глядит на меня, рабочие прекращают игру. Что их так поразило? И тут, с большим опозданием, я догадываюсь: да это просто один из кабачков, где бывают только нижние чины. Офицерам сюда ходить не полагается. Я машинально поворачиваю обратно.

Но ко мне уже подлетает хозяйка и почтительно спрашивает, чего мне угодно. Я чувствую, что должен как-то объяснить, почему я сюда попал.

— Мне что-то нездоровится, — говорю я. — Нельзя ли получить содовой и стакан сливовицы?

— Пожалуйста, пожалуйста.

Хозяйка исчезает. Я собирался осушить оба стакана прямо у стойки, но тут керосиновая лампа посреди комнаты начинает приплясывать, бутылки на полках беззвучно подпрыгивают, а дощатый пол уходит из-под ног и раскачивается так, что я едва удерживаюсь на ногах. «Надо присесть», — говорю я себе и, собрав последние силы, добираюсь до пустого столика и падаю на стул; мне приносят содовую, и я залпом выпиваю ее. Как холодно. Так приятно на миг избавиться от тошнотворного вкуса во рту. Теперь поскорей глотнуть крепкой водки и встать. Но нет, не выходит, ноги словно приросли к полу, а в голове стоит глухой гул. Заказываю еще стакан сливовицы. Потом закурить и скорее прочь!

Я зажигаю сигарету. Посидеть минутку, уронив голову на руки, посидеть и обдумать, обдумать все по порядку. И так, я обручен... меня обручили... но это действительно только в том случае... Никаких уверток, это действительно во всех случаях, во всех, во всех... Я поцеловал ее в губы, по доброй воле поцеловал. Лишь для того, чтобы ее успокоить; и потом, я знал, что ей никогда не выздороветь... вон как она рухнула... На таких не женятся, она ведь не настоящая женщина, она ведь... все равно, они меня не выпустят, нет, мне уже не видать свободы... Старик джинн, джинн с грустным лицом порядочного человека и золотыми очками, — вот кто цепляется за меня... и его не стряхнешь... он повис на мне, ухватился за мое сострадание, за мое проклятое сострадание... Завтра они уже растрезвонят про это на весь город... и в газете напишут... и тогда уже не будет пути назад... Может, лучше прямо сейчас известить домашних, мать, отца, чтобы они узнали обо всем не от чужих людей или — еще того хуже — из газет. Объяснить, почему и при каких обстоятельствах состоялась помолвка, и что все откладывается на неопределенный срок, и что я совсем не собирался и только из сострадания впутался в эту историю... Сострадание, проклятое сострадание! И в полку тоже ничего не поймут, никто из

товарищей не поймет. Как это сказал Штейнхюбель про Балинкай? «Уж если продаваться, так подороже...» Господи, чего они только не наговорят... а я ведь и сам толком не знаю, как я мог обручиться с этим... с этим искалеченным существом. А когда проведает тетя Дэзи? От нее легко не отделаешься, она шутить не любит. Ей не заморочишь голову рассказами о титулах и замках. Она пороется в дворянском календаре и через день-другой будет знать совершенно точно, что Кекешфальва раньше именовался Леммель Каниц и что Эдит наполовину еврейка, — а для тетки нет ничего страшней, чем породниться с евреями. Мать еще можно как-то уговорить, ее соблазнят деньги... миллионов шесть-семь, так он, кажется, сказал. А впрочем, плевать мне на его деньги, не собираюсь же я, в самом деле, жениться на ней, пусть даже за все сокровища мира. Я ведь сказал: если она выздоровеет, только тогда... но как им втолкуешь... у нас в полку и без того недолюбливают Кекешфальву, а в таких делах они чертовски шепетильны... Ну как же, честь полка, я ведь знаю. Они и Балинкай до сих пор не простили. Смеялись над ним: он, мол, продался этой старой голландской корове... А уж когда они увидят костыли... Нет, лучше совсем ничего не писать домой... незачем им знать заранее. Никому ничего не надо знать, не желаю я, чтобы все казино издевалось надо мной! Но как улизнуть от них? Может, стоит поехать в Голландию, к Балинкай? Ну да — я ведь еще не отказался от его предложения, в любую минуту я могу выехать в Роттердам, а Кондор пусть расклебывает всю кашу, он ее заварил, а не я... Пусть сам придумает, как поправить дело, раз во всем виноват... Лучше всего сразу поехать к нему и все выложить... сказать, что я просто не могу... Как она ужасно рухнула, словно мешок с отрубями... На таких не желятся... Я сейчас ему скажу, что с меня довольно... Вот возьму и поеду к Кондору не откладывая... «Извозчик! Эй, извозчик! Куда? Флориангассе... — Да, какой у него номер дома? — Флориангассе, девяносто семь... И гони побыстрей, побыстрей... ты хорошо получишь на чай... ну, погоняй же...» Вот мы и приехали, узнаю и мерзкую грязную лестницу. Хорошо, что

лестница такая крутая... Сюда она не полезет со своими костылями, здесь я по крайней мере не услышу этого тук-тук... Но что такое?.. У двери стоит все та же неопрятная служанка. Или она всегда тут торчит, эта неряха?

— Господин доктор дома?

— Нет их. Да вы заходите, они скоро будут.

Вот разиня богемская! Хорошо, зайдем, сядем и будем ждать... Его всегда приходится ждать... Всегда он где-то пропадает. Боже, а вдруг опять притащится слепая... уж это мне сегодня совсем ни к чему, нервы не выдержат: вечно соблюдать осторожность... Иисус Мария! Вот она и пожаловала... я слышу ее шаги совсем близко... Слава Богу, это не она... ведь не может она ступать так уверенно. Нет, это кто-то другой идет сюда и что-то говорит. Стой, голос, кажется, знакомый... Что-о?.. Да как же так?.. Ведь это, ведь это... это голос тети Дэзи и... возможно ли?.. Как сюда попала тетя Белла, и моя мать, и мой брат, и невестка?.. Вздор, быть этого не может. Ведь я на Флориангассе и дожидаясь Кондора, а они даже не подозревают о его существовании, как же они могли вдруг собраться у него? И все же это они, я узнаю их голоса, пронзительный голос тети Дэзи... Боже милостивый, куда бы мне скрыться?.. Они уже совсем близко... дверь распахнулась... сама собой, обе створки распахнулись, и... Господи помилуй! — они все выстроились передо мной полукругом, как на семейной фотографии, и все смотрят прямо на меня... мама в черном платье из тафты с белой рюшкой, она была в этом платье на свадьбе у Фердинанда, а у тети Дэзи пышные буфы на рукавах, золотой лорнет над острым носиком, высокомерно вздернутым, — ах, этот противный нос, я его ненавижу, еще когда мне было четыре года! Брат во фраке... чего ради он так вырядился среди бела дня?.. И Франци тут же — моя невестка с толстым наглым лицом... Какая мерзость! Как они тарашатся на меня... а тетя Белла злобно хихикает, словно в предвкушении чего-то... Все они выстроились полукругом, будто на приеме, и все ждут, ждут... чего же они ждут?

Вот оно:

— Поздравляю! — Мой братец торжественно выступает вперед с цилиндром в руке... сдается мне, эта дрянь говорит насмешливым тоном, и все повторяют: «Поздравляю... поздравляю... поздравляю...» — кланяются и приседают... Но как же это могло случиться... откуда они узнали... почему очутились здесь все вместе?... Ведь тетя Дэзи не в ладах с Фердинандом... и потом — я никому ничего не говорил...

— Да, есть с чем поздравить, браво, браво!.. Семь миллионов солидный куш, это ты сообразил... Семь миллионов! Тут и семье что-нибудь перепадет, — говорят они все сразу и скалят зубы.

— Браво, браво! — прищелкивает языком тетя Белла. — Значит, Ферди сможет и дальше учиться. Превосходная партия!

— К тому же они еще и аристократы, — ухмыляется братец.

Но тут в общий хор вторгается пронзительный, словно у попугая, голос тети Дэзи:

— Ну, насчет аристократов — это мы еще посмотрим.

И тогда мама подходит поближе и робко шепчет мне на ухо:

— Может быть, ты представишь нам наконец свою невесту?

«Представишь»? Этого еще не хватало — чтобы они все увидели костыли, узнали, куда завело меня мое дурацкое страдание... Нет уж, лучше я воздержусь... и потом, как, собственно, я могу ее представить, когда мы все находимся у Кондора, на Флориангассе, на третьем этаже?... Да этой калеке в жизни не подняться на восемьдесят ступенек... Но отчего они вдруг обернулись, словно в соседней комнате что-то происходит? Да я и сам чувствую ветерок за спиной... Кто-то открыл дверь. Кого это угораздило прийти к самому концу?... Да, кто-то идет... на лестнице шум, и треск, и скрип... что-то лезет, что-то карабкается, что-то взбирается наверх... тук-тук, ток-ток... Боже милостивый, неужели она поднимается сюда!.. Не станет же она меня позорить своими костылями... тогда мне ничего не останется, как провалиться сквозь землю перед этой шайкой

насмешников... Ужасно, но это действительно она, это не может быть никто другой... тук-тук, ток-ток, — я ведь хорошо знаю, кто так стучит... Сейчас она зайвится сюда... пожалуй, лучше всего запереть дверь... но мой брат уже снимает цилиндр и кланяется кому-то за моей спиной, в ту сторону, откуда доносится тук-тук... Кому же он кланяется? И почему так низко?.. И вдруг все разражаются таким хохотом, что в окнах дребезжат стекла.

— Ах, вот оно что, вот оно что, во-от оно что, во-о-от оно что!

— Ха-ха-ха, во-о-от как выглядят семь миллионов, семь миллиончиков!..

— Ага, ага, — семь миллионов и костыли в приданое, ха-ха-ха!..

А-ах! Я вздрагиваю. Где я? Дико озираюсь по сторонам. Господи, да я спал, я уснул, уснул прямо в этом жалком кабаке. Испуганно осматриваюсь вокруг. Интересно, заметили они или нет? Хозяйка равнодушно перетирает стаканы, а улан как стоял, так и стоит, упорно показывая мне свою широкую спину. Может, они вообще не обращали на меня внимания? Я ведь дремал минуту, ну две от силы — сплющенный окурочек еще тлеет в пепельнице. Весь этот безумный сон занял одну минуту, быть может, две. Но за эти две минуты все одурманивающее тепло испарилось, я с ледяной ясностью осознал, что произошло. А теперь прочь, прочь из этой дыры! Я со звоном швыряю деньги на стол, спешу к дверям, улан вытягивается передо мной в струнку. Я чувствую, какими удивленными взглядами провожают меня рабочие, оторвавшись от своих карт, и знаю: стоит мне закрыть дверь, и они начнут болтать про чудака в офицерском мундире. Отныне все будут хихикать за моей спиной — все, все, как один, и никто не пожалеет одураченного собственной жалостью.

Куда же теперь? Только не домой! Только не оставаться одному в пустой комнате, наедине со страшными мыслями! Надо бы выпить еще чего-нибудь, холодного, острого. Во рту

опять появился противный вкус желчи. Быть может, это горечь мыслей подступает к горлу? У меня одно желание — смыть, притупить, заглушить это ужасное, омерзительное чувство! Скорее в город! Но что это? Кафе на площади Ратуши еще открыто. Сквозь щели между занавесками пробивается свет. Выпить, чего-нибудь выпить...

Уже с порога я вижу за нашим столом Ференца, Йожи, графа Штейнхюбеля, полкового врача — вся компания в сборе. Но почему Йожи так оторопело уставился на меня, почему он украдкой толкнул в бок соседа, почему они все так пристально смотрят на меня? Почему вдруг оборвался разговор? Ведь они только что громко спорили, перебивая друг друга, — я слышал шум еще за дверью; а теперь, едва заметив меня, все замолчали и даже кажутся смущенными. Тут что-то не так.

Но раз уж они меня увидели, retirроваться поздно. И я направляюсь к столу, стараясь держаться как можно непринужденнее. На душе у меня скверно, я не испытываю ни малейшего желания развлекаться пустой болтовней. К тому же я чувствую, что атмосфера накалена. В другой раз кто-нибудь обязательно махнул бы мне рукой или рявкнул через весь зал: «Привет!» — а сегодня все словно воды в рот набрали, сидят как провинившиеся школьники, застигнутые врасплох. Придвигая стул, я в замешательстве говорю:

— Разрешите?

Йожи как-то странно смотрит на меня.

— Ну, что вы на это скажете? — кивает он товарищам. — Он просит разрешения! Видали, какие церемонии? А впрочем, Гофмиллеру сегодня к ним не привыкать!

Опять какая-нибудь злая шутка? Остальные ухмыляются или подавляют нехороший смешок. Да, тут что-то не так. Обычно, когда кто-нибудь из нас приходит после полуночи, сразу начинаются обстоятельные расспросы, сдобренные циничными предположениями. Сегодня никто не заговаривает со мной, все будто стыдятся чего-то. Кажется, мой неожиданный приход огорошил их. Наконец Йожи откидывается на спинку стула и прищуривает левый глаз, словно прицеливается.

— Ну, тебя можно поздравить? — спрашивает он.

— Поздравить, с чем? — Я так оторопел, что в первый момент действительно не понял, о чем он говорит.

— Да вот аптекарь, — он только что был здесь, — говорил, что ему звонил слуга из усадьбы и сказал, будто ты... обручился с этой... ну... с этой барышней.

Все смотрят на меня. Одна, две, три, четыре, пять, шесть пар глаз впелись в мое лицо; я чувствую, если я признаюсь, на меня сразу обрушится поток шуток, издевок, иронических поздравлений. Нет, это невозможно!

— Чепуха, — бормочу я, чтобы выйти из положения.

Но уклончивый ответ не удовлетворяет их; добряк Ференц искренне заинтересован, он хлопает меня по плечу:

— Скажи, Тони, я не ошибаюсь? Это неправда?

Он желает мне добра, мой верный товарищ, но зачем он облегчает мне это «нет»? Меня охватывает беспредельное отвращение к их развязному любопытству, жертвой которого я стал. Я понимаю, как абсурдно пытаться объяснить за этим столом то, в чем мое собственное сердце до сих пор не смогло разобраться до конца. И я, не подумав, раздраженно отвечаю:

— Разумеется.

Какую-то секунду все молчат, переглядываясь между собой удивленно и, как мне кажется, немного разочарованно. Я своим ответом явно испортил им все удовольствие. Но тут Ференц с гордым видом облакачивается на стол и громко восклицает:

— Ну! Что я говорил! Я знаю Гофмиллера как собственные карманы! Я сразу сказал: «Это ложь, аптекарь врет!» Ну, ничего, завтра я покажу этой ходячей микстуре, как дурачить офицеров! Уж я с ним церемониться не буду, за парой оплеух тоже не станет. Что он себе позволяет? Ни с того ни с сего позорит порядочного человека! Болтает грязную чушь о нашем товарище! Но я сразу сказал: «Гофмиллер этого не сделает! Он не таков, чтобы продаться за мешок с золотом!»

Ференц поворачивается ко мне и в порыве дружеских чувств хлопает меня по плечу.

— Честное слово, Тони, я чертовски рад, что это неправда. Это был бы позор для тебя и для всех нас, позор для всего полка!

— Да еще какой! — вставляет граф Штейнхюбель. — Дочка старого ростовщика, который в свое время разорил Ули Нойендорфа этой историей с векселями. Просто скандал, что им позволяют наживаться да еще покупать замки и дворянство. Только этого им не хватает — заполучить для своей бесценной доченьки кого-нибудь из нас! Вот мерзавец! Уж он-то знает, почему сворачивает в сторону, когда встречается со мной на улице.

Ференц распаляется все больше.

— Сукин сын, этот аптекарь! Эх, вытащить бы его сейчас из его конуры и вклепить пару горячих! Какая наглость! Возвести на человека такой поклеп только потому, что он несколько раз побывал у них в гостях!

Тут вмешивается барон Шенталер, аристократ, поджарый, как борзая.

— Знаешь, Гофмиллер, я не хотел тебе ничего говорить. *Chacun à son goût*. Но если ты спросишь меня, скажу откровенно: мне с самого начала не понравилось, когда я услышал, что ты торчишь в этой усадьбе. Человек нашего круга должен подумать, кому он оказывает честь своим знакомством. Какими гешефтами занимается или занимался этот торгаш, я не знаю, да меня это и не касается. Я никому не припоминаю прошлого. Но человек нашего круга все же обязан быть осмотрительным — сам видишь, моментально начинаются идиотские сплетни. Не надо сблизаться с людьми, которых плохо знаешь. Человек нашего круга должен всегда следить за чистотой своей репутации; грязь пристаёт так легко, что сам не заметишь. Ну, я рад, что ты не зашел слишком далеко.

Они говорят все разом, перебивая друг друга, поносят старика, выкапывают самые невероятные истории, издеваются над «пугалом на костылях» — его дочерью; то и дело кто-нибудь поворачивается ко мне, чтобы похвалить за то, что я не спутался с этим «сбродом». А я, я сижу молча и неподвижно; их

отвратительные дифирамбы для меня пытка, больше всего мне сейчас хочется заорать на них: «Заткните ваши грязные глотки!» или крикнуть: «Я негодяй! Аптекарь сказал правду! Солгал не он, а я. Я, я — лжец, жалкий трусливый лжец!» Но я знаю: слишком поздно, теперь уже слишком поздно! Я уже ничего не могу объяснить, ни от чего не могу отказаться. И я сижу, стиснув зубами потухшую сигарету, и молча смотрю перед собой, с ужасом созная, что мое молчание — это подлое, злодейское предательство по отношению к той, неповинной, несчастной. О, если б можно было провалиться сквозь землю! Исчезнуть! Уничтожить себя! Я не знаю, куда спрятать глаза, куда девать руки — они дрожат, они выдадут меня. Я незаметно убираю их со стола и судорожно стискиваю пальцы, пытаюсь справиться с охватившим меня смятением.

Но когда мои пальцы сплетаются, я чувствую между ними какой-то посторонний твердый предмет. Я непроизвольно ощупываю его. Это кольцо, которое час назад Эдит, краснея, надела мне на палец! Обручальное кольцо, которое я принял! У меня уже нет сил сорвать это сверкающее свидетельство моей лжи. Я только быстрым, вороватым движением поворачиваю кольцо камнем внутрь, перед тем как подать товарищам на прощанье руку.

На площадь перед ратушей лился холодный призрачный свет луны, резко очерчивая плиты мостовой и каждую линию, от подвалов до конька крыш. В моем мозгу царила такая же холодная ясность. Никогда еще мои мысли не были такими четкими и, я бы сказал, прозрачными, как в эту минуту: я знал, что сделал и что мне предстоит делать. В десять часов вечера я обручился, а через три часа трусливо опроверг свою помолвку. Я сделал это перед семью свидетелями: ротмистром, двумя обер-лейтенантами, полковым врачом, двумя лейтенантами и прапорщиком; мало того, я, с обручальным кольцом на пальце, позволил им перевозносить меня за эту низкую ложь. Я скомпрометировал страстно любящую меня девушку, больную, бес-

помощную, ни о чем не подозревающую; я позволил в своем присутствии оскорбить ее отца и назвать обманщиком постороннего человека, сказавшего правду. Уже завтра весь полк узнает о моем позоре, и все будет кончено. Те, что сегодня дружески хлопали меня по плечу, завтра не подадут мне руки. Разоблаченный лжец, я больше не смогу носить мундир офицера, а путь к тем, кого я предал и оклеветал, отрезан для меня навсегда; и Балинкаи тоже не захочет иметь со мной дела. Три минуты трусости перечеркнули мою жизнь; оставался только один выход — револьвер.

Еще за столом я отчетливо осознал, что только так могу спасти свою честь; сейчас, идя по пустынным улицам, я обдумывал, как это сделать. Мысль работала ясно и последовательно, словно в голову мою проник чистый лунный свет, и совершенно спокойно, будто мне предстояло разобрать карабин, я наметил план действий на ближайшие два-три часа — последние часы моей жизни. Все привести в порядок, ничего не забыть, ничего не упустить! Во-первых, написать родителям — извиниться за то, что причиняю им боль. Потом письмо Ференцу с просьбой не затевать ссоры с аптекарем — с моей смертью все уладится само собой. Третье письмо — полковнику: просить его принять меры, чтобы дело получило возможно меньшую огласку. Похороны в Вене; никаких процессий и венков. Пожалуй, не мешает написать несколько слов Кекешфальве, очень коротко: он должен заверить Эдит в моей любви к ней, пусть она не думает обо мне плохо. Потом составить список долгов, распорядиться насчет продажи лошади, чтобы расплатиться с долгами. В наследство мне оставлять нечего, часы и белье достанутся денщику; да, еще одно — кольцо и золотой портсигар пусть вернут господину Кекешфальве.

Что еще? Ах да — сжечь оба письма Эдит и вообще все письма и фотографии! Ничего не оставлять после себя, никаких следов, никаких воспоминаний. Исчезнуть как можно незаметнее — так же незаметно, как шла моя жизнь. Ну, часа на три работы хватит, ведь каждое письмо должно быть написано очень четко, чтобы никто не заметил ни страха, ни растерян-

ности. И наконец, последнее, самое легкое: лечь в постель, закутаться в два-три одеяла и сверху навалить перину, чтобы ни в доме, ни на улице не было слышно выстрела, — как сделал ротмистр Фельбер: он застрелился в полночь, и никто не услышал; утром его нашли с раздробленным черепом, — а потом, под одеялами, прижать ствол к виску; мой револьвер не даст осечки, как раз позавчера я смазал его. Рука моя не дрогнет, я уверен.

Никогда в жизни, повторяю, никогда я ничего не планировал так четко и детально, как собственную смерть. Все было разложено по полочкам, как в регистратуре, все распределено по минутам, когда я наконец подошел к казарме, проблуждав целый час по улицам. Я шел спокойным шагом, пульс бился ровно, и, вставляя ключ в боковую дверь, которой мы, офицеры, всегда пользовались после двенадцати, я с некоторой гордостью отметил про себя, что рука моя не дрожит. Даже в темноте я безошибочно попал ключом в узкое отверстие. Теперь только пересечь двор — и по лестнице на третий этаж! Тогда я останусь наедине с собой, начну и кончу. Но, пройдя освещенный луной четырехугольник двора, я замечаю, что кто-то стоит в тени подъезда. Проклятье, думаю я, наверное, кто-нибудь из офицеров пришел как раз передо мной и заведет теперь разговор! Но в тот же миг я, неприятно пораженный, узнаю широкие плечи полковника Бубенчича, который отчитывал меня всего несколько дней назад. Он недаром торчит здесь в подъезде; я знаю, этот службист не любит, когда его офицеры возвращаются поздно. Ну и черт с ним! Мне-то что! Утром я буду рапортовать уже другому начальству. Сдерживая злость, я решаюсь пройти мимо, будто не замечая его, но полковник неожиданно выступает из мрака. Резким, скрипучим голосом он останавливает меня:

— Лейтенант Гофмиллер!

Я подхожу к нему и щелкаю каблуками. Он окидывает меня колючим взглядом.

— Новейшую моду взяли господа офицеры — носить шинель нараспашку! Думаете, что ночью вы можете таскаться по

городу, как свинья с болтающимися титьками! Скоро вообще будете разгуливать с расстегнутыми штанами! Я запрещаю такую расхлябанность! Мои офицеры и ночью должны быть одеты по всей форме. Понятно?

Я щелкаю каблуками.

— Слушаюсь, господин полковник.

Бросив на меня презрительный взгляд, он поворачивается и, даже не кивнув, шагает к лестнице. Луна освещает его широкий затылок и мощные плечи. Но тут во мне вспыхивает злость: почему последнее слово, которое я в жизни слышу, должно быть ругательством? К моему удивлению, совершенно бессознательно, словно моя воля уже не распоряжается моим телом, я вдруг торопливыми шагами устремляюсь за ним. Я знаю — то, что я делаю, абсолютно бессмысленно. К чему в последний час еще что-то объяснять и оправдываться перед каким-то солдафоном? Но такая абсурдная нелогичность присуща всем самоубийцам — тот, кто через десять минут станет обезображенным трупом, испытывает тщеславное желание уйти из жизни непременно красиво (из жизни, которая перестает существовать только для него одного), — человек бреется (для кого?) и надевает чистое белье (для кого?), прежде чем пустить себе пулю в лоб; я вспоминаю даже, что одна женщина, перед тем как броситься с пятого этажа, сделала в парикмахерской прическу, накрасила губы, напудрилась и надушилась самыми дорогими духами. Только это совершенно необъяснимое чувство заставило меня устремиться вслед за полковником; я сделал это — подчеркиваю — не испугавшись смерти, не от внезапной трусости, а лишь бессознательно желая уйти в небытие чистым, незапятнанным.

Полковник, должно быть, услышал мои шаги. Он резко обернулся, маленькие колючие глазки озадаченно уставились на меня из-под кустистых бровей. Его явно ошеломило такое чудовищное безобразие: младший офицер осмелился без разрешения последовать за ним! Я остановился на расстоянии двух шагов, приложил руку к козырьку и обратился к Бубен-

чичу, спокойно выдерживая грозный взгляд, — мой голос был, вероятно, таким же тусклым, как свет луны.

— Осмелюсь обратиться с просьбой — не могу ли я несколько минут поговорить с господином полковником?

Лохматые брови удивленно поползли вверх.

— Что? Сейчас? В половине второго ночи?

Он зло глядит на меня. Сейчас он наорет на меня или разнесет завтра перед всем строем. Но что-то в моем лице, видно, встревожило его. Минуту, другую сверлят меня жесткие, колючие глаза полковника. Потом он ворчит:

— Хорошо! Нечего сказать! Ну, как хочешь. Пошли ко мне и выкладывай, да покороче!

Полковник Светозар Бубенчич, за которым я, как побитый щенок, шагаю сейчас по мрачным опустевшим коридорам и лестницам, пропитавшимся запахом человеческих тел, был стопроцентным служакой и самым грозным из наших начальников. Коротконогий, с толстой шеей и низким лбом, в тусклых стеклянных глазах под лохматыми бровями редко можно увидеть улыбку. Приземистая фигура, тяжелый шаг выдавали его крестьянское происхождение (он был уроженцем Баната). Но, несмотря на свой низкий бычий лоб и каменный череп, он медленно и упорно дослужился до полковника. Правда, из-за непрезентабельной внешности, невоспитанности и грубости министерство год за годом оставляло его в провинции, переводя из одного гарнизона в другой, и в высших сферах было уже решено, что он скорее получит отставку, нежели генеральские лампасы. Но при всей его неотесанности и вульгарности в казарме и на учебном плацу никто не мог с ним сравниться. Он знал все параграфы уставов, как шотландский пуританин Библию, но они были для него не гибкими установлениями, которые более тонкий ум объединяет в гармоничное целое, а чуть ли не религиозными заповедями, смысл или бессмысленность которых не подлежат обсуждению. Военная служба была для него тем же, что богослужение для верующих. Он не имел дела

с женщинами, не курил, не играл, вряд ли за всю свою жизнь хоть раз побывал в театре или на концерте и, подобно своему высочайшему начальству Францу-Иосифу, никогда не читал ничего, кроме уставов и армейской газеты; для него на свете существовала только императорская армия, в армии — только кавалерия, в кавалерии — только уланы и его полк. Смысл его жизни *in pace** заключался в том, чтобы в нашем полку все было лучше, чем в любом другом.

Ограниченный человек, облеченный властью, всегда невыносим, а в армии особенно. Служба в гарнизоне складывается из тысячи сверхстрогих, по большей части давно устаревших, но незыблемых предписаний, которые лишь заядлый служака знает наизусть и лишь дурак требует выполнять буквально. Вот почему все в полку трепетало перед этим фанатиком «священного» устава. Его квадратная фигура олицетворяла собой террор точности — покачивался ли он в седле или восседал за столом, пронизывая всех острым взглядом; он наводил ужас на полковые столовые и канцелярии; его появлению всегда предшествовал ледяной ветер страха, и когда полк выстраивался на плацу и Бубенчич, набычившись, медленно приближался на своем коренастом караковом мерине, в рядах замирало всякое движение, словно против нас стояла вражеская батарея и орудия, снятые с передка, были уже наведены. Мы знали, что вот-вот грянет неотвратимый залп; никто из нас не был уверен, что не он окажется мишенью. Даже лошади стояли как вкопанные, все замирало, не звенели шпоры, не слышно было даже дыхания. И тогда тиран спокойно проезжал вдоль строя, явно наслаждаясь внушаемым им страхом, окидывая одного за другим зорким взглядом, от которого ничто не могло ускользнуть. Он видел все, этот холодный взгляд службиста: он замечал кивер, на палец ниже положенного надвинутый на лоб, видел каждую плохо начищенную пуговицу, каждое ржавое пятно на сабле, брызги грязи на лошади; стоило ему обнаружить малейшее нарушение устава, как разражалась гроза, вернее — из-

* В сущности (*лат.*).

вергался грязный поток грубой брани. Под тесным воротником мундира вдруг раздувался кадык, лоб под коротко остриженными волосами багровел, на висках взбухали синие вены. Гремел сиплый, лающий голос, ругань как из ведра лилась на голову жертвы. Полковник часто позволял себе такие выражения, что возмущенные офицеры опускали глаза, стыдясь за него перед рядовыми.

Рядовые боялись его, как черт ладана, за каждый пустяк он ставил их под ружье или сажал на гауптвахту, а случалось, под горячую руку давал и крепкую зуботычину. Однажды в конюшне, — я сам это видел, — один улан, из гуцулов, начал креститься и по-своему шептать молитву, когда «чертова жаба» — мы прозвали его так потому, что от злобы шея у него непомерно раздувалась, — уже бесновался у соседнего стойла. Бубенчич гонял бедняг до полного изнеможения: заставлял до тех пор повторять упражнения с карабином, пока не отнимались руки, и скакать на самых упрямых лошадях до кровавых мозолей. Но, как ни странно, эти забитые деревенские парни по-своему, молча и боязливо, любили этого тирана и предпочитали его другим, более гуманным, но и более отчужденно державшимся офицерам. Словно они нутром чувствовали, что жестокий самодур упрямо стремился к порядку, освященному Божьим провидением; бедняги утешались тем, что нам, офицерам, приходится не легче, — даже самая жестокая плеть бьет не так больно, если ты видишь, что она с той же силой обрушивается на спину ближнего. Справедливость каким-то удивительным образом заставляет прощать насилие; солдаты с удовольствием вспоминали случай с молодым принцем В., который был в родстве с императорским домом и поэтому считал, что может позволить себе любые выходки. Но Бубенчич вклепил ему две недели ареста, словно сыну какого-нибудь батрака, и напрасны были звонки их сиятельств из Вены — Бубенчич ни на один день не уменьшил наказания этому высокородному повесе и, между прочим, за свое упрямство был повышен в чине.

Самое странное — что даже для нас, офицеров, в нем было

что-то привлекательное. Нам тоже импонировала его тупая, неумолимая честность и главное — его безусловная товарищеская солидарность. Он не выносил ни малейшей несправедливости так же, как не терпел грязного пятна на солдатском мундире; любой скандал в полку он воспринимал как личное оскорбление. Мы были в его власти, но знали: если уж ты что-нибудь натворил — самое умное, что ты можешь сделать, — это пойти прямо к нему; и он, сперва грубо накричав на тебя, потом все-таки наденет мундир и отправится вытаскивать тебя из беды. Если нужно было ходатайствовать о повышении кого-либо в чине или добиться из фонда Альбрехта пособия офицеру, оказавшемуся на мели, полковник всегда был на высоте — ехал прямо в министерство и своим крепким лбом проталкивал дело. И как бы ни возмущал он нас, как ни третировал, в глубине души мы все чувствовали, что этот банатский мужик по-своему, неуклюже и слепо, однако гораздо преданнее и честнее, чем выходцы из благородных семей, защищал традиции армии — тот незримый ореол, который нас, младших офицеров, привлекал гораздо больше, чем наше мизерное жалование.

Таков был полковник Светозар Бубенчич, обер-живодер нашего полка, за которым я сейчас поднимался по лестнице. И так же, как он всю жизнь муштровал нас, педантично и безжалостно, со своей всегдашней дурацкой честностью и непреклонностью, свершил он суд над самим собой. Во время сербского похода, после поражения под Поттиорексом, когда из всего нашего полка, выступившего на передовую в полном блеске, уцелело всего лишь сорок девять улан, Бубенчич, оставшийся один на том берегу Савы, воспринял паническое бегство полка как позор для всей армии, и сделал то, на что в мировую войну решались после поражений лишь очень немногие из офицеров: вынул свой тяжелый револьвер и пустил себе пулю в лоб, чтобы не стать очевидцем крушения австрийской империи, начало которого этот служака, никогда не отличавшийся сообразительностью, сумел разглядеть в страшном разгроме своего полка.

Полковник отпер дверь. Мы вошли в его комнату, которая своим спартанским убранством напоминала студенческую каморку: железная походная кровать — он не признавал другой, потому что на такой кровати спал Франц-Иосиф в Гофбурге, — две олеографии — император и императрица, четыре или пять фотографий в дешевых рамках с изображениями полковых смотров и офицерских вечеров, две сабли крест-накрест, два турецких пистолета — и больше ничего. Ни удобного кресла, ни книг, только четыре соломенных стула вокруг простого стола.

Бубенчич энергично разгладил усы, один раз, второй, третий. Нам всем был знаком этот грозный признак крайнего нетерпения. Наконец он выпалил, не предлагая мне сесть:

— Не стесняйся! И нечего ломаться — выкладывай! Денегные затруднения или бабы?

Мне трудно было говорить стоя, кроме того, я чувствовал себя очень неловко в ярком свете под его нетерпеливым взглядом. Поэтому я лишь торопливо ответил, что дело совсем не в деньгах.

— Значит, бабы! Опять! Беда с вами, мужиками! Как будто не хватает баб, с которыми все просто. Ну не тяни — в чем дело?

Как мог короче я изложил сущность происшедшего: сегодня я обручился с дочерью господина Кекешфальвы, а через три часа после этого солгал, сказав, что ничего такого не было. Но пусть он не думает, что я пытаюсь умалить бесчестность своего поступка, напротив — я пришел лишь для того, чтобы в личной беседе сообщить ему, как моему начальнику, что я вполне сознаю последствия, вытекающие из моего некорректного поведения. Как офицер, я знаю свой долг и исполню его.

Бубенчич оторопело уставился на меня.

— Что за ерунду ты мелешь? Бесчестность, последствия? Какая бесчестность? Что тут такого? Говоришь, обручился с дочкой Кекешфальвы? Видел я ее, странный у тебя вкус, она же вся скрюченная. Ну а потом передумал — так что за беда? Один из наших тоже так сделал и не стал от этого негодяем.

Или у тебя, — он подошел ближе, — были с ней шуры-муры, и теперь она того?.. Тогда, конечно, дело дрянь.

Злость и стыд кипели во мне. Меня злил его легкий тон и явное нежелание понять меня. Я щелкнул каблуками.

— Осмелюсь заметить, господин полковник, сказав, что обручения не было, я позволил себе грубую ложь в присутствии семи офицеров полка за нашим столом в кафе. Из трусости и от смущения я соврал товарищам. Завтра лейтенант Гавличек потребует объяснений у аптекаря, который говорил правду. Уже завтра весь город узнает, что я солгал за офицерским столом и тем самым опозорил честь мундира.

Теперь он смотрел на меня озадаченно. Было видно, что его неповоротливый ум только сейчас начал улавливать суть. Лицо его потемнело.

— Где это было, говоришь?

— За нашим столом в кафе.

— В присутствии товарищей, говоришь? И все слышали?

— Так точно.

— Аптекарь знает, что ты сказал?

— Он узнает завтра. И весь город тоже.

Полковник с таким ожесточением крутанул ус, словно хотел его оторвать. За его низким лбом усиленно работала мысль. Заложив руки за спину, он сердито прошелся по комнате, раз, другой, третий, десятый. Под его тяжелыми шагами скрипели половицы, тихонько звякали шпоры. Вдруг он остановился передо мной.

— Ну, так что ты, говоришь, надумал?

— Есть только один выход, господин полковник, вы знаете какой. Я пришел только для того, чтобы проститься с господином полковником и покорнейше просить вас позаботиться, чтобы все обошлось тихо и по возможности без лишних толков. Честь полка не должна пострадать из-за меня.

— Чепуха, — пробормотал он. — Чепуха! Из-за этого? Такой здоровый, бравый парень, да чтоб из-за какой-то калекки!.. Видно, эта старая лиса опутала тебя и ты уже не мог

выкрутиться. Ну, на тех-то мне наплевать, нам до них дела нет! Но вот товарищи и то, что вшивый аптекарь знает обо всем, — это действительно скверно.

Он опять зашагал по комнате, ступая еще тяжелее. Размышления были для него нелегким делом. Всякий раз, когда он поворачивался в мою сторону, я видел, что лицо его все больше наливаётся кровью и на висках набухают черные вены. Наконец он резко остановился, словно приняв какое-то решение.

— Так вот, слушай. С такими вещами нужно спешить — когда пойдут разговоры, будет поздно. Первое: кто из наших был там?

Я назвал имена. Бубенчич вытащил из нагрудного кармана записную книжку — пресловутую книжицу в красном переплете; он всегда хватался за нее, как за оружие, когда ловил кого-нибудь на месте преступления. Тот, чье имя стояло в этой книжке, мог заранее распроститься с очередным отпуском. Полковник по-деревенски послунявил карандаш и нацарапал своими толстыми заскорузлыми пальцами названные мною фамилии.

— Это все?

— Да.

— Точно все?

— Да.

— Так! — Он сунул книжицу в карман, будто саблю в ножны. Это подводящее черту «так» прозвучало, как звон клинка.

— Так, с этим покончено. Завтра я их всех по одному вызову к себе, прежде чем они покажут нос из казармы, и да помилуй Бог того, кто решится вспомнить, что ты говорил. За аптекаря я возьмусь потом. Уж я найду, что ему сказать, будь покоен. Может быть, скажу, что ты должен был сначала испросить у меня разрешения на официальную помолвку или... или... Постой-ка! — Он вдруг, впившись в мои глаза пронзительным взглядом, так близко придвинулся ко мне, что я почувствовал его дыхание. — Скажи-ка мне начистоту, только по-честному,

откровенно: ты перед этим не выпил? Я хочу сказать — перед тем, как натворил глупостей?

Я почувствовал себя пристыженным:

— Так точно, господин полковник. Вообще, прежде чем пойти туда, я выпил коньяку и потом там, у них за столом, тоже порядочно... Однако...

Я ожидал гневной вспышки. Но вдруг лицо его расплылось в улыбке. Он хлопнул в ладоши и громко рассмеялся грохочущим, самодовольным смехом.

— Здорово, здорово, так вот оно что! Тут-то мы и выкарабкаемся. Ясно, как Божий день! Я им всем объясню, что ты, мол, был пьян как свинья и не знал, что говоришь. Ведь ты же не давал честного слова?

— Никак нет, господин полковник.

— Ну, тогда все в порядке. Был, мол, пьян, скажу я им. С кем не бывало, даже с одним эрцгерцогом! Был в стельку пьян и не соображал, что говорит, толком не слышал, что они спрашивали, и вообще ничего не понял. Это же логично! А аптекарю я скажу, что дал тебе хороший нагоняй за то, что ты приполз в кафе в таком свинском виде. Итак, с пунктом первым покончено.

То, что он продолжал превратно понимать меня, вызывало во мне все большее ожесточение. Меня злило, что этот, в сущности, добродушный тупица во что бы то ни стало хотел помочь мне удержаться в седле; чего доброго, он думает, что я из трусости ухватился за него, чтобы спастись? К черту! Почему он не хочет понять всю низость моего поступка? И я собрался с духом.

— Осмелюсь доложить, господин полковник, для себя лично я ни в коем случае не могу считать дело улаженным. Я знаю, в чем моя вина, и знаю, что теперь я не могу смотреть в глаза порядочным людям; я не хочу жить негодяем и...

— Молчать! — перебил он. — Гм... pardon — дай же мне спокойно подумать и не лезь со своей болтовней — сам соображу, что делать, не нуждаюсь я в поучениях такого молокососа, как ты! Думаешь, дело только в тебе? Ну нет, милый, это все

было во-первых, а теперь переходим к пункту второму, который гласит: завтра утром ты исчезнешь, здесь ты мне не нужен. Такое дело должно быть порости. Тебе здесь нельзя оставаться ни одного дня. Сразу начнутся идиотские расспросы и толки, а мне это ни к чему. В моем полку никто не должен позволять смотреть на себя косо. Я этого не потерплю... С завтрашнего дня ты переведен в резерв в Чаславице... я сам напишу приказ и дам тебе письмо к тамошнему подполковнику; что будет в письме, тебя не касается. Ты должен исчезнуть, а остальное — дело мое. Ночью уложишь вещи и рано утром уберешься из казармы, чтобы никто из наших тебя не видел. В полдень зачитают приказ, что ты уехал в командировку со срочным поручением, никто ничего и не заподозрит. Как ты там потом разделаешься со стариком и девчонкой, не моя забота. Сам расхлебывай кашу, которую заварил; мое дело — не допустить никаких разговоров в казарме... Итак, решено — в половине шестого утра будешь здесь у меня в полной готовности, возьмешь письмо — и в дорогу. Понятно?

Я молчал. Не для того я пришел сюда. Ведь я не хотел бежать. Бубенчич заметил мое колебание и повторил почти с угрозой:

— Понятно?

— Так точно, господин полковник, — ответил я четко, по-военному. А про себя добавил: «Пускай старый дурак болтает, что ему угодно. Я все равно сделаю то, что надо».

— Так... Ну, хватит. Завтра утром в половине шестого.

Я стал навтыяжку. Он подошел ко мне.

— Надо же, чтобы именно ты влип в такую идиотскую историю! Не хочется мне отдавать тебя тем, в Чаславице. Ты мне всегда нравился больше других парней!

Я вижу: он раздумывает, не подать ли мне руку. Глаза его теплеют.

— Может быть, тебе что-нибудь нужно? Не стесняйся, я охотно помогу. Я не хочу, чтобы думали, будто ты попал в немилость или что-нибудь в этом роде. Ничего не нужно?

— Никак нет, господин полковник, покорнейше благодарю.

— Тем лучше. Ну, с Богом. Завтра утром в пять тридцать.

— Слушаюсь, господин полковник.

Я смотрел на него, как глядят на человека, которого видят в последний раз. Я знаю: он последний, с кем я говорю в этом мире. Завтра он будет единственным, кому известна вся правда. Я щелкаю каблуками и поворачиваюсь налево кругом.

Но даже этот недалекий человек что-то заметил. Что-то в моем взгляде или походке показалось ему подозрительным, потому что за спиной я вдруг слышу команду:

— Отставить!

Я оборачиваюсь. Подняв брови, Бубенчик пристально всматривается в меня и говорит ворчливо, но добродушно:

— Слушай, парень, ты мне не нравишься. С тобой что-то неладно. Мне кажется, ты собираешься меня одурачить и сделать глупость. Но я не потерплю, чтобы из-за такой чепухи ты что-нибудь там... с револьвером или того... не потерплю... понял?

— Так точно, господин полковник.

— Э, брось! Меня не проведешь, я стреляный воробей. — Его голос звучит мягче. — Дай-ка руку.

Я подаю ему руку. Он пожимает ее.

— А теперь, — он пристально смотрит мне в глаза, — теперь, Гофмиллер, дай мне честное слово, что сегодня ночью ты не наделаешь глупостей! Дай честное слово, что завтра в пять тридцать ты будешь здесь и отправишься в Чаславице.

Я не выдерживаю его взгляда.

— Честное слово, господин полковник.

— Ну, вот и хорошо. А то мне вдруг показалось, что ты сторяча можешь свалить дурака. Ведь с вами, молокососами, не знаешь, чего и ждать... у вас все быстро... с револьвером тоже... Ничего, потом поумнеешь. Беда невелика. Вот увидишь, Гофмиллер, вся эта история кончится ничем! Все будет шито-крыто, а в другой раз ты уж не оплошаешь. Было бы жаль потерять такого парня. Ну а теперь иди.

Наши решения в гораздо большей степени зависят от среды и обстоятельств, чем мы сами склонны в том себе признаваться, а наш образ мыслей в значительной мере лишь воспроизводит ранее воспринятые впечатления и влияния; человек, с детства воспитанный в духе солдатской дисциплины, особенно подвержен психозу подчинения — он не может противостоять приказу. Всякая команда обладает над ним какой-то совершенно необъяснимой властью, подавляющей его волю. Облаченный в смирительную рубашку мундира, он любой приказ выполняет словно под гипнозом — без сопротивления и почти машинально, даже если вполне сознает его бессмысленность.

То же самое случилось и со мной. Пятнадцать лет из двадцати пяти, как раз те годы, когда формируется человеческая личность, я провел в военном училище и в казарме, поэтому едва прозвучал приказ полковника, как в ту же секунду я перестал думать и действовать самостоятельно. Я больше не рассуждал. Я только подчинялся. В моем мозгу прочно засело лишь одно: в половине шестого я должен быть готов к отъезду. Я разбудил денщика, сказал ему, что получен приказ утром срочно выехать в Чаславице, и занялся с ним упаковкой вещей. Мы еле управились к утру, но ровно в пять тридцать я явился к полковнику за документами. Как он и велел, я покинул казарму незаметно.

Однако действие гипноза, парализовавшего мою волю, сохранялось лишь до тех пор, пока я еще находился на территории казармы и приказ, отданный мне, не был выполнен до конца. Первый же толчок вагона вывел меня из оцепенения, и я пришел в себя, словно человек, отброшенный взрывной волной, который, шатаясь, поднимается на ноги и с изумлением видит, что он невредим. Я удивился. Во-первых, я еще жив, а во-вторых, мчусь в поезде, вырванный из своего будничного, привычного существования. Едва я начал вспоминать, события последних суток вихрем закружились в моем мозгу. Ведь я же хотел покончить с собой, но чья-то рука отвела револьвер от моего виска. Полковник сказал, что все уладит. Но ведь это касается только полка и моей репутации офицера. Наверное,

товарищи стоят сейчас перед Бубенчиком и клянутся ему никогда ни словом не обмолвиться о случившемся. Но никто не запретит им думать то, что они думают, — все поймут, что я сбежал, как последний трус. Аптекарь, может быть, сначала и поверит тому, что наговорят, но Эдит, ее отец, остальные. Кто скажет, кто объяснит им все? Семь часов — сейчас она проснется, и первая ее мысль — обо мне. Может быть, она уже смотрит в бинокль с террасы. Терраса! Почему я всегда вздрагиваю, как только вспоминаю о ней? Эдит смотрит на учебный плац, видит наш полк и не знает, не догадывается, что сегодня в нем одним человеком меньше. Но после обеда она станет ждать, а меня все нет и нет, и никто ничего не объяснит ей. Я не написал ей ни строчки. Она позвонит в казарму, там скажут, что я откомандирован, и она останется в полном недоумении. Или еще ужаснее: она поймет, сразу же все поймет, — и тогда... Я вдруг вижу угрожающий взгляд Кондора за сверкающими стеклами пенсне и снова слышу, как он кричит на меня: «Это преступление, убийство!» И тут же память рисует другую картину: Эдит, приподнявшись в кресле, перегибается через перила, а в глазах ее — бездна, смерть.

Надо что-то немедленно предпринять! Прямо с вокзала дать ей телеграмму. Это необходимо, не то она с отчаяния сделает что-нибудь непоправимое. Нет, ведь это я должен не делать ничего непоправимого, сказал Кондор, а случись что-либо, тотчас известить его. Я твердо обещал ему и должен сдержать свое слово. Слава Богу, в Вене у меня будет два часа — поезд отходит в полдень. Может быть, я еще застану Кондора дома. Я должен застать его.

В Вене я оставляю багаж денщику, велю ему ехать на Северо-Восточный вокзал и ждать меня. А сам лечу на извозчике к Кондору, шепча про себя (вообще-то я не набожен): «Господи, сделай так, чтобы он был дома, сделай так, чтобы он был дома». Только ему я могу все объяснить, только он поймет меня, только он сумеет помочь.

Но служанка в пестрой домашней косынке и спадающих башмаках не спешит доложить обо мне: «Господина доктора

нет дома». Нельзя ли подождать его? «Ну, до обеда они не придут». Не знает ли она, где он сейчас? «Не знаю. Они ходят от одного к другому». Нельзя ли мне увидеть хозяйку? «Сейчас спрошу». — Повея плечами, она уходит в комнаты.

Я жду. Та же приемная, и я так же жду. Слава Богу, наконец те же тихие, скользящие шаги в соседней комнате.

Дверь приоткрывается робко, неуверенно. Все, как в прошлый раз, — словно дуновение ветра отворяет ее, только голос, который я слышу, звучит сегодня тепло и сердечно.

— Это вы, господин лейтенант?

— Да, — отвечаю я и так же нелепо кланяюсь слепой.

— Ах, мой муж будет весьма сожалеть, что вы не застали его. Он очень огорчится. Я надеюсь, вы подождете? Он придет самое позднее в час.

— Нет, к сожалению, я не могу ждать. Но... но это очень важно... Может быть, я мог бы поймать его по телефону у кого-нибудь из пациентов?

Она вздыхает.

— Нет, боюсь, что это невозможно. Я не знаю, где он... и потом, видите ли... у тех людей, которых он охотнее всего лечит, не бывает телефонов. Но, может быть, я сама...

Она подходит ближе, какую-то секунду ее лицо выражает замешательство. Она хочет что-то сказать, но я вижу, ей неловко. Наконец она решается:

— Я... я понимаю... я чувствую, что это очень спешно... была бы хоть какая-нибудь возможность, я вам... я вам, конечно, сказала бы, где его найти... Но... но... может быть, я могу передать ему, как только он вернется... ведь это, наверное, касается той бедной девочки, в судьбе которой вы принимаете такое участие... Если вы ничего не имеете против, я охотно возьму на себя...

И тут со мной происходит что-то нелепое — я не осмеливаюсь взглянуть в ее незрячие глаза. Не знаю почему, но мне вдруг кажется, что она уже обо всем догадалась. И я, охваченный мучительным стыдом, невнятно бормочу:

— Очень любезно с вашей стороны, сударыня, но мне не

хотелось бы утруждать вас. Если позволите, я оставлю ему записку, напишу самое главное. Он наверняка вернется домой до двух? В два поезд уже отходит, а он должен поехать туда, то есть обязательно поехать. Я нисколько не преувеличиваю.

Я вижу, что убедил ее. Она подходит ближе и делает непровольный жест, словно желая успокоить меня.

— Разумеется, я верю вам. И не беспокойтесь — он сделает все, что сможет.

— Разрешите, я напишу ему?

— Да, да, конечно... вот сюда, пожалуйста.

Она идет впереди меня, и мне бросается в глаза, с какой уверенностью она движется среди знакомых ей предметов. Наверное, десятки раз на дню ее чуткие пальцы, прибирая, ощупывают его письменный стол, потому что она уверенно, как зрячая, достает из левого ящика три-четыре листа бумаги и кладет их точно перед письменным прибором.

— Здесь ручка и чернила, — опять-таки безошибочно указывает она на прибор.

В один присест я исписываю пять страниц. Я заклинаю Кондора: он должен выехать в усадьбу немедленно, *немедленно* — я трижды подчеркиваю это слово. Я рассказываю ему обо всем очень подробно и откровенно. Я не выдержал, отрекся от своей помолвки перед товарищами — только он один понял с самого начала, что моя слабость происходит из страха перед людьми, из жалкого страха перед сплетнями и пересудами. Я не умалчиваю и о том, что сам хотел совершить суд над собой и что полковник спас меня против моей воли. До последней минуты я думал лишь о себе и только теперь с ужасом осознал, что увлекаю за собой и ее, неповинную. *Немедленно* — ведь он понимает сам, как это спешно, — он должен ехать туда (я опять подчеркиваю слово «немедленно») и сказать ей правду, всю правду. И не надо щадить меня. Он не должен ничего приукрашивать, незачем смягчать мою вину; если Эдит, невзирая на все, простит мою слабость, наша помолвка будет для меня священнее, чем когда-либо, — лишь теперь это действительно

стало для меня святыней, — и, если она позволит, я тут же подам в отставку и приеду к ней в Швейцарию. Останусь с ней, несмотря ни на что — выздоровеет она сейчас, или потом, или никогда. Я сделаю все, чтобы искупить свою трусость, свою ложь; отныне у меня в жизни одна цель: доказать ей, что я обманул не ее, а тех, других. Он должен честно рассказать ей всю-всю правду, ибо только теперь я понял, что обязан ей большим, чем кому бы то ни было, чем товарищам, армии. Только она вправе осудить или оправдать меня. Только она может решить, достоин ли я прощения. Он, Кондор, должен бросить все — речь идет о жизни и смерти — и поехать туда дневным поездом. Ему непременно надо быть в усадьбе к половине пятого, ни в коем случае не позже — в это время я обычно прихожу туда. Я в последний раз обращаюсь к нему с просьбой. Только еще раз, один-единственный раз, должен он помочь мне и немедленно — я четырежды подчеркиваю это лихорадочное «немедленно» — ехать в усадьбу, иначе будет поздно.

Едва я отложил перо, как мне стало ясно, что сейчас я впервые принял настоящее решение. Только сейчас, когда я писал, мне открылся правильный путь. Впервые я почувствовал благодарность к полковнику за то, что он спас меня. Я знал: отныне вся моя жизнь принадлежит только одному человеку — той, которая меня любит.

Лишь теперь я заметил, что слепая все время неподвижно стояла рядом со мной. И опять мной овладело необъяснимое ощущение, будто она прочла письмо от первого до последнего слова и знает все.

— Простите меня за невежливость, — тотчас вскочил я, — я совсем забыл... но... но... я так торопился написать это письмо.

Она улыбнулась мне.

— Ну, это ничего, что я немножко постояла. Важно другое. Мой муж, несомненно, сделает все, что вы хотите... Я давно почувствовала — ведь я знаю малейшие оттенки его голоса, — что вы ему нравитесь... И не мучайте себя, — она заговорила

еще более сердечно, — пожалуйста, не мучайте себя... все будет хорошо, обязательно будет!

— Дай Бог! — вырвалось у меня от души. Ведь говорят же, что слепые обладают даром ясновидения!

Я склонился и поцеловал ее руку. Когда я взглянул ей в лицо, я искренне удивился тому, что при первой встрече эта женщина с седыми волосами, горькими складками у рта и слепыми глазами могла показаться мне некрасивой. Сейчас ее лицо было озарено любовью и сочувствием. Будто эти глаза, в которых отражался вечный мрак, видели больше, чем те, которые с радостью взирают на белый свет.

Я распрощался, чувствуя себя исцеленным. И то, что в этот час я вновь, теперь уже навсегда, обручился с другой беспомощной и отвергнутой, уже не казалось мне жертвой. Нет, здоровые, сильные, гордые, веселые не умеют любить — зачем им это? Они принимают любовь и поклонение как должное, высокомерно и равнодушно. Если человек отдает им всего себя, они не видят в этом смысла и счастья целой жизни; нет, для них это всего лишь некое добавление к их личности, что-то вроде украшения в волосах или браслета. Лишь обделенным судьбой, лишь униженным, слабым, некрасивым, отверженным можно действительно помочь любовью. Тот, кто отдает им свою жизнь, возмещает им все, что у них отнято. Только они умеют по-настоящему любить и принимать любовь, только они знают, как нужно любить: со смирением и благодарностью.

Мой денщик терпеливо ждет меня на вокзале. «Пошли», — говорю я ему, улыбаясь. У меня словно камень с души свалился. С каким-то донныне неведомым чувством облегчения я сознаю, что наконец-то поступил правильно. Я спас себя и спас другого человека. И я больше не сожалею о том, что струсил вчера ночью. Напротив, говорю я себе, это даже к лучшему. Хорошо, что все так случилось: те, кто доверяет мне, знают теперь, что я не герой и не святой; я больше не Бог, милостиво соблаговоливший приблизить к себе бедную калекку; если я принимаю ее

любовь, это уже не жертва с моей стороны. Нет, теперь я должен просить о прощении, а она — даровать его мне. Да, все к лучшему.

Никогда еще я не чувствовал себя так уверенно, лишь один раз за все это время на меня дохнуло холодом мимолетного страха, когда в Лунденбурге в купе ворвался дородный господин и, задыхаясь, упал на диван: «Слава Богу, все-таки успел. Не опоздай поезд на шесть минут, я бы остался».

Я невольно вздрогнул. А что, если Кондор не пришел домой к обеду? Или пришел поздно и не успел на дневной поезд? Тогда все напрасно! Она будет ждать, ждать... Перед глазами тотчас возникает кошмарное видение: цепляясь за перила террасы, она смотрит вниз, перегибается... Господи, она должна, должна узнать вовремя, что я раскаялся в своем предательстве! Вовремя, прежде чем ее охватит отчаяние, прежде чем случится непоправимое! Пожалуй, пошлю ей телеграмму с первой же остановки, успокою ее — на тот случай, если Кондор не успеет приехать.

На следующей станции, в Брюнне, я выскакиваю из вагона и бегу на почту. Но что это? Перед дверью, как рой встревоженных пчел, гудит толпа, все читают какое-то объявление. Мне приходится силой протискиваться к стеклянной двери, бесцеремонно пуская в ход локти. Скорее, скорее, вот бланк! Что писать? Только короче! «Эдит Кекешфальве тчк Кекешфальва тчк сердечный привет с дороги тчк служебное поручение тчк скоро вернусь тчк Кондор сообщит подробности тчк напишу сразу по приезде тчк люблю Антон».

Я подаю телеграмму. Как медленно работает телеграфистка, как много вопросов она задает: отправитель, адрес, одна формальность за другой. А до отхода поезда две минуты. Опять пробиваюсь сквозь плотную толпу — народу стало еще больше. «Что случилось?» — хочу я спросить. Но тут раздается пронзительный свисток, и я едва успеваю вскочить в вагон. Ну, слава Богу, все сделано, она успокоится... Только теперь я чувствую, как измучили меня эти два напряженных дня и две бессонные ночи. Прибыв вечером в Чаславице, я едва нахожу в себе силы

подняться на третий этаж гостиницы в свой номер. И тут же засыпаю, словно провалившись в какую-то пропасть.

Кажется, я заснул, едва коснувшись подушки, будто безвольно погрузился в темный, глубокий водоворот, на ту недосягаемую глубину, где происходит полное растворение сознания. И только потом, гораздо позднее, я увидел сон, начало которого я никогда не мог вспомнить. Помню только, что я стоял в какой-то комнате, кажется, в приемной Кондора, и внезапно услышал этот страшный деревянный стук, уже много дней пульсирующий у меня в висках, — равномерное постукивание костылей, это ужасное «тук-тук, ток-ток». Сначала оно слышалось издали, будто с улицы, потом стало приближаться, «тук-тук, ток-ток», вот оно уже совсем близко, совсем громко, «тук-тук, ток-ток», и, наконец, гремит у самой двери. Я в ужасе просыпаюсь.

Широко раскрытыми глазами я всматриваюсь в темноту. Но тут снова раздается «тук-тук» — резко, сухо. Нет, это не сон, кто-то постучал. Кто-то стучит в дверь. Я вскакиваю с кровати и торопливо открываю. В коридоре стоит портье.

— Господина лейтенанта просят к телефону.

Я смотрю на него непонимающе. Где... где я? Незнакомая комната, кровать... Ах, да ведь я... в Чаславице. Но я не знаю здесь ни души, кто же звонит мне среди ночи? Чепуха! Сейчас, наверное, уже полночь. Но портье торопит:

— Пожалуйста, быстрее, господин лейтенант, вызывает Вена, фамилии я не разобрал.

Сон как рукой сняло: Вена! Это может быть только Кондор. Ну, конечно, он хочет сообщить мне, что она простила! Все в порядке. Я бросаю портье:

— Бегите вниз! Скажите, что я иду!

Портье исчезает, я второпях набрасываю шинель прямо на рубашку и бегу за ним следом. Телефон висит в углу конторы, на первом этаже. Портье уже стоит с трубкой в руке. Я нетерпеливо отталкиваю его, хотя он говорит: «Прервали», — беру трубку и напряженно прислушиваюсь.

Но ничего не слышу. Лишь однообразное далекое гудение «Ззз... врр... ззз...» — словно назойливое жужжание комаров. «Алло, алло!» — кричу я и жду, жду. Ответа нет... Одно только насмешливое, бессмысленное жужжание. Отчего мне так холодно, оттого ли, что я в одной шинели, или от внезапно пробудившегося страха? Может быть, все сорвалось? Или, может... я прислушиваюсь, крепко прижимая к уху горячую трубку. Наконец треск, щелчок переключения и голос телефонистки:

— Вас соединили?

— Нет.

— Но ведь связь только что была, вызов из Вены... Минуточку, сейчас проверю.

Снова щелчок. В аппарате что-то трещит, булькает, клокочет. Постепенно все стихает, и я опять слышу тонкое гудение и жужжание проводов. Внезапно врывается голос, жесткий, грубый бас:

— Говорит комендатура Праги. Это — военное министерство?

— Нет, нет! — с отчаянием кричу я в телефон.

Бас невнятно рокочет еще некоторое время и, затихая, теряется в пустоте. Опять этот дурацкий свист и гудение и потом снова неясный, сбивчивый гул далеких голосов. Наконец, телефонистка:

— Алло! Вы слушаете? Я только что проверила. Линия занята. Срочный служебный разговор. Я сразу же позвоню вам, как только абонент повторит вызов. Пожалуйста, повесьте пока трубку.

Я вешаю трубку, измученный, разочарованный, расстроенный. Что может быть бессмысленнее — уловить чей-то голос издалека и не суметь удержать его! Сердце мое сильно колотится в груди, словно я вбежал на гору. Что случилось? Это мог быть только Кондор. Но почему он звонил мне сейчас, в половине первого ночи?

Портье вежливо обращается ко мне:

— Господин лейтенант могут спокойно обождать наверху

в своей комнате. Я тотчас прибегу, как только восстановят связь.

Но я отказываюсь. Ни в коем случае вторично не прозевать разговор! Нельзя терять ни минуты. Я должен знать, что случилось, ибо там, за много километров отсюда, — я уже чувствую — действительно что-то произошло. Звонить мог только Кондор или те, из усадьбы. Только Кондор мог дать им адрес моего отеля. Во всяком случае, это было что-то важное, что-то спешное, просто так человека не поднимают ночью с постели. Все нервы во мне напряжены: я нужен, во мне нуждаются! Кто-то хочет от меня чего-то. Кто-то хочет сказать мне что-то важное, решающее, от чего зависит жизнь и смерть. Нет, мне нельзя уходить, я останусь здесь на посту! Я не желаю терять ни минуты,

И я опускаюсь на жесткий стул, подставленный мне портье, и жду, пряча голые ноги под шинелью, не сводя глаз с телефона. Я жду четверть часа, полчаса, дрожа от беспокойства и, может быть, от холода, поминутно вытирая рукавом рубашки выступающий на лбу пот. Наконец — «трр!» — звонок. Я бросаюсь к телефону, хватаю трубку: вот, вот сейчас я все узнаю.

Но я ошибся самым нелепым образом, и портье тут же указывает мне на мою ошибку. Звонил не телефон, а дверной колокольчик: портье торопливо отпирает дверь запоздавшей парочке. Бряцая шпорами, в вестибюль входит какой-то ротмистр с девушкой и мимоходом бросает удивленный взгляд на сидящего в швейцарской странного человека с голой шеей и голыми ногами, выглядывающими из-под офицерской шинели. Небрежно отдав честь, он со своей спутницей скрывается в полутьме лестницы.

Я больше не в силах ждать. Покрутив ручку, спрашиваю телефонистку:

— Вызова еще нет?

— Какого вызова?

— Из Вены... кажется, из Вены... полчаса назад.

— Я проверю еще раз. Одну минутку.

Минута тянется долго. Наконец звонок. Но это телефонистка. Она успокаивает меня:

— Я уже запросила, пока еще ответа нет. Подождите несколько минут, я позвоню вам.

Ждать! Ждать еще несколько минут! Минуты! Минуты! В одну секунду может умереть человек, решиться судьба, погибнуть весь мир! Почему меня заставляют ждать, ждать так преступно долго? Ведь это же пытка, безумие! Часы показывают уже половину второго. Целый час сижу я здесь, дрожу, и мерзну, и жду.

Наконец-то, наконец-то снова звонок. Я весь обращаюсь в слух, но телефонистка лишь коротко сообщает:

— Я только что получила ответ. Абонент аннулировал заказ.

— Аннулировал? Что это значит? Аннулировал? Одну секунду, барышня. — Но она уже отключилась.

Почему аннулировал? Почему они звонят мне в половине первого ночи, а потом отменяют заказ? Наверняка случилось что-то, чего я не знаю, но должен узнать. Это ужасно — не иметь возможности преодолеть расстояние, время! Может быть, мне самому позвонить Кондору? Нет, сейчас уже слишком поздно! Это испугает его жену. Наверное, потому он и не стал звонить сейчас, а позвонит еще раз утром.

Эта ночь — я не могу ее описать. С молниеносной быстротой проносились в моем мозгу какие-то смутные образы, картины, чудовищным хором кружились самые дикие мысли; несмотря на утомление, каждый нерв во мне был напряжен до предела, я ждал, все время ждал, прислушиваясь к шагам на лестнице и в коридоре, к каждому звонку колокольчика, я жадно ловил каждый звук, каждое движение и в то же время почти падал от усталости, измотанный, опустошенный, — и потом сон, слишком глубокий, слишком долгий сон, словно смерть, словно бездонное ничто.

Когда я проснулся, в комнате было совсем светло. Взглянул на часы — половина одиннадцатого. Боже мой, ведь полковник приказал, чтобы я сейчас же по приезде явился к начальству!

Опять, прежде чем я успеваю подумать о личном, мое сознание автоматически переключается на служебные дела. Надев мундир и шинель, я сбегая вниз. Портье хочет что-то сказать мне. Нет, все остальное потом! Прежде всего явиться в штаб, я дал полковнику честное слово. Поправив фуражку, я вхожу в канцелярию. Но там сидит лишь маленький рыжий унтер-офицер; увидев меня, он испуганно вскакивает.

— Скорее вниз, господин лейтенант, там зачитывают приказ. Господин обер-лейтенант приказал, чтобы все офицеры и рядовые гарнизона были выстроены ровно в одиннадцать. Пожалуйста, поторопитесь.

Я слетаю с лестницы. В самом деле, все выстроились во дворе, весь гарнизон, и едва я успеваю занять место рядом с фельдкуратором, как появляется командир дивизии. Он подходит очень медленно, торжественно разворачивает какую-то бумагу и начинает читать громким, раскатистым голосом:

— «Произошло ужасное преступление, наполнившее отвращением сердца подданных Австро-Венгрии и людей всего цивилизованного мира («Какое преступление?» — испуганно думаю я. Меня охватывает произвольная дрожь, словно я сам совершил его.) Коварное убийство («Какое убийство?»)... нашего возлюбленного престолонаследника, его императорского и королевского высочества, эрцгерцога Франца-Фердинанда и ее высочества, его супруги. («Что? Убили престолонаследника? Когда же это? Ах да, верно, ведь тогда в Брюнне собралась толпа перед объявлением — значит, вот в чем было дело!)... повергло в глубокую печаль наш светлейший императорский дом. Но австро-венгерская армия...»

Дальнейшее я почти не слышу. Не знаю почему, но слова «преступление», «убийство», точно молния, ударили мне в грудь. Мой испуг не мог быть большим, даже если бы я сам был убийцей. Преступление, убийство — именно так говорил Кондор. Я вдруг перестаю слышать, что болтают, о чем кричит этот увешанный орденами человек с султаном на кивере. Я вдруг сразу вспоминаю о ночном звонке. Почему Кондор ничего не

сообщил мне утром? Или там все-таки ничего не случилось? После читки приказа я, пользуясь суматохой и не доложившись обер-лейтенанту, бегу назад в гостиницу: может быть, за это время Кондор все же позвонил мне.

Портье протягивает мне телеграмму. Оказывается, она была получена рано утром, но я так быстро ушел, что он не успел передать ее мне. Я разрываю конверт... В первую секунду ничего не понимаю. Никакой подписи! Абсолютно непонятный текст! Только потом до меня доходит: это не что иное, как почтовое уведомление, — моя телеграмма, отправленная в три пятьдесят восемь из Брюнна, не может быть доставлена.

Не может быть доставлена? Телеграмма не может быть доставлена Эдит Кекешфальве? Ведь в городке ее знает каждый. Я больше не в силах выносить неизвестность. Тут же я прошу заказать телефонный разговор с Веной, с доктором Кондором.

— Срочно? — спрашивает портье.

— Да, срочно.

Через двадцать минут Вена отвечает, и вот — ирония судьбы! — Кондор дома и сам подходит к телефону. Еще три минуты, и я знаю все — междугородный разговор не оставляет времени для вступлений. Дьявольская случайность все погубила, и несчастная так и не узнала о моем раскаянии, о моем искреннем, от всего сердца принятом решении. Старания полковника замять дело оказались напрасными. Ференц вместе с товарищами направился из кафе не домой, а в другой кабачок. К несчастью, они встретили там аптекаря в многолюдном обществе, и Ференц, этот добродушный болван, тотчас набросился на него, просто из любви ко мне. В присутствии всех он потребовал у него объяснений и обвинил в том, что он распространяет обо мне такую низкую ложь. Разразился ужасный скандал, на следующий день об этом говорил весь город. Оскорбленный аптекарь рано утром явился в казарму, чтобы призвать меня в свидетели, и, узнав о моем подозрительном исчезновении, тут же поехал в усадьбу. Там он набросился на старика в его кабинете и орал так, что стекла дрожали. Кекешфаль-

вы сделали его посмешищем своей «дурацкой телефонной болтовней», он, старожил города, не станет терпеть оскорбления от этой офицерской банды. Уж он-то знает, почему я так трусливо сбежал; что бы ни болтали, он не поверит, что это была просто шутка. Какая неслыханная подлость с моей стороны, но пусть ему придется дойти до министерства, он выведет меня на чистую воду и ни в коем случае не позволит всяким соплякам оскорблять его в публичном месте.

С большим трудом удалось утихомирить и выпроводить из усадьбы разбушевавшегося аптекаря; пораженный Кекешфальва надеялся только, что Эдит не слышала страшных обвинений. Но по роковой случайности окна кабинета были открыты и крики аптекаря отчетливо долетели через двор в гостиную, где она сидела. Возможно, она сразу приняла решение, которое уже давно зрело в ее мозгу. Но Эдит умела притворяться, она попросила еще раз показать ей новые платья, шутила с Илоной, была очень ласкова с отцом, спрашивала о всевозможных мелочах: приготовлено ли то, упаковано ли это. И все же тайком попросила Йозефа позвонить в казарму и узнать, когда я вернусь и не просил ли я что-нибудь передать ей. Сообщение вестового, что я уехал в служебную командировку на неопределенное время и не оставил никаких распоряжений, было последним ударом. Охваченная нетерпением, она не захотела ждать ни одного дня, ни одного часа. Ее разочарование во мне было слишком жестоким, рана, нанесенная мной, слишком глубокой. Она больше не могла доверять мне — моя слабость придала ей силы.

После обеда она приказала поднять себя на террасу. Илона, словно что-то смутно предчувствуя, была обеспокоена ее необычной веселостью и не отходила от нее ни на шаг. Но в половине пятого — как раз в тот час, когда я обычно приходил к ней, — за пятнадцать минут до того, как прибыла моя телеграмма и приехал Кондор, Эдит попросила подругу принести ей какую-то книгу, и Илона, к несчастью, уступила этой невинной просьбе. Одной минуты было достаточно. Эдит, не в силах совладать с мучительным нетерпением, привела в исполнение свой замы-

сел — точно так, как она говорила мне однажды, — на той самой террасе. Все произошло, как в моих кошмарных видениях.

Кондор еще застал ее в живых. Как это ни странно, ее легкое тело не получило значительных повреждений; в бессознательном состоянии ее доставили в Вену на санитарной машине. До поздней ночи врачи еще надеялись ее спасти, и потому в восемь часов вечера Кондор позвонил мне из больницы. Но в ту ночь, на двадцать девятое июня, после убийства престолонаследника, поднялась тревога во всех учреждениях империи, и телефонные линии были отданы в распоряжение гражданских и военных властей. Четыре часа Кондор тщетно ждал связи. Лишь после полуночи, когда врачи установили, что надежды больше нет, он аннулировал заказ. Полчаса спустя Эдит скончалась.

Я уверен, что из сотен людей, призванных в те августовские дни, лишь немногие шли на фронт так хладнокровно и даже нетерпеливо, как я. Не потому, что я жаждал воевать; я видел в этом всего лишь выход, спасение для себя; я бежал на войну, как преступник в ночную тьму. Четыре недели до начала военных действий я был в безысходном отчаянии и растерянности. Я презирал себя, и сейчас еще воспоминание о тех днях для меня мучительнее самых ужасных часов на поле битвы. Ибо я знаю, что своей слабостью, своей жалостью — когда я подал надежду, а затем сбежал — я убил человека, единственного человека, который страстно любил меня. Я не решался выходить на улицу, сказался больным и сидел в комнате. Я написал Кекешфальве, чтобы выразить свое участие; увы, там действительно не обошлось без моего участия — он не ответил. Я засыпал Кондора письмами с объяснениями и оправданиями, он не отвечал. Я ни строчки не получил ни от товарищей, ни от отца — на самом деле, конечно, потому, что в это критическое время он был перегружен работой в министерстве. Но мне это единодушное молчание казалось заговором осуждения. Все сильнее овладевала мной безумная мысль: все осудили меня

так же, как я сам осудил себя, и считают меня убийцей, потому что я сам считал себя таковым. В то время, когда вся страна была взбудоражена, когда по всей Европе гудели провода, передавая страшные известия, когда шатались биржи, мобилизовывались армии, а наиболее осторожные уже упаковывали чемоданы, — в то время я думал только о своем предательстве, о своей вине. Отправка на фронт означала для меня освобождение, война, погубившая миллионы невинных, спасла меня, виновного, от отчаяния (не подумайте, что я восхваляю ее).

Я терпеть не могу громких слов. Поэтому я не говорю, что искал смерти. Я говорю лишь, что не боялся ее или по крайней мере боялся меньше, чем большинство других. И возвращение в тыл, где были люди, знавшие о моей вине, страшило меня больше, чем все ужасы войны, — да и куда мне было возвращаться, кому я был нужен, кто еще любил меня, для кого, для чего мне было жить? Поскольку быть храбрым означает не что иное, как не испытывать страха, — в этом нет ничего возвышенного, я не солгу, если скажу, что действительно был храбрым в бою, так как даже то, чего самые мужественные из моих товарищей боялись больше смерти — быть искалеченным, стать обрубком, — не пугало меня. Наверное, если бы я сам оказался беспомощным калекой, предметом чужого сострадания, я воспринял бы это как заслуженную кару, как справедливое возмездие за то, что мое собственное сострадание было слишком трусливым и бессильным. Если смерть не настигла меня, это не моя заслуга; десятки раз я шел ей навстречу, с холодным равнодушием смотрел ей в глаза. Когда вызывали добровольцев на особо опасное дело, я был в числе первых. Когда приходилось жарко, я чувствовал себя хорошо. Оправившись после первого ранения, я попросил перевести меня в пулеметную роту, потом в летную часть; кажется, мне действительно удалось там кое-чего добиться на наших «гробах». Но всякий раз, когда в приказе слово «храбрость» упоминалось рядом с моей фамилией, я чувствовал себя обманщиком. А если кто-нибудь слишком пристально вглядывался в мои ордена и медали, я поскорее отворачивался.

Когда эти четыре бесконечных года остались позади, я, к моему удивлению, обнаружил, что, несмотря ни на что, могу жить в том, прежнем мире. Ибо мы, возвратившиеся из ада, ко всему подходили теперь с новой меркой. Одно дело — иметь на своей совести смерть человека в мирное время и совсем другое — если ты прошел через мировую бойню. В этом огромном кровавом болоте моя личная вина целиком растворилась во всеобщей вине; ведь я сам, своими руками установил пулемет, который в бою под Лимановой начисто скошил первую волну атакующей русской пехоты. Потом я сам видел в бинокль остекленевшие глаза убитых мною людей, смотрел на раненых, которые часами стонали, повиснув на колючей проволоке, пока не погибали в муках. Под Герцем я сбил самолет, он три раза перевернулся в воздухе, потом среди камней взметнулся столб пламени, и мы своими руками обыскивали обуглившиеся, еще дымящиеся трупы. Тысячи и тысячи людей, шагавших со мной в одном строю, делали одно и то же: убивали — карабином, штыком, огнеметом, пулеметом и просто кулаком — все мое поколение, сотни тысяч, миллионы во Франции, России, Германии. Какое значение имело одно убийство, одна личная вина в сравнении с тысячами убийств, с мировой войной, с массовым разрушением и уничтожением человеческих жизней, самым чудовищным из всех, какие знала история?

И еще одно: в этом возвращении мира мне уже не угрожал ни один свидетель моего преступления. Никто не мог обвинить в давнишнем трусливом поступке человека, отмеченного высшей наградой за храбрость, никто не мог упрекнуть меня за мою роковую слабость. Кекешфальва ненадолго пережил свою дочь; Илона, ставшая женой нотариуса, жила в какой-то югославской деревне, полковник Бубенчич застрелился на Саве; мои товарищи или погибли, или давно позабыли ничтожный эпизод — ведь за эти четыре апокалиптических года все, что было «прежде», стало таким же никчемным и недействительным, как старые деньги. Никто не мог обвинить меня, никто не мог меня осудить; я чувствовал себя как убийца, который толь-

ко что закопал труп своей жертвы в лесу, и вдруг выпадает снег, белый, густой, тяжелый; он знает, что это покрывало на много месяцев скроет его преступление, а потом всякий след затеряется. И я набрался мужества и стал жить. Так как никто не напоминал мне о моей вине, я и сам забыл о ней. Сердце умеет забывать легко и быстро, если хочет забыть.

Один только раз прошлое напомнило о себе. Я сидел в партере венской оперы, у прохода в последнем ряду; мне хотелось еще раз послушать «Орфея» Глюка, чья затаенная, чистая грусть волнует меня больше, чем любая другая музыка. Только что кончилась увертюра, во время короткой паузы зал не освещался, но позволяли нескольким опоздавшим занять свои места. К моему ряду тоже подошли две тени: мужчина и женщина.

«Разрешите», — вежливо наклонился ко мне мужчина. Не глядя на него, я встал, чтобы пропустить их. Но, вместо того чтобы сесть в свободное кресло рядом со мной, он сначала пропустил вперед свою спутницу, бережно и ласково поддерживая и направляя ее; он не только заботливо провел ее по узкому проходу, но и предупредительно придерживал сиденье, пока она не опустилась в кресло. Такая заботливость была слишком необычной, чтобы привлечь мое внимание, «Ах, это слепая», — подумал я и взглянул на нее с невольным сочувствием. Но тут полный господин сел рядом со мной, и я вздрогнул: это был Кондор! Единственный человек, который знал все, всю подноготную моего преступления, сидел так близко от меня, что я слышал его дыхание. Человек, чье сострадание было не убийственной слабостью, как мое, а спасительной силой и самопожертвованием, — единственный, кто мог осудить меня, единственный, перед кем мне было стыдно! Как только в антракте вспыхнут люстры, он тотчас меня увидит.

Меня охватила дрожь, и я торопливо заслонил лицо рукой, чтобы он не узнал меня. Я больше не слышал ни одного такта любимой музыки: удары моего сердца заглушали ее. Близость этого человека, который один в целом мире знал обо мне правду, была невыносима для меня. Словно сидя в темноте голый

среди этих хорошо одетых людей, я с ужасом ждал, что вот-вот загорится свет и мой позор станет явным. И когда после первого акта начал опускаться занавес, я, наклонив голову, быстро покинул зал, — вероятно, Кондор не успел меня разглядеть в полумраке. Но с той минуты я окончательно убедился, что никакая вина не может быть предана забвению, пока о ней помнить совесть.





ТРИ ПЕВЦА
СВОЕЙ ЖИЗНИ

*Максиму Горькому
с благодарностью и уважением*





ПРЕДИСЛОВИЕ

The proper study of mankind is man*.
Pope

В ряду изображений «Строители мира», в котором я пытаюсь пояснить творческие устремления духа самыми яркими типами, а типы, в свою очередь, — образами, этот том противопоставляется двум другим и дополняет их. В «Борьбе с демоном» показаны Гельдерлин, Клейст и Ницше как три различных воплощения гонимой демоном трагической душевной природы, переступающей в борьбе с беспредельным границы, положенные как ей самой, так и реальному миру. «Три мастера» показывают Бальзака, Диккенса и Достоевского как типы мировых эпических изобразителей, создавших в космосе своих романов вторую действительность наряду с существующей. Путь «Трех певцов своей жизни» ведет не в беспредельный мир, как у первых, и не в реальный, как у вторых, а обратно — к собственному «я». Важнейшей задачей своего искусства они невольно считают не отражение макрокосма, то есть полноты существования, — а демонстрацию перед миром микрокосма собственного «я»: для них нет реальности более значительной, чем реальность их собственного существования. В то время как создающий мир поэт, *extroverte***, как его называет психология, то есть обращенный к миру, растворяет свое «я» в объективности произведения до полного исчезновения личности (совершеннее всех Шекспир — как человек, ставший мифом), — субъективно чувствующий, *introverte****, обращен-

* Отдельный человек — сжатый этюд всего человечества (*англ.*).

** Обращенный вовне (*лат.*).

*** Обращенный внутрь (*лат.*).

ный к себе, сосредоточивает весь мир в своем «я» и становится прежде всего изобразителем своей собственной жизни. Какую бы форму он ни избрал — драму, эпос, лирику или автобиографию, он всегда бессознательно в центр своего произведения ставит свое «я», в каждом изображении он прежде всего изображает себя. Задачей этого тома является попытка продемонстрировать на трех образах — Казанова, Стендаля и Толстого — этот тип поглощенного собой субъективного художника и характернейшую для него художественную форму — автобиографию.

Казанова, Стендаль, Толстой, — я знаю, сопоставление этих трех имен звучит скорее неожиданно, чем убедительно, и трудно себе представить плоскость, где беспутный, аморальный жулик и сомнительный художник Казанова встречается с таким героическим поборником нравственности и совершенным изобразителем, как Толстой. В действительности же и на этот раз совмещение в одной книге не указывает на размещение их в пределах одной и той же духовной плоскости; наоборот, эти три имени символизируют три ступени — одну выше другой, ряд восходящих проявлений однородной формы; они являются, повторяю, не тремя равноценными формами, а тремя ступенями в пределах одной и той же творческой функции: самоизображения. Казанова, разумеется, представляет только первую, самую низкую, самую примитивную ступень, — наивное самоизображение, в котором человек рассматривает жизнь как совокупность внешних чувственных и фактических переживаний и простодушно знакомит с течением и событиями своей жизни, не оценивая их, не углубляясь в свой внутренний мир. У Стендаля самоизображение уже стоит на более высокой ступени — психологической. Оно не удовлетворяется простым рапортом, голым *sigillum vitae**, тут собственное «я» заинтересовалось самим собой; оно рассматривает механизм своих побуждений, ищет мотивы своих действий и своего бездействия, драматические элементы в области душевного. Это откры-

*Жизнеописание (*лат.*).

вает новую перспективу — двойного рассмотрения своего «я» как субъекта и объекта, двойной биографии: внешней и внутренней. Наблюдающий наблюдает себя, переживающий проверяет свои переживания, — не только внешняя, но и психическая жизнь попала в поле зрения изобразителя. В Толстом — как типе — это самонаблюдение достигает высшей ступени: оно становится уже этически-религиозным самоизображением. Точный наблюдатель описывает свою жизнь, меткий психолог — разъединенные рефлексы переживаний; за ними, в свою очередь, следит новый элемент самонаблюдения — неутомимый глаз совести; он наблюдает за правдивостью каждого слова, за чистотой каждого воззрения, за действенной силой каждого чувства: самоизображение, вышедшее за пределы любопытствующего самоисследования, является самоиспытанием, самосудилищем. Художник, изображая себя, интересуется не только методом и формой, но и смыслом и ценностью своего земного пути.

Представители этого типа художников-самоизобразителей умеют каждую литературную форму оплодотворить своим «я», но лишь одну они наполняют собой всецело: автобиографию, эпос, охватывающий это собственное «я». Каждый из них бессознательно стремится к ней, немногие ее осуществляют; из всех художественных форм автобиография реже всего оказывается удачной, ибо это самый ответственный жанр искусства. За нее редко принимаются (в неисчислимой сокровищнице мировой литературы едва ли удастся насчитать дюжину значительных произведений этого жанра), редко берутся и за ее психологическую критику, ибо она неизбежно принуждает спускаться с прямолинейной литературной зоны в глубочайшие лабиринты науки о душе. Разумеется, мы не отважимся в тесных рамках предисловия даже приблизительно наметить возможности и границы самоизображения; пусть лишь тематика проблемы и несколько намеков послужат прелюдией.



С первого взгляда самоизображение должно казаться приятнейшей и легчайшей задачей каждого художника. Ибо чью жизнь изобразитель знает лучше, чем свою? Каждое событие этого существования ему известно, самое тайное — явно, самое скрытое — освещено изнутри, и ему, чтобы изобразить «правдиво» свое настоящее и прошлое, нужно лишь перелистать страницы памяти и списать жизненные факты, — всего один акт, едва ли более трудный, чем поднятие занавеса для показа уже поставленного спектакля; нужно лишь отодвинуть четвертую стену, отделяющую «я» от мира. Больше того! Как фотография не требует живописного таланта, ибо в ней отсутствует фантазия и она является лишь механическим закреплением уже сложившейся действительности, так и искусство самоизображения, собственно говоря, требует не художника, а только честного регистратора; в принципе, каждый желающий мог бы быть автобиографом и мог бы литературно изобразить свою судьбу и пережитые опасности.

Но история учит нас, что никогда обыкновенному самоизобразителю не удавалось сделать что-нибудь большее, чем просто зарегистрировать пережитое им по воле чистого случая; создать изображение своей души может только опытный проныцательный художник, даже среди них лишь немногие вполне справились с этим исключительно ответственным делом. Ибо, освещенный лишь мерцанием блуждающих огней сомнительных воспоминаний, путь спуска человека с ясной поверхности во тьму его глубин, из живой современности в заросшее прошлое оказывается самым недоступным из всех путей. Сколько отваги должен он проявить, чтобы пробраться мимо пропасти своего «я» по узкой скользкой тропе — между самообманом и случайной забывчивостью — в абсолютное уединение, где, как на пути Фауста к «матери», образы пережитого витают лишь как символы своего реального бытия в прошлом — «неподвижно, безжизненно». Каким героическим терпением и какой уверенностью в себе он должен обладать, чтобы иметь право произнести возвышенные слова: «Vidi cor meum!» — «Я

познал собственное сердце!» И как тягостно возвращение из тайников этих глубочайших глубин в противоборствующий мир творчества — от самообозрения к самоизображению! Ничто не может яснее доказать неизмеримую трудность такого предприятия, чем нечастый его успех: хватит пальцев руки, чтобы пересчитать количество людей, которым удалось душевно-пластическое самоизображение, облеченное в литературную форму, и даже среди этих относительных удач — сколько пробелов и скачков, сколько искусственных дополнений и заплат! Как раз самое близкое в искусстве оказывается самым далеким, мнимо легкая задача — труднейшей: любого человека своего времени, и даже всех времен, легче изобразить правдиво, чем свое собственное «я».

Но что же от поколения к поколению искушает людей снова и снова браться за эту, быть может, неразрешимую задачу? Несомненно — стихийное, принудительно действующее в человеке побуждение: врожденное стремление к самоувечечиванию. Брошенный в поток, омраченный тленностью бытия, обреченный на претворение и превращение, влекомый неудержимо летящим временем, молекула среди миллиардов ей подобных, каждый человек невольно (благодаря интуиции бессмертия) стремится запечатлеть свою однократность и неповторимость в какой-нибудь длительной, способной пережить его форме. Зачатие детей и создание свидетельств о своем существовании является, в сущности, одной и той же изначальной функцией, одним и тем же тождественным стремлением — оставить хотя бы мимолетную зарубку на постоянно разрастающемся стволе человечества. Каждое самоизображение является, таким образом, лишь самой интенсивной формой такого стремления к созданию свидетельства о своем существовании, и даже первые его опыты нуждаются уже в художественной форме, в помощи знаков письма; камни, поставленные над могилой, доски, неуклюжей клинописью прославляющие забытые деяния, резьба на коре деревьев — этим языком рельефов говорят с нами сквозь пустыню тысячелетий первые пытавшиеся создать самоизображение люди. Давно стали непо-

стижимыми деяния и непонятным язык превратившихся в прах поколений; но они неопровержимо доказывают наличие стремления изобразить, сохранить себя и, умирая, оставить живущим поколениям след своего единственного и неповторимого существования. Это еще не осознанное и тусклое стремление к самоувековечению — стихийный повод и начало каждого самоизображения.

Лишь позже, спустя сотни и тысячи лет, у более сознательного человечества присоединилась к простому, неосознанному желанию индивидуальная потребность познать свое «я», истолковать себя ради самопознания: короче говоря, стремление к самосозерцанию. Когда человек, по превосходному изречению Августина, становится вопросом для самого себя и начинает искать ответа, которым он может быть обязан себе и только себе, он, для более ясного, более наглядного познания, разворачивает перед собой свой жизненный путь, как карту. Не другим хочет он себя разъяснить, а прежде всего себе самому; здесь начинается раздвоение пути (и в наши дни заметное в каждой автобиографии) между изображением жизни или переживаний для других или для себя, объективно внешней или субъективно внутренней автобиографией — вестью другим или вестью себе. Одна группа тяготеет к гласности, и формулой для нее становится исповедь, — исповедь в церкви или в книге; другая — предпочитает монологи и удовлетворяется дневником. Лишь действительно сложные натуры, подобные Гете, Стендалю, Толстому, решились здесь на полный синтез и увековечили себя в обеих формах.

Самосозерцание — лишь подготовительный, пока еще не возбуждающий сомнений шаг: всякой истине легко оставаться правдивой, пока она принадлежит себе. Лишь приступив к ее передаче, начинает художник терзаться; тогда только каждому самоизобразителю нужен настоящий героизм правдивости. Наряду с исконным непреодолимым стремлением к общению, заставляющим нас братски делиться неповторимостью нашей личности, в человеке живет и обратное побуждение — столь же стихийное стремление к сохранению себя, к умалчиванию о

себе; оно является продуктом стыда. Как женщина, побуждаемая волнением крови и уже готовая отдаться мужчине телом, в то же время, под действием бодрствующего инстинкта противоположного чувства, хочет уберечь себя, — так, в области духовной, желание исповедаться, довериться миру борется со стыдливостью души, советующей нам умолчать о сокровенном. Самый тщеславный (и, главным образом, он) не ощущает себя совершенным, каким он хотел бы казаться перед другими; поэтому он хочет похоронить с собой свои некрасивые тайны, недостатки и свою мелочность, вместе с тем лелея желание, чтобы образ его жил среди людей. Стыд, таким образом, является вечным врагом искренней автобиографии; он льстиво старается соблазнить нас, представить себя не такими, как мы есть, а какими мы хотели бы казаться. Коварством и кошачьими уловками он соблазнит честно стремящегося к искреннему признанию художника скрыть самое интимное, затушевать самое опасное, прикрыть самое тайное; бессознательно он учит созидающую руку опустить или лживо разукрасить обезображивающие мелочи (самые существенные в психологическом отношении!), ловким распределением света и тени — ретушировать характерные черты, превратив их в идеальные. И кто по слабости воли уступит его льстивому настоянию, тот придет не к самоизображению, а к самоапофеозу или самообороне. Поэтому каждая честная автобиография вместо простого и беззаботного повествования требует постоянной настороженности перед возможным нападением тщеславия, упорной защиты от неудержимого стремления земной природы оправдать себя в изображении пред лицом мира; тут, кроме честности художника, нужно еще особенное, встречающееся у одного среди миллионов мужество, ибо никто не может проконтролировать и дать очную ставку правдивости собственного «я»; свидетель и судья, обвинитель и защитник соединяются в одном лице.

Для этой неизбежной борьбы с самообманом нет совершенной брони. Как в каждом военном ремесле для самой крепкой кирасы находится еще более крепкая, пробивающая ее пуля, так при каждом познании сердца совершенствуется и ложь.

Если человек решительно захлопывает дверь перед ней, она станет увертливой, как змея, и пролезет в щель. Если он психологически проанализирует ее козни и ухищрения, чтобы дать им отпор, она несомненно научится новым, более ловким уверткам и контратакам; как пантера, она вероломно прячется в темноте, чтобы коварно выскочить при первой же неосторожности; вместе с ростом способности познания и психологического нюансирования в человеке утончается и возвышается искусство самообмана. Пока с истиной обращаются грубо и неуклюже, и ложь остается неуклюжей и легко уловимой; только у человека, стремящегося к тонкостям познания, она становится изощренной, и распознать ее сумеет лишь много познавший, ибо она прячется в запутаннейшие, отважнейшие формы обмана, и самая опасная ее личина — это искренность. Как змеи охотнее всего прячутся под камнями и скалами, так и самая опасная ложь чаще всего гнездится в великих, патетических, мнимогероических признаниях; в каждой автобиографии, именно в тех местах, где повествователь особенно смело и неожиданно обнажается и нападает на себя, приходится быть настороже, — не пытается ли эта бурная исповедь спрятать за покаянными ударами в грудь утаенное признание: в исповеди бывает иногда некоторая крикливость, почти всегда указывающая на тайную слабость. К основным тайнам стыда надо отнести свойство человека охотнее обнажать самое ужасное и самое отвратительное, чем ничтожнейшую черточку характера, выставляющую его в смешном виде: страх перед иронической улыбкой является всегда и везде самым опасным соблазном для каждой автобиографии. Даже такой проникнутый стремлением к истине автобиограф, как Жан-Жак Руссо, с подозрительной основательностью выложит все свои сексуальные извращения и будет искренне раскаиваться в том, что он, автор «Эмиля», знаменитого трактата о воспитании, дал своим детям погибнуть в приюте, в действительности же за этим мнимогероическим признанием скрывается более человеческое, но и более трудное, — что у него, вероятно, никогда не было детей, ибо он не способен был их прижить. Толстой охотнее

назовет себя в своей исповеди блудником, разбойником, вором, изменником, чем хоть одним словом сознается, что всю свою жизнь не признавал своего великого соперника Достоевского и невеликодушно поступал по отношению к нему. Спрятаться за раскаянием, умалчивать, признаваясь, — это самый ловкий, самый лживый трюк самообмана в самоизображении. Готфрид Келлер однажды зло посмеялся над этим обходным маневром всех автобиографов: «Один сознавался во всех семи смертных грехах и скрыл, что у него на левой руке только четыре пальца; другой описывает и перечисляет все пятна и родинки на своей спине, но молчит, как могила, о том, что лжесвидетельство отягощает его совесть. Если я подобным образом сравню их всех с их правдивостью, которую они считали кристально чистой, я должен буду спросить себя: «Существует ли правдивый человек, и может ли он существовать?»

В самом деле, требовать от человека в его самоизображении (и вообще) абсолютной правдивости было бы так же бессмысленно, как требовать абсолютной справедливости, свободы и совершенства на земной шаре. Самое страстное намерение, самое решительное стремление к правдивости в передаче фактов становится невозможным уже потому, что мы вообще не обладаем достоверным органом истины, что мы, еще не начав повествования о себе, уже обмануты воспоминаниями о действительных переживаниях. Ибо наша память не похожа на бюрократически точную регистратуру, где в надежно упакованных бумагах исторически верно и неизменно — акт к акту — документально изложены все деяния нашей жизни; то, что мы называем памятью, заложено в нашей крови и заливается ее волнами; это живой орган, подчиненный изменениям и превращениям, а не ледник, не устойчивый аппарат для хранения, в котором каждое чувство сохраняло бы свои основные свойства, свой природный аромат, свою былую историческую форму. В этом струящемся потоке, который мы поспешно сжимаем в одно слово, называя его памятью, события двигаются, как гальки на дне ручья, шлифуясь друг о друга до неузнаваемости. Они приспособляются, они передвигаются, они в таинственной ми-

микрии принимают форму и цвет наших желаний. Ничего или почти ничего не остается неизменным в этой трансформирующей стихии; каждое последующее впечатление затемняет предыдущее, каждое новое воспоминание до неузнаваемости и часто даже до противоположности изменяет первоначальное. Стендаль первый сознался в этой нечестности памяти и в своей неспособности к абсолютной исторической точности; классическим примером может служить его признание, что он не в состоянии отличить, является ли картина «Перевал через Сан-Бернар», которая запечатлелась в его памяти, воспоминанием о действительно пережитом или это воспоминание о попавшейся ему позже гравюре, изображающей этот перевал. И Марсель Пруст, его духовный наследник, подтверждает эту изменчивость памяти еще более ярким примером, — как мальчик переживал игру артистки Берма в одной из ее известнейших ролей. Еще прежде чем он увидел ее, он в фантазии создал себе предчувствие, это предчувствие совершенно самостоятельно и растворяется в непосредственном чувственном восприятии; последнее стушевывается благодаря суждению его соседа, а на следующий день опять-таки искажается газетной критикой; и когда он через несколько лет видит ту же артистку в той же роли, — он изменился, и она уже не та, — ему не удастся восстановить в памяти, какое, собственно говоря, впечатление было «настоящим». Это может служить символом недостоверности всех воспоминаний: память, эта мнимо неизменная мерка правдивости, уже сама по себе является врагом правдивости, ибо прежде чем человек начал описывать свою жизнь, в нем уже творчески действовал какой-то орган; вместо простой репродукции память непрошено взяла на себя все творческие функции: выбор существенного, подчеркивание, завуалирование, органическую группировку. Благодаря этой творческой фантазии памяти каждый изобразитель становится, собственно говоря, певцом своей жизни: это знал мудрейший человек нашего нового мира — Гете, и название его автобиографии с ее героическим отказом быть вполне правдивой — «Поэзия и правда» — может быть названием каждой исповеди.

Если, таким образом, никто не может сказать абсолютной истины про свое собственное существование и каждый автобиограф вынужденно должен до известной степени быть певцом своей жизни, то все же старание остаться правдивым породит высший предел этической честности в каждом исповедующемся. Без сомнения, «псевдоисповедь», как ее называет Гете, покаяние *sub rosa*, под прозрачным покровом романа или стихотворения, несравненно легче, а часто и в художественном смысле убедительнее, чем изображение с поднятым забралом. Но так как здесь нужна не просто истина, а истина обнаженная, — автобиография представляет собой подвиг художника, ибо нигде нравственный облик человека не становится столь предательским. Только зрелому, душевно мудрому художнику удастся осуществить ее; именно поэтому психологическое самоизображение так поздно вступило в ряды искусства: оно принадлежит исключительно нашему и грядущему времени. Человек должен был открыть свои материки, переплыть свои моря, изучить свой язык, прежде чем обратить взор на свой внутренний мир. Древний мир ничего не подозревал об этих таинственных путях: его самоизобразители — Цезарь и Плутарх — нанизывают лишь факты и объективные события и не думают о том, чтобы хоть на дюйм открыть свою душу. Раньше чем прислушаться к своей душе, человек должен был прочувствовать ее наличие, и это открытие действительно приходит лишь в христианскую эпоху: «Исповедью» Августина начинается внутренний смотр, но взор великого епископа при исповеди меньше обращен на себя, чем на прихожан, которых он примером своего обращения надеется обратить и научить; его трактат должен действовать как исповедь перед общиной, как пример раскаяния, — значит, теологически, целенаправленно, — а не служит ответом себе самому. Должны были пройти столетия, пока Руссо, всегда прокладывающий новые дороги, повсюду раскрывающий ворота и замки, создает самоизображение ради себя самого, — сам изумленный и испуганный новизной этого начинания. «Я задумал предприятие, — начинает он, — не имеющее примера... я хочу нарисовать равного

мне человека со всей правдивостью природы, и этот человек я сам...» Но с добросовестностью каждого новичка он представляет себе это «я» — неделимым единством, чем-то измеримым, и «правдивость» как нечто осязаемое; он наивно предполагает: «когда раздадутся фанфары Страшного суда, предстать перед судьей с книгой в руке и сказать: это был я». Наше поколение не обладает честной доверчивостью Руссо, но зато владеет более сильными, более смелыми проникновениями в значительные и тайные глубины души в ее тончайших разветвлениях: во всех более смелых анализах анатомизирующее себя любопытство пытается обнажить каждый нерв и сосуд каждого чувства и помысла. Стендаль, Геббель, Киркегор, Толстой, Амизель, храбрый Ганс Иегер открывают неожиданные области самопознания благодаря своим самоизображениям, и их потомки, вооруженные более тонкими орудиями психологии, продвигаются все дальше, преодолевая слой за слоем, пространство за пространством, в наш новый беспредельный мир: в глубины человека.

Пусть это послужит утешением всем прислушивающимся к постоянным пророчествам об упадке искусства в этом мире техники и трезвости. Без сомнения, мифологическая изобразительная сила человечества должна была ослабнуть: фантазия живее всего в детстве, народы изобретают мифы и символы на заре своей жизни. Но место исчезающей силы мечты занимает более ясная и документальная сила знаний; в нашем современном романе, который близок к тому, чтобы стать точной наукой души, вместо того чтобы свободно и отважно изобретать фабулы, чувствуется это творческое овеществление. Но в этом соединении поэзии и науки не заглухнет искусство, а возобновятся лишь старинные родственные узы; ибо, когда наука возникала, во времена Гезиода и Гераклита, она была еще поэзией, сумеречным словом и колеблющейся гипотезой; теперь, после тысячелетий разъединения, исследующий ум соединяется с творческим, вместо мира вымыслов поэзия изображает теперь волшебство человеческой жизни. Она уже не черпает силы в неведомых странах нашей земли, ибо открыты и

тропики, и антарктические зоны, исследованы звери и чудеса фауны и флоры вплоть до аметистового дна всех морей. Нигде нет более места для мифа на нашем вымеренном, покрытом наименованиями и цифрами земном шаре, — ему остается отправиться лишь в звездный мир, — и вечно жаждущий познания ум должен будет все больше и больше обращаться внутрь, навстречу собственным мистериям. Internum aeternum, внутренняя беспредельность, душевная вселенная открывает искусству неисчерпаемые сферы: нахождение ее души, самопознание станут впоследствии все смелее решаемой и все же неразрешимой задачей для обогащенного мудростью человечества.

Зальцбург, Пасха 1928 г.





КАЗАНОВА

Il me dit qu'il est un homme libre, citoyen du monde.

Он сказал мне, что он — человек свободный, гражданин вселенной.

*Мюра о Казанове в письмах
Альберту фон Геллеру от
21 июня 1760 г.*

Казанова представляет собой особый случай, единичный счастливый случай в мировой литературе уже потому, что этот блистательный шарлатан попал в пантеон творческих умов, в конце концов, так же незаслуженно, как Понтий Пилат в символ веры. Ибо его поэтическое дворянство не менее легкомысленно, чем нагло составленный из букв алфавита титул — шевадьё де Сенгаль: несколько стихов, импровизированных между постелью и игорным столом в честь какой-нибудь бабенки, отдают мускусом и академическим клеем; чтобы дочитать его «Изокамерон», — чудовище среди утопических романов, — надо обладать овечьим терпением в ослиной шкуре, а когда наш милый Джакомо начинает еще, вдобавок ко всему, философствовать, приходится сдерживать челюсти от судорожной зевоты. Нет, у Казановы так же мало прав на поэтическое дворянство, как и на место в Готском альманахе; и тут и там он паразит, выскочка без прав и родовитости. Но так же отважно, как он, потасканный сын актера, священник-расстрига, разжалованный солдат, подозрительный шулер и «fameux filou» (этим почетным титулом награждает его парижский начальник полиции, давая ему характеристику), всю жизнь умудряется бывать у императоров и королей и в конце концов умереть

на руках у последнего дворянина, принца де Линь, так и его блуждающая тень втерлась в круг бессмертных, хотя бы в роли ничтожного дилетанта, *unus ex multis* — пепел в развевающем ветре времени. Но — любопытный факт! — не он, а все его знаменитые соотечественники и возвышенные поэты Аркадии, «божественный» Метастазιο, благородный Парини *e tutti quanti* стали библиотечным хламом и пищей для филологов, в то время как его имя, закругленное в почтительной улыбке, и в наши дни не сходит с уст. И есть все основания полагать, что его эротическую Илиаду ожидают еще счастливое будущее и пламенные почитатели, в то время как «*La Gerusalemme liberata*» и «*Pastor fido*»*, почтенные исторические реликвии, будут пылиться непрочитанными в книжных шкафах. Одним ходом пройдоха-игрок обыграл всех поэтов Италии со времен Данте и Боккаччо.

И еще нелепее: для такого огромного выигрыша Казанова не рискует ни малейшей ставкой, — он попросту обесценивает бессмертие. Никогда не ощущает этот игрок громадной ответственности истинного художника, не ощущает под чувственной теплотой мира темной нелюдимой барщины в рудниках труда. Он ничего не знает о пугающем наслаждении начинаний и трагическом, подобном вечной жажде, стремлении к завершенности; ему неведомо молчаливо повелительное, вечно неудовлетворенное стремление форм к земному воплощению и идей — к свободному сферическому парению. Он ничего не знает о бессонных ночах, о днях, проведенных в угрюмой рабской шлифовке слова, пока наконец смысл ясно и радужно не засверкает в линзе языка, не знает о многообразной и все же невидимой, о неоцененной, подчас лишь по прошествии веков получающей признание работе поэта, не знает о его героическом отречении от теплоты и шири бытия. Он, Казанова, — Бог свидетель! — всегда облегчал себе жизнь, он не принес в жертву суровой богине бессмертия ни одного грамма своих радостей,

* «Освобожденный Иерусалим» Торквато Тассо и «Верный пастырь» Гварини.

ни одного золотника наслаждений, ни одного часа сна, ни одной минуты своих удовольствий: он ни разу в жизни не пошевелил пальцем ради славы, и все же она потоком льется в руки этого счастливца. Пока есть золотой в его кармане и капля масла в светильнике любви, пока действительность еще мило- стиво дарит этому баловню вселенной обломки игрушек, ему не приходит в голову сводить знакомство со строгооки- м духовным призраком искусства и всерьез мараить пальцы чернилами. Только уже выброшенный всеми за дверь, высмеянный женщи- нами, одинокий, обнищавший, импотент, ставший тенью невозвратимой жизненной силы, этот истасканный ворчливый старик ищет убежища в работе, как в суррогате переживания, и только нехотя, от скуки, истерзанный досадой, как беззубый пес чесоткой, ворча и брюзжа, принимается он рассказывать омертвелому семидесятилетнему Казанеусу-Казанове собственную его жизнь.

Он рассказывает себе свою жизнь, — в этом все его литера- турное достижение, — но зато какая жизнь! Пять романов, два десятка комедий, несколько дюжин новелл и эпизодов, обилие перезрелых гроздей прелестнейших ситуаций и анекдотов, вы- жатых в одно бурное, через край бурлящее существование: здесь перед нами жизнь полная и завершенная, как закон- ченное художественное произведение, уже не нуждающееся в упорядочивающей помощи художника и изобретателя. Так разрешается убедительнейшим образом эта на первый взгляд смущающая тайна его славы; ибо не в том, как описал и рас- сказал свою жизнь Казанова, проявляется его гений, а в том, как он ее прожил. Само бытие — мастерская этого художника, оно и материал и форма; именно этому истинному, глубоко личному художественному произведению он отдался с той страстью к воплощению, которую обычно поэты обращают на стихи и прозу в пламенной решимости придать каждому мгно- вению, каждой нерешительно настороженной возможности высшее драматическое выражение. То, что другому приходит- ся изобретать, он испытал в жизни, то, что другой создает

умом, он пережил своим горячим сладострастным телом, поэтому перу и фантазии не приходится разрисовывать действительность: им достаточно скопировать уже драматически оформленное существование. Ни один поэт из его современников (и едва ли кто-нибудь из более поздних, если не считать Бальзака) не изобрел столько вариаций и ситуаций, сколько пережил Казанова, и ни одна реальная жизнь не протекала в таких смелых извилинах через целое столетие. Попробуйте сравнить биографии Гете, Жан-Жака Руссо и других его современников по насыщенности событиями (не в смысле духовного содержания и глубины познания) с его биографией, — как прямолинейно проложены, как однообразны, как стеснены простором, как провинциальны в области общения с людьми эти целеустремленные и руководимые властью творческой воли жизненные пути в сравнении с бурными и стихийными путями авантюриста, меняющего города, положения, профессии, миры, женщин, как белье, везде чувствующего себя своим, приветствуемого все новыми сюрпризами, — все они дилетанты в наслаждениях, как он — дилетант в творчестве. Ибо в этом вечная трагедия человека, отдавшего себя творчеству: именно он, призванный и жаждущий познать всю ширь, все сладострастие существования, остается прикованным к своей цели, рабом своей мастерской, скованным принятыми на себя обязательствами, прикрепленным к порядку и к земле. Каждый истинный художник проводит большую часть своей жизни в одиночестве и единоборстве со своим произведением; не непосредственно, а лишь в творческом зеркале дозволено ему познать желанное многообразие существования, всецело отдавшись непосредственной действительности; свободным и расточительным может быть лишь бесплодный жуир, живущий всю жизнь ради жизни. Кто ставит себе цель, тот проходит мимо случайностей: каждый художник обычно создает лишь то, что он не успел пережить.

Но их противоположности — беспутным жуирам — обычно не хватает умения оформить многообразие переживаний. Они

всецело отдаются мгновению, и благодаря этому оно пропадает для других, в то время как художник всегда сумеет увековечить даже самое ничтожное событие. Таким образом, крайности расходятся вместо того, чтобы плодотворно дополнять друг друга: одни лишены вина, другие — кубка. Неразрешимый парадокс: люди действия и жуиры могли бы повествовать о более значительных переживаниях, чем все поэты, но они не умеют, художники же должны изобретать, потому что они слишком редко переживают события, чтобы повествовать о них. Редко поэты имеют биографию, и, наоборот, люди с настоящей биографией редко обладают способностью ее написать.

И вот попадается этот великолепный и почти единственный счастливый случай с Казановой: человек, страстно преданный наслаждениям, типичный пожиратель мгновений, к тому же наделенный со стороны судьбы — фантастическими приключениями, со стороны ума — демонической памятью, со стороны характера — абсолютной несдержанностью, рассказывает о своей огромной жизни без моральных прикрас, без поэтической слащавости, без философских украшений, совершенно объективно, о такой, какой она была — страстной, опасной, беспутной, беспощадной, веселой, подлой, непристойной, наглой, распутной, но всегда напряженной и неожиданной, — и рассказывает не из литературного честолюбия или догматического хвастовства, не из-за готовности к покаянию или показательной жажды исповеди, а совершенно спокойно и беспечно, как трактирный ветеран с трубкой во рту, угощающий непредубежденных слушателей несколькими хрусткими и, быть может, пригорелыми приключениями. Здесь повествует не прилежный фантаст и изобретатель, а маэстро всех поэтов — сама жизнь, бесконечно богатая причудами, фантастически открытая; он же, Казанова, должен отвечать лишь самым скромным требованиям, предъявляемым к художнику: сделать правдоподобным самое неправдоподобное. Для этого, несмотря на чрезвычайно причудливый французский язык, у него

достаточно искусства и умения.* Но этому дрожащему от подагры, еле передвигающему ноги старому ворчуну на его синекуре в Дуксе не снилось, что над этими воспоминаниями когда-нибудь будут гнуть спины седобородые филологи и историки, изучая их, как самый драгоценный палимпсест восемнадцатого столетия; и с каким бы самодовольством ни любовался добрый Джакомо своим отражением в зеркале, он все же принял бы за грубую шутку своего врага, господина домоправителя Фельдкирхнера, сообщение, что через сто двадцать лет после его смерти образуется «Societe Casanoviennpe», в недоступном для него при жизни Париже, только для того, чтобы внимательно изучать каждую его собственноручную записочку, каждую дату и искать следы тщательно стертых имен так приятно скомпрометированных дам. Сочтем за счастье, что этот тщеславный человек не подозревал о своей славе и поспешил на этику, пафос и психологию, ибо только непреднамеренность может породить такую беспечную и потому стихийную откровенность. Лениво, как всегда, подошел в Дуксе этот старый игрок к письменному столу, как к последнему игорному столу своей жизни, и бросил на него, как последнюю ставку против судьбы, свои мемуары: он встал из-за стола, преждевременно унесенный смертью, раньше чем увидел произведен-

* Я не люблю примечаний и тем более полемики. Но справедливость вынуждает меня указать здесь, что для исчерпывающей оценки прозаического художественного наследия Казановы еще и сегодня нет надлежащего фундамента, то есть оригинального текста его мемуаров. То, что мы знаем, к сожалению, только произвольное и совершенно самовольное искажение, которое издательство Ф. А. Брокгауза, владеющее рукописью, сто лет тому назад заказало учителю французского языка. Естественнее всего было бы дать, наконец, науке возможность заглянуть в настоящий текст Казановы, и, конечно, ученые всех стран, члены академий, самым настойчивым образом добивались этого разрешения. Но с Брокгаузами и боги борются напрасно; рукопись, благодаря праву собственности и упрямству владельцев, оставалась недоступной в несоргаемом шкафу фирмы, и мы являемся свидетелями странного случая, когда в результате произвола единичной личности одно из самых интересных произведений мировой литературы может быть прочитано и оценено лишь в грубом искажении. Указание веских причин этого враждебного искусству упрямства до сегодняшнего дня остается долгом фирмы Брокгауз перед обществом. — *Примеч. автора.*

ный эффект. И удивительно, как раз эта последняя ставка выиграла бессмертие: там он прочно поселился — экс-библиотекарь из Дукса — рядом с господином Вольтером, его противником, и другими великими поэтами; еще много книг предстоит ему прочесть о себе, ибо за целое столетие, протекшее после его смерти, мы еще не покончили с изучением его жизни, и неисчерпаемое все снова и снова привлекает наших поэтов, стремящихся вновь воспеть его. Да, он великолепно выиграл свою игру, старый «*commediante in fortuna*», этот непревзойденный актер своего счастья, и против этого ныне бессильны и пафос и протест. Можно презирать его, нашего обожаемого друга, из-за недостаточной нравственности и отсутствия этической серьезности, можно ему возражать как историку и не признавать его как художника. Только одно уже не удастся: снова сделать его смертным, ибо во всем мире ни один поэт и мыслитель с тех пор не изобрел романа более романтического, чем его жизнь, и образа более фантастического, чем его образ.

ПОРТРЕТ ЮНОГО КАЗАНОВЫ

«Знаете, вы очень красивый мужчина», — сказал Казанове Фридрих Великий в 1764 г. в парке Сан-Суси, останавливаясь и оглядывая его.

Театр в небольшой резиденции: певица смелой колоратурой закончила арию; словно град, посыпались аплодисменты; но теперь, во время возобновившихся постепенно речитативов, внимание ослабевает. Франты делают визиты в ложи, дамы наводят лорнеты, едят серебряными ложечками прекрасное желе и оранжевый шербет; шутки арлекина с проделывающей пируэты Коломбиной оказываются почти излишними. Но вот внезапно все взоры обращаются на опоздавшего незнакомца, смело и небрежно, с настоящей аристократической непринужденностью появляющегося в партере; его никто не знает. Богатство окружает геркулесовский стан, пепельного цвета тон-

кий бархатный камзол раскрывает свои складки, показывая изящно вышитый парчовый жилет и драгоценные кружева; золотые шнуры обрамляют темные линии великолепного одеяния от пряжек брюссельского жабо до шелковых чулок. Рука небрежно держит парадную шляпу, украшенную белыми перьями; тонкий сладкий аромат розового масла или модной помады распространяется вокруг знатного незнакомца, который, небрежно прислонившись к барьеру перед первым рядом, надменно опирается усеянной кольцами рукой на украшенную драгоценными камнями шпагу из английской стали. Словно не замечая вызванного им внимания, он подымает свой золотой лорнет, чтобы с деланным равнодушием окинуть взглядом ложи. Между тем на всех стульях и скамейках уже шушукается любопытство маленького городка: князь? богатый иностранец? Головы сдвигаются, почтительный шепот указывает на осыпанный бриллиантами орден, болтающийся на груди на ярко-красной ленте (орден, который он так обрастил блестящими камнями, что никто не мог бы узнать под ними жалкий папский крест, стоящий не дороже ежевики). Певцы на сцене быстро заметили ослабление внимания зрителей; речитативы текут ленивей, появившиеся из-за кулис танцовщицы высматривают поверх скрипок и гамб, не занесло ли к ним набитого дука-тами герцога, сулящего прибыльную ночь.

Но прежде чем сотням людей в зале удалось разгадать шараду этого чужестранца, тайну его происхождения, дамы в ложах с некоторым смущением заметили другое: как красив этот незнакомый мужчина, как красив и как мужествен. Высокая мощная фигура, широкие плечи, цепкие и мясистые, с крепкими мускулами руки, ни одной мягкой линии в напряженном, стальном, мужественном теле; он стоит, слегка наклонив вперед голову, как бык перед боем. Сбоку его лицо напоминает голову на римской монете, — с такой металлической резкостью выделяется каждая отдельная линия на меди этой темной головы. Красивой линией под каштановыми, нежно вьющимися волосами вырисовывается лоб, которому мог бы позавидовать любой поэт, наглым и смелым крючком выдается

нос, крепкими костями — подбородок и под ним — выпуклый, величиной с двойной орех кадык (по поверью женщин, верный залог мужской силы); неоспоримо: каждая черта этого лица говорит о напоре, победе и решительности. Только губы, очень яркие и чувственные, образуют мягкий влажный свод, подобно мякоти граната, обнажая белые зерна зубов. Красавец медленно поворачивает профиль в сторону темной коробки зрительного зала: под ровными закругленными пушистыми бровями мерцает из черных зрачков беспокойный, нетерпеливый взор — взор охотника, высматривающего добычу и готового, подобно орлу, одним взмахом схватить намеченную жертву; пока он лишь мерцает, еще не разгоревшись. Точно сигнальный огонь, он ощупывает взором ложи и, минуя мужчин, рассматривает, как товар, теплоту, обнаженность и белизну, скрывшуюся в тенистых гнездах: женщин. Он осматривает их одну за другой, выбирая, как знаток, и чувствует, что он замечен; при этом слегка раскрываются чувственные губы, и дуновение улыбки вокруг сытого рта впервые обнажает блестящие, сияющие, большие белоснежные, звериные зубы. Эта улыбка пока не предназначена ни одной из этих женщин, он посылает ее им всем — вечно женственному, таящимся под платьем нагоде и теплу. Но вот он замечает в ложе знакомую; его взор становится сосредоточенным, в только что дерзко вопрошавших глазах появляется бархатный и вместе с тем сверкающий блеск, левая рука оставляет шпагу, правая берет тяжелую шляпу с перьями, и он приближается с готовыми словами приветствия на устах. Он грациозно склоняет мускулистую шею, чтобы поцеловать протянутую руку, и заводит вежливую речь; по смятению отстраняющейся обласканной им дамы видно, как нежно проникает в ее душу томное ариозо этого голоса; она смущенно оборачивается и представляет его своим спутникам: «Шевалье де Сенгаль». Поклоны, церемонии, обмен любезностями. Гостю предлагают место в ложе, он скромно отказывается от него; отрывочные учтивые слова, наконец, выливаются в беседу. Постепенно Казанова повышает голос, заглушая других. Он, подобно актерам, мягко растягивает гласные, ритмич-

но текут согласные, и все настойчивее его голос, громко и хвастливо, проникает в соседние ложи: ибо он хочет, чтобы насторожившиеся соседи слышали, как остроумно и свободно он болтает по-французски и по-итальянски, ловко вставляя цитаты из Горация. Как будто случайно кладет он украшенную кольцами руку на барьер ложи так, что даже издали видны драгоценные кружевные манжеты и, особенно, громадный солитер, сверкающий на пальце; он протягивает осыпанную бриллиантами табакерку, предлагая кавалерам мексиканский нюхательный табак. «Мой друг, испанский посланник, прислал мне его вчера с курьером» (это слышно в соседней ложе); и когда кто-то из мужчин вежливо восхищается миниатюрой, вделанной в табакерку, он говорит небрежно, но достаточно громко, чтобы было слышно в зале: «Подарок моего друга и милостивого господина, курфюрста Кельнского». Он болтает как будто вполне непринужденно, но, бравируя, этот хвастун бросает направо и налево взоры хищной птицы, наблюдая за произведенным впечатлением. Да, все заняты им: он ощущает сосредоточенное на нем любопытство женщин, чувствует, что он вызывает изумление, уважение, и это делает его еще смелее. Ловким маневром он перебрасывает беседу в соседнюю ложу, где сидит фаворитка князя и — он это чувствует — благосклонно прислушивается к его парижскому произношению; и с почтительным жестом, рассказывая о прекрасной женщине, бросает он галантно любезность, которую она принимает с улыбкой. Его друзьям остается лишь представить шевалье высокопоставленной даме. Игра уже выиграна. Завтра он будет обедать со знатью города, завтра вечером он примет приглашение в один из дворцов на игру в фараон и будет обирать хозяев, завтра ночью он будет спать с одной из этих блестящих дам, наготу которых он угадывает сквозь платье, и все это благодаря его смелому, уверенному, энергичному наступлению, его воле к победе и мужественной красоте его смуглого лица, которому он обязан всем: улыбкой женщин, солитером на пальце, украшенной бриллиантами цепочкой для часов и золотыми петлицами, кредитом у банкиров, дружбой знати и, что вели-

колепнее всего, свободой в неограниченном многообразии жизни.

Тем временем примадонна готовится начать новую арию. Уже получив настойчивые приглашения от очарованных его светской беседой кавалеров и милостивое предложение явиться к утреннему приему фаворитки, он, глубоко поклонившись, возвращается на свое место, садится, опираясь левой рукой на шпагу, и наклоняет вперед красивую голову, собираясь, в качестве знатока, прислушаться к пению. За ним из ложи в ложу, из уст в уста передается все тот же нескромный вопрос и ответ на него: «Шевалье де Сенгаль». Больше о нем никто ничего не знает, не знают, откуда он явился, чем занимается, куда направляется, только имя его жужжит и звенит в темном любопытном зале и, танцуя по всем устам, — незримое мерцающее пламя, — достигает сцены и слуха столь же любопытных певиц. Но вот раздается смешок маленькой венецианской танцовщицы. «Шевалье де Сенгаль? Ах, жулик он эдакий! Ведь это же Казанова, сын Буранеллы, маленький аббат, который пять лет тому назад ловкой болтовней выманил у моей сестры девственность, придворный шут старого Бригадина, лгун, негодяй и авантюрист». Но веселая девушка, по-видимому, не слишком обижена его проделками, ибо она из-за кулис делает ему знак глазами и кокетливо подносит кончики пальцев к губам. Он это замечает и вспоминает ее; но — пустяки! — она не испортит ему этой маленькой игры со знатными дураками и предпочтет провести с ним сегодняшнюю ночь.

АВАНТЮРИСТЫ

Знают ли они, что твое единственное достояние заключается в глупости людей?

Казанова шулеру Кроче

От семилетней войны до французской революции — почти четверть века — над Европой душный штиль; великие династии Габсбургов, Бурбонов и Гогенцоллернов навоевались до

изнеможения. Буржуа пускают кольца табачного дыма, солдаты пудрят свои косы и чистят ставшее ненужным оружие, измученные страны могут, наконец, немного передохнуть. Но князя скучают без войны. Они убийственно скучают, — все немецкие, итальянские и прочие крохотные князьки хотят поселиться в своих лилипутских резиденциях. Ужасно скучно этим бедным, ничтожно великим, мнимо великим курфюрстам и герцогам в их сырых, холодных, заново отстроенных в стиле рококо замках, несмотря на увеселительные сады, фонтаны и оранжереи, несмотря на зверинцы, картинные галереи, охотничьи парки и сокровищницы; кроваво выжатые у народа деньги и парижские танцмейстеры, обучающие манерам, дают возможность подражать Трианону и Версалю и играть в резиденции и *roi-soleil**. От скуки они становятся даже меломанами и любителями литературы, переписываются с Вольтером и Дидро, коллекционируют китайский фарфор, средневековые монеты, барочные картины, заказывают французские комедии, итальянских певцов и танцоров, и только веймарский повелитель благородным жестом пригласил к своему двору нескольких немцев, — их звали Шиллер, Гете и Гердер. В остальном охоты на кабанов перемежаются с водяными пантомимами и театральными дивертисментами, ибо всегда, когда мир устает, приобретает особую важность мир игры, — театр, моды и танцы; итак, князь щеголяют друг перед другом, стремясь отбить лучших увеселителей, лучших танцоров, музыкантов, кастратов, философов, алхимиков, откармливателей каплунов и органистов. Они хитростью переманивают друг у друга Генделя и Глюка, Метастазиио и Гассе, так же как колдунов и кокоток, пиротехников и ловчих, либреттистов и балетмейстеров; ведь каждый из этих крохотных князьков хочет иметь при своем дворике самое новое, самое лучшее, самое модное, — больше, собственно говоря, в пику соседу, царствующему за семь миль от его столицы, чем для собственной пользы. И вот теперь они, к счастью, имеют церемониймейстеров и церемонии, камен-

* Король-солнце (*фр.*). Прозвище Людовика XIV. — *Примеч. ред.*

ные театры и оперные залы, сцены и балеты, и им не хватает лишь одного, чтобы убить скуку маленького городка и придать лоск настоящего хорошего общества беспощадно монотонным, вечно одинаковым физиономиям шести десятков дворян: знатных визитеров, интересных гостей, космополитов-чужестранцев, нескольких изюминок в кислое тесто провинциальной скуки, легкого ветерка большого света в удушливом воздухе насчитывающей тридцать улиц резиденции.

Едва донесся об этом слух, — и фьють! — уже слетаются авантюристы под сотней личин и маскарадных нарядов; никто не знает, из какого притона каким ветром их принесло. Ночь прошла, — и они тут как тут в дорожных колясках и английских каретах; не скупясь снимают они самые элегантные апартаменты в аристократических гостиницах. Они носят фантастические формы какой-нибудь индостанской или монгольской армии и обладают помпезными именами, которые в действительности являются *pierre de strass* — поддельными драгоценностями, как и пряжки на их сапогах. Они говорят на всех языках, утверждают, что знакомы со всеми князьями и великими людьми, уверяют, что служили во всех армиях и учились во всех университетах. Их карманы набиты проектами, на языке у них смелые обещания, они придумывают лотереи и особые налоги, союзы государств и фабрики, они предлагают женщин, ордена и кастратов; и хотя в кармане у них нет и десяти золотых, они шепчут каждому, что знают секрет *tincturae auri**. Каждому двору показывают они новые фокусы, здесь таинственно маскируются масонами и розенкрейцерами, там представляются знатоками химической кухни и трудов Теофраста. У сладострастного повелителя они готовы быть энергичными ростовщиками и фальшивомонетчиками, сводниками и сватами с богатыми связями, у воинственного князя — шпионами, у покровителя искусств и наук — философами и рифмоплетами. Суеверных они подкупают составлением гороскопов, доверчивых — проектами, игроков — крап-

* Приготовление золота (*лат.*).

леными картами, наивных — светской эlegantностью, и все это под шуршащими складками, под непроницаемым покровом необычайности и тайны — неразгаданной и, благодаря этому, вдвойне интересной. Как блуждающие огни, сверкая и маня, они мерцают, трепещут в ленивом, нездоровом, болотном воздухе дворов, появляясь и исчезая в призрачной пляске лжи.

Они приняты при дворах, ими забавляются, не уважая их: их так же мало спрашивают о чистоте их дворянского происхождения, как их жен о брачном кольце и привезенных ими девушек об их девственности. Ибо того, кто доставляет удовольствие, кто смягчает хоть на час скуку, — самую ужасную из всех княжеских болезней, — того без дальнейших расспросов радостно приветствуют в этой безнравственной расслабленной атмосфере. Их охотно терпят, как продажных девок, пока они развлекают и не слишком нагло грабят. Иногда этот сброд художников и мошенников получает сиятельный пинок в зад (как Моцарт, например), иногда они скользят из бальной залы прямо в тюрьму и даже, как директор императорского театра Аффлизио, на галеры. Самые ловкие, крепко уцепившись, становятся сборщиками налогов, любовниками куртизанок или, в качестве любезных мужей придворных проституток, даже настоящими дворянами и баронами. Но лучше им не ждать, пока пригорит жаркое, ибо все их очарование заключается в новизне и таинственности; если они слишком явно жульничают в картах, слишком глубоко запускают руку в чужой карман, слишком долго засиживаются при одном дворе, может найтись человек, который решится приподнять мантию и обратить внимание на клеймо вора или следы наказания плетью. Лишь постоянная перемена воздуха может освободить их от виселицы, и потому эти рыцари счастья непрерывно разъезжают по Европе, — вояжеры темного ремесла, цыгане, странствующие от двора к двору; и так вертится все восемнадцатое столетие, — все та же жульническая карусель с одними и теми же лицами от Мадрида до Петербурга, от Амстердама до Пресбурга, от Парижа до Неаполя; сперва отмечают, как случайность, что Казанова за каждым игорным столом и при каждом

дворике встречает все тех же мошенников — братьев по ремеслу: Тальвиса, Аффлизио, Шверина и Сен-Жермена, но для посвященных это непрерывное бродяжничество обозначает скорее бегство, чем удовольствие, — только при кратких визитах они могут считать себя в безопасности, только совместной игрой могут они держаться, ибо все они составляют один кружок, орден авантюристов — масонскую общину без лопатки и символов. Где бы они ни встречались, они — один другому, жулик жулику — подставляют лестницу, они втягивают друг друга в знатное общество и, признав своего товарища по игорному столу, тем самым удостоверяют свою личность; они меняют жен, платья, имена, только не профессию. Все они, пресмыкающиеся при дворах артисты, танцоры, музыканты, искатели приключений, проститутки и алхимики, совместно с иезуитами и евреями, являются единственным интернациональным элементом в мире, среди оседлой, узколобой, недалекой аристократии и еще не освобожденной тусклой буржуазии, — не принадлежащие ни к одним, ни к другим, скитающиеся между странами и классами, двуличные и неопределившиеся, пираты без флага и родины. Они прокладывают пути новой эпохе, новому искусству грабежа; они не обирают больше безоружных, не грабят карет на дорогах, они надувают тщеславных и облегчают кошельки легкомысленных. Вместо сильной мускулатуры у них — присутствие духа, вместо бурного гнева — ледяная наглость, вместо грубого воровского кулака — более тонкая игра на нервах и психологии. Этот новый род плутовства заключил союз с космополитизмом и с утонченными манерами: вместо старых способов — убийств и поджогов — они грабят краплеными картами и фальшивыми векселями. Это все та же отважная раса, которая переправлялась в Новую Индию и, в качестве наемников, мародерствовала во всех армиях; которая ни за что не хотела буржуазно скоротать свой век в преданной службе, предпочитая одним взмахом, одной опасной ставкой набить себе карманы; только метод стал более утонченным, и благодаря этому изменился их облик. Нет более неуклюжих кулаков, пьяных физиономий, грубых сол-

датских манер, а вместо них — благородно усеянные кольцами руки и напудренные парики над беспечным челом. Они лорнируют и проделывают пируэты, как настоящие танцоры, производят бравадные монологи, как актеры, мрачны, как настоящие философы; смело спрятав свой беспокойный взгляд, они за игорным столом передергивают карты и, ведя остроумную беседу, подносят женщинам приготовленные ими любовные настойки и поддельные драгоценности.

Нельзя отрицать: в них заложено известное тяготение к одухотворенности и психологии, что придает им своеобразную привлекательность; некоторые из них доходят до гениальности. Вторая половина восемнадцатого века является их героической эпохой, их золотым веком, их классическим периодом; как прежде, в царствование Людовика XV, подвизалась блестящая плеяда французских поэтов, как потом в Германии, в изумительный веймарский миг, творческая форма гения воплотилась в немногих и навеки памятных ликах, — так и в эту эпоху победоносно блистало над всей Европой яркое семизвездие возвышенных жуликов и бессмертных авантюристов. Их скоро перестает удовлетворять запускание руки в княжеские карманы, грубо и величественно вступают они в события века и вертят грандиозную рулетку мировой истории; вместо того чтобы служить и выслуживаться, они начинают нагло лезть вперед, и для второй половины восемнадцатого века нет более характерной приметы, чем авантюризм. Джон Лоу, неизвестно откуда явившийся ирландец, своими ассигнациями стирает в порошок французские финансы; Д'Эон, гермафродит сомнительного происхождения и сомнительной репутации, руководит международной политикой; маленький круглоголовый барон Нейгоф становится — кто поверит! — королем Корсики, хоть и кончает затем свои дни в долговой тюрьме; Калиостро, деревенский парень из Сицилии, который за всю жизнь не мог научиться грамоте, видит у своих ног Париж и плетет из знаменитого ожерелья веревку, которая душит королевство. Старый Тренк — самая трагическая фигура, ибо это авантюрист, не лишенный благородства, сложивший голову на гильоти-

не, — в красной шапке изображает трагического героя свободы; Сен-Жермен, маг без возраста, видит короля Франции у ног своих и до сих пор тайной своего происхождения водит за нос любознательность науки. В их руках больше могущества, чем у самых могучих, они приковывают к себе фантазию и внимание всего мира, они ослепляют ученых, обольщают женщин, обирают богатых и тайно, не имея должности и связанной с ней ответственности, дергают нити политических марионеток. И наконец, последний, не самый худший из них, наш Джакомо Казанова, историограф этого цеха, который, рассказывая о себе самом, изображает их всех и превесело замыкает сотней проделок и приключений семерку забытых и забывенных. Каждый из них знаменитее, чем все поэты, деятельнее, чем все их современники-политики; они — недолговечные властелины уже обреченного на гибель мира. Ибо всего лишь тридцать или сорок лет продолжается в Европе героическая эпоха этих великих талантов наглости и мистического актерства; она сама уничтожает себя, создав наиболее законченный тип, самого совершенного гения, поистине демонического авантюриста — Наполеона. Гений всегда действует с величественной серьезностью там, где талант лишь играет, он не удовлетворяется эпизодическими ролями и требует для себя одного сцену всего мира. Когда маленький нищий корсиканец Бонапарт принимает имя Наполеона, он не прячет трусливо свое мещанство за дворянской маской, как делают Казанова-Сенгаль или Бальзамо-Калиостро, он повелительно заявляет о своем духовном превосходстве над эпохой и требует триумфов, как должного, не стараясь добыть их хитростью. С Наполеоном, гением всех этих талантов, авантюризм проникает из княжеских прихожих в тронные залы, он дополняет и заканчивает это восхождение незаконного на высоты могущества и на краткий час возлагает на чело авантюризма великолепнейшую из всех корон — корону Европы.

ОБРАЗОВАНИЕ И ОДАРЕННОСТЬ

Говорят, что он был литератором, но вместе с тем обладал коварным умом, что он бывал в Англии и Франции и извлекал непозволительные выгоды из знакомства с кавалерами и дамами, ибо он имел привычку жить на счет других и пленять доверчивых людей... Подружившись с означенным Казановой, в нем нетрудно обнаружить устрашающую смесь неверия, лживости, безнравственности и сладострастия.

Тайное донесение в Венецианскую инквизицию 1755 г.

Казанова никогда не отрицал, что он авантюрист; напротив, — он, надув щеки, хвастается, что всегда предпочитал ловить дураков и не оставаться в дураках, стричь овец и не давать обстричь себя в этом мире, который, как знали уже римляне, всегда хочет быть обманутым. Но он решительно возражает против того, чтобы из-за этих принципов его считали ординарным представителем трактирной грабительской черни, каторжников и висельников, которые грубо и откровенно воруют из карманов вместо того, чтобы культурным и элегантным фокусом выманить деньги из рук дурака. В своих мемуарах он всегда тщательно отряхивает плащ, когда придется говорить о встречах (и действительно, это не вполне равные встречи) с шулерами Аффлизио или Тальвисом; хотя они и встречаются на одной плоскости, они все же приходят из разных миров: Казанова сверху, от культуры, а те снизу — из ничего. Так же, как бывший студент, высоконравственный предводитель шайки разбойников — шиллеровский Карл Моор презирает своих товарищей Шпигельберга и Шуфтерле, превращающих в жестокое кровавое ремесло то, что ложно направленный энтузиазм заставляет его считать мезьей за подлость мира, так и Казанова всегда энергично обособляется от шулерской черни, отнимающей у величественного божественного авантюризма все его благородство и изящество. Ибо, в

самом деле, наш друг Джиакомо требует чего-то вроде почетного титула для авантюризма, философского обрамления для того, что мещане считают бесчестным и благонравные люди — возмутительным; он хочет, чтобы все это оценивали не как нечистоплотные проделки, а как тончайшее искусство, артистическую радость шарлатана. Если послушать его, то единственным нравственным долгом философа на земле окажется — веселиться за счет всех глупцов, оставлять в дураках тщеславных, надувать простодушных, облегчать кошельки скупцов, наставлять рога мужьям, — короче говоря, в качестве посланца божественной справедливости наказывать всю земную глупость. Обман для него не только искусство, но и сверхморальный долг, и он исполняет его, этот храбрый принц беззакония, с белоснежной совестью и несравненной уверенностью в своей правоте.

И в самом деле, Казанове легко поверить, что он стал авантюристом не из нужды, не из отвращения к труду, а по врожденному темпераменту, благодаря влекущей его к авантюризму гениальности. Унаследовав от отца и матери актерские способности, он весь мир превращает в сцену и Европу в кулисы; шарлатанить, ослеплять, одурачивать и водить за нос для него, как некогда для Эйленшпигеля, является естественным отправление; он не мог бы жить без радостей карнавалов, без маски и шуток. У него сотни случаев впрячься в честную профессию, сотни солидных, теплых возможностей, но никакой соблазн его не удержит, никакая приманка не приручит его к мещанству. Подарите ему миллионы, предложите должность и сан, он их не возьмет, он убежит обратно в свою первобытную бездомную, легкокрылую стихию. Таким образом, он имеет право обособиться от других рыцарей счастья, ибо он встал в их ряды не с отчаяния, а по прихоти, и, кроме того, он не вышел, как Калиостро, из вонючего мужицкого гнезда или, как граф Сен-Жермен, из непроветренного (и, вероятно, тоже не благоуханного) инкогнито. Мессер Казанова во всяком случае законнорожденный, из довольно почтенной семьи; его мать, прозванная «la Buganella», — известная певица, подвизавшаяся во всех оперных театрах Европы и даже окончившая свою карьеру

в звании пожизненной камерной певицы Дрезденского королевского придворного театра. Имя его брата Франческо можно найти в каждой истории искусств; он там красуется как выдающийся ученик тогда еще «божественного» Рафаэля Менгса; его большие батальные картины и в наши дни занимают видное место во всех галереях христианского мира. Все его родственники посвящают себя чрезвычайно почтенным занятиям, носят тогу адвокатов, нотариусов, священнослужителей, — из этого можно заключить, что наш Казанова вышел не из канавы, а из таких же близких к искусству буржуазных слоев, как Моцарт и Бетховен. Так же, как они, получает он великолепное гуманитарное образование и изучает европейские языки; несмотря на свои дурачества и раннюю близость с женщинами, он своей светлой головой быстро усваивает латинский, греческий, французский, древнееврейский, немного испанский и английский языки, — лишь наш милый немецкий язык на тридцать лет завяз у него неразжеванным между зубами. В математике он так же преуспевает, как в философии, в качестве теолога он уже на шестнадцатом году жизни произносит в одной из венецианских церквей конфирмационную речь; как скрипач, он наигрывает себе в течение года в театре Сан-Самуэль насущный хлеб. Правомерно или мошеннически был им получен в Падуе в 18-летнем возрасте докторский диплом, — остается пока серьезной проблемой, вызывающей драки среди знаменитых казановистов; во всяком случае, он обладает немалыми академическими познаниями, он сведущ в химии, медицине, истории философии, литературе и особенно в более легких — ибо менее исследованных — науках: астрономии, поисках искусственного золота, алхимии. К тому же этот ловкий красивый малый справляется со всеми придворными искусствами и физическими упражнениями — танцами, фехтованием, верховой ездой, игрой в карты — блистательно, не хуже любого знатного кавалера, и если присоединить ко всем этим хорошо и быстро усвоенным знаниям наличие положительно феноменальной памяти, удерживающей семьдесят лет все лица, все выслушанное, все прочитанное, все высказанное,

все виденное, то мы получим материал исключительной интеллектуальной квалификации: почти ученого, почти поэта, почти философа, почти кавалера.

Да, но только почти, и это «почти» немилосердно обличает хрупкость многоликого таланта Казановы. Он во всем почти: поэт — но не совсем, вор — и все же не профессионал. Он почти достигает духовных вершин и недалек от каторги; ни одного дарования, ни одного призвания он не развивает до совершенства. Как самый законченный, самый универсальный дилетант он знает много во всех отраслях искусства и науки, даже непостижимо много, и лишь немногого ему недостает для подлинной продуктивности: воли, решимости и терпения. Год, проведенный за книгами, сделал бы его необыкновенным юристом, гениальным историком: он мог бы стать профессором любой науки, так ясно и быстро работает этот великолепный мозг; но Казанова никогда не думает о том, чтобы сделать что-нибудь основательно, его натуре игрока претит всякая серьезность, а его опьянению жизнью — всякая сухая объективность. Он не хочет быть кем-нибудь и предпочитает казаться всем: кажущееся — обманывает, а обманывать для него приятнейшее занятие. Он знает, что искусство обманывания глупцов не требует глубокой учености; если он обладает в какой-нибудь области хотя бы крупницей знания, к нему сейчас же подсакивает великолепный помощник: его колоссальная наглость, его бесстыдная, мошенническая храбрость. Какую бы задачу ни поставили перед Казановой, он никогда не признается, что является новичком в данном вопросе, и с миной специалиста будет лавировать, как прирожденный жулик, смешает карты, как профессиональный гадалщик, и всегда выйдет с достоинством из самой подозрительной аферы. В Париже его спросил как-то кардинал де Берни, смыслит ли он что-нибудь в организации лотерей. Разумеется, он не имел об этом ни малейшего понятия и, разумеется, как всякий пустомеля, с серьезным видом дал утвердительный ответ и с невозмутимой самоуверенностью изложил в комиссии финансовые проекты, точно он по меньшей мере двадцать лет был пройдохой банкиром. В Валенсии

требовалось либретто для итальянской оперы: Казанова садится и высасывает его из пальца. Если бы ему предложили написать и музыку, — без сомнения, он ловко набрал бы ее из старых опер. У русской императрицы он появляется в качестве реформатора календаря и ученого астронома, в Курляндии, быстро сымпровизировав роль специалиста, осматривает рудники, Венецианской республике он, выдавая себя за химика, предлагает новый способ окраски шелка, в Испании он выступает как земельный реформатор и колонизатор, императору Иосифу II он представляет обширный трактат против ростовщичества. Для герцога Вальштейн он сочиняет комедии, для герцогини Урфе он устраивает древо Дианы и прочие алхимические фокусы, у госпожи Румэн открывает ключом Соломона денежный шкаф, для французского правительства покупает акции, в Аугсбурге выступает в роли португальского посланника, во Франции он является попеременно то фабрикантом, то случником королевского оленьего парка, в Болонье сочиняет памфлеты против медицины, в Триесте пишет историю Польского государства и переводит «Илиаду» октавами. Короче говоря, у него, как у сказочного Ганса-бродяжки, нет своей верховой лошади, но на всякой, какая попадет, он сумеет проскакать, не опозорившись и не показавшись смешным. Если просмотреть перечень всего написанного им, то покажется, что имеешь дело с универсальным философом, с новым энциклопедистом, что появился новый Лейбниц. Тут рядом с толстым романом можно найти оперу «Одиссей и Цирцея», опыт об удвоении куба и политический диалог с Робеспьером; и если бы кто-нибудь предложил ему доказать существование Бога или сочинить гимн целомудрию, он не поколебался бы и двух минут.

Все же, какое дарование! В каждом направлении — в науке, искусстве, дипломатии, коммерции — его бы хватило для исключительных достижений. Но Казанова сознательно распyleт свои таланты в мгновениях; и тот, кто мог бы стать всем, предпочитает быть никем, но свободным. Его гораздо больше может осчастливить свобода, несвязанность и легкомысленное

штанье, чем какая-нибудь профессия, требующая оседлости. «Мысль обосноваться где-нибудь всегда была мне чужда, разумный образ жизни противен моей натуре». Его не привлекает надолго ни хорошо оплачиваемая должность заведующего лотереями его христианнейшего величества, ни профессия фабриканта, ни скрипача, ни писака; достаточно ему влезть в седло, чтобы сразу же начать тяготиться однообразной рысью коня, и он храбро выскакивает из своего великолепия на большую дорогу и дожидается возможности вновь усесться в карету своего счастья. Он чувствует, что его истинная профессия — не иметь никакой профессии, слегка коснуться всех ремесел и наук и снова, подобно актеру, менять костюмы и роли. Зачем же прочно устраиваться: ведь он не хочет что-нибудь иметь и хранить, кем-то прослыть или чем-то владеть, ибо он хочет прожить не одну жизнь, а вместить в своем существовании сотню жизней, — этого требует его бешеная страстность. Так как он хочет только свободы, так как деньги, удовольствия и женщины ему нужны лишь на ближайший час, так как он не нуждается в длительности и постоянстве, он может смеясь проходить мимо домашнего очага и собственности, всегда связывающей; он смутно предчувствует то, что позднее так красиво выразил Грильпарцер в одном стихотворении:

Чем ты владеешь, то тобой владеет,
Над чем господствуешь, тому ты сам слуга.

Но Казанова не хочет быть ничьим слугой, кроме святого случая, который хоть и толкает его иногда довольно грубо, зато в благодушные минуты дарит ему немало сюрпризов; чтобы остаться верным ему, он отбрасывает даже самые легкие узы, — будучи вольнодумцем не в доктринерском смысле этого слова. «Мое величайшее сокровище, — гордо заявляет он, — в том, что я сам себе господин и не боюсь несчастья», — мужественный девиз, который облагораживает его больше, чем заемный титул шевалье де Сенгалья. Он не интересуется тем, что думают о нем, он пронесется мимо моральных загоронок с очаровательной беспечностью, равнодушный к бешенству оставшихся по-

зади и возмущенных собственников, во владения которых он вступает наглыми стопами. Только в полете, в постоянном беге наслаждается он существованием, — никогда в покое или уюте, — и благодаря этому легкому, беспутному стремлению вдаль, мимо всех препятствий, с птичьего полета ему кажутся смешными все честные люди, тепло закутавшиеся в свои вечно одни и те же занятия; ему не импонируют ни военные, дерзко гремящие саблями и трепещущие при окрике генерала, ни ученые — эти жуки-точильщики, пожирающие бумагу, бумагу, бумагу — одну книгу за другой, ни богачи, которые трусливо дрожат над денежными мешками, проводя бессонные ночи около своих ларцов, — его не привлекают ни страны, ни чины, ни одеянья. Ни одна женщина не может удержать его в своих объятиях, ни один государь — в своих владениях, ни одна профессия — в своей скуке: и здесь он ломает все преграды, охотнее рискуя своей жизнью, чем давая ей закиснуть. Весь талант, ум, все знания, всю силу и отвагу, пылающие в этом горячем, крепком теле, он неизменно бросает навстречу неведомому — фортуне, богине игры и превращений; его существование никогда не застывает в раз навсегда отлитой форме, оно подобно текучей воде, то вздымающейся светлым, обращенным к солнцу и счастью, стремящимся к небу фонтаном, то низвергающейся грохочущим каскадом в темную глубину пропасти. Он с быстротой молнии перелетает от княжеской трапезы к тюрьме, от мотовства к ломбарду, от роли соблазнителя женщин к роли сводника и, собрав все силы, направляет их в единый поток и вновь подымается на поверхность, — высокомерный в счастье, спокойный в несчастье, всегда и всюду полный мужества и уверенности. Ибо мужество — это подлинное зерно жизненного искусства Казановы, его основное дарование: он не бережет свою жизнь, он рискует ею; он единственный из многих и осторожных решается рисковать, рисковать всем — собой, каждым шансом и случаем. Но судьба любит отважных, бросающих ей вызов, ибо игра — ее стихия. Она дает наглым больше, чем прилежным, грубым охотнее, чем терпеливым, и потому одному, не знающему меры, она отдает

больше, чем целому поколению; она хватается за него, бросает вниз и вверх, катит по странам, подымает ввысь и при самом лучшем прыжке подставляет ногу, она снабжает его женщинами и дурачит за игорным столом, она щекочет его страстями и обманывает в удовлетворении их; никогда она не оставляет его, не дает ему скучать и, неутомимая, всегда находит и изобретает для неутомимого, верного и всегда готового к игре партнера новые превращения и рискованные предприятия. И жизнь его становится широкой, цветистой, многообразной, богатой развлеченнями, фантастической и пестрой, не имеющей себе подобных на протяжении веков, и только когда он повествует о ней, он, который никогда не был и не желал быть ничем определенным, то превращается в несравненного поэта бытия, правда, не по своей воле, а по воле самой жизни.

ФИЛОСОФИЯ ЛЕГКОМЫСЛИЯ

Я жил философом.

Последние слова Казановы

Столь щедро раскинутой вширь жизни почти всегда соответствует ничтожная душевная глубина. Чтобы плясать так быстро и ловко на всех водах, как Казанова, надо быть прежде всего легким, как пробка. Таким образом, при внимательном рассмотрении специфическая особенность его удивительного искусства жизни заключается не в проявлении какой-нибудь особой положительной добродетели и силы, а в качестве отрицательном: в полнейшем отсутствии всяких этических и моральных преград. Если психологически выпотрошить этот сочный, полнокровный, изобилующий страстью человеческий экземпляр, то придется раньше всего констатировать полное отсутствие всех моральных органов. Сердце, легкие, печень, кровь, мозг, мускулы и не на последнем месте семенные железы, — все это у Казановы развито самым лучшим и нормальным образом; лишь там, в той душевной точке, где обычно нравственные особенности и убеждения сгущаются в таинст-

венное образование характера, поражает у Казановы абсолютная пустота, безвоздушное пространство, ноль, ничто. Никакими кислотами и щелочами, ланцетами и микроскопами не найти в этом в других отношениях вполне здоровом организме даже зачатков той субстанции, которую принято называть совестью, этого духовного сверх «я», контролирующего и регулирующего чувственные побуждения. В этом крепком чувственном теле совершенно отсутствуют даже зачаточные формы моральной нервной системы. И в этом кроется разгадка легкости и гениальности Казановы: у него, счастливица, есть лишь чувственность и нет души. Никем и ничем серьезно не связанный, не стремящийся ни к каким целям, не обремененный никакими сомнениями, он может набрать жизненный темп совершенно иной, чем у прочих целеустремленных, нагруженных моралью, связанных социальным достоинством, отягченных нравственными размышлениями людей: отсюда его единственный в своем роде размах, его ни с чем не сравнимая энергия.

Для этого мирового путешественника нет материка. У него нет родины, он не подчиняется никаким законам страны, будучи пиратом и флибустьером своей страсти; как эти последние, он пренебрегает обычаями общества и социальными договорами, — неписаными законами европейской нравственности; все, что свято для других людей или кажется им важным, не имеет для него цены. Попробуйте поговорить с ним о нравственных обязательствах или об обязательствах, налагаемых эпохой, — он их так же мало поймет, как негр метафизику. Любовь к отечеству? Он, этот гражданин мира, семьдесят три года не имеющий собственной постели и живущий лишь случаем, пренебрегает патриотизмом. *Ubi bene, ibi patria*, где полнее можно набить карманы и легче заполучить женщин в постель, где удобнее всего водить за нос дураков, где жизнь сочнее, там он удовлетворенно вытягивает под столом ноги и чувствует себя дома. Уважение к религии? Он признал бы всякую, был бы готов подвергнуться обрезанию или отрастить, подобно китайцу, косу, если бы новое вероисповедание принесло ему

хоть каплю выгоды, а в душе он так же пренебрег бы им, как пренебрегал своей христианско-католической религией: ибо зачем нужна религия тому, кто верит не в будущую, а только в горячую, бурную, земную жизнь? «Там, вероятно, нет ничего, или же ты узнаешь об этом в свое время», — объясняет он, совершенно незаинтересованно и беспечно; значит, в ключья всю метафизическую паутину. *Capre diem*, наслаждайся днем, удерживай каждое мгновение, высасывай его, как виноград, и бросай шкурки свиньям — вот его единственное правило. Строго придерживаться чувственного, зримого, достижимого мира, из каждой минуты выжимать крепкими пальцами максимум услады и сладострастия, — ни на дюйм дальше не продвигается Казанова в своей философии, и, благодаря этому, он может, смеясь, отбрасывать все этически-мещанские свинцовые шары: честь, порядочность, долг, стыд и верность, которые тормозят свободный побег в непосредственность. Честь? На что она Казанове? Он ценит ее не выше, чем толстый Фальстаф, высказывающий несомненную истину, что ее нельзя ни съесть, ни выпить, и чем тот честный английский парламентарий, который в многолюдном собрании, слыша постоянные разговоры о посмертной славе, поставил вопрос, что, собственно говоря, потомство сделало для благосостояния и благополучия Англии. Честь не дает наслаждения, ее не ощупаешь руками, она лишь обременяет долгом и обязательствами, мешая наслаждаться, *ergo* — она является излишней. Ибо ничто на земле не вызывает такой ненависти у Казановы, как долг и обязательство. Он не признает их, не желает признавать никаких обязательств, кроме одного — приятного и естественного: питать бодрое, сильное тело наслаждениями и уделять женщинам как можно больше того же сладостного эликсира. Поэтому он не заботится о том, покажется ли другим его бурное существование хорошим или дурным, сладким или кислым, сочтут ли они его поведение бесчестным или бесстыдным. Ибо стыд — что за странное выражение, какое непонятное понятие! Это слово совершенно отсутствует в его житейском лексиконе. С небрежностью лаццарони он спускает штаны перед собравшейся пуб-

ликой и показывает, смеясь и весело подмигивая, свои sexualia; добродушно и открыто выбалтывает то, что другой не решился бы выдать даже под пыткой: свои мошеннические проделки, неудачи, посрамления, свои половые аварии и венерические заболевания, — и все это не трубным гласом выкрикивающего истину и предвкушающего ужас слушателей Жан-Жака Руссо, а совершенно просто и наивно, потому что (как показало произведенное выше анатомическое исследование) он был совершенно лишен этического нерва и органа, определяющего нравственность. Если бы его упрекнули в том, что он сжульничал в игре, он удивленно ответил бы: «Да у меня тогда ведь не было денег!» Если бы его обвинили в том, что он соблазнил женщину, он, смеясь, сказал бы: «Я ведь угодил ей!» Ни одним словом не находит он нужным оправдываться, бесстыднейшим образом вытянув из кармана честных граждан и доверчивых товарищей их сбережения; напротив, в мемуарах он нежно оправдывает свои мошеннические проделки циничным аргументом: «Надуть дурака — значит отомстить за разум». Он не оправдывается, он никогда ни в чем не раскаивается, и в черный день, вместо того чтобы жаловаться на свою неудавшуюся жизнь, которая кончается полным банкротством, в ужасной нищете и зависимости, этот старый беззубый барсук пишет восхитительно наглые строки: «Я бы признался в своей вине, если бы я был сегодня богат. Но у меня ничего нет, я все промотал, это утешает и оправдывает меня». Он ничего не сберег для царства небесного, не умерил своих страстей во имя морали и людей, он ничего не скопил ни для себя, ни для других и за семьдесят лет ничего не приобрел, кроме воспоминаний. И даже их этот добрый мот, к счастью, подарил нам: поэтому мы должны занять последнее место в ряду тех, кого возмущает его щедрость.

Итак, вся философия Казановы свободно уместится в ореховой скорлупе; она начинается и кончается правилом: жить земной жизнью беззаботно, независимо и не обманываться надеждой на возможное, но очень сомнительное царство небесное или уважение потомства. Не заслонять теориями вид на

непосредственное, действовать не праведно и целесообразно, а лишь по влечению мгновения и навстречу ему; всякое заглядывание вперед неизбежно тормозит и расслабляет суставы. Поэтому не надо долго задерживаться на рассматривании и оглядках; какой-то странный Бог поставил перед нами игорный стол — мир; если мы хотим развлекаться за ним, мы должны принять правила игры *tel quel*, такими, как они есть, не спрашивая, справедливы они или нет. И действительно: ни одной секунды своего времени не потратил Казанова на теоретические размышления над проблемой, может ли или должен ли этот мир быть иным. «Любите человечество, но любите его таким, как оно есть», — сказал он в разговоре с Вольтером. Не надо вмешиваться в дело творца мира, несущего полную ответственность за это странное предприятие, не надо месить это кислое тесто и пачкать о него руки; нужно поступать проще: проворной рукой выковыривать из него изюм. Кто слишком много думает о других, тот забывает о себе; кто слишком строгими глазами смотрит на мировой бег, у того устают ноги. Казанова считает естественным, что дуракам живется плохо, умным же не Бог помогает: они находятся в зависимости лишь от себя самих. Если уж мир так нелепо устроен, что одни носят шелковые чулки и разъезжают в каретах, а у других под лохмотьями урчит в животе, для разумного остается лишь одна задача: постараться самому попасть в карету, ибо живешь только для себя, а не для других. Это звучит, конечно, очень эгоистично; но разве мыслима философия наслаждения без эгоизма или эпикурейство без полной социальной индифферентности? Кто страстно хочет жить для себя, должен, рассуждая логически, быть совершенно равнодушным к судьбе других людей.

Равнодушный ко всем людям, равнодушный к проблемам, которые ставит перед человечеством каждый новый день, живет Казанова свои семьдесят три года: его ничто не интересует, кроме его собственных личных наслаждений. И когда он своими светлыми глазами с любопытством смотрит направо и налево, то это делается лишь для того, чтобы развлечься и не упустить малейшей выгоды. Но никогда не будет он греметь воз-

мущением или, как некогда Иов, задавать Богу неприличные вопросы — почему и отчего; каждый факт — удивительная экономия чувств! — он считает просто совершившимся, не приклеивая к нему ярлыка — хорош или дурен. Он отмечает, как нисколько не волнующие его курьезы, что О'Морфи, маленькая голландская пятнадцатилетняя дрянная девчонка, валяется сегодня, покрытая вшами, в постели, с радостью готовая продать свою девственность за два талера, а через две недели, в качестве любовницы христианнейшего короля, осыпанная драгоценными камнями, владеет собственным замком в охотничьем парке и вскоре после этого становится супругой услужливого барона, или что он сам, еще вчера жалкий скрипач в венецианском предместье, на следующее утро становится богатым юношей — пасынком какого-нибудь патриция — с бриллиантами на пальцах. Бог ты мой, так уж создан мир — совершенно несправедливо и нерасчетливо, а так как он вечно будет таким, то нечего пытаться создать для этой катальной горки что-то вроде закона тяготения или какой-нибудь сложный механизм. Только глупые и жадные пытаются изобрести систему для игры в рулетку и портят себе этим наслаждение, в то время как настоящий игрок даже в мировой игре находит несравненную и бесконечную привлекательность именно в этом отсутствии определенности. Когтями и кулаками выцарапывая себе все самое лучшее, — *voilà toute la sagesse*: надо быть философом для себя, а не для человечества, а это, по понятиям Казановы, значит: быть сильным, жадным, не знающим препятствий, уметь быстро подхватывать в игре волн текущую секунду и, не задумываясь над грядущим часом, исчерпать ее до дна. Ибо за пределами данного мгновения все кажется этому откровенному язычнику сомнительным. Никогда не откладывает он часть своих наслаждений на следующий раз, ибо он не может представить себе иного мира, кроме того единственного, который можно ощупать, в который можно проникнуть всеми органами чувств. «Жизнь, будь она счастливая или несчастная, — единственное достояние человека, и кто не любит жизни, тот не достоин ее». Лишь то, что дышит, что на наслаждение отвечает

наслаждением, что приближается к горячему телу, отвечая на страсть и ласку, кажется этому решительному антиметафизiku действительно реальным и интересным.

Таким образом, мировое любопытство Казановы исчерпывается только органическим — человеком; вероятно, за всю свою жизнь он не бросил ни единого мечтательного взгляда на звездный свод, и природа совершенно ему безразлична: никогда это торопливое сердце не воспламеняется ее спокойствием и величием. Попробуйте перелистать эти шестнадцать томов мемуаров: там путешествует зоркий и бодрый, наделенный всеми чувствами человек по самым красивым странам Европы, от Позилиппо до Толедо, от Женевского озера до русских степей; но напрасно будете вы искать хоть одну строку, посвященную восторгам перед красотами этих тысяч ландшафтов; какая-нибудь грязная девка в солдатском кабаке значит для него больше, чем все произведения Микеланджело; карточная игра в непроветренном трактире — прекраснее захода солнца в Сорренто. Природу и архитектуру Казанова вообще не замечает, потому что у него нет органа, связывающего нас с космосом, совершенно нет души. Поля и луга, блистающие на заре, покрытые росой, купающиеся в распыляющем краски сиянии утреннего солнца, — на это он смотрит просто как на зеленую плоскость, на которой потеют и трудятся глупые скоты-крестьяне, чтобы у князей было золото в карманах. Художественные боскеты и темные аллеи еще принимаются в расчет, как укромный уголок, где можно позабавиться с женщиной, растения и цветы годятся для случайных подарков и тайных игр. Но к бесцельным, непосредственным, природным краскам этот вполне человеческий человек остается совершенно слепым. Его мир — это мир городов с их картинными галереями и местами для прогулок, где вечером проезжают кареты, темные покачивающиеся гнезда прекрасных женщин, где кофейни приветливо приглашают, на горе любопытным, метнуть банчок; мир, манящий оперой и публичными домами, в которых можно достать свежую ночную снедь; гостиницы, в которых повара изучили поэзию соусов и рагу и музыку светлых и

темных вин. Лишь город для этого жуира является миром, потому что только в городе случай может развернуться во всем многообразии своих неожиданностей, потому что только там неведомое находит простор для самых зажигательных, самых восхитительных вариаций. Лишь города, наполненные человеческим теплом, любит Казанова; там ютятся женщины в единственной для него приемлемой форме — в изобилии, в сменяющемся множестве, и в городах он опять-таки предпочитает атмосферу двора, роскошь, потому что там сладострастие превращается в искусство, а этот чувственный широкоплечий парень, Казанова, вовсе не является человеком грубой чувственности. Художественно спетая ария может его очаровать, стихотворение осчастливить, культурная беседа согреть, как вино; обсуждать книгу с умными мужчинами, мечтательно склонившись к женщине, из тьмы ложи слушать музыку — это возбуждает волшебную радость жизни. Но не дадим ввести себя в заблуждение: любовь к искусству не переступает у Казановы границ игры и остается радостью дилетанта. Духовное должно служить жизни, а не жизнь духовному; он уважает искусство, как тончайший и нежнейший возбуждающий напиток, как ласковое средство пробуждать инстинкт, увеличивать вожделение, служить скромной прелюдией страсти, тонким предвкушением грубого плотского наслаждения. Он с удовольствием состряпает стихотворение, чтобы, перевязав его шелковой подвязкой, поднести желанной женщине, он будет декламировать Ариосто, чтобы воспламенить ее, или остроумно беседовать с кавалерами о Монтескье и Вольтере, чтобы проявить свою образованность и отвлечь внимание от руки, протянутой за их кошелем, но этот чувственный южанин никогда не поймет искусства и науки, требующих труда и напряжения, становящихся самоцелью и смыслом жизни. Этот игрок инстинктивно избегает глубины, ибо его занимает лишь поверхность, только пена и аромат бытия, грохочущий прибором случая; это вечный жуир, вечный дилетант, и потому он так изумительно легок, так невесом, так окрылен. Подобно «Фортуне» Дюрера, обнаженными стопами попирающей земной шар, не-

сомой крыльями и ветром случая, нигде не задерживающейся, никогда не отдыхающей и не хранящей верности, легко пробегает Казанова через жизнь, ничем не связанный, человек минуты и быстрых превращений. Перемена — это для него «соль наслаждения», а наслаждение, в свою очередь, — единственный смысл мира.

Легкий, как муха-поденка, пустой, как мыльный пузырь, сверкая лишь отблеском событий, мелькает он в вихре времени: едва ли можно поймать и удержать этот беспрерывно меняющийся лик души и еще труднее обнаружить зерно этого характера. Что же, в конце концов, добр Казанова или зол? Правдив или лжив, герой он или негодяй? Ну это как придется: он перекрашивается в зависимости от обстоятельств, он меняется с каждой переменной их. Если у него денег много, — трудно найти более благородного кавалера. С очаровательным задором, с сияющей вельможностью, любезностью прелата и ветреностью пажа он полной горстью разбрасывает вокруг себя деньги, — бережливость не мое дело, — щедро, как прирожденный благодетель, приглашает чужих к своему столу, дарит им табакерки и горсти дукатов, открывает кредит и обдаёт их фейерверком ума. Но если пусты его широкие шелковые карманы и в портфеле шуршат неоплаченные векселя, я никому не посоветовал бы удваивать ставку, играя против этого галантного кавалера: он несколько раз передернет, всучит фальшивые банкноты, продаст свою возлюбленную и сделает самую отчаянную подлость. Никогда нельзя предсказать (как счастье в игре), будет ли он сегодня очаровательным и изумительно остроумным собеседником, а завтра — откровенным разбойником: в понедельник он будет с нежностью Абеяра восторгаться дамой, а во вторник — за десять фунтов подсунет ее в постель какому-нибудь лорду. Нет, у него не хороший характер, но и не плохой — у него вовсе нет характера: характер и душевная субстанция — свойства столь же чуждые ему, как плавники млекопитающим, они не свойственны его расе. Он поступает не морально и не аморально, а с естественной аморальностью: его решения берутся прямо с потолка, его рефлекс-

сы исходят непосредственно из нервов и крови, не испытав влияния разума, логики и нравственности. Вот он почувал женщину, и кровь начинает бешено стучать в жилах; со слепым неистовством мчится он вперед, подгоняемый своим темпераментом. Вот он увидел игорный стол, и рука его уже дрожит в кармане: помимо воли и желания деньги его уже звенят на столе. Его рассердили, и вены надуваются, точно готовые разорваться, горькая слюна наполняет рот, глаза наливаются кровью, кулаки сжимаются, и он ударяет со слепым неистовством, подгоняемый гневом, «*comme un bœuf*», как сказал его соотечественник и брат Бенвенуто Челлини, — словно бешеный бык. Но нельзя считать Казанову ответственным за это, ибо в нем бушует кровь, он бессилен перед стихийными вспышками своей горячности: «У меня никогда не было и никогда не будет самообладания». Он не размышляет о прошлом и не думает о будущем; только в минуты крайности являются у него хитрые и подчас гениальные спасительные мысли, но он никогда не составляет планов и не рассчитывает даже самых ничтожных своих действий, — для этого он слишком нетерпелив. В его мемуарах можно найти сотни подтверждений тому, что решительнейшие поступки, самые грубые проделки и остроумнейшие мошенничества являются всегда внезапным взрывом настроения и никогда — следствием расчета. Одним взмахом он вдруг скидывает рясу аббата; будучи солдатом, он, прищпорив лошадь, отправляется в вражескую армию и сдается в плен; он мчится в Россию или Испанию просто по какому-то наитию, без должности, без рекомендаций, без сведений, не спросив даже себя — почему и зачем. Все его решения исходят, точно невольный пистолетный выстрел, из нервов, из настроения, из накопившейся скуки. Они так кидают его из одного положения в другое, что он сам иногда пугается и протирает глаза. И вероятно, именно этой отважной бесцельности он обязан полнотой переживаний: ибо *more logico*, честно собирая сведения и рассчитывая, никогда не станешь авантюристом, и со стратегической системой нельзя быть таким фантастическим мастером жизни.

Поэтому ошибочны непонятные старания всех поэтов, избирающих нашего Казанову — человека непосредственных побуждений — героем комедии или рассказа, наделять его чем-то вроде живой души, мечтательностью или чем-то фаусто-мефистофельским, его, чья привлекательность и энергия являются исключительным результатом аморальной беспечности и отсутствия размышлений. Влейте ему в вены только три капли сентиментальности, нагрузите его знаниями и ответственностью, — и он перестанет быть Казановой; нарядите его в интересную мрачность, подsunьте ему совесть, — и он окажется в чужой шкуре. Ибо это свободное дитя мира, этот вечный сын легкомыслия, нагло хватающий каждую игрушку, поспешно накидывающийся на все развлечения, жаждущий женщин, наслаждений и чужих денег, не содержит в себе абсолютно ничего демонического: единственный демон, подгоняющий Казанову, носит чрезвычайно мещанское имя, с лица толст и расплывчат, он просто-напросто называется скукой. Изрядно пустой, без душевного содержания, абсолютное безвоздушное пространство, он должен, чтобы не попасть в лапы внутренней гибели, постоянно и непрерывно пополнять себя внешними событиями; чтобы не умереть с голоду, ему необходим кислород авантюры; вот причина этой горячей, судорожной жажды всего небывалого и нового, вот откуда неутомимо ищущее, пламенными взорами высматривающее любопытство этого вечно алчущего событий человека. Непроизводительный изнутри, он непрерывно должен добывать жизненный материал, но его бесконечное желание владеть всем очень далеко от демонизма настоящего захватчика, далеко от Наполеона, стремящегося из страны в страну, от королевства к королевству, снедаемого жаждой беспредельного; так же далеко и от Дон-Жуана, точно под ударами бича соблазняющего всех женщин, чтобы ощутить себя самодержцем в другой беспредельности — в мире женщин; жуир Казанова никогда не стремится достигнуть таких высоких ступеней, он дорожит непрерывностью наслаждений. Не фанатическая иллюзия, как у человека действия или интеллекта, толкает его к героическому, грозному

напряжению чувств, — он стремится лишь к теплу усад, к воспламеняющей радости игры, к авантюрам, авантюрам и авантюрам, к новым, все новым переживаниям, к утверждению жизни. Только бы не быть одному, не содрогаться в этой ледяной пустыне, только бы не одиночество. Если мы понаблюдаем за Казановой в ту пору, когда он лишен игривых развлечений, то увидим, что покой становится для него убийственным беспокойством. Вот он приезжает вечером в чужой город: ни одного часа не может он пробыть наедине с собой или с книгой в своей комнате. Тотчас же начинает он рыскать повсюду, посматривая по сторонам, не принесет ли ветер случая какое-нибудь развлечение, не пригодится ли на худой конец горничная в качестве ночной грелки. Внизу, в трактире он завязывает разговор со случайными знакомыми; он готов в каждой трущобе понтировать против подозрительных шулеров, провести ночь с несчастной проституткой; где бы он ни был, внутренняя пустота с неудержимой силой толкает его к живому, к людям, ибо только соприкосновение с другими поддерживает его жизненные силы; наедине с собой это, вероятно, скучнейший и мрачнейший малый: об этом свидетельствуют его произведения (за исключением мемуаров) и описание его одинокой жизни в Луксе, где скуку он называет «адам, который Данте забыл изобразить». Как волчок нуждается в постоянном подстегивании, чтобы не прекратить своего волшебного танца и не кончить кружение жалким падением на землю, так и Казанове для его парения нужны подзадоривающие толчки извне: он (как бесчисленное множество других) является авантюристом вследствие убожества своих производительных сил. Поэтому, как только естественное жизненное напряжение ослабевает, он прибегает к искусственному: к игре. Игра в гениальном ракурсе повторяет напряжение реальной жизни, она искусственно создает опасность и ускоряет бег судьбы; она — убежище для людей мгновенья, вечное развлечение бездельников. Благодаря игре, в стакане воды бурлят отлив и прилив чувств; пустая секунда, плоский час наполняются трепетом, страхом и ожиданием; ничто, даже женщина, не может дать

такого избавления от пресыщения собой, как эта призрачная авантюра — игра; бесподобное занятие для людей, внутренне ничем не занятых. Казанова отдается ей всецело. Он не может взглянуть на женщину, не пожелав ею обладать, но он равнодушно, с недрогнувшей рукой смотрит на катящиеся по игорному столу деньги, и даже узнав в банкете известного грабителя, коллегу-шулера, он, уверенный в проигрыше, продолжает рисковать до последнего дуката. Ибо Казанова, — хотя в мемуарах он ловко увиливает от признания, но многочисленными полицейскими актами это доказано, — Казанова был сам одним из опытейших шулеров и передергивателей своего времени и всегда жил, если не считать разных мошеннических проделок и сводничества, только доходами от этого прелестного искусства. Но ничто не доказывает нагляднее его страсти к игре, его безграничного, неудержимого, азартного неистовства, чем то, что он, сам грабитель, дает себя грабить, потому что не в силах противостоять самому неверному шансу. Как проститутка отдает сутенеру тяжко добытую плату за ласки, лишь бы в действительности испытать то, что приходится разыгрывать перед другими, так и Казанова жертвует ловким партнерам все наглым и хладнокровным мошенничеством отобранное у новичков; не раз, а десятки, сотни раз уступает он добычу тяжких обманов вечно смущающему шансу счастливой карты. Но именно это кладет на него клеймо настоящего, прирожденного игрока: он играет не ради выигрыша (как это было бы скучно!), а ради процесса игры, так же как он живет не ради богатства, счастья, комфорта, буржуазного уюта, а ради жизни, — и тут являясь игроком в первобытной стихии бытия. Он никогда не ищет окончательной разрядки, он стремится к длительному напряжению, к вечной аванюре — хотя бы в пределах игорного стола: от черного и красного, от бубен и туза к трепету ожидания, при котором он чувствует работу нервов и прилив страсти; как биение сердца, как дыханье пламенной мировой материи, необходимо ему обжигающее перебрасыванье от выигрыша к проигрышу за игорным столом, завоевание женщин и расставание с ними, контрасты нищеты и богат-

ства, бесконечно длящиеся авантюры. И так как пестрая, подобная кинофильму, жизнь изобилует интервалами между неожиданнейшими сюрпризами и бурными падениями, он заполняет пустые паузы искусственным напряжением игорной судьбы, и именно его бешеные, азартные выпадy порождают эти внезапные броски сверху вниз, эти потрясающие трещины, это убийственное падение в ничто; еще сегодня карманы набиты золотом, он вельможа, а завтра он наспех продает брильянты еврею и закладывает штаны; это не шутка, доказательством служат найденные квитанции на заложенные в Цюрихском ломбарде вещи. Но именно такой, а не какой-нибудь иной жизни хочет этот архиавантюрист: жизни, разбрызганной во все стороны внезапными взрывами счастья и отчаяния; ради них бросает он то и дело судьбе свое сильное существо, как последнюю и единственную ставку. Десять раз на дуэлях находится он на волосок от смерти, десять раз стоит он перед угрозой тюрьмы и каторги, миллионы притекают и улетучиваются, и он не шевелит пальцем, чтобы удержать хоть каплю из них. Но благодаря тому, что он постоянно всем существом отдается каждой игре, каждой женщине, каждому мгновению, каждой аванюре, именно потому он, умирая, как жалкий нищий, в чужом имени, выигрывает наконец самое высшее: бесконечную полноту жизни.

НОМО EROTICUS

Я соблазнял? Нет, я лишь был
на месте.

Когда природа начинала дело
Волшебнo-нежное; я ни одной
не кинул,

И каждой вечно благодарно сердце.

Артур Шнитцлер. Казанова в Спа

Он дилетантствует честно и, — обычно довольно плохо во всех созданных Богом искусствах, — пишет спотыкающиеся стихи и усыпляющие философские трактаты, кое-как пилика-

ет на скрипке и беседует, в лучшем случае, как энциклопедист. Лучше усвоил он игры, изобретенные дьяволом, — фараон, карты, бириби, кости, домино, плутовство, алхимию и дипломатию. Но магом и мэтром Казанова является только в любовной игре. Здесь, в процессе творческой химии сотня его испакощенных и разодранных талантов соединяется в чистую стихию совершенной эротики, здесь — и только здесь — этот лицемерный дилетант является бесспорным гением. Его тело словно специально создано для служения Цитере. Обычно скупая природа на этот раз расточительно, полной горстью зачерпнула из тигля сочность, чувственность, силу и красоту, чтобы создать на радость женщинам настоящего мужа, «male» — «дюжего мужчину» и «самца», — переводы, как хочешь, — сильный и эластичный, жестокий и пламенный экземпляр прекрасной породы, — массивное литье и совершенная форма. Ошибаются, представляя себе физический облик Казановы-победителя в духе модной в наше время стройной красоты; этот *bel uomo** ни в малейшей степени не эфеб, напротив, это жеребец с плечами фарнезского Геркулеса, с мускулами римского борца, со смуглой красотой цыганского парня, с напористой наглостью кондотьера и пылкостью растрепанного фавна. Его тело — металл; в нем изобилие силы: четырехкратный сифилис, два отравления, дюжина уколов шпагой, ужасные, мрачные годы в венецианской и вонючих испанских тюрьмах, неожиданные переезды из сицилианской жары в русские морозы нимало не уменьшают его потенции и мужской силы. Где бы то ни было и когда бы ни было, достаточно искры взгляда, физического контакта даже на расстоянии, одного присутствия женщины, чтобы воспламенилась и начала действовать эта непобедимая сексуальность. И целую трудную четверть века остается он легендарным *messer sempre pronto* — господином «Всегда готов» из итальянских комедий, неутомимо обучает женщин высшей математике любви, превосходя самых усердных их любовников, а о позорном фиаско в постели (которое Стендаль

* Красавец мужчина (*итал.*).

считает достаточно важным, чтобы посвятить ему целую главу в своем трактате «Любовь») он до сорока лет знает лишь понаслышке и рассказам. Тело, которое никогда не слабеет, раз его призывают желанья, и желанья, которые не знают усталости и с настороженными нервами выслеживают женщину, страсть, не убывающая, несмотря на бешеную расточительность, потребность в игре, не останавливающаяся перед любой ставкой; и в самом деле, редко случалось, чтобы природа доверила мастеру такой полнострунный и осмысленный инструмент тела, такую *viola d'amore*^{*}, чтоб играть на ней всю жизнь.

Но на всяком поприще мастерство для полного своего проявления требует кроме природного таланта еще и особого залога: полнейшей преданности, абсолютной сосредоточенности. Только моногамия стремления порождает максимум страсти, только слепое следование в одном направлении создает совершенные результаты: как музыка для музыканта, создание формы для поэта, деньги для скупца, рекорды для спортсмена, так для подлинного эротика и женщина — ухаживание, домогание и овладение — должна быть важнейшей, нет, единственной ценностью мира. Благодаря вечной ревности одной страсти к другой он может всецело отдаться только этой единственной из всех страстей и в ней, только в ней, найти смысл и беспредельность мира. Казанова, вечно изменчивый, остается неизменным в своей страсти к женщинам. Предложите ему перстень венецианского дожа, сокровища Фуллеров, дворянский патент, дом и конюшни, славу полководца или поэта, он с легким сердцем отбросит все эти безделушки, глупые, не имеющие цены вещи, ради аромата нового тела, неповторимого сладостного взгляда и мгновенья слабеющего сопротивления, ради переливающегося блеском и уже затуманенного наслаждением взора отдающейся, но еще не принадлежащей ему женщины. Все блага мира, почет, власть и знатность, время, здоровье и любое удовольствие выпустит он, как табачный дым, ради приключения. Ибо этот эротический игрок не нуждается во

^{*} «Скрипка любви» — старинный струнный инструмент, являющийся прототипом современной скрипки.

влюбленности для своих желаний: предчувствие, шуршащая, еще не осязаемая близость авантюры воспламеняет его фантазию предвкушением наслаждения и страстью. Вот один пример из сотен: эпизод в самом начале второго тома, когда Казанова по важнейшим делам с экстренной почтой едет в Неаполь. По дороге, в гостинице, он видит в соседней комнате, в чужой постели у венгерского капитана, красивую женщину, — нет, еще нелепее: он ведь пока даже не знает, красива ли она, ибо он не мог рассмотреть скрытой под одеялом женщины. Он слышал лишь молодой смех, смех женщины, и у него уж раздуваются ноздри. Он ничего не знает про нее, не знает, соблазнительна ли она, красива или уродлива, молода или стара, пожелает его или оттолкнет, свободна она или связана, и все же он бросает все планы вместе с чемоданом под стол, велит распрячь уже готовых лошадей и остается в Парме, ибо этому жаждущему азарта игроку достаточно такой крохотной и неопределенной возможности авантюры, чтобы потерять рассудок. Так, казалось бы, бессмысленно и так мудро с точки зрения присутствующего ему естественнейшего смысла поступает Казанова всегда и во всех случаях.

Ради одного часа с неведомой женщиной он готов днем и ночью, утром и вечером на любую глупость. Когда он охвачен вожделием, когда хочет победить, его не пугает никакая цена, никакие препятствия. Чтобы встретиться вновь с женщиной — какой-то немецкой бюргермейстершей, — не слишком, по-видимому, нужной ему, даже не зная, может ли она его осчастливить, он в Кельне нагло идет без приглашения в чужое общество, уверенный, что его не хотят там видеть, и должен, скрежеща зубами, выслушать нравоучение хозяина и насмешки присутствующих; но разве разгоряченный жеребец чувствует удары кнута? Казанова охотно проведет целую ночь голодный и замерзший в холодном погребе с крысами и насекомыми, если на заре появится возможность хотя бы и не слишком удобного любовного свидания; он десятки раз рискует подвергнуться ударам сабли, пистолетным выстрелам, оскорблениям, вымогательствам, болезням, унижениям — и к тому же не

из-за Анадиомены, не из-за действительно любимой, всеми фибрами души и всей совокупностью чувств желанной женщины, а из-за жены любого, из-за каждой легко доступной женщины только потому, что она женщина, экземпляр другого, противоположного пола. Каждый сводник, каждый сутенер может самым лучшим образом обобрать всемирно известного соблазителя, каждый сговорчивый супруг или услужливый брат может его втянуть в грязнейшие дела, как только разбужена его чувственность. Но когда же она дремлет? Разве бывает когда-нибудь вполне удовлетворена эротическая жажда Казановы? *Semper novarum rerum cupidus*, он всегда алчет новой добычи, — его вожделения непрерывно стремятся навстречу неизвестному. Город без приключений для него не город, мир без женщин — не мир; так же, как в кислороде, сне и движении, это мужское тело постоянно нуждается в нежно-сладострастной ночной пище, это чувство — в мелькающем напряжении авантюры. Месяц, неделю, вряд ли даже один день, нигде и никогда не может он хорошо чувствовать себя без женщин. В словаре Казановы слово «воздержание» значит — тупость и скука.

Неудивительно, что при таком основательном аппетите и неутолимом потреблении качество женщин не всегда на высоте. Когда чувственность обладает таким верблужьим желудком, приходится быть не изысканным гастрономом, а обыкновенным обжорой. Следовательно, быть возлюбленной Казановы само по себе еще не является особым отличием, ибо не надо быть ни Еленой, ни целомудренной девственницей, ни особенно умной, благовоспитанной и соблазнительной, чтобы этот знатный господин благосклонно посмотрел на нее; легко увлекающемуся достаточно того, что это женщина, тело, *vagina*, полярный пол, созданный природой, чтобы удовлетворять его чувственность. Красота, ум, нежность, конечно, приятные добавки, но какие все это смехотворные мелочи по сравнению с единственным решающим фактором — с чистой женственностью; ибо только этой женственности, вечно новой, вечно иной во всех ее формах и разновидностях, жаждет Казанова. Поэтому лучше совершенно оставить романтические и эстетические

представления об этом обширном охотничьем парке; как всегда бывает у профессионального и, вследствие этого, неразборчивого сластолюбца, коллекция Казановы отличается пестротой, совершенно неравноценной, и являет не бог весть какую галерею красавиц. Некоторые образы — нежные, милые полу-взрослые, девические лица хотелось бы видеть нарисованными его соотечественниками — художниками Гвидо Рени и Рафаэлем, некоторые — написанными Рубенсом или набросанными нежными красками на шелковых веерах рукою Буше, но рядом с ними — образы английских уличных проституток, дерзкие физиономии которых мог бы запечатлеть лишь жестокий карандаш Гогарта, распутных старых ведьм, которые заинтересовали бы бешеного Гойю, лица зараженных девок в стиле Тулуз-Лотрека, крестьянок и прислуг — подходящие сюжеты для крепкого Брейгеля, — дикая пестрая смесь красоты и грязи, ума и пошлости, настоящая ярмарка безудержного, неразборчивого случая. Ибо этот Пан-эротик обладает в сладострастии грубыми вкусовыми нервами, и радиус его вожделений тянется угрожающе далеко в сторону странностей и извращений. Постоянная любовная жажда не знает пристрастия; она хватается все, что встречается на пути, она удит во всех ручьях и реках, прозрачных и мутных, дозволенных и запретных. Эта безграничная, пренебрегающая всем эротика не знает ни морального, ни эстетического удержа, ни возраста, ни низов, ни верхов, ни преждевременного, ни запоздалого. Похождения Казановы простираются от девушек, возраст которых в нашу регламентированную эпоху привел бы его к серьезным недоразумениям с прокурором, до жуткого скелета, до семидесятилетней руины, герцогини Урфе, — до этого самого страшного любовного часа, в котором никто не решился бы бесстыдно сознаться в оставляемых потомству мемуарах. По всем странам, по всем классам несется эта далеко не классическая Вальпургиева ночь; самые нежные, самые чистые образы, пылающие трепетом первого стыда, знатные женщины, закутанные в кружева, во всем блеске своих драгоценностей подают в хороде руку подонкам публичных домов, чудовищам матросских

кабаков; циничная горбунья, вероломная хромоножка, порочные дети, сладострастные старухи наступают друг другу на ноги в этой пляске ведьм. Тетка уступает теплую еще постель племяннице, мать — дочери, сводники подсовывают ему в дом своих детей, услужливые мужа предоставляют вечно алчущему мужчине своих жен, солдатские девки сменяют знатных дам для быстрых услад той же ночи, — нет, необходимо, наконец, отучиться от привычки невольно иллюстрировать любовные приключения Казановы в стиле галантных гравюр восемнадцатого века и грациозных, аппетитных эротических безделушек, — нет, трижды нет, нужно, наконец, иметь мужество признать здесь неразборчивую эротику со всеми ее яркими контрастами, в действительном реализме пандемониума мужской чувственности. Такое неутомимое, ни с чем не считающееся *libido*, как у Казановы, побеждает все препятствия и ничего не пропускает; чудовищное привлекает его не менее обыденного, нет аномалии, которая бы его не возбуждала, нет абсурда, который бы его отрезвил. Вшивые кровати, грязное белье, сомнительные запахи, знакомство с сутенерами, присутствие тайных или явных зрителей, грубые вымогательства и обычные болезни, все это — незаметные мелочи для божественного быка, который мечтает, как второй Юпитер, обнять Европу — весь мир женщин во всех его формах и изменениях, каждый стан, каждый скелет, — в своих достойных Пана, почти маниакальных наслаждениях равно приверженный и к фантастическому, и к естественному. Но вот что типично для мужественности этой эротики: как бы непрерывно и бурно ни набегала волна крови, никогда не выходит она из пределов естественного влечения. Инстинкт Казановы твердо придерживается границ пола: отвращение овладевает им при прикосновении к кастрату, палкой отгоняет он похотливых мальчиков: все его извращения с необычайным постоянством держатся в границах мира женщин — единственной и необходимой для него сферы. Но здесь его пылкость не знает ни границ, ни удерж, ни перерыва; без разбора, без числа и без остановок сияет это желание навстречу любой, с той же жадной, опьяняющей его

при появлении каждой новой женщины мужской силой греческого фавна. И именно эта достойная Пана пьянящая сила и естественность его вожделий дает Казанове неслыханную, почти непобедимую власть над женщинами. Внезапно пробуждающимся инстинктом кипящей крови они чувят в нем человека-зверя, горящего, пылающего, летящего им навстречу, и они подчиняются ему, потому что он всецело подчинен им, они отдаются ему, потому что он весь отдается им, но не ей одной, а им, всем женщинам, его противоположности, другому полюсу. Интуиция пола говорит им, что это тот, для которого мы важнее всего, непохожий на других усталых от дел и обязанностей, ленивых и женатых, торопливых, вечно спешащих, лишь между прочим ухаживающих за ними; этот стремится к нам с нераздробленно бурной силой всего своего существа, этот не скуп, а щедр, этот не задумывается, не разбирает. И действительно, он отдается весь: последней каплей наслаждения своего тела, последним дукастом из своего кармана он, не раздумывая, готов пожертвовать ради каждой из них лишь потому, что она женщина и в этот миг утоляет его жажду. Ибо видеть женщину счастливой, приятно пораженной, восторгающейся, улыбающейся и влюбленной — для Казановы высшая точка наслаждения. Он награждает каждую любовно выбранными дарами, льстит роскошью и легкомыслием ее тщеславию, он любит богато нарядить, окутать кружевами, прежде чем обнажить — поразить невиданными драгоценностями, опьянить бурей расточительности и пылким огнем страсти, — и в самом деле это Бог, дарящий Юпитер, который вместе со зноем крови проливает на возлюбленную и золотой дождь.

И, вновь уподобляясь Юпитеру, он исчезает в облаках: «Я безумно любил женщин, но всегда предпочитал им свободу», — от этого не блекнет, нет, напротив, ярче сияет его ореол, ибо именно благодаря грозovým его появлениям и исчезновениям женщины хранят в памяти единственное и исключительное, ни с чем не сравнимое опьянение и увлечение, сумасбродство восторга, неповторимое великолепное приключение, не превратившееся, как с другими, в трезвую привычку и баналь-

ное сожительство. Каждая женщина инстинктивно чувствует, что подобный мужчина немислим в роли мужа или верного обожателя; в ее крови хранится память о нем, как о любовнике, о Боге одной ночи. Хотя он покидает всех, тем не менее ни одна не хочет, чтобы он был иным. Поэтому Казанове нужно быть только тем, что он есть, — честным в вероломстве своей страсти, — и он овладеет каждой. Человек, подобный ему, не должен притворяться, не должен казаться возвышенным, не должен придумывать лирических и хитрых способов соблазна: Казанова должен лишь предоставить действовать своей искренней страсти, и она постоит за него. Робкие юноши напрасно будут перелистывать его шестнадцатитомное *Arg amandi**, чтобы вырвать у мастера тайну его побед: искусству соблазна так же нельзя научиться из книг, как мало изучить поэтику, чтобы писать поэмы. У этого мастера ничему не научишься, ничего не выудишь, ибо не существует особого секрета Казановы, особой техники завоевания и приручения. Вся его тайна — в честности вождений, в стихийном проявлении страстной натуры.

Я только что говорил о честности — странное слово в применении к Казанове. Но ничего не поделаешь: необходимо засвидетельствовать, что в любовной игре этот неисправимый шулер и продувной мошенник обладает своеобразной честностью. Отношения Казановы к женщинам честны, потому что соприкасаются со стихией крови и чувственности. Стыдно сознаться, но неискренность в любви всегда является результатом вмешательства возвышенных чувств. Честное тело не лжет, оно никогда не выносит своего напряжения и вождения за пределы естественно достижимого. Только когда вмешиваются ум и чувство, благодаря своей окрыленности достигающие беспредельного, страсть становится преувеличенной — следовательно, лживой, — и привносит воображаемую бесконечность в наши земные отношения. Казанове, который никогда не возвышается над пределами физического, легко испол-

* Искусство любви (*итал.*).

нить то, что он обещает, из блестящего склада своей чувственности он дает наслаждение за наслаждение, тело за тело, и его душа никогда не остается в долгу. Поэтому женщины *post factum* не чувствуют себя обманутыми в платонических ожиданиях; он всегда избавляет их от отрезвления, ибо этот соблазнитель не требует от них ничего, кроме половых спазм, ибо он не возносит их в сентиментальные беспредельности чувства. Каждому дозволено называть этот род эротики низшей любовью, — половой, телесной, бездушной и животной, но не надо сомневаться в ее честности. Ибо, не действует ли этот свободный ветреник со своим откровенным и прямолинейным желанием искреннее и благотворнее в отношении женщин, чем романтические вздыхатели, великие любовники, как, например, чувственно-сверхчувственный Фауст, который в душевном экстазе призывает и солнце, и луну и звезды, беспокоит во имя своего чувства к Гретхен Бога и вселенную, чтобы (как заранее знал Мефистофель) закончить возвышенное созерцание подобно Казанове и совершенно по-земному лишить бедную четырнадцатилетнюю девушку ее сокровища? В то время как на жизненных путях Гете и Байрона остается целый рой сломленных женщин, согнутых, разбитых существ, именно потому, что высшие, космические натуры невольно так расширяют в любви душевный мир женщины, что она, лишившись этого пламенного дуновения, не может воплотить его в земные формы, — зажигательность Казановы доставила чрезвычайно мало душевных страданий. Он не вызывает ни гибели, ни отчаяния, многих женщин он сделал счастливыми, и ни одной — истеричной, все они после простого чувственного приключения возвращаются невредимыми в обыденность, к своим мужьям или любовникам. Но ни одна не кончает самоубийством, не впадает в отчаяние, ее внутреннее равновесие, по-видимому, не нарушено, даже едва ли затронуто, ибо прямолинейная и в своей естественности здоровая страсть Казановы не проникает в их судьбу. Он обвеваает их лишь, как тропический ветер, в котором они расцветают для более пылкой чувственности. Он согревает, но не сжигает, он побеждает, не разрушая, он со-

блазняет, не губя, и, благодаря тому, что его эротика концентрируется лишь в ткани тела, — более крепкой, чем легко уязвимая душа, — его завоевания не дают назреть катастрофам. Поэтому в Казанове-любовнике нет ничего демонического, он никогда не становится трагическим героем в судьбе другого и сам никогда не является непонятной натурой. В любовной игре он остается самым гениальным мастером эпизодов, какого знает мировая сцена.

Но эта бездушность, бесспорно, вызывает вопрос: можно ли вообще это физическое, разжигаемое появлением каждой юбки *libido* назвать любовью? Конечно, нет, если сравнить Казанову, этого *homo eroticus* или *eroticissimus**, с бессмертными любовниками Вертером или Сен-Пре. Эта почти благоговейная экзальтация, при появлении образа возлюбленной готовая сродниться со вселенной и Богом, этот расширяющий душу, порожденный Эросом подъем остается недоступным для Казановы с первого до последнего дня. Ни одно его письмо, ни один его стих не свидетельствуют о чувстве настоящей любви за пределами часов, проведенных в постели; возникает даже вопрос, можно ли допустить у него способность к действительной страсти? Ибо страсть, *amour-passion*, как называет ее Стендаль, несовместима в своей неповторимости с обыденным, она редко появляется и возникает всегда из долго копившейся и сбереженной силы чувств; освобожденная, она, как молния, бросается навстречу любимому образу.

Но Казанова постоянно расточает свою пламенность, он слишком часто разряжается, чтобы быть способным на высшее, молниеносное напряжение; его страсть, чисто эротическая, не знает экстаза великой единственной страсти. Поэтому не нужно беспокоиться, когда он впадает в страшное отчаяние из-за ухода Генриетты или прекрасной португалки: он не возьмет в руки пистолета, и действительно, через два дня мы находим его у другой женщины или в публичном доме. Монашенка С.С. не может больше прийти из Мурано в казино, и вместо нее появ-

*Человек эротичный или эротичнейший (лат.).

ляется сестра М.М.; утешение наступает невероятно быстро, одна сменяет другую, и таким образом нетрудно установить, что он, будучи подлинным эротиком, никогда не был действительно влюблен ни в одну из многих встречавшихся ему женщин; он был влюблен лишь в их совокупность, в постоянную смену, в многообразие авантюр.

У него самого как-то вырвалось опасное признание: «Уже тогда я смутно чувствовал, что любовь только более или менее живое любопытство», и нужно ухватиться за это определение, чтобы понять Казанову, нужно расколоть слово любопытство надвое: любо-пытство — т.е. вечное желание испытывать, искать вечно нового, вечно иного любовного опыта, с вечно иными женщинами. Его не привлекает единичная личность, его влекут варианты, вечно новые комбинации на неисчерпаемой шахматной доске Эроса. Его победы и расставания являются чисто функциональным отпращиванием организма, естественным и само собою разумеющимся, как вдох и выдох, и это объясняет нам, почему Казанова в роли художника не дает среди описаний тысячи женщин ни одного пластичного образа: откровенно говоря, все его описания возбуждают подозрение в том, что он не заглянул как следует в лицо своим любовницам, а всегда рассматривал их *in serito punto*, только с некоторой, весьма обыденной точки зрения.

Его, как обычно всех настоящих южан, приводят в восторг и «воспламеняют» все те же грубо чувственные, заметные даже крестьянам ощутимые и бросающиеся в глаза половые отличия женщин, все снова и снова (до приторности) повторяются «алебастровая грудь», «божественные полушария», «стан Юноны», всегда в силу какой-нибудь случайности обнаженные «тайные прелести», — все то, что щекотало бы зрачок похотливого гимназиста при виде горничной.

Итак, от неисчислимых Генриетт, Ирен, Бабетт, Мариучий, Эрмелин, Марколин, Игнаций, Лючий, Эстер, Сар и Клар (надо было бы списать все святцы!) не осталось почти ничего, кроме окрашенного в телесный цвет желе теплых, сладострастных женских тел, вакхической путаницы цифр и платежей,

достижений и восторгов, совсем как у пьяного, который, просыпаясь утром с тяжелой головой, не знает, что, где и с кем он ночью пил. В его изображении ни один контур тела, тем более души этих сотен женщин не отбрасывает пластической, психофизической тени. Он наслаждался лишь их кожей, ощутил их эпидерму, узнал их плоть. Итак, точный масштаб искусства показывает нам ярче, чем жизнь, громадную разницу между простым эротиком и действительно любящим, между тем, кто выигрывает и ничего не удерживает, и тем, кто добивается малого, но, благодаря душевной силе, это мимолетное возвышает. Одно-единственное переживание Стендаля, в достаточной степени жалкого героя любви, благодаря возвышенному чувству, дает в осадке больший процент душевной субстанции, чем три тысячи ночей Казановы; все шестнадцать томов его мемуаров дадут меньшее понятие о глубине чувств и экстазе духа, которые способен породить Эрос, чем четыре строфы стихотворения Гете. Подвергнутые рассмотрению с высшей точки зрения, мемуары Казановы представляют собой скорее статистический реферат, чем роман, больше дневник военного похода, чем *Codex eroticus*^{*}, это западная Камасутра^{**}, Одиссея путешествий по плоти, Илиада вечного мужского влечения к вечной Елене. Их ценность заключается в количестве, а не в качестве, и ценны они как варианты, а не как отдельные случаи, многообразием форм, а не душевной значительностью.

Именно полнота этих переживаний и изумление перед физическими подвигами заставили наш мир, регистрирующий только рекорды и редко измеряющий душевную силу, возвести Джакомо Казанову в символ фаллического триумфа и украсить его драгоценнейшим венком славы, сделав его имя поговоркой. Казанова на немецком и других европейских языках значит — неотразимый рыцарь, пожиратель женщин, мастер соблазна; в мужской мифологии он является тем, чем Елена, Фрина и Нинон де Ланкло — в мифологии женщин.

* Эротический кодекс (лат.).

** Известный утомительно длинный и схоластически эротический трактат индусов.

Чтобы из миллиона своих однодневных личин создать бессмертный тип, человечество всегда должно сводить общий случай к единичному образу; так на долю этого сына венецианского актера выпадает неожиданная честь прослыть цветом всех героев-любовников. Правда, он должен разделять этот завидный пьедестал с другим, и притом тоже легендарным товарищем; рядом с ним стоит более благородный по крови, более мрачный по складу и более демонический по внешности — испанский его соперник Дон-Жуан. Часто говорили о скрытом контрасте между этими мастерами соблазна (впервые и, по моему, удачнее всех — Оскар А.Г. Шмитц); но так же, как вряд ли когда-нибудь будет исчерпана до конца духовная антитеза между Леонардо и Микеланджело, Толстым и Достоевским, Платоном и Аристотелем, ибо каждое поколение типологически ее повторяет, таким же неисчерпаемым останется и это противопоставление двух первобытных форм эротики. Хотя оба они и идут в одном направлении, оба, как ястребы, кидаются на женщин, вечно врываясь в их застенчиво или блаженно испуганный рой, все же душевный их строй по существу и в его проявлениях представляется нам происходящим от совершенно различных рас. Дон-Жуан в противоположность свободному, беззаботному, безродному, безудержному Казанове является неподвижно застывшим в кастовом достоинстве идальго, дворянином, испанцем и даже в бунте — католиком в душе. Как у *pur sangre** испанца, все его мысли и чувства вертятся вокруг понятия о чести; как средневековый католик, он бессознательно подчиняется церковной оценке всего плотского как «греха».

Любовь вне брака (и поэтому вдвойне соблазнительная) представляется с этой трансцендентной точки зрения христианства чем-то дьявольским, безбожным и запретным, ересью плоти (мысль, возбуждавшая у вольнодумца Казановы, в чьих жилах еще текла кровь свободного ренессанса, лишь здоровый смех), а женщина, жена — инструментом этого греха: все ее

*Чистокровного (исп.).

помыслы и чувства служат лишь «злу». Одно ее существование на свете уже является соблазном и опасностью, поэтому даже кажущаяся совершенной добродетель женщины есть не что иное, как иллюзия, обман и личина змеи. Дон-Жуан не верит в чистоту и целомудрие ни одной представительницы этого дьявольского рода, видит каждую обнаженной под ее одеянием, доступной соблазну; и только стремление уличить женщину в ее слабости *an mille e tre** примерах, доказать, — себе и Богу, — что всех этих неприступных донн, этих мнимовверных жен, этих мечтательных полудетей, посвященных Богу невест Христа, всех без исключения легко заполучить в постель, что они только *anges à l'église* и *singes au lit* — ангелы лишь в церкви и все без исключения по-обезьяньи чувственны в постели, — это, и только это, неумолимо гонит одержимого женщинами человека к вечно новому, страстно повторяемому акту соблазна.

Нет ничего глупее, чем изображать Дон-Жуана, неумолимого врага женского пола, как *amoroso***, как друга женщин, как нежного любовника; его никогда не волнует истинная любовь и симпатия ни к одной из них, — лишь крайняя ненависть демонически гонит его навстречу женщине. Овладение женщиной является для него не удовлетворением желаний, а стремлением лишить ее самого драгоценного: вырвать у нее честь. Его вожделения не исходят, как у Казановы, из семенных желез, а являются продуктом мозга, ибо, отдаваясь им, этот садист души стремится унижить, опозорить и оскорбить весь женский пол; его наслаждение идет окольными путями, — оно в фантастическом предвкушении отчаяния каждой опозоренной женщины, у которой он отнял честь и сорвал личину с ее грубой похотливости. Благодаря этому (в противоположность Казанове, которому приятнее всех та, которая проворнее всех сбрасывает платье) для Дон-Жуана охота, чем она труднее, тем увлекательнее; чем неприступнее женщина, чем

* На тысяче трех (*франц.*).

** Нежно влюбленного (*ит.*).

меньше вероятность овладеть ею, тем полноценнее и доказательнее для его тезиса окончательная победа.

Где нет сопротивления, там у Дон-Жуана нет желания: немыслимо вообразить его себе, подобно Казанове, у проститутки или в публичном доме, его, возбуждаемого лишь дьявольским актом уничтожения, толчком на путь греха, единичным, неповторяемым актом прелюбодеяния, лишения девственности, посрамления монашеского сана. Удалось ему овладеть одной из них, эксперимент окончен, соблазненная становится цифрой и числом в списке, для ведения которого он держит нечто вроде личного бухгалтера — своего Лепорелло. Никогда не подумает он о том, чтобы нежным взглядом окинуть возлюбленную последней, единственной ночи, ибо как охотник не останавливается над подстреленной дичью, так и этот профессиональный соблазнитель после произведенного эксперимента не остается около своей жертвы; он должен стремиться все дальше и дальше, за новой, за большей добычей, ибо его основное побуждение — охота — превращает его люциферов облик в демонический; она гонит его по пути неизбывной его миссии и страсти — на примере всех женщин дать абсолютное всемирное доказательство нравственной неустойчивости всего женского пола. Эротика Дон-Жуана не ищет и не находит покоя и улады. Эта вечная война мужчины с женщиной является своеобразной мезьей крови, и дьявол вооружил его самым совершенным оружием — богатством, молодостью, знатностью, физической ловкостью и самым главным: полнейшей, ледяной бесчувственностью.

И действительно, женщины, попавшие в лапы его холодной техники, вспоминают о Дон-Жуане, как о дьяволе, они ненавидят со всей горячностью вчерашней любви обманувшего их свержага, который на другое утро осыпает их страсть ледяным издевающимся смехом (Моцарт обессмертил его). Они стыдятся своей слабости, они сердятся, возмущаются, беснуются в бессильном гневе против мошенника, который им солгал, обобрал их, обманул, и в его лице они ненавидят весь мужской пол. Каждая женщина, донна Анна, донна Эльви-

ра, — все 1003 женщины, уступившие его расчетливым настояниям, остаются навеки душевно отравленными. Женщины, отдавшиеся Казанове, благодарят его как Бога, охотно вспоминая горячие встречи с ним, ибо он не только не оскорбил их чувства, их женственности, но подарил им новую уверенность в их бытии. В том, что испанский сатанист Дон-Жуан принуждает их презирать как последнее унижение, как животную похоть, как дьявольский миг, как женскую слабость, — в жгучем слиянии тела с телом, в пламенном соединении, — именно в этом-то Казанова — нежный магистр *artium eroticarum** — учит их видеть истинный смысл, блаженнейший долг женской натуры. Отказ, сопротивление, — так наставляет их этот добрый проповедник и твердый эпикуреец, — это грех против святого духа плоти, против угодного Богу свойства природы, — и, благодаря его благодарности, восторгаясь его восторгами, они чувствуют себя оправданными от всяких обвинений и освобожденными от всех преград. Легкой и любовной рукой он вместе с платьями снимает с этих полуженщин всю робость и весь страх: лишь отдавшись ему, становятся они настоящими женщинами; счастливый, он дает им счастье, своим благодарным экстазом он оправдывает их участие в наслаждении. Ибо наслаждение женщиной лишь тогда становится для Казановы совершенным, когда партнерша разделяет его всем своим существом. «Четыре пятых наслаждения заключались для меня в том, чтобы дать счастье женщинам», — он хочет наслаждения за наслаждение, как другой требует любви за любовь, и геркулесовскими достижениями он стремится истомить и удовлетворить не столько свое собственное тело, сколько тело женщины, которую он ласкает.

Такому альтруисту Эроса незачем прибегать к силе или хитрости для достижения чисто физического наслаждения, и его привлекает, в противоположность его испанскому противнику, не грубое или спортивное овладение, а только обладание добровольно отдавшей женщиной. Поэтому его следовало бы

*Любовного искусства (лат.).

назвать не развратителем, а соблазнителем, увлекающим в новую и страстную игру, в которую он хотел бы втянуть весь тяжелый, ленивый, утомленный препятствиями, моралью и правом мир, — в Эросе, как и во всем, стремясь лишь к легкости и к бурным переменам; только беззаботность освобождает от земных тягот, и действительно, каждая женщина, отдавшаяся ему, становится больше женщиной, более знающей, более сладострастной, более безудержной; она открывает в своем до тех пор равнодушном теле неожиданные источники наслаждения, она впервые видит прелесть своей наготы, скрытой дотоле покрывами стыда, она познает богатство своей женственности.

Веселый мастер расточительности научил ее не скупиться, дарить наслаждение за наслаждение и считаться лишь с теми чувствами, которые захватывают ее всецело. Итак, он, собственно говоря, вербует женщин не для себя, а для радостных форм наслаждения, и они тотчас же подыскивают новых верующих в этот культ, дарующий счастье: сестра приводит к алтарю младшую сестру для нежной жертвы, мать ведет дочь к ласковому учителю, каждая возлюбленная понуждает другую приобщиться к обряду, хороводу щедрого Бога. В силу безошибочного инстинкта единения сестер-женщин, соблазненная Дон-Жуаном старается предостеречь его новую избранницу (всегда тщетно!) от врага своего пола, а соблазненная Казановой, отбросив ревность, рекомендует его другой, как боготворящего их пол мужчину, и так же, как он в единичном образе объединяет весь женский пол, так и они любят в нем символ страстного мужа и мастера любви.

Не маг, не мистический кудесник любви побеждает в Казанове, а сама природа, ее добрая и прямая сила: в мужественности и человечности — весь его секрет. Естественный в своих желаниях, честный в своих чувствах, он вносит в любовь великолепный *common sense**: справедливое и правильное жизненное равновесие. Он не провозглашает женщин святыми и не делает из них чувственных демонов; он желает и любит их

* Здравый смысл (англ.).

по-земному, как товарищей в веселой игре, как угодную Богу и Богом данную форму, дополняющую собой мужскую силу, дарящую ей наслаждение. Хоть он горячее и полнокровнее всех лириков, однако никогда не возводит он идею любви в мировое начало, по воле которого звезды движутся вокруг нашего маленького земного шара, сменяются и проходят времена года, дышит и умирает все человечество, во «вселенское аминь», как именует любовь набожный Новалис, — его прямой и здравый антично-свободный взор не видит в Эросе ничего, кроме нежнейшей и интереснейшей возможности земных наслаждений.

Таким образом Казанова низводит любовь с небес и высей в область человеческого, в которой каждому, обладающему смелостью и желанием наслаждаться, доступна каждая женщина. И в то самое время, когда Руссо изобретает для французов сентиментальность в любви, а Вертер для немцев — восторженную меланхолию, упоенный своим бытием Казанова воспевает языческую радость любви, как лучшую помощницу в вечно необходимом деле освобождения мира от его тягот.

ГОДЫ ВО МРАКЕ

Как часто делал я в жизни то, что самому мне было противно и чего я не понимал. Но меня толкала таинственная сила, которой я сознательно не сопротивлялся.

Казанова в своих мемуарах

Справедливости ради мы не должны упрекать женщин в том, что они так беспрекословно отдавались этому великому соблазнителю: ведь при встрече с ним мы сами каждый раз рискуем поддаться его манящему и пламенному искусству жизни. И в самом деле, нужно сознаться: нелегко мужчине читать мемуары Казановы, не испытывая бешеной зависти. Как часто тяготят нас часы, когда наше мужественно-авантюристическое начало стремится уйти от обыденности повседневных дел, от строго распределенного и специализировавшегося

столетия; и в такие нетерпеливо неудовлетворенные минуты бурное существование этого авантюриста, полными горстями собирающего наслаждения, его присосавшееся к жизни эпикурейство представляется нам мудрее и естественнее, чем наши эфемерные духовные радости, его философия — жизненнее, чем все ворчливые учения Шопенгауэра и хладнокаменная догматика отца Канта. Каким бедным в такие секунды кажется нам наше плотно заколоченное существование, крепкое одним только отречением, в сравнении с его жизнью; и с горечью познаем мы цену нашей духовной выдержки и нравственных стараний: она сводится к препонам на пути к непосредственности. Отливая нашу единственную земную жизнь в пластические формы, мы тем самым строим плотины, удерживающие мировой прибой, заслоны, защищающие нас от бушующего напора дикого и не разбирающего случая. Таков вечно преследующий нас рок: когда мы стремимся увековечить себя и действуем за пределами настоящего, мы тем самым отнимаем у настоящего часть его жизненности; отдавая внутреннюю энергию делу сверхвременного, мы грабим беззаботное наслаждение жизнью.

У нас есть предрассудки и рефлексия, мы влачим цепи совести, гремящие при каждом нашем шаге, пребываем в плену у самих себя и потому тяжело ступаем по земле в то время, как этот легкомысленный ветреник обладает всеми женщинами, облетает все страны и на бурных качелях случая то вздымается в небеса, то низвергается в преисподнюю. Нельзя отрицать, что ни один настоящий мужчина не может подчас читать мемуаров Казановы без зависти, не чувствуя себя никуда не годным по сравнению с этим знаменитым мастером искусства жизни, а иной раз, нет — сотни раз, хотелось бы лучше стать им, чем Гете, Микеланджело или Бальзаком. Если вначале холодно посмеиваешься над умничаньем жулика, нарядившегося философом, то, читая шестой, десятый или двенадцатый том, уже склонен считать его мудрейшим человеком, а его философию легкомыслия — очаровательнейшим учением.

Но, по счастью, Казанова сам предохраняет нас от преждев-

ременного восторга. Ибо в его реестре искусства жизни есть опасный пробел: он забыл про старость. Эпикурейская техника наслаждения, направленная только на чувственное, на осязаемое, предназначена исключительно для юных чувств, для свежих и сильных тел. И как только угасает в крови веселое пламя, тотчас же остывает и вся философия наслаждения, превращаясь в тепловатую пресную кашу: только со свежими мускулами, с крепкими блестящими зубами можно завоевать жизнь, но горе, если начнут выпадать зубы и умолкнут чувства; тогда умолкнет сразу и услужливая самодовольная философия. Для человека, отдавшегося грубым наслаждениям, кривая существования неминуемо опускается вниз, ибо расточитель живет без запасов, он растрчивает и отдает свой жар мгновенно, в то время как человек интеллекта, казалось бы, живущий в отречении, точно в аккумуляторе, собирает избытки жара. Кто отдался духовному, тот и на склоне лет, часто до глубокой старости (Гете!) испытывает превращения и претворения, просветления и преображения; с охлажденной кровью, он еще возвышает существование интеллектуальными прояснениями и неожиданностями, и пониженную эластичность тела возмещает смело парящая игра мысли.

Человек же чувственный — и только чувственный, которого взвинчивает только действительность, в котором лишь поток событий возбуждает внутреннее движение, останавливается, как мельничное колесо в засохшем ручье. Старость — это для него падение в ничто, а не переход в новое; жизнь, неумолимый кредитор, требует с лихвой возврата преждевременно и слишком поспешно забранного безудержными чувствами. Так и мудрость Казановы кончается с уходом счастья, а счастье с уходом молодости; он кажется мудрым, пока он прекрасен, полон сил и является победителем. Если втайне ему завидовали до сорокалетнего возраста, то с этого времени он возбуждает сострадание.

Ибо карнавал Казановы, самый пестрый из всех венецианских карнавалов, кончается преждевременно и печально меланхолическим постом. Постепенно появляются тени на весе-

лом повествовании жизни, как морщины на стареющем лице; все меньше триумфов, все больше огорчений: все чаще впутывают его — конечно, каждый раз невинно — в аферы с поддельными векселями, фальшивыми банкнотами, заложенными драгоценностями; все реже принимают его при княжеских дворах. Из Лондона он должен бежать ночью за несколько часов до ареста, который повлек бы за собой виселицу; из Варшавы его выгоняют как преступника; из Вены и Мадрида его выселяют; в Барселоне он сорок дней проводит в тюрьме, из Флоренции его выкидывают, в Париже «*lettre de cachet*»^{*} принуждает его немедленно оставить любимый город: никому не нужен больше Казанова, каждый отстраняет его и стряхивает, как вошь с шубы. Удивленно спрашиваешь себя: что натворил этот добрый малый и почему мир так немилостив и строг к прежнему своему любимцу? Стал он злонравен или лжив, изменился ли его любезно-осторожный характер, что все от него отворачиваются? Нет, он остался тем же, он навсегда останется неизменным, — соблазнителем и шарлатаном, весельчаком и остряком до последнего вздоха, — не хватает лишь одного, что подтягивало и держало в напряжении его энергию: не хватает уверенности в себе, победоносного сознания молодости. Где он больше всего грешил, там и наказан: прежде всего женщины оставляют своего любимца; маленькая, жалкая Далила нанесла первый удар этому Самсону Эроса, — хитрая плутовка Шарпильон в Лондоне. Этот эпизод, самый прекрасный в его мемуарах, потому что самый правдивый, самый человечный, изображенный художественно, с потрясенной душой и потому с потрясающей душой трогательностью, является поворотной точкой. В первый раз этот опытный соблазнитель обманут женщиной и вдобавок — не благородной, недоступной женой, добродетельно отвергающей его, а молоденькой пройдохой-проституткой, сумевшей довести его до бешенства, выманить у него все деньги и все же ни на шаг не подпустить его к своему телу. Казанова, презрительно отвергнутый, несмотря на пла-

^{*}Ордер на арест (фр.).

ту, и плату щедрую, Казанова, презираемый и вынужденный смотреть, как эта проституточка тут же даром осчастлививает глупого, наглого мальчишку, парикмахерского ученика, дарит ему то, к чему он, Казанова, стремился жадными чувствами, затратами, хитростью и насилием, — это убийственный удар по самоуверенности Казановы, и с этого часа его торжествующее поведение становится несколько неуверенным и колеблющимся. Преждевременно, на сороковом году, он с ужасом замечает, что мотор, благодаря которому удался его победоносный набег на мир, действует небезупречно; и в первый раз овладевает им страх перед возможной заминкой: «Больше всего огорчало меня то, что я должен был констатировать признаки утомления, связанные обычно с приближающейся старостью. У меня не было той беззаботной уверенности, которую дают молодость и сознание своей силы».

Но Казанова без самоуверенности, Казанова без своей бесконечной, пьянящей женщин сверхмужественной силы, без красоты, без потенции, без денег, без дерзкого, решительного, победоносного щегольства в роли любимца Фаллуса и Фортунны, — что представляет он собой, лишившись этого главного козыря в мировой игре? «Господин известного возраста, — отвечает он сам меланхолически, — о котором счастье и тем более женщины ничего не хотят знать», птица без крыльев, мужчина без мужской силы, любовник без удачи, игрок без капитала, печальное, скучное тело без энергии и красоты. Уничтожены все фанфары торжества и мудрости наслаждения: словечко «отречение» впервые вкрадывается в его философию. «Время, когда я влюблял в себя женщин, прошло, я должен или отказаться от них, или покупать их услуги». Отказ — самая непостижимая мысль для Казановы — становится жестокой былью, ибо, чтобы покупать женщин, ему нужны были деньги, а деньги всегда доставлялись ему женщинами: чудесный круговорот остановился, игра подходит к концу, пора скучной серьезности наступает и для мастера всех авантур.

Итак — старый Казанова, бедный Казанова-жуир становится пресмыкающимся, любознательный — шпионом, игрок — мо-

шенником и нищим, веселый собеседник — одиноким писателем и пасквилянтом.

Потрясающее зрелище: Казанова разоружен, старый герой неисчислимых любовных битв, божественный наглец и отважный игрок становится осторожным и скромным; тихо, подавленно и молчаливо уходит великий *commediante in fortuna* со сцены своих успехов. Он снимает богатое одеяние, «не соответствующее положению», откладывает в сторону вместе с кольцами, бриллиантовыми пряжками и табакерками величавую надменность, сбрасывает под стол, как битую карту, свою философию, стараясь, сгибает голову перед железным, непоколебимым законом жизни, благодаря которому увядшие проститутки превращаются в сводниц, игроки в шулеров, авантюристы в приживальщиков. С тех пор как кровь не так горячо бурлит в его теле, старый *citoyen du monde** вдруг начинает мерзнуть в когда-то столь любимой беспредельности мира и даже сентиментально тосковать по родине. И прежний гордец — бедный Казанова, не сумевший благородно довести жизнь до конца! — раскаявшись, виновато склоняет чело и жалостливо просит венецианское правительство о прощении, он пишет льстивые донесения инквизиторам, сочиняет патристический памфлет — «опровержение» нападок на венецианское правительство, памфлет, в котором не постеснялся написать, что тюрьмы, где он когда-то томился, представляют «помещения с хорошим воздухом» и являются даже раем гуманности. Об этих самых печальных эпизодах его жизни ничего не сказано в мемуарах, которые обрываются раньше и не повествуют о годах стыда. Он прячется во тьме, может быть, чтобы скрыть краску стыда, и почти что радуешься этому, ибо как печально, как жалко пародирует эта ободранная, хромающая тень смелого воина игры и любви, этот обратившийся в чучело самец, этот безголосый певец, — победоносного весельчака, которому мы так упорно завидовали!

А потом, в течение целого ряда лет, бродит неслышно по Мер-

*Гражданин вселенной (фр.).

черии толстый полнокровный господин, не слишком хорошо одетый, внимательно прислушивается, о чем говорят венецианцы, заходит в кабаки, чтобы наблюдать за подозрительными личностями, и царапает вечерами длинные шпионские доносы инквизиторам: именем Анджело Пратолини подписаны эти нечистоплотные информации, псевдонимом помилованного провокатора и услужливого шпиончика, за несколько золотых ввергающего людей в те же тюрьмы, где сам сживал в молодости и описание которых сделало его известным. Да, разукрашенный, как чепрак, шевалье де Сенгаль, любимец женщин, превратился в Анджело Пратолини, откровенного, презренного доносчика и негодяя; некогда осыпанные бриллиантами пальцы роются в грязных делах и разбрызгивают чернильный яд и желчь направо и налево, пока Венеция не находит наконец нужным освободиться от этого надоедливого сутяги пинком ноги.

О последующих годах сведений нет, и никто не знает, какими печальными путями двигалось полуразбитое судно, пока не потерпело наконец полного крушения в Богемии; еще раз коцует этот старый авантюрист по всей Европе, разливаясь соловьем перед богатыми, пробует свои старые фокусы: шулерство, кабалистику и сводничество. Но покровительствовавшие его молодости боги — наглость и уверенность в себе — оставили его, женщины смеются ему в морщинистое лицо, он больше не подымается, он тяжело коротает дни в роли секретаря (и вероятно, опять шпиона) при посланнике в Вене, жалкий писака, ненужный, нежеланный и вечно выгоняемый полицией гость всех европейских городов. В Вене он наконец собрался жениться на нимфе с Грабена*, чтобы благодаря ее прибыльной профессии быть несколько более обеспеченным; но и это ему не удастся. Наконец, богатейший граф Вальдштейн, адепт тайных наук, узнает в Париже о

poète errant de rivage en rivage,
Triste jouet des flots et rebut de naufrage**,

* Улица в Вене. — *Примеч. ред.*

** Поэт, странствующий от берега к берегу, игрушка волн и жертва крушения (*фр.*).

сердобольно его отыскивает, находит удовольствие в разговоре с постаревшим, но все еще занимательным циником и милостиво берет с собой в Дукс на должность библиотекаря, а заодно и придворного шута; за тысячу гульденов ежегодного жалования, — правда, всегда забранного вперед у ростовщиков, — покупают этот курьез, не переплачивая за него. И там, в Дуксе, он живет — вернее, умирает — тринадцать лет.

В Дуксе вдруг появляется, после долгих лет пребывания в тени, этот образ, Казанова или, скорее, что-то смутно напоминающее Казанову, его мумия, иссохшая, худая, колючая, замаринованная в собственной желчи, странная музейная реликвия, которую граф охотно демонстрирует своим гостям. Вы скажете, что это — выжженный кратер, забавный и безопасный, смехотворно холерический южанин, медленно погибающий от скуки в богемской клетке. Но этот обманщик еще раз дурачит мир. Когда все думают, что с ним уже покончено, что его ждет лишь кладбище и гроб, он в воспоминаниях снова воссоздает свою жизнь и благодаря хитрой аванюре пролезает в бессмертие.

ПОРТРЕТ КАЗАНОВЫ В СТАРОСТИ

*Altera nunc rerum facies, me quaero,
nec adsum. Non sum, qui fueram, non
putor esse: fui*.*

Надпись на его портрете в старости

Годы 1797—1798. Кровавая метла революции покончила с галантным веком, головы христианнейших короля и королевы скатились в корзину гильотины, и маленький корсиканский генерал послал к черту десять дюжин князей и князьков, а с ними и господ венецианских инквизиторов. Теперь читают не

* Все изменилось: я исследую себя и ничего не нахожу: я не тот, что был, не считаю себя существующим: я только существовал когда-то (*лат.*).

энциклопедию, не Вольтера и Руссо, а трескучие бюллетени с театра военных действий. Великий пост покрыл пеплом Европу, кончились карнавалы, и миновало рококо с его кринолинами и напудренными париками, с серебряными пряжками на туфлях и брюссельскими кружевами. Уже не носят бархатных камзолов, — их сменили мундир и буржуазный костюм.

Но странно: живет человек, забывший о времени, — старый-престарый человек, забившийся где-то там, в самом темном уголке Богемии, как кавалер Глюк в легенде Э.Т.А. Гофмана, — среди белого дня спускается тяжелой поступью по неровной мостовой похожий на пеструю птицу человек в бархатном жилете с позолоченными пуговицами, в поношенном пальто, в кружевном воротнике, в шелковых чулках, украшенных цветочками подвязках и парадной шляпе с белыми перьями.

Этот живой курьез носит еще по старинному обычаю косу, хотя и плохо напудренную (у него теперь нет слуг!), и дрожащая рука величественно опирается на старомодную трость с золотым набалдашником, — такую, как носили в Пале-Рояле в 1730 году. В самом деле, — это Казанова или, вернее, его мумия; он все еще жив, несмотря на бедность, злобу и сифилис. Кожа стала пергаментной, нос — крючковатый клюв — выдается над дрожащим слюнявым ртом, густые поседевшие брови растрепаны; все это говорит о старости и тлении, об омертвлении в желчной злобе и книжной пыли. Только черные, как смоль, глаза, полные прежнего беспокойства, зло и остро бегают под полузакрытыми веками. Но он недолго бросает взгляды направо и налево, он угрюмо ворчит и брюзжит про себя, ибо он не в духе: Казанова всегда не в духе с тех пор, как судьба швырнула его в эту богемскую навозную кучу. Зачем подымать глаза, если каждый взор будет слишком большой честью для этих глупых ротозеев, этих широкомордых немецко-богемских пожирателей картошки, которые не высовывают носа за пределы своей грязной деревни и даже не приветствуют, как должно, его, кавалера де Сенгаль, который в свое время всадил пулю в живот польского гофмаршала и получил из собственных рук

папы золотые шпоры. И женщины — это еще неприятнее — не оказывают ему уважения; они прикрывают рот рукой, чтобы сдержать грубый, мужицкий смех; они знают, над чем смеются: служанки рассказали пастору, что старый подагрик нередко залезает рукой под юбки и на своем непонятном языке шепчет им на ухо всякие глупости.

Но эта чернь все же лучше, чем проклятая челядь, на волю которой он отдан дома, «ослы, пинки которых он должен терпеть», — прежде всего Фельткирхнер, домоправитель, и Видерхолът, его помощник. Канальи! Они нарочно вчера опять пересолили его суп и сожгли макароны, вырвали портрет из его «Изокамерона» и повесили его в клозете; эти негодяи осмелились поколотить его маленькую, в черных пятнах собачку Мелампигу (Чернозадку), подаренную ему графиней Роггендорф, только за то, что милый зверек напакостил в комнатах. О, где прекрасные времена, когда этот лакейский сброд можно было просто заковать в колодки и переломать кости всей своре, вместо того чтобы терпеть подобные дерзости. Но в наши дни, благодаря Робеспьеру, эти канальи подняли голову, якобинцы замарали эпоху, и сам он теперь только старый, несчастный, беззубый пес. Тут не помогут сетования и брюзжание, лучше наплевать на этот сброд, подняться в свою комнату и читать Горация.

Но сегодня не приходится роптать: как марионетка, дергается и торопливо перебегает из комнаты в комнату эта мумия. Он натянул на себя старый придворный костюм, нацепил орден и тщательно почистился, чтобы не осталось ни одной пылинки, ибо граф дал знать, что собственной высокой персоной прибудет сегодня из Теплица вместе с принцем де Линь и еще несколькими знатными господами; за столом будут беседовать по-французски, и завистливая банда слуг, скрежеща зубами, должна будет прислуживать ему, согнув спину, подавать ему тарелки, а не кидать на стол, как кость собаке, переперченную, испакощенную еду.

Да, сегодня он обедает за большим столом с австрийскими кавалерами, так как они умеют еще ценить утонченную беседу

и с уважением слушать философа, к которому благоволил сам господин Вольтер и которого в былое время почитали короли и императоры. Вероятно, когда уйдут дамы, граф или принц собственной высокой персоной будут просить меня прочесть что-нибудь из известной рукописи, да, господин Фельткирхнер, грязная ваша рожа, — будут просить меня, высокорожденный граф Вальдштейн и господин фельдмаршал принц де Линь попросят меня, чтобы я снова прочел главу из моих исключительно интересных воспоминаний, и я, может быть, сделаю это — может быть! ибо я не слуга господина графа и не обязан его слушаться, я не принадлежу к лакейской сволочи, я его гость и библиотечарь, *au pair** с ним; ну, да вы не понимаете, яковинский сброд, что это значит.

Но несколько анекдотов я им все-таки расскажу, *cospetto*, несколько анекдотов в прелестном жанре моего учителя господина Кребильона или поперченных, в венецианском стиле, — ну мы ведь, дворяне, в своем кругу и умеем разбираться в оттенках. Будут смеяться, попивая темное крепкое бургундское, как при дворе его христианнейшего величества, будут болтать о войне, алхимии и книгах и, прежде всего, слушать рассказы старого философа о свете и женщинах.

Взволнованно шныряет по открытым залам эта маленькая, высохшая, сердитая птица со злобно и отважно сверкающим взглядом. Он начищает фальшивые камни, — настоящие драгоценности уже давно проданы английскому еврею, — обрамляющие его орденский крест, тщательно пудрит волосы и перед зеркалом упражняется (с этими неучами можно забыть все манеры) в старомодных реверансах и поклонах времен Людовика XV. Правда, основательно хрустит спина; небезнаказанно таскали старую развалину семьдесят три года вдоль и поперек по Европе во всех почтовых каретах, и Бог знает, сколько сил отдал он женщинам. Но зато не иссякло еще остроумие там, наверху, в черепной коробке; он сумеет занять господ и снизить их уважение. Витиеватым, закругленным, слегка дрожа-

* На равной ноге (*фр.*).

щим почерком переписывает он на роскошной бумаге французский стишок в честь принцессы де Рек, потом украшает помпезным посвящением свою новую комедию для любительского театра: и здесь, в Дуксе, не разучились себя держать и помнят, как кавалеры должны принимать литературно образованное общество.

И в самом деле, когда начинают съезжаться кареты и он на своих скрюченных подагрой ногах спускается им навстречу с высоких ступенек, граф и его гости небрежно бросают слугам шляпы, шубы и пальто, а его, по дворянскому обычаю, обнимают, представляют приехавшим с ними господам, как знаменитого кавалера де Сенгаль, восхваляют его литературные труды, и дамы наперебой стараются сесть рядом с ним за столом. Еще не убраны блюда со стола, еще дмятся трубки, когда — ведь он предвидел это — принц справляется, как подвигается его исключительно интересное жизнеописание, и в один голос мужчины и дамы просят прочесть главу из этих мемуаров, которым, несомненно, суждено стать знаменитыми.

Как отказать в исполнении желания любезнейшему из всех графов, его милостивому благодетелю. Господин библиотекарь проворно ковыляет наверх в свою комнату и выбирает из пятнадцати фолиантов один, в который заранее вложена шелковая закладка: главное и лучшее его художественное произведение, одно из немногих, не боящихся присутствия дам: описание бегства из венецианской тюрьмы. Как часто и кому только не читал он про это несравненное приключение: курфюрстам баварскому и кельнскому, собранию английских дворян и варшавскому двору; но они должны убедиться, что он рассказывает иначе, чем скучный пруссак, господин фон Тренк, наделавший столько шума своим описанием тюрем. Ибо он недавно вставил несколько выражений, несколько великолепных, поразительно сложных эпизодов и закончил превосходной цитатой из божественного Данте. Громкие аплодисменты награждают чтеца; граф обнимает его и левой рукой тайком опускает ему в карман горсть дукатов; черт возьми, он знает, куда их девать, — если о нем и забыл весь свет, то кредиторы продол-

жают осаждать его даже здесь, в этом отдаленном углу. Смотрите-ка, по его щекам, в самом деле, скатывается несколько крупных слезинок, когда сама принцесса поздравляет его и все поднимают бокал за скорейшее окончание блестящего произведения.

Но, увы, на следующий день лошади нетерпеливо бренчат упряжью, коляски ждут у ворот, так как знатные господа отправляются в Прагу, и хоть господин библиотекарь трижды тонко намекал, что у него именно там всякие неотложные дела, тем не менее никто не берет его с собой. Он должен остаться в этом громадном, холодном, пронизанном сквозняками каменном ящике Дукса, во власти наглой богемской челяди, которая, едва улеглась пыль за колесами графской кареты, тотчас же возобновляет, растягивая рот до ушей, свои идиотские насмешки.

Кругом одни варвары, — нет человека, с которым можно было бы поговорить по-французски или по-итальянски об Аристо или Жан-Жаке, а невозможно ведь все время писать одному только погрязшему в делах господину Опицу в Часлоу да нескольким любезным дамам, устаивающим еще поддерживать с ним переписку. Как серый дым, тускло и сонливо обволакивает скука нежилые комнаты, и забытая вчера подагра с удвоенной злобой терзает ноги. Угрюмо снимает Казанова придворный костюм и согревает зябнущие кости плотным шерстяным турецким халатом; угрюмо плетется он к последнему убежищу воспоминаний — к письменному столу: очиненные перья ждут рядом с горкой чистых листов *in folio*, в ожидании шуршит бумага. И вот он садится, вздыхая, и пишет дрожащей рукой все дальше и дальше — благословим же подгонявшую его скуку! — историю своей жизни.

Ибо за высохшим, как у мертвеца, лбом, под кожей мумии живет свежая и цветущая за костяной скорлупой, как белое ядро ореха, гениальная память. В этой маленькой костяной коробке — между лбом и затылком — аккуратно и нетронуту сложено все, что в тысяче авантю жадно ловили блестящие глаза, широкие, вздыхающие ноздри и крепкие, алчные руки; узловатые от подагры пальцы заставляют гусиное перо тринад-

цать часов в день бегать по бумаге («тринадцать часов, и они проходят для меня как тринадцать минут»), вспоминая о всех гладких женских телах, обласканных некогда ими с таким наслаждением. На столе лежат попеременно пожелтевшие письма возлюбленных, заметки, локоны, счета и памятки, и как серебрящийся дым над угасающим пламенем, витает незримое облако нежного аромата над поблекшими воспоминаниями. Каждое объятие, каждый поцелуй, каждое сломленное сопротивление поднимаются из этой красочной фантазмагии, — нет, такое заклинание прошлого не работа, а наслаждение, «le plaisir de se souvenir ses plaisirs»*. Глаза старого подагрика блестят, губы дрожат от усердия и возбуждения, он шепчет выдуманные или наполовину сохранившиеся в памяти диалоги, невольно подражает голосам былых собеседников и смеется собственным шуткам. Он забывает об еде и питье, несчастьях, нужде, унижении и импотенции, о горе и мерзости старости, возрождая в мечтах свою юность перед зеркалом воспоминаний; к нему приближаются, улыбаясь, вызванные им тени Генриетты, Бабетты, Терезы, и он наслаждается призрачным их присутствием, может быть, больше, чем наслаждался в действительности. И вот он пишет и пишет, создавая авантюры пальцами и пером, как прежде пламенным телом, бродит взад и вперед, декламирует, смеется и забывает о себе.

Перед дверью стоят болваны-лакеи и скалят зубы: «С кем он там пересмеивается, этот старый итальянский дурак?» Насмехаясь, они указывают на лоб, говоря о его чудачествах, потом шумно спускаются по лестнице, чтоб приняться за вино, оставив старика в одиночестве в его мансарде. Никто во всем мире не помнит о нем, — ни близкие, ни дальние. Он живет, старый, сердитый ястреб, в своей башне в Дуксе, как на вершине ледяной горы, никому не известный, всеми забытый: и когда, наконец, в конце июня 1798 года разрывается старое дряхлое сердце и жалкое тело, которое пламенно обнимали тысячи женщин, зарывают в землю, то не знают даже, как его назвать

* Наслаждение вспоминать свои наслаждения (фр.).

в церковной записи. «Казанеус, венецианец», — пишут они неверное имя, «восемьдесят четыре года» — неверный возраст, — он стал чужим для всех окружающих. Никто не заботится ни о его могиле, ни о его сочинениях, в тлен обращаются забытое тело и забытые письма; забытые тома его произведений странствуют где-то по равнодушным воровским рукам; и с 1798 по 1822 год — четверть века — никто, кажется, не мертв так, как этот живейший из всех живых.

ГЕНИЙ САМОИЗОБРАЖЕНИЯ

Надо лишь иметь мужество.

Предисловие

Авантюрна его жизнь, авантюрно и его воскресение. Тринадцатого декабря 1820 года — кто помнит еще Казанову? — известный издатель-книготорговец Брокгауз получает письмо от никому не ведомого господина Генцеля с запросом, не пожелает ли он опубликовать «Историю моей жизни до 1797 года», написанную столь же неведомым синьором Казановой. Книгопродавец на всякий случай выписывает эти фолианты, специалисты их просматривают: можно себе представить, в какой они приходят восторг. Рукопись тотчас же приобретают, переводят, вероятно, грубо искажают, прикрывают фиговыми листочками и делают годной для употребления.

После выпуска четвертого томика успех уже так скандально громогласен и широк, что французское произведение, переведенное на немецкий язык, снова переводится находчивым парижским пиратом на французский, т. е. искажается вдвойне; и вот Брокгауз ударяется в амбицию, швыряет вдогонку французскому переводу собственный французский перевод, — короче говоря, омоложенный Джакомо живет такой же полной жизнью, как и раньше, во всех странах и городах; только его рукопись торжественно похоронена в несгораемом шкафу господина Брокгауза и, быть может, только Бог и Брокгауз знают, какими тайными и воровскими путями странствовали все двад-

цать три года эти тома, сколько из них потеряно, исковеркано, кастрировано, подделано и изменено; вся эта афера, достойное наследие Казановы, полна таинственности, авантюризма, непорядочности и темных делишек; но какое отрадное чудо, что мы все же обладаем этим самым дерзким и самым сочным авантюрным романом всех времен!

Он сам, Казанова, никогда серьезно не верил в издание этого чудовища. «Семь лет моим единственным занятием является писание мемуаров, — исповедуется однажды этот ревматический отшельник, — и для меня стало постепенно необходимо довести это дело до конца, хотя я очень жалею, что начал его. Но я пишу в надежде, что моя история никогда не увидит свет, ибо уже не говоря о том, что подлая цензура, этот гасильник ума, никогда не позволит ее напечатать, я рассчитываю во время моей последней болезни быть достаточно благоразумным, чтобы велеть сжечь перед моими глазами все тетради». К счастью, Казанова остался верен себе, он не стал благоразумным, его «вторичная краска стыда», как он однажды выразился, то есть краска стыда за то, что он никогда не краснеет, не помешала ему бодро взяться за палитру и ежедневно, день за днем, по тринадцать часов заполнять своим красивым, круглым почерком все новые листы. Ведь эти воспоминания были «единственным лекарством, не позволявшим сойти с ума или умереть от гнева, — от гнева из-за неприятностей и ежедневных издевательств завистливых негодяев, которые бок о бок со мной проживают в замке графа Вальдштейна».

Хлопушка для мух от скуки, лекарство против интеллектуального омертвения, — клянусь Зевсом, это недостаточный повод, чтобы писать мемуары, — могут возразить сомневающиеся; но не следует пренебрегать скукой, как импульсом и понуждением к творчеству. Одиноким годам тюремного заключения Сервантеса мы обязаны Дон-Кихотом, лучшими страницами Стендаля — годам его ссылки в болота Чивитта-Веккии, может быть, даже Комедией Данте мы обязаны исключительно его изгнанию (во Флоренции он со шпагой и секирой в руках писал бы кровью, а не терцинами); только в самега

obscura — в искусственно затемненном помещении — создаются самые пестрые картины жизни. Если бы граф Вальдштейн взял с собой доброго Джакомо в Париж или в Вену, хорошо бы его кормил и дал бы ему почуять женскую плоть, если бы в салонах ему оказали honneurs d'esprit*, — эти веселые рассказы были бы преподнесены за шоколадом и шербетом и никогда не были бы запечатлены на бумаге. Но старый барсук одиноко мерзнет в богемской дыре и рассказывает, точно вещая из царства смерти. Его друзья умерли, его приключения забыты, его чувства оледенели, отверженным призраком блуждает он по чужим холодным залам богемского замка, ни одна женщина не посещает его, никто не оказывает ему ни внимания, ни чести, никто его не слушает, и вот старый чародей, только чтобы доказать себе самому, что он живет или, по крайней мере, жил — «vixi ergo sum»**, — еще раз кабалистическим искусством вызывает былые образы и рассказывает для собственного удовольствия о былых радостях. Так голодные насыщаются ароматом жаркого, инвалиды войны и Эроса — рассказами о своих приключениях. «Я возрождаю наслаждение, вспоминая о нем. И я смеюсь над былым горем, потому что не испытываю его». Только для себя Казанова воссоздает панораму прошлого, детскую игрушку старца, он старается забыть жалкое настоящее за пестрыми воспоминаниями. Большого он не хочет, о большем не мечтает, и это полнейшее равнодушие, этот обычно отрицательный элемент безразличия ко всем и ко всему обуславливает психологическое значение его произведения как опыта самоизображения. Ибо рассказывающий свою жизнь делает это почти всегда с какой-нибудь целью и некоторой театральностью; он выходит на сцену уверенный в зрителях, заучивает бессознательно особую манеру держать себя или интересный характер, заранее учитывает впечатление, преследуя зачастую какую-нибудь особую цель. Вениамин Франклин делает из своей жизни учебник, Бисмарк — доку-

* Честь по уму (фр.).

** Я жил, следовательно, я существую (лат.).

мент, Жан-Жак Руссо — сенсацию, Гете — художественное произведение и подобную роману поэму, Наполеон на острове Св. Елены — бронзовое искупление, становится статуей и памятником. Все они, благодаря уверенности в историческом значении своего существования, уже заранее предвидят действие их самоизображения, — будь то с моральной, исторической или литературной точки зрения, — и всех их эта уверенность обременяет или задерживает сознанием ответственности. Знаменитые люди не могут беззаботно создавать свое самоизображение, ибо их живой портрет сталкивается с портретом уже существующим, в воображении или наяву, у бесчисленного множества людей, и они против воли вынуждены приспособлять собственное изображение к уже скроенной легенде. Они, эти знаменитости, должны, во имя своей славы, считаться с родиной, детьми, моралью, почитанием и честью, бессознательно заглядывают они в зеркало предназначенной им роли и достоинства, и потому у тех, кто многим принадлежит, много и обязанностей. Но Казанова может себе позволить роскошь полнейшей безудержности и смелость анонима, потому что он больше никому не обязан, ни с чем не связан, — ни с прошлым, забывшим его, ни с будущим, в которое он не верит; его не тревожат ни семейные, ни этические, ни объективные сомнения. Своих детей он рассовал по чужим гнездам, словно кукушка свои яйца, женщины, с которыми он спал, давно уже гниют в итальянских, испанских, английских и немецких могилах, его самого не сдерживает ни родина, ни религия, — к черту, кого мне щадить: меньше всего себя самого!

То, о чем он рассказывает, уже не принесет ему пользы и не повредит, он, заживо умерший, стоит уже по ту сторону добра и зла, уважения и возмущения, одобрения и злобы, — угасшая в памяти людей звезда, тайно пылающая под омертвелой корой. «Почему же, — спрашивает он себя, — мне не быть искренним? Себя никогда не обманешь, а пишу я только для себя».

Быть искренним — это не значит для Казановы углубляться, анализировать себя, закладывать внутрь психологические штольни, это значит быть безудержным, бесстыдным, пренеб-

регать всем. Он раздевается, оголяется, устраивается уютно, еще раз окунает омертвевшее тело в теплый поток чувственности, весело, нагло бьет и шлепает по своим воспоминаниям, совершенно равнодушный к существующим или воображаемым зрителям. Он повествует не как литератор, полководец или поэт, во славу свою, а как бродяга о своих ударах ножом, как меланхоличная стареющая кокотка о своих любовных часах, — бесстыдно и беззаботно. «Non egubesco evangelium» — я не краснею за свое признание, — поставлено эпитафией перед «Очерком моей жизни», он не надувает щек и не заглядывает в будущее: речь льется свободно. Неудивительно, что его книга стала одной из самых обнаженных и самых естественных в мировой истории; она отличается почти статистической объективностью в области эротики, истинно античной откровенностью в области аморального, подобную которой можно встретить лишь в (слишком мало известной) автобиографии испанского буяна Контрераса. Несмотря на грубую чувственность, на лукиановскую наглость, на чванство самодовольного атлета игрой слишком очевидно (для нежных душ) фаллических мускулов, — это бесстыдное щегольство в тысячу раз лучше, чем трусливое плутовство в области эротики.

Если вы сравните другие эротические произведения его эпохи, — розовые, приторные, как мускус, фривольности Грекура, Кребильона или «Фоблаза», наряжающие Эроса в нищенское пастушеское одеяние и представляющие любовь сладострастным *chassé croisé*, галантной игрой, которая не даст ни детей, ни сифилиса, — если вы сравните все это с прямыми, точными описаниями Казановы, изобилующими здоровой и пышной радостью полнокровного, честного в своей чувственности человека, — вы вполне оцените их человечность и их стихийную естественность. Казанова изображает мужскую любовь не голубовато-нежной сладкой водицей, в которой нимфы, забавляясь, освежают ноги, а громадным естественным потоком, который на поверхности отражает мир, а по дну тащит тину и грязь всей земли, — Казанова лучше всех, бравшихся за самоизображение, передает бурно набухающий рост

мужского полового влечения. Он первый имел смелость разоблачить полное слияние плоти и духа в мужской любви, он рассказывает не только о делах сентиментальных, не только о любовных связях в чистых комнатах, но и о приключениях в закоулках у проституток, об обнаженных и чисто физических половых переживаниях, о всем сексуальном лабиринте, через который проходит каждый мужчина.

Это не значит, что остальные великие автобиографы, Гете или Руссо, неискренни, но бывает неискренность и в недоговоренности и в умолчании, и оба они (как вообще все автобиографы, за исключением, быть может, смелого Ганса Иегера) тщательно умалчивают, с сознательной или закрывающей глаза забывчивостью, о менее аппетитных, чисто сексуальных эпизодах их любовной жизни, останавливаясь лишь на духовно значительных, сентиментальных или страстных любовных переживаниях с Клерхен или Гретхен. Они показывают в своих биографиях только тех женщин, у которых душа достаточно чиста, чтобы не стесняясь можно было взять их под руку на общественном гулянье, остальных они трусливо и осторожно оставляют во мраке переулков и черных лестниц, бессознательно искажая и тем самым возвышая подлинную картину мужской эротики: Гете, Толстой, даже обычно не слишком чопорный Стендаль быстро и с нечистой совестью проходят мимо бесконечных постельных приключений и встреч с *venus vulgivaga*, земной, слишком земной любовью, и, не будь этого нагло искреннего, величаво бесстыдного парня Казанова, который приподнимает все завесы, мировой литературе недоставало бы вполне честного и полного обозрения мужской половой жизни. У него показана вся сексуальная механика чувственности в действии, весь мир плоти, зачастую грязный, илистый, болотный, все подземелья и пропасти; этот бездельник, авантюрист, шулер, негодяй обладает большим мужеством, чем все наши поэты, ибо он показывает мир как конгломерат красоты и мерзости, духовности и грубой жизни пола, и, в противоположность другим, не идеализирует, не производит химической чистки действительности. Казанова высказывает *in sexualibus* не

просто истину, а — неизмеримая разница! — всю истину; лишь в его изображении любовный мир правдив, как действительность.

Казанова правдив? Я слышу, как филологи возмущенно вскакивают со своих стульев, — ведь открыли же они за последние пятьдесят лет пулеметную стрельбу по его историческим ошибкам и убили не одну жирную ложь. Но терпение, терпение! Без сомнения, этот опытный шулер, этот профессиональный лгун и в своих мемуарах искусно смешал карты, *il corrigé la fortune** этот неисправимый жулик, и часто приставляет тяжеловесному случаю быстрые ноги. Он украшает, перчит и солил свое возбуждающее рагу всеми ингредиентами, порожденными взвинченной лишениями фантазией, — часто сам того не сознавая. Ибо часто повторяемые украшения и ложь постепенно укрепляются в памяти, и лжец, в конце концов, не знает точно, что в его рассказе действительность, что — вымысел. Не надо забывать: Казанова всю свою жизнь был своеобразным рапсодом, он заслуживал гостеприимство знатных людей приятной болтовней, ловкой беседой, рассказами о причудливых авантюрах, и как некогда придворные певцы ради вящего интереса вплетали в песню все новые эпизоды, так и он вынужден был романтически украшать свои приключения. Каждый раз, например, рассказывая историю своего бегства из венецианской тюрьмы, он, чтобы сделать ее занимательнее, вклеивал новый опасный эпизод и таким образом все углублялся в вымысел. Не мог же добрый Джакомо догадываться, что специальная историческая полиция имени Казановы через сто пятьдесят лет после его смерти начнет ворошить все документы, письма, архивы и вычислять всякую дату, контролировать каждую встречу и за каждую воровскую ухватку, за каждый недостоверный год пребольно колотить его научной линейкой по пальцам. Без сомнения, они несколько шатки, его даты, и если грубой рукой взяться за них, с ними рухнут самые забавные постройки, как карточный домик от дуновения.

Таким образом, теперь уже доказали, что вся романтическая константинопольская история была, вероятно, лишь сла-

* Он исправляет ошибки фортуны (*фр.*).

дострастным сном старика из Дукса, и что бедного, ни в чем не повинного кардинала де Берни он совершенно напрасно втянул в качестве участника и зрителя в монашескую авантюру с прекрасной М.М. Он говорит о встречах с теми или иными лицами в Париже и Лондоне в то время, когда они, по достоверным источникам, были в других местах, он хоронит маркизу д'Урфе на десять лет раньше, потому что она ему мешает, он проходит, погруженный в мысли, за час времени тридцать один километр от Цюриха до монастыря Эйнзидельн, — то есть развивает скорость еще не существовавшего в то время автомобиля. Нет, нельзя в его лице искать фанатика единой истины, надежного историка, и чем внимательнее следит наука за пальцами нашего доброго Казанова, тем глубже он залезает в долги.

Но все эти маленькие обманы, хронологические ошибки, мистификации и ветреные поступки, эта произвольная и часто вполне понятная забывчивость незначительны по сравнению с огромной и действительно беспримерной правдивостью всеобъемлющего любовного мира этих мемуаров. Без сомнения, Казанова широко использовал неоспоримое право художника сгущать временное и пространственное и представлять события более образными, чем они были в действительности.

Но какое это имеет значение в сравнении с честным, откровенным, наглядным методом, при помощи которого он рассматривает свою жизнь и свою эпоху в целом? Не он один, а целое столетие внезапно возникает на сцене как живое; в драматических, шумящих контрастами, заряженных электричеством эпизодах проходят в пестром смешении все слои и классы общества, нации, страны и сферы, — бесподобная картина нравов и безнравственности. Он не спускается в глубины и не объединяет в интеллектуальном обзоре, подобно Стендалю или Гете, особенностей отдельных народных групп, но именно этот кажущийся недостаток, эта поверхностность его взглядов, любопытно бросаемых из центра событий по сторонам, и притом лишь на близкие предметы, — делает его обозрение столь ценным документом для истории культуры; Казанова не извлекает абстрактного корня из событий и не извращает тем

самым суммы явлений, нет, он оставляет все шатким, неупорядоченным, в порожденных случаях соединениях, — не сортируя, не кристаллизуя.

Все располагается у него на одной линии значительности, — было бы только забавно; в этом единственный его критерий для оценки мира! Он не знает великого или малого ни в морали, ни в жизни, не различает добра и зла. Поэтому разговор с Фридрихом Великим он передает не подробнее и не взволнованнее, чем разговор с маленькой проституткой за десять страниц до того; с одинаковой объективностью и основательностью описывает он публичный дом в Париже и Зимний дворец императрицы Екатерины. Количество дукатов, выигранных им в фараон, так же важно для него, как число одержанных им в одну ночь побед над госпожой Дюбуа и Еленой или забота о сохранении для истории литературы беседы с господином Вольтером, — ни одному явлению в мире не придает он ни морального, ни эстетического веса, и потому так блестяще они сохраняют свою естественную окраску.

Именно то, что мемуары Казановы в интеллектуальном отношении стоят не намного выше заметок обыкновенного умного путешественника по интереснейшим ландшафтам жизни, превращает их, правда, не в философский трактат, но зато — в исторического Бедекера, Кортиджиано восемнадцатого столетия и занимательную скандальную хронику, поперечный разрез будней столетия. Никто не ознакомил нас лучше Казановы с повседневностью и вместе с тем с культурой восемнадцатого века, — с его балами, театрами, кондитерскими, праздниками, гостиницами, игорными залами, публичными домами, охотами, монастырями и тюрьмами. Благодаря ему мы знаем, как путешествовали, ели, играли, танцевали, жили, любили и веселились, знаем нравы, обычаи, манеру выражаться и образ жизни. И эта неслыханная полнота фактов, практических, объективных реальностей дополняется хороводом людей, достаточным, чтобы наполнить двадцать романов и снабдить материалом одно — нет, десять поколений новеллистов. Какая полнота! Солдаты и князья, папы и короли, бродяги и

шулеры, купцы и нотариусы, кастраты, сводники, певцы, девственницы и проститутки, писатели и философы, мудрецы и дураки, — забавнейший и богатейший человеческий зверинец, который когда-либо сгонялся на страницы одной книги. И притом у всех образов внутри — полое пространство, ни один не проанализирован и не доведен до конца, — он сам пишет как-то Опицу, что лишен психологического таланта, не умеет познавать «внутренних физиономий», — и пусть не удивляются, что с тех пор несметное количество поэтов выжимало сок из этого южного виноградника. Сотни новелл и драм обязаны своими лучшими образами и ситуациями его произведению, и все же этот рудник не исчерпан: как из *Fogium gotapum** десять поколений брали камни для новых построек, так ряд литературных поколений будут еще заимствовать у этого сверхрасточителя фундаменты и образы для своих произведений.

Но образом образов его книги, незабвенным, ставшим уже поговоркой и пословицей, остается его собственный образ — Казанова, отважная смесь человека Ренессанса с современным мошенником, сплав негодяя и гения, поэта и авантюриста: не устаешь без конца любоваться им.

Нагло приподнявшись в стременах, наподобие бронзового соотечественника его — Коллеони, прочно стоит он в самой гуще жизни и с вызывающим равнодушием смотрит в даль веков в глаза насмешке и порицанию: никто с таким бесстыдством не дает рассматривать, порицать, осуждать, высмеивать и презирать себя; он не прячется, — и действительно, этого железного парня, этого огромного неисчерпаемого мужчину знаешь лучше, чем своих братьев и кузенов.

Совершенно излишни долгие и основательные психологические исследования, поиски задних и скрытых планов: их у Казановы попросту нет; он говорит, не нарумянив губы и растегнувшись до последней пуговицы. Без всяких церемоний, без удержу и двусмысленности он весело берет читателя под руку, беззаботно рассказывает ему самые неприличные свои

* Римский форум (*лат.*).

похождения, вводит его в спальню, к раскрытой постели, на тайные сборища обманщиков и в химические склады мошеннических снадобий. Перед совершенно чужими людьми он обнажает свою любовницу и себя самого, смеясь показывает самые гадкие проделки с краплеными картами, дает себя поймать в самых нечистоплотных ситуациях, — все это не в силу какой-нибудь отвратительной Кандавловой извращенности, не из бахвальства, а совершенно наивно, с врожденным очаровательным добродушием безудержного сына природы, видевшего в раю нагую Еву, но не вкусившего от того опасного плода, которым даруется познание отличий добра от зла и нравственности от безнравственности. Здесь, как всегда, простота делает рассказчика совершенным.

Самый опытный психолог и все мы, работающие над его портретом, не сумеем так пластично изобразить Казанову, как сделал это он сам, благодаря беспримерной откровенности, не останавливающейся даже перед физиологией! Мы видим его в каждом жизненном положении с оптической отчетливостью, — например, в состоянии ярости, когда вены на лбу синеют и наливаются от раздражения и белые, звериные зубы сжимаются, чтобы не выпустить набегающую горькую слюну; или в опасности — с дерзко поднятой головой, не теряющего присутствия духа, находчивого в притворстве, с холодной улыбкой на презрительно поджатых губах и с рукой, бестрепетно опирающейся на шпагу; или в обществе, в больших салонах: чванливый, хвастливый, самоуверенный, с выпяченной грудью и блестящими от задора, алчными глазами, спокойно беседующий и вместе с тем со сладострастной развязностью разглядывающий женщин. И молодым человеком, и старой беззубой развалиной он всегда представляется пластически, ощутимо близким, и кто читает эти мемуары, тому кажется: если бы этот покойник появился сейчас из-за угла, его легко было бы узнать среди сотен тысяч, — так ясно подаренное миру самоизображение этого не-писателя, не-поэта, не-психолога. Ни Гете с его Вертером, ни Клейст с его Кольгаасом, ни Жан-Жак Руссо с Сен-Пре и Элоизой, никто из его современников

и поэтов не создал столь выпуклого образа, как этот *mauvais sujet** — изобразив себя самого; да и во всей мировой литературе нет столь законченных автопортретов, как этот, сделанный не мастером искусства, а мастером жизни.

Поэтому не помогут презрительные возражения против двусмысленности его дарования, возмущение непозволительным поведением его на земле или высокомерные ссылки на его философское ребячество, — не помогут, не помогут, — Джакомо Казанова вошел во всемирную литературу, как висельник Виллон, как немало других темных личностей, и переживает несметное количество высоко нравственных поэтов и судей. Как в жизни, так и *post festum*** он привел *ad absurdum**** все обычные законы эстетики, нагло швырнув под стол моральный катехизис: продолжительность его воздействия доказала, что нет необходимости быть особенно одаренным, прилежным, приличным, благородным и возвышенным, чтобы проникнуть в священные чертоги литературного бессмертия. Казанова доказал, что можно написать самый забавный роман в мире, не будучи поэтом, создать самую совершенную картину эпохи, не будучи историком, — ибо в последней инстанции идут в счет не пути, а произведенный эффект, не мораль, а сила. Всякое совершенное чувство может быть плодотворно, — бесстыдство так же, как и стыд, бесхарактерность так же, как характер, злость — как доброта, нравственность — как безнравственность: для бессмертия решающее значение имеет не душевный склад, а мощь человека. Только она увековечивает, и чем сильнее, жизнеспособнее, сосредоточеннее живет человек, тем заметнее становится его влияние. Бессмертие не знает нравственности и безнравственности, добра и зла; мерилom для него служат лишь деяния и сила, оно требует от человека цельности, а не чистоты, требует, чтобы он был примером и выпуклым образом. Мораль для него ничто, интенсивность — все.

* Негодяй (фр.).

** После праздника (лат.).

*** К абсурду (лат.).



СТЕНДАЛЬ

Чем был я? Что я такое? Я бы затруднился ответить на это.

Стендаль. Анри Брюлар

ЛЖИВОСТЬ И ПРАВДОЛЮБИЕ

Все охотнее ходил бы я в маске и менял имена.

Из письма

Мало людей, которые лгали бы больше, чем Стендаль, и мистифицировали мир вдохновеннее, чем он; мало и таких, которые полнее и глубже его говорили бы правду.

Нет числа его обличьям и превращениям. Не успеешь раскрыть книгу, как с обложки или из предисловия выскакивает уже первая личина, — ибо признать, скромно и попросту, свое подлинное имя автор книги, Анри Бейль, ни в каком случае не согласен. То жалуется он себе, собственной властью, дворянский титул, то предстает перед читателем как «Сезар Бомбе», то предпосылает своим инициалам А.Б. таинственные А.А., за которыми ни один дьявол не угадает весьма скромного «ancien auditeur» — нечто вроде бывшего кандидата на судебную должность; только под псевдонимом, в подтасовке, чувствует он себя уверенно. Порой он маскируется австрийским пенсионером, порою как «ancien officier de cavalerie»*; охотнее же всего прикрывается загадочным для своих соотечественников именем Стендаль (по названию маленького прусского городка, стяжавшего, благодаря его прихоти, бессмертие). Проставлен-

* Бывший кавалерийский офицер (фр.).

ная им дата, можно ручаться, неверна; пусть в предисловии к «Пармскому монастырю» рассказывает он, что книга эта написана в 1830 году в расстоянии 1200 миль от Парижа, — озорство это отнюдь не опровергает того обстоятельства, что роман сочинен в действительности в 1839 году и притом в самом центре Парижа. Равным образом и в области жизненных событий противоречия громоздятся друг на друга весьма непринужденно. В одном из автобиографических очерков он торжественно повествует о том, как участвовал в сражениях при Ваграме, Асперне и Эйлау, — сплошная ложь, ибо, как неопровержимо свидетельствует дневник, в это самое время он преспокойно сидел в Париже.

Несколько раз упоминает он о продолжительном и весьма важном разговоре своем с Наполеоном, но — увы! — в следующем томе читаем признание более достоверное: «Наполеон не пускался в разговоры с дурнями вроде меня». Приходится, таким образом, осторожно относиться к каждому из сообщений Стендаля — и осторожнее всего к его письмам, которые он, будто бы из страха перед полицией, датирует сознательно неправильно, подписываясь каждый раз другим псевдонимом. Прогуливаясь по улицам Рима, он помечает свою корреспонденцию Орвиэто; отправляя письмо как будто из Безансона, он на самом деле проводит этот день в Гренобле; год и чаще всего месяц указаны неверно; подпись почти как правило вымышленная. Усердные биографы выудили более двухсот таких фантастических посланий; Стендаль (на самом деле Анри Бейль) подписывается в письмах Коттинэ, Доминик, Дон Флегме, Гейяр, А.Л. Фебюрье, барон Дорман, А.Л. Шампань, или даже присваивает имена писателей: Ламартин или Жюль Жанэн. Вопреки мнению многих причиной этого шутовства был не только страх перед черным кабинетом австрийской полиции, но врожденная, по природе присущая страсть дурачить, изумлять, притворяться, прятаться. Стендаль не прочь приврать без всякого внешнего повода — только для того, чтобы заинтересовать собой и скрыть свое собственное «я»; подобно искусному бойцу, сверкающему шпагой, ограждает он себя вихрем мис-

тификаций и измышлений, чтобы не дать любопытным приблизиться к себе. Никогда не делал он тайны из этой своей страстной приверженности к обману и притворству; на письме одного из друзей, горько сетующего на наглый обман, он помещает сбоку «vrai» — «правильно». Храбро и не без иронического самодовольства проставляет он в своих служебных документах неверный служебный стаж и признается в лояльности то к Бурбонам, то к Наполеону; все написанное им, как печатное, так и рукописное, кишит неправдоподобием, как пруд икрой. И — рекорд всяческой лживости! — последняя из его мистификаций, согласно настоящему требованию его завещания, увековечена даже в мраморе, на гробнице его, на Монмартрском кладбище. Там и ныне можно прочесть не соответствующее истине: Арриджио Бейле, из Милана. Так обозначено место последнего упокоения того, кого, как доброго француза, окрестили именем Анри Бейль и кто родился (к огорчению своему!) в глухом провинциальном городке Гренобле. Даже перед лицом смерти захотелось ему предстать в маске; ради нее облекся он в романтическое одеяние.

И все-таки и вопреки всему мало кто из людей поведал миру так много осознанной правды о себе, как этот искусный притворщик. Стендаль умел при случае быть правдивым в той же степени совершенства, которой достигал в излюбленной им лжи. Он первый с безудержностью, сначала ошеломляющей и даже внушающей страх и лишь потом всецело берущей верх над вами, во всеуслышание и без обиняков поведал о некоторых таких переживаниях сокровеннейшего характера, которые другими людьми тщательно затуманиваются или подавляются у самого порога сознания; добровольно и исчерпывающе правдиво признается он там, где в других случаях никакой силой не вырвешь признания из клещей стыда. Ибо Стендаль столь же мужествен, более того, столь же дерзок в правде, как и во лжи; и там и здесь он с великолепной беспечностью берет все барьеры общественной морали, контрабандно переходит рубежи и границы внутренней цензуры; боязливый в жизни, робеющий перед женщинами, таящийся и окапываю-

щийся в искусно созданных блиндажах своего притворства, он, едва взяв в руки перо, преисполняется храбростью; никакие задержки ему уже не мешают; наоборот, обнаружив в себе какие-нибудь преграды, он хватается за них и извлекает на свет, чтобы анатомировать с величайшей деловитостью.

С тем, что больше всего подавляло его в жизни, лучше всего справляется он как психолог. На этом пути он интуитивно, с удачливостью гения, уже в 1820 году распознал секрет таких замысловатых пружин и затворов душевной механики, которые психоанализу лишь столетие спустя удалось разложить на составные элементы и реконструировать при помощи сложнейших и тончайших приемов; его врожденный и искусственный упражнениями психологический опыт одним скачком опередил на целое столетие терпеливо продвигавшуюся вперед науку. И притом в распоряжении Стендаля нет, кроме собственного его наблюдения, иной лаборатории; устремляясь вперед, в неизвестное, он не опирается на застывшую теорию; единственным его орудием остается непреклонное, остро отточенное любопытство, единственной профессиональной добродетелью — неукротимый, ничем не смущающийся дух правдоискательства. Он наблюдает свои чувства и говорит о них свободно и открыто, и чем свободнее, тем красноречивее, чем интимнее, тем более страстно. С наибольшим удовольствием разбирается он в самых дурных своих, самых затаенных чувствах; достаточно вспомнить, как часто и фанатически хвалится он своей ненавистью к отцу, как рассказывает, глумясь, о том, что целый месяц тщетно пытался почувствовать скорбь по поводу известия о его смерти. Мучительнейшие свои переживания на почве сексуальных задержек, свои постоянные неудачи у женщин, взрывы своего тщеславия — все это преподносит он читателям с точностью и деловитостью расчерченной генеральным штабом карты. Сообщения наиболее интимного и деликатного свойства, из тех, о которых не заикнулся до него ни один человек, не говоря уже о том, чтобы доверить их печати, даны у Стендаля в клинически бесстрастном освещении. На-

сквозь прозрачный, эгоистически холодный кристалл его интеллекта навеки замкнул в себе и сохранил для потомства наиболее ценные признания человеческой души. Не будь этого своеобразнейшего из притворщиков, мы знали бы много меньше о мире наших чувств и о провалах этого мира.

Так разъясняется мнимое противоречие. Именно ради усовершенствования в искусстве познания истины добывается Стендаль мастерства в притворстве, в технике лжи. Ничто, по собственному его признанию, не повлияло на него психологически так благоприятно, как то обстоятельство, что он жил в неинтересной семейной обстановке и с детства вынужден был притворяться. Ибо только тот, кто сотни раз на самом себе наблюдал, как легко срывается с языка ложь и как молниеносно быстро перекрашивается и извращается ощущение на пути от сердца к устам, только такой искушенный в увертках и уловках человек знает (и насколько лучше знает, чем честные и благомыслящие тупицы), «какие нужны меры предосторожности, чтобы не солгать». Путем бесчисленных опытов над самим собой этот острый и искушенный ум убедился, как быстро всякое чувство, едва обнаружив, что за ним наблюдают, впадает в стыд и немедленно облекается в одежду; приходится, таким образом, одним рывком, молниеносно, быстро и резко, как рыбак добычу на удочке, подсекать и вытягивать истину в тот короткий миг, когда она, без сорочки и без одеяния, не подозревая, что за ней наблюдают, нагая, подступает к берегу и бросается в поток сознания.

Ловить, наблюдая самого себя, такие миги и нанизывать их на карандаш, прежде чем они скроются в область подсознательного или примут защитную окраску притворства, — вот что составляло своеобразную прелесть для этого искущенного и страстного охотника за истиной; он был достаточно умен, чтобы знать, как редки такие миги удачи и как бесконечно ценны они, — не меньше, чем сама добыча. Ибо — удивительно! — немногие в течение всей своей жизни хранили такое уважение к истине, как Стендаль, чемпион лжи; он знал, конечно, что она не ждет на широкой и людной улице, греясь в

лучах дневного солнца, готовая к ласкам любых грубых рук, к подчинению любому благодушному наставнику; он знал, хитроумный Одиссей, плавающий по волнам сердца, что истины — это Лацеры, живущие в пещерах, боящиеся света, отскакивающие при звуках неуклюжих шагов, быстро ускользающие, когда их хватают; нужна тихая поступь, чтобы подкрасться к ним, нужны легкие и нежные руки и глаза, умеющие видеть и в темноте. И прежде всего нужна страсть, духом искушенная, окрыленная сердцем; нужно любопытство — подслушивать и выслеживать; нужно, как говорит он: «Набраться мужества и снизойти до мельчайших подробностей» — под темные своды души, к лабиринту нервных сплетений; только там схватишь иной раз крохотные афоризмы познания, малые, но совершенные истины, осколки и частицы той вечно недостижимой и необъятной «Истины», которую грубые умы полагают заключенной в мавзолеях своих систем и в сквозных клетках своих теорий. А он, этот мнимый скептик, ценит ее много выше; он, искушенный, знает, как мгновенна она и как необычайна, знает, что ее не загонишь, как домашнюю скотину, в хлев, не продашь, не сбудешь, он знает, что познание дается только познающему.

Оценив, таким образом, Истину, Стендаль никогда не навязывал никому своих собственных истин, не нахваливал их; единственно важной была для него откровенность с самим собой и по отношению к себе. Отсюда и безудержность его лжи в отношении других; никогда не почувствовал этот убежденный эгоист, этот вдохновенный самонаблюдатель малейшей потребности поучать окружающий мир — в особенности относительно себя самого; наоборот, он щетинился всеми иглами острой своей злости, только бы не даваться в руки неуклюжему любопытству и без помех прокапывать свои пути, эти своеобразные глубокие ходы в собственных глубинах. Вводить других в заблуждение было источником его неустанного удовольствия; блюсти честность по отношению к себе — его длительной и своеобразной страстью. Ложь недолговечна и обрывается временем, а сознаваемая и осознанная человеком истина пережи-

вает его в веках. Кто хоть однажды был искренен с собой, тот стал таковым навсегда. Кто разгадал свою собственную тайну, тот разгадал ее и за других.

ПОРТРЕТ

Ты безобразен, но у тебя есть свое лицо.

Дядюшка Ганьон — юному Анри Бейлю

Сумерки в тесной мансарде на улице Ришелье. Две восковые свечи освещают письменный стол; с полудня работает Стендаль над своим романом. Разом он бросает перо: довольно на сегодня! Отдохнуть, выйти на улицу, пообедать как следует в обществе, позабавиться непринужденной беседой, развлечься с женщинами!

Он приводит себя в порядок, надевает сюртук, взбивает волосы; теперь только короткий взгляд в зеркало! Он смотрит на себя, и в тот же миг сардоническая складка кривит уголки его губ: нет, он себе не нравится! Что за не изящная, грубая, бульдожья физиономия — круглая, красная, мещански-дородная! Как противно расположился толстый, мясистый, с раздувающимися ноздрями нос посреди этого провинциального лица! Правда, глаза не так уж плохи, небольшие, черные, блестящие, озаренные беспокойным светом любопытства; но слишком глубоко запали они под густыми бровями, под тяжелым квадратным лбом; из-за этих глаз дразнили его *le Chinois*, китайцем, еще в полку. Что еще в этом лице хорошего? Стендаль злобно всматривается в себя. Ничего хорошего, ничего изящного, никаких черт одухотворенности, все тяжело и пошло, массивно и широко — отчаянное мещанство! И притом эта круглая, обрамленная темными волосами голова еще, пожалуй, самое лучшее из всего несуразного тела; ибо сейчас же за подбородком зобасто выпирает из-под тесного воротника слишком короткая шея, а ниже лучше и не смотреть, ибо он ненавидит свое глупое выпяченное пузо и некрасивые, слиш-

ком короткие ноги, несущие тяжкий вес Анри Бейля с таким трудом, что еще в школе товарищи прозвали его «бродячей башней».

Все еще ищет Стендаль в зеркале что-нибудь утешительное. Вот руки, да, они сошли бы еще, пожалуй, — женственно-нежные, гибкие, с отточенными, отполированными ногтями, в них есть и ум и благородство; и кожа, девственно-тонкая и гладкая, она способна внушить сочувствующей душе представление об изяществе и деликатности! Но кто видит, кто замечает в мужчине такие немужские мелочи? Женщины интересуются только лицом и фигурой, а лицо и фигура у него — он знает это уже пятьдесят лет — безнадежно плебейские. «Обойщик», — сказал про его наружность Огюстэн Филон, а Монселэ дал ему прозвище «дипломат с физиономией аптекаря»; но и такие определения кажутся ему слишком любезными, слишком дружескими, ибо сейчас, угрюмо всмотревшись в безжалостное зеркало, Стендаль сам выносит себе приговор: «*Macellaio italiano*» — итальянский мясник.

И хотя бы это тело, жирное и тяжеловесное, было крепко и мужественно! Есть ведь женщины, питающие доверие к широким плечам, женщины, которым в иные минуты казак нужнее, чем денди. Но каким-то подлым образом — он это хорошо знает — его неуклюже мужицкая фигура, его полнокровие только обман, притворство плоти. В этом гигантском мужском теле дрожит и вспыхивает клубок чувствительных до болезненности нервов; «Чудовище чувствительности», — с изумлением говорят про него все врачи. И — насмешка судьбы! — такая мотыльковая душа заключена в такое изобилие плоти и жира. В колыбели, ночью, подменили ему, очевидно, душу; дрожит она, болезненно чувствительная, при каждом волнении. Открыли окно в соседней комнате, и острый холод пронизывает уже тонкую, в жилках, кожу; хлопнули дверь — и дико вздрагивают нервы; дурно запахло — и у него кружится голова; рядом с ним женщина — и на него нападает смутный страх: он трусит или от застенчивости ведет себя грубо и непристойно. Непонятное смешение! К чему столько мяса, столько

жира, такой живот, такой неуклюжий извозчиный костяк в качестве оболочки для столь тонкого и уязвимого чувства? К чему это тяжелое, неинтересное, неуклюжее тело при столь нежной, отзывчивой и сложной душе?

Стендаль отворачивается от зеркала. Дело безнадежное, он знает это с юности. Тут не поможет и чародей-портной, тот, что соорудил ему скрытый корсет, подпирающий кверху висячий живот, и изготовил ему чудесные панталоны из лионского шелка, чтоб скрыть смешную коротконогость; не поможет ни средство для волос, наводящее каштановый цвет мужества на давно поседевшие бакенбарды, ни изящный парик, прикрывающий лысый череп, ни консульская форма с золотыми кантами, ни гладко отполированные сверкающие ногти. Эти приемы и приемчики только чуть-чуть украшают, прикрывая тучность и распад, но вот — ни одна женщина не обернется вслед ему на бульваре, ни одна не взглянет ему, в порыве восторга, в глаза, как мадам де Реналь его Жюльену или мадам де Шастелле его Люсьену Левену. Нет, никогда не обращали они на него внимания, даже когда он был юным лейтенантом; что же теперь, когда душа заплывла жиром и старость бороздит лоб морщинами. Кончено, пропало! С таким лицом не будет счастья у женщин, а другого счастья нет!

Итак, остается одно: быть умным, ловким, духовно притягательным, интересным, отвлекать чужое внимание от наружности к внутренним достоинствам, ослеплять и обольщать неожиданностью и красноречием — гибкость ума может заменить красоту. При столь несчастной наружности на женщин надо действовать умом; распалить их любопытство в тончайших его нервных разветвлениях, раз не можешь распалить их чувство эстетически. Быть, следовательно, меланхоликом с сентиментальными, циником с фривольными, а иногда и наоборот, держаться настороже, проявлять неизменное остроумие. «Сумейте занять женщину, и она будет вашей». Умно пользоваться каждой слабостью, каждой минутой скуки, притворяться пылким, когда ты холоден, и холодным, когда пылаешь, поражать переменами, запутывать ловкими ходами, все

время показывать, что ты не такой, как другие. И прежде всего не упускать ни одного шанса, не бояться поражения, ибо порой женщины забывают даже, какое лицо у мужчины, — ведь поцеловала же Титания однажды летней ночью ослиную голову.

Стендаль надевает модную шляпу, берет в руки желтые перчатки и пробует перед зеркалом улыбку, насмешливо холодную. Да, таким он должен появиться сегодня вечером у мадам де Т. — насмешливым, циничным, дерзко непринужденным и холодным, как лед; надо поразить, заинтересовать, ослепить; надо нахлобучить на эту возмутительную физиономию блестящую маску красноречия. Только поразить нужно сильно, сразу, с первого движения привлечь к себе внимание; это лучшее, что можно сделать — скрыть внутреннюю слабость за сплошной беззастенчивостью.

Спускаясь с лестницы, он обдумывает план эффектного выступления: он прикажет лакею доложить о себе, как о коммерсante Сезаре Бомбе, и только тогда войдет в салон; он изобразит громкоголосого говоруна, торговца шерстью, никому не даст произнести ни слова, и будет говорить, блестяще и нагло, о своих предприятиях до тех пор, пока смешливое любопытство не станет всецело его достоянием и женщины не привыкнут к его лицу. Потом фейерверк анекдотов, остроумных и крепких, способных привести их в возбуждение, потом темный уголок, который скроет недостатки его внешности, пара стаканов пунша. И, может быть, может быть, к полуночи дамы признают, что он все-таки мил.

КИНОЛЕНТА ЕГО ЖИЗНИ

1799 год. Почтовый дилижанс на пути из Гренобля в Париж остановился в Немуре для смены лошадей. Возбужденные группы, плакаты, газеты: молодой генерал Бонапарт вчера в Париже сломал шею республике, дал конвенту пинка и объявил себя консулом. Пассажиры оживленно обсуждают собы-

тия, и лишь один из них, парень лет шестнадцати, широкоплечий и краснощекий, проявляет к ним мало интереса. Какое ему дело до республики или консульства? Он едет в Париж — формально, чтобы поступить в Политехническую школу, а на самом деле, чтобы избавиться от провинции, добраться до Парижа, Парижа, Парижа! И сразу же бездонная чаша этого звука — Париж! — наполняется безудержными грезами. Париж — это блеск, изящество, радость, окрыленность, задор, Париж — это то, что не провинция, это свобода, и прежде всего женщины, множество женщин. Он неожиданно познакомится, как-нибудь романтически, с одной из них, юной, прекрасной, нежной, изящной (может быть, похожей на Викторину Кабли, гренобльскую актрису, которую он робно обожал издали), он спасет ее, бросившись наперерез взбесившимся лошадям, несущим разбитый кабриолет, он совершит для нее, так грезится ему, что-нибудь великое, и она станет его возлюбленной.

Дилижанс катится дальше, безжалостно попирая колесами эти ранние грезы. Мальчик почти не смотрит по сторонам, почти не разговаривает со спутниками; он, этот теоретический Дон-Жуан, фантазирует о приключениях, романтических подвигах, о женщинах, о прекрасном Париже. Дилижанс останавливается, наконец, перед заставой. С грохотом катятся колеса по горбатым улицам в узкие, грязные, глубокие провалы между домами, полные испарений прогорклых кушаний и пота нищеты. В испуге глядит разочарованный путник на обиталище своих грез. Так это Париж, «*ce n'est donc que cela?*» Это-то и есть Париж? Впоследствии он постоянно будет повторять эти слова — после первой битвы, при переходе армии через С.-Бернард, в ночь первой любви. Действительность, после столь необузданных грез, вечно будет казаться тусклой и бледной перед лицом безмерного романтического вождения.

Они останавливаются перед бесцветной гостиницей на улице Св. Доминика. Там, в мансарде пятого этажа, с люком вместо окна, узкой и по-тюремному темной, в рассаднике злостной меланхолии, проводит Анри Бейль несколько недель, не заглянув ни разу в учебник математики. Часами шатается он

по улицам, глядя вслед женщинам, — как обольстительны они, полуобнаженные по последней римской моде, с какой готовностью перекидываются шутками со своими поклонниками, как умеют смеяться, легко и привлекательно; но сам он не решается подойти ни к одной из них, неуклюжий глупый мальчишка, в темном провинциальном плаще, мало элегантный и еще менее предприимчивый. Даже к падким до денег девушкам, из тех, что бродят под фонарями, не смеет он подступиться и лишь мучительно завидует более смелым товарищам. У него нет друзей и знакомых, нет работы; угрюмо бродит он, погруженный в грезы о романтических приключениях, по грязным улицам, весь уйдя в себя, подвергаясь порой опасности быть раздавленным встречной каретой.

В конце концов, приниженный, изголодавшийся по разговору, теплу и уюту, приходит он к своим родственникам, богатым Дарю. Они милы с ним, приглашают его, открывают ему двери своего прекрасного дома, но — первородный грех в глазах Анри Бейля! — они сами родом из провинции, и этого он не может им простить; они живут как буржуа, богато и привольно, а его кошелек тощ, и это наполняет его горечью. Угрюмый, неловкий, молчаливый, втайне враг своим хозяевам, сидит он за столом, скрывая под личиной мелочного, иронического упрямства острую тоску по человеческой нежности; «Неприятный, неблагодарный родственник», — думают, вероятно, старики Дарю. Поздно вечером возвращается из военного министерства домой измученный, усталый, неразговорчивый Пьер (впоследствии граф) Дарю, главное лицо в семье, правая рука всемогущего Бонапарта, единственный доверенный его военных замыслов. Следуя внутреннему, скрытому влечению, этот стратег охотнее всего стал бы поэтом, как и юный гость (которого он, за его замкнутость и молчаливость, считает глупым увальнем и притом еще невоспитанным); ибо он, Пьер, переводит в часы досуга Горация, пишет философские очерки и впоследствии, сняв форму, составит историю Венеции; теперь, однако, пребывая в свите Наполеона, он занят более важными задачами. Не знающее устали существо, он дни и ночи прово-

дит в особом кабинете генерального штаба за составлением планов, расчетов и писем — неизвестно, с какой целью. Юный Анри ненавидит его за то, что тот хочет помочь ему выдвинуться и продвигнуться, а ему не хочется продвигаться, он хочет уйти в себя.

Но в один прекрасный день Пьер Дарю призывает ленивца с тем, чтобы тот немедленно отправился с ним в военное министерство: для него приготовлено место. Под строгим присмотром Дарю приходится пухлому Анри писать письма, доклады и рапорты с десяти часов утра до часу ночи, так что руку ломит. Он не знает еще, к чему это неистовое сочинительство, но мир скоро узнает об этом. Сам того не подозревая, работает он над подготовкой итальянского похода, который начнется Маренго и кончится Империей; наконец «Moniteur» открывает тайну: война объявлена. Маленький Анри Бейль переводит дыхание: слава Богу! Теперь этот мучитель Дарю отправится в главную квартиру, конец унылому сочинительству! Он торжествует. Лучше война, чем ужас без конца, чем две вещи, наиболее ему ненавистные: работа и скука.

Май 1800 года. Арьергардный отряд итальянской армии Бонапарта в Лозанне.

Несколько кавалерийских офицеров съехались в кучку и смеются так, что качаются султаны на киверах. Комическое зрелище: на строптивой кляче сидит торчком, неуклюже, пообезьянни вцепившись в нее, коротконогий толстый мальчишка и воюет с упрямым животным, упорно норовящим сбросить неумелого всадника на землю. Его огромный палаш, перекосившийся на перевязи у живота, бьется о круп и раздражает несчастную кобылу, которая, наконец, не выдерживает и в высшей степени рискованным галопом несет жалкого кавалериста по полям и канавам.

Офицеры веселятся по-королевски. «Ну-ка, вперед! — говорит наконец сжалившийся капитан Бюрельвилье своему денщику. — Помоги этому дурачку!» Денщик пускается следом в галоп, всыпает чужой кобыле пару сильных ударов, так

что она останавливается, потом берет ее под уздцы и тащит новичка назад. «Что вам нужно от меня?» — спрашивает тот, с багрово-красным от стыда и негодования лицом; вечный фантазер, он помышляет уже об аресте и дуэли. Но забавник-капитан, узнав, что перед ним двоюродный брат всемогущего Дарю, становится тотчас же вежливым, знакомится и спрашивает странного новобранца, где он был до сих пор.

Анри краснеет: не признаваться же, в самом деле, в глупой выходке — в том, что он стоял, со слезами на глазах, перед домом, где родился Жан-Жак Руссо, в Женеве. И он, напустив на себя бойкость и нагловатость, повествует о своей отваге так неуклюже-неумело, что вызывает симпатию. Офицеры для начала по-товарищески обучают его высокому искусству держать поводья между средним и указательным пальцами, правильно опоясываться саблей и кое-каким другим солдатским тайнам. И сразу же Анри Бейль начинает чувствовать себя солдатом и героем.

Он чувствует себя героем; во всяком случае, он не допустит, чтобы кто-либо усомнился в его храбрости. Он скорее откусит себе язык, чем задаст вопрос некстати или выкажет страх. После всемирно известного перехода через С.-Бернард он небрежно поворачивается в седле и почти презрительно задает капитану свой вечный вопрос: «И это — все?» Услышав орудийный гул у форта Бард, он опять притворяется изумленным: «Это и есть война, только-то и всего?» Все-таки он понюхал теперь пороху; частица девственности в этой жизни утрачена; и он нетерпеливо прищипоривает коня, торопясь на юг, в Италию — утратить и другие виды девственности, от быстротечных военных авантюрам — к непреходящим любовным авантюрам.

Милан, 1801 год. Корсо у Порты Ориентале.

Война ослабила узы плена, сковывавшего женщин Пьемонта. С тех пор как в стране французы, дамы ежедневно, сняв вуали, разъезжают в низеньких каретках по сверкающим под голубым небом улицам, останавливаются, болтают с возлюб-

ленными или со своими чичисбеями, не без удовольствия улыбаются в глаза нахальным молодым офицерам и многозначительно поигрывают веерами и букетами.

Войдя в узкую полосу тени, семнадцатилетний унтер-офицер с вождением смотрит на элегантных женщин. Да, Анри Бейль стал неожиданно унтер-офицером 6-го драгунского, не приняв участия ни в одной битве; будучи кузеном всемогущего Дарю, мало ли чего добьешься. Над головой развевается, качаясь, прикрепленный к блестящей каске черный драгунский султан, под белым кавалерийским плащом ужасающе звякает огромная сабля, у отворотов сапог звенят шпоры; поистине, он выглядит воякой, недавний мальчишка, толстый и пухлый.

Собственно говоря, ему следовало бы быть при своей части и гнать австрийцев за Минчио, вместо того чтобы таскаться по Корсо, волочить по мостовой саблю и созерцать с вождением женщин. Но уже в семнадцать лет он не любит ничего вульгарного, он сделал открытие, что «не требуется много ума, чтобы рубануть саблей». Будучи кузеном великого Дарю, можно, вместо того чтобы отправиться в поход, побыть и здесь, в ослепительном Милане; ведь на бивуаках нет прекрасных женщин и, главное, нет Scala, божественного театра Скала с операми Чимарозы, с восхитительными певицами. Здесь, а не в палатке на каком-нибудь верхнеитальянском болоте и не в комнатке генерального штаба в Каза Бовара устроил себе Анри Бейль главную квартиру. Здесь он неизменно первый по вечерам, когда начинают одна за другой освещаться ложи всех пяти ярусов, появляются дамы «*piu che seminuda*» — больше чем наполовину обнаженные под легким шелком, и над сверкающими их плечами склоняются мундиры. Ах, как прекрасны они, итальянские дамы, как блаженно и весело наслаждаются они тем, что Бонапарте привел в Италию пятьдесят тысяч молодых людей, на горе супругам и в облегчение им.

Но, увы, ни одна из них до сих пор не подумала о том, чтобы среди этих пятидесяти тысяч остановить свой выбор на Анри Бейле из Гренобля. Да и как знать ей, пышной Анджеке Пьетрагуа, кругленькой дочке торговца сукнами, охотно обнажа-

ющей перед гостями белую грудь и любящей, чтобы губы ее щекотали офицерские усы, как знать ей, что этот маленький круглоголовый толстяк со сверкающими и узенькими черными глазками, «il Chinese» — китаец, как она называет его в шутку и слегка равнодушно, влюблен в нее, что днем и ночью он мечтает о ней, отнюдь не жестокосердной, как о недостижимом идеале, и со временем, благодаря своей романтической любви, сделает ее, невесту из мещанского дома, бессмертной? Правда, он каждый вечер вместе с другими офицерами приходит играть в фараон, сидит робко и не произнося ни слова в углу и бледнеет, когда она заговаривает с ним. Но разве он хоть раз пожал ей руку, тихонько коснулся коленом ее колена, послал ей письмо или шепнул ей «*mi piace*»*. Привыкшая к большей выразительности со стороны французских офицеров-драгун, полногрудая Анджела едва замечает ничтожного младшего офицера, и он, неловкий, упускает ее благосклонность, не зная, не подозревая того, как охотно, и радостно, и обильно дарит она свою любовь всякому желающему. Ибо, несмотря на свой огромный палаш и свои сапоги с отворотами, Анри Бейль все еще по-парижски застенчив; робкий Дон-Жуан до сих пор хранит девственность. Каждый вечер принимает он решение пойти в атаку, старательно заносит в записную книжку поучения своих старших товарищей относительно того, как в открытом бою побороть женскую добродетель; но, едва очутившись рядом с любимой, божественной Анжелой, мнимый Казанова тотчас же ощущает робость, теряется и краснеет, как девушка. Чтобы стать мужчиной до конца, решает он наконец пожертвовать своей девственностью. Некая миланская профессионалка («Я начисто позабыл, кто и какая она была», — заносит он позднее в свои заметки) предлагает ему себя в качестве жертвенного алтаря, но, к сожалению, ответный ее дар значительно менее благороден: она возвращает французу ту болезнь, которую, как говорят, принесли в Италию спутники коннетабля Бурбонского и которая с тех пор именуется французской. И таким

* Мне приятно (*фр.*).

образом, служителю Марса, мечтавшему нести нежную службу Венере, приходится долгие годы служить строгому Меркурию.

Париж, 1803 год. Снова в мансарде пятого этажа, снова в штатском. Сабля исчезла, кисти, шпоры, шнуры и патент на лейтенантский чин заброшены в угол. Довольно с него солдатчины, довольно до тошноты — «J'en suis saouï!». Как только эти дурни решили, что он возьмется за гарнизонную службу в грязных деревнях, станет чистить свою лошадь и подчиняться начальству, Анри Бейль удрал. Нет, подчиняться не его призвание, высшее счастье для этого упрянца — «никому не отдавать приказов и не быть ни у кого в подчинении». И вот он написал письмо министру с просьбой об отставке, и одновременно другое — своему скарредному отцу, с требованием денег, и отец, которого Анри в книгах своих злостно оклеветал (и который, вероятно, любил своего сына так же неумело и застенчиво, как тот женщин), этот «father», этот ублюдок, как именует его Анри, издеваясь, в своих заметках, действительно каждый месяц посылает ему деньги. Немного, правда, но достаточно для того, чтобы заказать приличный костюм, купить шикарный галстук или белую писчую бумагу для сочинения комедий. Новое решение: Анри Бейль не хочет больше изучать математику, он хочет стать драматическим писателем.

Начинает он с того, что часто появляется в «Комеди Франсез», дабы учиться у Корнеля и Мольера. Потом новое открытие, чрезвычайно важное для будущего драматурга: нужно узнать женщину, нужно любить и быть любимым, найти прекрасную душу. И вот он начинает ухаживать за маленькой Адель Ребуффе и вдоволь наслаждается романтической радостью безответной любви; к счастью, пышнотелая ее мать, как отмечает он в дневнике, несколько раз в неделю утешает его земной любовью. Это забавно и поучительно, но все же это не настоящая, поэтическая, великая любовь. И он неуклонно ищет высокий идеал. В конце концов маленькая актриса из «Комеди Франсез», Луазон, приковывает его кипучую страсть и

принимает его поклонение, не позволяя пока ничего большего. Но Анри любит тем сильнее, чем упорнее женщина ему противится, ибо он любит только недостижимое; и в самом скором времени двадцатилетний Бейль весь пламенеет любовью.

Марсель, 1803 год. Изумительное, почти невероятное превращение.

Он ли это действительно, Анри Бейль, экс-лейтенант наполеоновской армии, парижский денди, вчерашний поэт? Он ли этот конторщик фирмы Менье и К° — оптовая и розничная торговля колониальными товарами, — подвязавший себе черный передник и сидящий на высоком табурете в тесном подвальной помещении, пропахшем маслом и винными ягодами, на одной из душных западных улиц марсельской гавани? Неужели тот высокий ум, что вчера еще пел в рифмованных строках тончайшие чувства, занялся ныне сбытом изюма и кофе, сахара и муки, пишет напоминания клиентам и торгуется с чиновниками в таможах? Да, это он, круглоголовый упрямец. Если Тристан оделся нищим, чтобы приблизиться к любимой Изольде, если королевские дочери нарядились пажами, чтобы следовать в крестовый поход за своим рыцарем, то он, Анри Бейль, совершил нечто более героическое: он стал конторщиком колониальной фирмы, подмастерьем-пекарем и лавочником-сидельцем, чтобы последовать за своей Луазон в Марсель, куда она получила ангажемент. Что за беда днями пачкаться в сахаре и муке, если вечером можешь проводить из театра до дому актрису и уложить ее в постель, в качестве своей возлюбленной, если можешь любоваться ее стройным молодым телом, ласкаемым волнами южного моря, и впервые чувствуешь гордость обладания?

Чудесное время, чудо сбывшейся мечты! К сожалению, нет ничего более опасного для романтика, как подойти слишком близко к своему идеалу. Узнаешь, что Марсель, собственно, столь же провинциален со своими шумными южанами, как улицы Парижа. И даже живя с богиней своего сердца, можно прийти к печальному выводу, что богиня хоть и прекрасна, но

непроходимо глупа, и тогда начинаешь скучать. В конце концов даже радуешься, когда театр отказывается от богини и она облачком уплывает в Париж; излечиваешься от одной иллюзии с тем, чтобы завтра же неумоимо пуститься на поиски другой.

Брауншвейг, 1806 год. Новый маскарад. Снова мундир, но не грубый унтер-офицерский мундир, привлекающий исключительно маркитанток, портних и горничных. Теперь головы немцев почтительно обнажаются, когда представитель интендантства великой армии, monsieur l'intendant Анри Бейль проходит по улицам с г-ном фон Штромбах или другим каким-нибудь видным представителем брауншвейгского общества. Впрочем, нет, это уж не Анри Бейль, не угодно ли внести небольшую поправку: с тех пор как он в Германии, и притом в столь видном положении, он именуется г-ном фон Бейлем, Henri de Beyle. Правда, Наполеон не пожаловал ему дворянства, он даже не отметил низшей степенью Почетного легиона или другим каким-нибудь украшением в петлицу заслуг этого сомнительного воина, который прекрасно устраивался на всякой войне и умел занимать недурные места, благодаря своему кузену Дарю; но Анри Бейль, со свойственным ему даром прозрения, приметил, что brave немцы падки до титулов, как мухи до меда; и неприятно ведь в благородном обществе, где хорошенькие и аппетитные блондинки так и манят тебя потанцевать с ними, появиться в качестве обыкновенного буржуа; а две соответствующие буквы алфавита придают блестящей форме еще и особый ореол.

Собственно говоря, на г-на Бейля возложена неприятная миссия: он должен выкачать еще семь миллионов контрибуции из основательно обобранной области и притом поддерживать порядок; он и проделывает это одной рукой достаточно, по-видимому, ловко и проворно, но другая его рука остается свободной для игры на бильярде, охотничьих упражнений и для еще более тонких удовольствий: ибо и в Германии, оказывается, есть недурные женщины. Платоническим его запросам отвеча-

ет какая-нибудь белокурая, благородного происхождения, Минхен, а более грубые удовлетворяются по ночам услужливой подругой одного из друзей, украшенной звучным именем Кнабельхубер. Таким образом, Анри опять устроился с приятностью. Не завидуя маршалам и генералам, которые варят себе суп, настоящий на лаврах Иены и Аустерлица, он тихонечко сидит себе в тени тыла, читает книги, велит переводить для себя немецкие стихи и снова пишет чудесные письма сестре своей Полине; все более и более превращается он в тонкого, вышколенного знатока жизненного искусства, этот неторопливый турист военного тыла, дилетант в художествах; и по мере познания мира, участь наблюдать его, все более и более уходит в себя.

1809 год, 31 мая. Вена. Раннее утро, темная шотландская церковь, наполовину пустая.

У первой скамьи — несколько коленопреклоненных, бедно одетых, в трауре, старичков и старушек — родственники покойного папаши Гайдна из Рорау. То обстоятельство, что ядра французских орудий стали неожиданно залетать в любимую Вену, насмерть перепугало дряхлого, трясущегося от старости композитора; автор народного гимна умер патриотически, со словами этого гимна на дрожащих устах, и пришлось спешно, под грохот вступающей в город армии, вынести по-детски легкое тело старика из небольшого домика в Гумпендорфском предместье и предать кое-как земле. И вот музыкальный мир Вены с опозданием служит по маэстро зауспокойную мессу в шотландской церкви.

Немало людей отважилось покинуть в честь покойного свои занятые военными под постой дома; может быть, стоит среди них и коротконогий чудака со спутанной львиной гривой, господин ван Бетховен; может быть, в хоре мальчиков наверху поет и двенадцатилетний Франц Шуберт из Лихтенталя. Но никто не интересуется в этот миг друг другом, ибо внезапно появляется в полной форме высокопоставленный с виду французский офицер, в сопровождении второго господина, в расшитом пара-

дном академическом мундире. Все невольно вздрагивают от испуга: неужели хотят эти незванные пришельцы-французы запретить им воздать последнюю честь доброму старому Гайдну? Нет, вовсе нет, г-н фон Бейль, аудитор великой армии, явился совершенно неофициально, он узнал как-то, что при отпевании будет исполнен реквием Моцарта. А для того, чтобы послушать Моцарта или Чимарозу, этот сомнительный вояка способен проехать сто миль верхом; для него сорок тактов его любимых мастеров значат больше, чем грандиозная историческая битва с сорока тысячами убитых.

Осторожно подходит он к скамье и прислушивается к первым медленным аккордам. Странно, реквием ему не очень нравится, он находит его чересчур «шумным», это не «его» Моцарт, легкокрылый, отрешенный от земной тяжести; и всегда, всякий раз, когда искусство переходит в ту ясную, мелодическую линию, за которой взамен голосов человеческих начинают звучать иные, страстные и неистовые голоса, голоса вечных стихий, это искусство становится ему чуждым. И вечером, в театре Кернтнертор, «Дон-Жуан» не сразу им воспринимается; и если бы его сосед по креслам, господин ван Бетховен (о котором он ничего не знает) обрушил бы на него ураган своего темперамента, он испугался бы этого священного хаоса не менее, чем его великий веймарский собрат по творчеству, господин фон Гете.

Месса окончилась. С довольным лицом, сверкая мундиром и высокомерием, выходит Анри Бейль из церкви и идет не торопясь по Грабену; он находит очаровательным этот прекрасный, чистый город и его жителей, умеющих сочинять хорошую музыку и при этом не быть такими жесткими и угрюмыми, как другие немцы, там, на Севере. Собственно говоря, ему следовало бы отправиться сейчас в свою канцелярию и проявить заботу о снабжении великой армии, но это кажется ему не столь важным. Кузен Дарю работает ведь, как вол, а Наполеон сам уж дорвется как-нибудь до победы; слава Господу Богу, создавшему таких чудачков, которым работа одно удовольствие, можно недурно пожить за их спиной. И кузен

Бейль, с юности усвершенствовавшийся в дьявольском искусстве неблагодарности, избирает себе другое, более приятное и свободное занятие — утешать живущую в Вене мадам Дарю, страдающую от неистового трудолюбия супруга. Можно ли лучше отплатить своему благодетелю, чем облагодетельствовать его жену нежностью своего чувства? Они верхом катаются по Пратеру, в разрушенном увеселительном замке завязываются нити близости. Они осматривают галереи, сокровищницы, загородные дворянские замки, добираются до Венгрии в удобных рессорных колясках, в то время как при Ваграме раскалывают солдатам черепа, а braveй супруг Дарю исходит чернилами. Дневные часы посвящены любви, вечера — театру Кернтнертор, предпочтительно Моцарту и, во всяком случае, музыке; постепенно, постепенно начинает понимать этот чудак в интендантском мундире, что смысл и радость всей жизни для него в одном лишь искусстве.

1810 — 1812 годы. Париж. Расцвет Империи.

Жизнь все прекраснее. Есть деньги, и нет обязанностей. Бог свидетель! Без всяких особых заслуг, благодаря тонкому женскому влиянию, получено звание члена Государственного совета и управляющего имперским движимым имуществом. Но Наполеон, по счастью, не слишком-то нуждается в своих советниках, время у них есть, и они могут разгуливать — вернее, разъезжать! — сколько угодно. Анри Бейль, с кошельком, основательно набитым благодаря неожиданному новому званию, завел теперь собственный, сверкающий новой лакировкой кабриолет, обедает в Café de Foy, заказывает костюмы у лучшего портного, состоит в связи с кузиной и, кроме того, — идеал его с юных лет! — содержит танцовщицу по фамилии Берейтер. Как странно, что в тридцать лет больше удачи в любви, чем в двадцать, как непонятно, что чем ты холоднее, тем страстнее женщина. Теперь и Париж, который показался юному студенту таким отвратительным, начинает нравиться. Поистине, жизнь становится чудесной. И чудеснее всего — есть деньги, и есть время, столько времени, что для собственного удовольств-

вия, в сущности только для того, чтобы лишний раз вспомнить о любимой Италии, пишется книга из того мира — «Histoire de la peinture»*. Ах, писать труды по истории искусства — какое это приятное, какое необязывающее занятие, особенно если, подражая Анри Бейлю, на три четверти списывать их с других книг, а в остальном наполнять, не стесняясь, анекдотами и курьезами; счастье уже в том, чтобы жить близостью к области духа! Может быть, думает Анри Бейль, когда-нибудь, к старости, станешь сочинять книги, чтобы возобновить в памяти ушедшее время и женщин. Но не сейчас. Жизнь еще слишком богата, полна и интересна, чтобы убивать ее за письменным столом.

1812 год. Небольшая помеха — Наполеон опять затеял войну, на этот раз на несколько тысяч миль дальше. Но Россия, сказочно далекая страна, манит вечно неудовлетворенного туриста. Какая неповторимая возможность взглянуть на Кремль и на жителей Москвы, двинуться за счет государства на восток — конечно, в арьергарде, спокойно и не подвергаясь опасности так же, как некогда в Италии, Германии, Австрии. И действительно, он получает от Марии-Луизы объемистый пакет, полный писем к высокому супругу; он торжественно уполномочен доставить тайную корреспонденцию в Москву, пользуясь срочным сообщением в каретах и санях с теплыми меховыми полостями. Так как война — он знает это по личному опыту — смертельно скучна на близком расстоянии, он частным образом забирает кое-что с собой для личного развлечения, а именно двенадцать рукописных томов своей «Histoire de la peinture», в зеленом сафьяновом переплете, и начатую комедию. Где же и работается лучше, чем в главной квартире? В конце концов, явятся в Москву и Тальма, и Большая опера, будет не слишком скучно, а потом — новая разновидность, польские и русские женщины...

Бейль останавливается по пути только там, где есть театр;

* История живописи (фр.).

на войне и в путешествии он не может обойтись без музыки, всюду ему должно сопутствовать искусство. Но в России его ждет зрелище более потрясающее: Москва пылает на весь мир пожаром, какого ни один поэт не созерцал еще со времен Нерона. Но этот патетический миг не вдохновляет Анри Бейля на сочинение каких-либо од, и в своих письмах он мало распространяется о неприятном для него событии. Уже с давних пор военная какофония представляет для этого утонченного жизнелюба меньший интерес, чем десять тактов музыки или умная книга; благородное биение сердца потрясает его больше, чем бородинская канонада, и больше всяких других историй занимает его история личной своей жизни. Из грандиозного пожара он выуживает для себя Вольтера в красивом переплете, собираясь захватить его с собой на память о Москве. Но на этот раз война ледяными своими стопами напирает и на фантазеров тыла. У Березины аудитор Бейль (единственный офицер, помышляющий о таких пустяках) успевает еще безукоризненно побриться, но потом — во всю прыть через рушащийся мост, иначе враг настигнет. Дневник, «Histoire de la peinture», чудесный экземпляр Вольтера, лошадь, шуба и вещевой мешок достались казакам. В оборванном платье, грязный, затравленный, с полопавшейся на морозе кожей, попадает он в Пруссию. И первая его мысль — опять об опере; чтобы освежиться, он спешит окунуться в музыку, как другие в ванну. И весь русский поход и гибель великой армии обращаются для Анри Бейля всего лишь в интермеццо между двумя вечерами, между «Clemenzia di Tito» в Кенигсберге, при возвращении, и «Matrimonio secreto» в Дрездене, при выступлении в поход.

1814 — 1821 годы. Милан, опять в штатском. Анри Бейлю надоела, по горло надоела война. На близком расстоянии одно сражение ничем не отличается от другого, в каждом видишь то же самое, «то есть ничего». Довольно с него всяких полномочий и должностей, отечеств и битв, бумаг и офицеров. Пусть Наполеон, подверженный своей «соингомание», своему военному неистовству, еще раз завоюет Францию, пусть — но без всяко-

го содействия господина аудитора Бейля, который хочет только одного: никому не отдавать приказов и никому не подчиняться, который хочет только самого естественного и вместе с тем самого трудного — жить, наконец, своей собственной жизнью. Еще три года тому назад, в промежутке между двумя обычными наполеоновскими войнами, удрал он, счастливый и довольный, как дитя, в отпуск в Италию, с двумя тысячами франков в кармане; уже тогда началась у него та тоска по юности, которая не оставляла стареющего Бейля до последнего часа; а имя его юности — Италия, Италия и Андже́ла Пьетрагруа, которую он любил робко и застенчиво, будучи ничтожным субалтерн-офицером, и о которой он думает неустанно, пока карета катится по знакомым ущельям куда-то вниз. К вечеру он прибывает в Милан. Наскоро умывшись и переодевшись, он спешит туда, на родину сердца, в Скала, послушать музыку, и действительно, как сам он выразился, «музыка пробуждает любовь».

На следующее утро он торопится к ней, велит доложить о себе; появляется она, все еще прекрасная, приветствует его вежливо, но сдержанно. Он представляется — Анри Бейль, но и имя не говорит ей ничего. Тогда он начинает вспоминать Жуанви́ля и других товарищей. И тут любимое лицо, тысячи раз ему грезившееся, озаряется улыбкой. «Ах, это вы — китаец!» Презрительная кличка — это все, что осталось в памяти Анджели́ Пьетрагруа от ее романтического поклонника. Но Анри Бейлю уже не семнадцать лет, и он не новичок; смело и страстно признается он в своей прежней любви к ней, и в любви настоящей. «Почему же вы тогда мне не сказали?» — изумляется она. Она, оказывается, охотно пошла бы ему навстречу в такой мелочи, ничего не стоящей для женщины с сердцем; к счастью, и теперь не поздно, и вскоре романтик получает возможность, правда с опозданием на одиннадцать лет, распорядиться, чтобы на его помочах вышили дату любовной победы над Анджелой Пьетрагруа — 21 сентября, днем, в половине двенадцатого.

Но потом барабаны еще раз потребовали его назад, в Париж.

Еще раз, в последний раз, в 1814 году, пришлось ему, ради неистового корсиканца, управлять провинциями и защищать отечество, но, к счастью, появились в Париже три императора, — к счастью, ибо Анри Бейль, никуда не годный француз, смертельно рад, что пришел конец войнам, хотя бы и в результате поражения. Наконец-то и окончательно может он отбыть в Италию, навсегда освободившись от всяческих должностей и отечеств.

Чудесные годы, всецело отданные музыке, женщинам, разговорам, творчеству, искусству! Годы, проведенные с возлюбленными, правда, с такими, которые позорно обманывают, как чрезмерно щедрая Анджела, или отвергают из целомудрия, как прекрасная Матильда. И все-таки годы, в которые все больше и больше чувствуешь и познаешь свое «я», каждый вечер заново омываешь душу музыкой в Скала, наслаждаешься порой беседой с благороднейшим поэтом современности, г-ном Байроном, и вбираешь в себя все красоты страны, все богатства художественного творчества на пространстве от Неаполя до Равенны. Никому не подчинен, никого поперек дороги, сам себе господин и в недалеком будущем — мастер! Несравненные годы свободы! «*Evviva la Libertà!*»*

1821 год. Париж. *Evviva la Libertà*? Нет, невыгодно теперь толковать о свободе в Италии, австрийские власти сильно морщатся при этом слове. Не следует также писать книг, ибо если даже они представляют чистейший плагиат, как «Письма о Гайдне», или на три четверти списаны с других авторов, как «История итальянской живописи» или «Рим, Флоренция и Неаполь», то все-таки, сам того не замечая, рассыплешь кое-где между страниц некоторое количество перца и соли, а это щекочет нос австрийским властям; и тогда строгий цензор Вабрушек (лучше имени не придумать, но, Бог свидетель, так его и зовут!) не замедлит поставить в известность министра полиции Седлницкого о «бесчисленных предосудительных местах». В

* Да здравствует свобода! (фр.)

результате человеку свободомыслящему и свободно выбирающему себе место жительства угрожает опасность быть принятым австрийцами за карбонария, а итальянцами — за шпиона, а потому лучше, поступившись еще одной иллюзией, показать пятки. И потом, для свободы еще кое-что нужно, а именно деньги, а этот ублюдок-отец (Бейль редко именует его более вежливо) доказал теперь с полной ясностью, какой он был, при всей своей скупости и трудолюбии, круглый дурак — не сумел даже оставить небольшой ренты своему отщепенцу-сыну. В Гренобле задохнешься от скуки, а приятным прогулкам в тылу армии пришел конец, с тех пор как грушевидные головы Бурбонов жирно и лениво отпечатались на монетах. Итак, назад в Париж, в мансарду. То, что было до сих пор только удовольствием и любительством, станет отныне работой: писать книги, книги, книги.

1828 год. Салон мадам де Траси, супруги философа.

Полночь. Свечи почти догорели. Мужчины играют в вист, мадам де Траси, пожилая дама, болтает, сидя на софе, с гостьей-маркизой и с одной из подруг. Но она слушает рассеянно, все время беспокойно настораживаясь. Сзади, из другой комнаты, где камин, доносится подозрительный шум, пронзительный женский смех, сопровождаемый приглушенным мужским басом, потом вновь возмущенные выкрики «*Mais non, c'est trop!*»* — и вновь этот внезапный, быстро подавляемый, странный смех. Мадам де Траси нервничает: конечно, это несносный Бейль опять угощает дам пикантными разговорами. Умный и тонкий человек, оригинальный, занимательный; но близость с актрисами и в частности с этой итальянкой, мадам Паста, повлияла на его манеры. Она просит извинения и спешит в другую комнату навести порядок. В самом деле, он здесь: стоит со стаканом пунша в руке, подавшись в тень камина с явной целью скрыть свою тучность, и сыплет анекдотами, от которых покраснеет мушкетер. Дамы готовы обратиться в бегство, они

* Нет, это слишком! (фр.)

смеются и протестуют, но, захваченные талантом рассказчика, не в силах сдержать любопытство и волнение, все-таки остаются. Он подобен Силену, раскрасневшийся и тучный, с искрящимися глазами, отражающими благодушие и мудрость; увидев мадам де Траси, он под ее строгим взглядом разом обрывает речь, и дамы, пользуясь удобным случаем, со смехом покидают комнату.

Вскоре огни гаснут; лакеи с подсвечниками в руках провожают гостей вниз по лестнице; у подъезда ждут три-четыре экипажа, дамы садятся со своими спутниками; Бейль, мрачный, остается один. Ни одна не берет его с собой, ни одна не приглашает его. Как рассказчик анекдотов он еще хорош, в остальном не представляет для женщин никакого интереса. Графиня Кюриаль дала ему отставку, а на танцовщицу не хватает денег. Понемногу стариться. Угрюмо шагает он под ноябрьским дождем к своему дому на улице Ришелье; не беда, если костюм запачкается, портному все равно не заплачено. Вообще, вздыхает он, лучшее в жизни позади, нужно бы, собственно говоря, положить конец. Он взбирается сердито на верхний этаж (одышка при его короткой шее уже дает себя знать), зажигает свечу, роется в бумагах и счетах. Печальный баланс! Состояние прожито, книги не приносят никакого дохода; в течение нескольких лет его «Апоиц» разошелся ровным счетом в числе двадцати семи экземпляров. «Можно сказать, священная книга: никто не решается до нее дотронуться», — цинично пошутил вчера издатель. Остаются пять франков ренты в день, может быть, и много для хорошенького мальчика, но убийственно мало для пожилого, тучного мужчины, любящего свободу и женщин. Лучше бы всего положить конец. Анри Бейль берет чистый лист бумаги большого формата и четвертый раз в этом меланхолическом месяце ноябре пишет завещание: «Я, нижеподписавшийся, завещаю своему двоюродному брату Ромэну Коломбу все, что мне принадлежит в моей квартире, улица Ришелье, 71. Прошу отвезти меня прямо на кладбище. Погребение не должно стоить дороже тридцати франков». И приписка: «Прошу прощения у Ромэна Коломба за

причиняемые ему хлопоты; также прошу не скорбеть по поводу неизбежного конца».

«По поводу неизбежного конца» — друзья поймут эту осторожную фразу завтра, когда их призовут и окажется, что пуля из армейского револьвера перекочевала в его черепную коробку. Но, по счастью, Анри Бейль устал сегодня, он откладывает самоубийство до следующего вечера; а утром приходят друзья и поднимают его настроение. Разгуливая по комнате, один из них видит на письменном столе белый лист с заголовком «Жюльен». «Что это?» — спрашивает он с любопытством. «Ах, я хотел начать роман», — поясняет Стендаль. Друзья воодушевляются, подбадривают меланхолика, и он в самом деле начинает роман. Заглавие «Жюльен» зачеркивается и заменяется другим, снискавшим впоследствии бессмертие: «Красное и черное». И действительно, с Анри Бейлем с этого дня покончено: возник другой, на вечные времена, и имя ему Стендаль.

1831 год. Чивитта-Веккия. Новое превращение.

Канонерские лодки салютуют, приветственно развеваются флаги, — тучный господин в величественной форме французского дипломата сходит с парохода на пристань. Всяческое почтение! Этот господин, в расшитом жилете и панталонах с позументами, — французский консул, Анри Бейль. Переворот снова выручил его: когда-то — война, а теперь — Июльская революция. Либерализм и неуклонная оппозиция глупым Бурбонам принесли пользу: благодаря усердной женской поддержке он сразу же назначен консулом на любимом юге; собственно говоря, в Триест, но, к несчастью, господин фон Меттерних признал пребывание там автора вредных книг нежелательным и отказал в визе. Приходится, таким образом, представлять Францию в Чивитта-Веккии, что менее приятно; но все-таки это Италия, и годовой оклад жалованья — пятнадцать тысяч франков.

Стыдно, может быть, сразу же не указать на карте, где находится Чивитта-Веккия? Отнюдь не стыдно: из всех итальянских городов это самое унылое гнездо, раскаленный добела

котел, где вскипает под африканским солнцем африканская лихорадка, узкая, забитая песком гавань времен древнеримских парусных судов, выпотрошенный город, мрачный, скучный и пустынный: «с тоски подохнешь». Больше всего нравится Анри Бейлю в этом ссыльном пункте почтовая дорога в Рим, потому что длина ее — всего семнадцать миль, и г-н Бейль сразу же решает пользоваться ею чаще, чем своими консульскими прерогативами. Ему, собственно, следует работать, сочинять донесения, заниматься дипломатией, пребывать на своем посту, но ведь эти ослы из министерства иностранных дел все равно не читают его отчетов. К чему же тратить духовную энергию на чиновников, — лучше свалить все дела на своего подчиненного, пройдоху Лизимаха Кафтанглиу Тавернье, злобную бестию, которая его ненавидит и которой придется выхлопотать орден Почетного легиона, чтобы негодяй не драл глотку по поводу его частых отлучек. Ибо и здесь Анри Бейль предпочитает относиться к своей службе не слишком серьезно: обманывать государство, которое загоняет своих писателей в такое болото, — это, по его мнению, долг чести для всякого уважающего себя эгоиста; не лучше ли осматривать римские галереи в обществе умных людей и под всякими предложениями мчаться в Париж, чем увядать здесь медленно и верно? Разве мыслимо ходить все к одному и тому же антиквару, к синьору Буччи, и беседовать все с теми же полудворянами? Нет, уж лучше беседовать с самим собой. Разыскать в старых библиотеках и купить несколько томов хроник и лучшее использовать для новелл; в пятьдесят лет рассказывать самому себе, как ты юн душой. Да, это самое лучшее — заглянуть внутрь самого себя, чтобы забыть о времени. И таким далеким кажется солидному, тучному консулу изображаемый им робкий мальчик из далекого прошлого, что, сидя за письменным столом, он помышляет об «открытиях относительно другого». Так пишет г-н Бейль, *alias** Стендаль, о своей юности, зашифровав ее, чтобы никто не догадался, кто этот А.Б., этот Анри Брюлар; и в

* Иначе (*фр.*).

радужно обманной игре самоомоложения забывает сам о себе, всеми забытом.

1836—1839 годы. Париж.

Поразительно! Еще раз воскресение, еще раз возврат к свету. Благословение Божье женщинам, все доброе от них! — они так неутомимо льстили великолепному графу де Моле, ставшему министром, что он соизволил, наконец, закрыть глаза на то противное интересам государства обстоятельство, что г-н Анри Бейль, являющийся, собственно говоря, консулом в Чивитта-Веккии, растянул, нагло и ни слова не говоря, свой трехнедельный отпуск до трехлетнего и не думает возвращаться на свой пост. Да, три года консул, вместо своего болота, сидит в Париже, предоставив орудовать на юге мошеннику-греку, и получает здесь полное содержание; у него свободное время и хорошее настроение, он может посещать общество и еще раз, теперь уже очень робко, искать любовного знакомства.

Он может делать что угодно и, главное, то, что представляется ему лучшим в жизни: ходить взад и вперед по комнате, отеля и диктовать роман, «Пармский монастырь». Ибо при крупном окладе и не служа можно равнодушно относиться к глупым издателям, выплачивающим таким пустым болтунам, как г-н Шатобриан, сотни тысяч и торгующимся с ним из-за лишнего франка. Можно позволить себе роскошь идти против течения, писать без приторной сладости и без цветочных ароматов, потому что ты свободен. А для Анри Бейля нет иного неба над землей, как свобода.

Но небо это внезапно обрушивается. Славный и снисходительный министр, граф де Моле, его покровитель — пора бы воздвигнуть ему памятник! — смещен, и в министерстве иностранных дел появляется новый властитель, маршал-солдат Сульт. Он ничего не знает о Стендале и видит в списках только консула Анри Бейля, которому платят за представительство в Папской области и который взамен этого три года благоденствует в парижских театрах. Генерал сначала изумляется, потом обрушивает свой гнев на ленивца, жуирующего вместо того, чтобы корпеть над актами. Следует строгий приказ вы-

ехать без промедления. Анри Бейль, брюзжа, облачается в мундир и совлекает с себя писателя Стендаля; усталый и недовольный, он в пятьдесят четыре года, под палящим летним солнцем, снова должен отправиться в изгнание; и он чувствует — в последний раз!

22 марта 1841 года. Париж.

Крупный, тяжеловесный мужчина с трудом тащится по любименному своему бульвару. Но где то блаженное время, когда он любовался здесь женщинами, кокетливо, как денди, размахивая изящной тростью? Теперь, при каждом шаге, дрожащая его рука опирается на твердую палку. Как постарел он, Стендаль, за последний год! Когда-то блестящие глаза блекло глядят из-под тяжелых синеватых век, нервный тик сводит губы. Несколько месяцев назад его впервые поразил удар, страшное напоминание о первом любовном даре, давно когда-то полученном в Милане: ему пустили кровь, мучили мазями и микстурами, и, наконец, министерство согласилось на отъезд его из Чивитта-Веккии. Но что значат Париж, восторженная статья Бальзака о «Пармском монастыре» и первые, робкие ростки славы для человека, которого «однажды уже коснулось ничто», к которому простерла свои костлявые пальцы смерть?.. Устало тянется печальная человеческая тень к своему жилищу, едва взирая на быстрые, блестящие экипажи, на празднично болтающих пешеходов, на кокоток, шуршащих шелком, — медленно продвигающееся черное пятно грусти на блестящем световом экране переполненной по-вечернему улицы.

Внезапно собирается толпа, теснятся любопытные: толстый господин свалился навзничь у самой Биржи и лежит, с выпученными глазами и с синим лицом, — его сразил второй, смертельный удар. Слабый хрип вырывается у него из горла, в то время как шею его освобождают от тесного воротника; его относят в аптеку, а потом наверх, в маленькую комнату отеля, заваленную бумагами, заметками, начатыми трудами и тетрадями дневников. И в одной из них находят внушенные странным прозрением слова: «Не вижу ничего смешного в том, чтобы умереть на улице, если только это не преднамеренно».

1842 год. Ящик.

Громадный деревянный ящик, подпрыгивая, продвигается малой скоростью из Чивитта-Веккии, через всю Италию, во Францию. Его везут к Ромэну Коломбу, двоюродному брату Стендаля и душеприказчику, который из чувства долга (ибо кто еще вспомнит о покойнике, удостоенном газетами некролога в шесть строчек) думает издать полное собрание сочинений этого чудака. Он велит вскрыть ящик; Боже, что за избыток бумаги, испещренной притом шифрами и условными знаками, какой скучный писательский хлам! Он выуживает две-три наиболее подходящих, разборчивых рукописи и снимает с них копии; потом и этот преданный человек устает. На романе «Люсьен Левен» он делает скорбную пометку — «Не годится»; а также и автобиография «Анри Брюлар» откладывается в сторону, как неподходящая; и это на десятилетия. Что же делать теперь со всем этим «fatras», с никому не нужной грудой бумаги? Коломб снова укладывает все в ящик и посылает к Крозе, другу юности Стендаля, а Крозе переправляет ящик в гренобльскую библиотеку, на вечное упокоение. Там, согласно исконному библиотечному обычаю, к каждой из отдельных рукописей приклеиваются нумерованные ярлыки, штампелюются и вносятся в реестр: *Requiescant in pace!**

Шестьдесят томов *in folio*, труд всей жизни Стендаля и запечатленная им самим жизнь, стоят, схороненные по уставу, в обширной книжной усыпальнице и могут без помехи превращаться в пыль. Ибо в течение сорока лет никому не приходит в голову пачкать пальцы плесенью уснувших фолиантов.

Ноябрь 1888 года. Париж.

Население прибывает, город неудержимо ширится. В Париже восемь миллионов человеческих ног, которые не желают ходить пешком; и Общество парижских omnibusов задумывает новую линию на Монмартр. На пути встречается досадное препятствие, Монмартрское кладбище; что же, техника справится

* Да починут в мире! (*фр.*)

с этим препятствием, можно соорудить над мертвыми мост для живых. Правда, при этом нельзя не потревожить несколько могил; и вот, в четвертом ряду, под номером одиннадцатым, находят забытую, запущенную могилу с забавной надписью: «Arrigio Beyle, Milanese, visse, scrisse, amò»*.

Итальянец на этом кладбище? Странная надпись, странный покойник! Случайно кто-то из мимо идущих вспоминает, что был когда-то французский писатель Анри Бейль, изъявивший желание быть похороненным в таком чуждом обличье. Наскоро организуют комитет и собирают некоторую сумму, чтобы приобрести новую мраморную доску для старой надписи. И вот заглохшее имя снова зазвучало внезапно над истлевшим телом, в тысяча восемьсот восемьдесят восьмом году, после сорока шести лет забвения.

И странный случай: в том самом году, когда вспоминают о его могиле и вновь извлекают тело из недр земли, молодой польский преподаватель языков, Станислав Стриенский, заброшенный в Гренобль и отчаянно скучающий там, роется как-то в библиотеке и, увидев в углу старые, запыленные рукописные фолианты, начинает их читать и расшифровывать. Чем больше он читает, тем интереснее становится материал; он ищет и находит издателя; появляются на свет дневник, автобиография «Анри Брюлар» и «Люсьен Левен», а вместе с ними, впервые, и подлинный Стендаль. Его истинные современники восторженно узнают в нем брата по душе, ибо он трудился не для своей эпохи, а для грядущего, следующего поколения. «Я стану знаменит около 1880», — часто встречается в его книгах, в то время незначашие слова, обращенные в пустоту, ныне потрясающая действительность. В то самое время, когда прах его извлекается из глубины земли, восстает из мрака минувшего и труд его жизни; с точностью почти до года предсказал свое воскресение тот, кто внушал вообще так мало доверия, — поэт всегда и в каждой своей строке, а в этих строках еще и пророк.

* Арриджио Бейле, из Милана. Жил, писал, любил (*ит.*).

«Я» И ВСЕЛЕННАЯ

Он не мог нравиться, в нем не было цельности.

Творческая раздвоенность является в Анри Бейле прирожденной; уже родители его представляют собой две разнородные, мало подходящие друг к другу личности. Шеркюбэн-Бейль — при этом имени отнюдь не следует вспоминать Моцарта! — отец, или *bâtard*, как именует его злобно Анри, его ожесточенный сын и враг, являет собой законченный тип крепкого, коренастого, житейски умного, окаменевшего в денежных расчетах провинциального буржуа, каким пригвоздили его Флобер и Бальзак гневной своей рукой к позорному столбу литературы. От него Анри Бейль унаследовал не только физическое строение — массивность и тучность, но и эгоистическую одержимость плоти и духа. Иное дело его мать, Анриетта Ганьон, женщина южнороманского происхождения и, с точки зрения психологии, чисто романский тип. Натура южная, порывисто чувствительная, тонко музыкальная, она могла бы представлять собой персонаж ламартиновского творчества или сентиментализма Жан-Жака Руссо. Ей, рано умершей, обязан Анри Бейль своей страстностью в любви, неистовостью чувства, болезненной и почти женской нервной восприимчивостью. Непрерывно толкаемый в противоположные стороны этими двумя разнородными струями в своей крови, Анри, порожденные глубоко различных характеров, всю жизнь колеблется между материнским и отцовским наследством, между романтикой и реализмом; будущему писателю навсегда суждено сохранить двойственность и расколотость мироощущения.

Как тип резко реагирующий, маленький Анри определился очень рано: он любит мать (любит даже, как он сам признается, с подозрительной страстностью преждевременно созревшего чувства) и ненавидит отца, «*father'a*», ревниво и презрительно, испански холодной, цинически мрачной, пытливо инквизиторской ненавистью; едва ли найдется для психоанализа более

совершенный «эдипов комплекс», чем тот, что запечатлен на первых страницах стэндалевской автобиографии «Анри Брюлар». Но эта преждевременная напряженность чувства внезапно обрывается: мать умирает, когда Анри минуло семь лет; а на отца своего мальчик склонен смотреть, как на умершего, с того момента, как покидает в шестнадцатилетнем возрасте, в почтовом дилижансе Гренобль; с этого дня он считает его умерщвленным и схороненным своим молчаливым презрением, своей ненавистью. Но и засыпанный щелочью, залитый известковой жидкостью пренебрежения, его жилистый, расчетливый, деловитый буржуа-отец Бейль пятьдесят лет еще продолжает жить под телесной оболочкой Анри Бейля и повелевать его кровью; пятьдесят лет борются в нем праотцы двух враждующих душевных рас, Бейли и Ганьоны, дух делovitости и дух романтизма, и ни тот, ни другой не могут взять верх. В эту вот минуту Стендаль — истинный сын своей матери; но в следующую, а часто и в ту же самую он уже сын своего отца; то он робко застенчив, то иронически тверд, то романтически мечтателен, то настороженно деловит, то музыкально меланхоличен, то логически неуязвим; даже в неуловимый промежуток между двумя секундами жар и холод вступают в нем в яростное противоборство, бурлят и подавляют друг друга в непрестанном приливе и отливе. Чувство берет верх над рассудком, интеллект ставит препоны восприятию. Нет момента, чтобы это дитя противоречий принадлежало одной какой-нибудь сфере; в извечной войне ума и чувства редко имели место битвы более величественные, чем та грандиозная психологическая борьба, которую мы именуем Стендалем.

Следует оговорить сразу же: борьба не решающая, не смерть. Стендаль не побежден, не растерзан своими противоречиями; от рокового исхода эта эпикурейская натура защищена своеобразным моральным равнодушием, холодным настороженным любопытством. В продолжение всей жизни этот бдительный дух умеет уклоняться от разрушительных, демонических сил, ибо первое правило его мудрости — самосохранение; и подобно тому как на войне настоящей, наполеонов-

ской, он всегда находил возможность оставаться в тылу, вдали от перестрелки, так и в битве душевной Стендаль охотнее держится спокойной позиции наблюдателя, чем передовых позиций, где борьба идет не на жизнь, а на смерть.

В нем нет вовсе духа последнего, морального самоотречения, свойственного Паскалю, Ницше, Клейсту, которые каждый свой душевный конфликт доводят до решающего конца; он, Стендаль, довольствуется тем, что, переживая чувственный конфликт, страхует себя духовно, созерцая этот конфликт как эстетическое зрелище. Поэтому в существе своем он не потрясается противоречиями; он даже к своей раздвоенности не питает ненависти, даже любит ее. Он любит свой алмазотвердый, точный ум, как нечто очень ценное, потому что он дает ему понимание мира и в разгаре чувственных смятений ставит им точные и безусловные пределы.

Но, с другой стороны, Стендаль любит и чрезмерность своего чувства, свою сверхвпечатлительность, потому что она отрешает его от тупых и пошлых будней, потому что эти внезапные эмоции, подобно музыке, высвобождают душу из тесной темницы тела и уводят ее в бесконечное. Точно так же ведомы ему и опасности этих двух жизненных полюсов: свойственная интеллекту способность сообщать трезвость и холодность самым высоким мгновениям — и присущее чувству стремление увлекать слишком далеко в расплывчатость и недостоверность и тем самым губить ясность, являющуюся для него условием жизни. И он охотнее всего придал бы каждому из этих душевных складов черты другого; неустанно пытается Стендаль сообщить интеллектуальную ясность своему чувству и внести страстность в свой интеллект, до конца жизни соединяя под одной напряженной и восприимчивой оболочкой романтического интеллектуалиста и интеллектуального романтика.

Таким образом, каждая формула Стендаля содержит две переменных, никогда не сводясь к одной из них; только в такой двойственности мировосприятия проявляет он себя до конца. Достижения его интеллекта, взятого отдельно, оказались бы невысоки, как и лирическое напряжение его чувства; его наи-

более сильные моменты вытекают именно из воздействия и взаимодействия его природных противоречий. «Lorsq'il n'avait pas d'émotion, il était sans esprit», — говорит он себе, то есть: он не может правильно мыслить, не получив чувственного возбуждения; но вместе с тем он не может и чувствовать, без того чтобы не проверить тотчас же биение своего собственного сердца. Он обожествляет грезы, как ценнейшее условие своего жизненного чувства, и не может вместе с тем жить без противоядия их, без бдительной настороженности. Ему дорог в себе, таким образом, и острый интеллектуалист, и не знающий меры романтик, и прежде всего дорого ему вибрирующее, до истоков нервов доходящее взаимодействие этих противоречий. Подобно тому, как Гете признается однажды, что понятие, именуемое в просторечии наслаждением, «заключено для него где-то между чувственностью и разумом», так и Стендаль только благодаря огненному смещению духа и крови воспринимает всю красоту мира. Он знает, что только от постоянного трения друг о друга его контрастов возникает то душевное электричество, то пощипывание и те искры в нервных клетках, та напряженная, покалывающая, потрескивающая жизненность, которую мы и сейчас чувствуем, взяв в руки любую книгу, любую страницу Стендаля; только благодаря этому межполюсному жизненному потоку вызывает он в себе творческую светоизлучающую силу, и его никогда не слабеющий инстинкт самовозвышения страстно поддерживает необходимое высокое напряжение. В ряду своих бесчисленных и выдающихся наблюдений в области психологии он высказывает однажды замечательное: подобно тому, как мускулы нашего тела нуждаются в постоянной гимнастике, чтобы не ослабнуть, так должны быть непрестанно упражняемы, развиваемы и заново образуемы и психические силы; этот труд самосовершенствования Стендаль выполнял более упорно и последовательно, чем кто-либо. Он холит и лелеет обе стороны своего существа для познания жизни с такой же любовью, как артист свой инструмент, как солдат свое оружие; неукоснительно тренирует он свое «я». Чтобы поддержать высокое напряжение чувства, он ежевечерне подо-

гревает свою экспансивность оперной музыкой и, будучи уже пожилым, намеренно ищет для самовозбуждения новой влюбленности. Заметив признаки ослабления памяти, он, для укрепления ее, проделывает специальные упражнения; как бритву по утрам, оттачивает он на ремне самонаблюдения свою способность правильного восприятия. При помощи книг и бесед он старается обеспечить себе ежедневный подвоз новых идей; он нагружается, возбуждается, напрягается и самоограничивается в целях все более и более тонкой настроенности; неутомимо точит он свой ум, облагораживает чувство.

Благодаря такой мудрой и изощренной технике самосовершенствования Стендаль как интеллектуально, так и эмоционально достигает совершенно необычной степени душевной утонченности. Нужно обратиться к исчисляемой десятилетиями давности в мировой литературе, чтобы найти писателя с такой тонкой восприимчивостью и одновременно с таким острым умом, столь обнаженную, нервно организованную чувствительность наряду с холодным и чистым, как лед, интеллектом. Правда, такая душевная организация не достается безнаказанно; тонкость всегда означает легкую уязвимость, и то, что для искусства является благом, почти всегда обращается для художника в бедствие.

Как страждет эта сверхорганизованная натура, Стендаль, среди окружающего мира, как угрюм он, как чужд своей слезливой патетической эпохе! Столь интеллектуальное чувство такта должно оскорбляться каждым проявлением духовной ограниченности, такую романтическую душу кошмаром гнетут толстокожесть и моральная тупость среды. Как принцесса в сказке чувствует горошину под сотней перин и одеял, так и Стендаль болезненно воспринимает каждое неискреннее слово, каждый обманный жест. Всякая лжеромантика, всякое грубое преувеличение и трусливое замалчивание действуют на его изощренный инстинкт, как холодная вода на больной зуб. Ибо свойственное ему чувство искренности и естественности, его духовная мудрость страдают как от избытка, так и от недостатка чужой восприимчивости, как от пошлости, так и от напыщен-

ности. Одна фраза, переслащенная чувством или вспучившаяся на дрожжах патетики, может испортить ему всю книгу, одно неудачное движение отравит всякое любовное приключение.

Случилось однажды в волнении наблюдать одну из наполеоновских битв: нагромождение смертей, грохот орудий, нечаянная игра заката на фоне багровых туч — все это действует на его артистическую душу неотразимо-пьяняще. Он стоит, содрогаюсь от участливого волнения. И тут, по несчастью, одного из генералов осеняет мысль отметить это потрясающее зрелище каким-нибудь значительным словом. «Битва гигантов!» — говорит он, довольный, своему соседу, и это неуклюже-патетическое определение разом отнимает у Стендаля всякую возможность дальнейшего восприятия. Он торопливо уходит, огорченный, разочарованный, ограбленный, проклиная остолопа-генерала; и всякий раз, как его непомерно чувствительное небо приметит малейший привкус фразы или лжи в изъяснении чужого чувства, его собственное чувство такта возмущается.

Неясное мышление, многословие, всякое афиширование и выпячивание вызывают у этого гения чувствительности эстетическую тошноту; искусство современников доставляет ему мало удовольствия только потому, что оно принимает чересчур уж слащаво-романтические (Шатобриан) или псевдогероические (Виктор Гюго) позы; по той же причине не выносит он большинства людей. Но эта экзальтированная сверхчувствительность оборачивается в той же степени и против него самого. Всякий раз, когда он поймает себя на малейшем уклонении от нормы, на ненужном *crescendo*, на соскальзывании в сентиментальность или на трусливом размазывании и нечестности, он сам себя бьет по пальцам, как строгий учитель. Его вечно бодрствующий и неумолимый разум крадется за ним по пятам в его самых затаенных мечтаниях и беспощадно срывает с него все защитные покровы. Редкий художник столь основательно воспитывал в себе честность, редкий блюститель душ столь сурово сторожил свои затаеннейшие и извилистые пути.

Зная себя так хорошо, Стендаль лучше всякого другого понимает, что эта чрезмерная нервная и интеллектуальная чув-

ствительность — его гений, его добродетель и вместе с тем угроза для него. «*Ce que ne fait qu'effleurer les autres, me blesse jusqu'au sang*» — то, что лишь слегка затрагивает других, глубоко ранит его, чрезмерно восприимчивого. И поэтому Стендаль с юности, инстинктивно, воспринимает этих «других» «*les autres*», как полярную противоположность своему «я», как представителей чуждой душевной расы, с которыми у него нет общего языка и какой-либо возможности столковаться. Это «другое» с ранних лет почувствовал на себе в Гренобле маленький, неуклюжий, неприветливый от застенчивости мальчик, глядя, как шумно веселятся его беззаботные товарищи по школе; еще болезненнее испытал это на себе впоследствии новоиспеченный унтер-офицер Анри Бейль в Италии, когда, мучительно завидуя и не в силах подражать, он изумлялся умению других офицеров укрощать миланских дам и велеречиво, с сознанием собственного достоинства, греметь саблями. Но в то время он еще стыдился своей изнеженности, молчаливости, способности краснеть, своей застенчивости и чувствительности, считая это недостатком для мужчины, досадным пороком.

Годами пытался он — глупо и без всякого результата! — пересилить свою природу, подражать шумной и хвастливой черни и впутывался в глупейшие героические истории, чтобы только казаться похожим на этих бойких парней и произвести на них впечатление. Лишь постепенно, с трудом находит он в своей неизлечимой отчужденности какое-то меланхолическое очарование. Крайне неудачливый у женщин, благодаря своей робости и неуместным припадкам целомудрия, он начинает, со свойственными ему вниманием и остротой, допытываться у самого себя о причинах своего неуспеха; в нем пробуждается психолог. Почувствовав любопытство к самому себе, он начинает делать относительно себя открытия. Прежде всего Стендаль устанавливает, что он не такой, как другие: тоньше, чувствительнее, проникновеннее. Никто кругом не чувствует так страстно, никто так четко не мыслит, никто не создан так своеобразно, что, воспринимая все до тонкости, не способен вместе с тем добиться на практике самых ничтожных резуль-

татов. Несомненно, должны существовать и другие люди этой замечательной разновидности, «высшие существа», ибо как мог бы он понимать Монтеня, острый, глубокий ум, чуждый всему плоскому и грубому, если бы не был той же породы; как мог бы он чувствовать Моцарта, если бы та же душевная легкость не владела ими обоими. И вот в тридцать лет Стендаль впервые начинает подозревать, что он вовсе не неудачный экземпляр человеческой породы, а, скорее, экземпляр особый, родственный, может быть, редкой и благородной расе тех привилегированных существ, которые встречаются во всех странах, у всех народов, вкрапленные в них, как благородные камни в простую породу. Он чувствует себя их соотечественником (общность с французами он отвергает, как ставшее чересчур тесным платьем), разделяющим другую, незримую родину с людьми с гораздо более тонкой душой и нервной системой, которые никогда не собираются в бесформенные толпы или деловые шайки и лишь время от времени посылают эпохе своего полномочного представителя. Для них одних, для «*harpu few*»*, для проникновенных знатоков жизни с острым зором и тонким слухом, которые прочтут и неподчеркнутое и инстинктом сердца понимают всякий знак и всякое мгновение, для них пишет он, через головы своих современников, свои книги, им одним открывает он тайнопись своего чувства. С тех пор как он научился презрению, какое ему дело до шумной, громкоголосой черни, которой в глаза бросаются только яркие, грубо намалеванные плакаты, которой по вкусу только жирное и пересоленное? «*Que m'importent les autres?*» — какое мне дело до других, гордо говорит его Жюльен, но это крик его собственного сердца. Нет, не стыдиться того, что не имеешь успеха в таком подлом и пошлом мире, у этих тяжеловесов и тяжелодушмов; нужно быть на одном уровне, чтобы соответствовать этому сброду, но, слава Богу, ты существо высшее, ты единственный, особенный индивидуум, дифференцированная личность, а не баран из стада. Все внешние унижения — служебные тернии,

* Счастливые меньшинство (англ.).

неудачи у женщин, полнейший неуспех в литературе — Стендаль, после этого открытия, воспринимает с каким-то изощренным торжеством, как признак своего превосходства. Прежнее чувство приниженности победно переходит в надменность, тонко проявляемую и заметную только для посвященных, величественно-безмятежную стендалевскую надменность. Сознательно он отдалается теперь все больше и больше от тесного общения с людьми и занят только одной мыслью — «*de travailler son caractère*», выработать себе определенный характер, свою собственную душевную организацию. Только своеобразии имеет ценность в этом американизированном, тейлоризованном мире, «*il n'y a pas d'intéressant que ce qui est un peu extraordinaire*» — так будем своеобразны, укрепим в себе корень самобытности! Ни один голландец, из числа помешанных на тюльпанах, бережнее не лелеял редкой, путем скрещивания полученной породы, чем Стендаль свое своеобразие и свою двойственность; он обрабатывает их своей особой духовной эссенцией, которую называет «бейлизмом», т. е. философией, равнозначной искусству сохранения в Анри Бейле того же Анри Бейля неприкосновенным.

Он отгораживается колючим плетнем своеобразия и всяческих мистификаций, охраняет сокровищницу своего «я» с фанатизмом скряги и едва-едва позволяет кому-либо из друзей бросить беглый взгляд через окно и решетку во внутренние свои покои. Только для того, чтобы прочнее уединиться от всех других, он вступает в сознательную оппозицию своей эпохе и, как его Жюльен, живет в войне со всем обществом. В области поэзии он презирует высокую форму и объявляет свод гражданских законов образцом «*artis poeticae*»*, в качестве солдата глумится над войной, как политик иронически относится к истории, как француз издевается над французами; везде и всюду отгораживается он от людей окопами и колючей проволокой, только чтобы они не подошли к нему на слишком близкое расстояние. Само собой понятно, что на этом пути ему

* Поэтического искусства (фр.).

приходится отказаться от всякой карьеры, от успеха на военном, дипломатическом, литературном поприще, но это только усиливает его гордость: «Я не баран из стада, стало быть, я, — ничто»; да, только бы быть ничем для этих плебейских душ, остаться ничем для этих ничтожеств. Он счастлив, что не подходит ни к каким их классам, расам, сословиям, отечествам; он в восторге, что на собственных своих двух ногах, двуногим парадоксом, может шествовать собственным путем, вместо того чтобы широкой дорогой удачи топтать среди этого подъяремного, рабочего скота. Лучше отстать, лучше стоять в стороне одному, только бы остаться свободным.

И Стендаль гениально умел оставаться свободным, освобождаться от всякого принуждения и влияния. Если в силу крайности ему приходится принять какую-нибудь должность, надеть форму, то он дает только минимум необходимого для того, чтобы удержаться у общественного корыта, и ни на грош больше. На всякой должности, при всякой профессии, чем бы он ни занимался, умеет он, действуя ловкостью и притворством, оставаться совершенно свободным и независимым. Облачит его кузен Дарю в гусарский доломан, от этого он отнюдь не почувствует себя солдатом; пишет он роман — это не значит, что он причислил себя к профессиональным литераторам; если ему приходится надеть шитый мундир дипломата, он в служебные часы сажает за письменный стол некоего г-на Бейля, у которого только и есть со Стендалем общего, что кожа да кости, да круглый живот. Но ни искусству, ни науке, ни тем более службе не отдает он и частицы подлинной своей сущности; и действительно, ни один из его товарищей по службе за всю жизнь не заподозрил, что проделывает строевые упражнения вместе с величайшим писателем Франции или строчит акты за одним столом с ним. И даже его знаменитые собратья по литературе (кроме Бальзака) видели в нем всего только занимательного говоруна, бывшего офицера, любительски упражняющегося в их искусстве. Из всех его современников, может быть, один только Шопенгауэр жил и творил в таком же абсолютном духовном уединении, в такой же разобщенности с

людьми и с таким же внешним неуспехом, столь же гордясь своей обособленностью, как его великий собрат в области психологии, Стендаль.

Таким образом, какая-то последняя частица стендалевской сущности оставалась все время в стороне, и единственной подлинной и постоянной заботой Стендаля было химически исследовать состав этого замечательного вещества и поддерживать его действенное напряжение. Он сам никогда не отрицал самооценности, аутоэротичности такой жизненной установки; наоборот, он хвалится своей обособленностью и именуется ее новым вызывающим словом: эгоизм. Эгоизм — не опечатка: отнюдь не следует смешивать его с его незаконнорожденным братом, плебеем с увесистыми кулаками — эгоизмом. Эгоизм попросту хочет забрать себе все, что принадлежит другим, у него алчные руки и искаженный завистью облик. Он недоброжелателен, невеликодушен, ненасытен и даже примесь духовных влечений не спасает его от врожденной грубости восприятия, не окрашенного фантазией. Стендалевский же эгоизм ни от кого ничего не хочет, он с аристократической надменностью оставляет корыстным — их деньги, тщеславным — их власть, карьеристам — их ордена и значки, литераторам — мыльные пузыри их славы: пусть блаженствуют! Он презрительно улыбается сверху вниз, глядя, как они тянут руки за золотом, подобострастно гнут спину, украшаются титулами, наспивываются отличиями, как они сбиваются в группы и группочки и тщатся управлять миром. «Пусть получают!» — иронически улыбается он, без зависти и без алчности: пусть набивают себе карманы и животы! Эгоизм Стендаля — это лишь страстная самозащита; он не проникает в чужие владения, но и за свой порог не пускает никого. Он ограждает себя китайской стеной от всякого постороннего влияния, от всякой возможности проникновения в его душу чужих идей, мыслей, суждений; свой чисто личного порядка спор с миром разрешает он в благородном поединке, к которому чернь не имеет доступа. Его эгоизму свойствен один только вид честолюбия — создать в душе человека, именуемого Анри Бейлем, совершенно изолирован-

ное пространство, — теплицу, где беспрепятственно может распускаться редкий тропический цветок индивидуальности. Ибо свои взгляды, свои склонности, свои восторги, свои притязания и чудачества Стендаль хочет выращивать только из себя самого и только для себя самого; ему представляется совершенно безразличным и неважным, что значит та или иная книга, то или иное событие для других; он высокомерно игнорирует воздействие данного факта на современность, мир или даже вечность; хорошим он называет только то, что ему нравится, правильным — что он в данный миг считает уместным, презренным — то, что он презирает; и его нисколько не беспокоит возможность остаться одному при своем мнении, наоборот, одиночество дарует счастье и укрепляет его самоощущение.

«Но, — могут возразить здесь несколько поспешно, — к чему такое торжественное слово «эготизм» для определения определенной из понятий? Это ведь так естественно — называть прекрасным то, что находишь прекрасным, и строить жизнь по своему личному усмотрению!» Конечно, так хочется думать, но, если присмотреться, кому удастся до конца независимо чувствовать, независимо мыслить? И кто из тех, кто составляет свое мнение о книге, картине, событии будто бы самостоятельно, обладает в дальнейшем мужеством неуклонно отстаивать его перед целой эпохой, целым миром? Все мы подвержены бессознательным влияниям в большей степени, чем мы предполагаем: воздух эпохи проникает в наши легкие, даже в сердце; наши суждения и взгляды подвергаются непрерывному трению, встречаясь с бесчисленными, одновременно существующими суждениями и взглядами, острия и лезвия их стираются и сглаживаются; атмосфера невидимо, как радиоволнами, пропитана внушением массовых идей; таким образом, естественным рефлексом человека является отнюдь не самоутверждение, а приспособление своего мирозерцания к мирозерцанию эпохи, капитуляция перед чувствами большинства. Если бы у подавляющего большинства человечества не было способности чрезвычайно легко приспособляться, если бы миллионы людей, в силу инстинкта или косности, не отка-

зывались от своих личных, частных взглядов, гигантская машина давно бы остановилась. Поэтому нужна каждый раз особая энергия, особое, мятежно напряженное мужество, — а как мало его у людей! — чтобы противопоставить этому духовному гнету в миллион атмосфер свою изолированную волю. Совершенно особые и испытанные силы должны соединиться в одном индивидууме, чтобы он мог отстоять свою самобытность: прочное знание мира, быстрый и зоркий ум, царственное презрение ко всякой стадности и кучности, не знающая моральных издержек решительность и прежде всего мужество, мужество трижды, непоколебимая, ничем не поколебимая уверенность в своей правоте.

Этим мужеством обладал Стендаль, эголист из эголистов, искушенный во многих схватках, ловкий боец и мудрый искусник, рыцарь без страха и упрека в защите своего «я». Отрадно смотреть, как смело устремляется он на свою эпоху, один против всех, как пробивается на протяжении полувека, молниеносно увертываясь и яростно нападая, не имея иного панциря, кроме своего высокомерия; не раз поражаемый, обливаясь кровью из тайных ран, он держится до последнего мгновения, не уступив и пяди своей самобытности и своего самоволия. Оппозиция — его стихия, самоутверждение — его страсть. Достаточно проследить по сотне примеров, как дерзновенно, как смело идет против общественного мнения этот непреклонный спорщик, как храбро бросает он ему вызов. В эпоху, когда все бредят битвами, когда во Франции, по его словам, «понятие героического мужества неизбежно соединяется с представлением о тамбур-мажоре», он изображает Ватерлоо как необозримую путаницу хаотических сил; он признается без стеснения, что зверски скучал во время русского похода (который военные писатели именуют эпопеей в мировой истории). Он не боится утверждать, что поездка в Италию для свидания с возлюбленной была ему важнее, чем судьба отечества, а ария Моцарта интереснее любого политического кризиса. «Il se fiche d'être conquis», плевать ему на то, что Франция занята чужими войсками, ибо, гражданин Европы и космополит, он ни на

минуту не задумывается о бешеных поворотах военного счастья, о признанных мнениях, о патриотизме (глупейшая из смехотворностей) и национализме; он думает единственно о проявлении и претворении в жизнь своей духовной природы. И это личное оттеняет он, среди ужасающего грохота мировых переворотов, так властно и любовно, что, читая его дневники, сомневаешься иногда, был ли он лично, в самом деле, свидетелем этих исторических событий.

И в некотором смысле Стендаль действительно отсутствовал даже в те моменты, когда проезжал верхом на коне по театру военных действий или сидел в своем служебном кресле: всегда он был только сам с собой и никогда не считал, что внешнее участие в событиях, не затрагивающих его душу, обязывает его все же к душевному участию; и подобно тому, как Гете в своих хрониках отмечает высокоисторические дни записями о китайской литературе, так и Стендаль, в часы исторических потрясений, заносит в свой дневник исключительно интересующие его частности личной его жизни; история его времени и его собственная история пользуются как будто разным алфавитом и разным словарем. Поэтому Стендаль представляется, в отношении окружающего его мира, свидетелем столь же мало достоверным, сколь надежен он в отношении своего внутреннего мира; для него, совершеннейшего, признанного и непревзойденного эголиста, все происходящее сводится только к вопросу об аффекте, испытываемом при этом неким единственным и неповторимым индивидуумом, Стендаль-Бейлем; может быть, никогда ни один художник не боролся за свое «я» упорнее и яростнее и не развил этого «я» в свое собственное «я» искуснее, чем этот героический себялюбец и убежденный эголист.

Но именно благодаря этой бережно хранимой замкнутости, этой тщательной и герметической упаковке стендалевская эссенция дошла до нас в чистом ее виде, не потеряв ни крепости, ни аромата. Изоляция сохраняет, подобно отпечатку доисторического папоротника на камне, сущность Стендаля, благодаря предельно отъединяющему действию его эголизма, спасе-

на от разрушительного, обезличивающего влияния эпохи и сохранена в своей подлинности. В нем, не окрашенном расцветкой времени, можем мы наблюдать человека *par excellence**, извечный индивидуум в его редкой и тончайшей разновидности, психологически отделенный от окружающей среды. И в самом деле, ни одно творение искусства и ни один характер того времени во Франции не сохранились в такой нетронутой свежести и новизне; он отверг время, и творения его действуют вневременно; он жил жизненной своей сущностью, и потому так живо его воздействие на нас. Человек, сохранивший себя до конца, сослужил человечеству такую же службу, как и тот, кто до конца себя отдал; оберегая свое «я», он оберегает неповторимый образ земной правды от всепоглощающего потока превращений. Чем более живет человек в современности, тем вернее умирает он вместе с ней. Чем более хранит в себе человек подлинную свою сущность, тем вернее сохраняется он в веках.

ХУДОЖНИК

Говоря по правде, я вовсе не уверен в том, что обладаю достаточным талантом, чтобы заставить себя читать. Иной раз мне доставляет большое удовольствие писать. Вот и все.

Стендаль — Бальзаку

Ничему не отдается Стендаль, этот ревностнейший себялюбец, до конца — ни человеку, ни профессии, ни должности. И если он создает книги, романы, новеллы, психологические очерки, то в эти книги он вписывает себя самого или, если угодно, пишет адресованные себе книги; и эта страсть служит исключительно его самоудовлетворению. Стендаль, гордящийся, по его собственным словам, тем, что «ничего никогда не делал, иначе как для собственного удовольствия», был ху-

* По преимуществу (лат.).

дожником лишь в меру сообщаемого ему этой профессией возбуждения; он служит искусству постольку, поскольку искусство служит его конечной цели: его «diletto», его приятному самочувствию, его самоудовлетворению. Невольно возникает искушение назвать его дилетантом, — если бы только высокомерие современных профессионалов не исказило первоначальный смысл слова, которое когда-то являлось искренним и почтительным обозначением аристократа духа, предающегося искусству по влечению, в силу подлинного чувства, «diletto», а не ради унылого ремесла или заработка. И если Стендаль, как писатель, приобрел значение в мире, то грубой ошибкой было бы предполагать, что сам он придавал подобное значение своему искусству. Боже, как возмутился бы этот фанатик независимости, узнав, что его причисляют к писательскому цеху, считают литератором по призванию; и совершенно самовольно, сознательно искажая последнюю волю Стендаля, его душеприказчик воплотил в камне эту литературную переоценку. «Scrisse, visse, amò», — начертал он на мраморе, в то время как в завещании указана была другая последовательность: «visse, scrisse, amò», ибо Стендаль, верный своему девизу, хотел, чтобы такой последовательностью увековечено было его предпочтение жизни перед писательством; наслаждение казалось ему важнее творчества, жизнь была ценнее, чем труд жизни, а все его писательство являлось не чем иным, как только занимательным приемом саморазвития, одним из многих тонизирующих средств против скуки. Мало знает его тот, кто не согласится с очевидностью: литература была для этого вдохновенного ценителя жизни только случайной, отнюдь не решающей формой выражения своей личности.

Правда, молодым человеком, только что прибыв в Париж, он, по предельной своей наивности, тоже хотел сначала сделаться писателем — знаменитым писателем, конечно, — но кто же в семнадцать лет не хотел того же? Он сочиняет в этот период философские трактаты, работает над комедией в стихах, которой не суждено быть законченной, но все это без особого жара и тщеславия; потом он на четырнадцать лет со-

вершенно забывает литературу, проводит время в седле или за канцелярским столом, прогуливается по бульварам, ухаживает с меланхолической безнадежностью за любимыми женщинами и думает гораздо более о живописи и музыке, чем о писательстве. В 1814 году, испытывая денежные затруднения, он наскоро, под чужим именем, выпускает книгу «Жизнь Гайдна»; вернее говоря, он нагло обкрадывает автора этой книги, несчастного итальянца Капрани, который в дальнейшем мечет громы и молнии по адресу неведомого г-на Бомбе, ограбившего его так неожиданно. Потом компилирует он историю итальянской живописи, опять-таки по чужим книгам, сдабривая ее несколькими анекдотами; частью потому, что это дает деньги, частью находя удовольствие в работе пером и в одурачивании людей при помощи всяческих псевдонимов, он импровизирует сегодня как историк искусства или политикозконом («Заговор против промышленности»), завтра как литературный критик («Расин и Шекспир») или как психолог («О любви»). Эти случайные попытки убеждают его в том, что писать вовсе не так уж трудно. Если есть голова на плечах и мысли легко соскальзывают с языка, то, собственно говоря, между писанием и разговором не очень уж большая разница, а еще меньше различия между разговором и диктовкой (к форме Стендаль до того равнодушен, что он набрасывает свои книги просто карандашом или диктует, мало задумываясь); таким образом, литература для него в лучшем случае — приятное и оригинальное занятие. Уже одно то, что он никогда не удосужится подписаться своим настоящим именем Анри Бейль, достаточно свидетельствует о его равнодушии к признанию света. «Ancien officier de cavalerie» хотя и не считает ниже своего достоинства писать книги, — мещанского «достоинства» Стендаль не признает, — но и не видит в этом занятия, которым мог бы гордиться джентльмен по духу и которому можно отдать свою подлинную страсть. И в самом деле, пока есть служба и деньги, г-н аудитор Анри Бейль чрезвычайно мало беспокоится о писателе Стендале и прячет его в дальний угол своего существа.

Только в сорок лет начинает он чаще садиться за работу.

Почему? Потому ли, что он стал честолюбивее, вдохновеннее, преданнее искусству? Нет, отнюдь нет. Только потому, что прибавилось массивности, за письменным столом удобнее сидится, чем в седле, и потому — увы! — что нет успеха у женщин, гораздо меньше денег и гораздо больше лишнего, ничем не заполненного времени; короче: потому, что нужны суррогаты «*pour se désennuyer*», чтоб не соскучиться. Как парик заменил густые когда-то кудри, так и роман является ныне заменой жизни; недостаток действительных приключений он восполняет фантазиями; в конце концов он находит даже писательство занимательным, а в себе самом видит собеседника более приятного и остроумного, чем все салонные краснобаи, вместе взятые. Да, если не относиться к делу слишком серьезно, не потеть и не надуться тщеславием, как эти парижские литераторы, то писание романов — занятие очень полезное, чистое, благородное, достойное эгоиста, изящная, малообязывающая игра ума, все более и более увлекающая человека в годах. Дело к тому же не из очень трудных: за три месяца продиктуешь роман, без предварительной черновой проработки, какому-нибудь писцу не из дорогих и потратишь таким образом не слишком много времени и труда. Кроме того, попутно можно развлечься, выставя иной раз в смешном виде своих врагов, издеваясь над тупостью света; можно поведать самые тайные движения своей души, приписывая их какому-нибудь вымышленному юноше, — такая маска нужна, чтобы не выдать себя и не подвергнуться насмешкам первого попавшегося дурака: можно проявить страстность, не компрометируя себя, и грезить в пожилом возрасте по-мальчишески, не стыдясь себя самого. И вот творчество становится для Стендаля радостью, затаеннейшим самоуслаждением умудренного себялюбца. Но никогда не приходит ему в голову, что он творит большое дело, — историю литературы. «Я говорил о вещах, которые люблю, и никогда не думал, как нужно писать романы», — открыто признается он Бальзаку; он не думает о форме, о критике, о публике, о газетах и вечности; в качестве безупречного эгоиста он думает, когда пишет, только о себе и о

своим удовольствием. И, в конце концов, поздно, очень поздно, достигнув лет пятидесяти, он делает странное открытие: можно даже зарабатывать деньги книгами, немного, правда, но зато сохраняя независимость, не сгибаясь и не прислуживая, не смешиваясь с людьми, не отдавая отчета в своих действиях какому-нибудь начальнику-бюрократу. И это подбадривает его, так как высшим идеалом Анри Бейля остается одиночество и независимость.

Впрочем, книги не имеют сколько-нибудь заметного успеха, желудок читателя не привык к таким сухим, не подмасленным сентиментальностью блюдам, и ему, наряду с созданными уже образами, приходится измыслить себе другую публику, дальнюю, в другом столетии, избранников, «happy few», поколение 1890-х или 1900-х годов. Но равнодушие современников не слишком огорчает Стендаля, он слишком презирает окружающее; в конечном итоге книги эти — всего только письма, адресованные ему самому, опыты чувства, имеющие целью повесить его собственное жизнеощущение и развить дух, мысль, сознание наиболее дорогой для него, единственной личности — Анри Бейля.

Если ему, застенчивому толстяку, отказывали женщины, то он может наяву перевоплотиться в образы стройных и прекрасных молодых людей, в какого-нибудь Жюльена или Фабрицио, и смело говорить любимым некогда женщинам то, что никогда не решался сказать маленький Анри. Если идиоты из министерства иностранных дел не дали ему возможности проявить себя на дипломатическом поприще, то здесь ему представляется случай показать свою способность к интригам, свой «макиавеллизм», в запутанных хитросплетениях и сложнейшей игре ума, и попутно осудить и осмеять их самих, тупиц «*in effigie*»*. Можно посвятить несколько теплых строк картинам любимой природы, воскресить незабвенные миланские дни. Постепенно Стендалю во всей полноте открывается высшая сладость — приводить, пребывая вдали от других, в уединении

* В их изображении (*фр.*).

свое одинокое «я» в соприкосновение с миром, с миром не таким пошлым и грубым, как настоящий, а с другим, стоящим на уровне его духовной воли, более вдохновенным, страстным, буйным и одновременно более мудрым, блистательным и свободным. *Que m'importent les autres?* — Стендаль пишет только для себя. Стареющий эпикуреец нашел новую, последнюю и тончайшую уладу — писать или диктовать при двух свечах, за деревянным столом, у себя наверху, в мансарде, и эта интимная, обособленная беседа со своей душой и своими мыслями становится для него к концу жизни важнее, чем все женщины и утехы, чем *Café Foy*, дебаты в салонах и даже музыка. Наслаждение в одиночестве и одиночество в наслаждении — этот свой первый и исконнейший идеал пятидесятилетний Анри Бейль находит в искусстве.

Поздняя, закатная улада, конечно, уже омраченная мыслями о конце. Ибо творчество Стендаля вступает в свои права слишком поздно для того, чтобы творчески определить его жизнь; оно заканчивает лишь, пронизывает музыкой его умирание. В сорок три года Стендаль начинает свой первый роман «Красное и черное» (более ранний «Арманс» не может идти в счет), в пятьдесят лет — второй, «Люсьен Левен», в пятьдесят четыре года — третий, «Пармский монастырь». Тремя романами исчерпываются его литературные достижения, тремя романами, которые, если привести их к одному движущему центру, представляют собой только один; три вариации одного и того же основного, первичного переживания — юношеской истории Анри Бейля, которую стареющий Анри Бейль неустанно воскрешает в себе, не давая ей умереть. Все три могли бы носить данное его последователем и хулителем заглавие «*L'éducation sentimentale*» — «Воспитание чувств».

Ибо все эти три молодых человека, крестьянский сын Жюльен, изнеженный маркиз Фабрицио и Люсьен Левен, сын банкира, вступают с тем же пылким и безмерным идеализмом в свое холодное столетие, все трое грезят Наполеоном, геройскими подвигами, величием, свободой; все они поначалу, в избытке чувства, ищут форм более высоких, тонких и окры-

ленных, чем те, в которые воплощается действительная жизнь. Все они несут навстречу женщине смятенное и нетронутое сердце, полное затаенной страсти, романтику юности, не угасшую от соприкосновения с пошлым жизненным расчетом. И все трое горестно пробуждаются от внезапного сознания того, что в этом ледяном, враждебном мире нужно таить сердечный пыл, подавлять грезы, извращать свою истинную сущность; их чистая душа тускнеет от тяжелого дыхания эпохи, всецело посвятившей себя наживе, от мелочности и мещанской радости «других», этих извечных врагов Стендаля. Понемногу они постигают ходы своих противников, их пронырство в игре неуловимых уверток, их дерзкие расчеты, искусство интриги; они становятся изощренными, лживыми, холодно-светскими. Или еще хуже, они умнеют эгоистически-расчетливо, как стареющий Стендаль, становятся блестящими дипломатами, гениальными дельцами и надменными епископами; короче, они вступают в сделку с действительностью и приспособляются к ней тотчас же после того, как с болью в сердце сознают себя извергнутыми из подлинного мира своей души, мира юности и чистого идеализма.

Ради этих трех молодых людей или, вернее, ради ушедшего вдаль молодого человека, который когда-то, таясь, жил в его душе, робкий и пылкий, доверчивый и замкнутый, ради того, чтобы еще раз пережить «*sa vie à vingt ans*», свою жизнь в двадцатилетнем возрасте, и писал пятидесятилетний Анри Бейль свои романы. В качестве ума холодного, умудренного и разочарованного рассказывает он в них юность своего сердца, в качестве искушенного и точного интеллектуалиста воспроизводит вечную романтику расцвета. Так, чудесным образом, примиряются в этих романах противоречия его духа: в них с ясностью зрелых лет представлена благородная смятенность молодости и борьба всей жизни Стендаля — борьба между рассудком и чувством, между реализмом и романтикой, победно проведенная в трех незабываемых битвах, из которых каждая столь же памятна человечеству, как Маренго, Ватерлоо, Аустерлиц.

Три молодых человека, с различной судьбой и характерами, принадлежащие к разным расам, являются братьями по чувству; тот, кто их создал, передал им по наследству романтику своего «я» и завещал развивать ее. И, равным образом, три противопоставленные им лица, граф Моска, банкир Левен и граф де ла Моль, являются лицом единым; они воссоздают того же Бейля, но в качестве кристаллизовавшегося в чистейший ум интеллектуалиста, позднейшего, умудренного возрастом человека, в котором рентгеновскими лучами рассудка выжжен понемногу и убит всякий идеализм. Эти три лица символически повествуют о том, что делает жизнь в конце концов из юности, как «восторженный во всех отношениях проникается отвращением и постепенно просветляется» (Анри Бейль о своей собственной жизни). Героические грезы отмерли, волшебное опьянение заменяется безрадостным превосходством, тактическим и практическим, природная страстность — холодной игрой расчета. Они правят миром: граф Моска — княжеством, банкир Левен — биржей, граф де ла Моль — дипломатией; но они не любят марионеток, танцующих по их указке, они презирают людей, потому что слишком близко, слишком явно наблюдают их убожество. Они способны еще отраженно чувствовать красоту и героику, но именно отраженно, и отдали бы все свои свершения за смутную, порывистую, неумелую юношескую страсть, которая ничего не достигает и вечно грезит обо всем. Подобно Антонио, умудренно-холодному вельможе, перед лицом Тассо, юного и пылкого поэта, противостоят эти прозаики бытия своим юным соперникам, наполовину готовые помочь, наполовину враждебные, с презрением во взоре и с затаенной в душе завистью — так же, как ум противостоит чувству и явь — сну.

Между этими двумя полюсами человеческой судьбы, между юношески смутной тоской по прекрасному и уверенной в своем превосходстве волей к власти, вращается стендалевский мир. Между конечными точками существования мужчины, между старостью и юностью, между романтикой и зрелостью эпически колышутся и плещутся волны вздымающегося чувства.

Навстречу юношам, робко и жгуче вождедеющим, выходят женщины; их вскипающую страсть приемлют они в звенящие свои фиалы, музыкой своей благости смиря яростное неистовство их требований. Чистым светом горит и разгорается чувство нежных, благородных даже в страсти женщин Стендаля: м-м де Реналь, м-м де Шастелле, герцогини ди Сансеверино; но даже святость любовной жертвы не может сохранить в кристальной чистоте души их возлюбленных, ибо каждый жизненный шаг все глубже и глубже увлекает этих молодых людей в тину человеческой пошлости. Возвышенной, сладостно ширящей душу стихии этих героических женщин противостоит все та же пошлая действительность, плебейски расчетливый, змеиноумный, змеинохолодный род мелких интриганов, стяжателей — словом, людей, какими они неизменно представляются Стендалю; в его презрении ко всякой посредственности. Храня и в зрелости влюбленность свою в любовь, преображая женщин романтическим светом юности, благоговейной рукой низводя их, как созданные своей грезой кумиры, с таинственных высот сердца к своим героям, он одновременно со всей силой своего накипевшего гнева толкает на сцену, как на плаху, шайку низких дельцов. Из огня и грязи формирует он судей, прокуроров, министров, офицеров, салонных болтунов, все эти мелкие душонки сплетников, из которых каждая в отдельности податлива и липка, как испражнения; но — извечный фатум! — все эти нули, поставленные в ряд, раздуваются в числа и сверхчисла, и, как всегда на земле, им удастся раздавить истинное величие.

Так в эпическом его стиле переливается трагимеланхолия неизлечимого романтика в остро ранящую иронию разочарованности. Мастер в обеих сферах, сродни обоим мирам, он в своих романах проявил в изображении действительного мира столько же ненависти, сколько вложил страстности и огня в изображение мира идеального и мнимого.

Но именно в том-то и заключается особая прелесть и значительность стендалевских романов, что они являются творениями поздними, где живой еще поток воспоминаний сливается

в одно целое с формирующимся уже созерцанием; в них — молодость чувства и превосходство осознавшей себя мысли. Ибо только на расстоянии познаются творчески смысл и очарование всякой страсти: «Un homme dans les transports de la passion ne distingue pas les nuances» — тот, кто захвачен каким-либо впечатлением, не чувствует в этот миг оттенков, не постигает источника и границ своего восприятия; он, может быть, в состоянии выразить свой экстаз в лирических гимнах, обращенных в безбрежность, но не сумеет воплотить его в эпос. Истинный, эпический анализ неизменно требует ясного взора, успокоенной крови, бдительного ума, бесстрастия; он требует удаления во времени и ровного пульса в творческой руке.

Стендалевские романы великолепным образом соединяют в себе это одновременное наличие внутреннего переживания и созерцания извне; в них, на грани расцвета и отмирания своей мужественности, художник знающе воспроизводит чувство; он еще раз отраженно чувствует свою страсть, но он уже понимает ее и способен, творя эту страсть изнутри, ставить ей границы вовне. И в одном только и чувствуется при чтении стендалевского романа творческий импульс и глубочайшая радость автора — это в созерцании самых глубин своей вновь вызванной к жизни страсти; внешняя фабула, техника романа чрезвычайно мало его интересуют, и он сочиняет все это в порядке чистой импровизации (он сам признается, что, кончая одну главу, никогда не знал, что произойдет в следующей); отдельные эпизоды и характеры не всегда согласованы и часто перепутываются до полного неправдоподобия — это заметил еще Гете, один из его первых и внимательнейших читателей. Говоря откровенно, чисто мелодраматические элементы его романов могли бы быть созданы любым NN.

Его самого, Стендаля, чувствуешь до конца, как художника, только в патетические миги его героики. Художественная мощь и живость его произведений обусловлены единственно внутренним движением. Они лучше всего там, где обнаруживается его душевное соучастие, и всего несравненнее, когда собственная душа Стендаля, пугливая и таящаяся, воплощает-

ся в словах и действиях его любимых героев, когда он заставляет их страдать от собственной раздвоенности. Описание битвы при Ватерлоо в «Пармском монастыре» представляет собой подобную гениальную аббревиатуру всей его итальянской юности. Как некогда сам он в Италию, так и его Жюльен отправляется к Наполеону, чтобы на полях сражений обрести ту героиню, к которой тянется его душа; но шаг за шагом действительность обрывает его идеальные представления. Вместо звучного грохота кавалерийских атак переживает он бессмысленный хаос современной битвы, вместо великой армии встречает шайку грубых, изрекающих хулы наемников, вместо героев — людей, одинаково посредственных и дюжинных как под простой одеждой, так и под расшитым мундиром. Эти миги отрезвления освещены им с мастерством исключительным; ни один художник с большим совершенством не показал того, как душевная восторженность неизменно посрамляется, в земном нашем мире, холодной действительностью; в моменты, когда нервы мозга и чувства, наэлектризованные, готовы дать вспышку, когда обнажается двойственность Стендаля, психологический его гений неизменно торжествует. Только там, где он показывает своего героя в родственных себе переживаниях, он становится художником превыше своего понимания искусства; его образы совершенны только тогда, когда они вызваны к жизни родственностью душ. Таким образом, последние, заключительные слова его автобиографии вскрывают и последнюю тайну его искусства: «*Quand il était sans émotion, il était sans esprit*».

Но странно, именно эту тайну своего соучастия хочется Стендалю, сочинителю романов, скрыть какой бы то ни было ценой. Он стыдится того, что случайный и, может быть, иронически настроенный читатель отгадает, сколько душевной своей наготы вложил он в этих воображаемых Жюльенов, Люсьенов и Фабрицио. Пусть никто не заподозрит, что каждый его нерв дрожит в унисон описываемому, — того требует его странное душевное целомудрие. Потому и притворяется Стендаль в своих эпических произведениях холодным как лед; он прикиды-

вается, будто дает в чисто деловом изложении хронику каких-нибудь дальних событий романического свойства, он сознательно леденит свой стиль: «Я всячески стараюсь быть сухим».

Но он сказал лучше и искреннее: «pour paraître sec» — казаться безучастным, ибо нужно иметь очень уж нетонкий слух, чтобы это нарочитое «secco»* обмануло относительно эмоционального соучастия писателя. Кто-кто из романистов, только уж не Стендаль был в своем повествовании холоден, он, патетик из патетиков! На самом деле, с той безнадежностью, с которой он в своей личной жизни противился «de laisser deviner ses sentiments» — выдавать свои чувства, пытается он и в своих произведениях стыдливо скрывать свое волнение за ровным и бесстрастным тоном. Публичная исповедь чувства отвратительна этому поклоннику такта, этому сверхвпечатлительному человеку, как выставленная напоказ зияющая рана; его замкнутая душа отвергает всякий участливый трепет, подступающие к горлу слезы, штаббриановский «ton déclamatoire», актерскую напыщенность, перекочевавшую из театра в литературу. Нет, лучше казаться жестким, чем слезливым, лучше безыскусственность, чем пафос, лучше уж логика, чем лирика! Он и пустил в оборот набившие в дальнейшем оскомину слова — что каждое утро перед работой он читает свод гражданских законов, насильно приучая себя к его сухому и деловому стилю. Но при этом Стендаль вовсе не рассматривал сухость, как свой идеал; на самом деле за этим «amour exagéré de la logique», за любимой своей прозрачностью он искал единственно стиля незаметного, который словно улетучивается, создав представление: «Стиль, как прозрачный лак, не должен изменять окраски, т. е. действия и мысли, им прикрываемые». Слово не должно выпирать лирически, при помощи затейливых колоратур, «fiogitugi» итальянской оперы, на первый план; наоборот, оно должно исчезать за предметностью, оно должно, как хорошо скроенный костюм джентльмена, не бросаться в глаза и лишь точно выражать движения души. Ибо точность

* Сухо (фр.).

для Стендаля дороже всего; его галльский инстинкт ясности ненавидит все расплывчатое, затуманенное, патетическое, напыщенное, раздутое, и прежде всего тот самоуслаждающийся сентиментализм, который Жан-Жак Руссо перетащил во французскую литературу. Он хочет ясности и правды даже в самом смятенном чувстве, добивается света для самых затененных уголков сердца. «Ecrire» — писать — значит для него «anatomiser», т. е. разлагать сложное ощущение на его составные части, устанавливать градусы жара, клинически наблюдать страсть, как некую болезнь. Ибо в искусстве, как и в жизни, все запутанное бесплодно. Кто опьяняет сам себя грезами, кто с закрытыми глазами бросается в свое собственное чувство, тот, в очаровании услады, упускает высшую, духовную форму наслаждения — познания в наслаждении; только тот, кто точно мерит свою глубину, мужественно и во всей полноте ею наслаждается; только тот, кто наблюдает свою смятенность, познал красоту собственного чувства. Поэтому охотнее всего упражняется Стендаль в старой персидской добродетели — осмысливать ясным умом то, о чем поведало, в своем опьянении, восторженное сердце; душой преданнейший слуга своей страсти, он, по рассудку, ее постоянный господин.

Познать свое сердце, придать новое очарование тайне своей страсти, разумом измеряя ее глубины, — вот формула Стендаля. И так же точно, как он, чувствуют и его духовные чада, его герои. И они не хотят поддаться обману, позволить слепому чувству увлечь себя в неизвестность; они хотят быть настороже, наблюдать это чувство, исследовать его, анализировать, они хотят не только чувствовать свои чувства, но одновременно и понимать. Ни одна фаза, ни одно изменение не должны скрыться от их бдительности; непрестанно проверяют они себя: подлинно ли данное ощущение или ложно, не кроется ли за ним другое, еще более глубокое. Когда они любят, они время от времени переводят двигатель своей страсти на холостой ход и следят по стрелке за числом атмосфер, давлению которых они подвержены, статистики своего собственного сердца, трезво мыслящие, чуждые сентиментальности исследова-

тели своих чувств. Неустанно спрашивают они себя: «Полюбил я уже ее? Люблю ли ее еще? Что чувствую я в этом ощущении и почему не чувствую больше? Искренне ли мое влечение или надуманно? Может быть, я сам себе внушаю чувство к ней или, может быть, просто разыгрываю что-то?» Неустанно держат они руку на пульсе своей возбужденности, сразу замечая, если хоть на мгновение кривая сердечного жара оборвется; их бдительность беспощадно контролирует их самозабвение, с механической точностью учитывают они расход своего чувства. Даже в моменты самых увлекательных переживаний торопливый ход повествования прерывается этими «подумал он», «сказал он сам себе»; для всякого движения, для всякого нервного толчка ищут они, как физики или физиологи, рассудочных объяснений.

Это сообщает им особенную, чисто стэндалевскую двойственность: вдохновенно рассчитывают они свои чувства и после холодного размышления решаются на страсть, как на предприятие. В качестве примера, для того, чтобы показать, с каким холодным расчетом, с какой прозорливой бдительностью Стендаль заставляет действовать своих героев даже в пылкие мгновения увенчавшейся обладанием юношеской страсти, беру описание знаменитой любовной сцены из «Красного и черного». Жюльен, рискуя жизнью, в час ночи взбирается по лестнице к м-ль де ла Моль, близ открытого окна ее матери, — поступок, продиктованный романтическим сердцем и проверенный страстным расчетом, — но в разгаре страсти над обоими берет верх разум. «Жюльен был очень смущен, он не знал, как держать себя, он не чувствовал никакой любви. В своей застенчивости решил он быть смелым и попробовал ее обнять. «Фу», — сказала она и оттолкнула его. Он остался очень доволен этим и торопливо огляделся кругом». Так рассудочно-сознательно, так холодно-осторожно мыслят герои Стендаля даже в самых своих рискованных приключениях. И прочтите теперь продолжение сцены, когда, в конце концов, после всяческих волнующих соображений, гордая девушка отдается секретарю своего отца. «Матильде стоило некоторого труда

сказать ему «ты». И так как это «ты» произнесено было без нежности, оно не доставило Жюльену никакого удовольствия; он с удивлением сообразил, что не чувствует пока никакого счастья. Для того чтобы все-таки почувствовать его, он в конце концов обратился к рассуждению: он представил себе, что пользуется благосклонностью молодой девицы, которая до сих пор ни о ком не отзывалась до конца благосклонно. Благодаря таким соображениям он создал себе счастье, исходившее из удовлетворенного самолюбия». Значит, в силу «соображения», без всякой нежности, без какого бы то ни было пылкого порыва соблазняет этот мозговой эротик романтически любимую девушку; а та, в свою очередь, говорит сама себе, непосредственно «argès»*: «Надо теперь говорить с ним, так полагается, с возлюбленным ведь разговаривают». «Кто женщиной подобною владел?» — приходится спросить вместе с Шекспиром; решился ли какой-нибудь писатель до Стендаля заставить людей, в самый миг обольщения, так холодно и с таким расчетом себя контролировать, да еще людей, в жилах которых, подобно всем стендалевским характерам, отнюдь не рыба кровь.

Но тут мы близко подходим к сокровеннейшим приемам Стендаля как мастера психологической изобразительности, разлагающего даже высший жар на градусы и дробящего чувство по его импульсам. Никогда Стендаль не рассматривает страсть в целом, а всегда делит ее на составные элементы; он следит за ее кристаллизацией в лупу, даже в лупу времени; то, что в реальном пространстве протекает как единое судорожное движение, его гениальный аналитический ум рассекает на бесконечное множество молекул времени; он искусственно замедляет психические движения, чтобы сделать их более ясными нашему уму. Действие стендалевских романов разыгрывается, таким образом, исключительно в пределах психического, а не земного времени — в этом их новизна! Оно, это действие, протекает не столько в области вещественных событий, сколь-

* Потом (фр.).

ко на молниеносных нервных путях, соединяющих мозг и сердце; начиная со Стендаля, эпическое искусство впервые обращается освещению бессознательных функциональных процессов, обещая дальнейшее развитие в этом направлении; «Красное и черное» открывает собой тот «roman experimental», которому суждено впоследствии создать кровное родство между психологической наукой и поэтическим творчеством.

Нас не должно удивлять, что современники Стендаля, еще не подготовленные к такому почти математическому анализу чувства, отвергали поначалу этот новый род искусства, считая его грубой механизацией душевных переживаний; в то время как сам Бальзак (не говоря уже о других) преувеличивал и объединял каждое душевное движение почти до пределов монотонии, Стендаль упорно, при помощи микроскопа, ищет бактерии, возбудители всякой страсти, ищет незримых носителей и передатчиков той особой болезни, которую психология, пребывающая еще в пеленках, обозначает неясным и чрезмерно обобщающим словом «amour», любовь; его интересуют именно варианты любви, в пределах этого широкого понятия, дробление чувства на мельчайшие клеточки, движущий момент каждого движения. Несомненно, от такого неторопливо-исследовательского метода теряется кое-что в плавности и нарастающей силе импульсивного воспроизведения; некоторые страницы Стендаля отзываются трезвостью лабораторной обстановки или прохладой школьного помещения; но тем не менее художественная напряженность Стендаля столь же творчески действенна, как и у Бальзака, и лишь обращена к логике, к фанатическому исканию ясности, к познанию душевных тайников. Его мировосприятие есть лишь обходной путь к восприятию души, его образотворчество — лишь опыт на пути создания собственного образа. Ибо Стендаль, эгоист в высшем, самом высшем смысле этого слова, дает образы страсти лишь затем, чтобы вернуть их себе обратно усиленными и осознанными; он старается узнать человека лишь затем, чтобы лучше узнать самого себя; искусства ради искусства, радости объективного изображения, изобретательства и сочинительства, са-

модовлеющего творчества Стендаль — тут его граница — никогда не знал и никогда к этому не стремился.

Никогда не доходит этот себялюбивейший из художников, этот мастер в области духовного аутоэротизма, до бескорыстного отказа от себя во имя вселенной, до потребности раствориться до конца в чувстве, до широкого душевного движения: «Прими, о мир, меня в объятия»; неспособный чувствовать такое самоотречение, Стендаль, несмотря на свое выдающееся понимание искусства, не способен понимать и творчество таких писателей, которые черпают свою мистическую мощь не только из области человеческой, но и из первоисточника всякого хаоса, из космоса. Все паническое, все титаническое, все проникнутое чувством вселенной — Рембрандт, Бетховен, Гете — пугает этого человека, и только человека; всякая сумрачная и не осмысленная до конца красота остается безнадежно сокрытой от его острого умственного взора, — он постигает прекрасное только в аполлинически-выдержанных, отчетливых очертаниях — Моцарта и Чимарозы, мелодически ясных в музыке, Рафаэля и Гвидо Рени, сладостно-понятных в живописи; он остается полностью чужд другим, великим, раздираемым, гневно-расщепленным, гонимым демоническими силами. Среди шумного мира его страстное любопытство приковано только к человечеству, а среди человечества — только к одному, непостижимому до конца человеку, к микрокосму, к Стендалю. Для того чтобы постигнуть этого единственного, стал он писателем; стал творцом только для того, чтобы его сотворить. Один из совершеннейших художников в силу своего гения, Стендаль лично никогда не служил искусству; он пользовался им только как тончайшим и духовнейшим из инструментов, чтобы измерить полет души и воплотить его в музыку. Никогда не было оно для него целью, а всегда только средством, ведущим к единственной и вечной цели — к открытию своего «я», к радости самопознания.

DE VOLUPTATE PSYCHOLOGICA

Моей истинной страстью было познавать и испытывать. Эта страсть так и не получила полного удовлетворения.

Как-то в обществе подходит к Стендалю добрый буржуа и в вежливо-благодушном тоне осведомляется у незнакомого ему господина о его профессии. Тотчас же коварная улыбка кривит рот этого циника, в маленьких глазках появляется надменный блеск, и он отвечает с наигранной вежливостью: «*Je suis observateur du coeur humain*» — наблюдатель человеческого сердца. Ирония, конечно, порожденная мгновенной глумливой мыслью поразить мещанина, но все же к этой шуточной игре в прятки примешалась добрая доля откровенности, так как в действительности Стендаль всю свою жизнь ничем не занимался так планомерно и целеустремленно, как наблюдением над душевными процессами. Его справедливо можно причислить к искуснейшим психологам всех времен, к великим знатокам души и признать его новейшим Коперником в области астрономии сердца; и все-таки Стендаль вправе улыбнуться, если ему самому или кому-либо другому случится по ошибке признать психологию его призванием. Ибо призвание обозначает во всех случаях полнейшую увлеченность, означает профессиональную, целеустремленную деятельность, в то время как Стендаль никогда не занимался изучением души систематически, научно, а всегда как бы мимоходом, *ambulando*, прогуливаясь и развлекаясь. И если до сих пор неоднократно упоминалось, то придется, в целях ясности, настоятельно подчеркнуть и еще раз: всегда и во всех случаях, когда Стендалю приписывают сколько-нибудь серьезное отношение к работе, строгую деловитость, пафос или мораль, — его, в отношении его характера, понимают плохо, судят вкривь и вкось. Даже свои страстные увлечения этот поразительно легкий ценитель жизни, избравший себе девизом «*L'unique affaire de la vie est le*

plaisir»*, переживал, не морща значительно лоб, не выполняя усидчиво программу, а единственно для «diletto», для личной сердечной утехи, бесцельно и непринужденно.

Никогда не принадлежит он своему творению с маниакальной беззаветностью какого-нибудь Бодлера или Флобера; творя образы, он поступает так, чтобы в них полнее насладиться собой и вселенной; равным образом и в своих путешествиях он не уподобляется какому-нибудь Гумбольдту, тщательно обследующему и обмеряющему встречные земли, а ведет себя как турист, восхищающийся на прогулке природой, нравами и чужеземными женщинами. Точно так же и психологией он не занимается в качестве «главного предмета», как можно было бы выразиться про ученого (к каковым он не относится); никогда не бросается он навстречу познанию со сверлящей и жгучей совестью Ницше или с покаянной жадью Толстого; познание, так же как искусство, для него лишь — род наслаждения, усиленное прохождением через мозг; он любит познание не как задачу, а как одну из осмысленнейших игр ума. Поэтому к каждой из его склонностей, к каждому увлечению примешивается легкий, радостный тон, что-то поистине музыкальное, блаженное и дающее крылья, что-то от легкости и жгучей страстности огня.

Нет, он не похож на суровых, усердных пролагателей путей в глубины этого мира, на немецких ученых, не похож и на таких пылких, гонимых жадью охотников за последним познанием, как Паскаль и Ницше. Мышление Стендаля — это опьяняющая радость мысли, чисто человеческая утеха, светлая и звенящая игра нервных центров, подлинное и настоящее, истинное и редкое в мире сладострастное любопытство.

Стендаль знал как немногие это логическое сладострастие и служил ему в степени, близкой к порочности; но как овеяно его тонкое опьянение тайнами сердца, как легко, как одухотворяюще его психологическое искусство! Из мудрой нервной системы, из тонкой, ясно прозревающей чувствительности воз-

* Единственное дело в жизни — это удовольствие (фр.).

никает его любопытство и, протягивая свои щупальца, с какой-то возвышенной похотью высасывает сладкий мозг духа из живых вещей. Этот гибкий интеллект не нуждается в том, чтобы хватать с налету, не душил своих жертв и не ломает им костей, дабы уложить в прокрустово ложе своей системы; стэндалевский анализ блещет неожиданностью внезапных счастливых открытий, новизной и свежестью случайных встреч. Его благородная и мужественная страсть слишком горда для того, чтобы, в поту и запыхавшись, гнаться за частицами познания и травить их на смерть сворами аргументов; он брезгливо презирует непривлекательное ремесло непрерывного вспарывания животов у фактов и разглядывания их внутренностей, по образцу древних жрецов, — его тонкая восприимчивость, высоко развитое в области эстетики осязание не нуждаются в грубой и алчной хватке. Аромат вещей, неуловимое дыхание их сущности, их легчайшие излучения вполне определяют для этого гения вкуса их смысл и их тайну; по ничтожному движению он узнает чувство, по анекдоту — историю, по афоризму — человека; ему достаточно мимолетной, еле осязаемой детали, «gassoussi», слабого намека, чтобы острым взором уловить целое; он знает, что эти разрозненные наблюдения, «les petits faits vrais», имеют в психологии решающее значение. «Только в деталях правда и оригинальность», — говорит в его романе банкир Левен, и сам Стендаль превозносит метод «справедливого предпочтения деталей», предчувствуя следующее столетие, которое перестанет возиться с пустыми, тяжеловесными, претендующими на широкий охват психологическими гипотезами и будет по молекулярным истинам о клетках и бактериях воссоздавать тело, а по кропотливым наблюдениям над деталями, по легчайшему трепету нервов — исчислять напряжение душ. В то самое время, когда преемники Канта, Шеллинг, Гегель и им подобные, с ловкостью фокусников ловят с кафедры в свои профессорские шляпы мировую истину, этот отшельник, влекомый к познанию себялюбием, знает уже, что пора многобашенных дредноутов от философии, пора гигантских систем безвозвратно миновала, и что только легко

скользящие подводные лодки малых наблюдений господствуют в океане духа.

Но как одинок он, в своем искусстве умной догадки, среди односторонних профессионалов и потусторонних поэтов. Как обособлен он, как опередил их, усердных, вышколенных психологов тогдашнего времени, как далеко опередил он их тем, что не тащит за спиной груза начиненных эрудицией гипотез; он, вольный стрелок в великой войне духа, никого не хочет завоевать и поработить — «Я не порицаю, не одобряю, а только наблюдаю», — он гонится за познанием ради игры, ради спорта, ради собственной мудрой услады! Подобно своему собрату по духу, Новалису, так же, как он, опередившему философию поэтическим своим вымыслом, он любит только «пыль от цветка» познания, эту случайным ветром занесенную, но пронизанную сущностью всего живого пыльцу, плодотворяющую стихию, в которой заложены все возможные, широко разветвляющиеся системы познания.

Наблюдательность Стендаля неизменно направлена лишь на мельчайшие, доступные только микроскопу изменения, на короткие мгновения первичной кристаллизации чувства. Только тут подходит он жизненно-близко к тому таинственному моменту слияния духа и тела, который схоластики высокопарно именуют «мировой загадкой»; в минимуме восприятия видит он залог величайшей истины.

Таким образом, его психология кажется поначалу филигранной, кажется искусством миниатюры, игрой в тонкости, ибо везде, в том числе и в романах, открытия Стендаля, его догадки и прозрения касаются только предельных проявлений, последних, едва уж воспринимаемых движений чувства; но он держится непоколебимого (и справедливого) убеждения, что малейшее достоверное проявление чувства больше дает для познания движущих сил души, чем всякая теория; нужно научиться определять душевные изменения по сокровеннейшим симптомам, подобно тому, как определяют температуру тела по тонким делениям ртути в термометре, ибо наука о душе не располагает иным, более надежным доступом во мрак, как

только эти случайно проявляющиеся признаки. И вот достаточно «в течение всей жизни внимательно наблюдать пять-шесть идей» — и уже обозначаются — не директивно, а, конечно, только для индивидуального наблюдателя — законы, своего рода духовный строй, понять который или хотя бы угадать составляет радость и наслаждение для всякого истинного психолога.

Таких мелких удачных наблюдений Стендаль сделал бесчисленное множество, множество мгновенных открытий, из которых некоторые стали аксиомами, фундаментом для всякого художественного воспроизведения духовной жизни. Но сам Стендаль не придает никакого значения этим находкам; мысли, его осенившие, он небрежно бросает на бумагу, не приводя их в порядок и тем более в систему; в его письмах, дневниках, романах можно найти эти зерна добротной истины рассыпанными среди груды фактического материала; случайно найденные и брошенные туда, они беззаботно предоставлены случаю, который вновь может их обнаружить. Все его психологические труды состоят в общем итоге из сотни или двух сотен сентенций; сам он дает себе иногда труд связать две-три мысли воедино, но никогда не приходит ему в голову спаять их в одно упорядоченное целое, в одну законченную теорию.

Даже единственная его монография на психологическую тему, выпущенная им в свет между двумя другими книгами, монография, посвященная любви, является смесью отрывков, сентенций и анекдотов; из осторожности он называет свой труд не «L'amour» — «Любовь», а «De l'amour» — «О любви»; правильнее было бы перевести «Кое-что о любви». Он ограничивается установлением наскоро, без особой проработки вопроса, нескольких разновидностей любви: amour-passion — любовь по страсти, amour physique, amour-goût — и набрасывает, не долго думая, теорию ее возникновения и угасания, но все это поистине карандашом (он и в самом деле писал книгу карандашом). Он ограничивается намеками, предположениями и мало обязывающими гипотезами, которые перемешивает, в непридуманной беседе, с анекдотами; ибо Стендаль ни в коем слу-

чае не хотел быть глубокомыслящим, думать «до конца», думать для других; никогда не давал он себе труда проследить случайно найденное.

Усидчивый труд по продумыванию, проработке и возведению в систему он, этот беззаботный турист по Европе человеческой души, великодушно и небрежно предоставляет ломовым извозчикам и носильщикам психологии, людям труда; и в самом деле, целое поколение французов перекомпоновало большинство мотивов, наигранных его легкой рукой. Десятки психологических романов возникли из его знаменитой теории кристаллизации любви (эта теория сравнивает осознание чувства с «gâteau de Salzbourg», с веткой, давно когда-то побывавшей в соленой воде и насыщенной солью, которая, попав в щелочную воду из рудника, в одну секунду обрастает кристаллами); одному вскользь брошенному им замечанию о влиянии расы и среды на художника Тэн обязан своей пухлой, тяжело-весной гипотезой, а заодно и своей знаменитостью. Но сам Стендаль, не работник, а лишь гениальный импровизатор, не выходил в своем увлечении психологией за пределы отрывочной мысли, афоризма, следуя в данном случае примеру своих учителей-французов: Паскаля, Шамфора, Ларошфуко, Вольтера, которые, так же как и он, из чувства благоговения к крылатости подлинной истины, никогда не уплотняли своих взглядов в единую, полновесную, широко рассеившуюся Истину. Он, ни о чем не заботясь, бросает свои догадки, равнодушный к тому, угодны они людям или нет, будут ли они признаны уже сегодня или только через сто лет. Он не беспокоится о том, написано ли уже это до него кем-нибудь или другие спишут у него; он думает и наблюдает так же легко и естественно, как живет, говорит и пишет. Искать спутников, последователей и учеников никогда не приходило в голову этому свободному мыслителю; его счастье в том, чтобы созерцать и все глубже созерцать, думать и все яснее думать. Как всякая простая человеческая радость, радость его мышления щедра и общительна.

В том и все великолепие стендалевского преимущества над

всеми психологами, деловитыми и маститыми, что он предается этой науке сердца мудро, беззаботно и с наслаждением, как искусству, а не как серьезному профессиональному занятию. Он не только обладает мужеством мышления, как Ницше, но, при случае, и чарующим задором мысли; он достаточно силен и дерзок, чтобы вступить в игру с истиной и любоваться познанием с почти плотским сладострастием. Ибо духовность Стендаля не только рассудочна; в качестве подлинной и полновесной жизненной интеллигентности она напоена и пропитана всеми жизненными элементами его существа. В ней привкус теплокровной чувственности и соль острой иронии; сухая горечь переживаний пересыпана в ней перцем колющей злости; чувствуется душа, гревшаяся под солнцами многих небес, впитавшая в себя ветры всего обширного мира; чувствуется все богатство жадно открытой и в пятьдесят лет все еще не насытившейся и не увядшей жизни. Как пенится, обильно и легко, как искрится этот ум от переливающегося через край жизненного чувства! — и все-таки все его отдельные афоризмы — только разрозненные капли его душевного богатства, случайно выплеснувшиеся; а подлинная его сущность все время остается в нем, одновременно и огненная и ледяная, в тонко отшлифованной чаше, которую разобьет только смерть. Но в этих выплеснувшихся каплях — светлая и окрыляющая мощь духовного опьянения; они, как хорошее шампанское, ускоряют медленное биение сердца и поднимают падающий жизненный дух. Его психология — это не геометрический метод хорошо вышколенного мозга, а сконцентрированная сущность целой жизни, мыслительная субстанция одного из подлинных людей; это делает его истины такими правдоподобными, его взгляды — такими проникновенными, его домыслы — такими ценными и сообщает им, при их импровизированности, такую длительную прочность, — ибо никакое усердие в мышлении не даст столь полного жизненного охвата, как радость самопроизвольной мысли, как беззаветный задор свободно определившего себя ума. Все целеустремленное застывает в своей цели, все временное костенеет во времени. Идеи и теории, как тени

гомеровского Аида, — только голые схемы, бесплотные отражения вовне; лишь тогда, когда напоит их человеческая кровь, приобретают они голос и плоть и могут говорить человечеству.

САМОИЗОБРАЖЕНИЕ

Чем был я? Что я такое? Я бы затруднился ответить на это.

В своем поразительном мастерстве самоизображения Стендаль не имел других учителей, кроме самого себя. «Чтобы узнать человека, достаточно изучить самого себя; чтобы узнать людей, надо с ними общаться», — говорит он как-то, и тут же добавляет, что людей он знает только по книгам, что все свои наблюдения он производил единственно на себе самом. Стендалевская психология исходит неизменно от него самого и неизменно возвращается к нему. Но в этом кружном пути заключена вся область душевной жизни человека.

Первую школу самонаблюдения Стендаль проходит в детстве. Покинутый рано умершей матерью, страстно им любимой, он видит вокруг себя только враждебность и равнодушие. Он принужден прятать и скрывать свою душу, чтобы ее не заметили, и, благодаря постоянному притворству, рано постигает «искусство рабов» — ложь. Забившись в угол, молчаливый, таясь от грубых и лицемерных провинциалов, в круг которых он попал по какому-то природному недоразумению, он пользуется периодами своей мрачности и обиженности для того, чтобы выслеживать и наблюдать отца, тетку, гувернера, всех своих мучителей и угнетателей, и ненависть сообщает его взору злобную остроту, — ибо всякое одиночество делает человека бдительнее к себе и к другим. Так, еще в детском возрасте учится он злорадно подсматривать, безжалостно разоблачать, преследовать своим любопытством, — постигает все защитные приемы угнетенного, «рабье искусство» человека зависимого, который в каждой сети ищет петлю, чтобы проскользнуть, в каждом человеке — его слабость; короче говоря,

он, прежде чем приобрести познания светские и деловые, приобретает познания психологические благодаря потребности в самозащите, понуждаемый своей непонятностью.

Вторая ступень для этого слишком уж рано подготовленного юноши длится, собственно говоря, всю жизнь; его высшей школой становится любовь, женщины. Давно известно, — и сам Стендаль не отрицает этого грустного факта, — что, как любовник, он не оказался героем, завоевателем, победителем, и менее всего Дон-Жуаном, каковым тем не менее очень охотно рьядился. Мериме сообщает, что никогда не видел Стендаля иначе чем влюбленным, и, к сожалению, почти всегда несчастно влюбленным. «Почти всегда был я несчастен в любви», — приходится признаться ему; приходится признаться и в том, что «немногие офицеры наполеоновской армии имели так мало женщин, как он». При этом его широкоплечий отец и южанка-мать передали ему по наследству весьма осязательную чувственность, «un tempérament de feu», и взор его разгорается при виде женщины. Но хотя его темперамент и допытывается нетерпеливо относительно каждой, можно ли ее «иметь», и в бумажнике у него хранится бережно рецепт одного из товарищей по полку, как лучше всего побороть добродетель, хотя на вопрос одного из приятелей, как влюбить в себя женщину, он и дает бравурный совет: «Ayez-la d'abord»*, — вопреки всему этому наигранному донжуанству Стендаль всю свою жизнь остается в любви рыцарем довольно печального образа. Дома, за письменным столом, вдали от поля битвы, этот типичный фантазер-сладострастник отличается в любовной стратегии («loin d'elle il a l'audace et jure de tout oser»); он заносит в свой дневник день и час, когда, по его расчету, свершится падение его сегодняшней богини («In two days I could have her»)** , но едва оказавшись в ее близости, этот Казанова тотчас же превращается в гимназиста; первая атака неизменно кончается (он сам в этом признается) крайне неприятным для мужчины

* Для начала овладейте ею (фр.).

** На протяжении двух дней я рассчитываю овладеть ею (англ.).

конфузом перед лицом готовой уже сдать женщины. В самый неподходящий момент какая-то досадная робость подавляет его прекрасный порыв; когда его галантность должна принять активные формы, он становится робок и глуп, впадает в цинизм, когда следует проявить нежность, и поддается сентиментальности перед самой атакой; короче говоря, благодаря расчетам и душевным задержкам он упускает удобнейшие случаи. И избыток, чрезмерная утонченность его восприятия делают его неуклюжим и неловким; в сознании своей застенчивости, боясь показаться сентиментальным и остаться в дураках, этот романтик некстати прячет свою нежность «*sous le manteau de hussard*» — под гусарским плащом сплошной грубости и солдатского обхаживания. Отсюда его «фиаско» у женщин, его хранимое в тайне и в конце концов разглашенное друзьями отчаяние.

Ни к чему не стремился Стендаль всю свою жизнь так страстно, как к легким любовным успехам, и ни к кому, ни к какому философу и поэту, даже к Наполеону, не питает он такого искреннего почтения, как к своему дяде Ганьону или двоюродному брату, вояке Дарю, которые обладали несметным числом женщин, не пользуясь какими-либо особыми психологическими приемами; может быть, именно по этой причине он им и завидует, ибо пришел постепенно к сознанию, что ничто так не тормозит реального успеха у женщин, как перегруженность чрезмерной впечатлительностью; «Успехом пользуешься у женщин только в том случае, если прилагаешь для победы не более усилий, чем нужно для выигрыша бильярдной партии», — внушает он себе в конце концов. Значит, и здесь, по его мнению, недостаток заключается в чрезмерно восприимчивой душевной организации, в избытке чувства, понижающем силу необходимого в данном случае напора: «*J'ai trop de sensibilité pour avoir jamais le talent de Lovelace*»; он признает себя слишком тонко организованным, чтобы иметь большой успех в жизни и, в частности, успех в качестве соблазнителя, каковым он был бы в тысячу раз охотнее, чем писателем, художником, дипломатом Стендалем.

Эта мысль о своей донжуанской несостоятельности постоянно угнетает Стендаля; ни над одной проблемой не раздумывал он так много и напряженно, вновь и вновь к ней возвращаясь. И именно этой нервной, внушенной неуверенностью в себе анатомической работе над своей эротикой обязан он (и мы вместе с ним) столь полным проникновением в сокровеннейшие сплетения чувственных восприятий. Сам он рассказывает, что ничто так не подготовило его к психологической проблеме, как любовные неудачи, малое число его побед (которых он насчитывает всего шесть или семь, в том числе главным образом неоднократно бравшиеся уже другими крепости или добровольно капитулирующие добродетели); имей он, как другие, успех в любви, никогда бы не был он вынужден так упорно наблюдать женскую душу в ее тончайших и нежнейших эманациях; на женщинах научился Стендаль испытывать свой дух; отчужденность и здесь создала из наблюдателя совершенного знатока.

То, что это систематическое самонаблюдение привело его необычайно рано к самовоспроизведению, имеет еще и особую, крайне своеобразную причину: этот человек, желающий знать себя до конца, то и дело себя забывает. У Стендаля плохая или, лучше сказать, очень своевольная и капризная память, во всяком случае ненадежная, и поэтому он никогда не выпускает из рук карандаша. Без устали делает он заметки — на полях книги, на отдельных листках, на письмах, и прежде всего в своих дневниках. Опасение забыть какие-либо важные переживания и тем подвергнуть риску непрерывность своей жизни (этого единственного произведения искусства, над которым он работает планомерно и длительно) приводит к тому, что он сразу же отмечает всякое движение чувства, всякое событие. На письме графини Кюриаль, потрясающем, раздираемом рыданиями любовном письме, он с каменной деловитостью правящего регистратора ставит даты начала и конца их связи; он отмечает, когда и в каком именно часу он одержал окончательную победу над Анджелой Пьетрагруа; с одинаковой точностью он ведет запись своим сокровеннейшим душевным тай-

нам и расходам на обед, книги или стирку белья. Непрерывно делает он пометки, всегда и обо всем; часто кажется, что думать он начинает, только взяв в руки перо. Этой нервической графомании обязаны мы, в конце концов, шестьюдесятью или семьюдесятью томами, воспроизводящими его самого во всех мыслимых формах — поэтической, эпистолярной и анекдотической (до сих пор и половина их еще не опубликована). Стендалевская биография сохранена для нас в такой полноте не в силу его тщеславных побуждений или болезненной потребности в самообнажении, но исключительно благодаря эгоистическому его опасению — упустить, при своей непрочной памяти, хотя бы каплю той неповторимой субстанции, имя которой Стендаль.

Эту особенность своей памяти, как и все, ему присущее, Стендаль подверг анализу с прозорливостью ясновидящего. Прежде всего он устанавливает, что память его архиэгоистична, иначе говоря, не удерживает того, что не относится к Стендалю, — да и как могло бы быть иначе? «*Je manque absolument de mémoire pour ce qui ne m'intéresse pas*». Что не касается его лично, что не врезается занозой в его сердце или сердечную оболочку, то сразу же заживает безболезненно и без следа. Поэтому он запоминает так мало внешнего, например, цифры, хронологические даты, названия местностей; он начисто забывает все подробности важнейших исторических событий; не помнит, когда встретился с той или иной женщиной или с другом (даже с Байроном и Россини); он мешает и перепутывает свои воспоминания с сознательными или бессознательными вымыслами; далекий от того, чтобы отрицать этот недостаток, он, не задумываясь, признается в нем: «*Je n'ai de prétention à la véragité, qu'en ce qui touche mes sentiments*». Лишь постольку, поскольку затронуто его чувство, Стендаль ручается за фактическую достоверность; он настойчиво утверждает в одном из своих произведений, что никогда не берет на себя смелость изображать вещи в их реальности, а воспроизводит лишь впечатление от них. Ничто, таким образом, не свидетельствует очевиднее о том, что события в себе вовсе не существуют для

Стендаля и облекаются реальностью лишь по мере их воздействия на душу; зато в этих случаях его абсолютно односторонняя чувственная память реагирует с быстротой и точностью, не имеющими себе равных; тот самый Стендаль, который совершенно не уверен, говорил ли он когда-нибудь с Наполеоном или нет, который не знает, помнит ли он действительно самый переход через С.-Бернард или только гравюру, его воспроизводящую и попавшуюся ему на глаза через десять лет, этот Стендаль способен с кристаллической ясностью вспомнить мимолетный жест женщины, ее интонацию, ее движение, поскольку он когда-либо был ею внутренне затронут. Его способность к запоминанию определяется единственно душевной реакцией на то или иное событие, но ни в коем случае не удельным весом самого события. При всех обстоятельствах, когда чувство не участвовало, все заволакивается надолго, часто на десятилетия, темной и неподвижной облачной завесой; и странно: в тех случаях, когда чувство, наоборот, проявилось с чрезмерной силой, стендалевская способность к запоминанию также рушится.

Сотни раз, и притом в самые напряженные моменты своей жизни (при описании перехода через Альпы, путешествия в Париж, первой любовной ночи), утверждает он неукоснительно: «Я не сохранил воспоминания об этом, впечатление было чересчур сильное». Избыток душевного переживания дает, таким образом, у Стендаля нечто вроде взрыва чувства, когда впечатление дробится на атомы, как бутылка — на мелкие осколки; так, когда он ничего не почувствовал или почувствовал слишком сильно, он не может дать правдивого описания; так же, как его любопытство и его прозорливость, так и его способность припоминания, его оглядка назад направлены исключительно на область интимного, на детали душевной жизни.

Таким образом, воспоминание может выкристаллизироваться у Стендаля только тогда, когда почва его сердца, с одной стороны, напоена чувственным восприятием, а с другой — когда она не наводнена до чрезмерности бурным, дико свергаю-

щимся потоком истинной страсти. Вне этого круга чувств память Стендаля (как и его художественная мощь) не безупречна: только прошедшие через душу впечатления противятся забвению у Стендаля. Поэтому в своих автобиографических трудах этот безусловный эгоцентрик не является, перед лицом мира, достоверным свидетелем; он, собственно говоря, не способен мыслить в прошедшем, он может только чувствовать в прошедшем. Обходным путем, через душевный рефлекс, а не механическими приемами запоминания, восстанавливает он действительный процесс; «il invente sa vie»^{*}; вместо того чтобы находить в памяти, он изобретает, творит события из памяти чувства. Таким образом, его автобиографии присуще что-то от романа, так же как его романам — нечто автобиографическое; в обоих случаях произведения Стендаля являются романтической реальностью.

Поэтому точностью в воспоминаниях Стендаля отличаются только отдельные элементы, детали; не следует от него ждать столь законченного отображения собственного мира, как, например, в «Поэзии и правде» Гете. И в качестве автобиографа Стендаль, естественно, оказывается мастером отрывка, импрессионистом; свойственная ему по природе форма — дневник, заметка сегодняшнего дня, молниеносно мелькнувшая мысль. Действительно, он начинает свой портрет с разрозненных случайных черточек и заметок в том самом «Journal», в своем десятилетия лет веденном дневнике, который он, само собой разумеется, предназначает только для себя (un tel journal n'est fait que pour celui qui l'écrit); правда, — у Стендаля нет конца двойственностям, обходным движениям, усложненности, — предназначает он дневник для двойного «я»: с одной стороны, для «я» пишущего, самоуслаждающегося в 1801 году, и с другой — для более позднего Стендаля, которому он намерен изложить и объяснить свою жизнь («Ce journal est fait pour Henri, s'il vit encore en 1821. Je n'ai pas d'envie

^{*} Он изобретает свою жизнь (фр.).

de lui donner occasion de rire aux dépens de celui qui vit aujourd'hui*)).

В своем непоколебимом стремлении найти себя, объяснить и подняться выше через самопознание («De se perfectionner dans l'art de connaitre et d'émouvoir l'homme») этот девятнадцатилетний юноша уже представляет себе в будущем контроль над собой, в лице более позднего и более умного «я», «Henri plus méfiant», более позднего и холодного Стендаля, которому он предложит эти «Mémoires pour servir à l'histoire de ma vie», словно этот полумальчик знает в самом деле, что в дальнейшем взрослый мужчина будет страстно искать материалов для цельного самоизображения.

Здесь налицо одно из наиболее таинственных проявлений стендалевского гения — та совершеннейшая самоподготовка для целей своего «я», которая задолго, в полном неведении формы и без отчетливого представления о целях, начинает с абсолютно целесообразнейшего, а именно с фиксации отдельных душевных переживаний, с собирания самых ценных, самых естественных впечатлений в качестве первичного материала. Он держится крепко, удерживая все, что ему попадается в руки, отмечая все эти «petits faits vrais», эти мелочи и песчинки, по которым позднее он, искушенный опытом, отмерит в своих песочных часах ход своей жизни. Только отмечать хотя бы, только удерживать эти малые впечатления, пока они горячи, пока они беспокойно бьются в руке, как сердце пойманной птички. Только бы не дать им упорхнуть, все хватать и задерживать, ничего не доверяя памяти, этому ненадежному потоку, который в своем течении все смывает и уносит. Не бояться складывать во вместительный ящик пустяки, детские игрушки чувства, всякий хлам; кто знает, может быть, став взрослым, склонись охотнее всего над курьезом и незамысловатостями своего отзвучавшего сердца. Гениальный инстинкт побуждает юношу заботливо собирать и хранить эти незначительные вспышки чувства; зрелый муж, опытный психолог, художник-

* Этот дневник предназначен для Анри, если он еще будет жив в 1821 г. Я не хочу давать ему случая посмеяться за счет сегодняшнего Анри (фр.).

мастер с чувством благодарности и со знанием дела приведет их в порядок для величественной картины своей юношеской истории, для своего жизнеописания, которое он назовет «Анри Брюлар», для этого чудесного взгляда в свое детство.

Ибо лишь очень поздно, так же, как и к своим романам, приступает Стендаль к духовному воссозданию своей юности в осознанном автобиографическом произведении, поздно и в торжественный миг меланхолического расставания с прошлым. На ступенях Св. Петра в Риме сидит пожилой человек и раздумывает о своей жизни. Еще два-три месяца, и ему исполнится пятьдесят; ушла, навсегда ушла молодость, а с нею женщины и любовь. Пора, кажется, задать вопрос: «Чем же был я? Что представлял я собой?» Миновало время, когда сердце напрягалось, чтобы быть готовым и сильным для порыва и приключения; возраст требует подведения итогов, оглядки назад на самого себя, а не устремления в неизвестность. И вечером, только что вернувшись с раута у посланника, где было так скучно (скучно, потому что больше не одерживаешь побед над женщинами и устаешь от бессвязной беседы), он решает внезапно: «Нужно описать свою жизнь. И когда это будет сделано, я через два или три года буду, может быть, знать, каков же я был: веселый или меланхолик, остроумный или тупица, мужественный или трусливый — и, прежде всего, счастливый или несчастный». И стареющий Стендаль решает осуществить чаяния мальчика, дать цельное описание своей жизни — совершенное самопознание через совершенное самоизображение.

Легко сказать, но трудно выполнить! Ибо Стендаль решил быть в этом «Анри Брюларе» (где он пользуется шифром, чтобы укрыться от всяческого любопытства) «попросту правдивым»; но как трудна — он знает это — эта правдивость, эта неуклонная правда в отношении себя самого, это шныряние между многочисленными капканами тщеславия при такой расплывчатой, такой своевольной памяти! Как найти себя в сумрачном лабиринте минувшего, как различить свет от блуждающих огней, как увернуться от лжи, назойливо поджидающей, в обличье истины, за каждым поворотом дороги? И Стендаль,

психолог, находит — впервые и, может быть, единственный из всех — гениальный способ не попасть в руки чрезмерно услужливого фальшивомонетчика — воспоминаний и избежать неправдоподобия, а именно: писать, не откладывая перо в сторону, не перечитывать, не передумывать, полагаться на первый набросок, как на правильный, «чтобы не лгать из тщеславия».

То есть попросту откинуть стыдливость и обдуманность, разражаться неожиданными признаниями, прежде чем судья и цензор, там, внутри, опомнится. Не давать времени художнику стилизовать, приукрашивать сказанное! Уподобляться в работе не живописцу, а фотографу-моменталисту! Все время ловить внутренние движения в характерных для них очертаниях, прежде чем они примут искусственную театральную позу и кокетливо повернутся к наблюдателю!

Стендаль пишет воспоминания о самом себе легким пером, в один прием, и в самом деле никогда не перечитывает написанного, не заботясь о стиле, о цельности, о рельефности до такой степени, словно бы все вместе было только частным письмом к приятелю: Стендаль работает над воспроизведением себя самого, «как он надеется», поистине «не делая для себя никаких иллюзий», «с удовольствием» и «как над частным письмом», и притом, «чтобы не лгать в художественной форме, как Жан-Жак Руссо». Он сознательно жертвует красотой своих мемуаров ради искренности, искусством ради психологии.

В самом деле, с чисто художественной точки зрения, его «Анри Брюлар», так же как и продолжение его, «Воспоминания эгоиста», представляет достижение сомнительное, — то и другое набросано слишком поспешно, небрежно, бессистемно. Всякий вспомнившийся ему факт Стендаль с быстротой молнии заносит в книгу, не заботясь, подходит ли он к данному месту или нет. Так же точно, как и в его записных книжках, высокое оказывается в непосредственном соседстве с мелким, отступления на общие темы — с интимнейшими личными признаниями, и расплывчатое многословие нередко задерживает нарастание собственно драматического. Но именно эта непри-

нужденность, эта работа спустя рукава вызывает его на такие откровения, из которых каждое, в качестве психологического документа, действует сильнее, чем любой том. Признания столь решительные, как знаменитое заявление о рискованном влечении к матери и о смертельной, звериной ненависти к отцу, — признания, которые трусливо прячутся у других в дальние уголки подсознания, — не смеют у него вырваться, пока цензор бдит; эти интимности контрабандно переходят границу — иначе выразиться трудно — в моменты сознательно самовнушенного морального безразличия. Только благодаря своей гениальной психологической системе — не давать ощущениям времени причесаться под «красивость» или «мораль» или навести на себя румяна стыдливости — он ловит эти интимности в самые их щекотливые моменты, когда от других, более неуклюжих и медлительных, они отскакивают с криком; обнаженные и еще не успевшие устыдиться, эти застигнутые врасплох грехи и чудачества оказываются внезапно перенесенными на бумагу и впервые глядят прямо в глаза человеку (ибо некоторых деталей никто еще не выманивал из их потаенных нор до этого неустрашимого Крысолова). Какие поразительные строки, какие взрывы демонически-гневного чувства возникают в этом детском сердце! Можно ли забыть сцену, где маленький Анри «падает на колени и благодарит Бога» за то, что умерла ненавистная ему тетка Серафи («один из двух дьяволов, посланных моему несчастному детству», другим был отец)? И тут же рядом — ибо чувства у Стендаля перекрещиваются, как ходы лабиринта — пустячное замечание, что даже этот дьявол однажды на одну (в точности описанную) секунду возбудил в нем раннее эротическое чувство. Какое глубинное смешение изначальных восприятий, какое мастерство и ясность в обособлении их среди дикой путаницы, какая смелость открытого признания! Едва ли кто-нибудь до Стендаля постиг, как многосложен человек, как близко соприкасаются у кончиков его нервных волокон противоречия и противостремления и как еще не оперившаяся детская душа содержит уже в себе, в тончайших наслоениях, пласт за пластом, пошлое и возвышен-

ное, суровое и нежное; и именно с этих случайных, незаметных открытий начинается в его автобиографии анализ.

Стендаль, первый из всех, отказывается, в отношении себя, от идеи однородности, присущей еще и Жан-Жаку Руссо (не говоря уже о таких наивных автобиографах, как Казанова, которым их «я» представляется очевидностью и вместе с тем — единственным рычагом для овладения жизнью); он отчетливо сознает нагроможденность, спутанность, перегруженность своих наслоений, и подобно тому, как археолог по осколку вазы, по надписи на камне получает представление о древних, гигантских эпохах, оставивших след в этом наслоении, так и Стендаль открывает по ничтожным намекам бесконечные области души человеческой, ее властителей и тиранов, ее войны и битвы; производя самораскопки и восстанавливая себя заново, он пролагает своим преемникам и последователям путь к новым смелым завоеваниям. Едва ли откровенное голое любопытство к самому себе одного, отдельного человека оказалось когда-либо более творческим и наукообразным, чем эта небрежно проведенная, но от гения исходящая попытка самоизображения.

Ибо именно эта небрежность, это безразличие к форме и построению, к потомству и литературе, к морали и критике, великолепная интимность и самоцельность стендалевской попытки делают «Анри Брюлара» несравненным документом души. В романах своих Стендаль хотел все-таки быть художником — здесь он только человек и индивидуум, одушевленный любопытством к самому себе. В его автопортрете неопишуемая прелесть отрывочности и правдивость непреднамеренной импровизации; именно отсутствие последней определенности, последней законченности сохраняет для нас живым очарование личности; никогда не узнаешь Стендаля до конца ни по его произведению, ни по его автобиографии. Чувствуешь непрестанное влечение разгадать его загадочность, понять его в познании, познать в понимании. Этот дух искушения овладевает каждым новым поколением его потомков. Так и поныне продолжает его сумеречно-озаренная, одновременно холодная и

пылкая, вибрирующая всеми нервами душа вдохновенно действовать на все живое; воплотив самого себя, он свое страстное любопытство и свое искусство прозрения воплотил в новом поколении и, в качестве истинного ценителя, прирожденного и преданного любовника своей Единственности, научил нас всей ослепительной прелести самовыспрашивания и самосозерцания.

СТЕНДАЛЬ В СОВРЕМЕННОСТИ

Меня поймут около 1900 г.

Стендаль

Стендаль перешагнул через целое столетие — девятнадцатое; его старт — dix huitième*, век грубого материализма Дидро и Вольтера, а финиш — средоточие нашей эпохи, эпохи психофизики и научного разрешения вопросов о душе. Потребовалось, как выразился Ницше, «два поколения, чтобы догнать его, разгадать часть загадок, его волновавших». Поразительно немного в его произведениях состарилось и отмерло; добрая доля предвосхищенных им открытий стала уже общим достоянием, а некоторые из его пророчеств теперь только сбываются. Оставшись далеко позади своих современников, он в конце концов опередил их всех, за исключением Бальзака; ибо как ни противостоят они друг другу в отношении художественного творчества, только они двое воплотили свою эпоху в грядущем: Бальзак — тем, что усилил до чудовищных размеров, вне современных ему отношений, понятия слоев и наслоений, идею социологической мощи капитала, механизма политики, а Стендаль — тем, что «своим провидящим зрением психолога, своим проникновением в сущность вещей» размельчил индивидуума и определил его оттенки. Бальзак дал правильную идею развития общества, а Стендаль — новую психологию; ибо их мерки, по-тогдашнему слишком преувеличенные или чрез-

* Восемнадцатый век (фр.).

мерно дифференцированные, как нельзя лучше подходят к современному индивидууму и современному обществу. Бальзак в своем прозрении мира предсказал нашу эпоху, а Стендаль в своей интуиции — человека нашей эпохи.

Ибо люди Стендаля — это мы сегодняшние, более искушенные в самонаблюдении, более разбирающиеся в психологии, люди с более радостным сознанием, с большей нравственной свободой, более развитые нервно и любопытствующие в отношении самих себя, уставшие от всяческих мертвящих теорий познания и лишь жадные к познанию собственной крови. Для нас дифференцированный человек больше уже не чудище, не исключительный случай — в противоположность чувствовавшему себя таковым среди романтиков Стендалю, ибо новые научные идеи в психологии и психоанализе дали с тех пор в наши руки всевозможные тонкие орудия для освещения таинственного и уяснения запутанного.

Но как много знал уже вместе с нами «этот удивительно прозорливый человек» (вторично именуется его так Ницше) в свою эпоху дилижансов и в своем наполеоновском мундире! До какой степени нашими устами говорит его догматизм, его ранний всеевропеизм, его отвращение ко всякому механическому упрощению мира, его ненависть ко всему массово-героичному и напыщенному! Как справедливо его просветленное высокомерие по отношению к сентиментальным изъяснениям чувства в его эпоху, как точно угадал он свой час в нашем столетии!

Бесчисленны пути и веки, намеченные им, в его окольных изысканиях, для нашей литературы. Раскольников Достоевского был бы немислим без его Жюльена, немисливо толстовское описание Бородинской битвы без его классического прообраза — правдивого изображения битвы при Ватерлоо, и мало кто из людей так поддержал творческое неистовство Ницше, как Стендаль своим словом и своими произведениями. Так пришли они к нему, эти «*âmes fraternelles*», эти «*êtres supérieurs*», которых он тщетно искал при жизни; его поздняя родина, та, единственная, которую он признавал своей свободной душой космополита, — «люди, похожие на него» — дали

ему право гражданства и увенчали его венцом гражданства. Ибо никто из его современников, кроме Бальзака, единственного братски его признавшего, не стоит к нам по своему уму и чувству так близко, как он. Через психологическое посредство печатных букв, в бездушной бумаге чувствуем мы, вплотную около себя, его образ, непостижимый, хотя он и постигает себя, как немногие, раздираемый противоречиями, фосфоресцирующий загадочностью, воплощающий тайное и в тайне замыкающийся, законченный в себе и все же не доведенный до конца, и всегда живой, живой, живой. Ибо как раз того, кто стоит в стороне от эпохи, призывает всего настойчивее следующая эпоха как свое средоточие. И самым неуловимым душевным движениям присуща наиболее длительная волна колебаний во времени.





ЛЕВ ТОЛСТОЙ

Нет равного по силе воздействия и подчинению всех людей к одному и тому же настроению, как дело жизни и под конец целая жизнь человеческая.

23 марта 1894. Дневник

ПРЕЛЮДИЯ

Суть не в моральном совершенстве, а в процессе его достижения.

Дневник старости

«**Б**ыл человек в земле Уц. И был человек этот непорочен, справедлив и удалялся от зла. Именья у него было семь тысяч мелкого скота, три тысячи верблюдов, пятьсот ослиц и множество прислуги. И был человек этот знаменитее всех сынов востока».

Так начинается история Иова, благословенного, пока не поднял Бог наказующего перста, поразив его проказой, дабы он пробудился от косности своего благосостояния, терзал свою душу и восстал против него. Так начинается и история жизни духа Льва Николаевича Толстого, который в своей стране был знаменитее всех современников. И он «был первым» среди могущественных, богато и спокойно жил он в унаследованном доме. Его тело полно здоровья и силы, любимая им девушка стала его женой и родила ему тринадцать детей. Дело его рук и его души вросло в вечность и окружает его ореолом: благоговейно склоняются мужики в Ясной Поляне, когда могучий боярин пронесется мимо них на коне, благоговейно склоняется перед его рокочущей славой вселенная.

Так же, как Иову до ниспосланного ему испытания, Льву Толстому нечего больше желать, и в одном из своих писем он

высказывает самое отважное человеческое изречение: «Я безмерно счастлив».

И вдруг — в одну ночь — все потеряло и смысл и значение. Привычный к работе, он возненавидел работу, жена стала ему чужда, дети безразличны. Ночью он встает с раскиданной постели, как больной, беспокойно бродит взад и вперед, днем сидит погасший, с вялой рукой и неподвижным взором, за своим письменным столом. Однажды он поспешно поднялся по лестнице и запер в шкаф охотничье ружье, чтобы не направить дуло на себя; время от времени он стонет, точно от невыносимой боли, иногда рыдает, как ребенок, запертый в темной комнате. Он не распечатывает писем, не принимает друзей. С недоумением смотрят сыновья, с отчаянием — жена на внезапно омрачившегося мужа.

Где искать причину этой неожиданной перемены? Не подтачивает ли тайная болезнь жизненные силы, не покрылось ли проказой его тело, не случилось ли с ним внезапное несчастье? Что произошло со Львом Николаевичем Толстым — могущественнейшим среди своих современников, отчего он лишен всех радостей жизни; что произошло с сильнейшим в стране, отчего вдруг трагически омрачилось его чело?

Ужасный ответ: ничего! Ничего не произошло или, вернее, еще ужаснее: ничто. Толстой узрел «ничто» за вещами. Что-то оборвалось в его душе, образовалась внутренняя трещина, узкая черная трещина, и потрясенный взор с неумолимой пристальностью направлен туда — в эту пустоту, в это новое, чужое, холодное, бесформенное, непостижимое, скрывающееся за нашей теплой, насыщенной кровью жизнью, — в это вечное «ничто», скрывающееся за мимолетным бытием.

Кто хоть раз заглянул в эту бездонную пропасть, тот не отведет больше взора от нее, ум заволакивается мраком, блеск и цвет жизни угасают. Смех застывает на устах; к чему бы он ни прикасался, он ощущает холод, распространяющийся от кончиков пальцев до в ужасе сжимающегося сердца, на чем бы ни остановился его взор, он вспоминает об этом «ничто». Завядшими и бессмысленными представляются вещи, которые еще

недавно были полны эмоцией; слава стала погоней за ветром, искусство — шутовством, деньги — желтыми отбросами и собственное дышащее здоровьем тело — жилищем червей: из всего ценного эта черная невидимая губа высасывает сок и сладость. Мир замерзает для того, кто хоть раз, охваченный первобытным ужасом, узрел эту страшную, гложущую, мрачную пустоту, этот «Maelstrom» Эдгара По, который уносит все за собой, эту «gouffre» — пропасть Паскаля, глубина которой глубже всех доступных духу высей. Тщетно скрывать, тщетно играть в прятки. Не станет легче, если эту мрачную тоску назовешь Богом и будешь говорить священные слова. Не станет легче, если заклеишь эту черную трещину листками из Евангелия: тьма проникает сквозь пергамент и гасит свечи в церкви, ледяной холод полюсов вселенной не отогреть теплым дуновением речи. Не помогает, подобное пенью ребят, старающихся заглушить свой страх в лесу, громкое чтение проповедей — оно не может положить конец невыносимо тягостной тишине: мрачно возвышается молчаливая пустота над бодрствующим сознанием. Никакая воля, никакая мудрость не освещают более однажды напуганную, омраченную душу.

На пятьдесят четвертом году своей деятельной жизни Толстой впервые ощутил огромную пустоту как свою общечеловеческую судьбу. И с этого часа до самой смерти с неумолимой пристальностью направлен его взор в эту черную бездну, в этот непостижимый внутренний мир, скрывающийся за спиной бытия. Но даже устремленный в пустоту, взор такого гиганта, как Лев Толстой, остается острым и ясным — мудрейший, одухотвореннейший взор человека нашей эпохи. Впервые с такой гигантской силой вступил человек в борьбу с невыразимым трагизмом тленности, впервые так решительно противопоставил вопрос судьбы человека вопросу судьбы человечества. Никто не пережил этого пустого и сосущего душу взора глубже, никто не перенес его величественнее, ибо здесь мужская совесть противопоставила мрачной настороженности черного зрачка ясный, смелый и полный энергии наблюдательный взор художника. Никогда, ни на одну секунду, Лев Толстой не от-

водил трусливо своего взгляда от трагической проблемы бытия, этого самого бдительного, правдивого и самого неподкупного в нашем современном искусстве взгляда: поэтому нет ничего более величественного, чем эта героическая попытка даже непостижимому придать созидающий смысл и неизбежному — его истину.

Тридцать лет, от двадцатого года своей жизни до пятидесятого, Толстой жил жизнью творца — беззаботный и свободный. Тридцать лет, от пятидесятого года до конца своих дней, он живет в поисках смысла жизни и познания ее, в борьбе за непостижимое, прикованный к недостижимому. Ему жилось легко, пока он не поставил себе непомерную задачу — спасти этой борьбой за истину не только себя, но и все человечество. То, что он взялся за эту задачу, заставляет причислить его к лику героев, пожалуй, даже святых. То, что он изнемог под ее тяжестью, делает его самым человеческим из всех людей.

ПОРТРЕТ

Лицо мое было такое, как у простого мужика.

Его лицо — лесная чаща: зарослей больше, чем лужаек, и это не дает возможности заглянуть вглубь. Его развевающаяся по ветру, патриархальная борода широким потоком разливается по щекам, на десятилетия пряча чувственные губы и покрывая коричневую, одеревенелую, как кора, кожу. Перед лбом, точно корни деревьев, — кустарники всклокоченных могучих бровей, над челом волнуется серебристое море — беспокойная пена густых беспорядочных прядей; повсюду с тропической пышностью плодится и путается первобытная, стихийно заполняющая все растительность. Как и в лице «Моисея» Микеланджело, в этом образе наимужественнейшего мужа, в лице Толстого нашим взорам открывается сперва лишь белая пенящаяся волна огромной бороды.

Чтобы распознать духовным оком наготу и сущность этого

скрытого лица, необходимо устранить заросль бороды (его портреты в молодости, безбородые, оказывают огромную помощь для таких пластических откровений). Сделав это, приходишь в ужас. Ибо совершенно очевидно, совершенно неоспоримо: контуры лица этого дворянина, человека высокой культуры, выточены грубо, они ничем не отличаются от контуров лица крестьянина. Приземистую избу, дымную и закопченную, настоящую русскую кибитку, избрал себе жилищем и мастерской гений: не греческий Демиург, а нерадивый деревенский плотник соорудил вместилище для этой многогранной души. Неуклюжие, неотесанные, с толстыми жилами, низкие поперечные балки лба над крошечными оконцами-глазами, кожа — земля и глина, жирная и без блеска. В тусклом четырехугольнике нос с широкими открытыми звериными ноздрями, за всклокоченными волосами дряблые, точно приплюснутые ударом кулака, бесформенные, отвисшие уши; между впалыми щеками толстые губы, ворчливый рот; топорные формы, грубая и почти вульгарная обыденность.

Тень и мрак повсюду, придавленность чувствуется в этом трагическом лице мастера, ни намек на возвышенный полет, на разливающийся свет, на смелый духовный подъем — как в мраморном куполе лба Достоевского. Ни единого луча света, ни сияния, ни блеска — идеализирует и лжет тот, кто отрицает это: нет, лицо Толстого, несомненно, остается простым и недоступным, оно не храм, а крепость мыслей, беспросветное и тусклое, невеселое и безобразное, и даже в молодые годы Толстой сам отдает себе отчет в безотрадности своей внешности. Всякий намек на его внешность «больно оскорбляет его»; он думает, что «нет счастья на земле для человека с таким широким носом, толстыми губами и маленькими серыми глазами». Поэтому еще юношей он прячет ненавистные для него черты лица под густой личиной темной бороды, которую поздно, очень поздно старость серебрит и окружает благоговением. Лишь последнее десятилетие рассеивает мрачные тучи, только в позднюю пору благословенный луч красоты озаряет этот трагический ландшафт.

В приземистом, тусклом помещении — обыденном русском лице, за которым можно предположить решительно все, кроме одухотворенности, поэзии, творчества, — в теле Толстого нашел приют вечно странствующий гений. Мальчиком, юношей, мужчиной, даже старцем Толстой всегда действует как один из многих. Всякое одеяние, всякая шляпа ему к лицу: с таким анонимным общерусским лицом можно председательствовать за министерским столом так же, как и пьянствовать в притоне бродяг, продавать на рынке булки или в шелковом облачении митрополита осенять крестом коленопреклоненную толпу: нигде, ни в каком обществе, ни в каком одеянии, ни в каком месте России это лицо никому не могло броситься в глаза чем-либо из ряда вон выходящим. В студенческие годы он выглядит заурядным студентом, офицером он похож на любого носителя оружия, дворянин-помещик — он типичный сельский хозяин. Когда он едет рядом с седобородым слугой, то нужно основательно разобраться по фотографии, кто, собственно говоря, из двух сидящих на облучке стариков граф, кто кучер; если видишь его на снимке разговаривающим с мужиками, не зная его, не угадаешь, что это Лев среди деревенских жителей, граф и вдобавок в миллион раз значительнее, чем окружившие его Григории, Иваны, Ильи и Петры. Точно он один представляет всех, вместе взятых, точно гений, вместо того чтобы принять образ исключительного человека, переоделся в крестьянское платье, — столь анонимным, столь общерусским представляется его лицо. Именно потому, что Толстой воплощает в себе всю Россию, у него не исключительное, а только чисто русское лицо.

Поэтому его внешний вид разочаровывает всех, кто видит его в первый раз. Много миль они сделали сперва по железной дороге, потом от Тулы на лошадях; теперь они сидят в приемной, благоговейно ожидая мастера; каждый в душе ждет подавляющего впечатления и рисует его себе могучим, величественным мужем с широко разливающейся бородой, высоким гордым гигантом и гением. Дрожь ожидания заставляет их невольно опускать плечи и глаза перед величественной фигурой пат-

риарха, которого они увидят через миг. Наконец, дверь открывается, и — о, удивление: маленький, приземистый человек входит так быстро, что развеивается борода, почти бегом, и неожиданно останавливается с приветливой улыбкой перед изумленным посетителем. Он обращается к нему веселым, быстрым говором, легким движением протягивает руку. Вы берете эту руку, в глубине души потрясенные. Неужели этот уютный человек действительно Лев Николаевич Толстой? Трепет перед его величием исчезает; осмелевший любопытный взор касается его лица.

Но вдруг кровь останавливается в жилах взглянувшего на него. Точно пантера, из-за густых джунглей бровей бросается на вас взгляд серых глаз, тот изумительный толстовский взгляд, не переданный ни одним портретом, о котором все же говорят люди, заглянувшие в лицо этого колосса. Как удар ножом, твердый и сверкающий, как сталь, этот взор сковывает каждого. Нет сил шевельнуться, нет мочи укрыться от него, каждый, точно под гипнозом, должен терпеть, пока этот любопытный, причиняющий боль взор, как зонд, пронизет вас до сокровенных глубин. Против первого удара глаз, нанесенного Толстым, нет защиты; как выстрел, он пробивает щит притворства, как алмаз, он разрезает все зеркала. Никто — Тургенев, Горький и сотни других подтверждают это — не может лгать перед этим пронизывающим взором Толстого.

Но только на один миг этот взор останавливается на вас так холодно, так испытующе. Ирис снова расцветает, сверкает своим серым светом, мерцает сдержанной улыбкой или умиротворяющим мягким блеском доброты. Как тени облаков над водой, отражаются все оттенки чувств в этих магических беспокойных зрачках. Гнев заставляет их сверкать холодной молнией, негодование замораживает их в ледяной кристалл, благодущие светится в них теплыми лучами, и страсть загорается ярким огнем. Они могут улыбаться, эти таинственные звезды, озаренные внутренним светом, когда неподвижно замкнут рот, и умеют, как крестьянка, «проливать ручьи слез», когда их умиляет музыка. Они умеют излучать свет от избытка духовного удов-

летворения и внезапно омрачаться под натиском меланхолии — уйти в себя и стать непроницаемыми. Они умеют наблюдать, холодно, немилосердно, умеют резать, как хирургический нож, и просвечивать насквозь, как рентгеновские лучи, потом снова тонуть в мигающем рефлексе вспышек любопытства; они беседуют на языках всех переживаний, они — «красноречивейшие глаза», светившиеся когда-либо на человеческом лице. И Горький, по обыкновению, находит для них самое меткое определение: «У Л.Н. была тысяча глаз в одной паре». В этих глазах, и благодаря им, в лице Толстого видна гениальность. Все озаряющая сила этого человека собрана воедино в его взгляде — так же, как у Достоевского вся красота сконцентрирована в мраморной выпуклости лба.

Все остальное в лице Толстого — его борода-кустарник не что иное, как оболочка, вместилище и покров для драгоценностей, вкрапленных в эти магические светящиеся камни, впитывающие в себя целый мир и целый мир излучающие, — самый точный спектр вселенной, известный нашему веку. Эти линзы делают более видимым даже ничтожнейшее из произрастающего на земле; стрелой, как ястреб из недостижимых высот набрасывается на спасающуюся мышь, они накидываются на все детали и вместе с тем, точно в панораме, охватывают все шири вселенной. Они могут воспламеняться на духовных высях и в ясновидении бродить по душевной мгле. В них, в этих радиокристаллах, достаточно пламени и чистоты, чтобы в экстазе обратиться к Богу и иметь мужество испытующе заглянуть в окаменелый лик медузы-пустоты. Нет невозможного для этого взора, за исключением одного: быть пассивным, дремать, радоваться чистой спокойной радостью, наслаждаться счастьем и милостью мечты. Ибо, едва лишь открылось веко, этот взор, немилосердно бодрствующий, неумолимо трезвый, точно под властью принуждения ищет добычи. Он опрокинет всякий обман, обличит каждую ложь, разобьет всякую веру: перед этим проникающим вглубь оком все обнажено. Поэтому охватывает ужас, когда он направляет этот серый, стальной меч на себя: его лезвие жестоко вонзается в глубочайшие глубины сердца.

Тот, кто обладает таким взором, видит истину; ему подвластны и мир и познание. Но не будет счастлив тот, кто обладает этим вечно правдивым, вечно бодрствующим взором.

ЖИЗНЕННАЯ СИЛА И ЕЕ СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ

Я бы хотел долго, очень долго жить, и мысль о смерти наполняет меня детским поэтическим страхом.

Юношеское письмо

Первобытное здоровье. Тело, построенное на столетие. Крепкие кости, развитые мускулы, настоящая медвежья сила: лежа на полу, молодой Толстой одной рукой поднимает на воздух тяжелого солдата. Эластичные сухожилия: без разбега он с легкостью гимнаста перепрыгивает через самый высокий барьер; плавает, как рыба; ездит верхом, как казак; косит, как крестьянин; усталость это железное тело испытывает лишь от духовной работы. Каждый нерв натянут: гибкий и твердый, как толедский клинок, он вместе с тем обладает максимальной способностью вибрации; все органы чувств полнозвучны и проворны. Нигде нет пробела, недостатка, трещины, недочета, дефекта в периферии жизненной силы, и благодаря этому серьезной болезни никогда не удастся проникнуть в его каменное тело: невероятная физическая сила Толстого остается защищенной от всяких признаков слабости, замурованной от старости.

Беспримерная жизненная сила; все художники нового времени рядом с этой шумнобородой, библейски дикой мужицкой мужественностью представляются женственными и изнеженными. Даже те, кто творили столь же долго, даже у них утонченно старится тело, изнемогающее под тяжестью пламенного охотничьего духа. Гете (родившийся под одной звездой с ним — в тот же день — 28 августа и также закончивший свой творческий путь на восемьдесят третьем году жизни), Гете, в шестьдесят лет уже ожиревший, прячется от зимы за боязливо закрытыми окнами. Вольтер окостенел, исписывая за своим

бюро бесконечные листы бумаги; он больше похож на чучело злой птицы, чем на человека. Кант — механизированная мумия — напряженно, с трудом тащится по своей Кенигсбергской аллее; в противовес им Толстой, пышущий здоровьем старец, отфыркиваясь, окунает раскрасневшееся от мороза тело в ледяную воду, работает в саду и быстро носится за мячами, играя в теннис. В шестьдесят семь лет он хочет научиться ездить на велосипеде, в семьдесят он носится на коньках по зеркальному катку, в восемьдесят ежедневно тренирует мускулы гимнастическими упражнениями и в восемьдесят два года, на вершок от смерти, — он свистящим кнутом стегает свою кобылу, когда она останавливается или упрямится после двадцативерстного пробега диким галопом. Нет, бросим сравнения: девятнадцатый век не знает другого примера такой сопротивляемости жизненной силы.

Уже тянется к небу глубочайшей старости вершина, и все еще не подточен ни один корень этого пропитанного соком до последней жилки, гигантского русского дуба. Острое зрение сохраняется до смертного часа; во время прогулки верхом его любопытный взор следит за мельчайшим жуком, выползающим из коры, невооруженным глазом следит он за полетом сокола. Ясный слух, впитывающие наслаждение широкие, почти животные ноздри: какое-то опьянение охватывает седобородого пилигрима каждую весну, когда до него доносится острый запах удобрения, соединенный с благовонием оттаивающей земли; он отчетливо вспоминает восемьдесят былых весен, восстанавливая в памяти каждую из них в отдельности с ее постепенным нарастанием; с такой потрясающей силой он ощущает этот единый наплыв ароматов, что глаза вдруг наполняются слезами. Тяжело ступают по мокрой земле в увесистых мужицких сапогах жилистые охотничьи ноги старца, никогда не ослабевает в старческом дрожании рука, буквы его прощального письма не отличаются от больших детских букв почерка мальчугана. И великолепным, непоколебимым — как его сухожилия и нервы — остается его ум: по-прежнему искрится его речь, острая память хранит каждую померкшую де-

таль. Ничто не теряется в этой памяти, никакое напряжение не обессиливает, не стирает его о жесткую терку времени, по-прежнему хмурятся гневно брови при каждом возражении, смех по-прежнему срывается с его уст, по-прежнему формируется в образы его речь, по-прежнему бушует волнуемая кровь. Когда семидесятилетнему старику кто-то при обсуждении «Крейцеровой сонаты» бросил упрек, что в его возрасте нетрудно отречься от чувственности, глаза старца сверкнули гордо и гневно; это неверно, «плоть еще сильна, она заставляет меня бороться и пересиливать ее».

Лишь этой непоколебимой жизненной силой можно объяснить такое неугасимое, неувядаемое творчество: ни один год из шестидесяти, отданных мировым творениям, не остался пустым и неиспользованным. Ибо никогда не отдыхает его созидательный дух, никогда не спит и не дремлет в уюте этот блестящий, бодрствующий и живой ум. Настоящей болезни Толстой не знал до старости, усталость не овладевает им во время десятичасовой работы; органы чувств всегда наготове, они не нуждаются в искусственном подъеме. Не нужно возбуждающих средств, вина или кофе; никогда он не подогревает себя ни пламенем, ни наслаждениями плоти; напротив того: таким здоровьем, напряжением, избытком отличаются эти дисциплинированные органы чувств, что малейшее прикосновение приводит их в движение, капля переполняет чашу. Несмотря на свое крепкое телосложение, Толстой «тонкокожий», — разве он мог бы быть художником без этой высшей чувствительности! Лишь с большой осторожностью можно касаться клавиатуры его чрезвычайно крепких нервов, ибо сила рикошета обращает всякое волнение в опасность. Поэтому он боится (как Гете, как Платон) музыки, она слишком волнует таинственную глубину моря чувствований, она больно задевает наполненный кровью и жизненной силой нерв, управляющий страстями. «Музыка ужасно действует на меня», — сознается он, и действительно, в то время как его семья, уютно собравшись у рояля, равнодушно внемлет музыке, его ноздри вздрагивают, брови недовольно сдвигаются, он испытывает «какое-то стран-

ное давление в горле» — и вдруг резко отворачивается и выходит, ибо слезы ручьями текут из глаз. «Que me veut cette musique?» — сказал он однажды, испугавшись своего волнения. Да, он чувствует, музыка чего-то требует от него, она грозит узнать о том, чего он решил никогда не выдавать; о том, что он спрятал в тайниках своей души и что теперь подымается могучим брожением, готовое прорвать преграды. Зашевелилось что-то сверхмогучее, силы и избытка чего он опасается; с отворачиванием он чувствует себя в глубине, в далекой глубине задетым волной чувственности и втянутым в неверное течение. Но он ненавидит (или боится), вероятно, лишь ему одному известного взрыва чувственности, поэтому-то он и преследует «ту» женщину с неестественной для здорового человека отшельнической ненавистью. «Безвредной» ему кажется женщина, «пока она поглощена обязанностями материнства, целомудренна или защищена оградой возраста» — другими словами, находится по ту сторону половой жизни, которую он всегда ощущал как «тяжелый грех плоти».

Женщина и музыка представляются этому антиэллину, этому искусственному христианину, этому насильственному монаху настоящим злом, потому что та и другая чарами чувственности лишают нас «присущих от природы мужества, решимости, рассудка, чувства справедливости», потому что они, как впоследствии проповедует отец Толстой, влекут «к плотскому греху». И женщины «требуют чего-то от него», что он отказывается им дать; они приближаются к каким-то грозным силам, которые он боится пробудить, — не надо большого ума, чтоб разгадать, какие силы: его собственную повышенную чувственность. Музыка развязывает узы воли: «зверь» пробуждается. «Женщины!» — раздается кровожадный вой стаи собак, потрясающий железную ограду. Только по безумной монашеской боязни, по фанатической дрожи Толстого перед здоровой, бодрой, естественно обнаженной чувственностью можно угадать затаенную в нем колоссальную мужественность человека-зверя, забавлявшегося в юности безудержными выходками, — «неутомимым...» называет он себя в разговоре с Чехо-

вым, — потом пятьдесят лет проводит замурованным в погреб, замурованным, но не погребенным; лишь одно обстоятельство дает возможность заключить по его строгоморальным сочинениям, что чувственности у этого сверхздорового человека всю жизнь было в избытке, — этот самый страх, монашеский, сверххристианский, насильно отводящий в сторону глаза, отчаянный страх перед «женщиной», перед соблазнительницей — в действительности же перед собственными и, очевидно, непомерными желаниями.

Это чувствуется всегда и везде: ничто не внушает Толстому такого страха, как он сам, как его собственная медвежья сила. Опьяняющее подчас счастье сверхздоровья бесконечно омрачается страхом перед животнo-неукротимым инстинктом. Он, конечно, обуздывал его с беспримерной силой, но сознавал: не безнаказанно он родился русским, следовательно, человеком излишеств, фанатиком эксцессов, рабом крайностей.

Поэтому его мудрая воля пытается тело утомлением, поэтому он постоянно стремится занять чем-нибудь свои чувства, дает им возможность излиться, находит для них безопасные игры, дает им воздушную, веселую пищу. Он утруждает мускулы неистовой работой, косой и плугом, утомляет их гимнастическими играми, плаванием и верховой ездой; чтобы обезоружить, обезвредить их, он выталкивает избыток мощи из личной жизни в природу; он в изобилии отдает ей все, что в личной жизни сковано волевыми усилиями. Поэтому страстью страстей его была охота: в ней находят себе выход все инстинкты, светлые и темные. Обычно подавляемые первобытные инстинкты московитских и, быть может, татарских предков, воинственного, кочующего рода всадников с демонической силой пробуждаются в его обычно сдержанной натуре; снова беспредельная чувственность подымает пламенную голову. Толстой доапостольского периода опьяняется запахом лошадиного пота, волнением бешеной верховой езды, нервным напряжением охоты и стрельбы в цель, даже страхом (непостижимо у будущего фанатика милосердия), мучениями загнанной, окровавленной дичи, ее пристальным угасающим взглядом. «Я испы-

тываю истинное наслаждение при виде страданий умирающего животного», — сознается он, расколов сильным ударом палки череп волка, — и лишь при этом торжествующем крике кровавого наслаждения начинаешь подозревать о грубых инстинктах, которые он подавлял в себе всю жизнь (кроме бешеных юношеских лет).

Даже когда в силу моральных убеждений он отказался от охоты, руки его невольно поднимаются в тоске по выстрелу, если он видит прыгающего по полю зайца. Но он побеждает это, как и все другие желания, с решительным постоянством; в конце концов его стремление к чувственному наслаждению удовлетворяется лишь лицезрением живущего, — но какое это сильное и сознательное наслаждение! Как они бродят, текут, наслаждаются — его радостно игривые чувства, когда он дает им волю на лоне природы; как немного нужно, чтобы вызвать его восторг, воспламенить его! Блаженная улыбка раздвигает его уста, когда он проходит мимо красивого коня; почти сладострастно он похлопывает и ласкает теплый шелковистый изгиб, ощущая пальцами пульсирующую животную теплоту: все чисто животное приводит его в умиление.

Часами он настроженными глазами может следить за танцами молодых девушек, любуясь изяществом свободных движений; а если он встретит красивого мужчину, красивую женщину, он останавливается, прерывает разговор, чтобы лучше всмотреться в них и восхищенно воскликнуть: «Как это хорошо, когда человек красив!» Ибо он любит тело, как сосуд живой жизни, как светочувствительную поверхность, как орган, воспринимающий пряный, из тысячи истоков стекающийся воздух, как покров горячей крови, — он его любит, с его теплой колыхающейся плотской страстью, как смысл и душу жизни.

Да, он любит, как самый страстный в литературе анималист, свое тело, он любит его, как художник свой инструмент, он любит плоть, как самую естественную форму человека, и в себе самом он ценит больше свое сильное тело, чем чуткую лицемерную душу. Он любит его во всех формах, во все времена, с начала до конца, и первое сознательное восприятие этого

аутоэротизма начинается — это не описка! — со второго года его жизни. На втором году его жизни, — это подчеркивается, чтобы можно было понять, с какой кристальной ясностью и резкостью очерчено у Толстого всякое воспоминание в потоке времени. Гете и Стендаль ясно помнят себя лишь с седьмого или восьмого года жизни, а двухлетний Толстой чувствует уже так же сильно и отличается такой же концентрированной собранностью всех органов чувств, как и будущий художник. Вот описание его первых плотских ощущений: «Я сижу в корыте, и меня окружает новый, не неприятный запах какого-то вещества, которым трут мое маленькое тельце. Вероятно, это были отруби и, вероятно, в воде и корыте, но новизна впечатлений отрубей разбудила меня, и я в первый раз заметил и полюбил свое тельце с видными мне ребрами на груди, и гладкое темное корыто, засученные руки няни, и теплую, парную, страшную воду, и звук ее, и в особенности ощущение гладкости мокрых краев корыта, когда я водил по ним ручонками».

Прочитав это, следует разложить эти воспоминания детства по их чувственным зонам, чтобы по достоинству оценить универсальную остроту органов чувств, которыми Толстой в крошечной личинке двухлетнего ребенка охватывает окружающий его мир: он видит няню, он обоняет запах отрубей, он различает новые впечатления, он чувствует теплоту воды, он слышит шум, он осязает гладкость стенки деревянной ванночки, и все эти одновременные ощущения различных нервов сливаются в единое «приятное» самообозрение тела — единственной проницаемой для всех жизненных ощущений поверхности. Тогда можно понять, как рано в данном случае присосы чувств цепляются за существование, с какой силой и сознательностью разносторонний натиск явлений внешнего мира у ребенка Толстого превращается в ясные впечатления; можно соразмерить, сравнить с тем, как у взрослого Толстого до краев наполненные мозгом и мускулами, обостренные сознанием чувства, напряженные от жизненного любопытства нервы взрослого организма утончают и возвышают каждое впечатление. И это маленькое игрушечное детское любование своим

крохотным телом в узкой ванночке естественно расширяется в дикое, почти бешеное наслаждение существованием, как и у ребенка, объединяющего в единое всеобъемлющее, гимноподобное, пьянящее чувство свое «я», мир, природу и жизнь.

И действительно, это ощущение слияния со вселенной с опьяняющей силой овладевает иногда Толстым; нужно прочесть, как этот грузный человек изредка подымается и выходит в лес посмотреть на мир, который избрал его среди миллионов, чтобы могущественнее и сознательнее, чем эти миллионы, воспринимать его величие; как он вдруг в экстазе расправляет плечи и простирает руки, точно пытаясь в шумно веющем воздухе схватить беспредельное, волнующее его душу; или как он, равно потрясаемый ничтожнейшим явлением и космическим величием природы, нагибается, чтобы нежно выпрямить растоптанный чертополох или со страстным напряжением наблюдать за сверкающей игрой стрекозы, и поспешно отворачивается, чтобы скрыть наворачивающуюся на глаза слезу, когда замечает, что друзья следят за ним. Ни один поэт современности, даже Уолт Уитмен, не ощущал так могущественно физическое наслаждение земными, плотскими явлениями, как этот русский со своей чувственной пылкостью Пана и великой вездесущностью античного бога. И нетрудно понять его непомерно гордое изречение: «Я сам — природа».

Незыблемо — сам вселенная во вселенной — этот крупный, поднявшийся ввысь человек врос корнями в родную русскую почву; ничто, казалось бы, не может потрясти его могучего мировоззрения. Но и земля иногда сотрясается в сейсмических колебаниях, — подчас колеблется в своей уверенности, *media in vita*, и Толстой. Вдруг останавливается неподвижный взгляд, колеблется направленная в пустоту мысль. В поле его зрения попало нечто, чего он не может ни понять, ни ощутить, что-то пребывающее вне физического тепла и жизненного обилия, что-то, чего он не может постичь, как бы ни напрягал нервы, что-то остающееся неведомым для него, человека мысли, — ибо это не земная вещь, материя, которую он мог бы воспринять, растворить, а нечто враждебно взирающее на все радостное и

откровенно чувственное, нечто, не позволяющее коснуться его, взвесить или ввести в ряд вечно жаждущих мирских чувств.

Ибо как усвоить ужасную мысль, прорезавшую вдруг круг явлений, как допустить, что эти бушующие, дышащие чувства когда-нибудь умолкнут, оглохнут; рука окостенеет и станет бесчувственной, это нагое прекрасное тело, еще согретое течением крови, станет пищей червей и окаменелым скелетом? Что, если это обрушится и на него — сегодня или завтра — эта пустота, эта мгла, это неотвратимое, нигде ясно не осязаемое нечто, — если оно обрушится на него, сейчас еще полного здоровья и силы? Когда Толстой поглощен мыслью о тленном, кровь стынет в его жилах. Первый раз она ему является в детстве: его приводят к трупам матери, там лежит нечто холодное, застывшее, в чем вчера еще была жизнь. В течение восьмидесяти лет он не может забыть это зрелище, которое он тогда не охватывал еще ни душевно, ни мысленно. Но пятилетнее дитя издает крик, испуганный, пронзительный крик, и в бешеной панике убегает из комнаты, чувствуя, что за ним гонятся все Эринии страха. Мысль о смерти овладевает им с той же убийственной силой, когда умирают его брат, его отец, его тетка: всегда она обдает его холодом, эта ледяная рука, и рвет нервы.

В 1869 году, еще перед кризисом, но незадолго до него, он описывает белый ужас, *la blanche terreur*, подобного набега мысли: «Я лег было, но только что улегся, вдруг вскочил от ужаса. И тоска, тоска, какая бывает перед рвотой, что-то разрывало мою душу на части и не могло разодрать. Еще раз попытался заснуть; все тот же ужас — красный, белый, квадратный. Рвется что-то и не разрывается». Случилось ужасное: раньше, чем перст смерти коснулся тела Толстого, за сорок лет до кончины, предчувствие ее вонзилось в душу живого, и избавиться от него ему не удастся. Великий страх сидит ночью у его постели, он гложет его жизненную радость, он сгибается между листками его книг и грызет пораженные гниением черные мысли.

Из этого явствует: страх перед смертью так же сверхчеловечен у Толстого, как и его жизненная сила. Было бы трусостью

назвать это нервным страхом, сходным, пожалуй, с неврастеническим отвращением Эдгара По, мистически сладострастной дрожью Новалиса и меланхолическим затмением Ленау, — нет, здесь прорывается животный, обнаженный дикий террор, яркий ужас, ураган страха, паника проснувшегося жизненного инстинкта. Не как мыслящий человек, не как мужественно-героический ум боится Толстой смерти; точно клейменный алым раскаленным железом пожизненный раб этого призрака, он содрогается, безумно вскрикивая, теряя самообладание: его страх проявляется как животный страх всех созданий мира, заговоривший в единой душе. Он не хочет останавливаться на этой мысли, он не хочет, он отказывается и, как схваченный за горло, простирает вперед руки, — ибо не надо забывать, что Толстой совершенно неожиданно, в дни полного спокойствия подвергается нападению. Для этого московитского медведя нет переходной ступени между жизнью и смертью — смерть для такого первобытно здорового человека абсолютно чуждое явление, в то время как для среднего человека обычно устанавливается часто посещаемый мост: болезнь. Остальные, средние люди уже в пятьдесят лет носят в себе частицу этой смерти, ее близость для них не представляется совершенной невозможностью, она для них уже не будет неожиданностью, поэтому они не содрогаются так растерянно перед ее первым энергичным набегом. Так, например, Достоевский, с завязанными глазами стоявший у столба в ожидании залпа и каждую неделю бившийся в эпилептическом припадке, приученный к страданиям, спокойнее смотрит в глаза смерти, чем этот совершенно неподготовленный, пышущий здоровьем человек: поэтому тень уничтожительного, почти позорного страха не так холодит его кровь, как у Толстого, который при дуновении этого слова, при первом приближении мысли о смерти уже начинает трусливо трястись.

Ему, чрезмерно ощущавшему свое «я» и окружающую жизнь, «опьяненному жизнью», малейшее уменьшение жизненной силы представлялось родом болезни (в тридцать шесть лет он себя называет «стариком»). Благодаря повышенной чув-

ствительности мысль о смерти пронзает его насквозь, как выстрел. Только тот, кто так сильно ощущает бытие, может с такой абсолютной полнотой и интенсивностью ощущать небытие; именно потому, что здесь истинно демоническая жизненная сила сталкивается с таким же демоническим страхом перед смертью, образуется у Толстого такая гигантская пропасть между бытием и небытием — быть может, самая большая во всемирной литературе. Ибо только исполинские натуры оказывают исполинское сопротивление: повелитель, волевой силач, подобный Толстому, не отступит без борьбы перед пустым местом, — тотчас же после первого приступа испуга он берет себя в руки, напрягает мускулы, чтобы покорить вдруг восставшего врага; нет, столь упругая жизненная сила не отступает без борьбы. Едва оправившись от первого удара, он укрывается за окопами философии, подымает мосты и нападает на незримого врага с катапультами из арсенала своей логики, надеясь прогнать его.

Сперва он сопротивляется презрением: «Я не могу интересоваться смертью главным образом потому, что, пока я жив, она не существует». Он называет ее «непостижимой», высокомерно утверждает, что он «не боится смерти, а лишь страха перед смертью», он все время уверяет (целых тридцать лет!), что он ее не боится, без страха думает о ней. Но он никого не может этим обмануть, даже самого себя. Нет сомнения: насыпь душевно-чувственной уверенности разрушена при первом же набеге страха, все нервы и мысли беззащитны перед нападением, и Толстой борется с пятидесятилетнего возраста обломками своей былой жизненной уверенности. И чем ожесточеннее он старается оторваться от навязчивого представления, тем более он обнаруживает непобедимый захват. Он должен, отступая шаг за шагом, согласиться, что смерть не только «призрак», не «огородное пугало», а очень серьезный противник, которого не напугаешь одними словами. Толстой ищет возможности дальнейшего существования совместно с неумолимой тленностью — и, так как в борьбе со смертью жизнь невысказана, решает: жить совместно с ней.

Лишь благодаря этой уступчивости начинается вторая и на

этот раз плодотворная фаза мыслей Толстого о смерти. Он больше «не противится» факту ее наличия. Он не рассчитывает прогнать ее софизмами или волевым усилием устранить ее из царства мыслей, — он пытается дать ей место в своем существовании, растворить ее в своем восприятии бытия, закалиться против неизбежного, «привыкнуть» к нему. Смерть непобедима, с этим он — жизненный великан — должен примириться, но не со страхом смерти: и вот он направляет все свои силы только на борьбу с этим страхом.

Как испанские трапписты еженощно ложились спать в гроб, чтобы умертвить всякий страх, Толстой внушает себе упорными ежедневными волевыми упражнениями самогипнотизирующее постоянное *temento mori*; он принуждает себя постоянно и «со всей душевной силой» думать о смерти, не содрогаясь перед мыслью о ней. Каждую запись в дневнике он с этого времени начинает мистическими буквами Е.б.ж. («Если буду жив»), каждый месяц на протяжении многих лет он заносит в дневник напоминание себе: «Я приближаюсь к смерти». Он привыкает смотреть ей в глаза. Привычка устраняет отчужденность, побеждает боязнь, — и за тридцать лет пререканий со смертью из внешнего факта она становится внутренним, из врага чем-то вроде друга. Он приближает ее к себе, впитывает в себя, делает смерть частицей своего духовного бытия и вместе с тем былой страх — «равным нулю»; спокойно, даже охотно — убеленный сединами и мудрый — смотрит он в глаза тому, что прежде было фантомом ужаса; «не нужно думать о ней, но нужно ее всегда видеть перед собой. Вся жизнь станет праздничнее и воистину плодотворнее и радостнее». Из необходимости родилась добродетель — Толстой (вечное спасение художника!) справился со своим страхом, сделав его объективным; он отстранил от себя смерть и страх перед смертью, вселив его в других, в свои творения. Таким образом то, что вначале казалось уничтожительным, стало лишь углублением в жизнь и, совершенно неожиданно, великолепным подъемом его искусства; ибо с тех пор, как он почувствовал, что ему предназначена смерть, он подружился с ней: благодаря его боязливому

исследованию, тысячекратному предварительному умиранию в воображении этот жизнеспособнейший человек становится самым проникновенным изобразителем смерти, главой всех мастеров, ваявших когда-либо смерть.

Страх, вечно предупреждающий действительность, поспешно изучающий все возможности, окрыленный воображением, питаемый всеми нервами, всегда производительнее, чем тупое глухое здоровье, — каков же этот ужасный, панический, десятки лет бодрствующий первобытный страх, святой horror и stupor этого могущественного человека! Благодаря ему Толстой знает все симптомы телесного умирания, каждую черту, каждый знак, который оставляет у гробовой доски резец на тленной плоти, знает трепет и ужас уходящей души; художник чувствует в себе могучее призвание, рожденное познанием. Смерть Ивана Ильича с его отвратительным воем: «Я не хочу, я не хочу», — жалкое умирание брата Левина, разнородные уходы из жизни в романах, «Три смерти» — все эти настороженные прислушивания над краем сознания принадлежат к крупнейшим психологическим достижениям Толстого; они были бы невозможны без этого катастрофического потрясения, без испытанного им ужаса глубочайших вскапываний, без этого нового настороженно-недоверчивого, сверхземного страха; чтобы описать эти сто смертей, Толстой должен был собственную смерть до тончайших ниточек мысли предчувствовать, перечувствовать и пережить.

Как раз это представляющееся бессмысленным внезапное угасание пробуждает в художнике Толстом новый строй мыслей, ибо каждое чувство всегда предполагает сочувствование: лишь пережитый страх направил его творчество от поверхности, от созерцания и срисовывания действительности в глубины познания. Он научил его избыточному чувственному реализму Рубенса и прорывающемуся изнутри почти метафизическому рембрандтовскому просветлению среди трагических затмений. Только потому, что Толстой ярче, чем кто-либо, пережил смерть при жизни, он сумел показать ее нам с необычайной реальностью.

Каждый кризис — дар судьбы спящему человеку: так в художественном творчестве Толстого и в его духовной позиции наконец создается новое и возвышенное равновесие. Контрасты пронизывают друг друга, ужасный конфликт жизненных наслаждений с их трагическим противником уступает место мудрому и гармоничному соглашению: медленно угасающая жизнь и близкая надвигающаяся смерть текут прекрасно и плодотворно, волна за волной, в героических сумерках его старческих лет. Совершенно в духе Спинозы покоится наконец умиротворенное чувство в чистом полете между страхом и надеждой последнего часа: «Не хорошо бояться смерти; не хорошо ее желать. Весы нужно так поставить, чтобы стрелка стояла ровно и ни одна чаша не перевешивала: это лучшие условия жизни».

Трагическое разногласие наконец улажено. Старец Толстой не питает больше ненависти к смерти и ждет ее терпеливо, он не избегает ее, он не борется с ней: он видит ее лишь в спокойных размышлениях, как художник мечтает о еще незримом, но уже существующем творении. И поэтому последний трепетно жданный час дарит ему полную милость: кончину, великую, как его жизнь, творение его творений.

ХУДОЖНИК

Нет истинного наслаждения, кроме того, которое проистекает из творчества. Можно создавать карандаши, сапоги, хлеб и детей, это значит создавать людей; без творчества нет истинного наслаждения, нет такого, которое не соединялось бы со страхом, страданием, упреками совести и стыдом.

Письмо

Каждое художественное произведение только тогда достигает самой высокой степени, когда забываешь о его художественном соиздании и ощущаешь его существование как несом-

ненную реальность. У Толстого этот возвышенный обман доведен до совершенства. Никогда не осмеливаешься подумать, — столь осязательно, правдиво они нас касаются, — что эти рассказы придуманы, что действующие лица вымышлены. Читая их, кажется, заглядываешь в открытое окно реального мира.

Если бы существовали только такие художники, как Толстой, можно было бы прийти к заключению, что искусство — нечто чрезвычайно простое, искренность — вещь сама собой понятная, творчество — не что иное, как точный пересказ действительности, копия, не требующая высшего умственного напряжения, и нужно для него, по его собственному изречению, «только одно отрицательное качество: не лгать». Ибо с потрясающей несомненностью, с наивной естественностью природы, бушующее и богатое, стоит произведение перед нашими взорами, оно — сама природа, такая же правдивая, как та, другая. Все таинственные силы ярости, пылающего огня, фосфоресцирующих видений, смелого и часто внелогичного вымысла — основные элементы творчества поэта — кажутся в толстовском эпосе излишними и отсутствующими: не опьяненный демон, а трезвый, ясномыслящий человек представляется нам, без всякого напряжения, чисто объективным наблюдением, прилежным срисовыванием создан дубликат реальности.

Но и здесь совершенство художника обманывает благодарно наслаждающийся ум, ибо что может быть труднее передачи истины, что — кропотливее ясности? Документы свидетельствуют о том, что Толстой не обладал даром легкого творчества, он был одним из самых возвышенных, самых терпеливых, самых прилежных работников, и его грандиозные мировые фрески представляют собой художественную и трудную мозаику, составленную из бесконечного числа разноцветных кусочков, из миллиона крохотных отдельных наблюдений. За кажущейся легкой прямолинейностью скрывается упорнейшая ремесленная работа — не мечтателя, а медлительного объективного терпеливого мастера, который, как старинные немецкие живописцы, осторожно грунтовал холст, обдуманно измерял площадь, бережно намечал контуры и линии и затем накладывал

краску за краской, прежде чем осмысленным распределением света и тени дать жизненное освещение своему эпическому сюжету. Семь раз переписывались две тысячи страниц громадного эпоса «Война и мир»; эскизы и заметки наполняли большие ящики. Каждая историческая мелочь, каждая смысловая деталь обоснована по подобранным документам; чтобы придать описанию Бородинской битвы историческую точность, Толстой объезжает в течение двух дней с картой генерального штаба поле битвы, едет много верст по железной дороге, чтобы добыть от какого-нибудь оставшегося в живых участника войны ту или иную украшающую деталь. Он откапывает не только все книги, обыскивает не только все библиотеки, но обращается даже к дворянским семьям и в архивы за забытыми документами и частными письмами, чтобы найти в них зернышко истины. Так годами собираются маленькие шарики ртути — десятки, сотни тысяч мелких наблюдений, до тех пор, пока они не начинают постепенно сливаться в округленную, чистую, совершенную форму. И только когда закончена борьба за истину, начинаются поиски ясности.

Как Бодлер, лирический художник, шлифует, поправляет и полирует каждую строку своего стихотворения, так с фанатизмом безупречного художника сколачивает, смазывает и смягчает Толстой свою прозу. Одна какая-нибудь выпирающая фраза, не совсем подходящее прилагательное, попавшееся среди десяти тысяч строк, — и он в ужасе вслед за отосланной корректурой телеграфирует метранпажу в Москву и требует остановить машину, чтобы изменить тональность не удовлетворившего его слога. Эта первая корректура опять поступает в реторту духа, еще раз расплавляется и снова вливается в форму, — нет, если для кого-нибудь искусство не было легким трудом, то это именно для него, чье искусство кажется нам самым естественным.

На протяжении семи лет Толстой работает восемь — десять часов в день; неудивительно, что даже этот обладающий крепчайшими нервами муж после каждого из своих больших романов психически подавлен; желудок перестает переваривать

пищу, мозг тускнеет, чувство неудовлетворенности овладевает им всегда после окончания какого-нибудь крупного произведения и выливается в форму тяжелой меланхолии; он вынужден искать спасения в абсолютном одиночестве, вдали от всякой культуры; он поселяется в избе, лечится кумысом и восстанавливает душевное равновесие.

Именно этот творец гомеровского эпоса, этот естественнейший, кристальный, почти народно примитивный рассказчик является в глубине души чрезвычайно неудовлетворенным мучеником-художником (бывают ли другие?). Но милость милостей — труд творчества — остается незримым в бытии законченного произведения. Подобными безначальной, беспредельной природе представляются нам уже не осязаемые как произведения искусства прозаические творения Толстого, действенные в наше время и вместе с тем во все времена. Они никогда не носят характерного отпечатка известной эпохи; если некоторые из его рассказов без имени их творца попались бы кому-нибудь впервые в руки, никто бы не осмелился сказать, в каком десятилетии, даже столетии они написаны, настолько это повествование стоит вне времени. Народные легенды «Три старца» или «Много ли человеку земли нужно» могли так же быть написаны, как Руфь и Иов, за тысячелетие до изобретения книгопечатания или в эпоху появления письмен, борьба Ивана Ильича со смертью, «Поликушка» или «Холстомер» принадлежат столько же девятнадцатому, как и двадцатому и тридцатому векам, ибо не современная душа находит здесь свое соответствующее эпохе психическое выражение, как то имеет место у Стендаля, Руссо, Достоевского, а основное, вечное, не подверженное изменениям — земная рпецта, первобытное чувство, первобытный страх, первобытное одиночество человека перед лицом вечности. И так же как в абсолютном мире человечества, так и в относительном мире творчества его не колеблющееся и равномерное мастерство уничтожает время.

Толстой никогда не изучал повествовательного искусства и потому не мог его забыть, его природный гений не знает ни роста, ни увядания, ни прогресса, ни регресса. Описание ланд-

шафта двадцатичетырехлетним Толстым в «Казаках» и это незабвенное сияющее пасхальное утро в «Воскресении», написанное через пятьдесят лет, отделенные одно от другого длиной целой человеческой жизни, дышат одной и той же неувядаемой, непосредственной, ощущаемой всеми нервами свежестью восприятия природы, той же пластической, прощупываемой пальцами наглядностью изображения неорганического и органического мира. В искусстве Толстого нет ни изучения, ни забвения, ни подъема, ни упадка, ни перехода; в течение полувека оно дает равно совершенные ценности; как скалы остаются суровыми и прочными, неподвижными и неизменными в каждой линии перед лицом Бога, так и его произведения — перед лицом гибкого и изменчивого времени.

Но как раз благодаря этому ровному и потому не индивидуализированному совершенству почти не чувствуется в его произведениях присутствие художника: не поэтом фантастического мира является здесь Толстой, а умелым повествователем действительности. В самом деле, боишься иногда называть Толстого поэтом, ибо под этим торжественным словом невольно подразумеваешь явление другого порядка, нечто сверхчеловеческое, таинственную связь с мифом и магией. Толстого же ни в каком случае нельзя назвать человеком «высшей» формации, он совершенно земной, не сверхъестественный, он — сущность всего земного. Нигде он не переступает узкой межи понятного, ясного, наглядного — но какое совершенство в этих рамках! Он не обладает никакими исключительными или магическими качествами, кроме самых обыкновенных, но зато этими владеет с небывалой силой: его органы чувств работают интенсивнее, он видит, слышит, обоняет, осязает яснее, ярче, проникновеннее, сознательнее, чем нормальный человек, он помнит дольше и логичнее, он мыслит быстрее, комбинаторнее и точнее; коротко говоря, всякое человеческое качество выступает в исключительно совершенном аппарате его организма с во сто крат большей интенсивностью, чем в обыденной натуре. Но никогда Толстой не переходит границы нормального (и благодаря этому так редко применяют к нему столь естествен-

ное по отношению к Достоевскому определение «гений»), он не витает ни в сферических, ни в мистических, ни в пророческих мирах, в этих надземных царствах, из которых через щель или люк иногда подается пламенная весть мечтателям и путешественникам; никогда упоминание Толстым демона или непостижимого не бывает одухотворенным. Отсюда его ясность, его доступность; эта прикованная к земле фантазия не может изобрести что-либо, находящееся по ту сторону реальной памяти, что-нибудь, чего бы не существовало в пределах обыденно-человеческого, поэтому его искусство всегда останется объективным, ясным, человеческим — искусством яркого дня, увеличенной действительностью.

Толстой никогда не творит в фантастическом духе, он не создает миров за пределами нашего мира, он передает лишь действительность: поэтому, когда он рассказывает, кажется, что это не художник говорит, а сами вещи. Люди и животные выступают из его сочинений точно из своих собственных теплых жилищ: чувствуешь — это не охваченный страстью поэт преследует их, подгоняя и подзадоривая, подобно Достоевскому, подхлестывающему свои образы лихорадочным бичом так, что они, разгоряченные, воющие, с криками бросаются на арену своих страстей. Когда рассказывает Толстой, его дыхания не слышно.

Он рассказывает так, как горцы поднимаются вверх: медленно, равномерно, ступень за ступенью, шаг за шагом, без прыжков, терпеливо, без усталости, не ослабевая, и биение его сердца никогда не отражается в его голосе; здесь кроется причина нашего совершенного спокойствия, когда мы сопровождаем его. С Толстым не подымаешься молниеносно, как с Достоевским, на ошеломляющие выси восторга, не падаешь вдруг в головокружительные бездны, не уносишься на крыльях в сферы фантастических мечтаний: искусство Толстого заставляет бодрствовать, как познание. Колеблешься, сомневаешься, не устаешь, подымаешься шаг за шагом, поддерживаемый его сильной рукой, по высоким скалам эпоса, и ступень за ступенью ширится горизонт, растет кругозор. Медленно развива-

ются события, лишь постепенно проясняются дали, но все совершается с неизменной первобытной уверенностью, с которой утренняя заря заставляет сверкать постепенно возникающий из глубины ландшафт.

Толстой рассказывает просто, без подчеркиваний, как творцы эпоса прежних времен, рапсоды, псаломпевцы и летописцы, рассказывали свои мифы, когда люди еще не познали нетерпения, природа не была отделена от своих творений, не было никакой градации, высокомерно отделяющей человека от зверя, растения и камни, и поэт самое незначительное и самое могучее награждал одинаковым благоговением и обожествлением. Ибо Толстой смотрит в перспективе универсума, потому совершенно антропоморфично, и хотя в моральном отношении он более, чем кто-либо, далек от эллинизма, как художник он чувствует совершенно пантеистически. Для него нет разницы между воющей, подыхающей в судорогах собакой и смертью украшенного орденами генерала или падением сломленного ветром, умирающего дерева. Прекрасное и безобразное, животное и растительное, чистое и нечистое, магическое и человеческое — на все он смотрит взглядом художника, но все же глубоко проникновенным взглядом, — мы прибегаем к игре слов, чтобы выразить это яснее, чтобы попытаться различить, уподобляет ли он человека природе или природе — человеку. Нет в области земного сферы, закрытой для него, его чувство переходит от розового тела младенца к дряблой коже загнанной клячи, от ситцевой кофты крестьянки к мундиру знатного полководца; в каждом теле, в каждой душе одинаково знающий, кровно связанный с ними, он с непостижимой уверенностью разбирается в самых тайных, в самых плотских ощущениях.

Часто женщины испуганно спрашивали, как сумел этот человек описать их затаеннейшие, не пережитые им телесные ощущения — давящую тяжесть в груди от избытка молока у матерей или холодок, приятно пробегающий по впервые обнаженным для бала рукам молодой девушки. И если бы животные были наделены речью, они выразили бы свое удивление и спросили бы: благодаря какой пугающей интуиции он мог угадать

мучительное наслаждение охотничьей собаки, чувствующей запах вальдшнепа, или инстинктивные мысли, выраженные в движениях породистой лошади у старта; нужно прочесть описание охоты в «Анне Карениной» — тончайшие ощущения, переданные с интуитивной точностью, превосходящей все эксперименты зоологов и энтомологов от Бюффона до Фабра.

Точность Толстого в его наблюдениях не связана ни с какими градациями в отношении к порождениям земли: в его любви нет пристрастий. Наполеон для его неподкупного взора не в большей степени человек, чем последний из его солдат, и этот последний опять не важнее и не существеннее, чем собака, которая бежит за ним, или камень, которого она касается лапой. Все в кругу земного — человек и масса, растения и животные, мужчины и женщины, старики и дети, полководцы и мужики — вливаются с кристально светлой равномерностью в его органы чувств, чтобы так же, в таком же порядке, вылиться. Это придает его искусству сходство с вечной равномерностью неподкупной природы и его эпосу — морской, монотонный и все же великолепный ритм, всегда напоминающий Гомера.

Кто видит так много и так совершенно, не имеет нужды изобретать, кто наблюдает так вдумчиво, не имеет нужды выдумывать. Толстой целую жизнь воспринимал только органами чувств и виденное формировал в образы: мечта за пределами реального ему незнакома. Его искусство не спускается сверху, оно идет вглубь, оно, по превосходному выражению Нетцеля, — искусство подземной разработки, а не возведения зданий. Абсолютно трезвый художник, в противоположность мечтателю Достоевскому; ему никогда не приходится переступать порог реальности, чтобы добраться до исключительного; он не выволакивает событий из надземного царства фантазии, а погружает в обыкновенную землю, в обыкновенного человека свои смелые, отважные штольни. И в области человеческого Толстой может себе разрешить заняться заблудшими и патологическими натурами или даже, как Шекспир и Достоевский, вызвать к жизни промежуточные ступени между Богом и зверем, Ариэлем и Алешей, Калибаном и Карамазовым. Даже

самый обыденный, самый обыкновенный крестьянский парень становится на достигнутой Толстым глубине загадкой: простой мужик, солдат, пьяница, собака, лошадь дают ему достаточный материал для проникновения в отдаленнейшие ущелья духовного царства; он удовлетворяется созданиями, совершенно незначительными в кругу нормального и повседневного, так сказать, самым дешевым человеческим материалом, — ему не нужны драгоценные хрупкие души: у этих посредственнейших субъектов он извлекает непостижимые душевные переживания, не идеализируя их, а лишь углубляя.

Он пользуется только простым, остро режущим инструментом — истиной и вонзает этот жесткий бурав с такой немилосердной силой в каждое событие, в каждый предмет, что изумленному взору открывается в простых явлениях мира глубочайший мир, духовные слои, доселе не добытые ни одним рудокопом. Он, словно ваятель, может лепить лишь из земли, камня и глины, а не подобно музыканту — из окрыленного воздуха; и это не случайность, что Толстой не сочинил ни одного стихотворения, — поэзия, естественно, должна быть антиподна такому архиреалисту. Его искусство говорит языком реальности — это его границы, но ни один поэт не достиг такого совершенства выразительности — в этом его мощь. Для Толстого красота и истина — синонимы.

Таким образом — выражаясь еще яснее — он самый видящий из всех художников, но не ясновидящий, совершеннейший из всех повествователей действительности, но не изобретательный поэт. Для неслышанно обширного и многостороннего мирового строительства у него нет других помощников, кроме физических земных пяти органов чувств, — необыкновенно настроженных, тонких, быстрых и точных, но все же, до известной степени, телесно-механических инструментов.

Не нервами, как Достоевский, не видениями, как Гельдерлин или Шелли, притягивает к себе Толстой самые утонченные ощущения, а единственно лишь с помощью лучистых, как сияние, реющих органов чувств. Как пчелы, они постоянно вылетают, чтобы принести новую цветистую пыль наблюдений,

которая, перебродив в страстной объективности, перерабатывается в золотой мед художественного произведения. Только они, его удивительно послушные, ярко видящие, ясно слышащие, крепкие и все же тонко ощущающие, настороженные, взвешивающие, пробирающиеся кошачьими шагами в тончайшие глубины души, чрезмерно, почти животно чувствительные органы чувств собирают для него с каждого мирского явления тот беспримерный материал чувственной субстанции, который таинственная химия этого бескрылого художника так же медленно претворяет в чувствования, как химик терпеливо извлекает самые эфирные вещества из растений и цветов. Постоянная необычайная простота повествования Толстого является следствием неисчислимого разнообразия мириадов единичных наблюдений. Ибо, чтобы проникнуть в мысли и чувства человека, Толстой должен сперва изучить в каждом шифре, движении и каждой детали все складки и превращения его физического облика. Как врач, он начинает с общего исследования, проверяя его индивидуальные физические особенности, прежде чем применить этот химический процесс ко всему миру своих романов. «Вы не можете себе представить, — пишет он своему другу, — как мне трудно, эта предварительная работа глубокой пахоты того поля, на котором я принужден сеять. Обдумать и передумать все, что может случиться со всеми будущими людьми предстоящего сочинения, очень большого, и обдумать миллионы возможных сочетаний для того, чтобы выбрать из них миллионную часть, — ужасно трудно». И так как это — скорее механический, чем изобретательский процесс постоянного просмотра, повторения каждого изображаемого лица от отдельных деталей до сгущения их в единство, попробуйте сосчитать, сколько пылинок перемолото и вновь собрано в этой мельнице терпения, прежде чем они выливаются в форму.

Чтобы создать роман, Толстой должен сделать выбор из тысячи ситуаций и образов, извлечь образы из отдельных частей существа, точно согласовать их, прежде чем построить для них кривую душевной жизни, ибо только путем сложения не-

исчислимых внешних признаков создает Толстой единую физиономию. Каждое единство, каждый человек собран из тысячи деталей, каждая деталь — из бесконечно малых частиц, ибо он изучает каждый характерный признак с холодной и непогрешимой точностью лупы.

В стиле Гольбейна, черта за чертой, создается рот, верхняя губа отделена от нижней всеми ее индивидуальными аномалиями, с точностью отмечается каждое дрожание углов рта при иных душевных переживаниях, так же как графически измеряются манера улыбаться и складка гнева. Потом уже медленно придается окраска этой губе, незримым пальцем ощупываются ее толщина и крепость, сознательно вкрапливается оттенок — маленькое затемнение, которое дают усы, и это все еще только сырой материал, только физическая конструкция губ, она дополняется характерными функциями, ритмикой говора, типичным выражением голоса, органические особенности которого приспособляются к данной форме рта. И так же как здесь изолирована одна-единственная губа, так в анатомическом атласе его изображения определяются нос, щека, подбородок и волосы, с жутко точной тщательностью, одна деталь аккуратно пригоняется к другой; все эти наблюдения — акустические, фонетические, оптические и моторные — еще раз взвешиваются и сцепляются в незримой лаборатории художника. В этой фантастической сумме детальных наблюдений художник, упорядочивая их, находит основу, головокружительное множество деталей, просеивает их через очищающее решето выбора, — и щедро собранные наблюдения очень экономно распределяются в произведении, но они — эти окончательно выбранные наблюдения — настойчиво проходят через всю книгу, пока мы под влиянием внушения не начнем с каждым данным образом сейчас же соединять представление об его характеристике. *Qualis artifex!* Какой тонкий мастер спрятан за кажущейся случайностью и непреднамеренностью его изображений; действительно, надо было бы написать целую книгу, чтобы подробно проследить механизм этого процесса, чтобы доказать, что как раз у Толстого, производящего впечатле-

ние безыскусственности, очевидное единство его образов составлено из головокругительного множества наблюдений.

Ибо только когда все чувственное установлено с геометрической точностью, закончено физическое изучение, начинает говорить, дышать и жить голем. У Толстого душа, Психея, — божественная бабочка, пойманная в тысячепетельные сети тончайших наблюдений, попавшаяся в паутину из кожи, мускулов и нервов. У Достоевского, — ясновидящего, — его гениального противника, характеристика начинается совершенно противоположным образом: с души. У него душа на первом плане: самовластно она кует свою судьбу; тело свободно и легко, как покров насекомого, облекает ее просвечивающее пламенное зерно. В самые счастливые секунды она может его прожечь и подняться ввысь, взлететь в сферы чувств, в область чистого экстаза. У Толстого, — зорковидящего, — настороженного художника, душа не может подняться ввысь, не может даже свободно дышать, — всегда тело толстой тяжелой корой обволакивает душу, всегда подчиняет ее жестокому закону тяготения. Поэтому и самые окрыленные его создания не могут подняться к Богу, не могут возвыситься над земным и освободиться от мира; они с трудом, как носильщики, шаг за шагом, точно таская на спине собственную тяжесть, задыхаясь, ступень за ступенью, поднимаются, чтобы очиститься и освятиться, все больше и больше утомляясь от тяжелой ноши и прикованности к земле. Никогда Психея, Божья бабочка, не может непосредственно вернуться в свое платоническое царство; она может только свертываться в куколку и переживать превращения в борьбе за очищение и тяжкое освобождение от законов тяжести, но не может всецело избавиться от тяготения плоти, к которой прикованы все типы Толстого, как к допотопному наследственному греху. Вероятно, часть трагической мрачности Толстого зависит от этого примата, от власти плоти над душой. Ибо этот бескрылый, лишенный юмора художник всегда заставляет нас с болью вспоминать, что мы живем на тесной земле и окружены смертью, что мы не можем бежать и спастись от прикрепленности нашей плоти к земле, что мы окружены

media in vita наступающей пустотой. «Я желаю вам больше духовной свободы», — мудро написал однажды Тургенев Толстому. То же самое можно пожелать его образам — немного больше духовного полета, отхода от реальности и плотского, радости, или ясности, или беззаботности, или же, по крайней мере, способности мечтать об этих более чистых, более ярких мирах.

Хотелось бы это назвать осенним искусством: контуры отделяются ярко и остро от ровного горизонта русской степи, и горький запах увядания и тления тянется из бледно-желтых лесов. Не реет заманчиво над землей улыбающееся облако, не выглядывает солнце, и трудно даже догадаться о его присутствии; так и холодный яркий свет Толстого не вливает настоящего тепла в душу: этот равнодушный свет действует совсем иначе, чем свет весенний, всегда вызывающий в душе страстную надежду на скорый расцвет природы и сердец. Ландшафт Толстого всегда осенний: скоро настанет зима, скоро смерть достигнет природу, скоро все люди — и вечный человек внутри нас — окончат свое существование. Мир без мечты, без иллюзий, без лжи, ужасающе пустой мир, мир даже без Бога, — его вводит Толстой в свой космос лишь позже в поисках оправдания смысла жизни, как Кант в поисках смысла государства, — этот мир не имеет иного света, кроме света его неумолимой истины, ничего, кроме ясности, столь же неумолимой. Быть может, у Достоевского душевное царство еще мрачнее, чернее и трагичнее, чем это равномерное холодное освещение, но Достоевский иногда пронзает свою ночную тьму молниями опьяняющего экстаза, на мгновения, по крайней мере, сердца поднимаются в небо мечты. Искусство же Толстого не знает опьянения, не знает утешения, оно всегда священно-трезвое, прозрачное, пьянящее не более, чем вода, — во все его глубины можно заглянуть, благодаря этой изумительной прозрачности, но это познание никогда не наполняет душу восторгом и вдохновением. Кто, как Толстой, не умеет мечтать, не умеет подниматься над настоящим, кто не знает лирического, торжествующего экстаза красоты, кому он кажется излишним рядом с

истиной, тот будет остро ощущать заключенность в собственном теле, участь, тяготеющую над всем земным, но не свободу, благодаря которой душа уносится от ею же созданного мрака. Оно требует серьезности и вдумчивости, как наука со своим каменным светом, своей сверлящей объективностью, но не дает счастья — таково искусство Толстого.

Но как же он, превосходящий всех в познании, ощущал жестокость и трезвость своей строгой наблюдательности, искусство без благодатного сверкания золотой мечты, без уносящих крыльев радости, без милости музыки? В глубине души он его не любил, потому что оно ни ему, ни другим не дарило ясного, утверждающего смысла жизни. Ибо с убийственной безнадежностью развертывается жизнь перед этим немилосердным зрачком; душа — трепещущий маленький механизм плоти среди обволакивающей тишины тленности, история — бессмысленный хаос случайно нагроможденных фактов, живой человек — бродячий скелет, закутанный на краткий срок в теплый покров жизни, и вся непонятная беспорядочная суэта бесцельна, как текущая вода или увядающий лес.

Никогда, ни на одну минуту музыка не овеивает этого тусклого течения повседневности, никогда нет взлета над столь тяжелым нигилизмом. Только одно постоянное, немилосердное, жестоко трезвое срисовывание этой мглы, непрерывное копанье в этой безумной игре, — всегда только творчество с крепко стиснутыми горестными губами, со строгими, вдумчиво настороженными глазами, которых не обманет утешительная мечта.

Удивительно ли, что после тридцатилетнего созидания затененных образов Толстой отворачивается от своего искусства, что этого человека охватывает глубоко человеческое желание не проповедовать человечеству только безвыходность его земного существования? Удивительно ли, что он стремится к совершенству, чтобы раскрепостить этот гнет и облегчить другим жизнь, что он тоскует по искусству, «пробуждающему в людях высшие и лучшие чувства», что и он, наконец, желает коснуться серебряной лиры надежды, которая при малейшем звучании нахо-

дит доверчивый отзвук в груди человечества, что он тоскует по искусству, освобождающему, избавляющему от глухого гнета всего земного?

Но напрасно! Жестоко ясные, бдительные, сверхбдительные взоры Толстого способны узреть жизнь как таковую лишь затененной смертью, тусклой и трагичной; никогда это творчество, не умеющее и не желающее лгать, не излучает настоящего душевного утешения. Таким образом, в стареющем Толстом, который настоящую, реальную жизнь видит и изображает не иначе, как в трагических тонах, могло пробудиться желание изменить жизнь, исправить людей, дать им утешение в форме нравственного идеала, создать небесное царство души для их тусклой, механически скованной плоти. И действительно, во вторую эпоху своей жизни Толстой-художник не довольствуется простым изображением жизни, он сознательно ищет идею, оправдывающую его творчество, этическую цель, заставляя ее служить делу облагораживания и возвышения души. Его романы, его рассказы стремятся уже не к описанию мира, а к созданию нового, путем яркого отделения прообразов хороших деяний от недостойных, не проникнутых истиной, и вследствие этого они приобретают «воспитательное» значение; в это время Толстой создает новый род художественных произведений, которые должны быть не только занимательными и созидающими, но и заразительными, — другими словами, должны примерами удерживать читателя от дурного, прообразами укреплять его в идее добра; Толстой поздней эпохи превращается из певца жизни в судью над жизнью.

Эта целенаправленная поучительная тенденция проскальзывает уже в «Анне Карениной». Уже тут, хотя еще бессознательно и неясно, нравственные и безнравственные отделены судьбой друг от друга. Вронский и Анна, люди чувственные, не верующие, эгоистичные в своей страсти, «наказываются» и приговорены к мучениям душевной тревоги; напротив того, Кити и Левин вознаграждены процветанием; впервые пытается здесь доселе неподкупный изобразитель высказываться за или против своих образов, потому что он нашел критерий —

моральный. И эта тенденция подчеркивать, как это делается в учебнике, основные заповеди, так сказать, снабжать их восклицательными знаками и кавычками, — эта доктринерская побочная цель выступает все явственнее. В «Крейцеровой сонате», в «Воскресении» лишь тонкий прозрачный покров облекает в конце концов голое богословское нравоучение, и легенды (в замечательной форме!) служат материалом проповеднику.

Искусство перестает быть для Толстого конечной целью, самоцелью, и он «красивую ложь» может любить лишь постольку, поскольку она служит «истине», — но теперь уже не той прежней истине — правдивой передаче действительности, чувственно-душевной реальности, а, как он полагает, высшей — духовной, религиозной истине, которая ему открылась в результате пережитого кризиса. «Хорошими» книгами Толстой отныне называет не богато задуманные и гениальные, а только те (не касаясь их художественной ценности), которые ратуют за «добро», которые помогают человеку стать терпеливее, мягче, более христиански настроенным, более гуманным, любвеобильным, так что честный и банальный Бертольд Ауэрбах кажется ему важнее, чем «вредитель» Шекспир.

Все чаще критерий художника заменяется критерием нравственного доктринера: несравненный изобразитель человечества сознательно и благоговейно уступает дорогу исправителю человечества, моралисту. Но искусство, нетерпимое и ревнивое, как все божественное, мстит тому, кто его не признает. Там, где оно должно служить, не будучи свободным, подчиненное мнимой высшей силе, оно неудержимо ускользает из рук прежде любимого мастера, и как раз в тех местах, где Толстой перестает творить непреднамеренно и начинает поучать, угасает и бледнеет непосредственная прочувствованность его образов, их заливают серый холодный свет разума, сбиваешься и спотыкаешься о логические подробности и с трудом пробираешься к выходу.

Пусть он впоследствии из-за морального фанатизма презрительно называет свои мастерски написанные произведения

«Детство, отрочество и юность», «Войну и мир» «скверными, ничтожными и безразличными книгами», потому что они отвечают лишь эстетическим требованиям, следовательно, «наслаждению низшего порядка», — слышишь ли, Аполлон! — в действительности они остаются мастерскими произведениями, а тенденциозно-моральные — более слабыми. Ибо чем больше Толстой отдается своему «моральному деспотизму», чем дальше он отдалается от основной способности своего гения, от передачи восприятий органов чувств к диалектическим далям, тем больше он утрачивает свою художественную силу: как Антей, он получает всю силу от земли; там, где Толстой направляет свои великолепные, острые, как алмаз, глаза на чувственное, он остается гениальным до глубокой старости; когда он возносится в облака и обращается к метафизике, тревожно уменьшается его удельный вес. И почти потрясенный смотришь, какое насилие делает над собой художник, желая во что бы то ни стало витать и носиться в духовных сферах, несмотря на то, что ему предназначено судьбой тяжелыми шагами ходить по земле, боронить ее, вспахивать, познавать и изображать.

Трагическое разногласие, испокон веков повторяющееся во всех творениях и временах; то, что должно было возвысить художественное произведение, — убеждение, стремящееся убедить других, — большей частью умаляет художника. Истинное искусство эгоистично, оно ничего не хочет, кроме себя и своего совершенства; истинный художник должен думать только о своем произведении, а не о человечестве, которому он его предназначил. Так и Толстой является великим художником там, где он нетронутым и неподкупным оком созерцает чувственный мир. Как только он становится милосердным, хочет помогать, исправлять, руководить и обучать своими произведениями, его искусство теряет свою захватывающую силу, и по воле судьбы он сам становится более потрясающим образом, чем все образы, созданные им.

САМОИЗОБРАЖЕНИЕ

Познать свою жизнь — значит
познать себя.

Русанову, 1903

Неумолимо этот суровый взор направлен на мир, неумолимо-сурово — и на себя. Натура Толстого не терпит неясностей, не терпит спутанностей и теней ни в себе, ни во внешнем мире: так не может художник, привыкший с вынужденной точностью отмечать линии контура каждого дерева или судорожные движения испуганной собаки, примириться с собственным тусклым, неясным, смешанным образом. Поэтому непреодолимо и неутомимо с самого раннего возраста его стихийная любознательность направлена на самого себя. «Я хочу познать себя всецело», — записывает девятнадцатилетний Толстой в своем дневнике, и с этого времени никогда уже не прекращается острое, наблюдательное, недоверчиво-настороженное отношение к собственной душе — вплоть до восьмидесяти двух лет. Безжалостно Толстой кладет каждый нерв своего чувствования, каждую еще сочащуюся теплой кровью мысль под клинический нож самоанализа; таким сильным, как он сам — жизнеспособнейший гигант, — таким же ясным должно быть его представление о своем «я». Фанатик истины, подобный Толстому, не может не быть страстным автобиографом.

Но, в противоположность изображению мира, автопортрет никогда не заканчивается однократным наблюдением, достаточным для художественного произведения. Чужой образ, вымышленный или являющийся результатом наблюдения, творец может закончить, включив его в свое произведение; пуповина отделяется после рождения, освобожденный вымышленный образ продолжает свое духовное существование. Он, как ребенок, вышедший из лона матери, самостоятелен и самовластен; выковывая его, художник от него освобождается. Собственное же «я» невозможно совершенно отсечь, изобразив его, потому что единичное наблюдение постоянно меняющегося

«я» не дает законченности. Поэтому великие автопортретисты повторяют собственное изображение всю свою жизнь. Все они — Дюрер, Рембрандт, Тициан — начинают в юности с автопортретов перед зеркалом и прекращают их, когда рука уже бессильна, ибо их равно интересуют в собственном физическом облике как неизменно постоянные, так и непрерывно меняющиеся черты, а поток времени поглощает каждый прежний портрет. Точно так же великий изобразитель истины Толстой не может закончить свой автопортрет. Едва он дал, как ему кажется, окончательную форму своему образу, — будь то Нехлюдов, Безухов или Левин, — он перестает в законченном произведении узнавать свое лицо; и чтобы уловить обновленную форму, он должен снова приняться за дело. Так же неумимо, как Толстой-художник ловит свою душевную тень, его «я» стремится в душевном беге к вечно новой и неисполнимой задаче; этот гигант воли чувствует себя призванным овладеть ею. Поэтому за шестьдесят лет титанической работы нет ни одного произведения, которое в каком-нибудь образе не являло бы облика самого Толстого, и вместе с тем нет ни одного, которое давало бы представление о всей многогранности этого человека; только в сумме все его романы, рассказы, дневники и письма, целый поток произведений, дают его самоизображение; но зато это самый разносторонний, проработанный, внимательный автопортрет из всех созданных в нашем столетии.

Никогда не может этот неизобретающий, способный лишь передавать переживания и восприятия человек исключить из своего кругозора себя самого — живущего и воспринимающего. Приходя в отчаяние от своей эгоцентричности, он не теряет ощущения своего «я» даже в мгновения экстаза; его анализирующая настороженность не смыкает веки даже в минуты страсти. Никогда не удастся Толстому, столь непоколебимому во всем остальном, — чего бы он ни дал, чтобы освободиться от гнета собственного «я»! — всецело отделиться от своей плоти, забыв себя; он не может самозабвенно отдаться даже своей любимой стихии. «Я люблю природу, когда со всех сторон она окружает меня — (нужно обратить внимание на «меня» и

«я») — и потом развивается бесконечно вдаль, но когда я нахожусь в ней. Я люблю, когда со всех сторон окружает меня жаркий воздух и этот же воздух, клубясь, уходит в бесконечную даль, когда те самые сочные листья травы, которые я раздавил, сидя на них, делают зелень бесконечных лугов». Даже ландшафт, приносящий ему величайшую радость, он — это ясно чувствуется — ощущает только как радиус и окружность, в центре которой находится его «я», этот неподвижный центр тяжести для всех движений; именно так вращается весь духовный мир вокруг его телесно-духовной личности.

Не то чтобы Толстой был тщеславен в мелком смысле этого слова, — заносчив, самоуверен, считал бы себя пупом мира, — нет, не было человека, который, зная себя так хорошо, был бы столь недоверчив по отношению к своей моральной значимости, — но он слишком прикреплен к собственной могучей плоти, скован ощущением самого себя; он не может отвлечься от себя, забыть свое «я». Непрерывно, вынужденно, часто против воли и всегда помимо своей воли, он должен изучать себя до изнеможения, подслушивать, объяснять, день и ночь «быть настороже» по отношению к собственной жизни. Его автобиографический пыл не прерывается ни на мгновение, так же как течение крови в его жилах, биение сердечного молота в груди, ход мыслей за его лбом; творить — значит для него судить и обсуждать себя. Поэтому нет формы самоизображения, в которой Толстой не упражнялся бы, — наивное и простое повествование, чисто механическая ревизия фактического материала воспоминаний, педагогический, моральный контроль, нравственное обвинение и духовное раскаяние; таким образом, самоизображение является одновременно самоусмирением, самоподжиганием; автобиография — актом эстетическим и религиозным, — нет, невозможно описать в отдельности все формулы, все манеры его самоизображения.

С уверенностью можно сказать одно: Толстой, сфотографированный большее число раз, чем кто-либо из людей нового времени, вместе с тем и лучше известен нам, чем кто-либо другой. Мы знаем его в семнадцатилетнем возрасте из его днев-

ников не хуже, чем в восьмидесятилетнем, мы знаем его юношеские увлечения, его семейные трагедии, его самые интимные мысли с такой же архивной точностью, как его самые обыкновенные и самые безумные поступки; ибо и тут, — прямая противоположность Достоевскому, жившему «с замкнутыми устами», — Толстой хотел провести свою жизнь «при открытых дверях и окнах». Благодаря такому фанатическому самообнажению мы знаем каждый его шаг, все мимолетные и незначительные эпизоды восьмидесятого года его жизни так же, как мы знаем его физический облик по бесконечным снимкам, — за шитьем сапог и в разговоре с мужиками, верхом на лошади и за плугом, за письменным столом, за лаун-теннисом, с женой, с друзьями, с внучкой, спящим и даже умершим. И это ни с чем не сравнимое изображение и самодокументирование еще дополнено бесконечными воспоминаниями и записями всех окружавших его: жены и дочери, секретарей и репортеров и случайных посетителей. Я думаю, что можно было бы еще раз вырастить леса Ясной Поляны из бумаги, использованной для воспоминаний о Толстом. Никогда писатель сознательно не жил так откровенно; редко кто-либо из них открывал свою душу людям. После Гете мы не знаем личности, так хорошо документированной внутренними и внешними наблюдениями.

Это стремление к самонаблюдению у Толстого начинается со времени пробуждения сознания. Оно гнездится уже в розовом неловко двигающемся детском теле, еще до овладения языком, и исчезает на восемьдесят третьем году жизни, на смертном одре, когда желанное слово уже не может принудить к повиновению язык и умирающие уста непонятными дуновениями колышут воздух. Но в этом громадном промежутке — от молчаливого начала до молчаливого конца — нет минуты без слова и записи. Уже в девятнадцать лет, едва окончив гимназию, студент покупает дневник. «Я никогда не имел дневника, — пишет он на первых же листках, — потому что не видал никакой пользы от него. Теперь же, когда я занимаюсь развитием своих способностей, по дневнику я буду в состоянии

судить о ходе своего развития. В дневнике должна находиться таблица правил, и в дневнике должны быть тоже определены мои будущие деяния». В безбородого юношу уже вселился будущий мировой педагог — Толстой, который с самого начала смотрит на жизнь, как на «серьезное дело», которое нужно вести разумно и постоянно контролировать.

По-коммерчески он открывает себе счет обязанностей, дебет и кредит намерений и исполнений. О внесенном капитале — своей личности — девятнадцатилетний Толстой судит уже вполне здраво. Он констатирует при первой инвентаризации своих данных, что он «исключительный человек», с «исключительной» задачей; но вместе с тем этот полумальчик уже немилосердно отмечает, какую громадную силу воли он должен развить, чтобы принудить свою склонную к лени, неуравновешенности, нетерпению и чувственности натуру к моральным жизненным подвигам. С волшеббно-сознательным инстинктом рано созревший психолог чувствует свои опаснейшие свойства: типично русскую переоценку себя, расточение своих сил, трату времени, необузданность. И он устанавливает контрольный аппарат ежедневных достижений, чтобы не пропал ни один золотник времени: дневник, таким образом, служит стимулом, педагогически подталкивающим к самоизучению, и должен — все вспоминается изречение Толстого — «стеречь собственную жизнь». С немилосердной беспощадностью мальчик резюмирует результат дня: «С 12 до 2 говорил с Бегичевым, слишком откровенно тщеславно и обманывая себя. С 2 до 4 гимнастика; мало твердости и терпения. От 4 до 6 обедал и покупки сделал ненужные. Дома не писал, лень; долго не решался ехать к Волконским; у них говорил — слабо — трусость. Вел себя плохо: трусость, тщеславие, необдуманность, слабость, лень». Так рано, так беспощадно сурово детская рука сжимает горло, и эта стальная хватка продолжается шестьдесят лет; как девятнадцатилетний, так и восьмидесятидвухлетний Толстой держит наготове плеть: так же, как в молодости, он в дневнике поздних лет награждает себя ругательствами «трусливый, скверный, ленивый», когда усталое

тело не подчиняется беспрекословно спартанской дисциплине воли. От первого до последнего мгновения Толстой стоит на страже своей жизни, с прусской суровостью, неистово верный долгу вахмистр самодисциплины, окриками, угрозами и сердитыми ударами ружейного приклада прогоняющий себя от отдыха и лени навстречу совершенству.

Но так же рано, как преждевременно зрелый моралист, взывает в Толстом к самоизображению и художник: в двадцать три года он начинает — единственный случай в мировой литературе — трехтомную автобиографию. Взгляд в зеркало — первый взгляд, схваченный Толстым. Юношей, еще не знающим света, в двадцать три года он избирает себе предметом для описания собственные переживания — единственные, которые у него имеются, — переживания детства. Так же наивно, как двенадцатилетний Дюрер берется за серебряный карандаш, чтобы нарисовать на случайном листке бумаги свое девически тонкое, еще не тронутое жизнью детское лицо, пытается еле оперившийся поручик Толстой, заброшенный в кавказскую крепость артиллерист, рассказать себе свое «детство, отрочество и юность». Для кого он пишет, об этом он тогда не думал, и меньше всего думал он о литературе, газетах и гласности. Он инстинктивно подчиняется растущему стремлению к самоопределению с помощью изображения; эта неясная потребность не освящена целью и еще меньше — как он впоследствии требует — «светом моральных требований». Маленький офицер на Кавказе действует исключительно по влечению, он зарисовывает на бумаге картины своей родины и своего детства из любопытства и от скуки; он еще ничего не знает о появившихся впоследствии у Толстого жестах, достойных Армии Спасения, об «Исповеди» и стремлении «к добру», он еще не стремится ярко, предостерегающе изобразить «мерзости своей юности», чтобы принести пользу другим, — нет, он это делает даже не из желания кому-нибудь принести пользу, а из наивной потребности в игре отрока, который не пережил ничего, кроме впечатлений детства; двадцатитрехлетний юноша описывает уголок своей жизни, первые впечатления — отец, мать, род-

ные, воспитатели, люди, животные и природа — и это удается, благодаря той великолепной откровенности, которую знает только пишущий без цели.

Как далеко это беззаботное повествование от серьезного и глубокого анализа сознательного писателя Льва Толстого, который по своему положению почувствует себя обязанным предстать перед светом кающимся, перед художниками — художником, перед Богом — грешником и перед собой — примером собственного смирения; повествующий тут — лишь свежий юноша, не желающий все вечера проводить за игорным столом и в отдалении тоскующий по доброте, по теплоте, родному окружению давно умерших людей. Но когда неожиданно случайная автобиография дает ему литературное имя, Лев Толстой тотчас же составляет продолжение — «зрелые годы»; писатель с именем не находит того тона, который был свойствен неизвестному юноше, — никогда перу зрелого мастера не удавался столь чистый автопортрет. Сколько бы художник ни приобрел опубликованием своих произведений, оно все же безвозвратно лишает его чего-то — этой откровенности в беседе с самим собой, неподслышанности, непреднамеренности, своеобразной наивной искренности, мыслимой лишь для скрытого в сумерках анонима.

В каждом не совсем испорченном литературой человеке поднимается вместе со славой повышенная душевная стыдливость; естественное и интимное должно прятаться за маской, чтобы неизбежно театральное или лживое не исказило искренности, которой обладает только не получивший известности, не зараженный светским любопытством человек. И это продолжается — у Толстого все цифры огромны, как русская земля, — полстолетия, пока шутя подхваченная юношей мысль создать полное систематическое самоизображение не захватывает снова его, уже художника. Но во что превратилась, благодаря его повороту к религии, эта задача? Она стала общечеловеческой, морально-педагогической; как все свои мысли, так и изображение своей жизни Толстой всецело отдает человечеству для назидания, чтобы оно училось на его ошиб-

как, очищалось, глядя на его «стирку души». «По возможности искреннее описание собственной жизни единичного человека имеет большое значение и должно принести громадную пользу людям», — так он оповещает о программе нового самообозрения, и восьмидесятилетний старик делает обстоятельные приготовления для этого решительного оправдания; но, едва начав, он бросает эту работу, хотя и продолжает считать, что «такая написанная мною биография, хотя бы и с большими недостатками, будет полезнее для людей, чем вся та художественная болтовня, которой наполнены мои 12 томов сочинений, которым люди нашего времени приписывают неза заслуженное ими значение». Ибо его масштабы, определяющие искренность, с годами и познанием собственной жизни возросли, он узнал многообразную глубину и изменчивые формы искренности, и там, где двадцатитрехлетний юноша беззаботно скользит как на коньках по зеркально-гладкой поверхности, там обескураженно и боязливо останавливается опрокинутый чувством ответственности сознательный искатель истины. Его страшит «неискренность, свойственная всякой автобиографии», он боится, что такая биография была бы хотя и не прямая ложь, но ложь вследствие неверного освещения, выставления хорошего и умолчания или сглаживания всего дурного. И он откровенно сознается: «Когда же я подумал о том, чтобы написать всю истинную правду, не скрывая ничего дурного моей жизни, я ужаснулся пред тем впечатлением, которое должна бы была произвести такая биография».

Чем упорнее будущий моралист Толстой взвешивает опасности, он, заботящийся теперь больше всего о произведенном «впечатлении», тем больше он чувствует несбыточность надежды пробраться благополучно и с незапятнанной душой между «Харибдой самовосхваления и Сциллой цинической откровенности», и именно из благоговения перед абсолютной истиной остается невыполненным это моральное «с точки зрения добра и зла» задуманное самоизображение, которое в грозном самообличении должно было откровенно показать «всю глупость и мерзость его жизни».

Но не будем слишком горевать об этой утрате, ибо из написанного в то время, например, из «Исповеди», мы твердо знаем, что влечение к истине со времени религиозного кризиса привело к тому, что каждое стремление к самоизображению неизбежно превращалось в фанатическое наслаждение самобичеванием и все признания тех лет являются насильственным судорожным посрамлением собственной жизни. Толстой последних лет не хотел уже изображать себя, он хотел лишь унижить себя перед людьми, «рассказать вещи, в которых он стыдился сознаться себе самому», и его последний автопортрет с вынужденным выставлением мнимых «низостей» и грехов был бы, вероятно, искажением истины. К тому же мы можем совершенно обойтись без него, потому что мы обладаем другой, охватывающей всю жизнь автобиографией Толстого, — столь полной не дал ни один поэт, кроме Гете, — правда, так же, как Гете, не в отдельном произведении, а в связной, непрерывной последовательной форме — в сумме своих сочинений, в письмах и дневниках. Едва ли меньше, чем Рембрандт, Толстой, этот вечно поглощенный собственным «я» художник, в каждом романе, каждом рассказе показывает себя новым и иным; нет во всем его длительном существовании значительного периода во внешней, перелома во внутренней жизни, которые бы он по обычаю поэтов не персонифицировал бы в своем явном двойнике.

Маленький дворянин — офицер Оленин в «Казаках», спасающийся от московской меланхолии и безделья работой и природой, стремящийся найти себя самого, — являет точное отражение артиллерийского поручика Толстого до последней нитки его костюма, до каждой складки лица; мечтательный и меланхоличный Пьер Безухов в «Войне и мире» и его позднейший брат-богоискатель, занятый жгучей погоней за смыслом существования помещик Левин в «Анне Карениной», до физического сходства бесспорно являются образами Толстого накануне перелома. Никто не откажется признать под рясой «отца Сергия» достигшего славы Толстого в поисках святости, в «Дьяволе» — сопротивление стареющего Толстого чувственно-му приключению и в князе Нехлюдове, этом удивительней-

шем из его образов (он проходит сквозь все сочинения), глубоко затаенное стремление его существа, — идеального Толстого, которому он приписывает свои намерения и этические поступки, — творческое зеркало его совести. А Сарынцов — «И свет во тьме светит» — облачен в такой тонкий покров и так явно выдает в каждой сцене семейные трагедии Толстого, что и теперь еще артист является в его гриме.

Такая многогранная натура, как Толстой, должна была раздробиться на множество образов; только собрав их, на обширном протяжении времени, в их совокупности можно узнать единую личность — без пробелов и без тайн. Поэтому для человека, читающего художественные произведения Толстого с ясным умом и вниманием, всякая биография и документальное описание являются излишними. Ибо ни один посторонний наблюдатель не перешеголяет этого самонаблюдателя в филологической ясности. Он нас вводит в центр самых грозных конфликтов, обнажает затаенные чувства; так же как стихи Гете, проза Толстого является не чем иным, как единой, тянущейся на протяжении целой жизни, картина за картиной, постоянно пополняющей себя огромной исповедью.

Как раз эта непрерывность — и только она — возносит жизненный труд Толстого на высшую ступень самоизображения, подаренную нам художником-прозаиком; оно несравнимо с однократным самоизображением Казановы или фрагментарным — Стендаля: как тень за телом, так Толстой бежит за своими образами. Сам по себе этот метод — проекции своей личности в произведениях — свойствен каждому художнику. Поэт всегда заряжен; это обремененный многочисленными судьбами человек, беременный и оплодотворенный каждым событием; он отдает звучащие в нем экстазы и пережитые кризисы своим творениям. Но в то время как большинство, такие, как Стендаль в своем «Фабрицио», Готфрид Келлер в «Зеленом Генрихе», Джойс в «Стефане Далусе», являются перед обществом в единой, постоянной маске, Толстой, наряду с этими неслыханными и постоянными превращениями, рисует свой собственный портрет каждое десятилетие в новой форме,

и поэтому мы знаем и видим его не единичным и неизменным, но ребенком и мальчиком, беззаботным поручиком, счастливым мужем, Савлом и Павлом эпохи религиозного кризиса, борцом и полусвятым, ясным и успокоившимся старцем, — всегда иным, всегда тем же, точно кинематографический портрет, текучий и подвижный, вместо одной-единственной застывшей автофотографии. К этому лишь изобразительному ряду присоединяется великолепное дополнение — умственное самонаблюдение мыслителя: дневник, письма, которые ежедневно, ежечасно сопровождают бдительного до смертного одра человека; в этом многообразном душевном мире нет ни одного пустого, неисследованного места, ни одной terra incognita; обсуждаются все социальные, личные, эпические, равно как и литературные, имеющие временный интерес и метафизические вопросы; со времен Гете мы не видели столь полновесной и исчерпывающей духовно-моральной деятельности поэта. И потому, что Толстой, несмотря на эту исключительность, эту кажущуюся сверхчеловеческой человечность, остается нормальным, здоровым, совершенно уравновешенным, ни в каком отношении не заблудшим или больным человеком, совершенным экземпляром рода, вечным «я» и универсальным «мы» в каждом вздохе, в каждом взгляде, потому мы ощущаем — опять-таки как у Гете — документально проверенное существование целого человечества в миниатюре.

КРИЗИС И ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Величайший акт жизни, — это сознание своего я, и последствия его благотельнейшие или ужаснейшие, смотря по тому, на что, на тело или на дух — будет направлено это сознание.

Ноябрь 1898

Каждая опасность становится милостью, каждое замедление — помощью и целебным стимулом для творчества, так как они пробуждают неведомые душевные силы. Если жизнь хочет

быть продуктивной для мира, она не должна останавливаться, ибо духовно-творческая сила, так же как и физическая, вырастает в результате удара и сопротивления. Нет ничего опаснее для творческого существования, чем довольство, механическая работа и гладкая дорога. Жизненный путь Толстого отмечен только одним таким самозабвенным разрядом — этим счастьем для человека, этой опасностью для художника. Только однажды на пути его паломничества к себе самому неудовлетворенная душа дает себе отдых, — шестнадцать лет восьмидесятилетнему существованию; только промежуток времени от женитьбы до окончания двух романов — «Война и мир» и «Анна Каренина» — Толстой живет в мире с собой и своей работой. На тринадцать лет (1865 — 1878) умолкает и дневник, этот страж его совести; Толстой-счастливчик, отдавшийся своему творчеству, следит не за собой, а только за светом. Он не спрашивает, потому что он создает — семерых детей и два самых могучих эпических произведения; тогда — и только тогда — Толстой живет как все беззаботные — в почтенно-буржуазном эгоизме семьянина, счастливый, довольный, освобожденный от «ужасного вопроса — почему». «Я не копаюсь в своем положении (grübeln оставлено) и в своих чувствах и только чувствую, а не думаю в своих семейных отношениях. Это состояние дает мне ужасно много умственного простора». Самоуглубление не тормозит текучую внутреннюю работу, неутомимый страж морального «я» отступает в дремоте и дает художнику свободу движений, полночувственную игру. За эти годы он становится знаменитостью, — Лев Толстой, — он в четыре раза увеличивает свое состояние, он воспитывает детей и расширяет дом, но удовлетвориться счастьем, насытиться славой, толстеть от богатства не дано этому моральному гению. От каждого образа он всегда возвращается к своей основной работе — к совершенному созиданию своего образа, и так как никто из богов не ввергает его в беду, он сам идет ей навстречу.

Так как извне судьба не дарует ему ничего трагического, он создает внутреннюю трагедию. Ибо всегда жизнь — вдобавок

такая могучая — должна удерживать равновесие. Прерывается прилив судьбы из внешнего мира, и дух выкапывает себе внутри новый заигравший источник, чтобы не иссяк круговорот существования. То, что Толстому — это неожиданно и непонятно для его современников — приходится испытать в возрасте около пятидесяти лет, а именно — внезапный уход от искусства, его поворот к религии, совершенно не нужно рассматривать как нечто исключительное, — напрасно подыскивают какую-то ненормальность в развитии этого самого здорового человека, — исключительна только, как всегда у Толстого, была сила ощущений. Поэтому переворот, который Толстой переживает на пятидесятом году своей жизни, является процессом, остающимся, благодаря меньшей выраженности, незаметным у большинства мужчин: неизбежное приспособление физического и духовного организма к надвигающейся старости, климактерический период художника.

«Жизнь остановилась и стала жуткой» — так он формулирует сам начало своего душевного кризиса. Пятидесятилетний Толстой достиг той критической мертвой точки, на которой продуктивная способность образования плазмы начинает ослабевать и душа грозит перейти в оцепенение. Уже не с такой созидательной силой заполняют чувства податливую массу творческих клеток.

Яркость окраски впечатлений блекнет, как постепенно седеющие волосы; начинается вторая эпоха, также знакомая нам по Гете, когда теплая игра чувств охладевает и сублимируется в прозрачную категорию понятий: предмет к явлению, изображение к символу, красочное творческое наслаждение к кристальному строю мыслей. Как каждое глубокое превращение духа, такое перерождение дает и здесь прежде всего некоторое неприятное чувство физического недомогания, недоверчивое ощущение приближения чего-то чуждого и еще неизвестного. Духовный страх перед холодом. Ужасная боязнь обеднения пробегает вдруг по беспокойной душе, и легко возбуждаемый сейсмограф тела тотчас же отмечает приближающееся потрясение (мистические болезни Гете при каждом преображении).

Но — и тут мы вступаем в едва освещенную область — в то время как душа еще не может уяснить себе наступление из страны мрака и только содрогается в боязливом ощущении непонятной опасности, в организме начался уже самостоятельный процесс сопротивления, перемещение в психофизическом существе, без ведома, без воли человека, в силу особой предусмотрительности природы. Ибо, как тело животных задолго до наступления холодов покрывается теплой зимней шерстью, так и человеческая душа в переходном возрасте, едва перешагнула она зенит, обволакивается новым предохранительным одеянием — густым защитным покровом, не дающим застыть в бессолнечной эпохе упадка.

Этот таинственный переход от чувственного к духовному, зависящий, быть может, от деятельности желез и вызывающий последние колебания творческой энергии, этот климактерический период, который мне хочется назвать антивозмужалостью, проявляется в душевном потрясении, в такой же мере обусловленном органическими переменами и вызывающем кризис, как и сама возмужалость, хотя — внимание, психоаналитики и психологи! — еще едва исследованная в основных ее физических проявлениях, а тем паче в духовных. Над женщинами, у которых явление полового кризиса проявляется грубее и клиничнее — в почти ощутимых формах, — в лучшем случае сделаны некоторые наблюдения; совершенно же неисследованный переходный период у мужчин, носящий более духовный характер, и его психические последствия ждут еще психологического освещения. Ибо климактерический период у мужчин является почти всегда эпохой серьезных изменений, — религиозных, поэтических и интеллектуальных сублимирований, — все они являются предохранительным одеянием для менее полнокровного бытия, духовной земной убывающей чувственности; усиление мироощущения является взамен отзвучавшего чувства собственного достоинства, отлива жизненной потенции.

Так же, как и период возмужалости, климактерический период, опасный для жизни слабых, начинает — стремительно

у стремительных, продуктивно у продуктивных — новую, иначе окрашенную творческую душевную эру, позднее духовное возрождение между подъемом и упадком. У каждого значительного художника мы встречаем этот неизбежный поворотный миг, ни у кого, правда, с такой взрывающей землю, вулканической и почти уничтожающей силой, как у Толстого. Если посмотреть на это трезво, глазами простой объективности, с Толстым, в пятидесятилетнем возрасте, собственно говоря, не происходит ничего, кроме того, что естественно для его возраста: он чувствует приближение старости. Это все, в этом — все его переживания. Он теряет несколько зубов, память ослабевает, иногда усталость затемняет мысли: обыденное явление у пятидесятилетнего. Но Толстой, этот крепкий человек, эта льющаяся, переливающаяся через край натура чувствует себя при первом осеннем дуновении уже увядшей и созревшей для смерти. Ему кажется, что «нельзя жить, не опьяняясь жизнью»; неврастеническая угнетенность, беспомощное смущение овладевают этим здоровым человеком; при первых признаках жизненного охлаждения и слабости он тотчас же сдается. Он не может писать, не может мыслить: «Мой дух спит, не могу его разбудить, мне нехорошо, я потерял бодрость»; как цепь, он дотягивает скучную и плоскую «Анну Каренину» до конца, волосы внезапно седеют, морщины бороздят лоб, желудок бунтует, члены ослабевают. Он тупо раздумывает и говорит, что «ничто его больше не радует, что от жизни ничего больше нельзя ждать, что он скоро умрет», он «всеми силами рвется из жизни», и быстро, одна за другой, появляются в дневнике две резкие записи: «страх смерти» и несколько дней спустя: «Il faudra mourir seul». Смерть же — я пытался это изобразить в описании его жизненной силы — означает для этого гиганта жизни самую ужасную из всех ужасных мыслей, поэтому он содрогается, как только начинают ослабевать несколько нитей его огромной связки сил.

Конечно, этот гениальный самодиагност не вполне ошибается, чуя ноздрями дух тленности, ибо действительно часть

прежнего Толстого угасает в этом кризисе, — не этот полный силы человек, а тот свободный, беспечный художник, который брал мир как объективно неизменно существующий, такой же настоящий и принадлежащий ему, как его собственное тело. До этого времени Толстой никогда не вопрошал мир о его метафизической сущности, он его только обозревал, как художник свою модель, и с нераздумывающей радостью ребенка давал событиям приблизиться к нему; они послушно стояли, когда он рисовал их портреты, давали его творческим рукам погладить и ощупать себя. Это чистое творческое созерцание, этот лишь копирующий обзор жизни уже недоступны ставшему недоверчивым художнику, наивное содружество нарушено, между миром и его «я» зияет внезапно раскрывшаяся, распространяющая запах гнили и холода пропасть.

Явления не отдаются ему всецело, он чувствует, что они прячут от него что-то позади них стоящее, какой-то вопрос; впервые этот ясный ум чувствует присутствие тайны в бытии, он предугадывает смысл, который не может охватить одними внешними чувствами; впервые Толстой видит, что он нуждается в новом инструменте, чтобы понять это скрытое от взора, что ему нужен более сознательный, более знающий глаз. Вынужденно он теперь ищет в каждом явлении его моральный смысл, самое чуждое пытается сочетать со своей судьбой. Примеры объяснят это внутреннее превращение более рельефно. Сотни раз Толстой видел на войне умирающих и, не заботясь о справедливости или несправедливости убийства, описывал смерть как художник, как поэт, как отражающий зрачок, как воспринимающая сетчатая оболочка. Но вот он видит, как во Франции с гильотины падает, ударяясь о землю, голова преступника, и сейчас же нравственная мощь возмущается в нем против всего человечества. Тысячу раз он, — повелитель, барин, граф, — мчась мимо своих мужиков, равнодушно принимал их рабски-покорные поклоны как нечто вполне естественное и обдавал их платя пылью, которую поднимала несущаяся галопом лошадь. Теперь он впервые замечает их босоноготь, их бедность, их запуганное, бесправное существование и впер-

вые ставит себе вопрос: имеет ли он право, глядя на их нужду и работу, жить беззаботно. Неисчислимо количество раз мчались в Москве его сани мимо толп мерзнувших нищих, и он не обращал на них ни малейшего внимания; бедность, нищета, угнетение, тюрьмы, Сибирь были для него столь же обыденными явлениями, как снег зимой и вода в бочке; теперь вдруг, при народной переписи, он, разбуженный, воспринимает ужасное положение пролетариата как обвинение против его богатства.

С тех пор как он все человеческое уже не считает только материалом, который нужно «изучать и наблюдать», рушится в его душе спокойный, живописный порядок бытия, сокрушенный землетрясением совести; он не может больше холодно-созерцающим взглядом наблюдать жизнь, он беспрерывно допытывается о смысле и бессмыслице, о справедливости и несправедливости каждого явления, он все человеческое воспринимает теперь уже не исходя от себя, эгоцентрично, а социально, братски обращая вовне: сознание общности со всеми и со всем «сразило» его, как болезнь. «Не надо думать — это слишком больно», — вздыхает он. Но поскольку глаз совести раскрылся, страдания человечества, вечные мучения мира непременно становятся глубоко личным делом. Именно из мистического страха перед пустотой вырастает новый творческий трепет перед вселенной, из совершенного самоотречения для художника возникает задача еще раз — и теперь уже в моральном плане — построить свой мир. Где он подозревает смерть, там свершается чудо воскресения. Родился тот Толстой, которого не только как художника, но и как самого человеческого человека боготворит все человечество.

Но тогда, непосредственно в грозный час разрушения, в тот недоуменный миг «пробуждения» (как Толстой впоследствии в утешение называет свое тревожное состояние), захваченный врасплох, он еще не подозревает в переломе — преображения. Пока не раскрылся этот новый глаз совести, он чувствует себя слепым, окруженный хаосом и непроницаемой ночью. Его мир рушился; полузадушенный ужасом, он вглядывается в бес-

смысленный мрак. «Зачем жить, если жизнь так ужасна?» — задает он вечный экклезиастовский вопрос. Зачем трудиться, если распахиваешь почву только для смерти? Как отчаявшийся, он ощупывает поверхность покрытого мраком мирового свода в надежде найти где-нибудь выход, самоспасение, искру света, сияние надежды. И только убедившись, что никто извне не принесет ни помощи, ни света, он сам выкапывает для себя подземный ход — планомерно, систематично, ступень за ступенью. В 1879 году он пишет следующие «безответные вопросы» на листке бумаги:

а) Зачем я живу?

б) Какая причина моему и всякому существованию?

в) Какая цель моего и всякого существования?

г) Что значит и зачем то раздвоение добра и зла, которые чувствую в себе?

д) Как мне надо жить?

е) Что такое смерть... как мне спастись?

«Как мне спастись? Как мне надо жить?» — это ужасный крик Толстого, когтями кризиса вырванный из его сердца. И этот крик раздается тридцать лет, пока не отказываются служить уста. Благой вести, исходящей от чувств, он больше не верит, искусство не дает утешения, беззаботность иссякла, пылкий хмель юности исчез, со всех сторон из глубин тлена, из незримого пространства смерти, которая окружает жизнь, просачивается холод. Как мне спастись? Все отчаяннее становится этот крик, ибо невозможно, чтобы это кажущееся бессмысленным действительно не обладало бы смыслом, — хотя бы смыслом, которого не ощутишь руками, не узришь глазами, не вычислишь знаниями, смыслом, парящим над всякой истиной. Рассудка хватает только на то, чтобы постигнуть живое, — но не смерть, поэтому нужна новая, другая душевная сила, чтобы охватить непостижимое.

И так как он не находит ее в себе, в человеке разума, он, этот неукротимый, истерзанный ужасом, расслабленный боязнью *media in vita*, посреди своего пути, вдруг покорно опускается на колени перед Богом, презрительно отбрасывает свое

знание мира, которое приносило ему в течение пятидесяти лет несказанное счастье, и неотступно молит о вере: «Подари мне ее, Господи, и дай мне помочь другим найти ее».

ИСКУССТВЕННЫЙ ХРИСТИАНИН

Боже мой, как трудно жить только перед Богом — жить, как живут люди, заваленные в шахте и знающие, что они оттуда не выйдут и что никто никогда не узнает о том, как они жили там. А надо, надо так жить, потому что только такая жизнь есть жизнь. Помоги мне, Господи!

Дневник, ноябрь 1900

«Подари мне веру, Господи», — взывает Толстой в отчаянии к Богу, до тех пор не признаваемому им. Но как видно, этот Бог не слушает тех, кто так неудержимо к нему взывает, вместо того чтобы покорно ждать, пока его воля им откроется. Ибо страстное нетерпение, свой главный порок, Толстой распространяет и на веру. Он не удовлетворяется тем, что просит о вере, нет, он должен ее получить сейчас же, на следующее утро, готовой и осязаемой в руках, как топор, чтобы вырубить всю чащу сомнений; ибо барин-дворянин, привыкший к быстрому исполнению слугами его желаний, избалованный остро видящими, ясно слышащими чувствами, которые в мгновение ока передают все явления мира, он не желает терпеливо ждать, этот несдержанный, капризный, своевольный человек. Он не желает ждать, отшельнически углубляясь в упорное прислушивание к постепенному проникновению света свыше — да будет снова ясный день в ночной тьме души. Одним прыжком, одним взмахом желает его бурно мчащийся вперед ум проникнуть в «смысл жизни», — «познать Бога», «мыслить Бога», как он дерзновенно осмеливается говорить. Веру, христианскую жизнь, смирение, бытие в Боге он надеется изучить так же быстро и поспешно в течение шести месяцев или, в худшем случае, года, как он сейчас, убеленный сединами, изучает гре-

ческий и древнееврейский языки, став внезапно педагогом-теологом или социологом.

Но где найти так внезапно веру, если в самом не заложено зерно ее? Как стать в одну ночь сострадательным, милостивым, смиренным, по-францискански мягким, если в течение пятидесяти лет оценивал мир беспощадным взором наблюдателя, как исконно русский нигилист, и ощущал себя как единственное значительное и существенное в нем? Как привести одним ударом такую каменную волю к снисходительному человеколюбию, где изучить веру, где научиться отдавать себя высшей, сверхземной силе? Конечно, у тех, у кого эта вера имеется или кто, по крайней мере, мнит, что обладает ею, — говорит себе Толстой, — у *mater orthodoxa*, церкви; ведь уже две тысячи лет она держит в своих руках перстень Христа.

Тут же (ибо он не теряет времени, этот нетерпеливый муж) Лев Толстой опускается на колени перед иконами, постится, паломничает в монастыри, спорит с епископами и попами и перечитывает Евангелие. Три года он прилагает все усилия, чтобы быть строго верующим: но церковный воздух обвеивает ненужным ладаном и холодом его застывшую душу; быстро разочарованный, он навсегда захлопывает дверь, соединяющую его с правоверными догмами, — нет, церковь не имеет настоящей веры, решает он, или, вернее: она дала иссякнуть воде жизни, расточила, фальсифицировала ее.

И он продолжает поиски: может быть, философы, мыслители знают больше об этом «смысле жизни». И тотчас же Толстой, мышление которого никогда до тех пор не касалось сверхчувственного, неистово и лихорадочно изучает вдоль и поперек философов всех времен (слишком быстро, чтобы их постигнуть, переварить) — сперва Шопенгауэра, вечного сожителя душевного омрачения, потом Сократа и Платона, Магомета, Конфуция и Лао-Тзе, мистиков, стойков, скептиков и Ницше. Но быстро он захлопывает книги. И они не имеют другого медиума мировоззрения, кроме того, которым обладает и он, — чересчур острого, болезненного зрячего разума, и они скорее вопрошают, чем знают, и они скорее нетерпеливо ищут Бога,

чем пребывают в нем. Они создают системы для ума, но не мир для встревоженной души, они дают знание, но не утешение.

И как измученный больной, от которого отказалась наука, идет со своими страданиями к знахарям и деревенским цирюльникам, так Толстой, этот культурнейший русский, идет на пятидесятом году жизни к мужикам, к «народу», чтобы у них, неучей, найти, наконец, настоящую веру, найти мудрость у невежественных. Да, они, неучи, с несмущенным книгами разумом, они, бедные и измученные, безропотно трудящиеся, беспрекословно, как животные, уходящие в угол, когда чувствуют рост смерти в себе, они, не сомневающиеся, ибо не мыслящие, *sancta simplicitas*, — святая простота, — должен же быть в их руках секрет, иначе они не могли бы быть так покорны, так смиренно подставлять шею под железное ярмо нищеты. Они должны в своей тупости что-то знать, чего не постигли ни мудрость, ни острый ум и благодаря чему эти умственно отстающие душевно опередили нас. «Как мы живем — это неправильно, как они живут — это правильно», — поэтому Бог явно пребывает в их терпеливом существовании, в то время как ум, любознательность со своей «досужей сладострастной алчностью» отдаляет сердца от истинного источника света. Не будь у них утешения, внутренней магической целебной травы, они не могли бы так весело, так беззаботно, так легко переносить свое жалкое существование: им необходима какая-нибудь вера, что-то возвышающее над свинцовой тяжестью существования; и жажда овладевает человеком мысли, нетерпение охватывает неукротимого мужа, он хочет завладеть этим таинственным средством.

У них, только у «народа-богоносца», — уговаривает себя Толстой, — у простых, у неярких, в созидающей покорности, как животные, простодушно трудящихся, можно научиться «правильной» жизни, великому терпению и смирению тяжкого существования и еще более тяжелой смерти. Итак — приблизиться к ним, войти в их жизнь, подслушать их божественную тайну. Долой дворянское одеяние, — мужицкую блузу на плечи, подальше от стола с вкусными блюдами и лишними книга-

ми: только невинные растения и нежное молоко животных должны отныне питать тело; только смирение по-фаустовски углубленного духа.

Итак, Лев Николаевич Толстой, властелин Ясной Поляны, — и больше того: властелин духа миллионов людей, — берется на пятидесятом году жизни за плуг, носит на широкой медвежьей спине бочку с водой; косит рожь рядом со своими мужиками, трудясь с неутомимым упорством. Рука, написавшая «Анну Каренину» и «Войну и мир», втыкает теперь шило в самодельные подметки, выметает сор из комнаты, и он сам шьет себе платье. Поближе, поскорее, к «братьям», одним взмахом воли Лев Толстой надеется стать «народом» и вместе с тем «божьим христианином». Он спускается в деревню к почти еще крепостным крестьянам (при его приближении они смущенно снимают шапки), зовет их к себе в дом, где они своими неуклюжими сапогами неловко ступают по зеркальному паркету как по стеклу и свободно вздыхают, узнав, что «барин», милостивый повелитель, не задумал ничего дурного, не повышает, как они предполагали, оброка, и — странно: они растерянно качают головой, — именно с ними желает он поговорить о Боге, только о Боге. Они вспоминают, добрые мужики Ясной Поляны, что он уже прежде поступал так, — тогда он взялся за школы, этот владетельный граф, и в течение года (потом ему надоело) сам обучал детей. Но чего он хочет теперь? Они недоверчиво прислушиваются, ибо, действительно, как шпион, этот переодетый нигилист приближается к «народу», чтобы выпытать необходимые ему для похода к Богу стратегические сведения, — тайну смирения, соблюдения веры.

Но эта насильственная рекогносцировка приносит пользу только искусству и художнику; прекраснейшими своими легендами Толстой обязан деревенским рассказчикам, и его язык становится наглядным и сочным, подобно наивно образной речи крестьянина, но тайна простоты не поддается изучению. Как ясновидящий, еще перед патетическим кризисом, при выходе в свет «Анны Карениной» Достоевский сказал по поводу Левина, отражения Толстого: «Вот эти, как Левин, сколько бы

ни прожили с народом или подле народа, но народом вполне не сделаются... Мало одного самомнения или акта воли, да еще как бы столь причудливой, чтоб захотеть и стать народом». Метким психологическим выстрелом попадает гениальный провидец в центр толстовского волевого преобразования, раскрывая насильственный акт, искусственное христианство отчаявшегося, — не из врожденной, кровной любви, а из душевной нужды возникшее братание Толстого с народом. Ибо, сколько бы он ни прикидывался тупым мужиком, никогда не удастся человеку интеллекта — Толстому — вселить в себя узкую мужицкую душу вместо своего широкого, объемлющего весь мир понимания бытия, никогда не сумеет такой стремящийся к истине дух принудить себя к слепой вере. Мало, подобно Верлену, внезапно броситься на колени и молить: «*Mon Dieu, donne-moi de la simplicité*», чтобы сразу зацвел в груди серебряный побег смирения. Необходимо быть и стать тем, что исповедуешь: ни сближение с народом мистерией сострадания, ни успокоение совести слепо верующей религиозностью нельзя с легкостью, как электрический ток, включить в душу. Носить мужицкую блузу, пить квас, косить луга — все эти внешние признаки равенства могут быть быстро, играючи применены, играючи даже в двояком смысле этого слова, но никогда не удастся притупить ум, закрутить, как газовый рожок, бдительность человека. Сила света и бдительность ума остаются врожденным, неизменным мерилом, красотой и судьбой каждого человека; сила властвует над волей и, следовательно, находится по ту сторону нашей воли; да, когда она чувствует угрозу своему высокому назначению бдительного, сияния, она мерцает бурно и беспокойно. Так же как нельзя спиритическими забавами даже на одну ступень поднять врожденную способность к усвоению высших знаний, так же не может интеллект внезапным волевым актом спуститься хотя бы на одну ступень к опрощению.

Невозможно, чтобы Толстой, этот сознательный и дальновидный ум, не познал, что обеднение его сложного интеллекта, поворот к опрощению, даже при такой необычайной воле, как

его, немыслимы в течение одной ночи. Он сам (правда, позднее) изрек изумительные слова: «Идти насильно наперекор уму то же, что ловить солнечные лучи; как бы их ни запрягивать, они всегда окажутся на поверхности». На продолжительное время он не мог допустить, чтобы его резкий, воинственный, властный интеллект был способен к тупому смирению: никогда не приходило мужикам в голову считать его действительно своим, потому что он надел их платье и разделял их внешние привычки: всегда мир считал этот поступок переодеванием, а не совершенным перевоплощением. Как раз самые близкие ему люди — его жена, дети, «бабушка», его настоящие друзья (не профессиональные толстовцы) — смотрят с самого начала недоверчиво и с неудовольствием на это судорожное насильственное желание «великого писателя земли русской» (этими словами Тургенев в письме со смертного одра призывает его к возврату от проповеди к искусству) спуститься в противоестественную сферу бездуховности. Жена, трагическая жертва его душевной борьбы, обратилась тогда к нему с убедительнейшим словом: «Раньше ты говорил, что ты не спокоен оттого, что у тебя нет веры. Почему же ты теперь не испытываешь счастья, когда ты говоришь, что имеешь ее?» Совершенно простой и неоспоримый аргумент. Ибо ничто не указывает на то, что он принял Бога своего народа, на то, что он в этой вере нашел успокоение души, нашел покой в Боге, истинное удовлетворение; напротив того, нельзя отделаться от чувства, что, говоря о своем учении, он стремится заглушить шаткость убеждений кричащей уверенностью.

Все поступки и слова Толстого как раз в этот период переорождения носят неприятный крикливый оттенок, что-то показное, насильственное, ворчливое, фанатическое. Его христианство трубит, как фанфары, его смирение распускается павлиньим хвостом, и у кого слух потоньше, тот услышит в его преувеличенном самоуничижении отзвук старой толстовской надменности, теперь лишь преображенной в обратную гордость — новым смирением. Нужно прочесть известное место в его «Исповеди», в которой он хочет «доказать» свое обращение,

оплевывая и осрамляя свою прежнюю жизнь: «Я убивал людей на войне, вызывал на дуэли, чтобы убить, проигрывал в карты, проедал труды мужиков; казнил их, блудил, обманывал. Ложь, воровство, любодееяние всех родов, пьянство, насилие, убийство... Не было преступления, которого бы я не совершал». И чтобы никто не простил ему как художнику эти мнимые преступления, он продолжает свою шумную исповедь: «В это время я стал писать из тщеславия, корыстолюбия и гордости. Для того, чтобы иметь славу и деньги, для которых я писал, надо было скрывать хорошее и высказывать дурное».

Ужасное признание, потрясающее в своем моральном пафосе. Но пусть скажут, положи руку на сердце, презирал ли кто-нибудь действительно Льва Толстого за то, что он на войне по долгу службы приводил в действие свою батарею, или за то, что он, будучи холостяком, как человек большой потенции, удовлетворял свои половые потребности, — презирал ли его кто-нибудь на основании этого самообвинения как «низкого и грешного человека», как «вошь», — так он сам называет себя в фанатическом наслаждении самоуничужения. Не создается ли неприятное впечатление преувеличенных выкриков, подозрение, что тут встревоженная совесть хочет во что бы то ни стало приписать себе эти грехи, благодаря из ряда вон выходящей готовности исповедываться, благодаря высокомерному смирению; здесь — подобно дворнику в «Преступлении и наказании», приписывающему себе убийство, — увлеченная признаниями душа желает «взять на себя крест» несуществующих преступлений, чтобы «проявить себя» христианской, смиренной. Не обнаруживается ли как раз в этом желании проявить себя, в этом судорожном, патетическом, кричащем самоуничужении Толстого отсутствие, сугубое отсутствие спокойного, равномерно дышащего смирения в потрясенной душе или, быть может, даже грозно сдвинутое с прежних устоев перевернутое тщеславие?

Этот «новый», унижающийся Толстой, не вывернут ли он просто наизнанку, не тот ли самый это Толстой, для которого «слава перед людьми» была самой заветной целью? Во всяком

случае, это смирение не оказывается смиренным, напротив того, не придумаешь ничего более страстного, чем эта аскетическая борьба со страстью; с едва тлеющей, еще не разгоревшейся искрой веры в душе, нетерпеливо он хочет зажечь все человечество, подобно тем варварским германским князьям, которые, едва окропив голову святой водой, брали топор, чтобы срубить доселе священные дубы и согнем и мечом пойти против необращенных народов. Если вера означает покой в Боге, а христианство — жизнь в терпеливом смирении, тогда этот великолепно нетерпеливый человек никогда не был верующим, — пламенный и неудовлетворенный, он никогда не был христианином: только если безграничную жажду религиозности называют религией, жгучую тоску по Богу христианством, лишь тогда этого вечно беспокойного богоискателя можно причислить к лику верующих.

Именно благодаря этой полуудаче и сомнительному достижению убежденности кризис Толстого символически перерастает его индивидуальное переживание; навеки памятный пример того, что человеку с самой сильной волей не дано одним усилием изменить первозданную форму своей природы, актом энергии повернуть данный ему характер в противоположную сторону. Данная нам форма жизни допускает исправления, шлифовку, заострение, и этическая страсть может — правда, упорной работой — поднять нравственные, моральные качества, но никогда не может просто стереть основные черты нашего характера, перестроить в ином архитектурном плане плоть и дух.

Если Толстой предполагает, что «от эгоизма можно отучиться, как от курения» или же «завоевать» любовь, «насильно приобрести» веру, то у него самого необычайное, почти неистовое напряжение порождает чрезвычайно скромный результат. Ибо ничто не доказывает, что Толстой, этот гигант воли, этот беспощадный и насквозь нигилистический наблюдатель, вспыльчивый человек, «глаза которого сверкают» при малейшем противоречии, стал, благодаря насильственному обращению, тотчас же добрым, кротким, любвеобильным, социальным христианином, «службой Бога», «братом» своим братьям.

Его «превращение» изменило, правда, его взгляды, мнения, слова, но не его натуру, «в законе, в котором ты создан, должен ты пребывать, от него ты не можешь уйти» (Гете); то же самое уныние, та же мука удручает его беспокойную душу до и после «пробуждения»: Толстой не рожден, чтобы быть довольным. Именно из-за его нетерпения Бог не «наградил» его немедленной верой, — еще тридцать лет, до последнего часа жизни он должен непрерывно бороться. Он не достигает своего Дамаска ни в один день, ни в один год: до последнего вздоха Толстой не удовлетворится ни одним ответом, никакой верой и будет ощущать жизнь до последнего мгновения как великолепную, жуткую тайну.

Так Толстому не дан ответ на его вопрос о «смысле жизни», его алчный, насильственный разбег к Богу не удался. Но художнику всегда дано спасение: когда он не может совладать со своим разладом, он бросает свое горе человечеству и душевный вопрос обращает в вопрос мировой; и так Толстой заменяет эгоистический крик ужаса: «Что станет со мной?» — более могучим: «Что станет с нами?» Так как ему не удастся убедить собственный своевольный ум, он хочет уговорить других. Не будучи в силах изменить себя, он хочет изменить человечество. Религии всех времен, все попытки исправления мира (Ницше, самый пронизательный из всех, знает это) созданы «бегством от себя» единичного, чувствующего опасность для своей души человека, который, чтобы сбросить с плеч роковой вопрос, кидает его всем, обращая личное беспокойство в беспокойство мировое. Он не стал религиозным, христианином-францисканцем, этот величественный страстный человек с правдивыми глазами, с твердым и горячим сердцем, полным сомнений; но, познав муки неверия, он произвел самую фанатическую попытку нашего времени спасти мир от нигилистической беды, сделать его более верующим, чем сам он когда-либо был. Единственное спасение от жизненного отчаяния в передаче своего «я» миру, и это измученное, жаждущее истины «я» Толстого бросает всему человечеству, как предостережение и как учение, то, что для него самого являлось ужасным вопросом.

УЧЕНИЕ И ЕГО НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

Разговор о божестве и вере навел меня на великую, громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль эта — основание новой религии, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности.

Юношеский дневник, 5 марта 1855 г.

Фундаментом своего учения, своей «вести» человечеству делает Толстой собственное евангельское слово: «Не противьтесь злу» — и создает для него толкование: «Не противьтесь злу насиліем».

Эта фраза содержит в скрытом виде всю толстовскую этику: этой катапультой, метающей камни, великий борец бьет с такой ораторской и этической силой своей до боли напряженной совести в стену столетия, что до сих пор отдается сотрясение в наполовину обрушившихся балках. Невозможно охватить душевный эффект этого толчка в полном объеме: non-resistance Ганди, пацифистское воззвание Роллана во время войны, героическое сопротивление неисчислимым отдельным неизвестным людей насилію над совестью, борьба против смертной казни — все эти единичные и кажущиеся не связанными между собой проявления нового столетия получили энергичное поощрение в учении Льва Толстого. Повсюду, где в наши дни отрицается насиліе, — будь это оружие, право или мнимо божественное установление, долженствующее охранять что-либо под тем или иным предлогом, — нацию, религию, расу, собственность, — повсюду, где гуманная этика противится пролитию крови, не хочет оправдывать преступление войны, отказывается возвратиться к средневековому кулачному праву и признать военную победу Божьим судом, — повсюду каждый моральный революционер получает еще сегодня авторитетную и усердную, братски одобряющую поддержку Толстого.

Повсюду, где независимая совесть вместо застывших формул церкви, требований жадного к власти государства, заржавленного, схематически действующего правосудия предоставляет окончательное решение братскому человеческому чувст-

ву как единственной моральной инстанции, она может опираться на образцовый лютеровский поступок Толстого, который решительно лишает современное папство непогрешимой государственной власти, всякого права на единичную душу и взывает к человечному в людях, чтобы каждый во всех случаях судил «сердцем».

Но о каком же «зле», с которым мы должны бороться, не прибегая к насилию, говорит Толстой? Именно об этом самом насилии, об абсолютном насилии, в каких бы формах оно ни пряталось за патетической ветошью народного благосостояния, национальных домогательств или колониальных экспансий, как бы ловко оно ни подменяло властолюбие и кровожадность философскими и патриотическими идеалами, — мы не должны поддаваться обману: даже в самых заманчивых сублимированных формах насилие в противовес братанию приводит лишь к резкому самоутверждению единичной группы и увековечивает этим мировое неравенство. Всякое насилие подразумевает собственность, обладание и желание большего, поэтому все неравенство для Толстого связано с понятием собственности. Недаром молодой дворянин проводил часы с Прудоном в Брюсселе: еще до Маркса Толстой, как самый радикальный для того времени социалист, говорит: «Собственность — корень всего зла и всех страданий, и опасность столкновения лежит между теми, кто обладает ею в избытке, и теми, кто ее не имеет». Ибо для того, чтобы сохранить себя, собственность должна обороняться и даже наступать. Насилие необходимо, чтобы добыть имущество, необходимо, чтобы увеличить собственность, необходимо, чтобы ее защищать. Таким образом, собственность делает государство своим покровителем; государство, со своей стороны, для самоутверждения вырабатывает организованные насилия — армию, суд, «всю насильственную систему, которая служит только для того, чтобы оберегать собственность», и кто приспособляется к государству и признает его, приводит свою душу к подчинению этому принципу власти. Не подозревая этого, по мнению Толстого, даже кажущиеся независимыми интеллигентные люди служат в современ-

ном государстве только сохранению собственности немногих; даже христианская церковь, «которая, пока исполняла свое истинное назначение, была за отмену государства», отворачивается с «лживыми догмами» от своей самой настоящей обязанности, благословляет оружие, доказывает несправедливость настоящего мирового порядка и потому застывает в формулах, становится привычкой, договором. Художники, свободные ходоатаи совести по призванию, защитники человеческих прав, работали над своими башнями из слоновой кости и «усыпляли совесть». Социализм пытается быть врачом неизлечимого, революционеры, единственные, которые справедливо хотят взорвать неправильный строй мира, сами ошибочно пользуются смертоносными средствами своих противников и увековечивают несправедливость, оставляя нетронутым принцип «зла», даже освящают насилие.

Неверным и гнилым в свете этих анархических требований представляется фундамент государства и существующие формы отношений между людьми: поэтому Толстой резко отвергает все демократические, филантропические и революционные исправления государственного строя, как напрасные и неудовлетворительные. Ибо ни дума, ни парламент и меньше всего революция освобождают нацию от «зла», насилия: дом не может быть укреплен на шаткой почве, его можно лишь бросить и построить себе новый. Современное государство основано на мысли о власти, а не на мысли о братстве: поэтому оно в представлении Толстого бесповоротно осуждено на обвал; все социальные и моральные починки только удлиняют его борьбу со смертью. Не гражданско-государственные отношения между народом и правительством должны измениться, а сами люди: не насильственное объединение с помощью государственной власти, а более тесная духовная братская связь всех народов должны укрепить устои.

Но пока это религиозное этическое братство не заменит существующую форму насильственного гражданства, до тех пор, утверждает Толстой, истинная нравственность возможна только вне государства, вне партий, — в невидимых тайниках

индивидуальной совести. Так как государство и насилие тождественны, этичный человек не должен отождествляться с государством. Необходима религиозная революция: отказ каждого человека, обладающего совестью, от всякого причастия к насилию. Поэтому Толстой сам решительным шагом становится вне государственных форм и объявляет себя морально независимым от всех обязанностей, кроме возложенных на него совестью. Он не признает «исключительной принадлежности к какому-нибудь народу или государству или подданство какому-нибудь правительству», он добровольно исключает себя из православной церкви, он отказывается принципиально от обращения к правосудию или к какому-нибудь установленному институту современного общества, только чтобы не ухватиться за палец дьявольского насильственного государства. Поэтому не надо поддаваться обману евангелической кротости его братских проповедей, христиански-смиренной окраске его речи, ссылок на Евангелие по поводу враждебной государству социальной критики, по поводу целесообразной энергии и решимости, с которой Толстой, самый смелый еретик нашего века, как радикальный анархист эпохи царизма, объявляет открытую войну церкви по всем установлениям государственного объединения.

Его политика — самая ожесточенная антиполитика, и со времени Лютера это первый полный разрыв единичного человека с новым папизмом, с мыслью о непогрешимости собственности. Даже Троцкий и Ленин теоретически ни на шаг не вышли из пределов толстовского «все должно измениться», так же, как Жан-Жак Руссо, — *ami des hommes*, — выкопавший своими произведениями для французской революции подземные ходы, из которых она взорвала впоследствии королевство. Толстой больше, чем кто-либо из русских, вскопал и подготовил почву для бурного взрыва: этого радикал-революционера мы, на Западе, введенные в заблуждение его патриархальной бородой и некоторой мягкостью учения, склонны принимать исключительно за апостола кротости.

Правда, так же, как Руссо санкюлотами, Толстой, без со-

мнения, возмущился бы методами большевизма, ибо он ненавидел партии: «Какая бы партия ни победила, она должна для сохранения своего могущества употребить не только все наличные средства насилия, но и придумать новые», — сказано у него, но правдивое историческое изложение когда-нибудь докажет, что он больше чем кто-либо проложил им путь, что бомбы всех революционеров меньше подорвали авторитет власти, чем открытый протест этого единственного, величайшего, против, казалось, непобедимых сил его родины: царя, церкви и собственности.

С тех пор как гениальнейший диагност нашел скрытую ошибку в конструкции цивилизации, — указал, что наше государственное здание зиждется не на гуманности, не на общности человечества, а на грубости и власти над людьми, он всю свою диалектическую мощь, всю огромную этическую поступательную силу в течение тридцати лет направлял на непрерывные повторения атак против господствующих в России порядков; Вильгельмид революции, он, против своего желания, был стихийной первобытной силой и тем бессознательно исполнял свою русскую миссию. Ибо русское мышление должно радикально, с корнями вырвать существующее, прежде чем построить новое; не случайно ни один из русских художников не избежал провала в глубочайшие шахты мрачного, непроходимого нигилизма, чтобы потом из самого жгучего, самого иступленного отчаяния ревностно извлекать новые воззрения; не так, как мы, в Западной Европе, робко исправляющие, благоговейно осторожные, а резко, как дровосек, с необходимым для опасных экспериментов настоящим мужеством уничтожения, подходит к проблемам русский мыслитель, русский поэт, русский деятель. Ростопчин не медлит, во имя идеи победы, сжечь до основания Москву, это *miraculum mundi*, также и Толстой — похожий в этом отношении на Савонаролу — готов уничтожить все культурные достижения человечества — искусство и науку — только для того, чтобы оправдать новую, лучшую теорию.

Быть может, никогда религиозный мечтатель Толстой не

отдавал себе отчета в практических последствиях своего творческого штурма, ни разу не осмелился подсчитать, сколько жизней поглотит внезапный обвал такого громадного мирового здания, — со всей своей душевной силой, со всем упорством убеждений потрясая устои социального государственного здания. Если такой Самсон пускает в ход свои кулаки, клонится и гнется самая крепкая крыша. Поэтому все запоздалые споры, — хвалил бы или хулил Толстой большевистский переворот, — являются излишними перед лицом голого факта: ничто так не приблизило духовно русскую революцию, как фанатические проповеди Толстого против излишек и собственности, петарды его брошюр, бомбы его памфлетов. Никакая современная критика, даже Ницше, который, как немец, метил только в интеллигентов и своим поэтически-дионисийским стилем закрыл себе дорогу к влиянию на массы, не взбудоражила так душу, не потрясла так веру широких народных масс; против его желания и воли герма Толстого навеки водружена в незримом пантеоне великих революционеров — разрушителей власти, преобразователей мира. Против желания и воли: ибо Толстой резко отделял свою христианско-религиозную революцию, свой государственный анархизм от революции активной и насильственной. Он пишет в «Спелых колосьях»: «Мы часто обманываемся тем, что, встречаясь с революционерами, думаем, что мы стоим близко рядом. Нет государства — нет государства, нет собственности — нет собственности, нет неравенства — нет неравенства и мн. др. Кажется, все одно и то же. Но не только есть большая разница, но нет более далеких от нас людей. Для христианина нет государства, а для них нужно уничтожение государства, для христианина нет собственности, а они уничтожают собственность. Для христианина все равны, а они хотят уничтожить неравенство. Революционеры борются с правительством извне, а христианство вовсе не борется с ним, оно разрушает фундамент государства изнутри». Из этого видно, что Толстой не хотел видеть государство насильственно уничтоженным, а хотел посредством пассивности бесчисленных единиц ослабить его авторитет: частица за час-

тицей, индивидуум за индивидуумом должны уходить из его орбиты, пока наконец расслабленный государственный организм не распадается. Но конечный эффект не меняется: уничтожение всякого авторитета, — и этой цели Толстой страстно служил всю жизнь. Правда, он хотел вместе с тем другого порядка, хотел создать государственную церковь, государство более гуманной, братской жизненной религии, прежнее, но новое, истинно христианское, толстовско-христианское Евангелие. Но при оценке этого творческого духовного достижения надо — честность на первом плане! — провести резкую границу между гениальным критиком культуры, земным гением зоркости Толстым и поблекшим, неудовлетворяющим, капризным, нерешительным моралистом — мыслителем Толстым, который в припадке педагогического рвения в шестидесятилетнем возрасте не только погнал крестьянских детей Ясной Поляны в школу, но захотел и всей Европе вдолбить великую азбуку единственно «правильной» жизни, «настоящую» истину, сдобренную основательной дозой философского легкомыслия.

Глубочайшего благоговения достоин Толстой, пока он — рожденный бескрылым — пребывает в своем чувственном мире и своими гениальными органами чувств изучает структуру человеческого; но когда он свободным полетом подымается в область метафизики, где его органы чувств уже бессильны, — где они не видят и не обоняют, где эти тонкие щупальца бесцельно блуждают в пустоте, — его духовная беспомощность внушает страх. Нет, тут нужно строгое разграничение: Толстой, как теоретический, систематический философ, был столь же досадным явлением самообмана, как Ницше — его антипод — в роли композитора. Так же, как музыкальность Ницше, изумительно плодотворная в мелодике речи, почти не существует в сфере чистой тональности (т. е. композиторской), так и великий ум Толстого не удовлетворяет, когда он забирается в надчувственные сферы: в сферы теоретические, абстрактные. Можно в каждом произведении отметить эту границу; в его социальном памфлете «Так что же нам делать?» первая

часть, например, описывает воспринятые глазами, проверенные опытом квартиры бедноты с таким мастерством, что дух захватывает. Никогда или едва ли когда-нибудь социальная критика гениальнее продемонстрирована на земном явлении, чем в изображении этих комнат нищих и опустившихся людей; но едва, во второй части, утопист Толстой переходит от диагноза к терапии и пытается проповедовать объективные методы исправления, каждое понятие становится туманным, контуры блекнут, мысли, подгоняющие одна другую, спотыкаются. И эта растерянность растет от проблемы к проблеме по мере того, как Толстой все смелее продвигается вперед. И Бог свидетель, он далеко заходит вперед! Без всякой философской подготовки, с ужасающим отсутствием благоговения, он касается в своих трактатах вечных неразрешимых вопросов, носящихся в недостижимых звездных пространствах, и «растворяет» их легко, как желатин. Ибо так же, как в нетерпении, в период своего кризиса, он хотел быстро, как шубу, накинуть на себя «веру», сделаться в одну ночь смиренным христианином, в этих воспитательных писаниях он заставляет «одним взмахом вырасти лес»: и он, в 1878 году отчаянно вопивший: «Вздор вся наша земная жизнь», — через три года заготавливает для нас свою универсальную теологию, решающую все мировые загадки.

Разумеется, всякое противоречие должно при таких поспешных построениях мешать быстро мыслящему уму, и потому Толстой проповедует, заткнув уши, проносясь мимо непоследовательностей, и с подозрительной поспешностью доставляет себе исчерпывающее решение. Как сомнительна вера, чувствующая себя обязанной непрерывно «доказывать», как нелогично, невзыскательно мышление, которому при недостатке доказательств всегда вовремя приходит на память библейское изречение в качестве последнего, совершенного, неопровержимого аргумента! Нет, нет, нет, нужно энергично повторить: трактаты Толстого принадлежат (несмотря на несколько несомненно гениальных отдельных утверждений) — к самым неприятным зелотским трактатам мировой литературы, это досадные примеры постепенного, сбивчивого, надмен-

но самодовольного и — у человека столь правдолюбивого, как Толстой, это потрясает — даже нечестного мышления.

И действительно, самый правдолюбивый художник, благородный и примерный моралист, великий и почти святой человек, Толстой играет в роли теоретического мыслителя в скверную и нечестную игру. Чтобы вместить весь необъятный духовный мир в свой философский мешок, он прибегает к грубому фокусу, а именно: сперва упрощает все проблемы, пока они не становятся плоскими и удобными, как карты. Он устанавливает сперва просто «человека», потом «добро», «зло», «грех», «чувственность», «братство», «веру». Потом он весело тасует карты, делает «любовь» козырем и — смотрите, пожалуйста — выигрывает. В один мировой час вся мировая игра, необъятное и неразрушимое, то, что искали миллионы человеческих поколений, решено за письменным столом в Ясной Поляне, и старик изумлен, его глаза по-детски сияют, счастливая улыбка озаряет его старческие губы, он не устает изумляться «до чего все просто». Воистину непонятно, что все философы, все мыслители, которые тысячи лет покоятся в тысячах гробов и тысячах стран, так мучительно напрягали свои умы и не заметили, что вся «истина» уже давно ясно изложена в Евангелии; нужно, правда, предположить, как делает это и он, Лев Николаевич, что в тысяча восемьсот семьдесят восьмом году по Рождестве Христовом «впервые за тысячу восемьсот лет верно поняли» и, наконец, освободили от маскировки божественную весть. (Действительно, он говорит такие нечестивые слова!) Но теперь конец всем трудам и мучениям, — теперь люди должны познать, как изумительно проста жизнь: все, что мешает, надо просто бросить под стол, просто уничтожить государственность, религию, искусство, культуру, собственность, брак, и этим «зло» и «грех» упраздняются навсегда; и если каждый в отдельности собственной рукой пашет землю, печет хлеб и шьет себе сапоги, тогда нет больше государства и нет религии, — и только царство Божие на земле. Тогда «Бог — любовь и любовь — цель жизни». Итак, долой все книги, не надо больше думать, не нужно духовного творчества, достаточно

«любви», и завтра же все может осуществиться, «если люди только захотят».

Представляется, что преувеличиваешь, передавая точный текст толстовской всемирной теологии, но, к сожалению, это он сам в своем рвении прозелита досадно преувеличивает, он, стремясь перескочить через шаткие устои своих аргументов, насильно предпринимает такой творческий штурм. Как прекрасна, как ясна, как неопровержима его основная мысль о жизни: Евангелие без насилия. Толстой требует от всех нас уступчивости, духовного смирения. Он напоминает нам, чтобы предотвратить неизбежный, ввиду все возрастающего неравенства социальных слоев, конфликт, о необходимости предупредить революцию снизу, добровольно начав ее сверху, и своевременной истинно христианской уступчивостью исключить возможность насилия. Богатый пусть откажется от своего богатства, интеллигент от своего высокомерия, художник пусть бросит свою башню из слоновой кости, пусть станет доступным и приблизится к народу; мы должны укротить наши страсти, нашу «животную натуру» и вместо алчности развивать в себе святую способность отречения.

Великие требования, разумеется, бесконечно давно желанные всеми евангелиями мира, вечные, все вновь повторяющиеся требования морального возвышения человечества. Но безграничное нетерпение Толстого не удовлетворяется, подобно тем религиозным проповедникам, требованием этого возвышения, как наивысшего морального достижения единичных людей; он гневно требует, этот деспотично нетерпеливый человек, покорности сейчас же и от всех. Он требует, чтобы мы по его религиозному приказу тотчас отказались от всего, отдали и бросили все, с чем мы связаны чувством; он требует (в шестьдесят лет) от молодых людей воздержания (не отличавшийся им сам в зрелом возрасте), от культурных людей равнодушия, даже презрения к искусству и интеллектуальности (которым он посвятил всю свою жизнь), и чтобы быстро, да, молниеносно убедить нас в тщетности всего, чем живет наша культура, он разрушает гневными ударами кулака весь наш духовный мир.

Чтобы сделать абсолютное воздержание соблазнительнее, он оплевывает всю нашу современную культуру, наших художников, наших поэтов, нашу технику и науку, он прибегает к самым заковыристым преувеличениям, к грубой неправде и всегда сначала срамит и унижает себя самого, чтобы иметь возможность свободно вести атаку на всех остальных. Таким образом, он компрометирует самые благородные этические намерения с необузданной неуступчивостью, для которой всякое преувеличение недостаточно, никакой обман не представляется слишком грубым. Верит ли в самом деле кто-нибудь Льву Толстому, — которого всегда сопровождал домашний врач, следивший за ним, — когда он медицину и врачей называет «ненужными вещами», чтение — грехом, опрятность — «излишней роскошью»? Разве он, чьи творения заполняют целую полку, прожил, действительно, свою жизнь подобно «ненужному паразиту», подобно «травяной вши», как он, пародируя и преувеличивая, описывает? «Я ем, разговариваю, слушаю, снова ем, пишу и читаю, — это значит, я снова говорю и слушаю, потом я опять ем, играю, ем и разговариваю, еще раз ем и ложусь в постель». Разве действительно так были созданы «Война и мир» и «Анна Каренина»? Разве ему, плакавшему во время исполнения шопеновских сонат, музыка действительно представляется, подобно глупым квакерам, лишь чертовой во-лынкой? Разве он в самом деле считает Бетховена «возбудителем чувственности», драмы Шекспира — «несомненным вздором», произведения Ницше — «грубой, бессмысленной, много-речивой болтовней»? Или творения Пушкина годными лишь на то, чтобы служить народу бумагой для сигарок? Разве для него искусство, которому он служил с большим блеском, чем кто-либо другой, действительно только «предмет роскоши для до-сужих людей», а мнение портного Гриши и сапожника Петра в самом деле более высокая эстетическая инстанция, чем мнение Тургенева или Достоевского? Seriously ли верит он, который был в юности «неутомимым...» и в брачной постели прижил тринадцать человек детей, в то, что тронутые его призывом юноши станут скопцами и умертвят свою плоть?

Из этого видно, что он, Толстой, преувеличивает, как оглашенный, и преувеличивает, пользуясь несостоятельной логикой совести, чтобы не дать почувствовать, что он своими «доказательствами» слишком дешево отделяется. Правда, иногда в глубине его критического сознания как будто загоралось подозрение, что этот кричащий нонсенс уничтожает себя своим изобилием. «Я питаю мало надежды, что мои доказательства будут приняты или серьезно обсуждены», — пишет он однажды, и он совершенно прав, ибо как нельзя спорить с этим мнимо уступчивым человеком, «Льва Толстого нельзя убедить», — жалуется жена, и «его самолюбие никогда ему не позволяет сознаться в ошибке», — рассказывает его лучшая подруга, — так бессмысленно было бы и серьезно защищать Бетховена и Шекспира от Толстого: кто с любовью относится к Толстому, хорошо делает, если отворачивается от него там, где старец слишком открыто обнажает отсутствие логики. Ни одной секунды мало-мальски серьезный человек не подумал в ответ на теологические выпады Толстого потушить, как газовый рожок, две тысячи лет борьбы за одухотворение жизни и выбросить наши священнейшие достижения на свалку.

Ибо наша Европа, только что принявшая в подарок такого мыслителя, как Ницше, который только благодаря духовным радостям согласен признать нашу грузную землю возможной для жизни, эта Европа, Бог свидетель, не была расположена поддаться моральному приказу, требующему огрубения, опрощения, монголизации, покорного сидения в кибитке и отказа от великолепного духовного прошлого, как от «греховного» заблуждения. Не было и не будет тут недостатка в уважении, если мы постараемся не смешивать примерного моралиста Толстого, героического защитника совести, с его отчаянными попытками превратить нервный кризис в мировоззрение, климатический страх в политическую экономию; мы всегда будем различать великолепные моральные побуждения, выросшие из героической жизни этого художника, и мужицки-гневно-изгнание культурного наваждения старцем, спасающимся в теориях.

Серьезность и объективность Толстого с небывалой силой углубили совесть нашего поколения, но его угнетающие теории представляют собой сплошное покушение на чувство радости жизни, монашески-аскетическое отталкивание нашей культуры в невозстановимое первобытное христианство, выдуманное уже не христианином и поэтому сверххристианином. Нет, мы не верим, что «воздержание определяет всю жизнь», что мы должны обескровить нашу земную мирскую страсть и обременять себя только обязанностями и библейскими изречениями; мы не доверяем толкователю, который ничего не знает о созидательном живительном могуществе радости, как о факторе, объединяющем и заменяющем наши свободные чувственно-плотские вожеления, о самом возвышенном, самом блаженном: искусстве. Мы не хотим упразднить ни одного из достижений духа и техники, ничего от нашего западного наследства, ничего; ни наших книг, ни наших картин, ни городов, ни науки, ни одного дюйма, ни одного золотника нашей чувственной, видимой действительности мы не отдадим из-за какого-нибудь философа и меньше всего за регрессивное, угнетающее учение, которое нас толкает в степь и в духовную тупость. Ни за какое небесное блаженство мы не променяем ошеломляющую полноту нашего существования на какую-нибудь узкую упрощенность: мы нагло предпочитаем быть скорее «грешными», чем примитивными, скорее страстными, чем глупыми и евангельски честными. Поэтому Европа просто-напросто сложила все собрание социалистических теорий Толстого в литературный архив, относясь с благоговением к его примерным этическим стремлениям и все же отстраняя их не только на сегодня, но и навсегда. Ибо даже в высшей религиозной форме, даже выраженное таким величественным умом, регрессивное и реакционное никогда не может быть творческим и родившееся от смятения собственной души не может разъяснить нам мировую душу. Поэтому еще раз и окончательно: самый сильный критический пахарь нашего времени, Толстой не посеял ни одного зерна нашей европейской будущности, и в этом отношении он всецело русский, всецело гений своей расы и своего рода. Ибо,

без сомнения, смысл и назначение последнего русского столетия в том, чтобы со священным беспокойством и беспощадным страданием разрыть все моральные глубины, обнажить до самых корней все социальные проблемы, и бесконечно наше благоговение перед всеми духовными достижениями его гениальных художников. Если мы многое чувствуем глубже, если мы многое познаем решительнее, если временные и вечные человеческие проблемы взирают на нас более строгим, более трагичным и немилосердным взором, чем прежде, мы этим обязаны России и русской литературе, так же, как и всему творческому стремлению к новым истинам взамен старых.

Все русское мышление представляет собой брожение ума, способное расширяться, взрываться, но не ясность ума, как у Спинозы, Монтеня и некоторых немцев; оно в высокой степени содействует душевному развитию мира, и ни один художник нового времени не распахал и не встревожил так сильно нашу душу, как Толстой и Достоевский. Но порядок, новый порядок, они оба не помогли нам обрести, и где они свой собственный душевно-гибельный хаос пытаются толковать как смысл мира, мы отрекаемся от их решения. Ибо оба, Толстой и Достоевский, спасаются от собственного ужаса, порождаемого скрытым непреодолимым нигилизмом, от первобытного страха уходят в религиозную реакцию; оба рабски цепляются, чтобы не упасть в собственную пропасть, за христианский крест и заволакивают облаками русский мир в тот час, когда очистительная молния Ницше разбивает все старые страшные тучи и дает в руки европейцу, как священный молот, его могущество и его свободу.

Фантастическое зрелище: Толстой и Достоевский, эти могущественные люди своей родины, — оба внезапно оторваны апокалиптическим трепетом от своего дела, и оба поднимают тот же русский крест, оба взывают к Христу, — и каждый из них к другому, — как к спасителю и искупителю гибнущего мира. Как безумствующие средневековые монахи, стоят они — каждый на своем амвоне — враждебные друг другу духовно и в жизни; Достоевский — архиреакционер и защитник самодер-

жавия, проповедующий войну и террор, безумствующий в опьянении могуществом преувеличенной силы, слуга царя, бросившего его в тюрьму, — поклоняется империалистическому, покоряющему мир спасителю. И в противоположность ему Толстой, столь же фанатически насмехающийся над тем, что тот возносит, столь же мистически анархичный, сколь тот мистически раболепен, ставит к позорному столбу царя, как убийцу, церковь, государство, как воров, проклинает войну, — но также с именем Христа на устах и с Евангелием в руках, — и оба гонят мир назад к смирению и тупости, побуждаемые таинственным страхом потрясенной души. Какое-то пророческое предчувствие должно было быть в обоих, когда они с криками выбрасывали в народ свой апокалиптический страх, — предчувствие светопреставления и Страшного суда, ясновидение великих потрясений, которыми беременна русская земля под их ногами, — ибо что же является долгом и назначением поэта, если не это пророческое предчувствие грядущего во времени пламени и пребывающего в облаках грома, если не напряжение и муки перерождения? Оба призывающие к покаянию, гневные и неистовые пророки, стоят они трагически освещенные у врат светопреставления, еще раз пытаюсь отворотить носящийся в воздухе ужас, — гигантские ветхозаветные фигуры, каких уже не знает наше столетие.

Только предчувствовать могут они грядущее, но не изменить мировой порядок. Достоевский насмехается над революцией, и сейчас же после его похорон взрывается бомба, убивающая царя. Толстой бичует войну и требует любви на земле: и четырех раз не зазеленела земля над его гробом, когда отвратительнейшее братоубийство опозорило мир. Образы его искусства, от которых сам он отрекся, переживают время, а его учение развеивается первым дуновением ветра. Он не видел, но заподозрил падение своего божественного царства, ибо в последний год жизни, когда он спокойно сидел в кругу друзей, слуга принес ему письмо, он его распечатал и прочел: «Нет, Лев Николаевич, я не могу согласиться с вами, что человеческие отношения исправятся одною любовью. Так говорить могут

только люди хорошо воспитанные и всегда сытые. А что сказать человеку голодному с детства и всю жизнь страдавшему под игом тиранов? Он будет бороться с ними и стараться освободиться от рабства. И вот перед самой вашей смертью говорю вам, Лев Николаевич, что мир еще захлебнется в крови, что не раз будет бить и резать не только господ, не разбирая мужчин и женщин, но детишек их, чтобы и от них ему не дожидаться худа. Жалею, что вы не доживете до этого времени, чтобы убедиться воочию в своей ошибке. Желаю вам счастливой смерти».

Никому не известно, кто написал это грозное письмо. Был это Троцкий, Ленин или кто-нибудь из неизвестных революционеров, гнивших в Шлиссельбурге, — мы этого никогда не узнаем. Но, может быть, в это мгновение Толстой уже знал, что его учение было дымом и тщетою в реальном мире, что смутная и свирепая страсть всегда будет могущественнее меж людей, чем братская доброта. Его лицо — рассказывают присутствовавшие при этом — стало в тот миг серьезным. Он взял письмо и задумчиво пошел в свою комнату; холодное крыло предчувствия коснулось стареющего чела.

БОРЬБА ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

Легче написать 10 томов философии, чем приложить какое-нибудь одно начало к практике.

Дневник, 1847

В Евангелии, которое Лев Толстой в те годы так упорно перелистывает, он не без волнения находит пророческие слова: «Кто посеет ветер, пожнет бурю», — ибо эта судьба постигает его собственную жизнь. Никогда ни один человек, и менее всего столь могущественный, не бросает свою духовную тревогу в мир, не получив за то возмездия: тысячекратным рикошетом смятение ударяет в его собственную грудь. Сегодня, когда спор давно утих, мы не в состоянии постигнуть, какое фанатическое ожидание вызвал первый призыв Толстого в России и во

всем мире: это должно было быть душевным смятением, насильственным пробуждением совести целого народа. Бесплезно поспешное запрещение правительства, испуганного таким революционным эффектом, выпускать полемические произведения Толстого; в копиях, перепечатанных на пишущей машинке, переходят они из рук в руки, они проникают контрабандой в заграничные издания; и чем смелее нападает Толстой на основы существующего строя, на государство, царя, церковь, чем пламеннее он требует лучшего мирового порядка для человечества, тем с большей страстью обращаются к нему сердца человечества, восприимчивые к каждой обещающей счастье вести. Всякий раз, когда единичный человек обращается с заветом к человечеству, он прикасается к нерву тоски по вере, и бесконечная, накопленная жертвенность стучится к каждому, кто берет на себя смелость подняться и сказать самое ответственное слово: «Я знаю истину».

Таким образом, миллионы духовных взоров со всей России направляются в конце столетия навстречу Толстому, как только он оповещает мир о своем апостольском слове. «Исповедь», ставшая для нас уже давно лишь психологическим документом, опьяняет верующую молодежь, как благая весть. Наконец, торжествуют они, могучий и свободный человек, вдобавок величайший поэт России, потребовал того, о чем до сих пор только проливали слезы обездоленные и шептались полукрепостные: наш современный мировой строй несправедлив, безнравствен и поэтому непрочен, необходимо найти лучшую форму. Неожиданный толчок дан недовольным, и притом его дал не профессиональный прогрессивный пустослов, а независимый и неподкупный ум, в авторитете и честности которого никто не осмеливается усомниться. Своей собственной жизнью, каждым поступком своего обнаженного существования, — раздаются голоса, — этот муж хочет быть примером; граф — он хочет отказаться от своих привилегий, богатый человек — от своей собственности и первый из имущих и великих — смиренно влиться в трудящийся класс, стереть отличия от рабочего народа. До необразованных, до мужиков и негра-

мотных доносится весть о новом спасителе обездоленных, уже собираются первые ученики, секта толстовцев начинает дословно исполнять слово учителя, и за ними пробуждается и ждет неисчислимая масса угнетенных. Так зажигаются миллионы сердец, миллионы взоров навстречу вестнику и жадно смотрят на каждый поступок, каждое деяние его значительной для мира жизни. «Ибо он научился, он научит нас».

Но странно: Толстой сначала не отдает себе точного отчета, какую тяжелую ответственность он взваливает на себя, связывая столь неожиданную миллионную толпу последователей со своей частной жизнью. Он, конечно, обладает достаточно ясным взором и знает, что провозвестник такого учения жизни не может оставить его в холодных буквах на бумаге и что он должен осуществлять его в собственной жизни. Но — и в этом его первое заблуждение — он думает, ему кажется, что он делает достаточно, если символически намечает проведение новых социальных и этических требований в образе своей жизни и иногда подает признаки своей принципиальной готовности. Он одевается как мужик, чтобы уничтожить внешнее различие между бариним и слугой, он работает на поле с сохой и плугом и дает рисовать себя в таком виде Репину, чтобы каждый мог ясно убедиться, что работы в поле, грубой честной работы из-за куска хлеба я не стыжусь и никто не должен стыдиться ее, ибо — смотрите! — я сам, Лев Толстой, которому, как вам известно, этого не нужно и который достаточно оправдал свою жизнь духовным трудом, я радостно беру его на себя. Он передает, чтобы больше не запятнать свою душу «грехом», все имущество, все богатство (к тому времени уже больше полумиллиона рублей) жене и семье и отказывается получать за свои сочинения деньги или иные ценности. Он раздает милостыню, и самому чужому, самому незначительному человеку, который обращается к нему, уделяет время, беседуя и переписываясь с ним; каждому, претерпевающему зло и несправедливость, он с братской любовью протягивает руку помощи.

И все же скоро он познает, что от него требуют еще больше-

го, ибо грандиозная грубая масса верующих, именно тот «народ», к которому он стремится всеми нитями своей души, не удовлетворяется придуманными символами смирения, а требует от Льва Толстого иного: полного отказа, совершенного растворения в его нищете и несчастье. Только мученический подвиг создает действительно верующих и убежденных, — поэтому всегда в начале каждой религии стоит человек полнейшего самоотречения, а не только намекающий или обещающий. И все, что Лев Толстой до тех пор сделал для доказательства применимости его учения, было лишь жестом самоуничтожения, религиозно-смирненным символическим актом, сравнимым лишь с возлагавшейся католической церковью на папу и верующих императоров обязанностью — ежегодно в великий четверг омыwać ноги двенадцати старцам; этим оповещают и дают понять народу, что даже самая низменная работа не унижает великих мира сего. Но в такой же степени, как папа или император Австрии и Италии благодаря этому раз в году повторяющемуся акту покаяния отказывались от своего могущества и действительно становились банщиками, и этот большой поэт и дворянин становился по истечении часа, проведенного с шилом и колодкой, — сапожником, по истечении двухчасовой работы в поле — крестьянином, после передачи своего имущества членам семьи — нищим.

Толстой показывал только возможность проведения в жизнь своего учения, но не проводил его. Но как раз этот народ, которому (по глубокому инстинкту) символы недостаточны, которого может убедить только полнейшая жертва, ждал ее от Льва Толстого, ибо всегда первые последователи толкуют слова своего учителя значительно буквально, строже и дословнее, чем сам учитель. И возникает глубокое разочарование, когда они, паломничая к пророку добровольной нищеты, видят, что точно так же, как и в других дворянских поместьях, мужики Ясной Поляны продолжают в бедности тянуть свою лямку, он же, Лев Толстой, граф, как прежде по-барски принимает гостей в господском доме и все еще принадлежит к «классу», который «разными фокусами отнимает у народа не-

обходимое». Эта громко провозглашенная передача состояния не воспринимается ими как действительный отказ, сам Толстой не представляется им неимущим, бедняком, они видят поэта, наслаждающегося всеми прежними удобствами, и даже этот часок паханья в поле и шитье сапог никак не может их убедить. «Что это за человек, который проповедует одно, а делает другое?» — ворчит возмущенно старый крестьянин, и еще резче высказываются студенты и настоящие коммунисты об этом двусмысленном колебании между учением и делом. Постепенно разочарование таким половинчатым образом действий охватывает самых убежденных последователей его теории; письма и частые грубые нападки напоминают ему все настойчивее о необходимости или опровергнуть свое учение, или же наконец следовать ему буквально, а не только на случайных символических примерах.

Испуганный этим призывом, Толстой, наконец, сам познает, какое огромное требование он предъявил к самому себе, познает, что не слова, а только факты, не агитаторские примеры, а лишь совершенное изменение образа жизни может оживить его весть. Кто как оратор стоит на трибуне перед народом, на самой высокой трибуне девятнадцатого столетия, освещенный ярким рефлектором славы, под бдительными взорами миллионов людей, тот должен окончательно отказаться от всякой частной жизни, тот не имеет права свои взгляды намечать случайными символами; лишь действительное самопожертвование может служить достоверным свидетелем. «Чтобы быть услышанным людьми, нужно подкрепить истину страданиями и еще лучше смертью». Таким образом в личной жизни Толстого вырастает обязанность, которой апостол-доктринер никогда раньше не подозревал. С трепетом, смущенный, неуверенный в своей силе, напуганный до глубочайших глубин своей души, Толстой принимает крест, который он взвалил на себя, — он отныне во всем своем образе жизни всецело олицетворяет свои моральные требования; среди весело насмехающегося и болтливости мира — святой слуга своих религиозных убеждений.

Святой: слово произнесено наперекор улыбающейся иронии. Ибо, конечно, святой в наше трезвое время кажется совершенно немыслимым и невозможным явлением, анахронизмом забытого средневековья. Но только эмблема и культовое окружение каждого душевного типа побеждают тленность; каждый тип, раз вступив в круг земного, последовательно и вынужденно вращается в бесконечной игре аналогий, которую мы называем историей. Всегда и в каждую эпоху люди должны будут создавать святых, ибо религиозное чувство человечества всегда нуждается в этой высшей форме души; только ее осуществление должно будет внешне измениться с течением времени. Наше понятие о преображении посредством духовного усердия ничего общего не имеет с политипажными фигурами *Legenda aurea* и со столпами отцов-пустынников, ибо мы давно отделили образ святого от церковного собора и папских конклавов, «святой» обозначает для нас только героический в смысле полнейшего посвящения жизни религиозно прочувствованной идее. Ни на дюйм интеллектуальный экстаз отрекшегося от мира богоубийцы из Силье-Марины или потрясающая нетребовательность амстердамского шлифовальщика алмазов не представляется нам менее значительным, чем экстаз бичующих себя фанатиков; даже по ту сторону чудес, при пишущей машинке и электрическом освещении, посреди наших изрезанных улицами, залитых светом, наводненных людьми городов еще и сегодня встречается духовная святость, но нам уже не нужно этих чудесных и редких людей рассматривать как божественно-непогрешимых, напротив того, мы любим этих великодушных искусителей, этих грозно искушенных, как раз в их кризисах, в их борьбе и глубже всего именно в их погрешимости. Ибо наше поколение хочет почитать своих святых не как посланных Богом из небесных далей, а как самых земных среди людей.

Поэтому нас задевает в грандиозной попытке Толстого дать пример собственной жизнью — его колебание, и оказавшееся по-человечески несостоятельным осуществление этой попытки волнует нас больше, чем волновала бы его святость. Нис

incipit tragoedia! Когда Толстой берется за героическую задачу и пробует от существующих общепринятых форм жизни перейти к тем, которые диктует ему совесть, его жизнь становится трагическим зрелищем, более трагическим, чем все, свидетелями которых мы были со времени возмущения и гибели Фридриха Ницше. Ибо такой насильственный отказ от всех обычных отношений с семьей, дворянством, от собственности должен вызвать разрыв тысячи нитей нервных сплетений, нанести болезненные раны себе и близким. Но Толстой совершенно не боится боли, напротив того, как настоящий русский и, следовательно, экстремист, он жаждет истинных мучений, как наглядного доказательства своей искренности. Он давно устал от благополучия своего существования; плоское семейное счастье, слава, которую ему доставили его сочинения, благоговение ближних претит ему — бессознательно тоскует в нем творец по более напряженной, более разнообразной судьбе, по более глубокому слиянию с первобытными силами человечества, по бедности, нужде и страданиям, творческий смысл которых познал он впервые в период своего кризиса.

Чтобы апостольски доказать чистоту своего учения о смирении, он хотел бы вести жизнь самого последнего человека, лишенного крова, денег, семьи, грязного, вшивого, презренного, преследуемого государством, отлученного от церкви. Он хотел бы собственной плотью и собственным мозгом пережить то, что он изображал в своих книгах как самую важную и единственную обогащающую душу форму истинного человека, лишенного родины и собственности, как осенний лист, гонимого дуновением судьбы. Толстой (тут великий художник-история снова строит одну из своих гениальных и трагических антитез), собственно говоря, требует себе по внутреннему побуждению ту судьбу, которая уделена его антиподу Достоевскому против его воли. Ибо Достоевский испытывает всем нам видимые страдания, жестокости, проявления ненависти судьбы, которые Толстой из педагогического принципа, из жажды мученичества хотел бы заставить себя испытать. К Достоевскому, как рубаха Несуса, прилипла настоящая мучительная,

жгучая, лишаящая радости бедность; безродный, он скитается по всем странам земли, болезнь разбивает его тело, солдаты царя привязывают его к смертному столбу и бросают его в сибирскую тюрьму; все, что Толстой хотел бы пережить для демонстрации своего учения, как мученик этого учения, щедро дано в удел Достоевскому, в то время как на долю Толстого, жаждущего внешних, видимых страданий, не выпадает жребий преследований и бедности.

Никогда не удастся Толстому дать убеждающее мир подтверждение и наглядное доказательство стремления к страданиям. Повсюду ироническая и насмешливая судьба закрывает ему дорогу к мученичеству. Он хотел бы быть бедным, подарить свое состояние человечеству, никогда больше не получать денег за свои произведения, но семья ему не разрешает быть бедным; против его воли большое состояние непрерывно растет в руках его родных. Он хотел бы быть одиноким; но слава наводняет его дом репортерами и любопытными. Он хотел бы, чтоб его презирали, но чем больше он себя срамит и унижает, с ненавистью умаляя достоинство своих трудов и подозревая свою искренность, тем благоговейнее льнут к нему люди. Он хотел бы вести в безвестности жизнь мужика в низких, дымных шалашах или богомольцем-нищим бродить по дорогам, — но семья окружает его заботами и к вящему его мучению вдвигает даже в его комнату все удобства техники, которые он публично порицает. Он хотел бы испытать заключение и бичевание: «мне совестно жить на свободе», — но начальство мягко отводит его в сторону и ограничивается наказанием его приверженцев и ссылкой их в Сибирь. Он прибегает к крайности, оскорбляет даже царя, чтобы быть, наконец, наказанным, сосланным, осужденным, чтобы, наконец, когда-нибудь быть привлеченным к ответу за свои убеждения; но Николай II отвечает поддерживающему обвинение министру: «Я прошу не трогать Льва Толстого, я не намерен сделать из него мученика».

Этим именно мучеником своих убеждений хотел Толстой стать в последние годы, и как раз этого ему не разрешает судьба; да, она учреждает злую опеку над этим жаждущим

мученичества человеком, уберегая его от несчастья. Как неистовый, как сумасшедший в своей гуттаперчевой камере, мечется он в незримой тюрьме своей славы; он оплевывает собственное имя, он делает ужасные гримасы государству, церкви и всем могущественным, — но его вежливо выслушивают, держа шляпу в руках, и оберегают его как знатного и неопасного безумца. Никогда ему не удастся наглядный поступок, окончательное доказательство, показное мученичество. Между стремлением к распятию и осуществлением его дьявол поставил славу, которая отражает все удары судьбы и не дает страданиям приблизиться к нему.

Но почему, — нетерпеливо спрашивают с недоверием все его приверженцы и с насмешкой его противники, — почему Лев Толстой не порывает решительным волевым усилием этого неприятного противоречия? Почему он не выметает из дому репортеров и фотографов, почему он не настаивает на исполнении своей воли, а всегда уступает воле окружающих его, которые, совершенно пренебрегая его требованиями, считают богатство и уют высшими благами? Зачем? Почему он не следует, наконец, определенно и ясно велениям своей совести?

Толстой сам никогда не ответил людям на этот ужасный вопрос и никогда не извинился перед ними; напротив того, никто из досужих болтунов, грязными пальцами указывавших на ясное как день противоречие между стремлением и проведением в жизнь, не осуждал эту половинчатость действий или, вернее, бездействия, этого *laisser-faire* и уступчивости, резче, чем он сам. В 1908 году он пишет в своем дневнике: «Если бы я слышал про себя со стороны, — про человека, живущего в роскоши, отбирающего все, что может, у крестьян, сажающего их в острог и исповедующего христианство, и дающего пяточки, и для всех своих гнусных дел прячущегося за милой женой — я бы не усомнился назвать его мерзавцем. А это-то самое и нужно мне, чтобы мне освободиться от славы людской и жить для души».

Нет, Льву Толстому никто не должен был разъяснять его моральных противоречий, он сам ежедневно терзал ими свою

душу. Если он в дневник, в свою совесть, вонзает вопрос, словно раскаленное железо: «Скажи, Лев Толстой, живешь ли ты по правилам своего учения?» — озлобленное отчаяние отвечает: «Нет, я умираю от стыда, я виновен и заслуживаю презрения». Он отдавал себе полный отчет в том, что его исповедание логически и этически требовало единственной формы жизни: оставить свой дом, отказаться от дворянского титула, бросить свое искусство и паломником бродить по дорогам России. До этого самого необходимого и единственно убедительного решения проповедник никогда не мог подняться. Но этот секрет его последней слабости, эта неспособность к принципиальному радикализму мне представляется последней красотой Толстого. Ибо совершенство возможно только по ту сторону человеческого; каждый святой, даже апостол кротости, должен уметь быть твердым, он должен поставить ученикам жестокое требование оставить отца и мать, жену и детей во имя святости.

Последовательная, совершенная жизнь осуществима лишь в безвоздушной отделенной индивидуальности, — но не индивидуальности, с кем-либо объединенной и соединенной; поэтому шаги святого всегда направлены в пустыню как в единственно подходящее для него жилище и убежище. Так должен был и Толстой, если он хотел с полной последовательностью провести в жизнь свое учение, отлучиться не только от церкви и государства, но и от тесного, уютного и цепкого семейного круга; тридцать лет не может набраться сил для такого грубого, жестокого акта этот слишком человеческий святой. Дважды он уходил, дважды возвращался, ибо мысль, что жена могла бы наложить на себя руки, подрывает в последнюю минуту его волю; он не мог решиться — и в этом его духовная вина и его земная человеческая красота! — пожертвовать даже одним человеком во имя своей абстрактной идеи. Раздору с детьми и самоубийству жены он, вздыхая, предпочитает гнетущий кров, ставшую лишь физической общность; в полном отчаянии он уступает своей семье в решительных вопросах, — таких, как вопрос о завещании и продаже книг, и предпочитает страдать, чем причинять страдания другим; он в горестном смирении

соглашается променять участь стойкого, как скала, святого на участь слабого человека.

Итак, он публично начинает обвинять себя — и только себя — в недостатке решимости и в половинчатости. Он знает, каждый мальчишка может издеваться над ним, каждый искренний усомниться в нем, каждым из его приверженцев судить его, но это — и главным образом это — становится мученическим деянием Толстого во все эти мрачные годы, когда он с крепко сжатыми устами, не оправдываясь, выслушивает обвинения в двойственности. «Пускай думают дурно, — иногда это нужно, только бы поручение было исполнено», — записывает он, потрясенный, в свой дневник в 1898 году, и медленно он начинает познавать особый смысл своего испытания, познавать, что это мученичество без торжества, эти страдания без противления и оправданий стали более жестокими и тяжкими, чем было бы мученичество показное, театральное, которого он жаждал годами. «Я часто желал пострадать, желал гонения. Это значит, что я был ленив и не хотел работать, а чтобы другие за меня работали, мучая меня, а мне только терпеть». Самый нетерпеливый из всех людей, который охотно одним прыжком прыгнул бы в мучения и в непомерное раскаяние, дал бы себя сжечь у жертвенного столба своих убеждений, познает, что на него, как более жестокое испытание, возложено горение на медленно тлеющем огне: неуважение непосвященных и вечное беспокойство собственной сознающей совести. Ибо какие беспрерывные угрызения совести для такого бдительного и правдивого самонаблюдателя, — каждый день снова сознавать, что он, суетный человек, Лев Толстой, в своем собственном доме и в жизни не в состоянии соблюсти этических требований, которые апостол Лев Толстой предъявляет к миллионам людей, и что он, невзирая на это, познав свою немочь, не перестает дальше и дальше проповедовать свое учение! Что он, который давно уже не верит себе самому, от других все еще требует веры и покорности. Здесь рана нарывает, это гнойное место в совести Толстого.

Он знает, что миссия, которую он взял на себя, давно стала

ролью, зрелищем смирения, все снова разыгрываемым перед миром; с одной стороны, у него не хватает сил исполнить свое собственное жертвоприношение, с другой стороны — нет сил бросить свои религиозные требования: он пребывает в роли апостола-исправителя мира и все же в душе сознает свою неспособность стать истинным примером своего учения. Самый искренний в своих намерениях, Толстой остается неискренним в поступках, неискренним перед собой, — полусвятым, искусственным христианином. Глупы и узколобы его противники, которые на это патетическое покаяние смотрят просто как на тщеславную комедию; глупы и фанатические толстовцы, которые этого колеблющегося и слабовольного человека хотят насильно причислить к лику святых; именно в неразстворимой смеси сознательного стремления к честности и бессознательной склонности к театральному — роковая роль Толстого.

Он неискренен в своей честности и честен по отношению к своему тщеславию, он исповедуется перед зеркалом, кается перед объективом фотографа и проповедует перед записными книжками репортеров; но наедине, сам с собой, в диалоге дневника и мыслей он бичует свои недостатки с истинно героической жестокостью. Невольно разыгрывающий комедию, соблазненный славолубием, неумолимо преследующий себя перед публикой, он становится строжайшим судьей всякой неправды, когда наедине заглядывает в свою душу: себе Толстой никогда не лгал и, сознавая свое позерство и свою половинчатость лучше, чем его озлобленнейшие враги, превратил свою жизнь в личную трагедию.

Кто хочет знать или только хотя бы почувствовать, до какой степени самоотвращения и самобичевания доходила эта правдолюбивая измученная душа, тот пусть почитает рассказ, найденный в его наследстве, «Отца Сергия». Так же, как святая Тереза, испуганная своими видениями, робко спрашивает своего духовного отца, действительно ли эти обещания исходят от Бога, или, быть может, они ниспосланы его врагом — дьяволом, чтобы испытать ее надменность, так и Толстой спрашивает себя в этом рассказе, действительно ли его учение и деяния

божественного, другими словами, этического и спасительного, происхождения, — или они исходят от дьявола тщеславия, от славолубия и наслаждения фимиамом. Под очень прозрачным покровом он описывает в лице этого святого собственное положение в Ясной Поляне: как к нему паломничают верующие, любопытные, восторженные, так к тому чудотворцу-монаху тянутся сотни кающихся поклонников. Но, подобно самому Толстому, этот двойник его совести спрашивает себя среди суеты, поднятой его приверженцами, в самом ли деле он, кому все поклоняются, как святому, живет в святости; он ставит себе вопрос: «Насколько то, что я делаю, для Бога и насколько для людей?» И, укоряя себя, отвечает Толстой устами отца Сергия:

«Он чувствовал в глубине души, что дьявол подменил всю его деятельность для Бога — деятельностью для людей. Он чувствовал это потому, что, как прежде ему тяжело было, когда его отрывали от его уединения, так теперь ему тяжело было его уединение. Он тяготился посетителями, уставал от них, но в глубине души он радовался им, радовался тем восхвалениям, которыми окружали его... Все меньше и меньше оставалось времени для духовного укрепления и молитвы. Иногда, в светлые минуты, он думал так, что он стал подобен месту, где прежде был ключ. «Был слабый ключ воды живой, который тихо тек из меня, — через меня... но с тех пор не успевает набраться вода, как жаждущие приходят, теснятся, отбивая друг друга. И они затолкли все, осталась одна грязь...» Не было у него теперь любви, не было и смирения, не было и чистоты».

Можно ли придумать более ужасный приговор, чем это резкое самоотрицание, которое навсегда должно положить конец всякому поклонению? Этим признанием Толстой уничтожает для хрестоматии штампованное клише святого из Ясной Поляны; с какой силой выступает здесь истерзанная совесть слабого, нестойкого человека, который сваливается под тяжестью ответственности, взятой им на себя, вместо ореола святого. Поклонение целой страны, льстивые восторги его учеников, еже-

дневные паломнические шествия, все эти пьянящие и шумные одобрения не могли обмануть его недоверчивый дух, его неподкупную совесть в вопросе о театральности этого литературного искусственного христианства, в вопросе о затаенном в уничтожении славолюбии, в вопросе о неискренности, приставшей за долгие годы к постоянной исповеди *coram publico*, и о патетической евангельской позе, примешавшейся к первоначально чистому стремлению к религиозности.

И ненасытный в своей жестокости к самому себе, Толстой при этом символическом самоанализе начинает сомневаться в честности первоначального стремления. Совсем робко продолжает он допрос устами своего двойника: «Но ведь была доля искреннего желания служить Богу?» И снова ответ замыкает все двери к святости: «Да, но все это было загажено, заросло людской славой. Нет Бога для того, кто жил, как я, для славы людской». Он потерял веру из-за бесконечных разговоров о вере. Театральная поза, принятая перед собравшейся литературой Европы, патетические исповеди вместо молчаливого смирения, это — так чувствует и признает в зорком самонаблюдении Толстой — сделало невозможным осуществление святости. Только когда отец Сергей откажется от мира, от славы, от тщеславия, его совесть приблизится к Богу; и это глубоко прочувствованные слова, которые он в конце своих скитаний вкладывает в его уста, полное тоски изречение: «Буду искать Его».

«Буду искать Его», — это слово содержит искреннее желание Толстого, его настоящую судьбу: не найти Бога, а искать Его. Он не был святым, не был спасающим мир пророком, даже не всегда — честным строителем своей жизни: величественный в иные мгновения, неискренний и тщеславный — в другие! Человек со слабостями, недостатками и раздвоенностью, но всегда трагически знающий свои ошибки и с беспримерной страстностью стремящийся к совершенству. Не святой, но стремящийся к святости, не верующий, но с титанической волей к вере, не божественный образ, покорно и удовлетворенно покоящийся в себе, а символ человечества, которое никогда не

может самодовольно отдыхать на своем пути, а неустанно, каждый час, каждый день, борется за более чистое существование.

ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ ТОЛСТОГО

В семье мне грустно, потому что я не могу разделить чувств моих близких. Все, что их радует, — экзамены, успехи в свете, покупки, — все это я считаю несчастьем и злом для них самих, но не смею этого высказать. Я, правда, осмеливаюсь и говорю, но никто моих слов не понимает.

Дневник

Вот как я себе рисую, благодаря свидетельствам его друзей и по его собственным словам, один из тысячи дней жизни Льва Толстого.

Раннее утро: сон медленно слетает с век старца, он пробуждается, оглядывается, — утренняя заря уже окрасила стекла окон, настает день.

Из-за сумеречной завесы выступают мысли и подымается первое удивленно-блаженное чувство: «я еще жив». Вчера вечером, как еженощно, он лег в свою постель в покорной готовности больше не вставать. При мигающем свете лампы он в своем дневнике перед датой грядущего дня поставил три буквы: «е. б. ж.» — если буду жив; и, о чудо, еще раз ему оказана милость бытия, — он жив, он еще дышит, он здоров. Как приветствие Божие, он глубоко дышащей грудью впитывает в себя воздух и жадными серыми глазами — свет: какое чудо, он еще жив, он здоров. Проникнутый благодарностью, он встает, этот старец, и обнажается; обливание ледяной водой румянит хорошо сохранившееся тело. С наслаждением гимнаста он сгибает и разгибает туловище, пока не начинает болеть грудь и хрустеть суставы. Потом накидывает рубаху и домашнюю блузу на докрасна растертую кожу, распахивает окна и собственноручно подметает комнату; бросает поленья в быстро, с тре-

ском разгорающийся огонь, — свой собственный слуга, свой собственный работник.

Он спускается в столовую к завтраку. Софья Андреевна, дочери, секретарь, несколько друзей уже на месте, самовар кипит. На подносе секретарь приносит ему пеструю грудку писем, журналов, книг, заклеенных марками четырех сторон света. Недовольным взглядом Толстой окидывает бумажную башню. «Фимиам и тягота, — думает он про себя, — во всяком случае, смятение! Надо бы больше оставаться одному и с Богом, не разыгрывать из себя постоянно пуп вселенной, отстранить от себя все, что беспокоит, смущает, что делает тщеславным, славолюбивым и неискренним. Было бы лучше все бросить в печку, чтобы не размениваться, не растрачивать свои силы, не смущать высокомерием душу». Но любопытство сильнее; быстрыми хрустящими пальцами он перебирает пестрое многообразие скопившихся здесь просьб, обвинений, выпрашиваний милостыни, деловых предложений, извещений о посещениях и пустой болтовни. Брамин из Индии пишет о том, что он неверно понял Будду, преступник рассказывает историю своей жизни и просит совета, молодые люди обращаются к нему в своем смятении, нищие — в отчаянии, все смиренно прибегают к нему, как к единственному, говорят они, кто бы мог им помочь, — как к совести мира. Морщины на лбу выступают резче. «Кому я могу помочь, — думает он, — я, не умеющий помочь себе; я блуждаю ото дня ко дню, ищу нового смысла, чтобы вынести эту непостижимую жизнь, и хвастливо болтаю об истине, чтобы обмануть себя. Удивительно ли, что они все приходят и голосят: Лев Николаевич, научи нас жить! Ложь все, что я делаю, — хвастовство и обман, в действительности я давно исчерпан, ибо я растрачиваю себя, отдаюсь тысячам и тысячам людей, вместо того чтобы замкнуться в себе и прислушиваться в тиши к действительно душевному, искреннему слову. Но я не должен обмануть доверие людей ко мне, я должен им ответить». На одном письме он останавливается дольше, прочитывает его вторично, потом в третий раз: письмо студента, который злобно издевается над тем, что он проповедует

воду и пьет вино. Пора ему, наконец, покинуть свой дом, отдать свою собственность мужикам и отправиться в паломничество по божьим дорогам. «Он прав, — думает Толстой, — он сказал то, что говорит мне совесть. Но как ему растолковать то, что я не могу объяснить себе, как защищаться, когда он меня обвиняет во имя мое». Это письмо он берет с собой, чтобы сейчас же ответить на него; он встает, отправляется в свою рабочую комнату. У дверей его останавливает секретарь и напоминает, что к обеду придет корреспондент «Таймса», чтобы проинтервьюировать его; желает ли он его принять? Лицо Толстого омрачается: «Вечно это приставание! Что им нужно от меня: только заглядывать в мою жизнь. То, что я говорю, написано в моих сочинениях; каждый грамотный поймет их». Но тщеславная слабость быстро заставляет его согласиться: «Пусть приходит, но только на полчаса». И не успел он перешагнуть порог своей рабочей комнаты, как совесть возвышает свой ворчливый голос: «Зачем я опять уступил; все еще, с седыми волосами, на шаг от смерти, я продолжаю быть тщеславным и тешусь людской болтовней; всякий раз я уступаю их приставаниям. Когда же я наконец научусь прятаться и молчать! Помоги мне, Господи, помоги же мне!»

Наконец он один в своей рабочей комнате. На голых стенах висят коса, грабли и топор, на хорошо начищенном полу перед неуклюжим столом стоит тяжелое кресло, больше похожее на пень, чем на место для отдыха; келья — полумонашеская, полукрестьянская. С предыдущего дня лежит на столе неоконченная статья «Мысли о жизни». Он перечитывает свои слова, вычеркивает, меняет, начинает снова. Беспреданно останавливается рука, быстро выводя чрезмерно большие, детские буквы. «Я слишком легкомыслен, я слишком нетерпелив. Как я могу писать о Боге, если мне самому неясно это понятие, если во мне нет уверенности и мысли колеблются изо дня в день? Как мне ясно и понятно для каждого выразить свои мысли, когда я говорю о Боге невыразимом, и о жизни, вечно непостижимой? То, что я предпринял, превосходит мои силы. Боже, как был я силен, когда писал художественные произведения,

рисовал жизнь такой, какой ее дал нам Бог, а не такой, какой я, старый, потерявший устои, ищущий человек, хотел бы ее видеть. Я не святой, нет, и не должен учить людей; я только один из тех, кого Бог наградил более острым зрением и лучшими органами чувств, чем тысячи других, чтобы прославлять его мир. И может быть, я был искреннее и лучше тогда, когда я служил только искусству, которое я так безумно теперь проклинаяю». Он останавливается и невольно оглядывается, точно его могут подслушать, потом вынимает из потайного ящика рассказы, над которыми он теперь работает тайком (ибо публично он осмел и унизил искусство как «излишество» и «грех»). Вот они перед ним, эти тайно написанные, скрытые от людей произведения: «Хаджи-Мурат», «Фальшивый купон»; он начинает их перелистывать и прочитывает несколько страниц. Глаза снова начинают теплиться. «Да, это хорошо написано, — он чувствует это, — хорошо. Меня призвал Бог, чтобы я описывал его мир, а не отгадывал его мысли. Как прекрасно искусство, как чисто творчество и как мучительны мысли! Как я был счастлив, пока писал эти страницы; у меня самого текли слезы из глаз, когда я описывал весеннее утро, и еще ночью пришла Софья Андреевна со сверкающими глазами и обняла меня; переписывая, она остановилась и благодарила меня, и мы были счастливы всю ночь, всю жизнь. Но для меня нет возврата, я не могу разочаровывать людей, я должен продолжать свой путь, потому что они ждут от меня помощи в своей нужде. Я не должен останавливаться, дни мои сочтены». Он вздыхает и снова сует дорогие листочки в потайной ящик; как по заказу, молчаливо, сердито он продолжает писать теоретический трактат; лоб изборожден глубокими морщинами, подбородок опущен так низко, что белая борода, изредка, с шорохом, задевает бумагу.

Наконец полдень! Достаточно работать сегодня! Прочь перо: он вскакивает и мелкими, семенящими шажками быстро спускается с лестницы. Там у конюха уже наготове Делир, его любимая кобыла. Одним прыжком вскакивает он в седло, и сразу выпрямляется сгорбившаяся спина, он кажется выше,

сильнее, моложе, живее, когда, выпрямившись, свободно и легко, как казак, мчится в лес на тонконогой лошади. Белая борода разливается, развеивается в бушующем ветре, широко и сладострастно раскрываются губы, чтобы глубже вдохнуть испарения полей, чтобы ощутить живую жизнь в стареющем теле, и сладострастие взбудораженной крови тепло и сладко журчит в венах, пробегая до кончиков пальцев и звенящей раковины уха. Въезжая в молодой лес, он вдруг останавливается, чтобы еще и еще раз взглянуть, как блестят распустившиеся на весеннем солнце липкие почки и тянется к небу тонкая, дрожащая, нежная, как кружево, зелень. Острым толчком в бок лошади он гонит ее к березкам, его соколиный глаз взволнованно следит, как один за другим, вперед и назад, микроскопическими бусинками, шествуют муравьи вдоль коры, — одни уже сытые, с раздувшимся брюшком, другие еще обхватывающие своими крохотными филигранными щупальцами древесные крошки. Очарованный, этот седовласый старец несколько мгновений стоит неподвижно и смотрит на малое в великом, и горячие слезы струятся по бороде. Как это чудесно, — больше семидесяти лет все повторяющееся чудо, — это божье отражение природы, одновременно молчаливое и говорящее, вечно изобилующее новыми картинами, вечно живое и в своем молчании более мудрое, чем все мысли и вопросы. Нетерпеливо фыркает под ним лошадь. Толстой, пробужденный от своей мечтательной задумчивости, крепко сжимает бока кобылы, чтобы в вихре ветра ощутить не только малое и нежное, но и бури и страстность чувств. И он скачет, скачет и скачет, счастливый и беззаботный, скачет двадцать верст, пока блестящий пот не покроет белой пеной бока кобылы. Тогда он спокойной рысью направляется к дому. Его взор ясен, его душа легка, он счастлив и радостен, — этот старый, бесконечно старый человек, — как мальчик, в этих лесах, на этой за семьдесят лет ставшей родной дороге.

Но вдруг, когда он подъезжает к деревне, омрачается освещенное солнцем лицо. Взором знатока он осмотрел поля: вот посреди его имения лежит плохо возделанное, запущенное

поле, забор сгнил, и половина его, вероятно, обращена в топливо, земля не вспахана. Гневно он приближается, чтобы потребовать объяснений. В дверях появляется босоногая, со свисающими прядями волос и опущенными глазами, грязная женщина: двое-трое полунагих малюток вертятся вокруг ее оборванного платья, и позади — в низкой, дымной избе питит четвертый ребенок. Насупившись, он спрашивает, почему запущено поле. Женщина сквозь слезы выбрасывает несвязные слова, — вот уже шесть недель как ее муж в тюрьме, он посажен за кражу дров. Как ей заботиться о поле без него, сильного, прилежного; и украл-то он от голода, ведь барин знает о плохой жатве, высоких налогах и аренде. Дети, глядя на плачущую мать, тоже начинают реветь; поспешно, чтобы прервать дальнейшие объяснения, Толстой опускает руку в карман и подает ей деньги. И он скачет дальше, словно беглец.

Его лицо омрачилось, его радость улетучилась. «Вот что происходит на моей — нет, подаренной мной жене и детям — земле. Но почему же я, соучастник и виновник, всегда трусливо прячусь за спину жены? Простым лицемерием перед миром — ничем иным — была эта передача состояния; ибо как я сам насыщался барщинным трудом крестьян, так теперь мои родные высасывают деньги из этих нищих. Я все знаю: каждый кирпич нового дома, в котором я живу, сделан из пота этих крепостных, это их окаменевшая плоть, их работа. Как я смел подарить своей жене и своим детям то, что не принадлежало мне, землю тех крестьян, которые ее пашут и обрабатывают? Стыдиться я должен перед Богом, во имя которого я, Лев Толстой, проповедую людям справедливость, я, в окна которого ежедневно заглядывает чужая нищета». Гнев разливается по его лицу, и, мрачно проезжая мимо каменных колонн, он возвращается в свою барскую резиденцию. Лакей в ливрее и конюх спешат к нему, чтобы помочь сойти с лошади. «Мои рабы», — злобно насмехается в душе бичующий стыд.

В широкой столовой уже ждет его длинный белоснежный накрытый стол, на нем сверкает серебро; графиня, дочери, сыновья, секретарь, домашний врач, француженка, англичан-

ка, несколько соседей, революционер-студент в качестве домашнего учителя и этот английский репортер; разношерстное собрание людей весело болтает. Но при его появлении, охваченные благоговением, они тотчас же умолкают. Серьезно, аристократически вежливо Толстой приветствует гостей и молча садится за стол. Когда лакей в ливрее подает ему изысканные вегетарианские блюда, выращенную за границей, нежно приготовленную спаржу, — он вспоминает о женщине в рваном платье, крестьянке, которой он дал десять копеек. Он угрюмо смотрит ушедшим в себя взором. «Если бы они могли понять, что я не могу и не хочу жить окруженным лакеями, иметь к обеду четыре блюда, поднесенных на серебре, пользоваться всеми излишествами, в то время как у других нет самого необходимого; ведь все они знают, что я требую от них только того, чтобы они отказались от роскоши, от этого постыдного греха по отношению к Богу желанному равенству между людьми. Но она, моя жена, которая должна бы разделять мои мысли, как мое ложе и мою жизнь, она является врагом моих мыслей. Мельничный камень на моей шее, бремя совести, которое меня втягивает в фальшивую, лживую жизнь; давно мне следовало разрезать веревки, которыми они меня связывают. Что у меня общего с ними? Они мне мешают в моей жизни, и я мешаю им в их жизни. Я здесь лишний, в тягость себе и им».

Невольно он обращает на Софью Андреевну, свою жену, враждебный, гневный взгляд. Боже мой, как она постарела, как поседела, ее лоб испещрен морщинами, и горе наложило свою печать на ее запавший рот. И мягкая волна врывается вдруг в сердце старца: «Боже мой, как она стала мрачна, как печальна, она, молодая, веселая, невинная девушка, с которой я соединил свою жизнь. Полвека, сорок, сорок пять лет живем мы вместе, девушкой я ее взял, уже будучи полуотжившим человеком, и она принесла мне тринадцать детей. Она мне помогала в моих работах, вскормила моих детей, и что я сделал из нее? Отчаявшуюся, почти сумасшедшую, раздражительную женщину, от которой приходится прятать снотворные средства, чтобы она не погубила свою жизнь, — столь несчастной я

ее сделал. И вот мои сыновья, — я знаю, они меня не любят, и вот мои дочери, которым я отравляю их молодость, и вот секретари, которые записывают каждое мое слово и подбирают его, как воробьи лошадиный помет: они уже заготовили в ящике бальзам и ладан, чтобы сохранить для музея мою мумию. И там этот дурак-англичанин ждет с записной книжкой, чтобы записать мое объяснение «жизни»; грех перед Богом и истиной — этот стол, этот дом — отвратительно откровенный и нечистый, и я, лжец, уютно сижу в этом аду, наслаждаясь теплом и удобствами, вместо того чтобы вскочить и пойти своей дорогой. Лучше было бы для меня и для них, если бы я был уже мертв; я живу слишком долго и несправедно: давно уже настало мое время».

Опять подносит ему лакей новое блюдо, — замороженные сладкие фрукты со взбитыми сливками; гневным движением он отодвигает серебряный поднос. «Не хорошо приготовлено? — испуганно спрашивает Софья Андреевна. — Оно слишком тяжело для тебя?»

Но Толстой с горечью отвечает: «Вот это и тяжело для меня, что оно слишком хорошо».

Сыновья смотрят с досадой, жена с удивлением, репортер с напряжением: ему хочется запомнить этот афоризм.

Наконец обед окончен, они встают и переходят в гостиную, Толстой спорит с молодым революционером, который, несмотря на свое благоговение, смело и живо возражает ему. Глаза Толстого сверкают, он говорит бурно, отрывисто, почти кричит; он все еще спорит с неистовой страстностью, — как прежде охотился и играл в теннис. Вдруг он уличил себя в несдержанности, принуждает себя к смирению и волевым усилием понижает голос: «Но, может быть, я ошибаюсь, Бог рассеял свои мысли между людьми, и никто не знает, его ли собственные — те, которые он высказывает». И чтобы отвлечься от этой темы, он обращается к остальным: «Не пройтись ли нам по парку?» Но перед этим еще маленькая задержка. Под древним вязом, против лестницы дома, у «дерева бедноты», ждут Толстого посетители из народа, нищие и сектанты, «темные люди». За

двадцать верст они притащились, чтобы получить совет или немного денег. Загорелые, усталые, в запыленных сапогах, они ждут его. Когда «господин», «барин» приближается, некоторые кланяются по русскому обычаю до земли. Быстрым, легким шагом приближается к ним Толстой: «Есть у вас вопросы?» — «Я хотел спросить, ваше сиятельство...» — «Я не сиятельство, никто не сиятельство, кроме Бога», — накидывается на него Толстой. Мужичок испуганно вертит шапку, наконец начинает многоречиво задавать вопросы: в самом ли деле теперь земля будет принадлежать мужикам, и когда он получит свой кусок земли? Толстой отвечает нетерпеливо, все неясное озлобляет его. Очередь за лесником, у которого накопился ряд религиозных вопросов. Умеет ли он читать, спрашивает Толстой, и, получив утвердительный ответ, велит принести трактат «Так что же нам делать?», вручает его мужику и отпускает его. Подходят нищие один за другим. Наскоро Толстой, уже потерявший терпенье, отделяется от них, раздав им по пятак. Когда он поворачивается, он замечает, что журналист его сфотографировал. Снова его лицо омрачается: «Так они снимают меня, Толстого, — доброго с мужиками, подающего милостыню, благородного, помогающего ближним человека. Но кто сумел бы заглянуть мне в душу, тот бы узнал, что я никогда не был добрым, а только стремился научиться доброте. В действительности, меня интересовало только мое «я». Я никогда не подавал помощи, за всю свою жизнь я не роздал бедным и половины того, что я в былое время в Москве в одну ночь проигрывал в карты. Никогда мне не приходило в голову послать Достоевскому, когда я знал, что он голодает, те двести рублей, которые могли бы его спасти на месяц или, может быть, навсегда. И все же я терплю, чтобы меня хвалили и возносили, как самого благородного человека, хотя и знаю в душе, что я стою лишь у начала начал».

Его тянет прогуляться по парку, и проворный старичок с развевающейся бородой бежит с такой нетерпеливой быстротой, что остальные не успевают за ним. Нет, больше не надо разговаривать: хочется ощутить мускулы, ловкость связок, не-

много полюбоваться игрой дочерей в теннис, невинностью проворных телодвижений. Заинтересованный, он следит за каждым движением и с гордой улыбкой приветствует каждый хороший удар; его мрачность рассеивается, он болтает, смеется, с просветленными, спокойными мыслями бродит по мягкому благоухающему мху. Но потом он снова возвращается в рабочую комнату, — немного почитать, немного отдохнуть: иногда он чувствует себя очень усталым, и ноги тяжелеют. Лежа в одиночестве с закрытыми глазами на клеенчатом диване, ощущая усталость и старость, он думает про себя: «Так хорошо: где это ужасное время, когда я еще боялся смерти, как призрака, хотел спрятаться, отнекивался от нее. Теперь нет больше страха во мне, да, я чувствую себя хорошо в близости к ней». Он прислоняется к спинке, его думы витают в тиши. Иногда он карандашом быстро записывает слово, потом долго и серьезно глядит перед собой. Прекрасно лицо этого усталого старца, отражающее думы и мечты, когда он находится наедине с собой и со своими мыслями. Вечером он еще раз спускается в круг разговоров: да, работа закончена. Гольденвейзер, друг и пианист, просит позволения сыграть на рояле. «Пожалуйста, пожалуйста!» Толстой прислонился к роялю, руками закрывая глаза, чтобы никто не заметил, как захватывает его магия сливающихся звуков. Он внемлет, глубоко дыша и опустив веки. Чудесно: музыка, так громко порицаемая им, летит ему навстречу, чудесно взбудораживая все добрые чувства; она после тяжелых размышлений делает душу снисходительной и хорошей. «Как я смел его бранить, это искусство? — думает он про себя. — Где же утешение, если не в нем? Все мысли во мраке, все знания в смятении, — и где же яснее ощутить сущность Бога, чем в образном слове и творении художника? Вы мне братья — Бетховен и Шопен, я чувствую ваши взоры в себе, и сердце человечества бьется во мне. Простите меня, братья, что я вас бранил».

Игра заканчивается звучным аккордом, все аплодируют, и Толстой, после небольшого замедления, — также. Все беспокойство заглохло в нем. С нежной улыбкой он входит в круг

собранных; веселье и спокойствие наконец овевают его; многообразный день, кажется, благополучно окончен.

Но еще раз, прежде чем лечь в постель, он входит в свою рабочую комнату. Прежде чем окончится день, Толстой предстанет перед собственным судом, он, как обычно, потребует от себя отчета за каждый час, как и за всю свою жизнь. Открытым лежит перед ним дневник: глаз совести смотрит на него с пустых листков, Толстой вспоминает каждый час текущего дня и вершит суд. Он вспоминает мужиков, по его вине возникшую нищету, мимо которой он проскакал, оказав единственную помощь маленькой жалкой монеткой. Он вспоминает, что был нетерпелив с бедными и злобно думал о жене. И все эти прегрешения он записывает в свою книгу, — книгу обвинений, — и жестоким карандашом вносит в нее приговор: «Снова был ленив, слаб душой. Сделал мало добра! Все еще я не научился любить людей вокруг себя, а не человечество. Помогите мне, Господи, помогите мне!»

Потом дата следующего дня и таинственное «е. б. ж.», если буду жив. Теперь дело закончено, день снова прожит до конца. С тяжело опущенными плечами проходит старик в соседнюю комнату, снимает блузу, неуклюжие сапоги, опускает тело, тяжелое тело на кровать и думает, как всегда, прежде всего о смерти. Еще витают беспокойно мысли — пестрые бабочки над его челом, но постепенно они исчезают, как мотыльки в лесу, погружаясь в густеющий сумрак. Сон спускается все ниже и ниже...

Но, чу! — он испуганно вскакивает — не шаги ли это? Да, он слышит шаги рядом, в рабочей комнате, тихие, крадущиеся шаги. Он быстро вскакивает, бесшумно, не одеваясь, и устремляет пылающий взор в скважину. Да, в соседней комнате свет, кто-то с лампой вошел и роется в письменном столе, перелистывает тайны дневника, чтобы прочесть слова беседы с его совестью. Софья Андреевна, его жена. И последнюю его тайну она подслушивает, даже с Богом не оставляет его наедине: повсюду, везде, в доме, в жизни, в душе он окружен людской алчностью и любопытством. Его руки дрожат от возмущения,

он берется за ручку дверей, чтобы распахнуть дверь, застать врасплох жену, предавшую его. Но в последнюю минуту он сдерживает свой гнев. «Может быть, и это мне ниспослано как испытание». И он плетется обратно на свое ложе, молча, не дыша, как в высохший колодец, заглядывая в себя. И так он еще долго лежит, бодрствуя, — он, Лев Николаевич Толстой, величайший и могущественнейший муж своей эпохи, преданный в собственном доме, истерзанный сомнениями и дрожащий от ледяного одиночества.

РЕШЕНИЕ И ПРОСВЕТЛЕНИЕ

Чтобы верить в бессмертие, надо
жить бессмертной жизнью здесь.

Дневник, 6 марта 1896

1900 год. В семидесятилетием возрасте Толстой переступил порог столетия. Еще бодрый умом, но вместе с тем уже легендарный образ, этот героический старец идет навстречу своему концу. Снисходительнее прежнего светится обрамленное снежной бородой лицо земного странника, и как прозрачный пергамент, испещрена многочисленными морщинами и рунами желтеющая кожа. Смиренная терпеливая улыбка чаще покоится на успокоенных устах, реже сдвигаются в гневе пушистые брови, мягче и просветленнее он в своих требованиях, этот старый гневный Адам. «Как добр он стал!» — удивляется родной брат, который всю жизнь знал его лишь вспыльчивым и неукротимым, и действительно, чрезмерная страстность отзвучала, он боролся до усталости, до усталости измучен; спокойнее стало дыхание души, она разрешает себе покой: новое сияние доброты освещает его лик в час последней вечерней зари. Это некогда столь мрачное зрелище стало трогательным: точно природа восемьдесят лет лишь затем так жестоко властвовала здесь, чтобы, наконец, в этом последнем оформлении раскрыть его настоящую красоту, огромное просветление и

всепрощающее величие старца. И в этом радостном освещении запечатлевает в своей памяти человечество внешний облик Толстого. Так поколения за поколениями благоговейно хранят в своих душах его серьезный, спокойный лик.

Лишь в старости, обычно умаляющей и дробящей образы героических людей, появляется на его омраченном лице действительное величие. Суровость стала величием, страстность — добротой и братским сочувствием. И действительно, лишь мира жаждет стареющий борец, «мира с Богом и людьми», мира со своим злейшим врагом, со смертью. Прошел, милостиво покинул его жуткий, панический, животный страх перед смертью; успокоенным взором, в полной готовности смотрит старец навстречу близкой тленности: «Я думаю: легко может случиться, что меня завтра уже не будет в живых, каждый день я стремлюсь подружиться с этой мыслью и все больше привыкаю к ней». И удивительно: с тех пор как этот судорожный страх перестал тревожить его, снова появляется стремление к художественному творчеству. Как Гете на склоне лет еще раз возвращается от развлечения наукой к своему «главному делу», так и Толстой, проповедник, моралист, в невероятном десятилетии — между семидесятым и восьмидесятым годами жизни — еще раз возвращается к долго находившемуся в пренебрежении искусству; еще раз подымается в новом столетии могущественнейший писатель столетия прошедшего, с таким же великолепием, как прежде. В смелом полете парящий над сводом своего существования старец вспоминает переживания казачьих лет и лепит из них подобную «Илиаде» поэму — «Хаджи-Мурат», — героическую легенду, бряцающую оружием и войной, рассказанную просто и величественно, как в дни его величайшего подъема.

Трагедия о «Живом трупе», мастерские рассказы «После бала», «Корней Васильев» и множество маленьких легенд доказывают возвращение и очищение художника от недовольства моралиста; никто не заподозрит в этих поздних произведениях морщинистую руку усталого старца, ибо, как льющееся в суровую вечность журчащее время, течет его проза, прозрач-

ная до последних душевных глубин: неподкупно и непоколебимо взвешивает серый взор старца всегда потрясающую судьбу человека. Судья бытия стал снова поэтом, и в этих чудесных старческих исповедях благоговейно склоняется перед непроницаемостью божественного когда-то возгордившийся учитель жизни; властное нетерпеливое любопытство к последним жизненным вопросам сменяется смиренным прислушиванием к все ближе журчащим волнам бесконечности. Он стал истинно мудрым, Лев Толстой, в последние годы своей жизни, и, еще не утомившийся, он неустанно, как мировой земледелец, обрабатывает — пока не выпадает перо из застывающих рук — неистощимое поле мыслей.

Ибо еще не дано отдохнуть неутомимому; ему суждено судьбой до крайних пределов бороться за истину. Последняя, самая священная работа ждет своего завершения; она относится уже не к жизни, а к его собственной близкой смерти; изобразить ее достойно и примерно будет последней жизненной задачей могучего творца, на нее он тратит все накопленные силы. Ни над одним из своих художественных произведений Толстой не работал так долго и страстно, ни одну проблему так основательно и кропотливо не обдумывал, как свою собственную смерть; как истинный и неудовлетворенный художник, он хочет это последнее и самое человеческое свое деяние передать человечеству чистым и безукоризненным.

Эта борьба за чистую, правдивую, достойную смерть становится решающей битвой в семидесятилетней войне мятежного человека за истину и вместе с тем битвой самоотверженной, — ибо она направлена против собственной крови. Еще одно дело осталось довершить, которого он со страхом, теперь лишь ясным для нас, все время избегал: это его окончательный и бесповоротный отказ от собственности. Подобно Кутузову, который избегал решительного боя, надеясь стратегическим отступлением победить страшного противника, Толстой все время боялся окончательных распоряжений по поводу своего состояния и спасался от совести в «мудрости непротивления». Каждая попытка заставить отказаться от права на его сочине-

ния и после его смерти всегда встречала самое ожесточенное сопротивление семьи; он был слишком слаб и воистину слишком человечен, чтобы оборвать его резким поступком; он удовлетворился тем, что годами не прикасался к деньгам и не пользовался своими доходами. Но он обвиняет сам себя: «В основе этого игнорирования лежало то, что я принципиально не признавал собственности и из ложного стыда перед людьми не заботился о своем имуществе, чтобы меня не могли обвинять в непоследовательности».

Все снова, после многократных бесплодных попыток, каждая из которых вызывала трагедию в тесном кругу семьи, он откладывает на неопределенное время ясное и обязывающее решение по поводу завещания. Но в 1908 году, на восьмидесятом году жизни, когда семья по случаю юбилея затрачивает большой капитал, чтобы выпустить в свет новое издание собрания его сочинений, открытому врагу собственности невозможно дальше бездействовать; на восьмидесятом году жизни Лев Толстой должен с открытым забралом вступить в решительный бой. Таким образом Ясная Поляна, освещенная вечерней зарей славы двух миров, место паломничества для всей России, становится за закрытыми дверями ареной борьбы Толстого со своей семьей, тем более ожесточенной и отвратительной, что речь идет о малом — о деньгах; даже самые пронзительные крики дневника не дают ясного понятия об ужасе этой борьбы. «Как тяжело освободиться от грешной собственности», — вздыхает он в эти дни (25 июля 1908), ибо в эту собственность половина семьи вцепилась цепкими когтями. Самые отвратительные сцены из бульварных романов — взломанные ящики, перерытые шкафы, подслушанные разговоры, попытки назначить опеку — чередуются с самыми трагическими моментами — с покушением на самоубийство жены и угрозами ухода Толстого. «Ад Ясной Поляны», как он выражается, открывает свои врата. Но именно в этих самых отчаянных мучениях Толстой, наконец, черпает самую отчаянную решимость.

Наконец, за несколько месяцев до смерти, он решается во имя чистоты и честности этой смерти покончить с двойствен-

ностью и неясностями, — оставить потомству завещание, в котором он бесповоротно передает свою духовную собственность человечеству. Нужна еще одна, последняя ложь, чтобы осуществить эту последнюю правду. Чувствуя себя дома под надзором, восьмидесятидвухлетний старец едет верхом, точно на обычную прогулку, в соседний лес, и там на пне дерева — это самый драматический момент нашего века — Толстой в присутствии трех свидетелей и нетерпеливо фыркающих лошадей подписывает, наконец, этот листок, который после смерти придает его воле действительную силу и значимость.

Теперь он сбросил оковы и убежден, что решительный шаг сделан. Но самый тяжкий, самый важный и самый необходимый еще ждет его. Ибо невозможен секрет в этом наполненном людьми доме с болтливой совестью. Подозрение и шушуканье сочтется и протекает по всем углам, шепот и шелест пробегают от одного к другому, уже догадывается жена, уже знает семья, что Толстой сделал тайком свои последние распоряжения. Они разыскивают завещание в ящиках, в шкафах, роются в дневнике, чтобы найти след. Графиня угрожает самоубийством, если ненавистный помощник Чертков не перестанет посещать дом. Тогда Толстой познает, что здесь, окруженный страстями, алчностью, ненавистью и беспокойством, он не сумеет создать свое последнее художественное произведение — смерть; старец боится, что семья может его «в духовном отношении лишит этих драгоценных минут, быть может, самых великолепных».

И вдруг из глубочайших глубин его чувствований подымается мысль, искушавшая его душу все эти годы, мысль, что ради завершения он должен во имя святости, как требует Евангелие, оставить жену и детей, собственность и корысть. Дважды он уже уходил, в первый раз в 1884 году, но на полдороге его оставили силы. Он принудил себя вернуться к жене, которая мучилась родами и в ту же ночь принесла ему ребенка — ту самую дочь Александру, которая его в это время поддерживает, оберегает его завещание и готова быть ему опорой в последнем пути. Через тринадцать лет, в 1897 году, он вторично подыма-

ется и оставляет своей жене бессмертное письмо, в котором излагает принуждение совести: «Я решил уйти, потому что эта жизнь с годами все больше и больше гнетет меня и я бесконечно тоскую по одиночеству и, во-вторых, потому, что дети теперь подросли и мое присутствие в доме излишне. Главное же, это то, что — подобно индийцам, спасающимся в лес, достигнув шестидесяти лет, — каждый религиозный человек в старости чувствует желание свои последние годы посвятить «Богу», а не шуткам и забавам, сплетням и теннисному спорту. Так и моя душа на семидесятом году жизни жаждет со всей силой покоя и одиночества, чтобы жить в согласии с совестью или — и если это не вполне удастся — то все же уйти от вопиющего несоответствия между моей жизнью и верой».

Но и тогда он вернулся из-за победившей человечности. Еще недостаточно сильна была уверенность в себе, не так могуществен призыв. Но теперь, спустя тринадцать лет после второй попытки, дважды тринадцать лет после первого бегства, болезненнее, чем когда-либо, прорывается невероятная жажда ухода, могущественно-магнетически притягивает непостижимая сила железную совесть. В июле 1910 года Толстой записывает в свой дневник: «Я не могу сделать ничего иного, как уйти и я теперь думаю об этом серьезно, — теперь яви свое христианство. *C'est le moment ou jamais*. Здесь никому не нужно мое присутствие. Помоги мне, Бог мой, научи меня; я хотел бы только одного — исполнить твою волю, а не свою. Я это пишу и спрашиваю себя: действительно ли это так? Не притворяюсь ли я перед тобой? Помоги! Помоги! Помоги!»

Но все еще он медлит, его удерживает страх за судьбу других: он пугается своего грешного желания и все же прислушивается, трепетно углубленный в собственную душу, не услышит ли он призыва изнутри, вести сверху, непреодолимо требующей там, где медлит и робеет собственная воля.словно на коленях, в молитве перед непроницаемой волей, которой он отдался, и мудростью, которой доверяет, он исповедует дневнику свой страх и свое беспокойство. Точно лихорадкой становится это ожидание воспаленной совести, точно единый гран-

диозный трепет — эта настороженность потрясенного сердца. И вот ему уже представляется, что судьба не внемлет ему, что он осужден на безумие.

ПОБЕГ К БОГУ

Приблизиться к Богу можно лишь в одиночестве.

Дневник

Двадцать восьмого октября 1910 года около шести часов утра, когда в деревьях еще висела темная ночь, несколько человек подкрадываются к господскому дому в Ясной Поляне. Звенят ключи, осторожно открываются двери, в конюшне, подстелив солому, кучер бесшумно запрягает лошадей, в двух комнатах блуждают беспокойные тени с потайными фонарями в руках; они перебирают разные пакеты, открывают ящики и шкафы. Они проскальзывают через тихо открывающиеся двери, шушукаются, спотыкаясь, пробираются через грязные разросшиеся корни деревьев парка. Бесшумно, стараясь миновать дом, через ворота парка проезжает коляска.

Что происходит? Набег ли воров? Или полиция, наконец, окружила квартиру находящегося под подозрением человека, чтобы сделать обыск? Нет, никто не ворвался, это Лев Николаевич Толстой, как вор, вырывается из пожизненной тюрьмы на свободу, сопровождаемый только своим врачом. Призыв им услышан, знак ему подан, — неоспоримый, решительный знак. Опять он ночью застал жену, когда она тайно, в припадке истерии рылась в его бумагах; внезапно твердо и порывисто в нем созрело решение покинуть ту, «которая покинула его душу», бежать куда-нибудь — к Богу, к себе самому, в собственную, предназначенную ему смерть. Быстро он накинул на рабочую блузу пальто, надел грубую шапку, галоши, не захватил ничего из своих вещей, кроме того, что нужно для духовного общения с человечеством: дневник, карандаш и перо. На вокзале он еще наскоро пишет письмо жене и посылает его с

кучером домой: «Я делаю то, что обыкновенно делают старики моего возраста, — уходят из мирской жизни, чтобы жить в уединении и тиши последние дни своей жизни». Они садятся в поезд; на грязной скамье вагона третьего класса сидит, закутанный в пальто, сопровождаемый лишь своим врачом, Лев Толстой, бегущий к Богу.

Но Лев Толстой — этого имени больше не существует. Как некогда Карл Пятый, властитель двух миров, добровольно сложил с себя знаки своего могущества, чтобы закопать себя в могилу Эскуриала, так и Толстой отказался не только от денег, семьи и славы, но и от своего имени. Теперь, стремясь найти новую жизнь и чистую праведную смерть, он назвался Т. Николаевым. Сброшены, наконец, все узы, теперь он может стать странником на больших дорогах, слугой учения и слова истины. В монастыре Шамардино он прощается со своей сестрой-игуменьей: два седых дряхлых человека сидят рядом среди кротких монахинь, озаренные покоем и шелестящим одиночеством; через несколько дней приезжает дочь — дитя, рожденное в ту ночь неудавшегося первого побега. Но и тут, в этой тишине, ему не терпится, он боится быть узанным, боится погони, боится быть настигнутым, боится возврата в это неясное, несправедливое существование в собственном доме. И вот, снова послушный незримо указующему персту, тридцать первого октября в четыре часа утра он будит дочь, настаивает на том, чтобы двинуться дальше, — куда-нибудь, где слава и люди не могут догнать его, к одиночеству с собой, с Богом.

Но грозный враг его жизни, его учения — слава — его мучитель и искуситель еще не оставляет свою жертву. Мир не разрешает «ему», Толстому, принадлежать своей собственной, сознательной воле.

Еще не успел загнанный человек сесть в купе, глубоко нагнув шапку на лоб, как кто-то из соседей узнал великого мастера, уже знают об этом все в поезде, уже разгадана тайна, уже толпятся у дверей вагона мужчины и женщины, чтобы посмотреть на него. Газеты, которые везет тот же поезд, полны длинными сообщениями о драгоценном звере, вырвавшемся на

волю; он уже предан и окружен; еще раз — и в последний раз — стоит слава на его пути к завершению. Телеграфные провода рядом с мчащимся поездом жужжат, нагруженные вестями, все станции извещены полицией, все чиновники мобилизованы, дома уже заказаны экстренные поезда, и репортеры мчатся из Москвы, из Петербурга, из Нижнего Новгорода, со всех четырех сторон света — за ним, за скрывшейся дичью. Святейший синод отправляет священника, чтобы удержать раскаявшегося, и вдруг появляется в поезде чужой господин, проходит мимо купе еще раз и еще раз, — это сыщик, — нет, слава не дает убежать своему пленнику. Лев Толстой не должен и не смеет остаться наедине с собой, люди не позволяют ему принадлежать себе и вступить на путь святости.

Он окружен, он осажден, нет лесной чащи, в которой он мог бы скрыться. Если поезд дойдет до границы, чиновник, вежливо приподняв шляпу, будет его приветствовать и не даст ему перешагнуть через нее; где бы он ни захотел отдохнуть, слава, широкая, тысячеустая, крикливая, усядется рядом с ним; нет, не убежать ему, когти цепко держат его. Но вот дочь замечает, что у старика отца озноб. Усталый, он прислоняется к скамейке. Пот выступает из всех пор дрожащего тела и каплями спадает со лба. Лихорадка выступила из его крови, болезнь завладела им, чтобы спасти его. И смерть готовит свой черный плащ, чтобы укрыть его от погони.

В Астапове, на маленькой железнодорожной станции, они вынуждены остановиться; смертельно больной старик не может больше двигаться. Ни гостиницы, ни отеля, ни княжеского замка, чтобы приютить его. Стыдливо начальник станции предлагает свою служебную комнату в одноэтажном деревянном доме вокзала (с тех пор место паломничества для русских). Дрожащего от озноба старца вводят туда, и вдруг все свершилось так, как он мечтал: маленькая комната, низкая и тусклая, наполненная дымом и запахом нищеты, железная кровать, скудный свет керосиновой лампы — неожиданно далеко от роскоши и удобств, от которых он убежал. В смертный час, в последние мгновенья, все делается так, как он желал

в глубине души: чистый, незапятнанный, возвышенный символ — смерть всецело подчиняется руке художника. В несколько дней воздвигается великолепное здание этого умирания, возвышенное доказательство его учения, не поддающееся подкопу людского недоброжелательства, непоколебимое, неразрушимое в своей первобытной простоте. Напрасно перед закрытой дверью нетерпеливо, с пересохшими губами стоит на страже запыхавшаяся слава, напрасно репортеры и любопытные, шпионы, полицейские и жандармы, посланный синодом священник, назначенные царем офицеры толпятся и ждут: их кричащая и бесстыдная суетливость бессильна перед нерушимым последним одиночеством. Только дочь, друг и врач оберегают его, спокойная и покорная любовь молчаливо окружает его. На ночном столике лежит маленький дневник, связующий его с Богом, но лихорадочные руки уже не владеют карандашом. И он с прерывающимся дыханием угасающим голосом диктует дочери свои последние мысли, называет Бога «той безграничной вселенной, от которой человек чувствует себя ограниченным, его откровением в материи, во времени и пространстве» и проповедует, что соединение этих земных созданий с жизнью других существ совершается лишь любовью. За два дня до смерти он еще раз напрягает свои чувства, чтобы постигнуть высшую, недосыгаемую истину. Только после этого мрак постепенно опускается на этот сияющий мозг.

За дверями любопытно и навязчиво толпятся люди. Он их уже не ощущает. В окна, сквозь текущие из глаз слезы, смотрит терзаемая раскаянием Софья Андреевна, его жена, прожившая с ним сорок восемь лет; она стремится хоть издали узреть его лик; он ее уже не узнает. Все более чужими становятся самому зоркому из всех людей земные предметы, все прерывистее пробегает темнеющая кровь по умирающим венам. В ночь на четвертое ноября он еще раз, собравшись с силами, вздыхает: «Но мужики, как же умирают мужики?» Еще сопротивляется эта необыкновенная жизнь необыкновенной смерти. Лишь седьмого ноября смерть настигает бессмертного. Побелевшее

чело опускается на подушки, угасают глаза, смотревшие на мир сознательнее, чем чьи-либо другие. И лишь теперь нетерпеливый искатель познает истину и смысл жизни.

ФИНАЛ

Человек умер, но его связь с миром продолжает действовать на людей и не только как при жизни, но гораздо сильнее; и его действие увеличивается с ростом их разумности и любви и растет как все живущее без перерыва и без конца.

Письмо

Человечнейшим человеком назвал как-то Льва Толстого Максим Горький: неподобное слово. Ибо он был человек подобный нам всем, слепленный из той же непрочной глины и награжденный теми же земными недостатками; но он глубже вникал в них, больше страдал от них. Не иным, не более возвышенным, чем другие люди его века, более нравственным, зрячим, бдительным и страстным; он был точно самым серьезным и ясным отражением невидимой первоначальной формы из мастерской мирового художника.

Пронести среди мирской сумятицы чистым и совершенным это отражение вечного человека, чья призрачная и часто уже неузнаваемая тень покоится в нашей основе, вот жизненная задача, которую ставит себе Толстой; бесконечная, недостижимая и потому вдвойне героическая задача. Он искал и изобразил человека во всех его проявлениях, благодаря несравненной искренности чувств; он искал и допрашивал его в темных тайниках своей совести, спускаясь в глубины, которые можно достигнуть, лишь поранив себя. Со свирепой серьезностью, с немилосердной жестокостью этот эпический гений бесконечно раскапывал собственную душу, чтобы освободить образ совершенства от его земной коры и показать всему человечеству его благородный и богоподобный лик, как задачу, к

которой должен стремиться каждый. Не покладая рук, никогда не удовлетворяясь, никогда не разрешая своему искусству беззаботно наслаждаться чистой игрой форм, этот неустранимый создатель работает восемьдесят лет над великим делом самоусовершенствования посредством самоизображения. Со времени Гете ни один поэт не показал так ярко своей сущности и вместе с тем сущности вечного человека.

Но это только кажется, что героическое стремление к облагораживанию мира испытанием и совершенствованием собственной души кончилось с последним вздохом этого единственного в своем роде человека: непрерывно формируя и переформируемая, продолжает действовать могучий импульс его существа. Еще живы свидетели его земного существования, которые с трепетом заглядывали в серые острые глаза, которые осязали его братскую руку во плоти, а вместе с тем Толстой как человек давно уже стал мифом, его жизнь — возвышенной легендой человечества и его борьба с самим собой — примером для нашего и всех поколений. Ибо все жертвенные мысли, все героические поступки на нашей тесной земле являются не индивидуальными действиями, — они предназначены для всех, и величием отдельного человека возвеличивается все человечество. Только благодаря самопризнаниям истинно правдивых находит ищущий дух свои границы и законы. Только благодаря самоизображению художника душа человечества постигается в ее земной сущности, гений становится образом.



СОДЕРЖАНИЕ

НЕТЕРПЕНИЕ СЕРДЦА. Роман. *Перевод Н. Бунина* 5

ТРИ ПЕВЦА СВОЕЙ ЖИЗНИ

Предисловие	373
Казанова. <i>Перевод П. Бернштейн</i>	386
Портрет юного Казановы	392
Авантюристы	396
Образование и одаренность	403
Философия легкомыслия	410
Ното egoticus	423
Годы во мраке	441
Портрет Казановы в старости	448
Гений самоизображения	455
Стендаль. <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	467
Лживость и правдолюбие	467
Портрет	473
Кинолента его жизни	476
«Я» и вселенная	501
Художник	515
De voluptate psychologica	532
Самоизображение	539
Стендаль в современности	551
Лев Толстой. <i>Перевод П. Бернштейн</i>	554
Прелюдия	554
Портрет	557
Жизненная сила и ее сопротивляемость	562
Художник	575
Самоизображение	592
Кризис и преображение	602
Искусственный христианин	610
Учение и его несостоятельность	619

Борьба за осуществление	634
День из жизни Толстого	648
Решение и просветление	659
Побег к Богу	665
Финал	669

СТЕФАН ЦВЕЙГ

**Собрание сочинений
в десяти томах**

Том третий

Редактор

И. Шурыгина

Художественный редактор

И. Марев

Технический редактор

Г. Шитова

Корректоры

Н. Кузнецова, И. Сахарук

ЛР № 030129 от 02.10.91 г.

Подписано в печать 26.03.96 г. Уч.-изд. л. 34,6.

Цена 25 200 р.

Издательский центр «ТЕРРА».

113184, Москва, Озерковская наб., 18/1, а/я 27.